



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

~~309.g.6.~~

~~S. Star. 67~~



NEVILL FORBES BEQUEST

NF. PG 3325. A1. 1882 (9)



1
N. M. Forbes

Petersburg 1905.







ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

ПОДРОСТОКЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія брат. Лантелеевыхъ. Казанская ул., д. № 33.

1882.

Напечатанъ въ журн. „Отечественныя Записки“ 1876 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Не утерпѣвъ, я сѣлъ записывать эту исторію моихъ первыхъ шаговъ на жизненномъ пепприцѣ, тогда какъ могъ бы обойтись и безъ того... Одно знаю навѣрно: никогда уже болѣе не сяду писать мою автобіографію, даже если проживу до ста лѣтъ. Надо быть слишкомъ подло влюбленнымъ въ себя, чтобы писать безъ стыда о самомъ себѣ. Тыиъ только себя извиняю, что не для того пишу, для чего всѣ пишутъ, т. е. не для похвалы читателя. Если я вдругъ вздумалъ записать слово въ слово все, что случилось со мной съ прошлаго года, то вздумалъ это вслѣдствіе внутренней потребности: до того я пораженъ всѣмъ совершившимся. Я записываю лишь событія, уклоняясь всѣми силами отъ всего посторонняго, а главное отъ литературныхъ красотъ; литераторъ пишетъ тридцать лѣтъ и въ концѣ совсѣмъ не знаетъ, для чего онъ писалъ столько лѣтъ. Я—не литераторъ, литераторомъ быть не хочу, и тащить внутренность души моей и красивое описаніе чувствъ на ихъ литературный рынокъ почелъ бы неприличіемъ и подлостью. Съ досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно безъ описанія чувствъ и безъ размысленій (можетъ быть даже пошлыхъ): до того развратительно дѣйствуетъ на человѣка всякое литературное занятіе, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размысленія же могутъ быть даже очень пошлы, потому что то, что самъ цѣнишь, очень возможно, не имѣетъ никакой цѣны на посторонній взглядъ. Но все это въ сторону. Однако вотъ и предисловіе; болѣе, въ этомъ родѣ, ничего не будетъ. Къ дѣлу, хотя ничего нѣтъ мудренѣе, какъ приступить къ какому нибудь дѣлу,—можетъ быть, даже и ко всякому дѣлу.

II.

Я начинаю, то есть я хотѣлъ бы начать мои записки съ девятнадцатаго сентября прошлаго года, то есть ровно съ того дня, когда я въ первый разъ встрѣтилъ...

Но объяснять, кого я встрѣтилъ, такъ, заранѣе, когда никто ничего не знаетъ, будетъ пошло; даже, я думаю, и тонъ этотъ пошлъ: давъ себѣ слово уклоняться отъ литературныхъ красотъ, я съ первой строки впадаю въ эти красоты. Кромя того, чтобъ писать толково, кажется, мало одного желанія. Замѣчу тоже, что, кажется, ни на одномъ европейскомъ языкѣ не пишется такъ трудно, какъ на русскомъ. Я перечелъ теперь то, что сейчасъ написалъ, и вижу, что я гораздо умнѣ написаннаго. Какъ это такъ выходитъ, что у человѣка умнаго, высказанное имъ гораздо глупѣе того, что въ немъ остается? Я это не разъ замѣчалъ за собой и въ моихъ словесныхъ отношеніяхъ съ людьми за весь этотъ послѣдній роковой годъ и много мучился этимъ.

Я хоть и начну съ девятнадцатаго сентября, а все таки вставляю слова два о томъ, кто я, гдѣ былъ до того, а, стало быть, и что могло быть у меня въ головѣ хоть отчасти въ то утро девятнадцатаго сентября, чтобъ было понятнѣе читателю, а можетъ быть и мнѣ самому.

III.

Я—кончившій курсъ гимназистъ, а теперь мнѣ уже двадцать первый годъ. Фамилія моя Долгорукій, а юридическій отецъ мой—Магаръ Ивановъ Долгорукій, бывшій дворовый господъ Версиловыхъ. Такимъ образомъ, я—законнорожденный, хотя я, въ высней степени, незаконный сынъ, и происхожденіе мое не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Дѣло произошло такимъ образомъ: двадцать два года назадъ, помѣщикъ Версильовъ (это-то и есть мой отецъ), двадцати пяти лѣтъ, посѣтилъ свое имѣніе въ Тульской губерніи. Я предполагаю, что въ это время онъ былъ еще чѣмъ-то весьма безличнымъ. Любопытно, что этотъ человѣкъ, столь поразившій меня съ самаго дѣтства, имѣвшій такое капитальное вліяніе на складъ всей души моей и даже, можетъ быть, еще надолго заразившій собою все мое будущее, этотъ человѣкъ даже и теперь въ чрезвычайно многомъ остается для меня совершенно загадкой. Но собственно объ этомъ послѣ. Этого такъ не разскажешь. Этимъ человѣкомъ и безъ того будетъ наполнена вся тетрадь моя.

Онъ какъ разъ къ тому времени овдовѣлъ, т. е. въ двадцати пяти

годамъ своей жизни. Женатъ же былъ на одной изъ высшаго свѣта, но не такъ богатой, Фанаріотовой, и имѣлъ отъ нея сына и дочь. Свѣдѣнія объ этой, столь рано его оставившей, супругѣ довольно у меня неполны и теряются въ моихъ матеріалахъ; да и много изъ частныхъ обстоятельствъ жизни Версикова отъ меня ускользнуло, до того онъ былъ всегда со мною гордъ, высовомѣренъ, замкнутъ и небреженъ, не смотря, минутами, на поражающее какъ бы смиреніе его передо мною. Упоминаю однако же, для обозначенія впредь, что онъ прожилъ въ свою жизнь три состоянія, и весьма даже крупныя, всего тысячъ на четыреста слишкомъ и, пожалуй, болѣе. Теперь у него, разумеется, ни кешійки.

Пріѣхалъ онъ тогда въ деревню, „Богъ знаетъ зачѣмъ,“ по крайней мѣрѣ, самъ мнѣ такъ впоследствии выразился. Маленькія дѣти его были не при немъ, по обыкновенію, а у родственниковъ; такъ онъ всю жизнь поступалъ съ своими дѣтьми, съ законными и незаконными. Дворовыхъ въ этомъ имѣніи было значительно много; между ними былъ и садовникъ Макаръ Ивановъ Долгорукій. Вставлю здѣсь, чтобы разъ навсегда отвязаться: рѣдко кто могъ столько вылизаться на свою фамилью, какъ я, въ продолженіи всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то разъ, какъ я вступалъ куда либо въ школу, или встрѣчался съ лицами, которымъ, по возрасту моему, былъ обязанъ отчетомъ, однимъ словомъ, каждый-то учительшка, гувернеръ, инспекторъ, пошъ—всѣ, кто угодно, спрося мою фамилью и услыхавъ, что я Долгорукій, непременно находили для чего-то нужнымъ прибавить:

— Князь Долгорукій?

И каждый-то разъ я обязанъ былъ всѣмъ этимъ празднымъ людямъ объяснять:

— Нѣтъ, *просто* Долгорукій.

Это *просто* стало сводить меня, наконецъ, съ ума. Замѣчу при семъ, въ видѣ феномена, что я не помню ни одного исключенія: всѣ спрашивали. Инымъ, повидимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, къ какому бы чорту это могло быть хоть комунибудь нужно? Но всѣ спрашивали, всѣ до одинаго. Услыхавъ, что я *просто* Долгорукій, спрашивавшій обыкновенно обмѣривалъ меня тупымъ и глупоравнодушнымъ взглядомъ, свидѣтельствовавшимъ, что онъ самъ не знаетъ, зачѣмъ спросилъ, и отходилъ прочь. Товарищи школьники спрашивали всѣхъ оскорбительнѣе. Школьникъ какъ спрашиваетъ новичка? Затерявшійся и конфузующійся новичекъ, въ первый день поступленія

въ школу (въ какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказываютъ, его дразнить, съ нимъ обращаются какъ съ лакеемъ. Здоровый и жирный мальчишка вдругъ останавливается передъ своей жертвой въ упоръ и долгимъ, строгимъ и надменнымъ взглядомъ наблюдаетъ ее нѣсколько мгновений. Новичокъ стоитъ передъ нимъ молча, косится, если не трусь, и ждетъ, что-то будетъ.

— Какъ твоя фамилія?

— Долгорукій?

— Князь Долгорукій?

— Нѣтъ, просто Долгорукій.

— А, просто! Дуракъ.

И онъ правъ: ничего нѣтъ глупѣе, какъ называться Долгорукимъ, не будучи княземъ. Эту глупость я таскаю на себѣ безъ вины. Впослѣдствіи, когда я сталъ уже очень сердиться, то на вопросъ:

— Ты князь?

Всегда отвѣчалъ:

— Нѣтъ, я—сынъ двороваго человѣка, бывшаго крѣпостнаго.

Потомъ, когда ужъ я въ послѣдней степени озлился, то на вопросъ: вы князь? твердо разъ отвѣтилъ:

— Нѣтъ, просто Долгорукій, незаконный сынъ моего бывшаго барина, господина Верейлова.

Я выдумалъ это уже въ шестомъ классѣ гимназіи, и хоть въ скорости несомнѣнно убѣдился, что глупъ, но все таки не сейчасъ пересталъ глупить. Помню, что одинъ изъ учителей—впрочемъ, онъ одинъ и былъ,—нашелъ, что я „полонъ истительной и гражданской идеи.“ Вообще же, приняли эту выходку съ какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконецъ, одинъ изъ товарищей, очень ѣдкой малый и съ которымъ я всего только въ годъ разъ разговаривалъ, съ серьезнымъ видомъ, но нѣсколько смотря въ сторону, сказалъ мнѣ:

— Такія чувства вамъ, конечно, дѣлаютъ честь, и, безъ сомнѣнія, вамъ есть чѣмъ гордиться; но я бы на вашемъ мѣстѣ все таки не очень праздновалъ, что незаконнорожденный... а вы точно иняинникъ!

Съ тѣхъ поръ я пересталъ *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по русски: я вотъ исполнилъ цѣлыхъ три страницы о томъ, какъ я злился всю жизнь за фамилью, а между тѣмъ читатель навѣрно ужъ вывелъ, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукій. Объясняться еще разъ и оправдываться было бы для меня унижительно.

IV.

Итакъ, въ числѣ этой дворни, которой было множество и кромѣ Макара Иванова, была одна дѣвица и была уже лѣтъ восемнадцати, когда пятидесятилѣтній Макаръ Долгорукій вдругъ обнаружилъ намѣреніе на ней жениться. Браки дворовыхъ, какъ извѣстно, происходили во времена крѣпостнаго права съ дозволенія господъ, а иногда и прямо по распоряженію ихъ. При имѣніи находилась тогда тетушка; то есть, она имѣ не тетушка, а сама помѣщица; но не знаю почему, всё всю жизнь ее звали тетушкой, не только моею, но и вообще, равно какъ и въ семействѣ Версилова, которому она чуть ли и въ самомъ дѣлѣ не съ родни. Это—Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было въ той же губерніи и въ томъ же уѣздѣ тридцать пять своихъ душъ. Она не то, что управляла, но по сосѣдству надзирала надъ имѣніемъ Версилова (въ 500 душъ), и этотъ надзоръ, какъ я слышала, стоилъ надзора какого нибудь управляющаго изъ ученыхъ. Впрочемъ, до знаній ея имѣ рѣшительно нѣтъ дѣла: я только хочу прибавить, откинувъ всякую мысль лести и заискиванія, что эта Татьяна Павловна—существо благородное и даже оригинальное.

Вотъ она-то не только не отклонила супружескія наклонности мрачнаго Макара Долгорукаго (говорили, что онъ былъ тогда мраченъ), но, напротивъ, для чего-то въ высшей степени ихъ поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилѣтняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже нѣсколько лѣтъ; покойный же отецъ ея, чрезвычайно уважавшій Макара Долгорукаго и ему чѣмъ-то обязанный, тоже дворовый, шесть лѣтъ передъ тѣмъ, помирая, на одрѣ смерти, говорить даже за четверть часа до послѣдняго издыханія, такъ что за нужду можно бы было принять и за бредъ, еслибы онъ и безъ того не былъ неспособенъ, какъ крѣпостной, подозвавъ Макара Долгорукаго, при всей дворнѣ и при присутствовавшемъ священникѣ, завѣщалъ ему вслухъ и настоятельно, указывая на дочь: „Взрости и возьми за себя.“ Это всё слышали. Чтò же до Макара Иванова, то не знаю, въ какомъ смыслѣ онъ потомъ женился, то есть съ большимъ ли удовольствіемъ или только исполняя обязанность. Вѣроятноже, что имѣлъ видъ полнаго равнодушія. Это былъ человекъ, который и тогда уже умѣлъ „показать себя.“ Онъ не то, чтобы былъ начетчикъ или грамотѣй (хотя зналъ церковную службу всю и особенно житіе нѣкоторыхъ святыхъ, но болѣе по наслышкѣ), не то, чтобы былъ въ родѣ, такъ сказать, двороваго резонера, онъ просто былъ характера упрямаго, под-

часть даже рискованнаго; говорилъ съ амбиціей, судилъ безповоротно и, въ заключеніе, „жилъ почтительно,“ — по собственному удивительному его выраженію, — вотъ онъ каковъ былъ тогда. Конечно, уваженіе онъ приобрѣлъ всеобщее, но, говорятъ, былъ всеѣмъ несносенъ. Другое дѣло, когда вышелъ изъ двора, тутъ ужъ его не иначе поминали, какъ какого нибудь святаго и много потерпѣвшаго. Объ этомъ я знаю навѣрно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лѣтъ Татьяна Павловна продержала ее при себѣ, не смотря на настоянія прикащика отдать въ Москву въ ученіе, и дала ей нѣкоторое воспитаніе, то есть научила шить, кроить, ходить съ дѣвичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умѣла сносно. Въ глазахъ ея этотъ бракъ съ Макаромъ Ивановичемъ былъ давно уже дѣломъ рѣшеннымъ, и все, что тогда съ нею произошло, она нашла превосходнымъ и самымъ лучшимъ; подъ вѣнецъ пошла съ самымъ спокойнымъ видомъ, какой только можно имѣть въ такихъ случаяхъ, такъ что сама ужъ Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнемъ характерѣ матери я слышала отъ самой же Татьяны Павловны. Версиловъ пріѣхалъ въ деревню ровно полгода спустя послѣ этой свадьбы.

V.

Я хочу только сказать, что никогда не могъ узнать и удовлетворительно догадаться, съ чего именно началось у него съ моей матерью? Я вполне готовъ вѣрить, какъ увѣрялъ онъ меня прошлаго года самъ, съ краской въ лицѣ, не смотря на то, что рассказывалъ про все это съ самымъ непринужденнымъ и „остроумнымъ“ видомъ, что романа никакого не было вовсе, и что все вышло *такъ*. Вѣрю, что такъ, и русское слово это: *такъ* — прелестно; но все таки мнѣ всегда хотѣлось узнать, съ чего именно у нихъ могло произойти? Самъ я ненавиждѣль и ненавижу всѣ эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тутъ вовсе не одно только безстыжее любопытство съ моей стороны. Замѣчу, что мою мать я, вплоть до прошлаго года, почти не зналъ вовсе; съ дѣтства меня отдали въ люди, для комфорта Версилова, объ чемъ, впрочемъ, послѣ, а потому я никакъ не могу представить себѣ, какое у нея могло быть въ то время лицо. Если она вовсе не была такъ хороша собой, то чѣмъ могъ въ ней предѣститься такой человѣкъ, какъ тогдашній Версиловъ? Вопросъ этотъ важенъ для меня тѣмъ, что въ немъ чрезвычайно любопытною стороною рисуется этотъ человѣкъ. Вотъ для чего я

спрашиваю, а не изъ разврата. Онъ самъ, этотъ мрачный и закрытый человекъ, съ тѣмъ милымъ простодушіемъ, которое онъ, чортъ знаетъ, откуда бралъ (точно изъ кармана), когда видѣлъ, что это необходимо, — онъ самъ говорилъ мнѣ, что тогда онъ былъ весьма „глупымъ молодымъ щенкомъ“ и не то, что сентиментальнымъ, а *такъ*, только что прочелъ „Антоня Горемыку“ и „Полиньку Саксъ“, двѣ литературныя вещи, имѣвшія необъятное цивилизующее вліяніе на тогдашнее подростковое поколѣніе наше. Онъ прибавлялъ, что изъ за Антона Горемыки, можетъ, и въ деревню тогда пріѣхалъ, — и прибавлялъ чрезвычайно серьезно. Въ какой же формѣ могъ начать этотъ „глупый щенокъ“ съ моей матерью? Я сейчасъ вообразилъ, что еслибъ у меня былъ хоть одинъ читатель, то навѣрно бы расхохотался надо мной, какъ надъ смѣшнѣйшимъ подросткомъ, который, сохранивъ свою глупую невинность, суется разсуждать и рѣшать, въ чемъ не смыслить. Да, дѣйствительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь въ этомъ вовсе не изъ гордости, потому что знаю, до какой степени глупа въ двадцатилѣтнемъ возрастѣ такая неопытность; только я скажу этому господину, что онъ самъ не смыслить и докажу ему это. Правда, въ женщинахъ я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и далъ слово. Но я знаю, однако же, навѣрно, что иная женщина оболъщаетъ красотой своей, или тамъ чѣмъ знаетъ, въ тотъ же мигъ; другую же надо полгода разжевывать прежде, чѣмъ понять, что въ ней есть; и чтобы разсмотрѣть такую и влюбиться, то мало смотрѣть и мало быть просто готовымъ на что угодно, а надо быть, сверхъ того, чѣмъ-то еще одареннымъ. Въ этомъ я убѣжденъ, не смотря на то, что ничего не знаю, и еслибы было противное, то надо бы было разомъ низвести всѣхъ женщинъ на степень простыхъ домашнихъ животныхъ и въ такомъ только видѣ держать ихъ при себѣ; можетъ быть, этого очень многимъ хотѣлось бы.

Я знаю изъ нѣсколькихъ ружъ положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашняго портрета ея, который гдѣ-то есть, я не видалъ. Съ перваго взгляда въ нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простаго „развлеченія“, Версильовъ могъ выбрать другую, а такая тамъ была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сѣнная дѣвушка. А человекъ, который пріѣхалъ съ Антономъ Горемыкой, разрушать, на основаніи помѣщичьяго права, святость брака хотя и своего двороваго, было бы очень зазорно передъ самимъ собою, потому что, повторяю, про этого Антона Горемыку, онъ еще не далѣе, какъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, то есть двадцать лѣтъ спустя,

говорилъ чрезвычайно серьезно. Такъ вѣдь у Антона только лошадей увели, а тутъ жену! Произошло, значить, что-то особенное, отчего и проиграла m-ле Сапожкова (по моему выиграла). Я пристаивалъ къ нему разъ-другой прошлаго года, когда можно было съ нимъ разговаривать (потому что не всегда можно было съ нимъ разговаривать), со всѣми этими вопросами и замѣтилъ, что онъ, не смотря на всю свою свѣтскость и двадцатилѣтнее разстояніе, какъ-то чрезвычайно кривился. Но я настоялъ. По крайней мѣрѣ, съ тѣмъ видомъ свѣтской брезгливости, которую онъ неоднократно себѣ позволялъ со мною, онъ, я помню, однажды промямлилъ какъ-то странно: что мать моя была одна такая особа изъ *незащищенныхъ*, которую не то, что полюбишь, — напротивъ, вовсе нѣтъ, — а какъ-то вдругъ почему-то *пожалѣешь*, з. кротость что ли, впрочемъ за что? Это всегда никому не извѣстно, но пожалѣешь на долго; пожалѣешь и привяжешься... „Однимъ словомъ, мой милый, иногда бываетъ такъ, что и не отвяжешься“. Вотъ что онъ сказалъ мнѣ; и если это дѣйствительно было такъ, то я принужденъ почитать его вовсе не такимъ тогдашнимъ глупымъ щенкомъ, какимъ онъ самъ себя для того времени аттестуетъ. Это-то мнѣ и надо было.

Впрочемъ, онъ тогда же сталъ увѣрять, что мать моя любила его по „приниженности“: еще бы выдумалъ, что по крѣпостному праву! Совралъ для шику, совралъ противъ совѣсти, противъ чести и благородства!

Все это, конечно, я наговорилъ въ какую-то какъ бы похвалу моей матери, а между тѣмъ уже заявилъ, что о ней, тогдашней, не зналъ вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тѣхъ жалкихъ понятій, въ которыхъ она зачерствѣла съ дѣтства и въ которыхъ осталась потомъ на всю жизнь. Тѣмъ не менѣе бѣда совершилась. Кстати надо поправить: улетѣвъ въ облака, я забылъ объ фактѣ, который, напротивъ, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у нихъ прямо *съ бѣды*. (Я надѣюсь, что читатель не до такой степени будетъ ломаться, чтобъ не понять сразу, объ чемъ я хочу сказать). Однимъ словомъ, началось у нихъ именно по помѣщичьи, не смотря на то, что была обойдена m-ле Сапожкова. Но тутъ уже я вступилъ и заранѣе объявляю, что вовсе себѣ не противорѣчу. Ибо объ чемъ, о Господи, объ чемъ могъ говорить въ то время такой человекъ, какъ Версиловъ, съ такою особою, какъ моя мать, даже и въ случаѣ самой неотразимой любви? Я слышалъ отъ развратныхъ людей, что весьма часто мужчина съ женщиной, сходясь, начинаетъ совершенно молча, что, конечно, верхъ чудовищности и тошноты; тѣмъ не менѣе,

Версильовъ, еслибъ и хотѣлъ, то не могъ бы, кажется, иначе начать съ моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей Полинку Саксъ? Да и сверхъ того, имъ было вовсе не до русской литературы; напротивъ, по его же словамъ (онъ какъ-то разъ расходился), они притались по угламъ, поджидали другъ друга на лѣстницахъ, отскакивали какъ мячики съ красными лицами, если кто проходилъ, и „тиранъ-помѣщикъ“ трепеталъ послѣдней половицы, не смотря на все свое крѣпостное право. Но хоть и по помѣщицки началось, а вышло такъ, да не такъ, и, въ сущности, все таки ничего объяснить нельзя. Даже яраку больше. Ужъ одни развѣры, въ которые развилась ихъ любовь, составляютъ загадку, потому что первое условіе такихъ, какъ Версильовъ—этотъ тотчасъ же бросить, если достигнута цѣль. Не то, однако же, вышло. Согрѣшить съ миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному „молодому щенку“ (а они были всѣ развратны, всѣ до одинаго—и прогрессисты, и ретрограды)—не только возможно, но и неминуемо, особенно взявъ романтическое его положеніе молодого вдовца и его бездѣльничанье. Но полюбить на всю жизнь—это слишкомъ. Не ручаюсь, что онъ любилъ ее, но что онъ таскалъ ее за собою всю жизнь—это вѣрно.

Вопросовъ я наставилъ много, но есть одинъ самый важный, который, замѣчу, я не осмѣлился прямо задать моей матери, не смотря на то, что такъ близко сошелся съ нею прошлаго года и, сверхъ того, какъ грубый и неблагодарный щенокъ, считающій, что *передъ нимъ виноваты*, не пережонился съ нею вовсе. Вопросъ слѣдующій: какъ она-то могла, она сама, уже бывшая полгода въ бракѣ, да еще придавленная всѣми понятіями о законности брака, придавленная, какъ безсильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше, чѣмъ какого-то бога, какъ она-то могла, въ какія нибудь двѣ недѣли, дойти до такого грѣха? Вѣдь не развратная же женщина была моя мать? Напротивъ, скажу теперь впередъ, что быть болѣе чистой душой, и такъ потомъ во всю жизнь, даже трудно себѣ и представить. Объяснить развѣ можно тѣмъ, что сдѣлала она не помня себя, т. е. не въ томъ смыслѣ, какъ увѣряютъ теперь адвокаты про своихъ убійцъ и воровъ, а подъ тѣмъ сильнымъ впечатлѣніемъ, которое, при извѣстномъ простодушіи жертвы, овладѣваетъ фатально и трагически. Почему знать, можетъ быть, она полюбила до смерти... фасонъ его платья, парижскій проборъ волосъ, его французскій выговоръ, именно французскій, въ которомъ она не понимала ни звука, тотъ романсъ, который онъ спѣлъ за фортепьяно, полюбила нѣчто никогда невиданное и не-

слыханное (а онъ былъ очень красивъ собою), и ужь заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, съ фасонами и романами. Я слышалъ, что съ дворовыми дѣвушками это иногда случалось во времена крѣпостнаго права, да еще съ самыми честными. Я это понимаю, и подлець тотъ, который объяснить это лишь однимъ только крѣпостнымъ правомъ и „приниженностью!“ И такъ, могъ же, стало быть, этотъ молодой человекъ имѣть въ себѣ столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тѣхъ поръ существо, и главное такое совершенно разнородное съ собою существо, совершенно изъ другого міра и изъ другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель—это-то и мать моя, надѣюсь, понимала всю жизнь; только развѣ когда шла, то не думала о гибели вовсе; но такъ всегда у этихъ „беззащитныхъ:“ и знаютъ, что гибель, а лѣзутъ.

Согрѣшивъ, они тотчасъ покаялись. Онъ съ остроуміемъ рассказывалъ мнѣ, что рыдалъ на плечѣ Макара Ивановича, котораго нарочно призвалъ для сего случая въ кабинетъ, а она—она въ то время лежала гдѣ-то въ забытѣи, въ своей дворовой кѣлтушкѣ...

VI.

Но довольно о вопросахъ и скандальныхъ подробностяхъ. Версиловъ, выкупивъ мою мать у Макара Иванова, въ скорости уѣхалъ и съ тѣхъ поръ, какъ я уже и прописалъ выше, сталъ ее таскать за собою почти повсюду, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда отлучался подолгу; тогда оставлялъ большую часть на попеченіи тетухки, т. е. Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то въ такихъ случаяхъ подвертывалась. Живали они и въ Москвѣ, живали по разнымъ другимъ деревнямъ и городамъ, даже за границей и, наконецъ, въ Петербургѣ. Обо всемъ этомъ послѣ, или не стоитъ. Скажу лишь, что годъ спустя послѣ Макара Ивановича³⁸ явился на свѣтъ я, затѣмъ еще черезъ годъ моя сестра, а затѣмъ уже лѣтъ десять или одиннадцать спустя—болѣзненный мальчикъ, младшій братъ мой, умершій черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Съ мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ сказали: она быстро стала старѣть и хилѣть.

Но съ Макаромъ Ивановичемъ сношенія все таки нискогда не прерывались. Гдѣ бы Версиловы ни были, жили ли по нѣскольку лѣтъ на мѣстѣ или переѣзжали, Макаръ Ивановичъ непремѣнно увѣдомлялъ о себѣ „семейство.“ Образовались какія-то странныя отношенія, отчасти

торжественныя и почти серьезныя. Въ господскомъ быту къ такимъ отношеніямъ непремѣнно прии́малось бы нѣчто комическое, а это знаю; но тутъ этого не вышло. Письма присылались въ годъ по два раза, не болѣе и не менѣе, и были чрезвычайно одно на другое похожи. Я ихъ видѣлъ; въ нихъ мало чего нибудь личнаго; напротивъ, по возможности одни только торжественныя извѣщенія о самыхъ общихъ событіяхъ и о самыхъ общихъ чувствахъ, если такъ можно выразиться о чувствахъ: извѣщенія прежде всего о своемъ здоровьѣ, потомъ спросы о здоровьѣ, затѣмъ пожеланія, торжественныя поклоны и благословенія — и жс. Именно въ этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знаніе обращенія въ этой средѣ. „Достолюбивой и почтенной супругѣ нашей Софьѣ Андреевнѣ посылаю нашъ нижайшій поклонъ“... „Любезнымъ дѣткамъ нашимъ посылаю родительское благословеніе наше во вѣки нерушимое.“ Дѣтки всѣ прописывались поимянно, по иѣрѣ ихъ накопленія, и я тутъ же. При этомъ замѣчу, что Макарь Ивановичъ былъ настолько остроуменъ, что никогда не прописывалъ. „Его Высочородія достопочтеннѣйшаго господина Андрея Петровича“ своимъ „благодѣтелемъ;“ хотя и прописывалъ неуклонно въ каждомъ письмѣ свой всенижайшій поклонъ, испрашивая у него милости, а на самого его благословеніе Божіе. Отвѣты Макару Ивановичу посылались моею матерью въ скорости и всегда писались въ такомъ же точно родѣ. Версильовъ, разумѣется, въ перепискѣ не участвовалъ. Писалъ Макарь Ивановичъ изъ разныхъ концовъ Россіи изъ городовъ и монастырей, въ которыхъ подолгу иногда проживалъ. Онъ сталъ такъ называемымъ странникомъ. Никогда ни о чемъ не просилъ; за то разъ года въ три непремѣнно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда такъ приходилось, имѣла свою квартиру, особую отъ квартиры Версильова. Объ этомъ мнѣ придется послѣ сказать, но здѣсь лишь замѣчу, что Макарь Ивановичъ не разваливался въ гостиной на диванахъ, а скромно помѣщался гдѣ нибудь за перегородкой. Проживалъ недолго, дней пять, недѣлю.

Я забылъ сказать, что онъ ужасно любилъ и уважалъ свою фамилію „Долгорукій.“ Разумѣется это — смѣшная глупость. Всего глупѣе то, что ему нравилась его фамилія именно потому, что есть князя Долгорукіе. Странное понятіе, совершенно вверхъ ногами!

Если я и сказалъ, что все семейство всегда было въ сборѣ, то, кромя меня, разумѣется. Я былъ какъ выброшенный и чуть не съ самаго рожденія помѣщенъ въ чужихъ людяхъ. Но тутъ не было никакого особеннаго наи́вренія, а просто какъ-то такъ почему-то вышло. Родивъ

меня, мать была еще молода и хороша, а, стало быть, нужна ему, а крикнуть ребенокъ, разумѣется, былъ всему помѣхой, особенно въ путешествіяхъ. Вотъ почему и случилось, что до двадцатаго года я почти не видалъ моей матери, кромѣ двухъ, трехъ случаевъ мелькомъ. Произошло не отъ чувствъ матери, а отъ высокомерія въ людямъ Версилова.

VII.

Теперь, совѣмъ о другомъ.

Мѣсяць назадъ, т. е. за мѣсяць до девятнадцатаго сентября, я, въ Москвѣ, порѣшилъ отказаться отъ нихъ всѣхъ и уйти въ свою идею уже окончательно. Я такъ и прописываю это слово: „уйти въ свою идею“, потому что это выраженіе можетъ обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свѣтѣ. Что это за „своя идея“, объ этомъ слишкомъ много будетъ потомъ. Въ уединеніи мечтательной и многолѣтней моей московской жизни она создавалась у меня еще съ шестаго класса гимназій, и съ тѣхъ поръ, можетъ быть, ни на мигъ не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нея жилъ въ мечтахъ, жилъ съ самаго дѣтства въ мечтательномъ царствѣ извѣстнаго оттѣнка; но съ появленіемъ этой главной и все поглотившей во мнѣ идеи, мечты мои скрѣпились и разомъ отлились въ извѣстную форму; изъ глупыхъ сдѣлались разумными. Гимназія мечтамъ не мѣшала; не помѣшала и идеѣ. Прибавлю однако, что я кончилъ гимназическій курсъ въ послѣднемъ году плохо, тогда какъ до седьмаго класса всегда былъ изъ первыхъ, а случилось это вслѣдствіе той же идеи, вслѣдствіе вывода, можетъ быть ложнаго, который я изъ нея вывелъ. Такимъ образомъ, не гимназія помѣшала идеѣ, а идея помѣшала гимназій, помѣшала и университету. Кончивъ гимназію, я тотчасъ же вознамѣрился не только порвать со всѣмъ радикально, но если надо, то со всѣмъ даже міромъ, не смотря на то, что мнѣ былъ тогда всего только двадцатый годъ. Я написалъ, кому слѣдуетъ, черезъ кого слѣдуетъ въ Петербургъ, чтобы меня окончательно оставили въ покоѣ, денегъ на содержаніе мое больше не присылали и, если возможно, чтобы забыли меня вовсе (т. е., разумѣется, въ случаѣ, если меня скольконибудь помнили), и, наконецъ, — что въ университетъ я „ни за что“ не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университетъ и дальнѣйшее образованіе, или отдалить немедленное приложеніе „идеи“ къ дѣлу еще на четыре года; я безтрепетно сталъ за идею, ибо былъ математически убѣжденъ. Версильовъ, отецъ мой, котораго я видѣлъ всего только разъ въ моей жизни, на мигъ, когда мнѣ было всего

десять лѣтъ (и который въ одинъ этотъ мигъ успѣлъ поразить меня), — Версиловъ, въ отвѣтъ на мое письмо, не ему, впрочемъ, посланное, самъ вызвалъ меня въ Петербургъ собственноручнымъ письмомъ, обѣщая частное мѣсто. Этотъ вызовъ человѣка, сухаго и гордаго, ко мнѣ высокоувереннаго и небрежнаго и который до сихъ поръ, родивъ меня и бросивъ въ люди, не только не зналъ меня вовсе, но даже въ этомъ никогда не раскаявался — (кто знаетъ, можетъ быть, о самомъ существованіи моемъ имѣлъ понятіе смутное и неточное, такъ какъ оказалось потомъ, что и деньги не онъ платилъ за содержаніе мое въ Москвѣ, а другіе), вызовъ этого человѣка, говорю я, такъ вдругъ обо мнѣ вспомнившего и удостоившаго собственноручнымъ письмомъ, — этотъ вызовъ, прельстивъ меня, рѣшилъ мою участь. Странно, мнѣ между прочимъ понравилось въ его письмецѣ (одна маленькая страничка малаго формата), что онъ ни слова не упомянулъ объ университетѣ, не просилъ меня переимѣнить рѣшеніе, не укорялъ, что не хочу учиться, — словомъ, не выставялъ никакихъ родительскихъ финтифлюшекъ въ этомъ родѣ, какъ это бываетъ по обыкновенію, а между тѣмъ это-то и было худо съ его стороны въ томъ смыслѣ, что еще пуще обозначало его ко мнѣ небрежность. Я рѣшился ѣхать еще и потому, что это вовсе не мѣшало главной мечтѣ. „Посмотрю, что будетъ“, разсуждалъ я: — „во всякомъ случаѣ, я связываюсь съ ними только на время, можетъ быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этотъ шагъ, хотя бы и условный и малый, все таки отдалитъ меня отъ *главнаго*, то тотчасъ же съ ними порву, брошу все и уйду въ свою скорлупу“. Именно въ скорлупу! „Спрячусь въ нее какъ черепаха“; сравненіе это очень мнѣ нравилось. „Я буду не одинъ“, продолжалъ я раскидывать, ходя какъ угорѣлый всѣ эти послѣдніе дни въ Москвѣ, — „никогда теперь уже не буду одинъ, какъ въ столько ужасныхъ лѣтъ до сихъ поръ: со мной будетъ моя идея, которой я никогда не измѣню, даже и въ томъ случаѣ, еслибъ они мнѣ всѣ тамъ понравились, и дали мнѣ счастье, и я прожилъ бы съ ними хоть десять лѣтъ!“ Вотъ это-то впечатлѣніе, замѣчу впередъ, вотъ именно эта-то двойственность плановъ и цѣлей моихъ, опредѣлившихся еще въ Москвѣ, и которая не оставляла меня ни на одинъ мигъ въ Петербургѣ (ибо не знаю, былъ ли такой день въ Петербургѣ, который бы я не ставилъ впереди моихъ окончательнымъ срокомъ, чтобы порвать съ ними и удалиться) — эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною изъ главнѣйшихъ причинъ многихъ моихъ неосторожностей, надѣланныхъ въ году, многихъ мерзостей, многихъ даже низостей, и ужъ, разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдругъ явился отецъ, котораго никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборахъ въ Москвѣ, и въ вагонѣ. Что отецъ — это бы еще ничего, и нѣжностей я не любилъ, но человѣкъ этотъ меня знать не хотѣлъ и унижилъ, тогда какъ я мечталъ о немъ всѣ эти годы въ засосъ (если можно такъ о мечтѣ выразиться). Каждая мечта моя, съ самаго дѣтства, отзывалась имъ: витала около него, сводилась на него въ окончательномъ результатѣ. Я не знаю, ненавидѣлъ или любилъ я его, но онъ наполнялъ собою все мое будущее, всѣ расчеты мои на жизнь, — и это случилось само собою, это шло вмѣстѣ съ ростомъ.

Повліяло на мой отъѣздъ изъ Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, одинъ соблазнъ, отъ котораго уже и тогда, еще за три мѣсяца предъ выѣздомъ (стало быть, когда и помину не было о Петербургѣ), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло въ этотъ неизвѣстный океанъ еще и потому, что я прямо могъ войти въ него властелиномъ и господиномъ даже чужихъ судебъ, да еще чьихъ! Но великодушныя, а не деспотическія чувства кипѣли во мнѣ, — предувѣдомляю заранѣе, чтобъ не вышло ошибки изъ словъ моихъ. Къ тому же Версильовъ могъ думать (если только удостоивалъ обо мнѣ думать), что вотъ ѣдетъ маленькій мальчикъ, отставной гимназистъ, подростокъ, и удивляется на весь свѣтъ. А я, межъ тѣмъ, уже зналъ всю его подноготную и имѣлъ на себѣ важнѣйшій документъ, за который (теперь ужъ я знаю это навѣрно) — онъ отдалъ бы нѣсколько лѣтъ своей жизни, еслибъ я открылъ ему тогда тайну. Впрочемъ, я замѣчаю, что наставилъ загадокъ. Безъ фактовъ чувствъ не опишешь. Къ тому же обо всемъ этомъ слишкомъ довольно будетъ на своемъ мѣстѣ, затѣмъ и перо взять. А такъ писать — похоже на бредъ или облако.

VIII.

Наконецъ, чтобъ перейти въ девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вратцѣ и, такъ сказать, мимоходомъ, что я засталъ ихъ всѣхъ, т. е. Версильова, мать и сестру мою (последнюю я увидалъ въ первый разъ въ жизни), при тяжелыхъ обстоятельствахъ, почти въ нищетѣ или наканунѣ нищеты. Объ этомъ я узналъ ужъ и въ Москвѣ, но все же не предполагалъ того, что увидѣлъ. Я съ самаго дѣтства привыкъ воображать себѣ этого человѣка, этого „будущаго отца моего“ почти въ какомъ-то сіяніи и не могъ представить себѣ иначе, какъ на первомъ мѣстѣ вездѣ. Никогда Версильовъ не жилъ съ моею

матерью на одной квартирѣ, а всегда нанималъ ей особенную: конечно, дѣлалъ это изъ подлѣйшихъ ихнихъ „приличій“. Но тутъ всё жили вмѣстѣ, въ одномъ деревянномъ флигелѣ, въ переулкѣ, въ Семеновскомъ полку. Всѣ вещи уже были заложены, такъ что я даже отдалъ матери, таинственно отъ Верилова, мои таинственные шестьдесятъ рублей. Именно таинственные потому, что были накоплены изъ карманныхъ денегъ моихъ, которыхъ отпускалось мнѣ по пяти рублей въ мѣсяцъ, въ продолженіи двухъ лѣтъ; копленіе же началось съ перваго дня моей „идеи“, а потому Вериловъ не долженъ былъ знать объ этихъ деньгахъ ни слова. Этого я трепеталъ.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Вериловъ жилъ праздно, капризился и продолжалъ жить со множествомъ прежнихъ довольно дорогихъ привычекъ. Онъ брюзжалъ ужасно, особенно за обѣдомъ, и всѣ пріемы его были совершенно деспотическіе. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойнаго Андроникова (одного, мѣсяца три передъ тѣмъ, умершаго начальника отдѣленія и съ тѣмъ вмѣстѣ заправлявшаго дѣлами Верилова), состоявшее изъ безчисленныхъ женщинъ, благоговѣли передъ нимъ, какъ передъ фетишемъ. Я не могъ представить себѣ этого. Загвѣчу, что девять лѣтъ назадъ онъ былъ несравненно изящнѣе. Я сказалъ уже, что онъ остался въ мечтахъ моихъ въ какомъ-то сіяніи, а потому я не могъ вообразить, какъ можно было такъ постарѣть и истереться всего только въ девять какихъ нибудь лѣтъ съ тѣхъ поръ: мнѣ тотчасъ же стало грустно, жалко, стыдно. Взглядъ на него былъ однимъ изъ тяжелѣйшихъ моихъ первыхъ впечатлѣній по пріѣздѣ. Впрочемъ онъ былъ еще вовсе не старикъ, ему было всего сорокъ пять лѣтъ; вглядываясь же дальше, я нашелъ въ красотѣ его даже что-то болѣе поразжающее, чѣмъ то, что уцѣлѣло въ моемъ воспоминаніи. Меньше тогдашняго блеску, менѣе внѣшности, даже изящнаго, но жизнь какъ бы отсинула на этомъ лицѣ нѣчто гораздо болѣе любопытное прежняго.

А, между тѣмъ, ницета была лишь десятой или двадцатой долей въ его неудачахъ, и я слишкомъ зналъ объ этомъ. Кромѣ ницеты, стояло нѣчто безмѣрно серьезнѣйшее, — не говоря уже о томъ, что все еще была надежда выиграть процессъ о наслѣдствѣ, затѣянный уже годъ у Верилова съ князьями Сокольскими, и Вериловъ могъ получить въ самомъ ближайшемъ будущемъ имѣніе, цѣнностью въ семьдесятъ, а можетъ и нѣсколько болѣе тысячъ. Я сказалъ уже выше, что этотъ Вериловъ прожилъ въ свою жизнь три наслѣдства, и вотъ его опять выручало наслѣдство! Дѣло рѣшалось на судѣ въ самый ближайшій

срокъ. Я съ тѣмъ и прїѣхалъ. Правда, подъ надежду денегъ никто не давалъ, занять негдѣ было, и пова терпѣли.

Но Версильовъ и не ходилъ ни къ кому, хотя иногда уходилъ на весь день. Уже слишкомъ годъ назадъ, какъ онъ *выгнанъ* изъ общества. Исторія эта, не смотря на всѣ старанія мои, оставалась для меня въ главнѣйшемъ невыясненною, не смотря на цѣлый мѣсяцъ жизни моей въ Петербургѣ. Виновенъ или не виновенъ Версильовъ — вотъ что для меня было важно, вотъ для чего я прїѣхалъ! Отвернулись отъ него всѣ, между прочимъ и всѣ вліятельные знатные люди, съ которыми онъ особенно умѣлъ во всю жизнь поддерживать связи, вслѣдствіе слуховъ объ одномъ чрезвычайно низкомъ, и — что хуже всего, въ глазахъ „свѣта“ — скандальномъ поступкѣ, будто бы совершенномъ имъ слишкомъ годъ назадъ въ Германіи, и даже о пощечинѣ, полученной тогда же слишкомъ гласно, именно отъ одного изъ князей Сокольскихъ, и на которую онъ не отвѣтилъ вызовомъ. Даже дѣти его (законные), сынъ и дочь, отъ него отвернулись и жили отдѣльно. Правда, и сынъ и дочь витали въ самомъ высшемъ кругу, чрезъ Фанариотовыхъ и стараго князя Соколовскаго (бывшаго друга Версильова). Впрочемъ, пригладиваясь къ нему во весь этотъ мѣсяцъ, я видѣлъ высокомернаго человѣка, котораго не общество исключило изъ своего круга, а который скорѣе самъ прогналъ общество отъ себя, — до того онъ смотрѣлъ независимо. Но имѣлъ ли онъ право смотрѣть такимъ образомъ — вотъ что меня волновало! Я непремѣнно долженъ узнать всю правду въ самый ближайшій срокъ, ибо прїѣхалъ — судить этого человѣка. Свои силы я еще таялъ отъ него, но мнѣ надо было или признать его или оттолкнуть отъ себя вовсе. А послѣднее мнѣ было бы слишкомъ тяжело, и я мучился. Сдѣлаю наконецъ, полное признаніе: этотъ человѣкъ былъ мнѣ дорогъ!

А пока, я жилъ съ ними на одной квартирѣ, работалъ и едва удерживался отъ грубостей. Даже и не удерживался. Проживъ уже мѣсяцъ, я съ каждымъ днемъ убѣждался, что за окончательными разъясненіями ни за что не могъ обратиться къ нему. Гордый человѣкъ прямо сталъ передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Онъ былъ со мною даже милъ и шутилъ, но я скорѣе хотѣлъ ссоры, чѣмъ такихъ шутокъ. Всѣ разговоры мои съ нимъ носили всегда какую-то въ себѣ двусмысленность, то есть по просту, какую-то странную насмѣшку съ его стороны. Онъ съ самаго начала встрѣтилъ меня изъ Москвы не серьезно. Я никакъ не могъ понять, для чего онъ это сдѣлалъ. Правда, онъ достигъ того, что остался передъ мною непроницаемъ; но самъ я не унижился бы до просьбъ о серьезности со мною съ его стороны. Къ

тому же, у него были какіе-то удивительные и неотразимые приемы, съ которыми я не зналъ что дѣлать. Короче, со мной онъ обращался, какъ съ самымъ зеленымъ подросткомъ, — чего я почти не могъ перенести, хотя и зналъ, что такъ будетъ. Вслѣдствіе того, я самъ пересталъ говорить серьезно и ждалъ, даже почти совсѣмъ пересталъ говорить. Ждалъ я одного лица, съ прїѣздомъ котораго въ Петербургъ могъ окончательно узнать истину; въ этомъ была моя послѣдняя надежда. Во всякомъ случаѣ, приготовился порвать окончательно и уже принялъ всѣ мѣры. Мать мнѣ жаль было, но... „или онъ или я“ — вотъ что я хотѣлъ предложить ей и сестрѣ моей. Даже день у меня былъ назначенъ; а пока я ходилъ на службу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Въ это девятнадцатое число, я долженъ былъ тоже получить мое первое жалованье за первый мѣсяцъ моей петербургской службы на моемъ „частномъ“ мѣстѣ. Объ мѣстѣ этомъ они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, въ самый первый день, какъ я прїѣхалъ. Это было очень грубо, и я почти обязанъ былъ протестовать. Это мѣсто оказалось въ домѣ у стараго князя Сокольскаго. Но протестовать тогда-же — значило-бы порвать съ ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моимъ существеннымъ цѣлямъ, а потому я принялъ мѣсто, покामѣстъ, молча, молчаньемъ защитивъ мое достоинство. Поясню съ самаго начала, что этотъ князь Сокольскій, богатъ и тайный совѣтникъ, нисколько не состоялъ въ родствѣ съ тѣми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бѣдняками уже нѣсколько поколѣній сряду), съ которыми Версильовъ велъ свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тѣмъ не менѣе, старшій князь очень ими интересовался и особенно любилъ одного изъ этихъ князей, такъ сказать, ихъ старшаго въ родѣ — одного молодаго офицера. Версильовъ еще недавно имѣлъ огромное вліяніе на дѣла этого старика и былъ его другомъ, страннымъ другомъ, потому что этотъ бѣдный князь, какъ я замѣтилъ, ужасно боялся его, не только въ то время, какъ я поступилъ, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочемъ, они уже давно не видались; безчестный поступокъ, въ которомъ обвиняли Версильова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрезъ ея-то посредство я и помѣщенъ былъ къ старику, который желалъ „молодаго человѣка“ къ себѣ въ кабинетъ. При этомъ оказалось,

что ему ужасно желалось тоже сдѣлать угодное Версиллову, такъ сказать, первый шагъ къ нему, а Версильовъ *позволилъ*. Распорядился же старшій князь въ отсутствіе своей дочери, вдовы-генеральши, которая навѣрно бы ему не позволила этого шагу. Объ этомъ послѣ, но замѣчу, что эта-то странность отношеній къ Версильову и поразила меня въ его пользу. Представлялось соображенію, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжаетъ питать уваженіе къ Версильову, то, стало быть, недѣлины или, по крайней мѣрѣ, двусмысленны и распушенные толки о подлости Версильова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступленіи: поступаю, а именно надѣялся все это провѣрить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль въ то время, какъ я засталъ ее въ Петербургѣ. Я почти забылъ о ней вовсе и ужъ никакъ не ожидалъ, что она съ такимъ значеніемъ. Она прежде встрѣчалась мнѣ раза три, четыре въ моей московской жизни, и являлась Богъ знаетъ откуда, по чьему-то порученію, всякій разъ, когда надо было меня гдѣ нибудь устроить, — при поступленіи-ли въ пансіонншею Тушара, или потомъ, черезъ два съ половиной года, при переводѣ меня въ гимназію и помѣщеніи въ квартирѣ незабвеннаго Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тотъ день, ревизовала мое бѣлье, платье, развѣзжала со мной на Кузнецкій и въ городъ, покупала мнѣ необходимыя вещи, устраивала, однимъ словомъ, все мое приданое до послѣдняго сундучка и перочиннаго ножика; при этомъ, все время шипѣла на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мнѣ въ примѣръ другихъ фантастическихъ какихъ-то мальчиговъ, ея знакомыхъ и родственниковъ, которые будто бы всѣ были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже нѣсколько разъ, и больно. Устроивъ меня и водворивъ на мѣстѣ, она исчезала на нѣсколько лѣтъ безслѣдно. Вотъ она-то, тотчасъ по моемъ приѣздѣ, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, съ птичьимъ востренькимъ носикомъ и птичьими острыми глазками. Версильову она служила, какъ раба, и преклонялась передъ нимъ какъ передъ папой, но по убѣжденію. Но скоро я съ удивленіемъ замѣтилъ, что ее рѣшительно всѣ и вездѣ уважали, и главное — рѣшительно вездѣ и всѣ знали. Старшій князь Сокольскій относился къ ней съ необыкновеннымъ почтеніемъ; въ его семействѣ тоже; эти гордые дѣти Версильова тоже; у Фанаріотовыхъ тоже, — а между тѣмъ она жила шитьемъ, промываніемъ какихъ-то кружевъ, брала изъ магазина работу. Мы съ нею съ перваго слова поссорились, потому что

она тотчасъ-же вздумала, какъ прежде, шесть лѣтъ тому, шипѣть на меня; съ тѣхъ поръ, продолжали ссориться каждый день: но это не мѣшало намъ иногда разговаривать и, признаюсь, къ концу мѣсяца, она мнѣ начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочемъ, я ее объ этомъ не увѣдомлялъ.

И сейчасъ же понялъ, что меня опредѣлили на мѣсто къ этому больному старику затѣмъ только, чтобъ его „тѣшить“, и что въ этомъ и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчасъ же принялъ бѣгу мѣры; но вскорѣ этотъ старикъ произвелъ во мнѣ какое-то неожиданное впечатлѣнiе, въ родѣ какъ бы жалости, и къ концу мѣсяца я какъ-то странно къ нему привязался, по крайней мѣрѣ оставилъ намѣренiе грубить. Ему, впрочемъ, было не болѣе шестидесяти. Тутъ вышла цѣлая исторiя. Года полтора назадъ, съ нимъ вдругъ случился припадокъ; онъ куда-то поѣхалъ и въ дорогѣ помѣшался, такъ что произошло нѣчто въ родѣ скандала, о которомъ въ Петербургѣ говорили. Какъ слѣдуетъ въ такихъ случаяхъ, его мигомъ увезли за границу, но мѣсяцевъ черезъ пять онъ вдругъ опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставилъ службу. Версильовъ увѣрялъ серьезно (и замѣтно горячо), что помѣшательства съ нимъ вовсе не было, а былъ лишь какой-то нервный припадокъ. Эту горячность Версильова я немедленно отмѣтилъ. Впрочемъ, замѣчу, что и самъ я почти раздѣлялъ его мнѣнiе. Старикъ казался только развѣ ужъ черезчуръ иногда легкомысленнымъ, какъ-то не по лѣтамъ, чего прежде совсѣмъ, говорить, не было. Говорили, что прежде онъ давалъ какiе-то гдѣ-то совѣты и однажды какъ-то слишкомъ ужъ отличился въ одномъ возложенномъ на него порученiи. Зная его цѣлый мѣсяць, я никакъ бы не предположилъ его особенной силы быть совѣтникомъ. Замѣчали за нимъ (хоть я и не замѣтилъ), что послѣ припадка въ немъ развилась какая-то особенная наклонность поскорѣ жениться и что будто бы онъ уже не разъ приступалъ къ этой идеѣ въ эти полтора года. Объ этомъ, будто бы, знали въ свѣтѣ и, кому слѣдуетъ, интересовались. Но такъ какъ это пополозновенiе слишкомъ не соответствовало интересамъ нѣкоторыхъ лицъ, окружавшихъ князя, то старика сторожили со всѣхъ сторонъ. Свое семейство у него было малое; онъ былъ вдовцомъ уже двадцать лѣтъ и имѣлъ лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали изъ Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой онъ несомнѣнно боялся. Но у него была бездна разныхъ отдаленныхъ родственниковъ, преимущественно по покойной его женѣ, которые всѣ были чуть не нищiе; кромѣ того, множество разныхъ его пи-

томцевъ и имъ благодѣтельствованныхъ питомицъ, которыя всѣ ожидали частички въ его завѣщаніи, а потому всѣ и помогали генеральнѣ въ надзорѣ за старикомъ. У него была, сверхъ того, одна странность, съ самаго молоду, не знаю только, смѣшная или нѣтъ: выдавать замужъ бѣдныхъ дѣвицъ. Онъ ихъ выдавалъ уже лѣтъ двадцать пять сряду— или отдаленныхъ родственницъ, или падчерицъ какихъ нибудь двоюродныхъ братьевъ своей жены, или крестницъ, даже выдалъ дочку своего швейцара. Онъ сначала бралъ ихъ къ себѣ въ домъ еще маленькими дѣвочками, растилъ ихъ съ гувернантками и французенками, потомъ обучалъ въ лучшихъ учебныхъ заведеніяхъ и наконецъ выдавалъ съ приданымъ. Все это около него тѣснилось постоянно. Питомицы естественно въ замужествѣ народили еще дѣвочекъ; всѣ народившіяся дѣвочки тоже норовили въ питомицы: вездѣ онъ долженъ былъ крестить, все это являлось поздравлять съ именинами, и все это ему было чрезвычайно пріятно.

Поступивъ къ нему, я тотчасъ замѣтилъ, что въ умѣ старика гнѣздилося одно тяжелое убѣжденіе — и этого никакъ нельзя было не замѣтить — что всѣ-де какъ-то странно стали смотрѣть на него въ свѣтѣ, что всѣ будто стали относиться къ нему не такъ, какъ прежде, къ здоровому; это впечатлѣніе не покидало его даже въ самыхъ веселыхъ свѣтскихъ собраніяхъ. Старикъ сталъ мнительнъ, сталъ замѣчать что-то у всѣхъ по глазамъ. Мысль, что его все еще подозрѣваютъ помѣшаннымъ, видимо его мучила; даже ко мнѣ онъ иногда приглядывался съ недоувѣрчивостью. И если бы онъ узналъ, что кто нибудь распространяетъ или утверждаетъ о немъ этотъ слухъ, то, кажется, этотъ злобивѣйшій человекъ сталъ бы ему вѣчнымъ врагомъ. Вотъ это-то обстоятельство я и прошу замѣтить. Прибавлю, что это и рѣшило съ перваго дня, что я не грубилъ ему; даже радъ былъ, если приводилось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтобъ признаніе это могло положить тѣнь на мое достоинство.

Большая часть его денегъ находилась въ оборотѣ. Онъ, уже послѣ болѣзни, вошелъ участникомъ въ одну большую акціонерную компанію, впрочемъ, очень солидную. И хоть дѣла вели другіе, но онъ тоже очень интересовался, посѣщалъ собранія акціонеровъ, выбранъ былъ въ члены-учредители, засѣдалъ въ совѣтахъ, говорилъ длинныя рѣчи, опровергалъ, шумѣлъ, и, очевидно, съ удовольствіемъ. Говорить рѣчи ему очень понравилось: по крайней мѣрѣ, всѣ могли видѣть его умъ. И вообще, онъ ужасно какъ полюбилъ даже въ самой интимной частной жизни вставлять въ свой разговоръ особенно глубокомысленныя вещи

или бонно; я это слишкомъ понимаю. Въ домѣ, внизу, было устроено въ родѣ домашней конторы, и одинъ чиновникъ велъ дѣла, счета и книги, а вмѣстѣ съ тѣмъ и управлялъ домою. Этого чиновника, служившаго, кромѣ того, на казенномъ мѣстѣ, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанію самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчасъ же былъ переведенъ въ кабинетъ, и часто, даже для виду, не имѣлъ предъ собою занятій, ни бумагъ, ни книгъ.

Я пишу теперь, какъ давно отрезвившійся человекъ и во многомъ уже почти какъ посторонній; но какъ изобразить мнѣ тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчасъ припомнилъ), засѣвшую въ сердце, а главное—мое тогдашнее волненіе, доходившее до такого смутнаго и горячаго состоянія, что я даже не спалъ по ночамъ—отъ нетерпѣнія моего, отъ загадокъ, которыя я самъ себѣ наставилъ.

II.

Спрашивать денегъ—прегадкая исторія, даже жалованье, если чувствуешь гдѣ-то въ складкахъ совѣсти, что ихъ не совсѣмъ заслужилъ. Между тѣмъ, наканунѣ мать, шепчась съ сестрой, тихонько отъ Верслова („чтобы не огорчить Андрея Петровича“), намѣревалась снести въ закладъ изъ кіота образъ, почему-то слишкомъ ей дорогой. Служилъ я на пятидесяти рублѣхъ въ мѣсяцъ, но совсѣмъ не зналъ, какъ я буду ихъ получать; опредѣляя меня сюда, мнѣ ничего не сказали. Два три назадъ, встрѣтившись внизу съ чиновникомъ, я освѣдомился у него: у кого здѣсь спрашиваютъ жалованье? Тотъ посмотрѣлъ съ улыбкой удивившагося человека (онъ меня не любилъ):

— А вы получаете жалованье?

Я думалъ, что вслѣдъ за моимъ отвѣтомъ онъ прибавитъ:

— За что же это-съ?

Но онъ только сухо отвѣтилъ, что „ничего не знаетъ“, и уткнулся въ свою разлинованную книгу, въ которую съ ~~какихъ-то~~ бумажекъ вставлялъ какіе-то счета.

Ему, впрочемъ, не безызвѣстно было, что я кое-что и дѣлалъ. Двѣ недѣли назадъ, я ровно четыре дня просидѣлъ надъ работою, которую онъ же мнѣ и передалъ: переписать съ черновой, а вышло почти пересочинить. Это была цѣлая аравя „мыслей“ князя, которыя онъ готовился подать въ комитетъ акціонеровъ. Надо было все это скомпоновать въ цѣлое и поддѣлать слогъ. Мы цѣлый день потомъ проси-

дѣли надъ этой бумагой съ княземъ, и онъ очень горячо со мной спорилъ, однако же остался доволенъ; не знаю только, подалъ ли бумагу или нѣтъ? О двухъ, трехъ письмахъ, тоже дѣловыхъ, которыя я написалъ по его просьбѣ, я и не упоминаю.

Просить жалованья мнѣ и потому было досадно, что я уже положилъ отказаться отъ должности, предчувствуя, что принужденъ буду удалиться и отсюда, по неминуемымъ обстоятельствамъ. Проснувшись въ то утро и одѣваясь у себя наверху въ коморкѣ, я почувствовалъ, что у меня забилось сердце, и хотъ я плевался, но, входя въ домъ князя, я снова почувствовалъ тоже волненіе: въ это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, отъ прибытія которой я ждалъ разъясненія всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорилъ и которая была въ жестокой враждѣ съ Версиловымъ. Наконецъ, я написалъ это имя! Ее я, конечно, никогда не видалъ, да и представить не могъ, какъ буду съ ней говорить и буду ли; но мнѣ представлялось (можетъ быть, и на достаточныхъ основаніяхъ), что съ ея пріѣздомъ разсѣется и мракъ, окружавшій въ моихъ глазахъ Версилова. Твердымъ я оставаться не могъ: было ужасно досадно, что съ перваго же шагу я такъ малодушенъ и неловокъ; было ужасно любопытно, а, главное, противно,—цѣлыхъ три впечатлѣнія. Я помню весь тотъ день наизусть!

О вѣроятномъ прибытіи дочери мой князь еще не зналъ ничего и предполагалъ ея возвращеніе изъ Москвы развѣ черезъ недѣлю. Я же узналъ наканунѣ совершенно случайно: проговорилась при мнѣ моей матери Татьяна Павловна, получившая отъ генеральни письмо. Онѣ хотъ и шептались и говорили отдаленными выраженіями, но я догадался. Разумѣется, не подслушивалъ: просто не могъ не слушать, когда увидѣлъ, что вдругъ, при извѣстіи о пріѣздѣ этой женщины, такъ взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотѣлъ передавать, потому что не могъ не замѣтить во весь этотъ срокъ, какъ онъ труситъ ея пріѣзда. Онъ даже, дня три тому назадъ, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится съ ея пріѣздомъ за меня, т. е. что за меня ему будетъ тѣска. Я, однако, долженъ прибавить, что въ отношеніяхъ семейныхъ онъ все таки сохранялъ свою независимость и главенство, особенно въ распоряженіи деньгами. Я сперва заключилъ о немъ, что онъ—совсѣмъ баба; но потомъ долженъ былъ перезаключить въ томъ смыслѣ, что если и баба, то все таки оставалось въ немъ какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, въ которыя съ характеромъ его—повиди-

кому, трусливымъ и поддающимся—почти ничего нельзя было сдѣлать. Мнѣ это Версиковъ объяснилъ потомъ подробно. Упоминаю теперь съ любопытствомъ, что мы съ нимъ почти никогда и не говорили о генеральствѣ, т. е. какъ бы избѣгали говорить: избѣгалъ особенно я, а онъ, въ свою очередь, избѣгалъ говорить о Версиковѣ, и я прямо догадался, что онъ не будетъ мнѣ отвѣчать, если я задамъ который нибудь изъ щекотливыхъ вопросовъ, меня такъ интересовавшихъ.

Если же захотятъ узнать, объ чемъ мы весь этотъ мѣсяцъ съ нимъ проговорили, то отвѣчу, что, въ сущности, обо всемъ на свѣтѣ, но не о странныхъ какихъ-то вещахъ. Мнѣ очень нравилось чрезвычайное простодушіе, съ которымъ онъ ко мнѣ относился. Иногда я съ чрезвычайнымъ недоумѣніемъ всматривался въ этого человѣка и задавалъ себѣ вопросъ: „Гдѣ же это онъ прежде засѣдалъ? Да его какъ разъ бы въ нашу гимназію, да еще въ четвертый классъ,—и премилый вышелъ бы товарищъ“. Удивлялся я тоже не разъ и его лицу: оно было на видъ чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые, сѣдые вьющіеся волосы, открытые глаза; да и весь онъ былъ сухощавъ, хорошаго роста; но лицо его имѣло какое-то непріятное, почти неприличное свойство вдругъ перемѣняться изъ необыкновенно серьезнаго на слишкомъ ужъ игривое, такъ что въ первый разъ видѣвшій никакъ бы не ожидалъ этого. Я говорилъ объ этомъ Версикову, который съ любопытствомъ меня выслушалъ; кажется, онъ не ожидалъ, что я въ состояніи дѣлать такіа замѣчанія, замѣтилъ вскользь, что это явилось у князя уже послѣ болѣзни и развѣ въ самое только послѣднее время.

Преимущественно мы говорили о двухъ отвлеченныхъ предметахъ,— о Богѣ и бытіи Его, т. е. существуетъ Онъ или нѣтъ,—и объ женщинахъ. Князь былъ очень религіозенъ и чувствителенъ. Въ кабинетѣ его висѣлъ огромный кіотъ съ лампадкой. Но вдругъ на него находило—и онъ вдругъ начиналъ сомнѣваться въ бытіи Божіемъ и говорилъ удивительныя вещи, явно вызывая меня на отвѣтъ. Къ идеѣ этой я былъ довольно равнодушенъ, говоря вообще, но все таки мы очень увлекались оба и всегда искренно. Вообще, всѣ эти разговоры даже и теперь, вспоминаю съ пріятностью. Но всего милѣе ему было поболтать о женщинахъ, и такъ какъ я, по недобри моей къ разговорамъ на эту тему, не могъ быть хорошимъ собесѣдникомъ, то онъ иногда даже огорчался.

Онъ какъ разъ заговорилъ въ этомъ родѣ, только что я пришелъ въ это утро. Я засталъ его въ настроеніи игривомъ, а вчера оставилъ отчего-то въ чрезвычайной грусти. Между тѣмъ, мнѣ надо было не-

премѣнно окончить сегодня же объ жалованьѣ, — до прїѣзда нѣкоторыхъ лицъ. Я рассчитывалъ, что насъ сегодня непременно *прервутъ* (не даромъ же билось сердце), — и тогда, можетъ, я и не рѣшусь заговорить объ деньгахъ. Но такъ какъ о деньгахъ не заговаривалось, то я естественно разсердился на мою глупость, и, какъ теперь помню, въ досадѣ на какой-то слишкомъ ужъ веселый вопросъ его, изложилъ ему мои взгляды на женщинъ залпомъ и съ чрезвычайнымъ азартомъ. А изъ того вышло, что онъ еще больше увлекся на мою же шею.

III.

— ...Я не люблю женщинъ за то, что онѣ грубы, за то, что неловки, за то, что онѣ не самостоятельны и за то, что носятъ неприличный костюмъ! безсвязно заключилъ я мою длинную тираду.

— Голубчикъ, пощади! вскричалъ онъ, ужасно развеселившись, что еще хуже обозлило меня.

Я уступчивъ и мелочень только въ мелочахъ, но въ главномъ не уступлю никогда. Въ мелочахъ же, въ какихънибудь свѣтскихъ приемахъ, со мной Богъ знаетъ что можно сдѣлать, и я всегда проклиная въ себѣ эту черту. Изъ какого-то смердашаго добродушія, а иногда бывалъ готовъ поддакивать даже какомунибудь свѣтскому фату, единственно оболыщенный его вѣжливостью, или ввязывался въ споръ съ дуракомъ, что всего непростительнѣе. Все это отъ невыдержки и отъ того, что выросъ въ углу, но завтра опять тоже самое. Вотъ почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилѣтняго. Но вмѣсто прїобрѣтенія выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше въ уголь, хотя бы въ самомъ мизантропическомъ видѣ: „Пусть я неловокъ, но — прощайте!“ Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочемъ, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашняго разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, почти закричалъ я на него: — я просто высказываю убѣжденіе.

— Но какъ же это женщины грубы и одѣты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите въ театръ, подите на гулянье. Всякій изъ мужчинъ знаетъ правую сторону, сойдутся и разойдутся, онъ вправо и я вправо. Женщина, т. е. дама — я объ дамахъ говорю — такъ и претъ на васъ прямо, даже не замѣчая васъ, точно вы ужъ такъ непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готовъ уступить, какъ созданью слабѣйшему, но почему тутъ право, по-

чему она такъ увѣрена, что я это обязанъ, — вотъ что оскорбительно! Я всегда плевался встрѣчаясь. И послѣ того кричать, что онѣ при-
нижены и требуютъ равенства; какое тутъ равенство, когда она меня топчетъ или напихаетъ мнѣ въ ротъ песокъ!

— Песку!

— Да; потому что онѣ неприлично одѣты — это только разврат-
ный не замѣтитъ. Въ судахъ запираютъ же двери, когда дѣло идетъ
о неприличностяхъ: зачѣмъ же позволяютъ на улицахъ, гдѣ еще боль-
ше людей? Онѣ сзади себѣ открыто фру-фру подкладываютъ, чтобъ по-
казать, что бельфамъ; открыто! Я вѣдь не могу не замѣтить, и юноша
тоже замѣтитъ, и ребенокъ, начинающій мальчикъ, тоже замѣтитъ; это
модно. Пусть любятъ старые развратники и бѣгутъ, высуня языкъ,
но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться.
Идетъ по бульвару, а сзади пустить шлейфъ въ полтора аршина и пыль
лететь; каково идти сзади: или бѣги обгоняй, или отскакивай въ сторону,
не то и въ носъ, и въ ротъ она вамъ пять фунтовъ песку напихаетъ.
Бѣ тому же, это шельма, она его треплетъ по камню три версты, изъ
одной только моды, а мужъ пятьсотъ рублей въ сенатѣ въ годъ полу-
чаетъ: вотъ гдѣ взятки-то сидятъ! Я всегда плевался, вслухъ пле-
вался и бранился.

Хоть я и выписываю этотъ разговоръ нѣсколько въ юморѣ и съ
тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило съ рукъ? полюбопытствовалъ князь.

— Я плюну и отойду. Разумѣется, почувствуетъ, а виду не по-
кажетъ, претъ величественно, не повернувъ головы. А побранился я со-
вершенно серьезно всего одинъ разъ съ какими-то двумя, обѣ съ хво-
стами, на бульварѣ, — разумѣется, не съверными словами, а только вслухъ
замѣтилъ, что хвостъ оскорбителенъ.

— Такъ и выразился?

— Конечно. Во первыхъ, она попираетъ условія общества, а, во
вторыхъ, пылить, а бульваръ для всѣхъ; я иду, другой идетъ, третій,
Федоръ, Иванъ, все равно. Вотъ это я и высказалъ. И вообще, я не
люблю женскую походку, если сзади смотрѣтъ; это тоже высказалъ, но
намекомъ.

— Другъ мой, но вѣдь ты можешь попасть въ серьезную исторію:
онѣ могли стащить тебя къ мировому?

— Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идетъ человекъ
подлѣ и разговариваетъ самъ съ собой. Всякій человекъ имѣетъ право
выражать свое убѣжденіе на воздухъ. Я говорилъ отвлеченно, къ нимъ

не обращался. Онѣ привязались сами: онѣ стали браниться, онѣ гораздо сквернѣе бранились, чѣмъ я: и молокососъ, и безъ кушанья оставить надо, и нигилистъ, и городовому отдадутъ, и что я потому привязался, что онѣ однѣ, и слабыя женщины, а былъ бы съ ними мужчина, такъ я бы сейчасъ хвостъ поджаль. Я хладнокровно объявилъ, чтобы онѣ перестали ко мнѣ приставать, а я перейду на другую сторону. „А чтобы доказать имъ, что я не боюсь ихъ мужчинъ и готовъ принять вызовъ, то буду идти за ними въ двадцати шагахъ до самаго ихъ дома, затѣмъ стану передъ домомъ и буду ждать ихъ мужчинъ.“ Такъ и сдѣлалъ.

— Неужто?

— Конечно, глупость, но я былъ разгораченъ. Онѣ протащили меня версты три слишкомъ, по жарѣ, до институтовъ, вошли въ деревянный одноэтажный домъ, — я долженъ сознаться весьма приличный, — а въ окна видно было въ домѣ много цвѣтовъ, двѣ канарейки, три шавки и эстампы въ рамкахъ. Я простоялъ среди улицы передъ домомъ съ полчаса. Онѣ выглянули раза три украдкой, а потомъ опустили всѣ шторы. Наконецъ, изъ калитки вышелъ какой-то чиновникъ пожилой; судя по виду, спалъ, и его нарочно разбудили; не то что въ халатѣ, а такъ, въ чемъ-то очень домашнемъ; сталъ у калитки, заложилъ руки назадъ и началъ смотрѣть на меня, а — на него. Потомъ отведетъ глаза, потомъ опять посмотритъ и вдругъ сталъ мнѣ улыбаться. Я повернулся и ушелъ.

— Другъ мой, это что-то Шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, съ лица твоего прищепъ здоровьемъ и — такое, можно сказать, отвращеніе отъ женщинъ! Какъ можно, чтобы женщина не производила въ твои лѣта извѣстнаго впечатлѣнія? Мнѣ, *mon cher*, еще одиннадцатилѣтнему, губернёръ замѣчалъ, что я слишкомъ засматриваюсь въ Лѣтнемъ Саду на статуи.

— Вамъ ужасно хочется, чтобы я сходилъ къ какойнибудь здѣшной Жозефинѣ и пришелъ вамъ донести. Незачѣмъ; я и самъ еще тринадцати лѣтъ видѣлъ женскую наготу, всю; съ тѣхъ поръ и почувствовалъ омерзеніе.

— Серьезно? Но, *cher enfant*, отъ красивой свѣжей женщины яблокомъ пахнетъ, какое-жъ тутъ омерзеніе!

— У меня былъ въ прежнемъ пансіонишкѣ, у Тушара, еще до гимназіи, одинъ товарищъ, Ламбертъ. Онъ все меня билъ, потому что былъ больше чѣмъ тремя годами старше, а я ему служилъ и сапоги снималъ. Когда онъ вѣдиль на конфирмацію, то къ нему прѣхалъ

аббатъ Риго поздравить съ первымъ причастіемъ, и оба кинулись въ слезахъ другъ другу на шею, и аббатъ Риго сталъ его ужасно прижимать къ своей груди, съ разными жестами. Я тоже плакалъ и очень завидовалъ. Когда у него умеръ отецъ, онъ вышелъ, и я два года его не видалъ, а черезъ два года встрѣтилъ на улицѣ. Онъ сказалъ, что ко мнѣ придетъ. Я уже былъ въ гимназій и жилъ у Николая Семеновича. Онъ пришелъ поутру, показалъ мнѣ пятьсотъ рублей и велѣлъ съ собой ѣхать. Хотя онъ и билъ меня два года назадъ, а всегда во мнѣ нуждался, не для однихъ сапогъ; онъ все мнѣ пересказывалъ. Онъ сказалъ, что деньги утащилъ сегодня у матери изъ шкапушки, поддѣлавъ ключъ, потому что деньги отъ отца все его, по закону, и что она не смѣетъ не давать, а что вчера къ нему приходилъ аббатъ Риго увѣщевать — вошелъ, сталъ надъ нимъ и сталъ хныкать, изображать ужасъ и поднимать руки къ небу, „а я вынулъ ножъ и сказалъ, что я его зарѣжу“ (онъ выговаривалъ: загхэжу). Мы поѣхали на Кузнецкій. Дорогой онъ мнѣ сообщилъ, что его мать въ сношеніяхъ съ аббатомъ Риго, и что онъ это замѣтилъ, и что онъ на все плюетъ, и что все, что они говорятъ про причастіе—вздоръ. Онъ еще много говорилъ, а я боялся. На Кузнецкомъ онъ купилъ двухствольное ружье, ягдташъ, готовыхъ патроновъ, манежный хлыстъ и потомъ еще фунтъ конфектъ. Мы поѣхали за городъ стрѣлять и дорогою встрѣтили птицелова съ клѣтками; Ламбертъ купилъ у него канарейку. Въ роцѣ онъ канарейку выпустилъ, такъ какъ она не можетъ далеко улетѣть послѣ клѣтки, и сталъ стрѣлять въ нее, но не попалъ. Онъ въ первый разъ стрѣлялъ въ жизни, а ружье давно хотѣлъ купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружьѣ мечтали. Онъ точно захлебывался. Волосы у него были черныя ужасно, лицо бѣлое и румяное, какъ на маскѣ, носъ длинный, съ горбомъ, какъ у французовъ, зубы бѣлые, глаза черныя. Онъ привязалъ канарейку ниткой къ сучку, и изъ двухъ стволовъ, въ упоръ, на вершокъ разстоянія, далъ по ней два залпа, и она разлетѣлась на сто перушковъ. Потомъ мы воротились, заѣхали въ гостинницу, взяли номеръ, стали ѣсть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, былъ очень пораженъ тѣмъ, какъ пышно она была одѣта, въ зеленомъ шелковомъ платьѣ. Тутъ я все это и увидѣлъ... Но что вамъ говорилъ... Потомъ, когда мы стали опять пить, онъ сталъ насъ дразнить и ругать; она сидѣла безъ платья; онъ отнял платье и когда она стала браниться и просить платье, чтобъ одѣться, онъ началъ ее изо всей силы хлестать по голымъ плечамъ хлыстомъ. Я всталъ, схватилъ его за волосы и такъ ловко, что съ одного раза бросилъ на

поль. Онъ схватилъ вилку и тенулъ меня въ ляшку. Тутъ на крикъ вбѣжали люди, а я успѣлъ убѣжать. Съ тѣхъ поръ мнѣ мерзко вспомнить о наготѣ; повѣрьте, чла красавица.

По мѣрѣ, какъ я говорилъ, у князя измѣнялось лицо съ игриваго на очень грустное.

— Mon pauvre enfant! Я всегда былъ убѣжденъ, что въ твоёмъ дѣтствѣ было очень много несчастныхъ дней.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Но ты былъ одинъ, ты самъ говорилъ мнѣ, и хоть бы этотъ Lambert; ты это такъ очертилъ: эта канарейка, эта конфирмація со слезами на груди и потомъ, черезъ какойнибудь годъ, онъ о своей матери съ аббатомъ... О, mon cher, этотъ дѣтскій вопросъ въ наше время просто страшень: покажѣтъ эти золотыя головки, съ кудрями и съ невинностью, въ первомъ дѣтствѣ, порхаютъ передъ тобой и смотрятъ на тебя съ ихъ свѣтлымъ смѣхомъ и свѣтлыми глазами,—то точно ангелы Божіи или предестыныя птички; а потомъ... а потомъ случается, что лучше бы они и не выросли совсѣмъ!

— Какой вы, князь, расслабленный! И точно у васъ у самихъ дѣти. Вѣдь у васъ нѣтъ дѣтей и никогда не будетъ?

— Tiens! мгновенно измѣнилось все лицо его,—какъ разъ Александра Петровна, —третьяго дня, хе-хе!—Александра Петровна Синицкая, —ты, кажется, ее долженъ былъ здѣсь встрѣтить недѣли три тому, —представь, она третьяго дня, вдругъ мнѣ, на мое веселое замѣчаніе, что если я теперь женюсь, то, по крайней мѣрѣ, могу быть спокоенъ, что не будетъ дѣтей, — вдругъ она мнѣ и даже съ такою злостью: „Напротивъ, у васъ-то и будутъ: у такихъ-то, какъ вы, и бывають непременно, съ перваго даже года пойдуть, увидите“. Хе-хе! И всѣ почему-то вообразили, что я вдругъ женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись—остроумно.

— Остроумно, да обидно.

— Ну, cher enfant, не отъ всякаго можно обидѣться. Я цѣню больше всего въ людяхъ остроуміе, которое видимо исчезаетъ, а что тамъ Александра Петровна скажетъ—развѣ можетъ считаться?

— Какъ, какъ вы сказали? привязался я:—не отъ всякаго можно... именно такъ! Не всякій стоитъ, чтобы на него обращать вниманіе—превосходное правило! Именно я въ немъ нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилыя вещи.

Онъ весь и просіялъ.

— N'est ce pas? Cher enfant, истинное остроуміе исчезаетъ чѣмъ

дальше, тѣмъ пуще. Eh, mais... C'est moi qui connait les femmes! Повѣрь, жизнь всякой женщины, что бы она тамъ ни проповѣдывала, это—вѣчное исکانіе кому бы подчинити^{сь}. такъ сказать, жажда подчиниться. И замѣть себя—безъ единаго^{го} исключенія.

— Совершенно вѣрно, великолѣпно! вскричалъ я въ восхищеніи. Въ другое время мы бы тотчасъ же пустились въ философскія размышленія на эту тему, на цѣлый часъ, но вдругъ меня какъ будто что-то укусило, и я весь покраснѣлъ. Мнѣ представилось, что я, похваляя его бодро, подлецаюсь къ нему передъ деньгами и что онъ непремѣнно это подумаетъ, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь объ этомъ.

— Князь, я васъ покорнѣйше прошу выдать мнѣ сейчасъ же должны мнѣ вами пятьдесятъ рублей за этотъ мѣсяцъ, выпалилъ я заломъ и раздражительно до грубости.

Помню (такъ какъ я помню все это утро до мелочи), что между нами произошла тогда прегадкая, по своей реальной правдѣ, сцена. Онъ меня сперва не понялъ, долго смотрѣлъ и не понималъ, про какія это деньги я говорю. Естественно, что онъ и не воображалъ, что я получаю жалованье — да и за что? Правда, онъ сталъ увѣрять потомъ, что забылъ и, когда догадался, мигомъ сталъ вынимать пятьдесятъ рублей, но заторопился и даже покраснѣлся. Видя въ чемъ дѣло, я всталъ и рѣзко заявилъ, что не могу теперь принять деньги, что мнѣ сообщили о жалованьѣ, очевидно, ошибочно или обманомъ, чтобъ я не отказался отъ мѣста, и что я слишкомъ теперь понимаю, что мнѣ не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и сталъ увѣрять, что я ужасно много служилъ, что я буду еще больше служить и что пятьдесятъ рублей такъ ничтожно, что онъ мнѣ, напротивъ, еще прибавитъ, потому что онъ обязанъ, и что онъ самъ радился съ Татьяной Павловной, но „непростительно все позабылъ“. Я вспыхнулъ и окончательно объявилъ, что мнѣ низко получать жалованье за скандальные рассказы о томъ, какъ я провожалъ два хвоста къ институтамъ, что я не потѣшать его нанялся, а заниматься дѣломъ, а когда дѣла нѣтъ, то надо покончить и т. д., и т. д. Я и представить не могъ, чтобы можно было такъ испугаться, какъ онъ, послѣ этихъ словъ моихъ. Разумѣется, покончили тѣмъ, что я пересталъ возражать, а онъ всучилъ-таки мнѣ пятьдесятъ рублей: до сихъ поръ вспоминаю, съ краской въ лицѣ, что ихъ принялъ! На свѣтѣ всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, онъ тогда съумѣлъ-таки почти доказать мнѣ, что я заслужилъ неоспоримо, а я имѣлъ глупость

повѣрить, и притомъ какъ-то рѣшительно невозможно было не взять.

— Cher, cher enfant! восклицалъ онъ, цалуя меня и обвиняя (признаюсь, я самъ было заплакалъ чортъ знаетъ съ чего, хоть мигомъ воздержался, и даже теперь, какъ пишу, у меня краска въ лицѣ) — милый другъ, ты мнѣ теперь какъ родной; ты мнѣ въ этотъ мѣсяцъ сталъ какъ кусокъ моего собственнаго сердца! Въ „свѣтъ“ только „свѣтъ“ и больше ничего. Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижаетъ... Ну, а эти дѣвочки (elles sont charmantes) и ихъ матери, которыя прѣзжаютъ въ имянины, — такъ вѣдь онѣ только свою канву привозятъ, а сами ничего не умѣютъ сказать. У меня на шестьдесятъ подушекъ ихъ канвы накоплено, все собаки, да олени. Я ихъ очень люблю, но съ тобой я почти какъ съ роднымъ, — и не сыномъ, а братомъ, и особенно люблю, когда ты возражаешь: ты литературенъ, ты читалъ, ты умѣешь восхищаться...

— Я ничего не читалъ и совсѣмъ не литературенъ. Я читалъ что попадется, а послѣдніе два года совсѣмъ ничего не читалъ и не буду читать.

— Почему не будешь?

— У меня другія цѣли.

— Cher... жаль, если въ концѣ жизни скажешь себѣ какъ и я: Je sais tout, mais je ne sais rien de bon. Я рѣшительно не знаю, для чего я жилъ на свѣтѣ! Но... я тебѣ столько обязанъ... и я даже хотѣлъ...

Онъ какъ-то вдругъ оборвалъ, раскисъ и задумался. Послѣ потрясеній (а потрясенія съ нимъ могли случаться поминутно, Богъ знаетъ съ чего) онъ, обыкновенно, на нѣкоторое время какъ бы терялъ здравость разсудка и переставалъ управлять собой; впрочемъ, скоро и поправлялся, такъ что все это было не вредно. Мы просидѣли съ минуту. Нижняя губа его, очень полная, совсѣмъ отвисла... всего болѣе удивило меня, что онъ вдругъ упомянулъ про свою дочь, да еще съ такою откровенностью. Конечно, я приписалъ разстройству.

— Cher enfant, ты вѣдь не сердись за то, что я тебѣ *ты* говорю, не правда ли? вырвалось у него вдругъ.

— Нисколько. Признаюсь, сначала, съ первыхъ разовъ, я былъ нѣсколько обиженъ и хотѣлъ вамъ самимъ сказать *ты*, но увидалъ, что глупо, потому что не для того же, чтобъ унижить меня, вы мнѣ *ты* говорите?

Онъ уже не слушалъ и забылъ свой вопросъ.

— Ну, что отецъ? поднялъ онъ вдругъ на меня задумчивый взглядъ.

Я такъ и вздрогнулъ. Во первыхъ, онъ Версилова обозначилъ мѣнѣ отцомъ, — чего бы онъ себѣ никогда со мной не позволилъ, а во вторыхъ, заговорилъ о Версиловѣ, чего никогда не случалось.

— Сидить безъ денегъ и хандрить, отвѣтилъ я кратко, но самъ стора отъ любопытства.

— Да, на счетъ денегъ. У него сегодня въ окружномъ судѣ рѣшится ихъ дѣло, и я жду князя Сережу, съ чѣмъ-то онъ придетъ. Общался прямо изъ суда ко мнѣ. Вся ихъ судьба; тутъ шестьдесятъ или восемьдесятъ тысячъ. Конечно, я всегда желалъ добра и Андрею Петровичу (то есть Версилову), и, кажется, онъ останется побѣдителемъ, а князья ни причежь. Законъ!

— Сегодня въ судѣ? воскликнулъ я, пораженный.

Мысль, что Версиловъ даже и это пренебрегъ мнѣ сообщить, чрезвычайно поразила меня. „Стало быть, не сказалъ и матери, можетъ, никому“, представилось мнѣ тотчасъ же, — „вотъ характеръ!“

— А развѣ князь Сокольскій въ Петербургѣ? поразила меня вдругъ другая мысль.

— Со вчерашняго дня. Прямо изъ Берлина, нарочно къ этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня извѣстiе. „И онъ придетъ сегодня сюда, этотъ человекъ, который далъ ему пощечину!“

— Ну, и чтожь, — измѣнилось вдругъ все лицо князя, — проповѣдуетъ Бога по прежнему и, и... пожалуй, опять по дѣвочкамъ, по неоперившимся дѣвочкамъ? Хе-хе! Тутъ и теперь презабавный наклевывается одинъ анекдотъ... Хе-хе!

— Кто проповѣдуетъ? Кто по дѣвочкамъ?

— Андрей Петровичъ! Вѣришь ли, онъ тогда присталъ ко всѣмъ намъ, какъ листъ: что дескать, ѣдимъ, объ чемъ мыслимъ? — То есть, почти такъ. Пугаль и очищаль: „Если ты религіозенъ, то какъ же ты не идешь въ монахи?“ Почти это и требоваль. Mais quelle idée! Если и правильно, то не слишкомъ ли строго? Особенно меня любилъ страшнымъ судомъ пугать, меня изъ всѣхъ.

— Ничего этого я не замѣтилъ, вотъ ужъ мѣсяць съ нимъ живу, отвѣчалъ я, вслушиваясь съ нетерпѣньемъ. — Мнѣ ужасно было досадно, что онъ не оправился и мямлил такъ безсвязно.

— Это онъ только не говоритъ теперь, а повѣрь, что такъ. Человекъ остроумный, безспорно, и глубоко ученый; но правильный ли

это умъ? Это все послѣ трехъ лѣтъ его за границей съ нимъ произошло. И, признаюсь, меня очень потрясъ... и всѣхъ потрясалъ... *Cher enfant, j'aime le bon Dieu...* Я вѣрую, вѣрую сколько могу, но — я рѣшительно выпелъ тогда изъ себя. Положимъ, что я употреблялъ приемъ легкомысленный, но я это сдѣлалъ нарочно, въ досадѣ, — и къ тому же сущность моего возраженія была также серьезна, какъ была и съ начала міра: „Если высшее существо“, говорю ему, „есть, и существуетъ *персонально*, а не въ видѣ разлитого тамъ духа какого-то по творенію, въ видѣ жидкости что-ли (потому что это еще труднѣе понять), — то гдѣ же Онъ живетъ? Другъ мой, *c'était bête*, безъ сомнѣнія, но вѣдь и всѣ возраженія на это же сводятся. *Un domicile* — это важное дѣло. Ужасно разсердился. Онъ тамъ въ католичество перешелъ.

— Объ этой идеѣ я тоже слышалъ. Навѣрно, вздоръ.

— Увѣряю тебя всѣмъ, что есть свято. Вглядись въ него... Впрочемъ, ты говоришь, что онъ измѣнился. Ну, а въ то время, какъ онъ насъ всѣхъ тогда измучилъ! Вѣришь ли, онъ держалъ себя такъ, какъ будто святой, и его мощи явятся. Онъ у насъ отчета въ поведеніи требовалъ, клянусь тебѣ! Мощи! *En voilà une autre!* Ну, пусть тамъ монахъ или пустынный, — а тутъ человѣкъ ходитъ во фракѣ, ну, и тамъ все... и вдругъ его мощи! Странное желаніе для свѣтскаго человѣка и, признаюсь, странный вкусъ. Я тамъ ничего не говорю: конечно, все это святыня, и все можетъ случиться... Къ тому же, все это *de l'incognu*, но свѣтскому человѣку даже и неприлично. Еслибы какънибудь случилось со мной, или тамъ мнѣ предложили, то, клянусь, я бы отклонилъ. Ну, я, вдругъ, сегодня обѣдаю въ клубѣ, и вдругъ потомъ — *являюсь!* Да я насмѣшу! Все это я ему тогда же и изложилъ... Онъ вериги носилъ.

Я покраснѣлъ отъ гнѣва.

— Вы сами видѣли вериги?

— Я самъ не видалъ, но...

— Такъ объявляю же вамъ, что все это — ложь, сплетеніе гнусныхъ козней и клевета враговъ, то есть одного врага, одного главнѣйшаго и безчеловѣчнаго, потому что у него одинъ только врагъ и есть: это — ваша дочь!

Князь вспыхнулъ въ свою очередь.

— *Mon cher*, я прошу тебя и настаиваю, чтобъ отнынѣ никогда впредь при мнѣ не упоминать рядомъ съ этой гнусной исторіей имя моей дочери.

Я приподнялся. Онъ былъ внѣ себя; подбородокъ его дрожалъ.

— Cette histoire infâme!.. Я ей не вѣрилъ, я не хотѣлъ никогда вѣрить, но... мнѣ говорятъ: вѣрь, вѣрь, я...

Тутъ вдругъ вошелъ лакей и возвѣстилъ визитъ; я опустился опять на мой стулъ.

IV.

Вошли двѣ дамы, обѣ дѣвицы, одна—падчерица одного двоюроднаго брата покойной жены князя, или что-то въ этомъ родѣ, воспитанница его, которой онъ уже выдѣлилъ приданое и которая (замѣчу для будущаго) и сама была съ деньгами; вторая—Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая съ своимъ братомъ у Фанаріотовой, и которую я видѣлъ до этого времени всего только разъ въ моей жизни, мелькомъ на улицѣ, хотя съ братомъ ея, тоже мелькомъ, уже имѣлъ въ Москвѣ стычку (очень можетъ быть и упомяну объ этой стычкѣ впоследствии, если мѣсто будетъ, потому что, въ сущности, не стоитъ). Эта Анна Андреевна была съ дѣтства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова съ княземъ началось ужасно давно). Я былъ такъ смущенъ только что происшедшимъ, что, при входѣ ихъ, даже не всталъ, хотя князь всталъ имъ на встрѣчу; а потомъ подумалъ, что ужъ стыдно вставать, и остался на мѣстѣ. Главное, я былъ сбитъ тѣмъ, что князь такъ закричалъ на меня три минуты назадъ, и все еще не зналъ: уходить мнѣ, или нѣтъ. Но старикъ мой уже все забылъ совѣмъ, по своему обыкновенію, и весь пріятно оживился при видѣ дѣвиць. Онъ даже, съ быстро переимѣнившейся фізіономіей и какъ-то таинственно подмигивая, успѣлъ прошептать мнѣ наскоро предъ самымъ ихъ входомъ:

— Вглядишь въ Олимпиаду, гляди пристальнѣе, пристальнѣе... потомъ расскажу...

Я глядѣлъ на нее довольно пристально и ничего особеннаго не находилъ: не такъ высокаго роста дѣвица, полная и съ чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочемъ, довольно пріятное, изъ нравящихся матеріалистамъ. Можетъ быть, выраженіе доброты, но со складкой. Особенной интелекціей не могла блистать, но только въ высшемъ смыслѣ, потому что хитрость была видна по глазамъ. Лѣтъ не болѣе девятнадцати. Однимъ словомъ, ничего замѣчательнаго. У насъ въ гимназій сказали бы: подушка. (Если я описываю въ такой подробности, то единственно для того, что понадобится въ будущемъ).

Впрочемъ, и все, что описывалъ до сихъ поръ, повидимому, съ

такой ненужной подробностью, — все это ведетъ въ будущее и тамъ понадобится. Въ своемъ мѣстѣ все отзовется; избѣжать не умѣлъ; а если скучно, то прошу не читать.

Совсѣмъ другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замѣчательно блѣдное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большіе, взглядъ глубокій; малыя и алма губы, свѣжій ротъ. Первая женщина, которая мнѣ не внушала омерзения походкой; впрочемъ, она была тонка и сухожава. Выраженіе лица не совсѣмъ доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства съ Версильовымъ, а, между тѣмъ, какимъ-то чудомъ, необыкновенное сходство съ нимъ въ выраженіи физиономіи. Не знаю, хороша ли она собой; тутъ какъ на вкусъ. Обѣ были одѣты очень скромно, такъ что не стоитъ описывать. Я ждалъ, что буду тотчасъ обиженъ какимъ нибудь взглядомъ Версильовой или жестомъ, и приготовился; обидѣлъ же меня ея братъ въ Москвѣ, съ перваго же нашего столкновенія въ жизни. Она меня не могла знать въ лицо, но, конечно, слышала, что я хожу къ князю. Все, что предполагалъ или дѣлалъ князь, во всей этой кучѣ его родныхъ и „ожидающихъ“ тотчасъ же возбуждало интересъ и являлось событіемъ, — тѣмъ болѣе его внезапное пристрастіе ко мнѣ. Мнѣ положительно было извѣстно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искалъ ей жениха. Но для Версильовой было труднѣе найти жениха, чѣмъ тѣмъ, которыя вышивали по канвѣ.

И вотъ, противъ всѣхъ ожиданій, Версильова, пожавъ князю руку и обмѣнявшись съ нимъ какими-то веселыми свѣтскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрѣла на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдругъ мнѣ съ улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась, какъ вошедшая, но улыбка была до того добрая, что видимо была преднамѣренная. И, помню, я испыталъ необыкновенно пріятное ощущеніе.

— А это... а это — мой милый и юный другъ Аркадій Андреевичъ Дол... пролетѣлъ князь, замѣтивъ, что она мнѣ поклонилась, а я все сижу. — и вдругъ осѣкся: можетъ, сконфузился, что меня съ ней знакомить (то есть, въ сущности, брата съ сестрой). Подушка тоже мнѣ поклонилась; но я вдругъ преглупо вскипѣлъ и вскочилъ съ мѣста: приливъ выдѣланной гордости, совершенно безсмысленной; все отъ самолюбія.

— Извините, князь, я — не Аркадій Андреевичъ, а Аркадій Макаровичъ, рѣзко отрѣзалъ я, совсѣмъ ужъ забывъ, что нужно бы от-

вѣтитъ дамамъ поклономъ. Чортъ бы взялъ эту неблагопристойную шпунту!

— Mais... tiens! вскричалъ было князь, ударивъ себя пальцемъ по лбу.

— Гдѣ вы учились? раздался надо мной глупенькій и протяжный вопросъ прямо подошедшей ко мнѣ подушки.

— Въ Москвѣ-съ, въ гимназіи.

— А! Я слышала. Чтò, тамъ хорошо учать?

— Очень хорошо.

Я все стоялъ, а говорилъ точно солдатъ на рапортѣ.

Вопросы этой дѣвицы, безспорно, были ненаходчивы, но, однакожь, она-таки нашлась чѣмъ занять мою глупую выходку и облегчить смущеніе князя, который ужь тѣмъ временемъ слушалъ съ веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, — видимо, не обо мнѣ. Но вопросъ: зачѣмъ же эта дѣвица, совсѣмъ мнѣ незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и все прочее? Вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможно было и представить себѣ, что она обращалась ко мнѣ только-такъ: тутъ было намѣреніе. Смотрѣла она на меня слишкомъ любопытно, точно ей хотѣлось, чтобъ и я ее тоже очень замѣтилъ какъ можно больше. Все это я уже послѣ сообразилъ и — не ошибся.

— Какъ, развѣ сегодня? вскричалъ вдругъ князь, срываясь съ мѣста.

— Такъ вы не знали? удивилась Версилова: — Оупре! Князь не зналъ, что Катерина Николаевна сегодня будетъ. Мы къ ней и ѣхали, мы думали, она уже съ утреннимъ поѣздомъ и давно дома. Сейчасъ только съѣхались у крыльца: она прямо съ дороги и сказала намъ пройти къ вамъ, а сама сейчасъ придетъ... Да вотъ и она!

Отворилась боковая дверь и — *та женщина появилась!*

Я уже зналъ ея лицо по удивительному портрету, висѣвшему въ кабинетѣ князя; я изучалъ этотъ портретъ весь этотъ мѣсяцъ. При ней же я провелъ въ кабинетѣ минуты три и ни на одну секунду не отрывалъ глазъ отъ ея лица. Но еслибъ я не зналъ портрета и послѣ этихъ трехъ минутъ спросили меня: „какая она?“ — я бы ничего не отвѣтилъ, потому что все у меня заволоклось.

Я только помню изъ этихъ трехъ минутъ какую-то дѣйствительно прекрасную женщину, которую князь цаловалъ и крестилъ рукой и которая вдругъ быстро стала глядѣть, — такъ-таки прямо только что вошла — на меня. Я ясно слышалъ, какъ князь, очевидно показавъ

на меня, пробормоталь что-то, съ маленькимъ какимъ-то смѣхомъ, про новаго секретаря и произнесъ мою фамилію. Она какъ-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрѣла и такъ нахально улыбнулась, что я вдругъ шагнулъ, подошелъ къ князю и пробормоталь, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется, стуча зубами:

— Съ тѣхъ поръ я... мнѣ теперь свои дѣла... Я иду.

И я повернулся и вышелъ. Мнѣ никто не сказалъ ни слова, даже князь; всё только глядѣли. Князь мнѣ передалъ потомъ, что я такъ поблѣднѣлъ, что онъ „просто струсилъ.“

Да нужды нѣтъ!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Именно нужды не было: высшее соображеніе поглощало всё мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за все. Я вышелъ въ какомъ-то восхищеніи. Ступивъ на улицу, я готовъ былъ заплѣть. Какъ нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожіе, шумъ, движеніе, радость, толпа.—Что, неужели не обидѣла меня эта женщина? Отъ кого бы перенесъ я такой взглядъ и такую нахальную улыбку безъ немедленнаго протеста, хотя бы глупѣйшаго,—это все равно,—съ моей стороны? Замѣтите, она ужъ и ѣхала съ тѣмъ, чтобъ меня поскорѣй оскорбить, еще никогда не видавъ: въ глазахъ ея я былъ „подсильный отъ Версилова“, а она была убѣждена и тогда, и долго спустя, что Версильовъ держитъ въ рукахъ всю судьбу ея и имѣеть средства тотчасъ же погубить ее, если захочетъ, посредствомъ одного документа; подозрѣвала, по крайней мѣрѣ, это. Тутъ была дуэль на смерть. И вотъ—оскорбленъ я не былъ! Оскорбленіе было, но я его не почувствовалъ! Куда! Я даже былъ радъ; пріѣхавъ ненавидѣть, я даже чувствовалъ, что начинаю любить ее. „Я не знаю, можетъ ли паукъ ненавидѣть ту муху, которую намѣтилъ и ловить? Миленькая мушка! Мнѣ кажется, жертву любить: по крайней мѣрѣ, можно любить. Я же вотъ люблю моего врага: мнѣ, наприимѣръ, ужасно нравится, что она такъ прекрасна. Мнѣ ужасно нравится, сударыня, что вы такъ надменны и величественны: были бы вы помирнѣе, не было бы такого удовольствія. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы, въ самомъ дѣлѣ, плюнули мнѣ въ лицо настоящимъ плевромъ, то, право, я, можетъ быть, не разсердился бы, потому что вы—моя жертва, моя, а не его. Какъ обаятельна эта мысль! Нѣтъ, тайное сознание мо-

гущества нестерпимо пріятнѣе явнаго господства. Еслибъ я былъ сто-милліонный богачъ, я бы, кажется, находилъ удовольствіе именно ходить въ самомъ старенькомъ платьѣ и чтобъ меня принимали за чело-вѣка самаго мизернаго, чуть не просящаго на бѣдность, толкали и презирали меня: съ меня было бы довольно одного сознанія.“

Вотъ какъ бы я перевелъ тогдашнія мысли и радость мою, и мно-гое изъ того, что я чувствовалъ. Прибавлю только, что здѣсь, въ сей-часъ написанномъ, вышло легкомысленнѣе: на дѣлѣ я былъ глубже и стыдливѣе. Можетъ, я и теперь про себя стыдливѣе, чѣмъ въ словахъ и дѣлахъ моихъ; дай-то Богъ!

Можетъ, я очень худо сдѣлалъ, что сѣлъ писать: внутри безмѣрно больше остается, чѣмъ то, что выходитъ въ словахъ. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при васъ,—всегда глубже, а на словахъ—снѣжнѣе и безчестнѣе. Версиловъ мнѣ сказалъ, что совсѣмъ обратно тому бываетъ только у северныхъ людей. Тѣ только лгутъ, имъ легко; а я стараюсь писать всю правду—это ужасно трудно!

II.

Въ это девятнадцатое число я сдѣлалъ еще одинъ „шагъ.“

Въ первый разъ съ пріѣзда у меня очутились въ карманѣ деньги, потому что накопленные въ два года мои шестьдесятъ рублей я отдалъ матери, о чемъ и упомянулъ выше; но уже нѣсколько дней назадъ, я положилъ, въ день полученія жалованья, сдѣлать „пробу“, о которой давно мечталъ. Еще вчера я вырѣзалъ изъ газеты адресъ—объявленіе „Судебнаго Пристава при С.-Петербуржскомъ Мировомъ съѣздѣ“ и проч. и проч. о томъ, что „девятнадцатаго сего сентября, въ двѣнадцать часовъ утра, Казанской части, такого-то участка и т. д. и т. д., въ домъ № такой-то, будетъ продаваться движимое имущество г-жи Леб-рехтъ,“ и что „опись, оцѣнку и продаваемое имущество можно раз-смотрѣть въ день продажи“ и т. д. и т. д.

Былъ второй часъ въ началѣ. Я поспѣшилъ по адресу пѣшкомъ. Вотъ уже третій годъ, какъ я не беру извозчиковъ,—такое далъ слово (иначе не скопилъ бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходилъ на аукціоны, я еще не позволялъ себѣ этого; и хоть теперешній „шагъ“ мой былъ только *примѣрный*, но и къ этому шагу я положилъ при-бѣгнуть лишь тогда, когда кончу съ гимназіей, когда порву со всѣми, когда забьусь въ скорлупу и стану совершенно свободенъ. Правда, я далеко былъ не въ „скорлупѣ“ и далеко еще не былъ свободенъ; но вѣдь и шагъ я положилъ сдѣлать лишь въ видѣ пробы,—такъ только,

чтобъ посмотрѣть, почти какъ бы помечтать, а потомъ ужъ не приходило, можетъ, долго, до самаго того времени, когда начнется серьезно. Для всѣхъ это былъ только маленькій, глупенькій аукціонъ, а для меня то первое бревно того корабля, на которомъ Колумбъ поѣхалъ открывать Америку. Вотъ мои тогдашнія чувства.

Прибывъ на мѣсто, я прошелъ въ углубленіе двора, обозначеннаго въ объявленіи дома, и вошелъ въ квартиру г-жи Лебрехтъ. Квартира состояла изъ прихожей и четырехъ небольшихъ, невысокихъ комнатъ. Въ первой комнатѣ изъ прихожей стояла толпа, человекъ даже до тридцати; изъ нихъ на половину торгующихся, а другіе, по виду ихъ, были или любопытные, или любители, или подсланные отъ Лебрехтъ; были и купцы, и жида, зарившіеся на золотыя вещи, и нѣсколько человекъ изъ одѣтыхъ „чисто.“ Даже фізіономіи иныхъ изъ этихъ господъ врѣзались въ мою память. Въ комнатѣ направо, въ открытыхъ дверяхъ, какъ разъ между дверцами, вдвинутъ былъ столъ, такъ что въ ту комнату войти было нельзя: тамъ лежали описанныя и продаваемыя вещи. Налѣво была другая комната, но двери въ нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, въ которую, видно было, кто-то выглядывалъ—должно быть, изъ многочисленнаго семейства г-жи Лебрехтъ, которой, естественно, въ то время было очень стыдно. За столомъ между дверями, лицомъ къ публикѣ, сидѣлъ на стулѣ г. судебный приставъ, при знакѣ, и производилъ распродажу вещей. Я засталъ уже дѣло почти въ половинѣ; какъ вошелъ—протѣснился къ самому столу. Продавались бронзовые подсвѣчники. Я сталъ глядѣть.

Я глядѣлъ и тотчасъ же сталъ думать: что же я могу тутъ купить? И куда сейчасъ дѣну бронзовые подсвѣчники, и будетъ ли достигнута цѣль, и такъ ли дѣло дѣлается, и удастся ли мой расчетъ? И не дѣтскій ли былъ мой расчетъ? Все это я думалъ и ждалъ. Ощущеніе было въ родѣ какъ передъ игорнымъ столомъ въ тотъ моментъ, когда вы еще не поставили карту, но подошли съ тѣмъ, что хотите поставить: „захочу поставлю, захочу уйду—моя воля.“ Сердце тутъ еще не бьется, но какъ-то слегка замираетъ и вздрагиваетъ,—ощущеніе не безъ пріятности. Но нерѣшимость быстро начинаетъ тяготить васъ, и вы какъ-то слѣпнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти противъ воли, какъ будто вашу руку направляетъ другой; наконецъ, вы рѣшились и ставите,—тутъ ужъ ощущеніе совсѣмъ иное, огромное. Я не про аукціонъ пишу, я только про себя пишу: у кого же другого можетъ биться сердце на аукціонѣ?

Были—что горячились, были—что молчали и выжидали, были—что купили и расхвалились. Я даже совсѣмъ не сожалѣлъ одного гдѣ-то слюдина, который ошибкою, не разслышавъ, купилъ мельхиоровый молочникъ вмѣсто серебрянаго, вмѣсто двухъ рублей за пять, даже очень мнѣ весело стало. Приставъ варьировалъ вещи: послѣ подевѣчниковъ явились серьги, послѣ серегъ шитая сафьяная подушка, за нею шпатулка,—должно быть, для разнообразія, или соображаясь съ требованиями торгующихся. Я не выстоялъ и десяти минутъ, подвинулся было къ подушкѣ, потомъ къ шпатулкѣ, но въ рѣшительную минуту каждый разъ осѣкался: предметы эти казались мнѣ совсѣмъ невозможными. Наконецъ, въ рукахъ пристава очутился альбомъ.

„Домашній альбомъ, въ красномъ сафьянѣ, подержанный, съ рисунками акварелью и тушью, въ футлярѣ изъ рѣзной слоновой кости съ серебряными застежками—цѣна два рубля!“

Я подступилъ: вещь на видъ изящная, но въ костяной рѣзбѣ, въ одномъ мѣстѣ, былъ изъянъ. Я только одинъ и подошелъ смотрѣть, всѣ молчали; конкурентовъ не было. Я бы могъ отстегнуть застежки и вынуть альбомъ изъ футляра чтобъ осмотрѣть вещь, но правомъ мнитъ не воспользовался, и только махнулъ дрожащей рукой: „дешевъ, все равно.“

— Два рубля пять копѣекъ, сказалъ я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчасъ же вынулъ деньги, заплатилъ, схватилъ альбомъ и ушелъ въ уголъ комнаты; тамъ вынулъ его изъ футляра и лихорадочно, наскоро, сталъ разглядывать: не считая футляра, эта была самая дрянная вещь въ мірѣ,—альбомчикъ въ размѣрѣ листа почтовой бумаги малаго формата, тоненькій, съ золотымъ истершимся обрѣзомъ,—точь въ точь такой, какъ заводились въ старину у только что вышедшихъ изъ института дѣвицъ. Тушью и красками нарисованы были храмы на горѣ, Амуры, прудъ съ плавающими лебедями; были стешки:

„Я въ путь далекій отправляюсь,
 „Съ Москвой на долго расстаюсь,
 „На долго съ милыми прощаюсь,
 „И въ Крымъ на почтовыхъ несусь.

(Уцѣлѣли-таки въ моей памяти!) Я рѣшилъ, что „провалился;“ если кому чего не надо, такъ именно этого.

— „Ничего, рѣшилъ я:—первую карту непременно проигрываютъ; даже прикѣта хорошая.“

Мнѣ рѣшительно было весело.

— Ахъ, опоздалъ; у васъ? Вы приобрѣли? вдругъ раздался подлѣ меня голосъ господина въ синемъ пальто, виднаго собой и хорошо одѣтаго. Онъ опоздалъ.

— Я опоздалъ. Ахъ, какъ жаль! За сколько?

— Два рубля пять копѣекъ.

— Ахъ, какъ жаль! А вы бы уступили?

— Выйдемте, шепнулъ я ему, замирая.

Мы вышли на лѣстницу.

— Я уступлю вамъ за десять рублей, сказала я, чувствуя холодъ въ спинѣ.

— Десять рублей! Промилуйте, что вы!

— Какъ хотите.

Онъ смотрѣлъ на меня во всѣ глаза: я былъ одѣтъ хорошо: со всѣмъ не похожъ былъ на жида или перекушника.

— Промилосердитесь, да вѣдь это — дрянной старинный альбомъ, кому онъ нуженъ? Футляръ, въ сущности, вѣдь ничего не стоитъ, вѣдь вы же не продадите никому?

— Вы же покупаете.

— Да вѣдь я по особому случаю, я только вчера узналъ: вѣдь такай я только одинъ и есть! Промилуйте, что вы!

— Я бы долженъ былъ спросить двадцать пять рублей; но такъ какъ тутъ все таки рискъ, что вы отступитесь, то я спросилъ только десять для вѣрности. Не спущу ни копѣйки.

Я повернулся и пошелъ.

— Да возьмите четыре рубля, нагналъ онъ меня уже на дворѣ: — ну, пять.

Я молчалъ и шагаль.

— На-те, берите! Онъ вынулъ десять рублей, я отдалъ альбомъ.

— А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять — а?

— Почему нечестно? Рынокъ!

— Какой тутъ рынокъ? (Онъ сердился).

— Гдѣ спросъ, тамъ и рынокъ; не спроси вы, — за сорокъ копѣекъ не продавъ бы.

Я хоть не заливался хохотомъ и былъ серьезень, но хохоталъ внутри, — хохоталъ не то, что отъ восторга, а самъ не знаю отчего, немного задыхался.

— Слушайте, пробормоталъ я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его: — слушайте: когда Джемсъ Ротшильдъ, покойникъ, парижскій, вотъ что тысячу семьсотъ миллионовъ франковъ оста-

(онъ кивнулъ головой), еще въ молодости, когда случайно узналъ, за сколько часовъ раньше всѣхъ, объ убійствѣ герцога Беррійскаго, то тотчасъ поторопѣе далъ знать кому слѣдуетъ, и одной только этой штукой, въ одинъ мигъ, нажилъ нѣсколько милліоновъ,—вотъ какъ люди жадуютъ!

— Такъ вы Ротшильдъ, что ли? крикнулъ онъ мнѣ съ негодованіемъ. Какъ дураку.

Я быстро вышелъ изъ дому. Одинъ шагъ—и семь рублей девяносто пять копѣекъ нажилъ! Шагъ былъ бессмысленный, дѣтская игра, я согласенъ, но онъ все таки совпадалъ съ моею мыслью и не могъ не изволновать меня чрезвычайно глубоко... Впрочемъ, нечего чувства описывать. Десятирублевая была въ желтомъ карманѣ, я просунулъ два пальца пощупать—и такъ и шелъ не зная руки. Отойдя шаговъ сто по улицѣ, я вынулъ ее посмотрѣть, посмотрѣлъ и хотѣлъ поцаловать. У подъѣзда дома вдругъ прогремѣла карета: швейцаръ отворилъ двери и изъ дому вышла садиться въ карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, въ шелку и бархатѣ, съ двухъаршиннымъ хвостомъ. Вдругъ хорошенькій маленькій портфельчикъ высочилъ у ней изъ руки и упалъ на землю; она съѣла; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочилъ, поднялъ и вручилъ дамѣ, приподнявъ шляпу. (Шляпа цилиндръ, я былъ одѣтъ какъ молодой человѣкъ, недурно). Дама сдержанно, но съ пріятнѣйшей улыбкой проговорила мнѣ „Merci, мсье.“ Карета загремѣла. Я поцаловалъ десятирублевою.

III.

Мнѣ въ этотъ же день надо было видѣть Ефима Звѣрева, одного изъ прежнихъ товарищей по гимназіи, бросившаго гимназію и поступившаго въ Петербургѣ въ одно специальное высшее училище. Самъ онъ не стоитъ описанія, и собственно въ дружескихъ отношеніяхъ я съ нимъ не былъ; но въ Петербургѣ его отыскалъ; онъ могъ (по разнымъ обстоятельствамъ, о которыхъ говорить тоже не стоитъ) тотчасъ же сообщить мнѣ адресъ одного Крафта, чрезвычайно нужнаго мнѣ чловѣка, только что тотъ вернется изъ Вильно. Звѣревъ ждалъ его именно сегодня или завтра, о чемъ третьяго дня далъ мнѣ знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовалъ.

Звѣрева (ему тоже было лѣтъ девятнадцать) я засталъ на дворѣ

дома его тетки, у которой онъ временно проживалъ. Онъ только что пообѣдалъ и ходилъ по двору на ходуляхъ; тотчасъ же сообщилъ мнѣ, что Крафтъ приѣхалъ еще вчера и остановился на прежней квартирѣ, тутъ же на Петербургской, и что онъ самъ желаетъ какъ можно скорѣе меня видѣть, чтобы немедленно сообщить нѣчто нужное.

— Куда-то ѣдетъ опять, прибавилъ Ефимъ.

Такъ какъ видѣть Крафта въ настоящихъ обстоятельствахъ для меня было капитально важно, то я и попросилъ Ефима тотчасъ же свести меня къ нему на квартиру, которая, оказалось, была въ двухъ шагахъ, гдѣ-то въ переулкѣ. Но Звѣревъ объявилъ, что часъ тому ужъ его встрѣтилъ и что онъ пошелъ къ Дергачеву.

— Да пойдешь къ Дергачеву, что ты все отбиваешься; трусишь?

Дѣйствительно, Крафтъ могъ засидѣться у Дергачева, и тогда гдѣ мнѣ его ждать? Къ Дергачеву я не трусилъ, но идти не хотѣлъ, не смотря на то, что Ефимъ тащилъ меня туда уже третій разъ. И при этомъ „трусишь“ всегда произносилъ съ прескверной улыбкой на мой счетъ. Тутъ была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсѣмъ другого. На этотъ разъ пойти рѣшился; это тоже было въ двухъ шагахъ. Дорогой я спросилъ Ефима, все ли еще онъ держитъ намѣреніе ѣхать въ Америку?

— Можетъ, и подожду еще, отвѣтилъ онъ съ легкимъ смѣхомъ.

Я его не такъ любилъ, даже не любилъ вовсе. Онъ былъ очень бѣлъ волосами, съ полнымъ, слишкомъ бѣлымъ лицомъ, даже неприлично бѣлымъ, до дѣтскости, а ростомъ даже выше меня, но принять его можно было не иначе, какъ за семнадцатилѣтняго. Говорить съ нимъ было не о чемъ.

— Да чтожь, тамъ? Неужто всегда толпа? справился я для основательности.

— Да чего ты все трусишь? опять засмѣялся онъ.

— Убирайся къ чорту, разсердился я.

— Во все не толпа. Приходятъ только знакомые, и ужъ все свои, будь покоенъ.

— Да чортъ ли мнѣ за дѣло, свои или не свои! Я вотъ развѣ тамъ свой? Почему они во мнѣ могутъ быть увѣрены?

— Я тебя привелъ и довольно. О тебѣ даже слышали. Крафтъ тоже можетъ о тебѣ заявить.

— Слушай, будетъ тамъ Васинъ?

— Не знаю.

— Если будетъ, какъ только войдемъ, толкни меня и укажи Васиня; только что войдемъ, слышишь?

Объ Васинѣ я уже довольно слышалъ и давно интересовался.

Дергачевъ жилъ въ маленькомъ флигелѣ, на дворѣ деревяннаго дома одной купчихи, но за то флигель занималъ весь. Всего было чистыхъ три комнаты. Во всѣхъ четырехъ окнахъ были спущены шторы. Это былъ техникъ и имѣлъ въ Петербургѣ занятіе; я слышалъ мелькомъ, что ему выходило одно выгодное частное мѣсто въ губерніи и что онъ уже отправляется.

Только что мы вошли въ крошечную прихожую, какъ послышались шёпоты: кажется, горячо спорили и кто-то кричалъ: „*Quae medicamenta non sanant—ferrum sanat, quae ferrum non sanat—ignis sanat!*“

Я дѣйствительно былъ въ нѣкоторомъ безпокойствѣ. Конечно, я не привыкъ къ обществу, даже къ какому бы ни было. Въ гимназін я съ товарищами былъ на ты, но ни съ кѣмъ почти не былъ товарищемъ; я сдѣлалъ себѣ уголь и жилъ въ углу. Но не это смущало меня. На всякій случай, я далъ себѣ слово не входить въ споры и говорить только самое необходимое, такъ чтобъ никто не могъ обо мнѣ ничего заключить; главное—не спорить.

Въ комнатѣ, даже слишкомъ небольшой, было человекъ семь, а съ дамами человекъ десять. Дергачеву было двадцать пять лѣтъ и онъ былъ женатъ. У жены была сестра и еще родственница; онъ тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-какъ, впрочемъ достаточно, и даже было чисто. На стѣнѣ висѣлъ литографированный портретъ, но очень дешёвый, а въ углу образъ безъ ризы, но съ горѣвшей лампадой. Дергачевъ подошелъ ко мнѣ, пожалъ руку и попросилъ садиться.

— Садитесь, здѣсь всѣ свои.

— Сдѣлайте одолженіе, — прибавила тотчасъ же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одѣтая, и слегка поклонившись мнѣ, тотчасъ же вышла. Это была жена его и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но въ комнатѣ оставались еще двѣ дамы: — одна очень небольшого роста, лѣтъ двадцати, въ черномъ платьицѣ и тоже не изъ дурныхъ, а другая лѣтъ тридцати, сухая и востроглазая. Онѣ сидѣли, очень слушали, но въ разговоръ не вступали.

Что же касается до мужчинъ, то всѣ были на ногахъ, а сидѣли только, крошѣ меня, Крафтъ и Васиня; ихъ указалъ мнѣ тотчасъ же Ефимъ, потому что я и Крафта видѣлъ теперь въ первый разъ въ жизни. Я всталъ съ мѣста и подошелъ съ нимъ познакомиться. Крафтово

лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то какъ бы ужъ слишкомъ незлобное и деликатное, хотя собственное достоинство такъ и выставлялось во всемъ. Двадцати шести лѣтъ, довольно сухощавъ, росту выше средняго, блѣлокуръ, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всемъ въ немъ было такое тихое. А, между тѣмъ, спросите, — я бы не промѣнялъ моего, можетъ быть, даже очень пошлаго лица, на его лицо, которое казалось мнѣ такъ привлекательнымъ. Что-то было такое въ его лицѣ, чего бы я не захотѣлъ въ свое, что-то такое слишкомъ ужъ спокойное въ нравственномъ смыслѣ, что-то въ родѣ какой-то тайной, себѣ невѣдомой гордости. Впрочемъ, такъ буживально судить я тогда, вѣроятно, не могъ; это мнѣ теперь кажется, что я тогда такъ судилъ, то есть уже послѣ событія.

— Очень радъ, что вы пришли, сказалъ Крафтъ. — У меня есть одно письмо, до васъ относящееся. Мы здѣсь посидимъ, а потомъ пойдемъ ко мнѣ.

Дергачевъ былъ средняго роста, широкоплечъ, сильный брюнетъ съ большой бородой; во взглядѣ его видна была смѣтливость и во всемъ сдержанность, нѣкоторая безпрерывная осторожность; хоть онъ больше молчалъ, но очевидно управлялъ разговоромъ. Физиономія Васина не очень поразила меня, хоть я слышалъ о немъ какъ о чрезмѣрно умномъ: блѣлокурый, съ свѣтлосѣрыми большими глазами, лицо очень открытое, но въ тоже время въ немъ что-то было какъ бы излишне твердое; предчувствовалось мало общительности, но взглядъ рѣшительно умный, умѣе Дергачевского, глубже, — умѣе всѣхъ въ комнатѣ; впрочемъ, можетъ быть, я теперь все преувеличиваю. Изъ остальныхъ, я припоминаю всего только два лица изъ всей этой молодежи: одного высокаго, смуглаго человѣка, съ черными бакенами, много говорившаго, лѣтъ двадцати семи, какого-то учителя или въ родѣ того, и еще молодого парня моихъ лѣтъ, въ русской поддевеѣ, — лицо со складкой, молчаливое, изъ прислушивающихся. Онъ и обаялся потомъ изъ крестьянъ.

— Нѣтъ, это не такъ надо ставить, началъ, очевидно возобновляя давишній споръ, учитель съ черными бакенами, горячившійся больше всѣхъ: — про математическія доказательства я ничего не говорю, но эта идея, которой я готовъ вѣрить и безъ математическихъ доказательствъ...

— Подожди, Тихомировъ, громко перебилъ Дергачевъ: — вошедшіе не понимаютъ. Это, видите ли, вдругъ обратился онъ ко мнѣ одному (и признаюсь, если онъ имѣлъ намѣреніе объ экзаменоватъ во мнѣ новичка или заставить меня говорить, то пріемъ былъ очень ловкій съ

его стороны; я тотчасъ это почувствовалъ и приготовился): это, видите ли, вотъ г. Крафтъ, довольно уже намъ всёмъ извѣстный и характеромъ, и солидностью убѣжденій. Онъ, вслѣдствіе весьма обыкновеннаго факта, пришелъ къ весьма необыкновенному заключенію, которымъ всёхъ удивилъ. Онъ вывелъ, что русскій народъ есть народъ второстепенный...

— Третьестепенный, крикнулъ кто-то.

— ... второстепенный, которому предназначено послужить матеріаломъ для болѣе благороднаго племени, а не имѣть своей самостоятельной роли въ судьбахъ человѣчества. Въ виду этого, можетъ быть, и справедливаго своего вывода, г-нъ Крафтъ пришелъ къ заключенію, что всякая дальнѣйшая дѣятельность всякаго русскаго человѣка должна быть этой идеей парализована, такъ сказать, у всёхъ должны опуститься руки и...

— Позволь, Дергачевъ, это не такъ надо ставить, опять подхватилъ съ нетерпѣніемъ Тихоміровъ (Дергачевъ тотчасъ же уступилъ). — Въ виду того, что Крафтъ сдѣлалъ серьезныя изученія, вывелъ выводы на основаніи физиологіи, которые признастъ математическими, и убилъ, можетъ быть, года два на свою идею (которую я бы принялъ преспокойно а ргіегі), въ виду этого, т. е. въ виду тревогъ и серьезности Крафта, это дѣло представляется въ видѣ феномена. Изъ всего выходитъ вопросъ, который Крафтъ понимать не можетъ, и вотъ этимъ и надо заняться, т. е. непониманіемъ Крафта, потому что это феноменъ. Надо разрѣшить, принадлежитъ ли этотъ феноменъ клиникѣ, какъ единственный случай, или есть свойство, которое можетъ нормально повторяться въ другихъ; это интересно въ видахъ уже общаго дѣла. Про Россію я Крафту повѣрю, и даже скажу, что, пожалуй, и радъ; елибъ эта идея была всёми усвоена, то развязала бы руки и освободила многихъ отъ патріотическаго предрасудка...

— Я не изъ патріотизма, сказалъ Крафтъ какъ бы съ какой-то натугой. Всѣ эти дебаты были, кажется, ему непріятны.

— Патріотизмъ или нѣтъ, это можно оставить въ сторонѣ, промолвилъ Васинъ, очень молчавшій.

— Но чѣмъ, скажите, выводъ Крафта могъ бы ослабить стремленіе къ общечеловѣческому дѣлу? кричалъ учитель (онъ одинъ только кричалъ, всѣ остальные говорили тихо). — Пусть Россія осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной Россіи. И, кромѣ того, какъ же Крафтъ можетъ быть патріотомъ, если онъ уже пересталъ въ Россію вѣрить?

— Къ тому же нѣмецъ, послышался опять голосъ.

— Я—русскій, сказалъ Крафтъ.

— Это—вопросъ, не относящійся прямо къ дѣлу, замѣтилъ Дергачевъ перебившему.

— Выйдите изъ узкости вашей идеи, не слушалъ ничего Тихоміровъ.—Если Россія — только матеріалъ для болѣе благородныхъ племенъ, то почему же ей и не послужить такимъ матеріаломъ? Это—роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идеѣ въ виду расширенія задачи. Человѣчество наканунѣ своего перерожденія, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицаютъ только слѣпые. Оставьте Россію, если вы въ ней разувѣрились, и работайте для будущаго, — для будущаго, еще неизвѣстнаго народа, но который составитъ изъ всего человѣчества, безъ разбора племенъ. И безъ того Россія умерла бы когда нибудь; народы, даже самые даровитые, живутъ всего по полторы, много по двѣ тысячи лѣтъ; не все ли тутъ равно двѣ тысячи или двѣсти лѣтъ? Римляне не прожили и полутора тысячъ лѣтъ въ живомъ видѣ и обратились тоже въ матеріалъ. Ихъ давно нѣтъ, но они оставили идею, и она вошла элементомъ дальнѣйшаго въ судьбы человѣчества. Какъ же можно сказать человѣку, что нечего дѣлать? Я представить не могу положенія, чтобъ когда нибудь было нечего дѣлать! Дѣлайте для человѣчества и объ остальномъ не заботьтесь. Дѣла такъ много, что не достанетъ жизни, если внимательно оглянуться.

— Надо жить по закону природы и правды, проговорила изъ за двери г-жа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, съ прикрытой грудью и горячо прислушивалась.

Крафтъ слушалъ, слегка улыбаясь, и произнесъ наконецъ, какъ бы съ нѣсколько измученнымъ видомъ, впрочемъ съ сильною искренностью:

— Я не понимаю, какъ можно, будучи подъ вліяніемъ какой нибудь господствующей мысли, которой подчиняются вашъ умъ и сердце воплѣтъ, жить еще чѣмъ нибудь, чтѣ внѣ этой мысли?

— Но если вамъ сказано логически, математически, что вашъ выводъ ошибоченъ, что вся мысль ошибочна, что вы не имѣете ни малѣйшаго права исключать себя изъ всеобщей полезной дѣятельности изъ за того только, что Россія—предназначенная второстепенность; если вамъ указано, что вмѣсто узкаго горизонта вамъ открывается безконечность, что вмѣсто узкой идеи патріотизма...

— Э! тихо махнулъ рукой Крафтъ: — я вѣдь сказалъ вамъ, что тутъ не патріотизмъ.

— Тутъ, очевидно, недоумѣніе, — ввязался вдругъ Васинъ. — Ошибка въ томъ, что у Крафта не одинъ логическій выводъ, а, такъ сказать, выводъ, обратившійся въ чувство. Не всѣ природы одинаковы; у многихъ логическій выводъ обращается иногда въ сильнѣйшее чувство, которое захватываетъ все существо и которое очень трудно изгнать или передѣлать. Чтобы вылечить такого человѣка, надо въ такомъ случаѣ измѣнить самое это чувство, что возможно не иначе, какъ замѣнивъ его другимъ, равносильнымъ. Это всегда трудно, а во многихъ случаяхъ невозможно.

— Ошибка! завопилъ спорщикъ:— логическій выводъ уже самъ по себѣ разлагаетъ предрасудки. Разумное убѣжденіе порождаетъ тоже чувство. Мысль выходитъ изъ чувства и, въ свою очередь, водворяясь въ человѣка, формулируетъ новое!

— Люди очень разнообразны: одни легко пережѣиваютъ чувства, другіе тяжело,— отвѣтилъ Васинъ какъ бы не желая продолжать споръ; но я былъ въ восхищеніи отъ его идеи.

— Это именно такъ какъ вы сказали! обратился я вдругъ къ нему, разбивая ледъ и начиная вдругъ говорить. — Именно надо вмѣсто чувства вставить другое, чтобы замѣнить. Въ Москвѣ, четыре года назадъ, одинъ генералъ... Видите, господа, я его не зналъ, но... Можетъ быть, онъ собственно и не могъ внушать самъ по себѣ уваженія... И при томъ самый фактъ могъ явиться неразумнымъ, но... Впрочемъ, у него, видите ли, умеръ ребенокъ, т. е. въ сущности двѣ дѣвочки, обѣ одна за другой, въ скарлатинѣ... Чтожь, онъ вдругъ такъ былъ убитъ, что все грустилъ, такъ грустилъ, что ходить и на него глядѣть нельзя — и кончилъ тѣмъ, что умеръ, почти послѣ полгода. Что онъ отъ этого умеръ, то это фактъ! Чѣмъ, стало быть, можно было его воскресить? Отвѣтъ: равносильнымъ чувствомъ! Надо было выкопать ему изъ могилы этихъ двухъ дѣвочекъ и дать ихъ — вотъ и все, т. е. въ этомъ родѣ. Онъ и умеръ. А между тѣмъ можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоропостижна, что всѣ смертны, представить изъ календаря статистику, сколько умираетъ отъ скарлатины дѣтей... Онъ былъ въ отставкѣ...

Я остановился задыхаясь и оглядываясь кругомъ.

— Это совсѣмъ не то, — проговорилъ кто-то.

— Приведенный вами фактъ, хоть и не однороденъ съ даннымъ случаемъ, но все похоже и поясняетъ дѣло, — обратился ко мнѣ Васинъ.

IV.

Здѣсь я долженъ сознаться, почему я пришелъ въ восхищеніе отъ аргумента Васи́на на счетъ „идеи-чувства“, а вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ сознаться въ адскомъ стыдѣ. Да, я трусилъ идти къ Дергачеву, хотя и не отъ той причины, которую предполагалъ Ефимъ. Я трусилъ оттого, что еще въ Москвѣ ихъ боялся. Я зналъ, что они (т. е. одни или другіе въ этомъ родѣ—это все равно)—діалектики и, пожалуй, разобьютъ „мою идею“. Я твердо былъ увѣренъ въ себѣ, что имъ идею мою не выдашь и не скажу; но они (т. е. опять таки они или въ родѣ ихъ) могли мнѣ сами сказать чтонибудь, отчего я бы самъ разочаровался въ моей идеѣ, даже и не заявляя имъ про нее. Въ „моей идеѣ“ были вопросы мною неразрѣшенные, но я не хотѣлъ, чтобъ ктонибудь разрѣшалъ ихъ, кромѣ меня. Въ послѣдніе два года я даже пересталъ книги читать, боясь натѣнуться на какоенибудь мѣсто не въ пользу „идеи“, которое могло бы потрасти меня. И вдругъ Васинъ разомъ разрѣшаетъ задачу и успокоиваетъ меня въ высшемъ смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, чего же я боялся и что могли они мнѣ сдѣлать, какой бы тамъ ни было діалектикой? Я, можетъ быть, одинъ тамъ и понялъ, что такое Васинъ говорилъ про „идею-чувство!“ Мало опровергнуть прекрасную идею, надо замѣнить ее равносильнымъ прекраснымъ; не то я, не желая ни за что разставаться съ своимъ чувствомъ, опровергну въ моемъ сердцѣ опроверженіе, хотя бы насильно, что бы тамъ они ни сказали. А что они могли дать мнѣ взамѣнъ? И потому, я бы могъ быть храбрѣе, я былъ обязанъ быть мужественнѣе. Придя въ восхищеніе отъ Васи́на, я почувствовалъ стыдъ, а себя—недостойнымъ ребенкомъ!

Тутъ и еще вышелъ стыдъ. Не гаденькое чувство похвалиться своимъ умомъ заставило меня у нихъ разбить ледъ и заговорить, но и желаніе „прыгнуть на шею“. Это желаніе прыгнуть на шею, чтобъ признали меня за хорошаго и начали меня обнимать или въ родѣ того (словомъ, свинство), я считаю въ себѣ самымъ мерзкимъ изъ всѣхъ моихъ стыдовъ и подозрѣвалъ его въ себѣ еще очень давно, и именно отъ угла, въ которомъ продержалъ себя столько лѣтъ, хотя не раскаиваюсь. Я зналъ, что мнѣ надо держать себя въ людяхъ ирачнѣе. Меня угѣшало, послѣ всякаго такого позора, лишь то, что все таки „идея“ при мнѣ, въ прежней тайнѣ, и что я ея имъ не выдалъ. Съ замираніемъ представлялъ я себѣ иногда, что когда выскажу комунибудь мою идею, то тогда у меня вдругъ ничего не останется, такъ что я

стану похожъ на всѣхъ, а, можетъ быть, и идею брошу; а потому берегъ и хранилъ ее и трепеталъ болтовни. И вотъ, у Дергачева, съ перваго почти столкновенія не выдержалъ: ничего не выдалъ, конечно, но болталъ непозволительно; вышелъ позоръ. Воспоминаніе скверное! Нѣтъ, мнѣ нельзя жить съ людьми; я и теперь это думаю; на сорокъ лѣтъ впередъ говорю. Моя идея—уголь.

V.

Только что Васинъ меня похвалилъ, мнѣ вдругъ нестерпимо захотѣлось говорить.

— По моему, всякій имѣеть право имѣть свои чувства... если по убѣжденію... съ тѣмъ, чтобъ ужъ никто его не укорялъ за нихъ, — обратился я къ Васину. Хотя я проговорилъ и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой языкъ шевелился.

— Бу-удто-съ? тотчасъ-же подхватилъ и протянулъ съ проніей тотъ самый голосъ, который перебилъ Дергачева и крикнулъ Крафту, что онъ нѣмецъ. Считаю его полнымъ ничтожествомъ, я обратился къ учителю, какъ будто онъ крикнулъ мнѣ:

— Мое убѣжденіе, что я никого не смѣю судить, дрожаль я, уже зная, что полечу.

— Зачѣмъ-же такъ секретно? раздался опять голосъ ничтожества.

— У всякаго своя идея, смотрѣлъ я въ упоръ на учителя, который, напротивъ, молчалъ и рассматривалъ меня съ улыбкой.

— У васъ? крикнуло ничтожество.

— Долго рассказывать... А отчасти моя идея именно въ томъ, чтобъ оставили меня въ повоѣ. Пока у меня есть два рубля, я хочу одинъ ни отъ кого не зависѣть (не безпокойтесь, я знаю возраженія) и ничего не дѣлать,—даже для того великаго будущаго человѣчества, работать на котораго приглашали г-на Крафта. Личная свобода, т. е. моя собственная-съ, на первомъ планѣ, а дальше знать не хочу.

Ошибка въ томъ, что я разсердился.

— То есть проповѣдуете спокойствіе сытой коровы?

— Пусть. Отъ коровы не оскорбляются. Я никому ничего не долженъ, я плачу обществу деньги въ видѣ фискальныхъ поборовъ за то, чтобъ меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего съ меня требовать не смѣетъ. Я, можетъ быть, лично и другихъ идей, и захочу служить человѣчеству, и буду, и, можетъ быть, въ десять разъ больше буду, чѣмъ всѣ проповѣдники; но только я хочу,

чтобы съ меня этого никто не смѣлъ требовать, заставлятъ меня, какъ г-на Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бѣгать да вѣшаться всѣмъ на шею отъ любви къ человѣчеству, да сгорать слезами умиленія—это только мода. Да зачѣмъ я непремѣнно долженъ любить моего ближняго, или ваше тамъ будущее человѣчество, которое я никогда не увижу, которое обо мнѣ знать не будетъ и которое, въ свою очередь, истлѣетъ безъ всякаго слѣда и воспоминанія (время тутъ ничего не значить), когда земля обратится, въ свою очередь, въ ледяной камень и будетъ летать въ безвоздушномъ пространствѣ съ безконечнымъ множествомъ такихъ же ледяныхъ камней, т. е. бессмысленнѣе чего нельзя себѣ и представить! Вотъ ваше ученіе! Скажите, зачѣмъ я непремѣнно долженъ быть благороденъ, тѣмъ болѣе если все продолжается одну минуту.

— Б-ба! крикнулъ голосъ. Я выпалилъ все это нервно и злобно, порвавъ всѣ веревки. Я зналъ, что лечу въ яму, но я торопился, боясь возраженій. Я слишкомъ чувствовалъ, что сыплю какъ сквозь рѣшето, безсвязно и черезъ десять мыслей въ одиннадцатую, но я торопился ихъ убѣдить и перепобѣдить. Это такъ было для меня важно! Я три года готовился! Но замѣчательно, что они вдругъ замолчали, ровно ничего не говорили, а всѣ слушали. Я все продолжалъ обращаться къ учителю.

— Именно-съ. Одинъ чрезвычайно умный человѣкъ говорилъ, между прочимъ, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ отвѣтить на вопросъ: „Зачѣмъ непремѣнно надо быть благороднымъ?“ Видите-ли-съ, есть три рода подлецовъ на свѣтѣ: подлецы наивные, т. е. убѣжденные, что ихъ подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящіеся, — т. е. стыдящіеся собственной подлости, но при непремѣнномъ напѣреніи все таки ее докончить, и наконецъ, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-съ: у меня былъ товарищъ Ламбертъ, который говорилъ мнѣ еще шестнадцать лѣтъ, что когда онъ будетъ богатъ, то самое большое наслажденіе его будетъ кормить хлѣбомъ и мясомъ собакъ, когда дѣти бѣдныхъ будутъ умирать съ голоду, а когда имъ топить будетъ нечѣмъ, то онъ купитъ цѣлый дровяной дворъ, сложить въ полѣ и вытопить поле, а бѣднымъ ни полѣна не дастъ. Вотъ его чувства! Скажите, что я отвѣчу этому чистокровному подлецу на вопросъ: „почему онъ непремѣнно долженъ быть благороднымъ?“ И особенно теперь, въ наше время, которое вы такъ передѣляли, потому что хуже того, что теперь — никогда не бывало. Въ нашемъ обществѣ совѣмъ не ясно, господа. Вѣдь вы Бога отрицаете, подвигъ отрицаете какая же кос-

ность, глухая, слѣпая, тупая можетъ заставитьъ меня дѣйствовать такъ, если мнѣ выгодноѣе иначе? Вы говорите: „разумное отношеніе къ чело-вѣчеству есть тоже моя выгода“; а если я нахожу всѣ эти разумности неразумными, всѣ эти казармы, фаланги? Да чортъ мнѣ въ нихъ, и до будущаго, когда я одинъ только разъ на свѣтѣ живу! Позвольте мнѣ самому знать мою выгоду: оно веселѣе. Что мнѣ за дѣло о томъ, что будетъ черезъ тысячу лѣтъ съ этимъ вашимъ чело-вѣчествомъ, если мнѣ за это, по вашему кодексу, — ни любви, ни будущей жизни, ни при-званія за мной подвига? Нѣтъ-съ, если такъ, то я самымъ прене-вѣж-ливымъ образомъ буду жить для себя, а тамъ хоть бы всѣ про-валились!

— Превосходное желаніе!

— Впрочемъ, я всегда готовъ вмѣстѣ.

— Еще лучше! (это все тотъ голосъ).

Остальные всѣ продолжали молчать, всѣ глядѣли и меня разгля-дывали; но, мало по малу, съ разныхъ концовъ комнаты началось хи-хиканье, еще тихое, но всѣ хихикали мнѣ прямо въ глаза. Васинъ и Крафтъ только не хихикали. Съ черными бабенами тоже ухмылялся; онъ въ упоръ смотрѣлъ на меня и слушалъ.

— Господа, дрожалъ я весь:—я мою идею вамъ не скажу ни за что, но я васъ, напротивъ, съ вашей же точки спрошу,—не думайте что съ моей, потому что я, можетъ быть, въ тысячу разъ больше люблю чело-вѣчество, чѣмъ вы всѣ, вмѣстѣ взятые! Скажите,—и вы ужъ те-перь непременно должны отвѣтить, вы обязаны, потому что смѣтаетесь,—скажите: чѣмъ прельстите вы меня, чтобъ я шелъ за вами? Скажите, чѣмъ докажете вы мнѣ, что у васъ будетъ лучше? Куда вы дѣнете протестъ моей личности въ вашей казармѣ? Я давно, господа, желалъ съ вами встрѣтиться! У васъ будетъ казарма, общія квартиры, *stricte pécessaire*, атеизмъ и общія жены безъ дѣтей, — вотъ вашъ финаль, вѣдь я знаю-съ. И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мнѣ обезпечить ваша разумность, за кусокъ и тепло, вы берете въ замѣнъ всю мою личность! Позвольте-съ: у меня тамъ жену уведутъ; уймете ли вы мою личность, чтобъ я не разможилъ противнику голову? Вы скажете, что я тогда и самъ поумнѣю; но жена то что скажетъ о такомъ разумномъ мужѣ, если сколько нибудь себя уважаетъ? Вѣдь это неестественно-съ; постыдитесь!

— А вы по женской части—специалистъ? раздался съ злорадствомъ голосъ ничтожества.

Одно мгновеніе у меня была мысль броситься и начать его тузить

кулаками. Это былъ невысокаго роста, рыжеватый и весноватый... да, впрочемъ, чортъ бы взялъ его наружность!

— Успокойтесь, я еще никогда не зналъ женщины, отрѣзалъ я, въ первый разъ къ нему поворачивался.

— Драгоценное сообщеніе, которое могло бы быть сдѣлано вѣжливей, въ виду дамъ!

Но всѣ вдругъ густо зашевелились; всѣ стали разбирать шляпы и хотѣли идти, — конечно, не изъ за меня, а имъ пришло время; но это молчаливое отношеніе ко мнѣ раздавило меня стыдомъ. Я тоже вскочилъ.

— Позвольте, однако, узнать вашу фамилію: вы все смотрѣли на меня? ступилъ вдругъ ко мнѣ учитель съ поддѣвшею улыбкой.

— Долгорукій.

— Князь Долгорукій?

— Нѣтъ, просто Долгорукій, сынъ бывшаго крѣпостнаго Макара Долгорукаго и незаконный сынъ моего бывшаго барина г-на Версилова. — Не безпокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчасъ же бросились ко мнѣ за это на шею и чтобы мы всѣ завяли какъ телята отъ удивленія!

Громкій и самый безцеремонный залпъ хохота раздался разомъ, такъ что заснувшій за дверью ребенокъ проснулся и запищалъ. Я трепеталъ отъ ярости. Всѣ они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого вниманія.

— Пойдемте, толкнулъ меня Крафтъ.

Я подошелъ къ Дергачеву, изо всѣхъ силъ сжалъ ему руку и потрясъ ее нѣсколько разъ тоже изо всей силы.

— Извините, что васъ все обижалъ Кудрямовъ (это рыжеватый), сказалъ мнѣ Дергачевъ.

Я пошелъ за Крафтомъ. Я ничего не стыдился.

VI.

Конечно, между мной теперешнимъ и мной тогдашнимъ — безконечная разница.

Продолжая „ничего не стыдиться“, я еще на лѣсенкѣ нагналъ Васина, отставъ отъ Крафта, какъ отъ второстепенности, и съ самымъ натуральнымъ видомъ, точно ничего не случилось, спросилъ:

— Вы, кажется, изволите знать моего отца, т. е. я хочу сказать Версилова?

— Я собственно незнакомъ, тотчасъ отвѣтилъ Васинъ (и безъ

малѣйшей той обидной утонченной вѣжливости, которую берутъ на себя люди деликатные, говоря съ тотчасъ же осрамившимся):— но я нѣсколько его знаю: встрѣчался и слушалъ его.

— Коли слушали, такъ, конечно, знаете, потому что вы — вы! Какъ вы о немъ думаете? Простите за скорый вопросъ, но мнѣ нужно. Именно какъ *вы* бы думали, собственно *ваше* мнѣніе необходимо.

— Вы съ меня много спрашиваете. Мнѣ кажется, этотъ человѣкъ способенъ задать себѣ огромныя требованія и, можетъ быть, ихъ выполнять, — но отчету никому не отдающій.

— Это вѣрно, это очень вѣрно, это — очень гордый человѣкъ! Но чистый ли это человѣкъ? Послушайте, что вы думаете о его католичествѣ? Впрочемъ, я забылъ, что вы, можетъ быть, не знаете...

Еслибъ я не былъ такъ взволнованъ, ужъ разумѣется, я бы не стрѣлялъ такими вопросами, и такъ зря, въ человѣка, съ которымъ никогда не говорилъ, а только о немъ слышалъ. Меня удивляло, что Васинъ какъ бы не замѣчалъ моего съумасшествія!

— Я слышалъ что-то и объ этомъ, но не знаю насколько это могло бы быть вѣрно, но все-таки спокойно и ровно отвѣтилъ онъ.

— Ничуть! Это про него неправду! Неужели вы думаете, что онъ можетъ вѣрить въ Бога?

— Это — очень гордый человѣкъ, какъ вы сейчасъ сами сказали, а многіе изъ очень гордыхъ людей любятъ вѣрить въ Бога, особенно нѣсколько презирающіе людей. У многихъ сильныхъ людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность — найти когонибудь, или чтонибудь, передъ чѣмъ преклониться. Сильному человѣку иногда очень трудно переносить свою силу.

— Послушайте, это должно быть ужасно вѣрно! вскричалъ я опять: — только я бы желалъ понять...

— Тутъ причина ясная: они выбираютъ Бога, чтобъ не преклоняться передъ людьми; — разумѣется, сами не вѣдая, какъ это въ нихъ дѣлается; преклониться предъ Богомъ не такъ обидно. Изъ нихъ выходятъ чрезвычайно горячо вѣрующіе, — вѣрнѣе сказать, горячо желающіе вѣрить; но желанія они принимаютъ за самую вѣру. Изъ такихъ особенно часто бываютъ подъ конецъ разочаровывающіеся. Про г. Версилова я думаю, что въ немъ есть и чрезвычайно искреннія черты характера. И вообще онъ меня заинтересовалъ.

— Васинъ! вскричалъ я: — вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, какъ можете вы, человѣкъ столь чистый и такъ безмѣрно надо мной стоящій, — какъ можете вы со мной идти

и говорить такъ просто и вѣжливо, какъ будто ничего не случилось!

Васинъ улыбнулся.

— Вы ужъ слишкомъ меня хвалите, а случилось тамъ только то, что вы слишкомъ любите отвлеченные разговоры. Вы, вѣроятно, очень долго передъ этимъ молчали.

— Я три года молчалъ, я три года говорить готовился... Дуракомъ я вамъ, разумѣется, показаться не могъ, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупѣ меня вести себя невозможно, но подлецомъ!

— Подлецомъ?

— Да, несомнѣнно! Скажите, не презираете вы меня втайнѣ за то, что я сказалъ, что я незаконнорожденный Версилова... и похвалялся, что сынъ двороваго?

— Вы слишкомъ себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоять только не говорить въ другой разъ: вамъ еще пятьдесятъ лѣтъ впереди.

— О, я знаю, что мнѣ надо быть очень молчаливымъ съ людьми. Самый подлый изъ всѣхъ развратовъ, это — вѣшаться на шею; я сейчасъ это имъ сказалъ, и вотъ я и вамъ вѣнаюсь! Но вѣдь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту.

Васинъ опять улыбнулся.

— Приходите ко мнѣ, если захотите, сказалъ онъ. — Я имѣю теперь работу и занятъ, но вы сдѣлаете мнѣ удовольствіе.

— Я заключилъ объ васъ давеча, по фізіономіи, что вы излишне тверды и несообщительны.

— Это очень можетъ быть вѣрно. Я зналъ вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлаго года, въ Лугѣ... Крафтъ остановился и, кажется, васъ ждетъ; ему поворачивать.

Я вѣрнѣе пожалъ руку Васи́на и добѣжалъ до Крафта, который все шелъ впереди, пока я говорилъ съ Васи́нымъ. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотѣлъ еще и не могъ говорить съ нимъ. Въ характерѣ Крафта одною изъ сильнѣйшихъ чертъ — была деликатность.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Крафтъ прежде гдѣ-то служилъ, а вѣстѣ съ тѣмъ и помогалъ покойному Андроникову (за вознагражденіе отъ него) въ веденіи нѣмыхъ

частныхъ дѣлъ, которыми тотъ постоянно занимался сверхъ своей службѣ. Для меня важно было уже то, что Крафту, вслѣдствіе особенной близости его съ Андрониковымъ, могло быть многое извѣстно изъ того, что такъ интересовало меня. Но я зналъ отъ Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у котораго я прожилъ столько лѣтъ, когда ходилъ въ гимназію, — и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже „поручено“ передать мнѣ нѣчто. Я уже ждалъ его цѣлый мѣсяць.

Онъ жилъ въ маленькой квартирѣ, въ двѣ комнаты, совершеннымъ особнякомъ, а въ настоящую минуту, только что воротившись, былъ даже и безъ прислуги. Чемоданъ былъ хоть и раскрытъ, но не убранъ; вещи валялись на стульяхъ, а на столѣ, передъ диваномъ, разложены были: саквояжъ, дорожная шкатулка, револьверъ и проч. Войдя, Крафтъ былъ въ чрезвычайной задумчивости, какъ бы забывъ обо мнѣ вовсе; онъ, можетъ быть, и не замѣтилъ, что я съ нимъ не разговаривалъ дорогой. Онъ тотчасъ же что-то принялся искать, но, взглянувъ мимоходомъ въ зеркало, остановился и цѣлую минуту пристально разсматривалъ свое лицо. Я хоть и замѣтилъ эту особенность (а потомъ слишкомъ все припомнилъ), но я былъ грустенъ и очень смущенъ. Я былъ не въ силахъ сосредоточиться. Одно мгновеніе мнѣ вдругъ захотѣлось взять и уйти и такъ оставить всѣ дѣла навсегда. Да и что такое были всѣ эти дѣла въ сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходилъ въ отчаяніе, что трачу много энергіи, можетъ быть, на недостойные пустяки изъ одной чувствительности, тогда какъ самъ имѣю передъ собой энергическую задачу. А между тѣмъ, неспособность моя къ серьезному дѣлу, очевидно, обозначалась въ виду того, что случилось у Дергачева.

— Крафтъ, вы къ нимъ и еще пойдете? вдругъ спросилъ я его. Онъ медленно обернулся ко мнѣ, какъ бы плохо понимая меня. Я сѣлъ на стулъ.

— Простите ихъ! сказала вдругъ Крафтъ.

Мнѣ, конечно, показалось, что это насмѣшка; но, взглянувъ пристально, я увидалъ въ лицѣ его такое странное и даже удивительное простодушіе, что мнѣ даже самому удивительно стало, какъ это онъ такъ серьезно попросилъ меня ихъ „простить“. Онъ поставилъ стулъ и сѣлъ подлѣ меня.

— Я самъ знаю, что я, можетъ быть, сбродъ всѣхъ самолюбій и больше ничего, началъ я: — но не прошу прощенія.

— Да и совсѣмъ не у кого, проговорилъ онъ тихо и серьезно. Онъ все время говорилъ тихо и очень медленно.

— Пусть я буду виновать передъ собой... Я люблю быть виновнымъ передъ собой... Крафтъ, простите, что я у васъ вру. Скажите, неужели вы тоже въ этомъ кружкѣ? Я вотъ объ чемъ хотѣлъ спросить.

— Они не глупѣе другихъ и не унывѣ; они — помѣшанные, какъ всѣ.

— Развѣ всѣ — помѣшанные? повернулся я къ нему съ невольнымъ любопытствомъ.

— Изъ людей получше теперь всѣ — помѣшанные. Сильно кутить одна середина и бездарность... Впрочемъ, это все не стоитъ.

Говоря, онъ смотрѣлъ какъ-то въ воздухъ, начиналъ фразы и обрывалъ ихъ. Особенно поражало какое-то уныніе въ его голосѣ.

— Неужели и Васинъ съ ними? Въ Васинѣ умъ, въ Васинѣ — нравственная идея! вскричалъ я.

— Нравственныхъ идей теперь совсѣмъ нѣтъ; вдругъ ни одной не оказалось, и, главное, съ такимъ видомъ, что какъ будто ихъ никогда и не было.

— Прежде не было?

— Лучше оставимъ это, проговорилъ онъ съ явнымъ утомленіемъ.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я сталъ входить въ его тонъ.

— Нынѣшнее время, началъ онъ самъ, помолчавъ минуты двѣ и все смотря куда-то въ воздухъ: — нынѣшнее время — это время золотой середины и безчувствія, страсти къ невѣжеству, лѣни, неспособности къ дѣлу и потребности всего готоваго. Никто не задумывается; рѣдко кто выжилъ бы себѣ идею.

Онъ опять оборвалъ и помолчалъ немного; я слушалъ.

— Нынче бездѣсятъ Россію, истощаютъ въ ней почву, обращаютъ въ стень и приготавливаютъ ее для калмыковъ. Явись человекъ съ надеждой и посади дерево — всѣ засмѣются: „развѣ ты до него доживешь?“ Съ другой стороны, желающіе добра толкуютъ о томъ, что будетъ черезъ тысячу лѣтъ. Скрѣпляющая идея совсѣмъ пропала. Всѣ точно на постояломъ дворѣ и завтра собираются вонъ изъ Россіи, всѣ живутъ только бы съ нихъ достало...

— Позвольте, Крафтъ, вы сказали: „заботятся о томъ, что будетъ черезъ тысячу лѣтъ.“ Ну, а ваше отчаяніе... про участь Россіи... развѣ это — не въ томъ же родѣ забота?

— Это... это — самый насущный вопросъ, который только есть! раздражительно проговорилъ онъ и быстро всталъ съ мѣста.

— Ахъ, да! Я и забылъ! сказалъ онъ вдругъ совсѣмъ не тѣмъ

голосомъ, съ недоумѣніемъ смотря на меня:—я васъ звалъ по дѣлу и между тѣмъ... Ради Бога извините.

Онъ точно вдругъ опомнился отъ какого-то сна, почти сконфузился; взялъ изъ портфеля, лежавшаго на столѣ, письмо и подалъ мнѣ.

— Вотъ что я имѣю вамъ передать. Это — документъ, имѣющій нѣкоторую важность, началъ онъ со вниманіемъ и съ самымъ дѣловымъ видомъ. Меня, еще долго спустя, поражала потомъ, при воспоминаніи, эта способность его (въ такіе для него часы!) съ такимъ сердечнымъ вниманіемъ отнестись къ чужому дѣлу, такъ спокойно и твердо рассказать его.

— Это — письмо того самаго Столбѣва, по смерти котораго, изъ-за завѣщанія его возникло дѣло Версилова съ князьями Сокольскими. Дѣло это теперь рѣшается въ судѣ и рѣшится навѣрно въ пользу Версилова; за него законъ. Между тѣмъ, въ письмѣ этомъ, частномъ, писанномъ два года назадъ, завѣщатель самъ излагаетъ настоящую свою волю или, вѣрнѣе, желаніе, излагаетъ скорѣе въ пользу князей, чѣмъ Версилова. По крайней мѣрѣ, тѣ пункты, на которые опираются князья Сокольскіе, оспаривая завѣщаніе, получаютъ сильную поддержку въ этомъ письмѣ. Противники Версилова много бы дали за этотъ документъ, не имѣющій, впрочемъ, рѣшительнаго юридическаго значенія. Алексѣй Никаноровичъ (Андрониковъ), занимавшійся дѣломъ Версилова, сохранялъ это письмо у себя и, незадолго до своей смерти, передалъ его мнѣ съ порученіемъ „приберечь“, — можетъ быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намѣреніяхъ Алексѣя Никаноровича, въ этомъ случаѣ и, признаюсь, по смерти его, я находился въ нѣкоторой тѣлостной нерѣшимости, что мнѣ дѣлать съ этимъ документомъ, особенно въ виду близкаго рѣшенія этого дѣла въ судѣ? Но Марья Ивановна, которой Алексѣй Никаноровичъ, кажется, очень много повѣрялъ при жизни, вывела меня изъ затрудненія: она написала мнѣ, три недѣли назадъ, рѣшительно, чтобъ я передалъ документъ именно вамъ, и что это, *кажется* (ея выраженіе), совпадало бы и съ волей Андроникова. И такъ вотъ документъ, и я очень радъ, что могу его наконецъ передать.

— Послушайте, сказалъ я, озадаченный такою неожиданною новостью:—что же я буду теперь съ этимъ письмомъ дѣлать? Какъ мнѣ поступить?

— Это ужъ въ вашей волѣ.

— Невозможно, я ужасно несвободенъ, согласитесь сами! Версиловъ такъ ждалъ этого наслѣдства... и знаете, онъ погибнетъ безъ этой помощи,—и вдругъ существуетъ такой документъ!

— Онъ существуетъ только здѣсь, въ комнатѣ.

— Неужели такъ? посмотрѣлъ я на него внимательно.

— Если вы въ этомъ случаѣ сами не находите, какъ поступить, то что же я могу вамъ совѣтовать?

— Но передать князю Сокольскому я тоже не могу: я убью всѣ надежды Версилова, и, кромѣ того, выйду передъ нимъ измѣнникомъ... Съ другой стороны, передавъ Версилову, я свергну невинныхъ въ нищету, а Версилова все таки ставлю въ безвыходное положеніе: или отказать отъ наслѣдства, или стать воромъ.

— Вы слишкомъ преувеличиваете значеніе дѣла.

— Скажите одно: имѣетъ этотъ документъ характеръ рѣшительный, окончательный?

— Нѣтъ, не имѣетъ. Я небольшой кристъ. Адвокатъ противной стороны, разумѣется, зналъ бы, какъ этимъ документомъ воспользоваться, и извлекъ бы изъ него всю пользу; но Алексѣй Никаноровичъ находилъ положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имѣло бы большаго юридическаго значенія, такъ что дѣло Версилова могло бы быть все таки выиграно. Скорѣе же этотъ документъ представляетъ, такъ сказать, дѣло совѣсти...

— Да вотъ это-то и важнѣе всего, перебилъ я:—именно потому-то Версиловъ и будетъ въ безвыходномъ положеніи.

— Онъ, однако, можетъ уничтожить документъ, и тогда, напротивъ, избавить себя уже отъ всякой опасности.

— Имѣете вы особыя основанія такъ полагать о немъ, Крафтъ? Вотъ что я хочу знать: для того-то я и у васъ!

— Я думаю, что всякій на его мѣстѣ такъ бы поступилъ.

— И вы сами такъ поступили бы?

— Я не получаю наслѣдства и потому про себя не знаю.

— Ну, хорошо, сказалъ я, сунувъ письмо въ карманъ.—Это дѣло пока теперь кончено. Крафтъ, послушайте. Марья Ивановна, которая, увѣряю васъ, многое мнѣ отерла, сказала мнѣ, что вы, и только одинъ вы, могли бы передать истину о случившемся въ Эмсѣ, полтора года назадъ, у Версилова съ Ахмаковыми. Я васъ ждалъ, какъ солнца, которое все у меня освѣтитъ. Вы не знаете моего положенія, Крафтъ. Умоляю васъ сказать мнѣ всю правду. Я именно хочу знать, какой онъ человекъ, а теперь—теперь больше, чѣмъ когда нибудь это надо!

— Я удивляюсь, какъ Марья Ивановна вамъ не передала всего сама; она могла обо всемъ слышать отъ покойнаго Андроникова и, разумѣется, слышала и знаетъ, можетъ быть, больше меня.

— Андрониковъ самъ въ этомъ дѣлѣ путался, такъ именно говорить Марья Ивановна. Этого дѣла, кажется, никто не можетъ распутать. Тутъ чортъ ногу переломить! Я же знаю, что вы тогда сами были въ Эмсѣ...

— Я всего не засталъ, но чтò знаю, пожалуй, расскажу охотно, только удовлетворю-ли васъ?

II.

Не привожу дословнаго разсказа, а приведу лишь вератцѣ сущность.

Полтора года назадъ, Версильовъ, ставъ черезъ стараго князя Сокольскаго другомъ дома Ахмаковыхъ (всѣ тогда находились за границей, въ Эмсѣ), произвелъ сильное впечатлѣніе во первыхъ, на самого Ахмакова, генерала и еще не стараго человѣка, но проигравшаго все богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, въ три года супружества въ карты, и отъ невоздержной жизни уже имѣвшаго ударъ. Чтò же него очнулся и поправлялся за границей, а въ Эмсѣ прожилъ для своей дочери, отъ перваго своего брака. Это была болѣзненнѣйшая дѣвушка, лѣтъ семнадцати, страдавшая разстройствомъ груди и, кромѣ тѣхъ, чрезвычайной красоты, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и фантастичности. Приданнаго у ней не было; надѣялись, по обыкновенію, на стараго князя. Катерина Николаевна была, говорятъ, доброй мачихой. Но дѣвушка почему-то особенно привязалась къ Версильову. Онъ проповѣдывалъ тогда „что-то страстное“, по выраженію Крафта, какую-то новую жизнь, „былъ въ религіозномъ настроеніи высшаго смысла“ — по странному, а, можетъ быть, и насмѣшливому выраженію Андроникова, которое мнѣ было передано. Но замѣчательно, что его скоро всѣ не полюбили. Генералъ даже боялся его; Крафтъ совершенно не отрицаетъ слуха, что Версильовъ успѣлъ утвердить въ умѣ больнаго мужа, что Катерина Николаевна равнодушна къ молодому князю Сокольскому (отлучившемуся тогда изъ Эмса въ Парижъ). Сдѣлалъ же это не прямо, а „по обыкновенію своему“ — навітами, наведеніями и всякими извилинами, „на что онъ великій мастеръ“, выразился Крафтъ. Вообще же скажу, что Крафтъ считалъ его и желалъ считать скорѣе плутомъ и врожденнымъ интриганомъ, чѣмъ человѣкомъ, дѣйствительно проникнутымъ чѣмъ-то высшимъ, или хоть оригинальнымъ. Я же зналъ и помню Крафта, что Версильовъ, имѣвъ сперва чрезвычайное вліяніе на Катерину Николаевну, мало по малу дошелъ съ нею до разрыва. Въ чемъ тутъ состояла вся эта игра, я и отъ Крафта не могъ добиться,

но о взаимной ненависти, возникшей между обоими, послѣ ихъ дружбы, всё подтверждали. Затѣмъ произошло одно странное обстоятельство: болѣзненная падчерица Катерины Николавны, повидимому, влюбилась въ Версилова, или чѣмъ-то въ немъ поразилась, или воспламенилась его рѣчью, или ужъ я этого ничего не знаю; но извѣстно, что Версиловъ одно время всё почти дни проводилъ около этой дѣвушки. Кончилось тѣмъ, что дѣвица объявила вдругъ отцу, что желаетъ за Версилова замужъ. Что это случилось дѣйствительно — это всё подтверждаютъ, и Крафтъ, и Андрониковъ, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорилась объ этомъ при мнѣ Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версиловъ не только самъ желалъ, но даже и настаивалъ на бракѣ съ дѣвушкой, и что соглашеніе этихъ двухъ неоднородныхъ существъ, стараго съ молодымъ, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала; онъ, по мѣрѣ отвращенія отъ Катерины Николавны, которую прежде очень любилъ, сталъ чуть не боготворить свою дочь, особенно послѣ удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Катерина Николавна. Произошло чрезвычайно много какихъ-то секретныхъ, чрезвычайно неприятныхъ семейныхъ столкновеній, споровъ, огорченій, однимъ словомъ, всякихъ гадостей. Отецъ началъ, наконецъ, подаваться, видя упорство влюбленной и „фанатизированной“ Версиловымъ дочери—выраженіе Крафта. Но Катерина Николавна продолжала возставать съ неумолимой ненавистью. И вотъ здѣсь-то и начинается путаница, которую никто не понимаетъ. Вотъ, однако, прямая догадка Крафта на основаніи данныхъ, но все таки лишь догадка.

Версиловъ будто бы успѣлъ внушить *по своему*, тонко и неотразимо, молодой особѣ, что Катерина Николавна оттого не соглашается, что влюблена въ него сама и уже давно мучитъ его ревностью, преслѣдуетъ его, интригуетъ, объяснилась уже ему, и теперь готова съечь его за то, что онъ полюбилъ другую; однимъ словомъ, что-то въ этомъ родѣ. Сквернѣе всего тутъ то, что онъ будто бы „намекнулъ“ объ этомъ и отцу, мужу „невѣрной“ жены, объясняя, что князь былъ только развлеченіемъ. Разумѣется, въ семействѣ начался цѣлый адъ. По инымъ вариантамъ, Катерина Николавна ужасно любила свою падчерицу и теперь, какъ оклеветанная передъ нею, была въ отчаяніи, не говоря уже объ отношеніяхъ къ большому мужу. И что же, рядомъ съ этимъ существуетъ другой вариантъ, которому, къ печали моей, вполне вѣрилъ и Крафтъ, и которому—я и самъ вѣрилъ (обо всемъ этомъ я уже слышалъ). Утверждали (Андрониковъ, говорятъ, слышалъ отъ самой Катерины Николавны), что, напротивъ, Версиловъ, пре-

жде еще, т. е. до начала чувствъ молодой дѣвицы, предлагалъ свою любовь Катеринѣ Николаевнѣ; что та, бывшая его другомъ, даже экзальтированная имъ нѣкоторое время, но постоянно ему не вѣрившая и противорѣчившая, встрѣтила это объясненіе Версилова съ чрезвычайною ненавистью и ядовито осмѣяла его. Выгнала же его формально отъ себя за то, что тотъ предложилъ ей прямо стать его женой, въ виду близкаго, предполагаемаго второго удара мужа. Такимъ образомъ, Катерина Николаевна должна была почувствовать особенную ненависть къ Версиллову, когда увидѣла потомъ, что онъ такъ открыто ищетъ уже руки ея падчерицы. Марья Ивановна, передавая все это мнѣ въ Москвѣ, вѣрила и тому, и другому варианту, т. е. всему вмѣстѣ: она именно утверждала, что все это могло произойти совмѣстно, что это въ родѣ *la haine dans l'amour*, оскорбленной любовной гордости съ обѣихъ сторонъ и т. д., и т. д., однимъ словомъ, что-то въ родѣ какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякаго серьезнаго и здравомыслящаго человѣка и, вдобавокъ, съ подлостью. Но Марья Ивановна когда и сама напшпитована романами съ дѣтства и читала ихъ день и ночь, не смотря на прекрасный характеръ. Въ результатъ выставлялась видная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тѣмъ болѣе, что кончилось дѣйствительно трагически: бѣдная, воспламененная дѣвушка отравилась, говорятъ, фосфорными спичками; впрочемъ, я даже и теперь не знаю, вѣренъ ли этотъ послѣдній слухъ; но крайней мѣрѣ, его всѣми силами постарались замять. Дѣвица была больна всего двѣ недѣли и умерла. Спички остались, такимъ образомъ, подъ сомнѣніемъ, но Крафтъ и имъ твердо вѣрилъ. Затѣмъ, умеръ въ скорости и отецъ дѣвицы, говорятъ, отъ горести, которая и вызвала второй ударъ, однако не раньше, какъ черезъ три мѣсяца. Но послѣ похоронъ дѣвицы, молодой князь Сокольскій, возвратившійся изъ Парижа въ Эмсъ, далъ Версиллову пощечину публично въ саду и тотъ не отвѣтилъ вызовомъ; напротивъ, на другой же день явился на Променадѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. Тутъ-то всѣ отъ него и отвернулись, въ Петербургѣ тоже. Версилловъ хотъ и продолжалъ нѣкоторое знакомство, но совсѣмъ въ другомъ кругу. Изъ свѣтскаго его знакомства всѣ его обвиняли, хотя, впрочемъ, мало кто зналъ обо всѣхъ подробностяхъ; знали только нѣчто о романической смерти молодой особы и о пощечинѣ. По возможности, полныя свѣдѣнія имѣли только два-три лица; болѣе всѣхъ зналъ покойный Андрониковъ, имѣя уже давно дѣловыя сношенія съ Ахмаковыми и особенно съ Катериной Николаевной по одному случаю. Но онъ хранилъ всѣ эти секреты даже

отъ семейства своего, а открылъ лишь нѣчто Крафтѣ и Марьѣ Ивановнѣ, да и то вслѣдствіе необходимости.

— Главное, тутъ теперь одинъ документъ, — заключилъ Крафтѣ, — котораго чрезвычайно боится госпожа Ахмакова.

И вотъ что онъ сообщилъ и объ этомъ:

Катерина Николавна имѣла неосторожность, когда старшій князь, отецъ ея, за границей сталъ уже выздоравливать отъ своего припадка, написать Андроникову въ большомъ секретѣ (Катерина Николавна до вѣрляла ему вполне) чрезвычайно компрометирующее письмо. Въ то время, въ выздоравливавшемъ князѣ, дѣйствительно, говорятъ, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на вѣтеръ: за границей онъ сталъ покупать совершенно ненужныя, но цѣнныя вещи, картины, вазы, — дарить и жертвовать, на Богъ знаетъ что, большими кучами, даже на разныя тамошнія учрежденія; у одного русскаго свѣтскаго мота чуть не купилъ, за огромную сумму, заглазно, разоренное и обремененное тяжбами имѣніе; наконецъ, дѣйствительно будто бы началъ мечтать о бракѣ. И вотъ, въ виду всего этого, Катерина Николавна, не отходящая отъ отца во время его болѣзни, и послала Андроникову, какъ юристу и „старому другу,“ запросъ: „возможно ли будетъ, по законамъ, объявить князя въ опеку или въ родѣ неправопоспособнаго; а если такъ, то какъ удобнѣе это сдѣлать безъ скандала, чтобъ никто не могъ обвинить, и чтобъ пощадить при этомъ чувства отца и т. д. и т. д.“ Андрониковъ, говорятъ, тогда же разумилъ ее и отсовѣтовалъ; а впоследствии, когда князь выздоровѣлъ совсѣмъ, то и нельзя уже было воротиться къ этой идеѣ; но письмо у Андроникова осталось. И вотъ онъ умираетъ; Катерина Николавна тотчасъ вспомнила про письмо: еслибы оно обнаружилось въ бумагахъ покойнаго и попало въ руки стараго князя, то тотъ, несомнѣнно, прогналъ бы ее навсегда, лишилъ наслѣдства и не далъ бы ей ни копѣйки при жизни. Мысль, что родная дочь не вѣритъ въ его умъ и даже хотѣла объявить его сумасшедшимъ, обратила бы этого агнца въ звѣря. Она же, овдовѣвъ, осталась, по милости игрока — мужа, безъ всякихъ средствъ, и на одного только отца и рассчитывала: она вполне надѣялась получить отъ него новое приданое, столь же богатое, какъ и первое.

Крафтѣ объ участи этого письма зналъ очень мало, но замѣтилъ, что Андрониковъ „никогда не рвалъ нужныхъ бумагъ“, и, кромѣ того, былъ человекъ, хоть и широкаго ума, но и „широкой совѣсти.“ (Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда

Крафта, столь любившаго и уважавшаго Андроникова). Но Крафтъ имѣлъ все таки увѣренность, что компрометирующій документъ будто бы попался въ руки Версилова черезъ близость того со вдовой и съ дочерью Андроникова; уже извѣстно было, что онѣ тотчасъ же и обязательно предоставили Версилу все бумаги, оставшіяся послѣ покойнаго. Зналъ онѣ тоже, что и Катеринѣ Николаевнѣ уже извѣстно, что письмо у Версилова и что она этого-то и боится, думая, что Версильовъ тотчасъ пойдетъ съ письмомъ къ старому князю—что, возвратясь изъ-заграницы, она уже искала письмо въ Петербургѣ, была у Андрониковыхъ и теперь продолжаетъ искать, такъ какъ все таки у нея оставалась надежда, что письмо, можетъ быть, не у Версилова, и, въ заключеніе, что она и въ Москву ѣздила единственно съ этою-же цѣлью и умоляла тамъ Марью Ивановну поискать въ тѣхъ бумагахъ, которыя сохранялись у ней. О существованіи Марьи Ивановны и объ ея отношеніяхъ къ покойному Андроникову, она провѣдала весьма недавно, уже возвратясь въ Петербургъ.

— Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны? спросилъ я, я свою мысль.

— Если Марья Ивановна не открыла ничего даже вамъ, то, можетъ быть, у ней и нѣтъ ничего.

— Значить, вы полагаете, что документъ у Версилова?

— Вѣроятноѣ всего, что да. Впрочемъ, не знаю, все можетъ быть, промолвилъ онѣ съ видимымъ утомленіемъ.

Я пересталъ спрашивать, да и къ чему? Все главное для меня прояснилось, не смотря на всю эту недостойную путаницу; все, чего я боялся—подтвердилось.

— Все это, какъ сонъ и бредъ, сказалъ я въ глубокой грусти и взялся за шляпу.

— Вамъ очень дорогъ этотъ человекъ? спросилъ Крафтъ, съ видимымъ и большимъ участіемъ, которое я прочелъ на его лицѣ въ ту минуту.

— Я такъ и предчувствовалъ, сказалъ я,—что отъ васъ все таки не узнаю вполнѣ. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надѣялся. Можетъ быть, пойду къ ней, а можетъ быть, нѣтъ.

Крафтъ посмотрѣлъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Прощайте, Крафтъ! Зачѣмъ лѣзть къ людямъ, которые васъ не хотятъ? Не лучше ли все порвать—а?

— А потомъ куда? спросилъ онѣ какъ-то сурово и смотря въ землю.

— Къ себѣ, къ себѣ! Все порвать и уйти къ себѣ!

— Въ Америку?

— Въ Америку! Къ себѣ, къ одному себѣ! Вотъ въ чемъ вся „моя идея“, Крафтъ! сказалъ я восторженно.

Онъ какъ-то любопытно посмотрѣлъ на меня.

— А у васъ есть это мѣсто: „къ себѣ“?

— Есть. До свиданья, Крафтъ; благодарю васъ и жалѣю, что васъ утрудилъ! Я бы, на вашемъ мѣстѣ, когда у самого такая Россія въ головѣ, всѣхъ бы къ чорту отправлялъ: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя—миѣ какое дѣло.

— Посидите еще, сказалъ онъ вдругъ, уже проводивъ меня до входной двери.

Я немного удивился, воротился и опять сѣлъ. Крафтъ сѣлъ напротивъ. Мы обмѣнялись какими-то улыбками—все это я какъ теперь вижу. Очень помню, что миѣ было какъ-то удивительно на него.

— Миѣ въ васъ нравится, Крафтъ, то, что вы — такой вѣжливый человекъ, сказалъ я вдругъ.

— Да?

— Я потому, что самъ рѣдко умѣю быть вѣжливымъ, хоть и хочу умѣть... А чтожь, можетъ, и лучше, что оскорбляютъ люди: по крайней мѣрѣ, избавляютъ отъ несчастія любить ихъ.

— Какой вы часъ во дню больше любите? спросилъ онъ, очевидно, меня не слушая.

— Часъ? Не знаю. Я закатъ не люблю.

— Да? произнесъ онъ съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ, но тотчасъ опять задумался.

— Вы куда-то опять уѣзжаете?

— Да... уѣзжаю.

— Скоро?

— Скоро.

— Неужели, чтобъ доѣхать до Вильно, револьверъ нуженъ? спросилъ я вовсе безъ малѣйшей задней мысли: и мысли даже не было! Такъ спросилъ, потому что мелькнулъ револьверъ, а я тяготился, о чемъ говорить.

Онъ обернулся и посмотрѣлъ на револьверъ пристально.

— Нѣтъ, это я такъ, по привычѣ.

— Еслибъ у меня былъ револьверъ, я бы пряталъ его куданибудь подъ замокъ. Знаете, ей Богу, соблазнительно! Я, можетъ быть,

и не вѣрю въ эпидемію самоубійствъ, но если торчитъ вотъ это передъ глазами—право, есть минуты, что и соблазнить.

— Не говорите объ этомъ, сказалъ онъ и вдругъ всталъ со стула.

— Я не про себя, прибавилъ я, тоже вставая:—я не употреблю. Мнѣ хоть три жизни дайте,—мнѣ и тѣхъ будетъ мало.

— Живите больше, какъ бы вырвалось у него.

Онъ разсѣянно улыбнулся и, странно, прямо пошелъ въ переднюю, точно вывода меня самъ, разумѣется, не замѣчая что дѣлаетъ.

— Желаю вамъ всякой удачи, Крафтъ, сказалъ я, уже выходя на лѣстницу.

— Это пожалуй, твердо отвѣчалъ онъ.

— До свиданья!

— И это пожалуй.

Я помню его послѣдній на меня взглядъ.

III.

Итакъ, вотъ человекъ, по которому столько лѣтъ билось мое сердце! И чего я ждалъ отъ Крафта, какихъ это новыхъ сообщеній?

Выйдя отъ Крафта, я сильно захотѣлъ ѣсть; наступалъ уже вечеръ, а я не обѣдалъ. Я вошелъ, тутъ же на Петербургской, на Большомъ проспектѣ, въ одинъ мелкій трактиръ, съ тѣмъ, чтобъ истратить копѣекъ двадцать и не болѣе двадцати пяти—болѣе я бы тогда ни за что себѣ не позволилъ. Я взялъ себѣ супу и, помню, съѣвъ его, сълъ глядѣть въ окно; въ комнатѣ было много народу, пахло пригорѣлымъ масломъ, трактирными салфетками и табакомъ. Гадко было. Надъ головой моей тучалъ носомъ о дно своей клѣтки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. Въ сосѣдней биллиардной шумѣли, но я сидѣлъ и сильно думалъ. Закатъ солнца (почему Крафтъ удивился, что я не люблю заката?) навелъ на меня какія-то новыя и неожиданныя ощущенія, совсѣмъ не къ жѣсту. Мнѣ все мерещился тихій взглядъ моей матери, ея милые глаза, которые вотъ уже весь мѣсяцъ такъ робко ко мнѣ приглядывались. Въ послѣднее время я дома очень грубилъ, ей преимущественно; желалъ грубить Версикову, но не смѣя ему, по подлему обычаю моему, мучилъ ее. Даже совсѣмъ запугалъ: часто она такими умоляющими взглядомъ смотрѣла на меня при входѣ Андрея Петровича, боясь съ моей стороны какой нибудь выходки... Очень странно было то, что я теперь, въ трактирѣ, въ первый разъ сообразилъ, что Версиковъ

мнѣ говорить *ты*, а она—*вы*. Удивлялся я тому и прежде, и не въ ея пользу, а тутъ какъ-то особенно сообразилъ — и все странныя мысли, однѣ за другой, текли въ голову. Я долго просидѣлъ на мѣстѣ, до самыхъ полныхъ сумерекъ. Думалъ и объ сестрѣ...

Минута для меня роковая. Во что бы ни стало, надо было рѣшиться! Неужели я неспособенъ рѣшиться? Чтò труднаго въ томъ, чтобъ порвать, если къ тому же и сами не хотятъ меня? Мать и сестра? Но ихъ-то я ни въ какомъ случаѣ не оставлю, — какъ бы ни обернулось дѣло.

Это правда, что появленіе этого человѣка въ жизни моей, т. е. на мигъ, еще въ первомъ дѣтствѣ, было тѣмъ фатальнымъ толчкомъ, съ котораго началось мое сознаніе. Не встрѣтся онъ мнѣ тогда, — мой умъ, мой складъ мыслей, моя судьба навѣрно была бы иная, не смотря даже на предопредѣленный мнѣ судьбою характеръ, котораго я бы все таки не избѣгнулъ.

Но вѣдь оказывается, что этотъ человѣкъ—лишь мечта моя, мечта съ дѣтскихъ лѣтъ. Это я самъ его такимъ выдумалъ, а на дѣлѣ оказался другой, упавшій столь ниже моей фантазіи. Я пріѣхалъ къ человѣку чистому, а не къ этому. И къ чему я влюбился въ него, разъ навсегда, въ ту маленькую минутку, какъ увидѣлъ его когда-то, бывши ребенкомъ? Это „навсегда“ должно исчезнуть. Я когда нибудь, если мѣсто найдется, опишу эту первую встрѣчу нашу: это пустѣйшій анекдотъ, изъ котораго ровно ничего не выходитъ. Но у меня вышла цѣлая пирамида. Я началъ эту пирамиду еще подъ дѣтскимъ одѣяломъ когда, засыпая, могъ плакать и мечтать—о чемъ?—самъ не знаю. О томъ, что меня оставили? О томъ, что меня мучать? Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, въ пансіонѣ Тушара, въ который онъ меня тогда сунулъ и уѣхалъ навсегда. Потомъ меня никто не мучилъ; даже, напротивъ, я самъ гордо смотрѣлъ на товарищей. Да и терпѣть я не могу этого ноющаго по себѣ сиротства! Ничего нѣтъ омерзительнѣе роли, когда сироты, незаконнорожденные, всѣ эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, къ которымъ я нисколько вотъ таки не имѣю жалости, вдругъ торжественно воздвигаются передъ публикой и начинаютъ жалобно, но наставительно, завывать: „Вотъ, дескать, какъ поступали съ нами!“ Я бы съѣлъ этихъ сиротъ. Никто-то не пойметъ изъ этой гнусной казенщины, что въ десять разъ ему благодарнѣе смолчать, а не выть и не *удостоивать* жаловаться. А коли начать удостоивать, то такъ тебѣ, сыну любви, и надо. Вотъ моя мысль!

Но не то смѣшно, когда я мечталъ прежде „подъ одѣяломъ,“ а то, что и пріѣхалъ сюда для него же, опять-таки для этого выдуманнаго человѣка, почти забывъ мои главныя цѣли. Я ѣхалъ помочь ему сокрушить клевету, раздавить враговъ. Тотъ документъ, о которомъ говорилъ Крафтъ, то письмо этой женщины къ Андроникову, котораго такъ боится она, которое можетъ сокрушить ея участь и свергнуть ее въ нищету и которое она предполагаетъ у Версилова—это письмо было не у Версилова, а у меня зашито въ моемъ боковомъ карманѣ! Я самъ и зашивалъ и никто во всемъ мірѣ еще не зналъ объ этомъ. То, что романтическая Марья Ивановна, у которой документъ находился „на сохраненіи“, нашла нужнымъ передать его мнѣ, и никому иному, то были лишь ея взглядъ и ея воля, и объяснять это я не обязанъ, можетъ быть, когда нибудь къ слову и расскажу; но столь неожиданно вооруженный, я не могъ не соблазниться желаніемъ явиться въ Петербургъ. Конечно, я полагалъ помочь этому человѣку не иначе, какъ втайнѣ, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвалъ, ни объятій его. И никогда, никогда бы я не *удостоилъ* попрекнуть его чѣмъ нибудь! Да и вина ли его въ томъ, что я влюбился въ него и создалъ изъ него фантастическій идеалъ? Да я даже, можетъ быть, вовсе и не любилъ его! Его оригинальный умъ, его любопытный характеръ, какія-то тамъ его интриги и приключенія, и то, что была при немъ моя мать—все это, казалось, уже не могло бы остановить меня; довольно было и того, что моя фантастическая кулея разбита и что я, можетъ быть, уже не могу любить его больше. И такъ, что же останавливало меня, на чемъ я завязъ?—вотъ вопросъ. Въ итогѣ выходило, что глупъ только я, болѣе никто.

Но требуя честности отъ другихъ, буду честенъ и самъ: я долженъ сознаться, что зашитый въ карманѣ документъ возбуждалъ во мнѣ не одно только страстное желаніе летѣть на помощь Версилону. Теперь для меня это ужъ слишкомъ ясно, а и тогда уже краснѣлъ отъ мысли. Мнѣ мерещилась женщина, гордое существо высшаго свѣта, съ которою я встрѣчусь лицомъ къ лицу; она будетъ презирать меня, смѣяться надо мной, какъ надъ мышью, даже и не подозрѣвая, что я властелинъ судьбы ея. Эта мысль пьянила меня еще въ Москвѣ, и особенно въ вагонѣ, когда я сюда ѣхалъ; я признался уже въ этомъ выше. Да, я ненавидѣлъ эту женщину, но уже любилъ ее, какъ мою жертву, и все это правда, все было дѣйствительно. Но ужъ это было такое дѣтство, котораго я даже и отъ такого, какъ я, не ожидалъ. Я описываю тогдашнія мои чувства, т. е. то, что мнѣ шло въ голову тогда,

когда я сидѣлъ въ трактирѣ подъ соловьемъ и когда порѣшилъ въ тотъ же вечеръ разорвать съ ними неминуемо. Мысль о давишной встрѣчѣ съ этой женщиной залила вдругъ краской стыда мое лицо. Позорная встрѣча! Позорное и глупенькое впечатлѣніе и—главное—сильнѣе всего доказавшее мою неспособность къ дѣлу! Оно доказывало лишь то, думалъ я тогда,—что я не въ силахъ устоять даже и предъ глупѣйшими приманками, тогда какъ самъ же сказалъ сейчасъ Крафту, что у меня есть „свое мѣсто,“ есть свое дѣло, и что еслибъ у меня было три жизни, то и тогда бы мнѣ было ихъ мало. Я гордо сказалъ это. То, что я бросилъ мою идею и затянулся въ дѣла Версилова—это еще можно было бы чѣмъ нибудь извинить; но то, что я бросаюсь, какъ удивленный заяцъ изъ стороны въ сторону и затагиваюсь уже въ каждые пустяки, въ томъ, конечно, одна моя глупость. На какой лядъ дернуло меня идти къ Дергачеву и выскочить съ моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не съумѣю рассказать умно и толково, и что мнѣ всего выгоднѣе молчать? И какой нибудь Васинъ вразумляетъ меня тѣмъ, что у меня еще „пятьдесятъ лѣтъ жизни впереди и, стало быть, тужить не о чемъ“. Возраженіе его прекрасно, я согласенъ, и дѣлаетъ честь его безспорному уму; прекрасно уже тѣмъ, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь подъ конецъ, когда уже перепробовано все, что мудренѣй или глупѣй; но я зналъ это возраженіе и самъ раньше Васина; эту мысль я почувствовалъ слишкомъ три года назадъ; даже мало того, въ ней-то и заключается отчасти „моя идея“.—Вотъ что я думалъ тогда въ трактирѣ.

Гадко мнѣ было, когда усталый и отъ ходьбы, и отъ мысли, добрался я вечеромъ, часу уже въ восьмомъ, въ Семеновскій полкъ. Совсѣмъ уже стемнѣло и погода переимѣнилась; было сухо, но подымался скверный, петербургскій вѣтеръ, язвительный и острый, мнѣ въ спину, и взвѣвалъ кругомъ пыль и песокъ. Сколько угрюмыхъ лицъ простонародья, торопливо возвращавшагося въ углы свои съ работы и промысловъ! У всякаго своя угрюмая забота на лицѣ и ни одной-то, можетъ быть, общей, всесоединяющей мысли въ этой толпѣ! Крафтъ правъ: всѣ врознь. Мнѣ встрѣтился маленькій мальчикъ, такой маленькій, что странно, какъ онъ могъ въ такой часъ очутиться одинъ на улицѣ; онъ, кажется, потерялъ дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставивъ его одного въ темнотѣ. Я подошелъ было, но онъ съ чего-то вдругъ меня испугался и побѣжалъ дальше. Подходя къ дому, я рѣшилъ, что я къ Васину никогда не пойду. Когда я всходилъ на лѣст-

ницу, мнѣ ужасно захотѣлось застать нашихъ дома однѣхъ, безъ Версилова, чтобъ успѣть сказать до его прихода что нибудь доброе матери или милой моей сестрѣ, которой я въ цѣлый мѣсяцъ не сказалъ почти ни одного особеннаго слова. Такъ и случилось, что его не было дома...

IV.

А кстати: выводя въ „Запискахъ“ это „новое лицо“ на сцену (т. е. я говорю про Версилова), приведу вкратцѣ его формулярный списокъ, ничего, впрочемъ, не означающій. Я дѣлаю это, чтобы было понятнѣе читателю, и такъ какъ не предвижу, куда бы могъ притѣнуть этотъ списокъ въ дальнѣйшемъ теченіи разсказа.

Онъ учился въ университетѣ, но поступилъ въ гвардію въ кавалерійскій полкъ. Женился на Фанариотовой и вышелъ въ отставку. Ѣздилъ за границу и, воротясь, жилъ въ Москвѣ въ свѣтскихъ удовольствіяхъ. По смерти жены, прибылъ въ деревню; тутъ эпизодъ съ моею матерью. Потомъ, долго жилъ гдѣ-то на югѣ. Въ войну съ Европой поступилъ опять въ военную службу, но въ Крымъ не попалъ и все время въ дѣлѣ не былъ. По окончаніи войны, выйдя въ отставку, Ѣздилъ за границу и даже съ моею матерью, которую, впрочемъ, оставилъ въ Кенигсбергѣ. Бѣдная рассказывала иногда съ какимъ-то ужасомъ и качая головой, какъ она прожила тогда цѣлые полгода, одна-одинешенька, съ маленькой дочерью, не зная языка, точно въ лѣсу, а подконецъ и безъ денегъ. Тогда пріѣхала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назадъ, куда-то въ Нижегородскую губернію. Потомъ Версиловъ вступилъ въ мирные посредники перваго призыва и, говорятъ, прекрасно исполнялъ свое дѣло; но вскорѣ кинулъ его, и въ Петербургѣ сталъ заниматься веденіемъ разныхъ частныхъ гражданскихъ исковъ. Андрониковъ всегда высоко ставилъ его способности, очень уважалъ его и говорилъ лишь, что не понимаетъ его характера. Потомъ Версиловъ и это бросилъ и опять уѣхалъ за границу и уже на долгій срокъ, на нѣсколько лѣтъ. Затѣмъ начались особенно близкія связи съ старикомъ княземъ Сокольскимъ. Во все это время денежныя средства его измѣнялись раза два-три радикально: то совсѣмъ впадалъ въ нищету, то опять вдругъ богатѣлъ и подымался.

А, впрочемъ, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я рѣшаюсь разсказать и „мою идею“. Опишу ее въ словахъ, въ первый разъ съ ея зарожденія. Я рѣшаюсь, такъ сказать, открыть

ее читателю, и тоже для ясности дальнѣйшаго изложенія. Да и не только читатель, а и самъ я, сочинитель, начинаю путаться въ трудности объяснять шаги мои, не объяснивъ, что вело и наталкивало меня на нихъ. Эту „фигурку умолчанія“ я, отъ неуживня моего, впалъ опять въ тѣ „красоты“ романистовъ, которыя самъ осмѣялъ выше. Входя въ дверь моего петербургскаго романа со всѣми позорными мопами въ немъ приключеніями, я нахожу это предисловіе необходимымъ. Но не „красоты“ соблазнили меня умолчать до сихъ поръ, а и сущность дѣла, то есть трудность дѣла; даже теперь, когда уже прошло все прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту „мысль“. Кромѣ того, я, безъ сомнѣнія, долженъ изложить ее въ ея тогдашней формѣ, т. е. какъ она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, а это уже новая трудность. Рассказывать иныя вещи почти невозможно. Именно тѣ идеи, которыя всѣхъ проще, всѣхъ яснѣе, — именно тѣ-то и трудно понять. Еслибъ Колумбъ передъ открытіемъ Америки сталъ рассказывать свою идею другимъ, я убѣжденъ, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя съ Колумбомъ, и если это выведетъ это, тому будетъ стыдно и больше ничего.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Моя идея, это — статья Ротшильдъ. Я приглашаю читателя къ спокойствію и къ серьезности:

Я повторяю: моя идея, это — статья Ротшильдъ, статья также богатѣе, какъ Ротшильдъ; не просто богатѣе, а именно какъ Ротшильдъ. Для чего, зачѣмъ, какія я именно преслѣдую цѣли — объ этомъ будетъ послѣ. Сперва лишь докажу, что достиженіе моей цѣли обезпечено математически.

Дѣло очень простое, вся тайна въ двухъ словахъ: *упорство и непрерывность*.

— Слышали, скажутъ мнѣ, не новость: Всякій фатеръ въ Германіи повторяетъ это своимъ дѣтямъ, а, между тѣмъ, вашъ Ротшильдъ (т. е. покойный Джемъ Ротшильдъ парижскій, я о немъ говорю) былъ всего только одинъ, а фатеровъ милліоны.

Я отвѣтилъ бы:

— Вы увѣряете, что слышали, а, между тѣмъ, вы ничего не слы-

шали. Правда, въ одноѣ и вы справедливы: если я сказалъ, что это дѣло „очень простое“, то забылъ прибавить, что и самое трудное. Всѣ религіи и всѣ нравственности въ мірѣ сводятся на одно: „Надо любить добродѣтель и убѣгать пороковъ“. Чего бы, кажется, проще? Ну-тка сдѣлайте-ка что нибудь добродѣтельное и убѣгите хоть одного изъ вашихъ пороковъ, попробуйте-ка—а? Такъ и тутъ.

Вотъ почему безчисленные ваши фатеры въ теченіи безчисленныхъ вѣковъ могутъ повторять эти удивительныя два слова, составляющія весь секретъ, а, между тѣмъ, Ротшильдъ остается одинъ. Значить: то да не то, и фатеры совсѣмъ не ту мысль повторяютъ.

Про упорство и непрерывность, безъ сомнѣнія, слышали и они: но для достиженія моей цѣли нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность.

Ужъ одно слово, что онъ фатеръ, — я не объ нѣмцахъ однихъ говорю—что у него семейство, онъ живетъ, какъ и всѣ, расходы, какъ и у всѣхъ, обязанности, какъ и у всѣхъ—тутъ Ротшильдомъ не сдѣлаешься, а станешь только умѣреннымъ человѣкомъ. Я же слишкомъ ясно понимаю, что, ставъ Ротшильдомъ или даже только пожелавъ имъ стать, но не по фатерски, а серьезно, — я уже тѣмъ самымъ разомъ выхожу изъ общества.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, я прочелъ въ газетахъ, что на Волгѣ, на одноѣ изъ пароходовъ, умеръ одинъ нищій, ходившій въ отрепѣ, просившій милостыню, всѣмъ тамъ извѣстный. У него, по смерти его, нашли зашитыми въ его рубищѣ до трехъ тысячъ кредитными билетами. На дняхъ я опять читалъ про одного нищаго, изъ благородныхъ, ходившаго по трактирамъ и протягивавшаго тамъ руку. Его арестовали и нашли при немъ до пяти тысячъ рублей. Отсюда прямо два вывода: первый, *упорство* въ накопленіи, даже копѣчными суммами, впоследствии даетъ громадные результаты (время тутъ ничего не значитъ), и второй— что самая нехитрая форма наживанія, но лишь *непрерывная*—обезпечена въ успѣхѣ математически.

Между тѣмъ, есть, можетъ быть, и очень довольно людей почтенныхъ, умныхъ и воздержныхъ, но у которыхъ (какъ ни бьются они) нѣтъ ни трехъ, ни пяти тысячъ, и которымъ однако ужасно бы хотѣлось имѣть ихъ. Почему это такъ? Отвѣтъ ясный: потому что ни одинъ изъ нихъ, не смотря на все ихъ хотѣнье, все таки не до такой степени *хочетъ*, чтобы, напимѣръ, если ужъ никакъ нельзя иначе нажать, то стать даже и нищимъ, и не до такой степени упоренъ, чтобы, даже и ставъ нищимъ, не растратить первыхъ же полученныхъ копѣекъ на

лишній кусоѣ себѣ или своему семейству. Между тѣмъ, при этомъ способѣ накопленія, т. е. при нищенствѣ, нужно питаться, чтобы скопить такіа деньги, хлѣбомъ съ солью и болѣе ничѣмъ; по крайней мѣрѣ, я такъ понимаю. Такъ навѣрно дѣлали и вышеозначенные двое нищихъ, т. е. ѣли одинъ хлѣбъ, а жили чуть не подъ открытымъ небомъ. Сомнѣнія нѣтъ, что намѣренія стать Ротшильдомъ у нихъ не было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины въ чистѣйшемъ ихъ видѣ, не болѣе; но и при сознательномъ наживаніи уже въ совершенно другой формѣ, но съ цѣлью стать Ротшильдомъ,—потребуется не меньше хотѣнія и силы воли, чѣмъ у этихъ двухъ нищихъ. Фатеръ такой силы не окажетъ. На свѣтѣ силы многообразны, силы воли и хотѣнія особенно. Есть температура кипѣнія воды и есть температура краснаго каленія желѣза.

Тутъ тотъ же монастырь, тѣ же подвиги схимничества. Тутъ чувство, а не идея. Для чего? Зачѣмъ? Нравственно ли это, и не уродливо-ли ходить въ дерюгѣ и ѣсть чернѣйшій хлѣбъ всю жизнь, таская на себѣ такіа деньжища? Эти вопросы потому, а теперь только о возможности достиженія цѣли.

Когда я выдумалъ „мою идею“, (а въ красномъ-то каленіи она и состоитъ),—я сталъ себя пробовать: способенъ-ли я на монастырь и на схимничество? Съ этою цѣлью, я цѣлый первый мѣсяцъ ѣлъ только одинъ хлѣбъ съ водой. Чернаго хлѣба выходило не болѣе двухъ съ половиною фунтовъ ежедневно. Чтобы исполнить это, я долженъ былъ обманывать умнаго Николая Семеновича и желавшую мнѣ добра Марью Ивановну. Я настоялъ на томъ, къ ея огорченію, и къ нѣкоторому недоумѣнію деликатнѣйшаго Николая Семеновича, чтобы обѣдъ приносили въ мою комнату. Тамъ я просто истреблялъ его: супъ выливалъ въ окно въ кривизну, или въ одно другое мѣсто, говядину—или выдалъ въ окно собакамъ, или, завернувъ въ бумагу, кидалъ въ карманъ и выносилъ потомъ вонъ, ну и все прочее. Такъ какъ хлѣба къ обѣду подавали гораздо менѣе двухъ съ половиною фунтовъ, то потихоньку хлѣбъ прикупалъ отъ себя. Я этотъ мѣсяцъ выдержалъ, можетъ быть, только нѣсколько разстроилъ желудокъ; но съ слѣдующаго мѣсяца я прибавилъ къ хлѣбу супъ, а утромъ и вечеромъ по стакану чаю—и увѣряю васъ, такъ провелъ годъ въ совершенномъ здоровьѣ и довольствѣ, а нравственно—въ упоеніи и въ непрерывномъ тайномъ восхищеніи. Я не только не жалѣлъ о кушаньяхъ, но былъ въ восторгѣ. По окончаніи года, убѣдившись, что я въ состояніи выдержать какой угодно постъ, я сталъ ѣсть, какъ и они, и перешелъ обѣдать съ ними вмѣстѣ. Не

удовлетворившись этой пробой, я сдѣлалъ и вторую: на карманные расходы мои, кромѣ содержанія, уплачиваемаго Николаю Семеновичу, мнѣ полагалось ежемѣсячно по пяти рублей. Я положилъ изъ нихъ тратить лишь половину. Это было очень трудное испытаніе, но черезъ два слишкомъ года, при прїѣздѣ въ Петербургъ, у меня въ карманѣ, кромѣ другихъ денегъ, было семьдесятъ рублей, накопленныхъ единственно изъ этого сбереженія. Результатъ двухъ этихъ опытовъ былъ для меня громадный: я узналъ положительно, что могу на столько хотѣть, что достигну моей цѣли, а въ этомъ, повторяю, вся „моя идея“, дальнѣйшее—все пустыяки.

II.

Однако, рассмотримъ и пустыяки.

Я описалъ мои два опыта; въ Петербургѣ, какъ извѣстно уже, я сдѣлалъ третій—сходилъ на аукціонъ и, за одинъ ударъ, взялъ семь рублей девяносто пять копѣекъ барыша. Конечно, это былъ не настоящій опытъ, а такъ лишь—игра, утѣха: захотѣлось выкрасить минутку изъ будущаго и попытаться, какъ это я буду ходить и дѣйствовать. Вообще же, настоящій приступъ къ дѣлу у меня былъ отложенъ, еще съ самаго начала, въ Москвѣ, до тѣхъ поръ, пока я буду совершенно свободенъ; я слишкомъ понималъ, что мнѣ надо было хотя бы, на примѣръ, сперва кончить съ гимназіей. (Университетомъ, какъ уже извѣстно, я пожертвовалъ). Безспорно, я ѣхалъ въ Петербургъ съ затаеннымъ гнѣвомъ: только что я сдалъ гимназію и сталъ въ первый разъ свободнымъ, я вдругъ увидѣлъ, что дѣла Версилова вновь отвлекутъ меня отъ начала дѣла на неизвѣстный срокъ! Но хоть и съ гнѣвомъ, а я все таки ѣхалъ совершенно спокойный за цѣль мою.

Правда, я не зналъ практики; но я три года сразу обдумывалъ и сомнѣній имѣть не могъ. Я воображалъ тысячу разъ, какъ я приступлю: я вдругъ очутываюсь, какъ съ неба спущенный, въ одной изъ двухъ столицъ нашихъ (я выбралъ для начала наши столицы, и именно Петербургъ, которому, по нѣкоторому расчету, отдасть преимущество), и такъ я спущенъ съ неба, но совершенно свободный, ни отъ кого не завишу, здоровъ и имѣю затаенныхъ въ карманѣ сто рублей для первоначальнаго оборотнаго капитала. Безъ ста рублей начинать невозможно, такъ какъ на слишкомъ уже долгій срокъ отдалился бы даже самый первый періодъ успѣха. Кромѣ ста рублей, у меня, какъ уже извѣстно, мужество, упорство, непрерывность, полнѣйшее уединеніе и

тайна. Уединеніе—главное: я ужасно не любилъ, до самой послѣдней минуты, никакихъ сношеній и ассоціацій съ людьми; говоря вообще, начать „идею“ я непременно положилъ одинъ, это *sine qua*. Люди мнѣ тяжелы, и я былъ бы неспокоенъ духомъ, безпокойство вредило бы цѣли. Да и вообще до сихъ поръ, во всю жизнь, во всѣхъ мечтахъ моихъ о томъ, какъ я буду обращаться съ людьми — у меня всегда выходило очень умно; чуть же на дѣлѣ—всегда очень глупо. И признаюсь въ этомъ съ негодованіемъ и искренно, я всегда выдавалъ себя самъ словами и торопился, а потому и рѣшился сократить людей. Въ выигрышѣ—независимость, спокойствіе духа, ясность цѣли.

Не смотря на ужасныя петербургскія цѣны, я опредѣлилъ разъ навсегда, что болѣе пятнадцати копѣекъ на ѣду не истрочу и зналъ, что слово сдержу. Этотъ вопросъ объ ѣдѣ я обдумывалъ долго и обстоятельно; я положилъ, напримѣръ, иногда по два дня сряду ѣсть одинъ хлѣбъ съ солью, но съ тѣмъ, чтобы на третій день истратить сбереженія сдѣланныя въ два дня; мнѣ казалось, что это будетъ выгоднѣе для здоровья, чѣмъ вѣчный ровный постъ на минимумѣ въ пятнадцать копѣекъ. Затѣмъ, для житія моего мнѣ нуженъ былъ уголь, уголь буквально, единственно, чтобы выспаться ночью или укрыться уже въ слишкомъ ненастный день. Жить я положилъ на улицѣ и за нужду я готовъ былъ ночевать въ ночлежныхъ пріютахъ, гдѣ, сверхъ ночлега, даютъ кусокъ хлѣба и стаканъ чаю. О, я слишкомъ съумѣлъ бы спрятать мои деньги, чтобы ихъ у меня въ углѣ или въ пріютѣ не украли и не подглядѣли бы даже, ручаюсь! „У меня-то украдутъ? Да я самъ боюсь у кого-бъ не украсть“—слышалъ я разъ это веселое слово на улицѣ отъ одного проходивца. Конечно, я къ себѣ изъ него примѣняю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намѣренъ. Мало того, еще въ Москвѣ, можетъ быть, съ самаго перваго дня „идеи“ порѣшилъ, что ни закладчикомъ, ни процентщикомъ тоже не буду: на это есть жида, да тѣ изъ русскихъ, у кого ни ума, ни характера. Закладъ и процентъ—дѣло ординарности.

Что касается до одежды, то я положилъ имѣть два костюма: расхожий и порядочный. Разъ заведя, я былъ увѣренъ, что проношу долго; я два съ половиною года нарочно учился носить платье и открылъ даже секретъ: чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно чаще, разъ по пяти и шести въ день. Щетки сукно не боится, говорю достовѣрно, а боится пыли и сору. Пыль—это тѣ же камни, если смотрѣть въ микроскопъ, а щетка какъ ни тверда, все таже почти шерсть. Равномѣрно выучился я сапоги носить: тайна

въ томъ, что надо съ оглядкой ставить ногу всей подошвой разомъ, какъ можно рѣже сбываясь на бокъ. Внучиться этому можно въ двѣ недѣли, далѣе уже пойдетъ бессознательно. Этимъ способомъ сапоги носятъ, въ среднемъ выводѣ, на треть времени дольше. Опытъ двухъ лѣтъ.

Затѣмъ начиналась уже самая дѣятельность.

Я шелъ изъ такого соображенія: у меня сто рублей. Въ Петербургѣ же столько аукціоновъ, распродажъ, мелкихъ лавочекъ на толкучекъ и нуждающихся людей, что невозможно, купивъ вещь за столько-то, не продать ее нѣсколько дороже. За альбомъ я взялъ семь рублей девяносто пять копѣекъ барыша на два рубля пять копѣекъ затраченного капитала. Этотъ огромный барышъ взять былъ безъ риска: я по глазамъ видѣлъ, что покупщикъ не отступится. Разумѣется, я слишкомъ понимаю, что это только случай; но вѣдь такихъ-то случаевъ я и ищу, для того-то и порѣшилъ жить на улицѣ. Ну, пусть эти случаи даже слишкомъ рѣдки; все равно, главнымъ правиломъ будетъ у меня—не рисковать ничѣмъ, и второе—непремѣнно въ день сколько нибудь нажить сверхъ минимума, истраченного на мое содержаніе, для того, чтобы ни единого дня не прерывалось накопленіе.

Мнѣ скажутъ: все это мечты; вы не знаете улицы и васъ съ перваго шага надуютъ. Но я имѣю волю и характеръ, а уличная наука есть наука, какъ и всякая, она дается упорству, вниманію и способностямъ. Въ гимназіи я до самаго седьмаго класса былъ изъ первыхъ, я былъ очень хорошъ въ математикѣ. Ну можно ли до такой кумирной степени превозносить опытъ и уличную науку, чтобы непремѣнно предсказывать неудачу! Это всегда только тѣ говорятъ, которые никогда никакого опыта ни въ чемъ не дѣлали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовомъ. „Одинъ расшибъ носъ, такъ непремѣнно и другой расшибетъ его“. Нѣтъ, не расшибу. У меня характеръ, и при вниманіи я всему вучусь. Ну, есть ли возможность представить себѣ, что при непрерывномъ упорствѣ, при непрерывной зоркости взгляда и непрерывномъ обдумываніи и расчетѣ, при безпредѣльной дѣятельности и бѣготнѣ, вы не дойдете, наконецъ, до знанія, какъ ежедневно нажить лишній двугривенный? Главное, я порѣшилъ никогда не бить на максимумъ барыша, а всегда быть спокойнымъ. Тамъ, дальше, уже наживъ тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышелъ изъ факторства и уличнаго перекуштва. Мнѣ, конечно, слишкомъ мало еще извѣстна биржа, акціи, банкирское дѣло и все прочее. Но, взамѣнъ того, мнѣ извѣстно, какъ пять моихъ пальцевъ, что

всѣ эти биржи и банкирства я узнаю и изучу въ свое время, какъ никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только, что до этого дойдетъ дѣло. Ума что ли тутъ такъ много надо? Что за Соломонова такая премудрость: былъ бы только характеръ; умѣнье, ловкость, знаніе придутъ сами собою. Только бы не переставалось „хотѣть“.

Главное, не рисковать, а это именно возможно лишь при характерѣ. Еще недавно была при мнѣ уже, въ Петербургѣ, одна подписка на желѣзнодорожныя акціи; тѣ, которымъ удалось подписаться, нажили много. Нѣкоторое время акціи шли въ гору. И вотъ вдругъ, неуспѣвшій подписаться или жадный, видя акціи у меня въ рукахъ, предложилъ бы ихъ продать ему, за столько-то процентовъ преміи. Чтожъ, я непременно бы и тотчасъ же продалъ. Надо мной бы, конечно, стали смѣяться: дескать подождали бы, въ десять бы разъ больше взяли. Такъ-съ, но моя премія вѣрнѣе уже тѣмъ, что въ карманѣ, а ваша-то еще летаетъ. Скажутъ, что такъ много не наживешь; извините, тутъ-то и ваша ошибка, ошибка всѣхъ нашихъ Кокоревыхъ, Поляковыхъ, Губонинныхъ. Узнайте истину: непрерывность и упорство въ наживаніи и, главное, въ накопленіи, сильнѣе моментальныхъ выгодъ даже хотя бы и въ сто на сто процентовъ!

Незадолго до французской революціи явился въ Парижѣ нѣкто Лоу и затѣялъ одинъ, въ принципѣ, гениальный проектъ (который потомъ на дѣлѣ ужасно лопнулъ). Весь Парижъ взволновался; акціи Лоу покупались на расхватъ, до давки. Въ домъ, въ которомъ была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа, какъ изъ мѣшка; но и дома, наконецъ, не достало: публика толпилась на улицѣ—всѣхъ званій, состояній, возрастовъ: буржуа, дворяне, дѣти ихъ, графини, маркизы, публичныя женщины—все сбилось въ одну яростную полусъумасшедшую массу укушенныхъ бѣшеной собакой; чины, предразсудки породы и гордости, даже честь и доброе имя—все стопталось въ одной грязи; всѣмъ жертвовали (даже женщины), чтобы добыть нѣсколько акцій. Подписка перешла, наконецъ, на улицу, но негдѣ было писать. Тутъ одному горбуну предложили уступить на время свой горбъ, въ видѣ стола, для подписки на немъ акцій. Горбунъ согласился—можно представить за какую цѣну! Нѣкоторое время спустя (очень малое), всѣ обанкрутились, все лопнуло, вся идея полетѣла къ чорту и акціи потеряли всякую цѣну. Кто-жъ выигралъ? Одинъ горбунъ, именно потому, что не бралъ акціи, а наличные луидоры. Ну-съ, я вотъ и есть тотъ самый горбунъ! У меня достало же силы не ѣсть и изъ копѣекъ скопить семьдесятъ два рубля; достанетъ и на столько, чтобы и въ

самомъ вихрѣ горячки, всѣхъ охватившей, удержаться и предпочесть вѣрныя деньги большимъ. Я мелочень лишь въ мелочахъ, но въ великомъ—нѣтъ. На малое терпѣніе у меня часто не доставало характера, даже и послѣ зарожденія „идеи“, а на большое—всегда достанетъ. Когда мнѣ мать подавала утромъ, передъ тѣмъ, какъ мнѣ идти на службу, простылый кофе, я сердился и грубилъ ей, а, между тѣмъ, я былъ тотъ самый человѣкъ, который прожилъ весь мѣсяць только на хлѣбѣ и на водѣ.

Однимъ словомъ, не нажить, не выучиться какъ нажить—было бы неестественно. Неестественно тоже при непрерывномъ и ровномъ накопленіи, при непрерывной приглядкѣ и трезвости мысли, воздержности, экономіи, при энергіи все возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и милліонщикомъ. Чѣмъ нажилъ нищій свои деньги, какъ не фанатизмомъ характера и упорствомъ? Неужели я хуже нищаго? „А, наконецъ, пусть я не достигну ничего, пусть расчетъ не вѣренъ, пусть лопну и провалюсь, все равно—я иду. Иду потому, что такъ хочу“. Вотъ чтó я говорилъ еще въ Москвѣ.

Мнѣ скажутъ, что тутъ нѣтъ никакой „идеи“ и ровнешенько ничего новаго. А я скажу, и уже въ послѣдній разъ, что тутъ безчисленно много идеи и безконечно много новаго.

О, я вѣдь предчувствовалъ какъ тривиальны будутъ всѣ возраженія и какъ тривиаленъ буду я самъ, излагая „идею“: ну, чтó я высказалъ? Сотой доли не высказалъ; я чувствую, что вышло мелко и грубо, поверхностно и даже какъ-то моложе моихъ лѣтъ.

III.

Остаются отвѣты на „зачѣмъ“ и „почему“, „нравственно или нѣтъ“ и пр., и пр.,—на это я общалъ отвѣтить.

Мнѣ грустно, что разочарую читателя сразу, грустно да и весело. Пусть знаютъ, что ровно никакого таки чувства „мести“ нѣтъ въ цѣляхъ моей „идеи“, ничего Байроновскаго, — ни проклятія, ни жалобъ сиротства, ни слезъ незаконнорожденности, ничего, ничего. Однимъ словомъ, романтическая дама, еслибы ей попались мои записки, тотчасъ повѣсила бы носъ. Вся цѣль моей „идеи“—удиненіе.

— Но удиненія можно достигнуть вовсе не топорчасъ стать Ротшильдомъ. Къ чему тутъ Ротшильдъ?

— А въ тому, что, кромѣ удиненія, мнѣ нужно и могущество.

Сдѣлаю предисловіе: читатель, можетъ быть, ужаснется откровен-

ности моей исповѣди и простодушно спросить себя: какъ это не краснѣлъ сочинитель? Отвѣчу, я пишу не для изданія; читателя же, вѣроятно, буду имѣть развѣ черезъ десять лѣтъ, когда все уже до такой степени обозначится, пройдетъ и докажется, что краснѣть ужь нечего будетъ. А потому, если я иногда обращаюсь въ запискахъ къ читателю, то это только приѣмъ. Мой читатель — лицо фантастическое.

Нѣтъ, не незаконнорожденность, которою такъ дразнили меня у Тущара, не дѣтскіе грустные годы, не мечь и не право протеста явились началомъ моей „идеи;“ вина всему — одинъ мой характеръ. Съ двѣнадцати лѣтъ, я думаю, т. е. почти съ зарождеія правильного сознанія, я сталъ не любить людей. Не то что не любить, а какъ-то стали они мнѣ тяжелы. Слишкомъ мнѣ грустно было иногда самому, въ частныя минуты мои, что я никакъ не могу всего высказать даже близкимъ людямъ, т. е. и могъ бы, да не хочу, почему-то удерживаюся; что я недоувѣрчивъ, угрюмъ и несообщителенъ. Опять таки, я давно уже замѣтилъ въ себѣ черту, чуть не съ дѣтства, что слишкомъ часто обвиняю, слишкомъ наклоненъ къ обвиненію другихъ; но за этой наклонностью весьма часто немедленно слѣдовала другая мысль, слишкомъ уже для меня тяжелая: „не я ли самъ виноватъ вмѣсто нихъ?“ И какъ часто я обвинялъ себя напрасно! Чтобъ не разрѣшать подобныхъ вопросовъ, я естественно искалъ уединенія. Къ тому же, и не находилъ ничего въ обществѣ людей, какъ ни старался, а я старался; по крайней мѣрѣ, всѣ мои однолѣтки, всѣ мои товарищи, всѣ до одного оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключенія.

Да, я сумраченъ, я непрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти изъ общества. Я, можетъ быть, и буду дѣлать добро людямъ, но часто не вижу ни малѣйшей причины имъ дѣлать добро. И совсѣмъ люди не такъ прекрасны, чтобъ о нихъ такъ заботиться. Зачѣмъ они не подходятъ прямо и откровенно, и къ чему я непремѣнно самъ я первый обязанъ къ нимъ лѣзть? Вотъ о чемъ я себя спрашивалъ. Я существо благодарное и доказалъ это уже сотнею дурачествъ. Я мигомъ бы отвѣчалъ откровенному откровенностью и тотчасъ же сталъ бы любить его. Такъ я и дѣлалъ; но всѣ они тотчасъ же меня надували и съ насмѣшкой отъ меня закрывались. Самый открытый изъ всѣхъ былъ Ламбертъ, очень бившій меня въ дѣтствѣ; но и тотъ — лишь открытый подлецъ и разбойникъ; да и тутъ открытость его лишь изъ глупости. Вотъ мои мысли, когда я пріѣхалъ въ Петербургъ.

Выйдя тогда отъ Дергачева (къ которому Богъ знаетъ зачѣмъ меня сунуло) я подошелъ къ Васику и, въ порывѣ восторженности, рас-

хвалилъ его. И чтò же? Въ тотъ же вечеръ я уже почувствовалъ, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхваливъ его, я тѣмъ самымъ принизилъ передъ нимъ себя. Между тѣмъ, казалось бы, обратно: человекъ на столько справедливый и великодушный, что воздаетъ другому, даже въ ущербъ себѣ, такой человекъ чуть ли не выше, по собственному достоинству, всякаго. И чтò же—я это понимаю, а все таки меньше любилъ Васина, даже очень меньше любилъ, я нарочно беру примѣръ уже извѣстный читателю. Даже про Крафта вспоминалъ съ горькимъ и кислымъ чувствомъ за то, что тотъ меня вывелъ самъ въ переднюю, и такъ было вплоть до другого дня, когда уже все совершенно про Крафта разъяснилось и сердиться нельзя было. Съ самыхъ низшихъ классовъ гимназiи, чуть ктонибудь изъ товарищей опережалъ меня или въ наукахъ, или въ острыхъ отвѣтахъ, или въ физической силѣ, я тотчасъ же переставалъ съ нимъ водиться и говорить. Не то, чтобъ я его ненавидѣлъ или желалъ ему неудачи; просто отвертывался, потому что таковъ мой характеръ.

Да, я жаждалъ могущества всю мою жизнь, могущества и уединенiя. Я мечталъ о томъ даже въ такихъ еще лѣтахъ, когда ужъ рѣшительно всякій засмѣялся бы мнѣ въ глаза, еслибъ разобралъ, что у меня подъ черепомъ. Вотъ почему я такъ полюбилъ тайну. Да, я мечталъ изъ всѣхъ силъ и до того, что мнѣ некогда было разговаривать; изъ этого вывели, что я нелюдимъ, а изъ разсѣянности моей дѣлали еще сквернѣе выводы на мой счетъ, но розовыя щеки мои доказывали противное.

Особенно счастливъ я былъ, когда, ложась спать и закрываясь одѣяломъ, начиналъ уже одинъ въ самомъ полномъ уединенiи, безъ ходящихъ кругомъ людей и безъ единого отъ нихъ звука, пересоздавать жизнь на иной ладъ. Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытiя „идей“, когда всѣ мечты изъ глухихъ разомъ стали разумными, и изъ мечтательной формы романа перешли въ разсудочную форму дѣйствительности.

Все слилось въ одну цѣль. Онѣ, впрочемъ, и прежде были не такъ ужъ очень глупы, хотя ихъ была тьма тьмъ и тысяча тысячъ. Но были любимы... Впрочемъ, не приводить же ихъ здѣсь.

Могущество! Я убѣжденъ, что очень многимъ стало бы очень смѣшно, еслибъ узнали, что такая „дрянь“ бьетъ на могущество. Но я еще болѣе изумлю: можетъ быть, съ самыхъ первыхъ мечтанiй моихъ, т. е. чуть ли не съ самаго дѣтства, я иначе не могъ вообразить себя, какъ на первомъ мѣстѣ, всегда и во всѣхъ оборотахъ жизни. Прибавлю

странное признаніе: можетъ быть, это продолжается еще до сихъ поръ. При этомъ замѣчу, что я прощенія не прошу.

Въ томъ-то и „идея“ моя, въ томъ-то и сила ея, что деньги — это единственный путь, который приводитъ на *первое мѣсто* даже ничтожество. Я, можетъ быть, и не ничтожество, но я, напримѣръ, знаю, по зеркалу, что моя наружность мнѣ вредитъ, потому что лицо мое ordinarily. Но будь я богатъ, какъ Ротшильдъ—кто будетъ справляться съ лицомъ моимъ и не тысячи ли женщинъ, только свисни, налетятъ ко мнѣ съ своими красотами? Я даже увѣренъ, что онѣ сами, совершенно искренно, станутъ считать меня подъ конецъ красавцемъ. Я, можетъ быть, и умень. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тутъ же найдется въ обществѣ человекъ въ восемь пядей во лбу—и я погибъ. Между тѣмъ, будь я Ротшильдомъ,—развѣ этотъ умникъ въ восемь пядей будетъ что нибудь подлѣ меня значить? Да ему и говорить не дадутъ подлѣ меня! Я, можетъ быть, остроумень; но вотъ подлѣ меня Талейранъ, Пиронъ—и я затемненъ, а чуть я Ротшильдъ—гдѣ Пиронъ, да, можетъ быть, гдѣ и Талейранъ? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но въ то же время и высочайшее равенство, и въ этомъ вся главная ихъ сила. Деньги сравниваютъ всѣ неравенства. Все это я рѣшилъ еще въ Москвѣ.

Вы въ этой мысли увидите, конечно, одно нахальство, насиліе, торжество ничтожества надъ талантами. Согласенъ, что мысль эта дерзка (а потому сладостна). Но пусть, пусть: вы думаете, я желалъ тогда могущества, чтобъ непременно давить, мстить? Въ томъ-то и дѣло, что такъ непременно поступила бы ordinaryность. Мало того, я увѣренъ, что тысячи талантовъ и умниковъ, столь возвышающихся, еслибъ вдругъ навалить на нихъ ротшильдскіе миллионы, тутъ же не выдержали-бы и поступили-бы какъ самая пошлая ordinaryность, и давили-бы пуще всѣхъ. Моя идея не та. Я денегъ не боюсь; онѣ меня не придавятъ и давить не заставятъ.

Мнѣ не нужно денегъ, или лучше, мнѣ не деньги нужны, даже и не могущество; мнѣ нужно лишь то, что пріобрѣтается могуществомъ, и чего никакъ нельзя пріобрѣсти безъ могущества: это уединенное и спокойное сознаніе силы! Вотъ самое полное опредѣленіе свободы, надъ которымъ такъ бьется міръ! Свобода! Я начерталъ, наконецъ, это великое слово... Да, уединенное сознаніе силы—обаятельно и прекрасно. У меня сила, и я спокоенъ. Громы въ рукахъ Юпитера, и что жъ: онъ спокоенъ; часто-ли слышно, что онъ загремитъ? Дураку покажется, что онъ спитъ. А посади на мѣсто Юпитера какого нибудь.

литератора, или дуру деревенскую бабу — грому-то, грому-то что будеть!

Будь только у меня могущество, рассуждалъ я, мнѣ и не понадобится оно вовсе; увѣряю, что самъ, по своей волѣ, займу вездѣ послѣднее мѣсто. Будь я Ротшильдъ, я-бы ходилъ въ старенькомъ пальто и съ зонтикомъ. Какое мнѣ дѣло, что меня толкаютъ на улицѣ, что я принужденъ перебѣгать въ припрыжку по грязи, чтобъ меня не раздавили извозчики. Сознаніе, что это я, самъ Ротшильдъ, даже веселило-бы меня въ ту минуту. Я знаю, что у меня можетъ быть обѣдъ, какъ ни у кого, и первый въ свѣтѣ поваръ, съ меня довольно, что я это знаю. Я съѣмъ кусокъ хлѣба и ветчины, и буду сытъ своимъ сознаніемъ. Я даже теперь такъ думаю.

Не я буду лѣзть въ аристократію, а она полѣзетъ ко мнѣ, не я буду гоняться за женщинами, а онѣ набѣгутъ какъ вода, предлагая мнѣ все, что можетъ предложить женщина. „Пошли“ прибѣгутъ за деньгами, а умныхъ привлечетъ любопытство къ странному, гордому, закрытому и ко всему равнодушному существу. Я буду ласковъ и съ тѣми, и съ другими, и можетъ быть дамъ имъ денегъ, но самъ отъ нихъ ничего не возьму. Любопытство рождаетъ страсть, можетъ быть, я и внушу страсть. Онѣ уйдутъ ни съ чѣмъ, увѣряю васъ — только развѣ съ подарками. Я только вдвое стану для нихъ любопытнѣе.

„съ меня довольно
Сего сознанья“.

Странно то, что этой картинкой (впрочемъ, вѣрной), я прельщался еще семнадцати лѣтъ.

Давить и мучить я никого не хочу и не буду; но я знаю, что, еслибъ захотѣлъ погубить такого-то человѣка, врага моего, то никто-бы мнѣ въ томъ не воспрепятствовалъ, а всѣ бы подслужились, и опять довольно. Никому-бы я даже не отомстилъ. Я всегда удивлялся, какъ могъ согласиться Джемсъ Ротшильдъ стать барономъ! Зачѣмъ, для чего, когда онъ и безъ того всѣхъ выше на свѣтѣ? „О, пусть обижаетъ меня этотъ нахаль-генераль, на станціи, гдѣ мы оба ждемъ лошадей; еслибъ зналъ онъ, кто я, онъ побѣждалъ-бы самъ ихъ запрягать и выскочилъ бы сажать меня въ скромный мой тарантасъ! Писали, что одинъ заграничный графъ или баронъ, на одной вѣнской желѣзной дорогѣ надѣвалъ одному тамошнему банкиру, при публикѣ, на ноги туфли, а тотъ былъ такъ ординаренъ, что допустилъ это. О, пусть, пусть эта страшная красавица (именно страшная, есть такія!)

— эта дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встрѣтятся со мной на пароходѣ или гдѣ нибудь, коснется, и, вздернувъ носъ, съ презрѣніемъ удивляется, какъ смѣлъ попасть въ первое мѣсто, съ нею рядомъ, этотъ скромный и плюгавый человѣчекъ, съ книжкой или съ газетой въ рукахъ? Но еслибъ только знала она, кто сидитъ подлѣ нея! И она узнаеть—узнаеть и сядетъ подлѣ меня сама, покорная, робкая, ласковая, ища моего взгляда, радостная отъ моей улыбки“... Я нарочно вставляю эти раннія картинки, чтобъ ярче выразить мысль; но картинки блѣдны и, можетъ быть, тривіальны. Одна дѣйствительность все оправдываетъ.

Скажутъ, глупо такъ жить: зачѣмъ не имѣть отеля, открытаго дома, не собирать общества, не имѣть вліянія, не жениться? Но чѣмъ же станетъ тогда Ротшильдъ? Онъ станетъ какъ всѣ. Вся прелесть „идеи“ исчезнетъ, вся нравственная сила ея. Я еще въ дѣтствѣ выучилъ наизусть монологъ Скупаго рыцаря у Пушкина; выше этого, по идеѣ, Пушкинъ ничего не производилъ! Тѣхъ же мыслей я и теперь.

— Но вашъ идеаль слишкомъ низокъ, скажутъ съ презрѣніемъ:— деньги, богатство! То ли дѣло общественная польза, гуманнны подвиги?

Но почему кто знаетъ, какъ бы я употребилъ мое богатство? Чѣмъ безнравственно и чѣмъ низко то, что изъ множества жидовскихъ, вредныхъ и грязныхъ рукъ эти милліоны стекутся въ руки трезваго и твердаго схимника, зорко всматривающагося въ міръ? Вообще, всѣ эти мечты о будущемъ, всѣ эти гаданія—все это теперь еще какъ романъ и я, можетъ быть, напрасно записываю; пускай бы оставалось подлѣ черепома; знаю тоже, что этихъ строкъ, можетъ быть, никто не прочтетъ; но еслибъ кто и прочелъ, то повѣрилъ ли бы онъ, что, можетъ быть, я бы и не вынесъ ротшильдскихъ милліоновъ? Не потому, чтобъ придавили они меня, а совсѣмъ въ другомъ смыслѣ, въ обратномъ. Въ мечтахъ моихъ я уже не разъ схватывалъ тотъ моментъ въ будущемъ, когда сознаніе мое будетъ слишкомъ удовлетворено, а могущества покажется слишкомъ мало. Тогда,—не отъ скуки и не отъ безцѣльной тоски, а оттого, что безбрежно пожелаю большаго, — я отдамъ всѣ мои милліоны людямъ; пусть общество распредѣлитъ тамъ все мое богатство, а я—я вновь смѣшаюсь съ ничтожествомъ! Можетъ быть, даже обращусь въ того нищаго, который умеръ на пароходѣ, съ тою разницею, что въ рубищѣ моемъ не найдутъ ничего заплатаго. Одно сознаніе о томъ, что въ рукахъ моихъ были милліоны и я бросилъ ихъ въ грязь, какъ вранъ, кормило бы меня въ моей пустынѣ.

Я и теперь готовъ такъ же мыслить. Да, моя „идея“ — это та крѣпость, въ которую я всегда и во всякомъ случаѣ могу скрыться отъ всѣхъ людей, хотя бы и нищимъ, умершимъ на пароходѣ. Вотъ моя поэма! И знайте, что мнѣ именно нужна моя порочная воля *вся*, — единственно, чтобъ доказать *самому себѣ*, что я въ силахъ отъ нея отказаться.

Безъ сомнѣнія, возразятъ, что это ужъ поэзія, и что никогда я не выпущу милліоновъ, если они попадутся, и не обращусь въ саратовскаго нищаго. Можетъ быть, и не выпущу; я начерталъ лишь идеальную мысль. Но прибавлю уже серьезно: еслибъ я дошелъ, въ накопленіи богатства, до такой цифры, какъ у Ротшильда, то, дѣйствительно, могло бы кончиться тѣмъ, что я бросилъ бы ихъ обществу. (Впрочемъ, раньше Ротшильдской цифры трудно бы было это исполнить). И не половину бы отдалъ, потому что тогда вышла бы одна пошлость: я сталъ бы только вдвое бѣднѣе и больше ничего; но именно все, все до копѣйки, потому что, ставъ нищимъ, я вдругъ сталъ бы вдвое богаче Ротшильда! Если этого не поймутъ, то я не виноватъ; разъяснить не буду.

„Факирство, поэзія ничтожества и безсилія!“ рѣшаютъ люди, — „торжество безталанности и средины“. Да, сознаюсь, что отчасти торжество и безталанности, и средины, но врядъ ли безсилія. Мнѣ нравилось ужасно представлять себѣ существо именно безталанное и срединное, стоящее предъ міромъ и говорящее ему съ улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великіе и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вотъ я — бездарность и незаконность, и все таки выше васъ, потому что вы сами этому подчинились. Сознаюсь, я доводилъ эту фантазію до такихъ окраинъ, что похеривалъ даже самое образованіе. Мнѣ казалось, что красивѣе будетъ, если человекъ этотъ будетъ даже грязно необразованнымъ. Эта, уже утрированная мечта, повліяла даже тогда на мой успѣхъ въ седьмомъ классѣ гимназіи; я пересталъ учиться именно изъ фанатизма: безъ образованія будто прибавлялось красоты къ идеалу. Теперь, я измѣнилъ убѣжденіе въ этомъ пунктѣ; образованіе не помѣшаетъ.

Господа, неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая, столь тяжела для васъ? Блаженъ, кто имѣетъ идеальную красоту, хотя бы даже ошибочный! Но въ свой я вѣрую. Я только не такъ изложилъ его, неумѣло, азбучно. Черезъ десять лѣтъ, конечно, изложилъ бы лучше. А это сберегу на память.

IV.

Я кончилъ „идею“. Если описалъ пошло, поверхностно, — виновать я, а не „идея“. Я уже предупредилъ, что простѣйшія идеи понимаются всѣхъ труднѣе; теперь прибавлю, что и излагаются труднѣе, тѣмъ болѣе, что я описывалъ „идею“ еще въ прежнемъ видѣ. Есть и обратный законъ для идей: идеи пошлыя, скорыя — понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой, непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнѣйшими, но — лишь въ день своего появленія. Дешевое не прочно. Быстрое пониманіе — лишь признакъ пошлости понимаемаго. Идея Бисмарка стала въ мигъ гениальною, а самъ Бисмаркъ — гениемъ; но именно подозрительна эта быстрота: я жду Бисмарка черезъ десять лѣтъ и увидамъ тогда, что останется отъ его идеи, а, можетъ быть, и отъ самого г. канцлера. Эту, въ высшей степени постороннюю и неподходящую къ дѣлу замѣтку, я вставляю, конечно, не для сравненія, а тоже для памяти. (Разъясненіе для слишкомъ ужъ грубаго читателя).

А теперь расскажу два анекдота, чтобы тѣмъ покончить съ „идеями“ совсѣмъ и такъ, чтобы она ничѣмъ ужъ не мѣшала въ рассказѣ.

Лѣтомъ, въ іюлѣ, за два мѣсяца до поѣзда въ Петербургъ и когда я уже сталъ совершенно свободенъ, Марья Ивановна попросила меня съѣздить въ Троицкій Посадъ, къ одной старой, поселившейся тамъ дѣвницѣ, съ однимъ порученіемъ, — весьма неинтереснымъ, чтобы упоминать о немъ въ подробности. Возвращаясь въ тотъ же день, я замѣтилъ въ вагонѣ одного плюгавенькаго молодого человѣка, недурно, но нечисто одѣтаго, угреватаго, изъ грязновато-смуглыхъ брюнетовъ. Онъ отличался тѣмъ, что на каждой станціи и полустанціи непременно выходилъ и пилъ водку. Подъ конецъ пути образовался около него веселый кружокъ весьма дрянной, впрочемъ, компаніи. Особенно восхищался одинъ купецъ, тоже немного пьяный, способностью молодого человѣка пить непрерывно, оставаясь трезвымъ. Очень доволенъ былъ и еще одинъ молодой парень, ужасно глупый и ужасно много говорившій, одѣтый по нѣмецки и отъ котораго весьма скверно пахло, — лакей, какъ я узналъ послѣ; этотъ съ пившимъ молодымъ человѣкомъ даже подружился и при каждой остановкѣ поѣзда поднималъ его приглашеніемъ: „Теперь пора водку пить“, — и оба выходили обнявшись. Пившій молодой человѣкъ почти совсѣмъ не говорилъ ни слова, а собесѣдниковъ около него усаживалось все больше и больше; онъ только всѣхъ слушалъ, непрерывно ухмылялся съ слюнявымъ хихиканіемъ и, отъ

времени до времени, но всегда неожиданно, производилъ какой-то звукъ, въ родѣ: „тюр-люр-лю!“ причеиъ какъ-то очень карикатурно подносилъ палецъ къ своему носу. Это-то и веселило и купца, и лакея, и всѣхъ, и они чрезвычайно громко и развязно смѣялись. Понять нельзя, чему иногда смѣются люди. Подошелъ и я—и не понимаю, почему мнѣ этотъ молодой человекъ тоже какъ бы понравился; можетъ быть, слишкомъ яркимъ нарушеніемъ общепринятыхъ и оказанившихся приличій, словомъ, я не разглядѣлъ дурака; однако, съ нимъ сошелся тогда же на *ты* и, выходя изъ вагона, узналъ отъ него, что онъ вечеромъ, часу въ девятую, придетъ на Тверской бульваръ. Оказался онъ бывшимъ студентомъ. Я пришелъ на бульваръ и вотъ какой штука онъ меня научилъ: мы ходили съ нимъ вдвоемъ по всѣмъ бульварамъ и чуть попозже замѣчали идущую женщину изъ порядочныхъ, но такъ что кругомъ близко не было публики, какъ тотчасъ же приставали къ ней. Не говоря съ ней ни слова, мы помѣщались, онъ по одну сторону, а я по другую, и съ самымъ спокойнымъ видомъ, какъ будто совсѣмъ не замѣчая ее, начинали между собой самый неблагопристойный разговоръ. Мы называли предметы ихъ собственными именами, съ самымъ безмятежнымъ видомъ и какъ будто такъ слѣдуетъ, и пускались въ такія тонкости, объясняя разныя скверности и свинства, что самое грязное воображеніе самаго грязнаго развратника того бы не выдумало. (Я, конечно, всѣ эти знанія приобрѣлъ еще въ школахъ, даже еще до гимназій, но лишь слова, а не дѣло). Женщина очень пугалась, быстро торопилась уйти, но мы тоже учащали шаги и—продолжали свое. Жертвѣ, конечно, ничего нельзя было сдѣлать, не кричать же ей: свидѣтелей нѣтъ, да и странно какъ-то жаловаться. Въ этихъ забавахъ прошло дней восемь; не понимаю, какъ могло это мнѣ понравиться; да и не нравилось же, а такъ. Мнѣ сперва казалось это оригинальнымъ, какъ бы выходящимъ изъ обыденныхъ казенныхъ условій; къ тому же, я терпѣть не могъ женщинъ. Я сообщилъ разъ студенту, что Жанъ-Жакъ Руссо признается въ своей исповѣди, что онъ, уже юношей, любилъ по тихоньку изъ за угла выставлять, обнаживъ ихъ, обыкновенно закрываемыя части тѣла, и поджидать въ такомъ видѣ проходившихъ женщинъ. Студентъ отвѣтилъ мнѣ своимъ тюр-люр-лю. Я замѣтилъ, что онъ былъ страшно невѣжественъ и удивительно мало чѣмъ интересовался. Никакой затаенной идеи, которую я ожидалъ въ немъ найти. Въмѣсто оригинальности, я нашелъ лишь подавляющее однообразіе. Я не любилъ его все больше и больше. Наконецъ, все кончилось совсѣмъ неожиданно: мы пристали разъ уже совсѣмъ въ темнотѣ къ одной, быстро и робко проходившей

по бульвару дѣвушѣ, очень молоденькой, можетъ быть, только лѣтъ шестнадцати, или еще меньше, очень чисто и скромно одѣтой, можетъ быть, живущей трудомъ своимъ и возвращавшейся домой съ занятій, къ старушкѣ-матери, бѣдной вдовѣ съ дѣтьми; впрочемъ, нечего впадать въ чувствительность. Дѣвочка нѣкоторое время слушала и спѣшила — спѣшила, наклонивъ голову и закрывшись вуалемъ, боясь и трепеща, но вдругъ остановилась, откинула вуаль съ своего очень недурнаго, сколько помню, но худенькаго лица и съ сверкающими глазами крикнула намъ:

— Ахъ, какіе вы подлецы!

Можетъ быть, тутъ и заплакала бы, но произошло другое: размахнулась и своею маленькою тощей рукой влѣпила студенту такую пощечину, которой ловче, можетъ быть, никогда не было дано. Такъ и хляснуло! Онъ было выбранился и бросился, но я удержалъ, и дѣвочка успѣла убѣжать. Оставшись, мы тотчасъ поссорились: я высказалъ все, что у меня за все время на него накопѣло: высказалъ ему, что онъ лишь жалкая бездарность и обыкновенность и что въ немъ никогда не было ни малѣйшаго признака идеи. Онъ выбранилъ меня... (я разъ объяснилъ ему на счетъ моей незаконнорожденности), затѣмъ мы расплевались, и съ тѣхъ поръ я его не видалъ. Въ тотъ вечеръ я очень досадовалъ, на другой день не такъ много, на третій — совсѣмъ абилъ. И чтожъ, хоть и вспоминалась мнѣ иногда потому эта дѣвочка, но лишь случайно и мелькомъ. Только по прїѣздѣ въ Петербургъ, недѣли двѣ спустя, я вдругъ вспомнилъ о всей этой сценѣ, — вспомнилъ, и до того мнѣ стало вдругъ стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекамъ моимъ. Я промучился весь вечеръ, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не могъ, какъ можно было такъ низко и позорно тогда упасть, и главное — забыть этотъ случай, не стыдиться его, не рассказывать. Только теперь я осмыслилъ въ чемъ дѣло: виною была „идея“. Короче, я прямо вывожу, что, имѣя въ умѣ нѣчто неподвижное, всегдашнее, сильное, которымъ страшно занять — какъ-бы удаляешься тѣмъ самымъ отъ всего міра въ пустыню и все, что случается, проходитъ лишь вскользь, мимо главнаго. Даже впечатлѣнія принимаются неправильно. И, кромѣ того, главное въ томъ, что имѣешь всегда отговореу. Сколько я мучилъ мою мать за это время, какъ позорно я оставлялъ сестру: „э, у меня „идея“, а то все мелочи“ — вотъ что я какъ бы говорилъ себѣ. Меня самого оскорбляли, и больно, — я уходилъ оскорбленный и потомъ вдругъ говорилъ себѣ: „э, я низокъ, а все таки у меня „идея“, и они не знаютъ объ этомъ“. „Идея“

утѣшала въ позорѣ и ничтожествѣ; но и всѣ морзости мои тоже какъ-бы прятались подъ идею; она, такъ сказать, все облегчала, но и все заволакивала передо мной; но такое неясное пониманіе случаевъ и вещей, конечно, можетъ вредить даже и самой „идеѣ“, не говоря о прочемъ.

Теперь другой анекдотъ.

Марья Ивановна, перваго апрѣля прошлаго года, была именинница. Ввечеру пришло нѣсколько гостей, очень немногихъ. Вдругъ входитъ зашавшійся Аграфена и объявляетъ, что въ сѣняхъ, передъ кухней, шипитъ подкинутый младенецъ и что она не знаетъ какъ быть. Извѣстіе всѣхъ взволновало, всѣ пошли и увидѣли лукошко, а въ лукошкѣ—трехъ или четырехъ-недѣльную шипавшую дѣвочку. Я взялъ лукошко и внесъ въ кухню, и тотчасъ нашелъ сложенную записку: „Милые благодѣтели, окажите доброжелательную помощь окрещенной дѣвочкѣ Аринѣ, а мы съ ней за васъ будемъ завсегда возсылать къ престолу слезы наши, и поздравляемъ васъ съ днемъ тезоименитства; неизвѣстные вамъ люди“. Тутъ Николай Семеновичъ, столь мною уважаемый, очень огорчилъ меня: онъ сдѣлалъ очень серьезную мину и рѣшилъ отослать дѣвочку немедленно въ воспитательный домъ. Миѣ очень стало грустно. Они жили очень экономно, но не имѣли дѣтей, и Николай Семеновичъ былъ всегда этому радъ. Я бережно вынулъ изъ лукошка Ариночку и приподнялъ ее за плечики; изъ лукошка пахло какимъ-то кислымъ и острымъ запахомъ, какой бываетъ отъ долго немытаго груднаго ребеночка. Пospоривъ съ Николаемъ Семеновичемъ, я вдругъ объявилъ ему, что беру дѣвочку на свой счетъ. Тотъ сталъ возражать съ нѣкоторою строгостью, не смотря на всю свою мягкость, и хотъ кончилъ шуткой, но намѣреніе на счетъ воспитательнаго оставилъ во всей силѣ. Однако, сдѣлалось по моему: на томъ же дворѣ, но въ другомъ флигелѣ, жилъ очень бѣдный столяръ, человекъ уже пожилой и пившій; но у жены его, очень еще не старой и очень здоровой бабы, только что померъ грудной ребеночекъ и, главное, единственный, родившійся послѣ восьми лѣтъ бесплоднаго брака, тоже дѣвочка и, по странному счастью, тоже Ариночка. Я говорю, по счастью, потому что когда мы спорили въ кухнѣ, эта баба, услышавъ о случаѣ, прибѣжала поглядѣть, а когда узнала, что это Ариночка—умилилась. Молоко еще у ней не прошло, она открыла грудь и приложила къ груди ребенка. Я присталъ къ ней и сталъ просить, чтобъ унесла къ себѣ, а что я буду платить ежемѣсячно. Она боялась, позволить-ли мужъ, но взяла на ночь. На утро мужъ позволилъ за восемь рублей въ мѣсяцъ, и я

тутъ-же отсчиталъ ему за первый мѣсяцъ впередъ; тотъ тотчасъ-же пропилъ деньги. Николай Семеновичъ, все еще странно улыбаясь, согласился поручиться за меня столяру, что деньги, по восьми рублей ежемѣсячно, будутъ вноситься мною неуклонно. Я было сталъ отдавать Николаю Семеновичу, чтобъ обезпечить его, мои шестьдесятъ рублей на руки, но онъ не взялъ: впрочемъ, онъ зналъ, что у меня есть деньги и вѣрилъ мнѣ. Этою деликатностью его наша минутная ссора была изглажена. Марья Ивановна ничего не говорила, но удивлялась, какъ я беру такую заботу. Я особенно цѣнилъ ихъ деликатность въ томъ, что они оба не позволили себѣ ни малѣйшей шутки надо мною, а стали, напротивъ, относиться къ дѣлу также серьезно, какъ и слѣдовало. Я каждый день бѣгалъ къ Дарьѣ Родивоновнѣ, раза по три, а черезъ недѣлю подарилъ ей лично, въ руку, по тихоньку отъ мужа еще три рубля. На другіе три рубля я завелъ одѣяльцо и пеленки. Но черезъ десять дней Риночка вдругъ заболѣла. Я тотчасъ привезъ доктора, онъ что-то прописалъ и мы провозились всю ночь, мучая крошку его сквернымъ лекаствомъ, а на другой день онъ объявилъ, что уже поздно, и на просьбы мои,—а, впрочемъ, кажется, на укору,—произнесъ съ благородною уклончивостью: „Я не Богъ“. Язычекъ, губы и весь ротъ у дѣвочки покрылись какой-то мелкой бѣлой сыпью, и она къ вечеру-же умерла, упирая въ меня свои большіе черные глазки, какъ будто она уже понимала. Не понимаю, какъ не пришло мнѣ на мысль снять съ нея, съ мертвенкой, фотографію. Ну, повѣрятъ-ли, что я не то что плакалъ, а просто вылъ въ этотъ вечеръ, чего прежде никогда не позволялъ себѣ, и Марья Ивановна принуждена была утѣшать меня, и опять такъ совершенно безъ насмѣшки, ни съ ея, ни съ его стороны. Столяръ-же сдѣлалъ и гробикъ; Марья Ивановна отдѣлала его рюшемъ и положила хорошенькую подушечку, а я купилъ цвѣтовъ и обсыпалъ ребеночка: такъ и снесли мою бѣдную былиночку, которую, повѣрятъ-ли, до сихъ поръ не могу позабыть. Немного, однако, спустя все это почти внезапное происшествіе, заставило меня даже очень задуматься. Конечно, Риночка обошлась не дорого,—совсѣмъ съ гробикомъ, съ погребеніемъ, съ докторомъ, съ цвѣтами и съ платой Дарьѣ Родивоновнѣ—тридцать рублей. Эти деньги, отъѣзжая въ Петербургъ, я наверсталъ на присланныхъ мнѣ на выѣздъ Версиловымъ сорока рубльяхъ и продажею кой-какихъ вещицъ передъ отъѣздомъ, такъ что весь мой „капиталъ“ остался неприкосновеннымъ. „Но, подумалъ я:—если я буду такъ сбиваться въ сторону, то не далеко уѣду“. Въ исторіи съ студентомъ выходило, что „идея“ можетъ увлечь до неясности впечат-

лѣній и отвлечь отъ текущей дѣйствительности. Изъ исторіи съ Риночкой выходило обратное, что никакая „идея“ не въ силахъ увлечь (по крайней мѣрѣ, меня) до того, чтобъ я не остановился вдругъ передъ какимъ нибудь подавляющимъ фактомъ и не пожертвовалъ ему разомъ всѣмъ тѣмъ, что уже годами труда сдѣлалъ для „идеи“. Оба вывода были тѣмъ не менѣе вѣрны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Надежды мои не сбылись вполнѣ: я не засталъ ихъ однѣхъ: хоть Версилова и не было, но у матери сидѣла Татьяна Павловна—все таки чужой человѣкъ. Половина великодушнаго расположенія разомъ съ меня соскочила. Удивительно, какъ я скоръ и перевертливъ въ подобныхъ случаяхъ; песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и замѣнить дурнымъ. Дурныя же впечатлѣнія мои, къ моему сожалѣнію, не такъ скоро изгоняются, хоть я и не злопамятенъ. Когда я вошелъ, мнѣ мелькнуло, что мать тотчасъ же и быстро прервала нить своего разговора съ Татьяной Павловной, кажется, весьма оживленнаго. Сестра воротилась съ работы передо мной лишь за минуту и еще не выходила изъ своей коморки.

Квартира эта состояла изъ трехъ комнатъ. Та, въ которой всѣ, по обыкновенію, сидѣли, срединная комната или гостиная, была у насъ довольно большая и почти приличная. Въ ней все же были мягкіе красные диваны, очень впрочемъ истертые (Версильовъ не терпѣлъ чехловъ), кой какіе ковры, нѣсколько столовъ и ненужныхъ столиковъ. Затѣмъ, направо находилась комната Версилова, тѣсная и узкая, въ одно окно; въ ней стоялъ жалкій письменный столъ, на которомъ валялось нѣсколько неупотребляемыхъ книгъ и забытыхъ бумагъ, а передъ столомъ не менѣе жалкое мягкое кресло, со сломанной и поднявшейся вверхъ угломъ пружиной, отъ которой часто стоналъ Версильовъ и бранился. Въ этомъ же кабинетѣ, на мягкомъ и тоже истасканномъ диванѣ стлали ему и спать; онъ ненавидѣлъ этотъ свой кабинетъ и, кажется, ничего въ немъ не дѣлалъ, а предпочиталъ сидѣть праздно въ гостиной по цѣлымъ часамъ. Налѣво изъ гостиной была точно такая же комнатка: въ ней спали мать и сестра. Въ гостиную входили изъ корридора, который ованчивался входомъ въ кухню, гдѣ жила кухарка Луверья, и когда страпала, то чадила пригорѣлымъ масломъ на всю квартиру немило-

сердно. Бывали минуты, когда Версиловъ громко проклиналъ свою жизнь и участь изъ за этого кухоннаго чада и въ этомъ одномъ я ему вполне сочувствовалъ; я тоже ненавижу эти запахи, хотя они и не проникали ко мнѣ: я жилъ вверху въ свѣтелкѣ, подъ крышей, куда подымался по чрезвычайно крутой и скрипучей лѣсенкѣ. Тамъ у меня было достопримѣчательнаго—полукруглое окно, ужасно низкій потолокъ; клеенчатый диванъ, на которомъ Лукерья къ ночи постилала мнѣ простыню и клала подушку, а прочей мебели — лишь два предмета: простѣйшій тесовый столъ и дырявый плетеный стулъ.

Впрочемъ, все таки у насъ сохранялись остатки нѣкотораго, когда-то бывшаго, комфорта; въ гостиной, напримѣръ, имѣлась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стѣнѣ висѣла превосходная большая гравюра Дрезденской Мадонны и тутъ же напротивъ, на другой стѣнѣ, дорогая фотографія, въ огромномъ размѣрѣ, литыхъ бронзовыхъ воротъ флорентійскаго собора. Въ этой же комнатѣ, въ углу, висѣлъ большой киотъ съ старинными фамильными образами, изъ которыхъ на одномъ (всѣхъ Святыхъ) была большая вызолоченная, серебрянная риза — та самая, которую хотѣли закладывать, а на другомъ (на образѣ Божьей Матери)—риза бархатная, вышитая жемчугомъ. Передъ образами висѣла лампадка, зажигавшаяся подъ каждый праздникъ. Версиловъ къ образамъ, въ смыслѣ ихъ значенія, былъ очевидно равнодушенъ и только морщился иногда, видимо сдерживая себя, отъ отраженнаго отъ золоченой ризы свѣта лампадки, слегка жалуясь, что это вредитъ его зрѣнiю, но все же-не мѣшало матери зажигать.

Я обыкновенно входилъ молча и угрюмо, смотря куда нибудь въ уголь, а иногда входя не здоровался. Возвращался же всегда ранѣе этого раза и мнѣ подавали обѣдать наверхъ. Войдя теперь, я вдругъ сказалъ: „здравствуйте, мама“, чего никогда прежде не дѣлывалъ, хотя какъ-то все таки, отъ стыдливости, не могъ и въ этотъ разъ заставить себя посмотрѣть на нее, и усѣлся въ противоположномъ концѣ комнаты. Я очень усталъ, но о томъ не думалъ.

— Этотъ неучъ все также у васъ продолжаетъ входить невѣжей, какъ и прежде,—прошипѣла на меня Татьяна Павловна; ругательныя слова она и прежде себѣ позволяла и это вошло уже между мною и ею въ обычай.

— Здравствуй... отвѣтила мать, какъ бы тотчасъ же потерявшись отъ того, что я съ ней поздоровался.

— Кухать давно готово, прибавила она, почти сконфузившись:—супъ только бы не простылъ, а котлеты я сейчасъ велю... Она было

стала поспѣшно вставать, чтобъ идти на кухню и въ первый разъ, можетъ быть, въ цѣлый мѣсяцъ мнѣ вдругъ стало стыдно, что она слишкомъ ужъ проворно вскакиваетъ для моихъ услугъ, тогда какъ до сихъ поръ самъ же я того требовалъ.

— Покорно благодарю, мама, я ужъ обѣдалъ. Если не помѣшаю, я здѣсь отдохну.

— Ахъ... чтожь!.. отчего же, посиди...

— Не безпокойтесь, мама, я грубить Андрею Петровичу больше не стану, отрѣзалъ я разомъ...

— Ахъ, Господи, какое съ его стороны великодушіе! крикнула Татьяна Павловна.—Голубчикъ, Соня—да неужели ты все продолжаешь говорить ему *сы*? Да кто онъ такой, чтобъ ему такія почести, да еще отъ родной своей матери! Посмотри, вѣдь ты вся законфузилась передъ нимъ, срамъ!

— Мнѣ самому очень было бы пріятно, еслибъ вы, мама, говорили мнѣ ты.

— Ахъ... Ну и хорошо, ну и буду, заторопилась мать:—я—я вѣдь не всегда же... ну съ этихъ поръ знать и буду.

Она вся покраснѣла. Рѣшительно ея лицо бывало чрезвычайно привлекательно... Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного блѣдное, малокровное. Щеки ея были очень худы, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться морщинки, но около глазъ ихъ еще не было и глаза, довольно большіе и открытые, сіяли всегда тихимъ и спокойнымъ свѣтомъ, который меня привлекъ къ ней съ самаго перваго дня. Любилъ я тоже, что въ лицѣ ея вовсе не было ничего такого грустнаго или ущемленнаго; напротивъ, выраженіе его было бы даже веселое, еслибъ она не тревожилась такъ часто, совсѣмъ иногда попусту, пугаясь и схватываясь съ мѣста иногда совсѣмъ изъ за ничего, или вслушиваясь испуганно въ чей нибудь новый разговоръ, пока не увѣрялась, что все по прежнему хорошо. Все хорошо—именно значило у ней, коли „все по прежнему“. Только бы не измѣнялось, только бы новаго чего не произошло, хотя бы даже счастливаго!... Можно было подумать, что ее въ дѣтствѣ какъ нибудь испугали. Кромѣ глазъ ея, нравился мнѣ овалъ ея продолговатаго лица и, кажется, еслибъ только на капелъку были менѣе широки ея скулы, то не только въ молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивою. Теперь же ей было не болѣе тридцати девяти, но въ темнорусыхъ волосахъ ея уже сильно просекаивали сѣдинки.

Татьяна Павловна взглянула на нее съ рѣшительнымъ негодованіемъ.
подростокъ.

— Этакому-то бутузу! И такъ передъ нимъ дрожать! Смѣшная ты, Софья; сердись ты меня, вотъ что!

— Ахъ, Татьяна Павловна, зачѣмъ бы вамъ такъ съ нимъ теперь! Да вы шутите, можетъ, а? прибавила мать, прижѣтливъ что-то въ родѣ улыбки на лицѣ Татьяны Павловны. Татьяны Павловнину брань и впрямь иногда нельзя было принять за серьезное, но улыбнулась она (если только улыбнулась), конечно, лишь на мать, потому что ужасно любила ея доброту и ужь, безъ сомнѣнія, замѣтила, какъ въ ту минуту она была счастлива моею покорностью.

— Я, конечно, не могу не почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна, и именно тогда, когда я, войдя, сказалъ „здравствуйте, мама“, чего прежде никогда не дѣлалъ, — нашелъ я, наконецъ, нужнымъ ей замѣтить.

— Представьте себѣ, вскипѣла она тотчасъ же:—онъ считаетъ это за подвигъ? На колѣняхъ что-ли стоять передъ тобой, что ты разъ въ жизни вѣжливость оказалъ? Да и это-ли вѣжливость! Чтò ты въ уголь-то смотришь входя? Развѣ я не знаю, какъ ты передъ нею рвешь и мечешь! Могъ бы и мнѣ сказать здравствуй, я целенала тебя, я твоя крестная мать.

Разумѣется, я пренебрегъ отвѣчать. Въ ту минуту какъ-разъ вошла сестра и я поскорѣе обратился къ ней.

— Лиза, я сегодня видѣлъ Васина и онъ у меня про тебя спросилъ. Ты знакома?

— Да, въ Лугѣ, прошлаго года, совершенно просто отвѣтила она, садясь подлѣ и ласково на меня посмотрѣвъ. Не знаю почему, мнѣ казалось, что она такъ и вспыхнетъ, когда я ей скажу про Васина. Сестра была блондинка, свѣтлая блондинка, совсѣмъ не въ мать и не въ отца волосами; но глаза, овалъ лица были почти какъ у матери. Носъ очень прямой, небольшой и правильный; впрочемъ, и еще особенность—мелкія веснушки въ лицѣ, чего совсѣмъ у матери не было. Версиловскаго было очень немного, развѣ тонкость стана, не малый ростъ и что-то такое прелестное въ походкѣ. Со мной же ни малѣйшаго сходства—два противоположные полюса.

— Я ихъ мѣсяца три знала, прибавила Лиза.

— Это ты про Васина говоришь *ихъ*, Лиза? Надо сказать *его*, а не *ихъ*. Извини, сестра, что я поправляю, но мнѣ горько, что воспитаніемъ твоимъ, кажется, совсѣмъ пренебрегли.

— А при матери низко объ этомъ замѣчать съ твоей стороны,—такъ и вспыхнула Татьяна Павловна:—и врешь ты, вовсе не пренебрегли.

— Ничего я и не говорю про мать, рѣзко вступился я:—знайте, ма́ма, что я смотрю на Лизу, какъ на вторую васъ; вы сдѣлали изъ нея такую же прелесть по добротѣ и характеру, какою навѣрно были вы сами, и есть теперь, до сихъ поръ, и будете вѣчно... Я лишь про наружный лоскъ, про всѣ эти свѣтскія глупости, впрочемъ, необходимы. Я только о томъ негодую, что Версильовъ, услышавъ, что ты про Васина выговариваешь *ихъ*, а не *его*, навѣрно не поправилъ бы тебя вовсе,— до того онъ высокомѣренъ и равнодушенъ съ нами. Вотъ чтò меня бѣситъ!

— Самъ-то медвѣженокъ, а туда же лоску учить. Не смѣйте, сударь, впредь при матери говорить: „Версильовъ“, равно и въ моемъ присутствіи,—не стерплю! засверкала Татьяна Павловна.

— Мама, я сегодня жалованье получилъ, пятьдесятъ рублей, возьмите, пожалуйста, вотъ!

Я подошелъ и подаль ей деньги; она тотчасъ же затревожилась.

— Ахъ, не знаю какъ взять-то! проговорила она, какъ бы боясь дотронуться до денегъ. Я не понялъ.

— Помилуйте, ма́ма, если вы объ считаете меня въ семьѣ какъ сына и брата, то...

— Ахъ, виновата я передъ тобою, Аркадій; призналась бы тебѣ кое въ чемъ, да боюсь тебя ужъ очень...

Сказала она это съ робкою и заискивающею улыбкой; я опять не понялъ и перебилъ:

— Кстати, извѣстно вамъ, ма́ма, что сегодня въ судѣ рѣшилось дѣло Андрея Петровича съ Сокольскими?

— Ахъ, извѣстно! воскликнула она, отъ страху сложивъ передъ собою ладошками руки (ея жестъ).

— Сегодня? такъ и вздрогнула вся Татьяна Павловна:—да быть же того не можетъ, онъ бы сказалъ. Онъ тебѣ сказалъ? повернулась она къ матери.

— Ахъ, нѣтъ, что сегодня, про то не сказалъ. Да я всю недѣлю такъ боюсь. Хоть бы проиграть, я бы помолилась, только бы съ плечъ долой, да опять по прежнему.

— Такъ не сказалъ же и вамъ, ма́ма! воскликнулъ я. — Каковъ человекъ! Вотъ образецъ его равнодушія и высокомѣрія; чтò я говорилъ сейчасъ?

— Рѣшилось-то чѣмъ, чѣмъ рѣшилось-то? Да кто тебѣ сказалъ? выдалась Татьяна Павловна.—Да говори же!

— Да вотъ и самъ онъ! Можетъ, расскажетъ, возвѣстилъ я, слышавъ его шаги въ корридорѣ, и поскорѣй усѣлся около Лизы.

— Братъ, ради Бога, пощади маму, будь терпѣливъ съ Андреемъ Петровичемъ... прошептала мнѣ сестра.

— Буду, буду, я съ тѣмъ и воротился,—пожалъ я ей руку. Лиза очень недовѣрчиво на меня посмотрѣла и права была.

II.

Онъ вошелъ очень довольный собой, такъ довольный, что и нужнымъ не нашелъ скрыть свое расположеніе. Да и вообще онъ привыкъ передъ нами, въ послѣднее время, раскрываться безъ малѣйшей церемоніи и не только въ своемъ дурномъ, но даже въ смѣшномъ, чего ужъ всякій боится; между тѣмъ вполнѣ сознавалъ, что мы до послѣдней черточки все поймемъ. Въ послѣдній годъ онъ, по замѣчанію Татьяны Павловны, очень опустился въ костюмъ: одѣтъ былъ всегда прилично, но въ старомъ и безъ изыскаемости. Это правда, онъ готовъ былъ носить бѣлье по два дня, что даже огорчало мать; это у нихъ считалось за жертву, и вся эта группа преданныхъ женщинъ прямо видѣла въ этомъ подвигъ. Шляпы онъ всегда носилъ мягкія, широкополныя, черныя; когда онъ снялъ въ дверяхъ шляпу — цѣлый пукъ его густѣйшихъ, но съ сильной просѣдью волосъ такъ и прыгнулъ на его головѣ. Я любилъ смотрѣть на его волосы, когда онъ снималъ шляпу.

— Здравствуйте; всѣ въ сборѣ; даже и онъ въ томъ числѣ? Слышалъ его голосъ еще изъ передней; меня бранилъ, кажется?

Одинъ изъ признаковъ его веселаго расположенія—это когда онъ принимался надо мною острить. Я не отвѣчалъ, разумѣется. Вошла Лукерья съ цѣлымъ вѣдькомъ какихъ-то покупокъ и положила на столъ.

— Побѣда, Татьяна Павловна; въ судѣ выиграно, а апеллировать, конечно, князья не рѣшатся. Дѣло за мною! Тотчасъ же нашелъ занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, съ работы?

— Да, папа, съ ласковымъ видомъ отвѣтила Лиза; она звала его отцомъ; я этому ни за что не хотѣлъ подчиниться.

— Устала?

— Устала.

— Оставь работу, завтра не ходи, и совсѣмъ брось.

— Папа, мнѣ такъ хуже.

— Прошу тебя... Я ужасно не люблю, когда женщины работаютъ, Татьяна Павловна.

— Какъ же безъ работы-то? Да чтобы женщина не работала!..

— Знаю, знаю, все это прекрасно и вѣрно, и я заранѣе согласенъ; но—я, главное, про руководѣля. Представьте себѣ, во мнѣ это кажется одно изъ болѣзненныхъ или, лучше, неправильныхъ впечатлѣній дѣтства. Въ смутныхъ воспоминаніяхъ моего пяти-шестилѣтняго дѣтства я всего чаще припоминаю,—съ отвращеніемъ, конечно,—около круглаго стола конклавъ умныхъ женщинъ, строгихъ и суровыхъ, женщины, матерію, выкройку и модную картинку. Всѣ судятъ и рѣдаютъ, важно и медленно покачивая головами, примѣривая и разчитывая и готовясь кроить. Всѣ эти ласковыя лица, которыя меня такъ любятъ—вдругъ стали неприступны; зашали я, и меня тотчасъ же унесутъ. Даже бѣдная няня моя, придерживая меня рукой и не отвѣчая на мои крики и теребенья, заглядѣлась и заслушалась точно райской птицы. Вотъ эту-то строгость умныхъ лицъ и важность передъ начатіемъ кройки—мнѣ почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить,—какъ это ни аристократично, но я все таки больше люблю женщину совсѣмъ не работающую. Не прими на свой счетъ! Софья... Да гдѣ тебѣ! Женщина и безъ того великая власть. Это, впрочемъ, и ты знаешь, Соня. Какъ ваше мнѣніе, Аркадій Макаровичъ, навѣрно возстааете?

— Нѣтъ, ничего, отвѣтилъ я.—Особенно хорошо выраженіе, что женщина—великая власть, хотя не понимаю, зачѣмъ вы связали это съ работой? А что не работать нельзя, когда денегъ нѣтъ—сами знаете.

— Но теперь довольно, обратился онъ къ матушкѣ, которая такъ вся и сіяла (когда онъ обратился ко мнѣ, она вся вздрогнула); по крайней мѣрѣ, хоть первое время, чтобъ я не видалъ руководѣлій, для меня прошу. Ты, Аркадій, какъ юноша нашего времени, навѣрно немножко социалистъ; ну, такъ повѣришь ли, другъ мой, что наиболѣе любящихъ праздность,—это изъ трудящагося вѣчно народа!

— Отдыхъ, можетъ быть, а не праздность.

— Нѣтъ, именно праздность, полное ничегонедѣланіе; въ томъ идеаль! Я зналъ одного вѣчнаго труженика, хоть и не изъ народа; онъ былъ человекъ довольно развитой и могъ обобщать. Онъ всю жизнь свою, каждый день, можетъ быть, мечталъ съ засосомъ и съ умиленіемъ о полнѣйшей праздности, такъ сказать доводя идеаль до абсолютъ,—до безконечной независимости, до вѣчной свободы мечты и празднаго созерцанія. Такъ и было вплоть, пова не сломался совсѣмъ на работѣ; починить нельзя было; умеръ въ больницѣ. Я серьезно иногда готовъ заключить, что о наслажденіяхъ труда выдумали праздные люди,

разумѣтся, изъ добродѣтельныхъ. Это одна изъ „женевскихъ идей“ конца прошлаго столѣтія. Татьяна Павловна, третьяго дня я вырѣзала изъ газеты одно объявленіе, вотъ оно (онъ вынулъ клочекъ изъ жилетнаго кармана),—это изъ числа тѣхъ безконечныхъ „студентовъ“, знающихъ классическіе языки и математику и готовыхъ въ отъѣздъ, на чердакъ и всюду. Вотъ слушайте: „Учительница подготовляетъ во всѣ учебныя заведенія (слышите, во всѣ) и даетъ уроки ариметики,“ — одна лишь строчка, но классическая! Подготовляетъ въ учебныя заведенія—такъ ужь, конечно, и изъ ариметики? Нѣтъ, у ней объ ариметикѣ особенно. Это—это уже чистый голодъ, это уже послѣдняя степень нужды. Трогательна тутъ именно эта неумѣлость: очевидно, никогда себя не готовила въ учительницы, да врядъ ли чему и въ состояніи учить. Но вѣдь хоть топчись, тащить послѣдній рубль въ газету и печатаетъ, что подготовляетъ во всѣ учебныя заведенія и, сверхъ того, даетъ уроки ариметики. *Per tutto mundo e in altri siti.*

— Ахъ, Андрей Петровичъ, ей бы помочь! Гдѣ она живетъ? воскликнула Татьяна Павловна.

— Э, много такихъ! Онъ сунулъ адресъ въ карманъ. Въ этомъ кулекѣ все гостинцы,—тебѣ, Лиза, и вамъ, Татьяна Павловна; Софья и я, мы не любимъ сладкаго. Пожалуй и тебѣ, молодой человекъ. Я самъ все взялъ у Елисѣева и у Балле. Слишкомъ долго „голодомъ сидѣли,“ какъ говоритъ Лукерья. (NB. Никогда нѣто не сидѣлъ у насъ голодомъ). Тутъ виноградъ, конфеты, дюшессы и клубничныи пироги, даже взялъ превосходной наливки; орѣховъ тоже. Любопытно, что я до сихъ поръ, съ самаго дѣтства, люблю орѣхи, Татьяна Павловна, и знаете самые простые. Лиза въ меня; она тоже, какъ бѣлочка, любитъ щелкать орѣшки. Но ничего нѣтъ прелестнѣе, Татьяна Павловна, какъ иногда невзначай, между дѣтскихъ воспоминаній, воображать себя мгновеніями въ лѣсу, въ кустарникѣ, когда самъ рвешь орѣхи... Дни уже почти осенніе, но ясные, иногда такъ свѣжо, затаишься въ глуши, забредешь въ лѣсъ, пахнетъ листьями... Я вижу что-то симпатическое въ вашемъ взглядѣ, Аркадій Макаровичъ?

— Первые годы дѣтства моего прошли тоже въ деревнѣ.

— Какъ, да вѣдь ты, кажется, въ Москвѣ проживалъ... если не ошибаюсь.

— Онъ у Андрониковыхъ тогда жилъ въ Москвѣ, когда вы туда пріѣхали; а до тѣхъ поръ проживалъ у покойной вашей тетушки, Варвары Степановны, въ деревнѣ, подхватила Татьяна Павловна.

— Софья, вотъ деньги, припрятъ. На дняхъ обѣщали пять тысячъ дать.

— Стало быть, уже никакой надежды князьямъ? спросила Татьяна Павловна.

— Совершенно никакой, Татьяна Павловна.

— Я всегда сочувствовала вамъ, Андрей Петровичъ, и всё въ ваши, и была другомъ дома, но хоть князья мнѣ и чужіе, а мнѣ, ей Богу, ихъ жаль. Не осердитесь, Андрей Петровичъ.

— Я не намѣренъ дѣлиться, Татьяна Павловна.

— Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петровичъ, они бы прекратили искъ, если бы вы предложили подѣлать пополамъ въ самомъ началѣ; теперь, конечно, поздно. Впрочемъ, не смѣю судить... Я вѣдь потому, что покойникъ навѣрно не обошелъ бы ихъ въ своемъ завѣщаніи.

— Не то, что обошелъ бы, я навѣрно бы все имъ оставилъ, а обошелъ бы только одного меня, если бы сумѣлъ дѣло сдѣлать и какъ слѣдуетъ завѣщаніе написать; но теперь—за меня законъ—и конечно. Дѣлиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и дѣлу конецъ.

Онъ произнесъ это даже съ озлобленіемъ, что рѣдко позволялъ себѣ. Татьяна Павловна притихла. Мать какъ-то грустно потупила глаза: Версидовъ зналъ, что она одобряетъ мнѣніе Татьяны Павловны.

— „Тутъ эмская пощечина!“ подумалъ я про себя. Документъ, доставленный Крафтомъ и бывший у меня въ карманѣ, имѣлъ бы печальную участь, если бы попался къ нему въ руки. Я вдругъ почувствовалъ, что все это сидитъ еще у меня на шеѣ; эта мысль, въ связи со всёми прочими, конечно, подѣйствовала на меня раздражительно.

— Аркадій, я желалъ бы, чтобъ ты одѣлся лучше, мой другъ; ты одѣтъ недурно, но въ виду дальнѣйшаго, я могъ бы тебѣ откомендовать хорошаго одного француза, предоброевѣстнаго и со вкусомъ.

— Я васъ попрошу никогда не дѣлать мнѣ подобныхъ предложеній, рванулъ я вдругъ.

— Что такъ?

— Я, конечно, не нахожу унижительнаго, но мы вовсе не въ такомъ соглашеніи, а, напротивъ, даже въ разногласіи, потому что я на дняхъ, завтра, оставляю ходить къ князю, не видя тамъ ни малѣйшей службы.

— Да въ томъ, что ты ходишь, что ты сидишь съ нимъ—служба!

— Такія мысли унижительны.

— Не понимаю; а, впрочемъ, если ты столь щекотливъ, то не бери съ него денегъ, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; онъ ужъ къ тебѣ прилипъ, будь увѣренъ... Впрочемъ, какъ хочешь...

Ему очевидно было неприятно.

— Вы говорите, не проси денегъ, а по вашей же милости я сдѣлалъ сегодня подлость: вы меня не предупредили, а я требовалъ съ него сегодня жалованье за мѣсяць.

— Такъ ты уже распорядился; а я, признаюсь, думалъ, что ты не станешь просить; какіе же вы, однако, всё теперь ловкіе! Нынче нѣтъ молодежи, Татьяна Павловна.

Онъ ужасно злился; я тоже разсердился ужасно.

— Мнѣ надо же было раздѣляться съ вами... это вы меня заставили,—я не знаю теперь какъ быть.

— Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадію его шестьдесятъ рублей; а ты, мой другъ, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя въ головѣ какое-то предпріятіе и что ты нуждаешься... въ оборотномъ капиталѣ... или въ родѣ того.

— Я не знаю, что выражаетъ мое лицо, но я никакъ не ожидалъ отъ мамы, что она расскажетъ вамъ про эти деньги, тогда какъ я такъ просилъ ее, поглядѣвъ я на мать, засверкавъ глазами. Не могу выразить, какъ я былъ обиженъ.

— Аркаша, голубчикъ, прости, ради Бога, не могла я никакъ, чтобы не сказать...

— Другъ мой, не претендуй, что она мнѣ открыла твои секреты, обратился онъ ко мнѣ:—къ тому же она съ добрымъ намѣреніемъ—просто, матери захотѣлось похвалиться чувствами сына. Но повѣрь, а бы и безъ того угадалъ, что ты капиталистъ. Всѣ секреты твои на на твоёмъ честномъ лицѣ написаны. У него „своя идея“, Татьяна Павловна, я вамъ говорилъ.

— Оставимъ мое честное лицо, продолжалъ я рвать:—я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя въ другихъ случаяхъ не дальше куриного носа,—и удивлялся вашей способности проникать. Ну да, у меня есть „своя идея“. То, что вы такъ выразились, конечно, случайность, но я не боюсь признаться: у меня есть „идея“. Не боюсь и не стыжусь.

— Главное, не стыдись.

— А все таки вамъ никогда не открою.

— То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой другъ, я и такъ знаю сущность твоей идеи; во всякомъ случаѣ, это:

„Я въ пустыню удаляюсь“,

Татьяна Павловна! Моя мысль—что онъ хочетъ... стать Ротшильдомъ, или въ родѣ того, и удалиться въ свое величіе. Разумѣется, онъ намъ

съ вами назначить великодушно пенсіонъ, мнѣ-то, можетъ быть, и не назначить, — но, во всякомъ случаѣ, только мы его и видѣли. Онъ у насъ какъ мѣсяць молодой — чуть поважится, тутъ и закатится.

Я содрогнулся внутри себя. Конечно, все это была случайность: онъ ничего не зналъ и говорилъ совсѣмъ не о томъ, хоть и помянулъ Ротшильда; но какъ онъ могъ такъ вѣрно опредѣлять мои чувства: порвать съ ними и удалиться? Онъ все предугадалъ и напередъ хотѣлъ засалить своимъ цинизмомъ трагизмъ факта. Что злился онъ ужасно, въ томъ не было никакого сомнѣнія.

— Мама! простите мою вспышку, тѣмъ болѣе, что отъ Андрея Петровича и безъ того невозможно укрыться, засмѣялся я притворно и стараясь хоть на мигъ перебить все въ шутку.

— Самое лучшее, мой милый, это — то, что ты засмѣялся. Трудно представить, сколько этимъ каждый человѣкъ выигрываетъ даже въ наружности. Я серьезноѣшимъ образомъ говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой видъ, будто у него на умѣ что-то столь ужъ важное, что онъ даже самъ пристыженъ симъ обстоятельствомъ.

— Я серьезно попросилъ бы васъ быть скромнѣе, Андрей Петровичъ.

— Ты правъ, мой другъ; но надо же высказать разъ на всегда, чтобы ужъ потомъ до всего этого не дотрогиваться. Ты пріѣхалъ къ намъ изъ Москвы съ тѣмъ, чтобы тотчасъ же взбунтоваться, — вотъ пока что намъ извѣстно о цѣлахъ твоего прибытія. О томъ, что пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы насъ удивить чѣмъ-то, — объ этомъ я, разумеется, не упоминаю. Затѣмъ, ты весь мѣсяць у насъ и на насъ фыркаешь, между тѣмъ, ты человѣкъ, очевидно, умный и въ этомъ качествѣ могъ бы предоставить такое фырканье тѣмъ, которымъ нечѣмъ ужъ больше отплатить людямъ за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда какъ честный видъ твой и красныя щеки прямо свидѣтельствуютъ, что ты могъ бы смотрѣть всѣмъ въ глаза съ полною невинностью. Онъ — ипохондрикъ, Татьяна Павловна, не понимаю, съ чего они всѣ теперь ипохондрики?

— Если вы не знали, гдѣ я даже росъ, — какъ вамъ знать, съ чего человѣкъ ипохондрикъ?

— Вотъ она разгадка: ты обидѣлся, что я могъ забыть, гдѣ ты росъ!

— Совсѣмъ нѣтъ, не приписывайте мнѣ глупостей. Мама, Андрей Петровичъ сейчасъ похвалилъ меня за то, что я засмѣялся; давайте же смѣяться — что такъ сидѣть! Хотите, я вамъ про себя анекдоты стану

разсказывать? Тѣмъ болѣе, что Андрей Петровичъ совсѣмъ ничего не знаетъ изъ моихъ приключеній.

У меня накипѣло. Я зналъ, что болѣе мы уже никогда не будемъ сидѣть какъ теперь вмѣстѣ и что, выйдя изъ этого дома, я уже не войду въ него никогда,—а потому, набавувъ всего этого, и не могъ утерпѣть. Онъ самъ вызвалъ меня на такой финаль.

— Это, конечно, премило, если только въ самомъ дѣлѣ будетъ смѣшно, замѣтилъ онъ, проникательно въ меня взглядываясь: — ты не много огрубѣлъ, мой другъ, тамъ, гдѣ ты росъ, а, впрочемъ, все таки ты довольно еще приличенъ. Онъ очень милъ сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сдѣлали, что развязали, наконецъ, этотъ кулекъ.

Но Татьяна Павловна хмурилась; она даже не обернулась на его слова и продолжала развязывать кулекъ и на поданныя тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидѣла въ совершенномъ недоумѣннн, конечно, понимая и предчувствуя, что у насъ выходитъ неладно. Сестра еще разъ меня тронула за локоть.

III.

— Я просто вамъ всѣмъ хочу разсказать, началъ я съ самымъ развязнѣйшимъ видомъ,—о томъ, какъ одинъ отецъ въ первый разъ встрѣтился съ своимъ милымъ сыномъ; это именно случилось „тамъ, гдѣ ты росъ“...

— Другъ мой, а это будетъ... не скучно? Ты знаешь: *tous les genres*...

— Не хмурьтесь, Андрей Петровичъ, я вовсе не съ тѣмъ, что вы думаете. Я именно хочу, чтобъ всё смѣялись.

— Да услышитъ же тебя Богъ, мой милый. Я знаю, что ты всѣхъ насъ любишь и... не захочешь разстроить нашъ вечеръ, промямлилъ онъ какъ то выдѣланно, небрежно.

— Вы, конечно, и тутъ угадали по лицу, что я васъ люблю?

— Да, отчасти и по лицу.

— Ну, а я такъ по лицу Татьяны Павловны давно угадалъ, что она въ меня влюблена. Не смотрите такъ звѣрски на меня, Татьяна Павловна, лучше смѣяться! Лучше смѣяться!

Она вдругъ быстро ко мнѣ повернулась и пронзительно, съ полминуты, въ меня всматривалась:

— Смотри ты! погрозила она мнѣ пальцемъ, но такъ серьезно, что это вовсе не могло уже относиться къ моей глупой шуткѣ, а было предостереженіемъ въ чемъ то другомъ: „не вздумалъ ли уже начинать?“

— Андрей Петровичъ, такъ неужели вы не помните, какъ мы съ вами встрѣтились, въ первый разъ въ жизни?

— Ей Богу, забылъ, мой другъ, и отъ души виноватъ. Я помню лишь, что это было какъ-то очень давно, и происходило гдѣ-то...

— Мама, а не помните ли вы, какъ вы были въ деревнѣ, гдѣ я росъ, кажется, до шести или семилѣтняго моего возраста и, главное, были ли вы въ этой деревнѣ, въ самоѣ дѣлѣ, когда нибудь, или мнѣ только какъ во снѣ мерещится, что я васъ въ первый разъ тамъ увидѣлъ? Я васъ давно уже хотѣлъ объ этомъ спросить, да откладывалъ; теперь время пришло.

— Какъ-же, Аркашенька, какъ же! Да, я тамъ у Варвары Степановны три раза гостила; въ первый разъ прѣвѣжала, когда тебѣ всего годочекъ отъ роду былъ, во второй, когда тебѣ четвертый годокъ пошелъ, а потомъ, когда тебѣ шесть годковъ минуло.

— Ну вотъ, я васъ весь мѣсяцъ и хотѣлъ объ этомъ спросить.

Мать такъ и зардѣлась отъ быстрого прилива воспоминаній и съ чувствомъ спросила меня:

— Такъ неужто, Аркашенька, ты меня еще тамъ запомнилъ?

— Ничего я не помню и не знаю, но только что то осталось отъ вашего лица у меня въ сердцѣ на всю жизнь, и, кромѣ того, осталось знаніе, что вы моя мать. Я всю эту деревню, какъ во снѣ, теперь вижу, а даже свою няньку забылъ. Эту Варвару Степановну запомнилъ капельку потому только, что у ней вѣчно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромныя деревья, липы, кажется, потому иногда сильный свѣтъ солнца въ отворенныхъ окнахъ, полисадникъ съ цвѣтами, дорожку, а васъ, мама, помню ясно только въ одноѣ мгновеніи, когда меня въ тамошней церкви разъ причащали и вы приподняли меня принять Дары и поцаловать Чашу; это лѣтомъ было, и голубъ пролетѣлъ насквозь черезъ куполь, изъ окна въ окно...

— Господи! Это все такъ и было, сплеснула мать руками, и голубочка того какъ есть помню. Ты передъ самоѣ Чашей встрепенулся и кричишь: „голубокъ, голубокъ!“

— Ваше лицо, или что-то отъ него, выраженіе, до того у меня осталось въ памяти, что лѣтъ пять спустя, въ Москвѣ, я тотчасъ призналъ васъ, хоть мнѣ и никто не сказалъ тогда, что вы моя мать. А когда я съ Андреемъ Петровичемъ въ первый разъ встрѣтился, то взяли меня отъ Андрониковыхъ; у нихъ я вплоть до того тихо и весело прозябалъ лѣтъ пять сряду. Ихъ казенную квартиру до мелочи помню и всѣхъ этихъ дамъ и дѣвицъ, которыя теперь всѣ такъ здѣсь

постарѣли, и полный домъ, и самого Андроникова, какъ онъ всю провизію, птиць, судаковъ и поросятъ, самъ изъ города въ кулькахъ привозилъ, а за столомъ, вмѣсто супруги, которая все чванилась, намъ супъ разливалъ, и всегда мы всѣмъ столомъ надъ этимъ смѣялись и онъ первый. Тамъ меня барышни по французски научили, но больше всего я любилъ басни Крылова, заучилъ ихъ множество наизусть и каждый день декламировалъ по баснѣ Андроникову, прямо входя къ нему въ его крошечный кабинетъ, занять онъ былъ или нѣтъ. Ну, вотъ изъ-за басни же и съ вами познакомился, Андрей Петровичъ. Я вижу, вы начинаете припоминать.

— Кое-что припоминаю, мой милый, именно ты что-то мнѣ тогда рассказалъ... басню, или изъ „Горе отъ ума“, кажется? Какая же у тебя память, однако!

— Память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь и помнилъ.

— Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь.

Онъ даже улыбнулся, тотчасъ же за нимъ стали улыбаться и мать, и сестра. Довѣрчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, разставивъ на столѣ гостинцы и усѣвшись въ углу, продолжала проникать меня дурнымъ взглядомъ.

— Случилось такъ, продолжалъ я: — что вдругъ, въ одно прекрасное утро, явилась за мною другъ моего дѣтства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась въ моей жизни внезапно, какъ на театрѣ, и меня повезли въ каретѣ и привезли въ одинъ барскій домъ, въ пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фанариотовой, Андрей Петровичъ, въ ея пустомъ домѣ, который она у васъ же когда-то и купила; сама же въ то время была за границей. Я все носилъ курточки; тутъ вдругъ меня одѣли въ хорошенькій синій скюртучекъ и въ превосходное бѣлье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тотъ день и покупала мнѣ много вещей; я же все ходилъ по всѣмъ пустымъ комнатамъ и смотрѣлъ на себя во всѣ зеркала. Вотъ такимъ-то образомъ я, на другое утро, часовъ въ десять, бродя по квартирѣ, зашелъ вдругъ, совсѣмъ невзначай, къ вамъ въ кабинетъ. Я уже и накануне васъ видѣлъ, когда меня только что привезли, но лишь мелькомъ на лѣстницѣ. Вы сходили съ лѣстницы, чтобы сѣсть въ карету и куда-то ѣхать; въ Москву вы прибыли тогда одинъ, послѣ чрезвычайно долгаго отсутствія и на короткое время, такъ что васъ всюду расхватили и вы почти не жили дома. Встрѣтивъ насъ съ Татьяной Павловной, вы протянули только: А! и даже не остановились.

— Онъ съ особенною любовью описываетъ, замѣтилъ Версильовъ, обращаясь къ Татьянѣ Павловнѣ; та отвернулась и не отвѣтила.

— Я какъ сейчасъ васъ вижу тогдашняго, цвѣтушаго и красиваго. Вы удивительно успѣли постарѣть и подурнѣть въ эти девять лѣтъ, ужъ простите эту откровенность; впрочемъ, вамъ и тогда было уже лѣтъ тридцать семь, но я на васъ даже заглядѣлся: какіе у васъ были удивительные волосы, почти совсѣмъ черные, съ глянцевинымъ блескомъ, безъ малѣйшей сѣдинки; усы и бакены ювелирской отдѣлки, — иначе не умѣю выразиться: лицо матово-блѣдное, не такое болѣзненно-блѣдное, какъ теперь, а вотъ какъ теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имѣлъ честь давеча видѣть; горячіе и темные глаза и сверкающіе зубы, особенно когда вы смѣялись. Вы именно разсмѣялись, осмотрѣвъ меня, когда я вошелъ; я мало что умѣлъ тогда различать, и отъ улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были въ это утро въ темносинемъ бархатномъ пиджакѣ, въ шейномъ шарфѣ, цвѣта сольферино, по великолѣпной рубашкѣ съ алаксонскими кружевами, стояли передъ зеркаломъ съ тетрадю въ рукѣ и выработывали, декламируя, послѣдній монологъ Чацкаго и особенно послѣдній крикъ:

Карету мнѣ, карету!

— Ахъ, Боже мой, вскрикнулъ Версильовъ:—вѣдь онъ и вправду! Я тогда взялся, не смотря на короткій срокъ въ Москвѣ, за болѣзнію Жилейко, сыграть Чацкаго у Александры Петровны Витовтовой, на домашней сценѣ!

— Неужто вы забыли? засмѣялась Татьяна Павловна.

— Онъ мнѣ напомнилъ! И признаюсь, эти тогдашніе нѣсколько дней въ Москвѣ, можетъ быть, были лучшей минутой всей жизни моей! Мы всѣ еще тогда были такъ молоды... и всѣ съ такимъ жаромъ ждали... Я тогда въ Москвѣ неожиданно встрѣтилъ столько... Но, продолжай, мой милый: ты очень хорошо сдѣлалъ на этотъ разъ, что такъ подробно напомнилъ...

— Я стоялъ, смотрѣлъ на васъ и вдругъ прокричалъ: Ахъ, какъ хорошо, настоящій Чацкій!—Вы вдругъ обернулись ко мнѣ и спрашиваете: „Да развѣ ты уже знаешь Чацкаго?“—а сами сѣли на диванъ и принялись за кофей въ самомъ прелестномъ расположеніи духа,—такъ-бы васъ и расцаловалъ. Тутъ я вамъ сообщилъ, что у Андроникова всѣ очень много читаютъ, а барышни знаютъ много стиховъ наизусть, а изъ „Горе отъ ума“ такъ прожесть себя разыгрываютъ сцены, и что всю прошлую недѣлю всѣ читали по вечерамъ вмѣстѣ, вслухъ, „Записки Охотника“, а что я больше всего люблю басни Крылова и

наизусть знаю. Вы и велѣли мнѣ прочесть чтонибудь наизусть, а я вамъ прочелъ „Разборчивую Невѣсту“:

«Невѣста-дѣвушка смышляла жениха».

— Именно, именно, ну теперь я все припомнилъ, вскричалъ опять Версиловъ:—но, другъ мой, я и тебя припоминаю ясно: ты былъ тогда такой милый мальчикъ, ловкій даже мальчикъ, и клянусь тебѣ, ты тоже проигралъ въ эти девять лѣтъ.

Тутъ ужъ всѣ, и сама Татьяна Павловна разсмѣялись. Ясно, что Андрей Петровичъ изволилъ шутить и тою же монетою „отплатилъ“ мнѣ за колкое мое замѣчаніе о томъ, что онъ постарѣлъ. Всѣ развеселились; да и сказано было прекрасно.

— По мѣрѣ, какъ я читалъ, вы улыбались, но я и до половины не дошелъ, какъ вы остановили меня, позвонили и вошедшему слугѣ приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибѣжала съ такимъ веселымъ видомъ, что я, видя ее наканунѣ, почти теперь не узналъ. При Татьянѣ Павловнѣ я вновь началъ „Невѣсту-дѣвушку“ и кончилъ блистательно; даже Татьяна Павловна улыбулась, а вы, Андрей Петровичъ, вы крикнули даже браво! и замѣтили съ жаромъ, что прочти я „Стрекозу и Муравья“, такъ еще не удивительно, что толковый мальчикъ, въ мои лѣта, прочтетъ толково, но что эту басню:

Невѣста-дѣвушка смышляла жениха,
Тутъ нѣтъ еще грѣха.

Вы послушайте, какъ онъ выговариваетъ: „Тутъ нѣтъ еще грѣха!“ Однимъ словомъ, вы были въ восхищеніи. Тутъ вы вдругъ заговорили съ Татьяной Павловной по французски, и она мигомъ нахмурилась и стала вамъ возражать, даже очень горячилась; но такъ какъ невозможно же противорѣчить Андрею Петровичу, если онъ вдругъ чего захочетъ, то Татьяна Павловна и увела меня поспѣшно къ себѣ: тамъ вымыли мнѣ вновь лицо, руки, перемѣнили бѣлье, напмадили, даже завили мнѣ волосы. Потомъ къ вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, такъ даже, что я не ожидалъ, и повезла меня съ собой въ каретѣ. Я попалъ въ театръ въ первый разъ въ жизни, въ любительскій спектакль у Витовтовой; свѣчи, люстры, дамы, военные, генералы, дѣвицы, занавѣсъ, ряды стульевъ, — ничего подобнаго я до сихъ поръ не видывалъ. Татьяна Павловна заняла самое скромное мѣстечко въ одномъ изъ заднихъ рядовъ, и меня посадила подлѣ. Были, разумѣется, и дѣти, какъ я, но я уже ни на что не смотрѣлъ, а ждалъ съ замираніемъ сердца представленія. Когда вы вышли, Андрей Петровичъ, я былъ въ восторгѣ, въ восторгѣ до слезъ,—почему, изъ

за чего, самъ не понимаю. Слезн-то восторга зачѣмъ?—вотъ что мнѣ было дико во всѣ эти девять лѣтъ потомъ припомянуть! Я съ замѣрашею слѣдилъ за комедіей; въ ней я, конечно, понималъ только то, что она ему измѣнила, что надъ нимъ смѣются глупые и недостойные пальца на ногѣ его люди. Когда онъ декламировалъ на балѣ, я понималъ, что онъ униженъ и оскорбленъ, что онъ укоряетъ всѣхъ этихъ жалкихъ людей, но что онъ—великъ, великъ! Конечно и подготовка у Андроникова способствовала пониманію, но—и ваша игра, Андрей Петровичъ! Я въ первый разъ видѣлъ сцену! Въ развѣздѣ же, когда Чацкій крикнулъ: „Карету мнѣ, карету!“ (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вмѣстѣ со всей залой, разразившейся аплодисментомъ, захопалъ, и изо всей силы закричалъ браво! Живо помню, какъ въ этотъ самый мигъ точно булава вонзилась въ меня сзади, „пониже поясицы“, разъяренный щипокъ Татьяны Павловны, но я и вниманія не обратилъ! Разумѣется, тотчасъ послѣ „Горе отъ ума“ Татьяна Павловна увезла меня домой: „не танцовать же тебѣ оставаться, черезъ тебя только я сама не остаюсь?“ шипѣли вы мнѣ, Татьяна Павловна, всю дорогу въ каретѣ. Всю ночь я былъ въ бреду, а на другой день, въ десять часовъ, уже стоялъ у кабинета, но кабинетъ былъ притворенъ: у васъ сидѣли люди и вы съ нами занимались дѣлами; потомъ вдругъ уехали на весь день до глубокой ночи—такъ я васъ и не увидѣлъ! Что такое хотѣлось мнѣ тогда сказать вамъ—забылъ, конечно, и тогда не зналъ, но я пламенно желалъ васъ увидѣть какъ можно скорѣй. А на завтра поутру, еще съ восьми часовъ, вы изволили отправиться въ Серпуховъ: вы тогда только-что продали ваше Тульское имѣніе для расплаты съ кредиторами, но все таки у васъ оставался въ рукахъ аппетитный кушъ, вотъ почему вы и въ Москву тогда пожаловали, въ которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторовъ; и вотъ одинъ только этотъ Серпуховскій грубіанъ, одинъ изъ всѣхъ кредиторовъ не соглашался взять половину долга вмѣсто всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвѣчала: „Нечего тебѣ, а вотъ послѣ завтра отвезу тебя въ пансіонъ; приготовься, тетради свои возьми, книжки приведи въ порядокъ, да приучайся самъ въ сундучкѣ укладывать, не бѣлоручкой расти вамъ, сударь“, да то-то, да это-то, ужъ барабанили же вы мнѣ, Татьяна Павловна въ эти три дня! Тѣмъ и кончилось, что свезли меня въ пансіонъ къ Тушару, въ васъ влюбленнаго и невиннаго, Андрей Петровичъ; и пусть, кажется, глупѣйшій случай, то есть вся-то встрѣча наша, а вѣрите ли, я вѣдь къ вамъ потомъ, черезъ полгода, отъ Тушара бѣжать хотѣлъ!

— Ты прекрасно рассказал и все мнѣ такъ живо напомнилъ, огчеканилъ Версильовъ:—но главное поражаетъ меня въ рассказѣ твоёмъ богатство нѣкоторыхъ странныхъ подробностей о долгахъ моихъ, на примѣръ. Не говоря уже о нѣкоторой неприличности этихъ подробностей, не понимаю, какъ даже ты ихъ могъ достать?

— Подробности? Какъ досталъ? Да повторяю же, я только и дѣлалъ, что доставалъ о васъ подробности всѣ эти девять лѣтъ.

— Странное признаніе и странное препровожденіе времени!

Онъ повернулся, полулежа въ креслахъ, и даже слегка зѣвнулъ,— нарочно или нѣтъ, не знаю.

— Что же, продолжать о томъ, какъ я хотѣлъ бѣжать къ вамъ отъ Тушара?

— Запретите ему, Андрей Петровичъ, уймите его и выгоните вонъ, рванула Татьяна Павловна.

— Нельзя, Татьяна Павловна, внушительно отвѣтилъ ей Версильовъ:— Аркадій очевидно что-то замыслилъ и, стало быть, надо ему непремѣнно дать кончить. Ну, и пусть его! Расскажетъ и съ плечъ долой, а для него въ томъ и главное, чтобъ съ плечъ долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую исторію: то есть, я такъ только говорю, новую; не беспокойся, я знаю конецъ ея.

IV.

— Бѣжалъ я, т. е. хотѣлъ къ вамъ бѣжать, очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, какъ недѣли двѣ спустя послѣ моего водворенія, Тушаръ написалъ къ вамъ письмо, — нѣтъ? А мнѣ потомъ и письмо Марья Ивановна показывала, оно тоже въ бумагахъ покойнаго Андроникова очутилось. Тушаръ вдругъ спохватился, что мало взялъ денегъ и съ „достоинствомъ“ объявилъ вамъ въ письмѣ своемъ, что въ заведеніи его воспитываются князья и сенаторскія дѣти, и что онъ считаетъ ниже своего заведенія держать воспитанника съ такимъ происхожденіемъ, какъ я, если ему не дадутъ прибавки.

— Mon cher, ты бы могъ...

— О, ничего, ничего, перебилъ я, —я только немножко про Тушара. Вы ему отвѣтили уже изъ уѣзда, Татьяна Павловна, черезъ двѣ недѣли, и рѣзко отказали. Я припоминаю, какъ онъ, весь багровый, вошелъ тогда въ нашу классную. Это былъ очень маленькій и очень плотненькій французикъ, лѣтъ сорока пяти и дѣйствительно парижскаго происхожденія, разумѣется, изъ сапожниковъ, но уже съ незапа-

итныхъ времянь служившій въ Москвѣ на штатномъ мѣстѣ, преподавателемъ французскаго языка, имѣвшій даже чины, которыми чрезвычайно гордился,—человѣкъ глубоко необразованный. А насъ, воспитанниковъ, было у него всего человѣкъ шесть; изъ нихъ дѣйствительно какой-то племянникъ московскаго сенатора, и всѣ мы у него жили совершенно на семейномъ положеніи, болѣе подъ присмотромъ его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русскаго чиновника. Я въ эти двѣ недѣли ужасно важничалъ передъ товарищами, хвастался моимъ слитымъ спуткомъ и папенькой моимъ Андреемъ Петровичемъ, и вопросы ихъ: почему-же я Долгорукій, а не Версиловъ, совершенно не смущали меня именно потому, что я самъ не зналъ, почему.

— Андрей Петровичъ! крикнула Татьяна Павловна, почти угрожающимъ голосомъ. Напротивъ, матушка, не отрываясь, слѣдила за мною, и ей видимо хотѣлось, чтобы я продолжалъ.

— Се Тушаръ... дѣйствительно я припоминаю теперь, что онъ такой маленькій и вертлявый, процѣдилъ Версиловъ:—но мнѣ его рекомендовали тогда съ наилучшей стороны...

— Се Тушаръ вошелъ съ письмомъ въ рукѣ, подошелъ къ нашему большому дубовому столу, за которымъ мы всѣ шестеро что-то зубрили, крѣпко схватилъ меня за плечо, поднялъ со стула и велѣлъ захватить мои тетрадки.

— Твое мѣсто не здѣсь, а тамъ, указалъ онъ мнѣ крошечную комнатку налѣво изъ передней, гдѣ стоялъ простой столъ, плетеный стулъ и клеенчатый диванъ, — точь въ точь какъ теперь у меня наверху въ свѣтлѣхъ. Я перешелъ съ удивленіемъ и очень оробѣвъ: никогда еще со мной грубо не обходились. Черезъ полчаса, когда Тушаръ вышелъ изъ классной, я сталъ переглядываться съ товарищами и пересмѣиваться; конечно, они надо мною смѣялись, но я о томъ не догадывался и думалъ, что мы смѣемся отъ того, что намъ весело. Тутъ какъ разъ налетѣлъ Тушаръ, схватилъ меня за вихоръ и давай таскать.

— Ты не смѣешь сидѣть съ благородными дѣтьми, ты подлаго происхожденія и все равно, что лакей!

И онъ преболно ударилъ меня по моей пухлой румяной щекѣ. Ему это тотчасъ же понравилось и онъ ударилъ меня во второй и въ третій разъ. Я плакалъ навзрыдъ, я былъ страшно удивленъ. Цѣлый часъ я сидѣлъ закрывшись руками и плакалъ-плакалъ. Произошло что-то такое, чего я ни за что не понималъ. Не понимаю, какъ человѣкъ не злой, какъ Тушаръ, иностранецъ, и даже столь радовавшійся освобожденію русскихъ крестьянъ, могъ бить такого глупаго ребенка, какъ я.

Впрочемъ, я былъ только удивленъ, а не оскорбленъ; я еще не умѣлъ оскорбляться. Мнѣ казалось, что я что-то спалилъ, но когда я исправлюсь, то меня простятъ и мы опять станемъ вдругъ всѣ веселы, пойдемъ играть на дворѣ и заживемъ какъ нельзя лучше.

— Другъ мой, еслибъ я только зналъ... протянуль Версильовъ съ небрежной улыбкой нѣсколько утомленнаго человѣка: — каковъ однако негодяй этотъ Тушаръ! Впрочемъ, я все еще не теряю надежды, что ты какъ нибудь соберешься съ силами и все это намъ, наконецъ, простишь и мы опять заживемъ, какъ нельзя лучше.

Онъ рѣшительно зѣвнулъ.

— Да я и не обвиняю, совсѣмъ нѣтъ, и повѣрьте, не жалуясь на Тушара! прокричалъ я, нѣсколько сбитый съ толку: — да и билъ онъ меня какихъ нибудь мѣсяца два. Я помню, все хотѣлъ его чѣмъ-то обезоружить, бросался цаловать его руки и цаловалъ ихъ, и все плакаль-плавалъ. Товарищи смѣялись надо мною и презирали меня, потому что Тушаръ сталъ употреблять меня иногда какъ прислугу, приказывалъ подавать себѣ платье, когда одѣвался. Тутъ мое лакейство пригодилось мнѣ инстинктивно: я старался изо всѣхъ силъ угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего этого еще не понималъ, и удивляюсь даже до сей поры тому, что былъ такъ еще тогда глупъ, что не могъ понять, какъ я всѣмъ имъ неровня. Правда, товарищи много мнѣ и тогда уже объяснили, школа была хорошая. Тушаръ кончилъ тѣмъ, что полюбилъ болѣе пинать меня колѣньемъ сзади, чѣмъ бить по лицу, а черезъ полгода, такъ даже сталъ меня иногда ласкать; только нѣтъ-нѣтъ, а въ мѣсяцъ разъ навѣрно побьетъ, для напоминанія, чтобъ не забывался. Съ дѣтьми тоже скоро меня посадили вмѣстѣ и пускали играть, но ни разу, въ цѣлые два съ половиной года, Тушаръ не забылъ различія въ социальномъ положеніи нашемъ, и хоть не очень, а все же употреблялъ меня для услугъ постоянно, я именно думаю, чтобъ мнѣ напомнить.

Вѣжалъ же я, то есть хотѣлъ было бѣжать уже мѣсяцевъ пять спустя послѣ этихъ первыхъ двухъ мѣсяцевъ. И вообще я всю жизнь бывалъ тугъ на рѣшеніе. Когда я ложился въ постель и закрывался одѣяломъ, я тотчасъ начиналъ мечтать объ васъ, Андрей Петровичъ, только объ васъ одномъ; совершенно не знаю, почему это такъ дѣлалось. Вы мнѣ и во снѣ даже снились. Главное, я все страстно мечталь, что вы вдругъ войдете, я къ вамъ брошусь и вы меня выведете изъ этого мѣста и увезете къ себѣ, въ тотъ кабинетъ, и опять мы поѣдемъ въ театръ, ну и прочее. Главное, что мы не разстанемся —

вотъ въ чемъ было главное! Когда же утрожь приходилось просыпаться, то вдругъ начинались насмѣшки и презрѣнныя мальчишечь; одинъ изъ нихъ прямо началъ бить меня и заставлялъ подавать сапоги; онъ бранилъ меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мое происхождение, въ утѣхъ всѣхъ слушателей. Когда же являлся, наконецъ, самъ Тушаръ, въ душѣ моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовалъ, что мнѣ здѣсь никогда не простятъ,—о, я уже начиналъ по маленьку понимать, что именно не простятъ и чѣмъ именно я провинился! И вотъ я, наконецъ, положилъ бѣжать. Я мечталъ объ этомъ ужасно цѣлыхъ два мѣсяца, наконецъ, рѣшился; тогда былъ сентябрь. Я выждалъ, когда всѣ товарищи разъѣхались въ субботу на воскресенье, а, между тѣмъ, по тихоньку, тщательно связалъ себѣ узелокъ самыхъ необходимыхъ вещицъ; денегъ у меня было два рубля. Я хотѣлъ выждать, когда смеркнется: „тамъ спущусь по лѣстницѣ, думалъ я, и выйду, а потомъ и пойду“. Куда? Я зналъ, что Андрониковъ уже переведенъ въ Петербургъ и рѣшилъ, что я отыщу домъ Фанариотовой на Арбатѣ; „ночь гдѣ нибудь прохожу или просижу, а утрожь разспрошу кого нибудь на дворѣ дома: гдѣ теперь Андрей Петровичъ и если не въ Москвѣ, то въ какомъ городѣ или государствѣ? Навѣрно скажутъ. Я уйду, а потомъ въ другомъ мѣстѣ гдѣ нибудь и у кого нибудь спрошу: въ какую заставу идти, если въ такой-то городъ, ну и выйду и пойду, и пойду. Все буду идти; ночевать буду гдѣ нибудь подъ кустами, а ѣсть буду одинъ только хлѣбъ, а хлѣба на два рубля мнѣ очень на долго хватить“. Въ субботу, однако, никакъ не удалось бѣжать; пришлось ожидать до завтра, до воскресенья, и, какъ нарочно, Тушаръ съ женой куда-то въ воскресенье уѣхали; остались во всемъ домѣ только я да Агафья. Я ждалъ ночи съ страшной тоской, помню: сидѣлъ въ нашей залѣ у окна и смотрѣлъ на пыльную улицу съ деревянными домиками и на рѣдкихъ прохожихъ. Тушаръ жилъ въ захолустѣ и изъ оконъ видна была застава: ужъ не та-ли?—мерещилось мнѣ. Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное и острый вѣтеръ, точь въ точь какъ сегодня, подымалъ песокъ. Стемнѣло, наконецъ, совсѣмъ; я сталъ передъ образомъ и началъ молиться, только скоро-скоро, я торопился; захватилъ узелокъ и на ципочкахъ пошелъ съ скрипучей нашей лѣстницы, ужасно боясь, чтобы не услышала меня изъ кухни Агафья. Дверь была на ключѣ, я отворилъ и вдругъ—темная-темная ночь зачернѣла передо мной, какъ безконечная, опасная неизвѣстность, а вѣтеръ такъ и рванулъ съ меня фуражку. Я было вышелъ; на той сторонѣ тротуара раздался сильный, пьяный ревъ ругавшагося прохожаго;

я постоялъ, поглядѣлъ и тихо вернулся, тихо прошелъ наверхъ, тихо раздѣлся, сложилъ узелокъ и легъ ничкомъ, безъ слезъ и безъ мыслей, и вотъ съ этой-то самой минуты я и сталъ мыслить, Андрей Петровичъ! Вотъ съ самой этой минуты, когда я созналъ, что я, сверхъ того что лакей, вдобавокъ и трусъ, и началось настоящее, правильное мое развитіе!

— А вотъ съ этой-то самой минуты я тебя теперь на вѣкъ раскусилъ! вскочила вдругъ съ мѣста Татьяна Павловна, и такъ даже неожиданно, что я совсѣмъ и не приготовился;—да ты, мало того, что тогда былъ лакеемъ, ты и теперь лакей; лакейская душа у тебя! Да чего бы стоило Андрею Петровичу тебя въ сапожники отдать? Даже благодѣяніе бы тебѣ оказалъ, ремеслу бы обучилъ! Кто бы съ него больше для тебя спросилъ, аль потребовалъ? Отецъ твой, Макарь Ивановичъ, не то что просилъ, а почти требовалъ, чтобъ васъ, дѣтей его, изъ низшихъ сословіи не выводить. Нѣтъ, ты не цѣнишь, что онъ тебя до университета довелъ, и что чрезъ него ты правъ получилъ. Мальчишки, вишь, его дразнили, такъ онъ повлялся отмстить человѣчеству... Сволочь ты этакая!

Признаюсь, я былъ пораженъ этой выходкой. Я всталъ и нѣкоторое время смотрѣлъ, не зная, что сказать.

— А вѣдь дѣйствительно, Татьяна Павловна сказала мнѣ новое, твердо обернулся я, наконецъ, къ Версилову:—вѣдь дѣйствительно я настолько лакей, что никакъ не могу удовлетвориться только тѣмъ, что Версиловъ не отдалъ меня въ сапожники; даже „правдѣ“ не умили меня, а подавай, дескать, мнѣ всего Версилова, подавай мнѣ отца... вотъ чего потребовалъ—какъ же не лакей? Мама, у меня на совѣсти уже восемь лѣтъ, какъ вы приходили ко мнѣ одна къ Тушару посѣтить меня и какъ я васъ тогда принималъ, но теперь некогда объ этомъ, Татьяна Павловна не дастъ разсказать. До завтра, мама, можетъ съ вами-то еще увидимся. Татьяна Павловна! Ну, что если я, опять таки до такой степени лакей, что никакъ не могу даже того допустить, чтобъ отъ живой жены можно было жениться еще на женѣ? А вѣдь это чуть-чуть было не случилось въ Эмсѣ съ Андреемъ Петровичемъ! Мама, если не захотите оставаться съ мужемъ, который завтра женится на другой, то вспомните, что у васъ есть сынъ, который обѣщается быть на вѣки почтительнымъ сыномъ, вспомните и пойдемте, но только съ тѣмъ, что „или онъ, или я“, — хотите? Я не сейчасъ, вѣдь, отвѣта прошу: я знаю, что на такіе вопросы нельзя давать отвѣта тотчасъ же...

Но я не могъ докончить, во первыхъ потому, что разгорячился и

растерялся. Мать вся поблѣднѣла и какъ будто голосъ ея пресѣкъся: не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, такъ что я даже разобрать не могъ, и раза два пихнула меня въ плечо кулакомъ. Я только запомнилъ, что она прокричала, что мои слова „напускныя, въ мелкой душѣ взлелѣянныя, пальцемъ вывороченныя“. Версиковъ сидѣлъ неподвижно и очень серьезный, не улыбался. Я пошелъ къ себѣ наверхъ. Послѣдній взглядъ, проводившій меня изъ комнаты, былъ укорительный взглядъ сестры; она строго качала мнѣ вслѣдъ головой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Я описываю всѣ эти сцены, не щадя себя, чтобы все ясно припомнить и возстановить впечатлѣннѣе. Взойдя къ себѣ наверхъ, я совершенно не зналъ, надобно ли мнѣ стыдиться или торжествовать, какъ исполнившему съ долгу. Еслибъ я былъ капельку опытнѣе, я бы догадался, что малѣйшее сомнѣннѣе въ такомъ дѣлѣ надо толковать къ худшему. Но меня сбивало съ толку другое обстоятельство: не понимаю, чему я былъ радъ, но я былъ ужасно радъ, не смотря на то, что сомнѣвался и явно сознавалъ, что внизу срѣзался. Даже то, что Татьяна Павловна такъ злобно меня обругала — мнѣ было только смѣшно и забавно, а вовсе не злобило меня. Вѣроятно, все это потому, что я все таки порвалъ цѣпь и въ первый разъ чувствовалъ себя на свободѣ.

Я чувствовалъ тоже, что испортилъ свое положеннѣе: еще больше мраку оказывалось въ томъ, какъ мнѣ теперь поступить съ письмомъ о наслѣдствѣ. Теперь рѣшительно примутъ, что я хочу мстить Версикову. Но я еще внизу положилъ, во время всѣхъ этихъ дебатовъ, подвергнуть дѣло о письмѣ про наслѣдство рѣшеннѣю третейскому и обратиться, какъ къ судѣ, къ Васину, а если не удастся къ Васину, то еще къ одному лицу, я уже зналъ къ какому. Однажды, для этого только раза, схожу къ Васину, думалъ я про себя, а тамъ — тамъ исчезну для всѣхъ на долго, на нѣсколько мѣсяцевъ, а для Васина даже особенно исчезну: только съ матерью и сестрой, можетъ, буду видѣться изрѣдка. Все это было безпорядочно; я чувствовалъ, что что-то сдѣлалъ, да не такъ, и — и былъ доволенъ; повторяю, все таки, былъ чему-то радъ.

Лечь спать я положилъ было раньше, предвидя завтра большую

ходьбу. Кромѣ найма квартиры и переѣзда, я принялъ нѣкоторые рѣшенія, которыя, такъ или иначе, положилъ выполнить. Но вечеру не удалось кончиться безъ курьезовъ и Версиловъ сьумѣлъ-таки чрезвычайно удивить меня. Въ свѣтелку мою онъ рѣшительно никогда не заходилъ, и вдругъ, я еще часу не былъ у себя, какъ услышалъ его шаги на лѣсенкѣ: онъ звалъ меня, чтобъ я ему посвѣтилъ. Я вынесъ свѣчку и, протянувъ внизъ руку, которую онъ схватилъ, помогъ ему дотащиться наверхъ.

— Мегсі, другъ, я сюда еще ни разу не вползалъ, даже когда нанималъ квартиру. Я предчувствовалъ, что это такое, но все таки не предполагалъ такой конуры. Сталъ онъ посрединѣ моей свѣтелки, съ любопытствомъ озираясь кругомъ. Но это гробъ, совершенный гробъ!

Дѣйствительно было нѣкоторое сходство съ внутренностью гроба, и я даже подивился, какъ онъ вѣрно съ одного слова опредѣлилъ. Камерка была узкая и длинная; съ высоты плеча моего не болѣе, начинался уголь стѣны и крыши, конецъ которой я могъ достать ладонью. Версиловъ, въ первую минуту, бессознательно держалъ себя сторбившись, боясь задѣть головой о потолокъ, однако не задѣлъ и кончилъ тѣмъ, что довольно спокойно усѣлся на моемъ диванѣ, на которомъ была уже постлана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрѣлъ на него въ глубочайшемъ удивленіи.

— Мать рассказываетъ, что не знала, брать ли съ тебя деньги, которыя ты давеча ей предложилъ за мѣсячное твое содержаніе. Въ виду такого гроба не только не брать, а напротивъ вычетъ съ насъ въ твою пользу слѣдуетъ сдѣлать! Я здѣсь никогда не былъ и... вообразить не могу, что здѣсь можно жить.

— Я привыкъ. А вотъ, что вижу васъ у себя, то никакъ не могу къ тому привыкнуть послѣ всего, что вышло внизу.

— О да, ты былъ значительно грубъ внизу, но... я тоже имѣю свои особыя цѣли, которыя и объясню тебѣ, хотя, впрочемъ, въ приходѣ моемъ нѣтъ ничего необыкновеннаго; даже то, что внизу произошло—тоже все въ совершенномъ порядкѣ вещей; но разъясни мнѣ вотъ что, ради Христа: тамъ внизу, то, что ты рассказывалъ и къ чему такъ торжественно насъ готовилъ и приступалъ, неужто это все, что ты намѣренъ былъ открыть или сообщить, и ничего больше у тебя не было?

— Все. То есть положить, что все.

— Маловато, другъ мой; признаться, я, судя по твоему приступу, и какъ ты насъ звалъ смѣяться, однимъ словомъ, видя, какъ тебѣ хотѣлось рассказывать,—я ждалъ большаго.

— Да вамъ-то не все ли равно?

— Да я, собственно, изъ чувства мѣры: не стоило такого греску и нарушена была мѣра. Цѣлый мѣсяцъ молчалъ, собирался, и вдругъ — ничего.

— Я хотѣлъ долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказаль. Не все можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вотъ довольно сказалъ, да вѣдь вы же не поняли.

— А, и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла въ слова! Это благородное страданіе, мой другъ, и дается лишь избраннымъ: дуракъ всегда доволенъ тѣмъ, что сказалъ, и къ тому же всегда выскажетъ больше, чѣмъ нужно; про запасъ они любятъ.

— Какъ я внизу, наприжрь; я тоже высказаль больше, чѣмъ нужно: я потребоваль „всего Версилова“, это гораздо больше, чѣмъ нужно; мнѣ Версилова воісе не нужно.

— Другъ мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, такъ какъ раскаяться значить у насъ немедленно на кого нибудь опять накинуться, то вотъ ты и не хочешь въ другой разъ на мнѣ промахнуться. Я рано пришелъ, а ты еще не остылъ и къ тому же туго выносишь критику. Но садись, ради Бога, я тебѣ кое-что пришелъ сообщить; благодарю, вотъ такъ. Изъ того, что ты сказалъ матери внизу, уходя, слишкомъ ясно, что намъ, во всякомъ даже случаѣ, лучше развѣхаться. Я пришелъ съ тѣмъ, чтобъ уговорить тебя сдѣлать это, по возможности, мягче и безъ скандала, чтобъ не огорчить и не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошелъ сюда самъ, уже ее ободрило: она какъ-то вѣруеть, что мы еще успѣемъ примириться, ну, и что все пойдетъ по прежнему. Я думаю, еслибъ мы съ тобой, здѣсь теперь, разъ или два по громче разсмѣялись, то поселили бы восторгъ въ ихъ робкихъ сердцахъ. Пусть это и простня сердца, но они любящія, искренно и простодушно, почему же не поделѣять ихъ при случаѣ? Ну, вотъ это разъ. Второе: почему бы намъ непремѣнно разставаться съ жаждой мести, съ скрежетомъ зубовъ, съ клятвами и такъ далѣе? Безо всякаго сомнѣнія, намъ вѣшаться другъ другу на шею совѣмъ не къ чему, но можно разстаться, такъ сказать, взаимно уважая другъ друга, не правда ли, а?

— Все это—вздоръ! Обѣщаю, что съѣду безъ скандалу — и довольно. Это вы для матери хлопочете? А мнѣ такъ кажется, что спокойствіе матери тутъ рѣшительно все равно, и вы только такъ говорите.

— Ты не вѣришь?

— Вы говорите со мной рѣшительно какъ съ ребенкомъ!

— Другъ мой, я готовъ за это тысячу разъ просить у тебя прощенья, ну тамъ за все, что ты на мнѣ насчитываешь, за всѣ эти годы твоего дѣтства и такъ далѣе, но, *cher enfant*, что же изъ этого выйдетъ? Ты такъ уменъ, что не захочешь самъ очутиться въ такомъ глупомъ положеніи. Я уже и не говорю о томъ, что даже до сей поры не совсѣмъ понимаю характеръ твоихъ упрековъ: въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ ты собственно меня обвиняешь? Въ томъ, что родился не Версиловымъ? Или нѣтъ? Ба! Ты смѣешься презрительно и махаешь руками, стало быть нѣтъ!

— Повѣрьте, нѣтъ. Повѣрьте, не нахожу никакой чести называться Версиловымъ.

— О чести оставимъ; въ тому же твой отвѣтъ непремѣнно долженъ быть демократиченъ; но если такъ, то за что же ты обвиняешь меня?

— Татьяна Павловна сказала сейчасъ все, что мнѣ надо было узнать, и чего я никакъ не могъ понять до нея: это то, что не отдали же вы меня въ сапожники, слѣдственно я еще долженъ быть благодаренъ.. Понять не могу, отчего я неблагодаренъ, даже и теперь, даже когда меня вразумили. Ужь не ваша ли кровь гордая говорить, Андрей Петровичъ?

— Вѣроятно, нѣтъ. И, кромѣ того, согласись, что всѣ твои выходы внизу, вмѣсто того, чтобъ падать на меня, какъ и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее. Между тѣмъ, кажется, не тебѣ бы ее судить. Да и чѣмъ она передъ тобой виновата? Разъясни мнѣ тоже, встаетъ, другъ мой: ты для чего это и съ какою бы цѣлью, распространялъ и въ школѣ, и въ гимназіи, и во всю жизнь свою, и даже первому встрѣчному, какъ я слышалъ, о своей незаконнорожденности? Я слышалъ, что ты дѣлалъ это съ какою-то особенною охотою. А, между тѣмъ, все это вздоръ и гнусная клевета: ты законнорожденный, Долгорукій, сынъ Макара Ивановича Долгорукаго, человѣка почтеннаго и замѣчательнаго умомъ и характеромъ. Если же ты получилъ высшее образованіе, то дѣйствительно благодаря бывшему помѣщику твоему, Версилу, но что же изъ этого выходитъ? Главное, провозглашая о своей незаконнорожденности, что, само собою, уже клевета, ты тѣмъ самымъ разоблачалъ тайну твоей матери и, изъ какой-то ложной гордости, тащилъ свою мать на судъ передъ первымъ встрѣчнымъ грязью. Другъ мой, это очень неблагородно, тѣмъ болѣе, что твоя мать ни въ чемъ не виновна лично: это характеръ чистѣйшій, а если она не Версилова, то единственно потому, что до сихъ поръ замужемъ.

— Довольно, я съ вами совершенно согласенъ, и на столько вѣрю въ вашу умъ, что вполне надѣюсь, вы перестанете слишкомъ ужь долго распекать меня. Вы такъ любите мѣру; а, между тѣмъ, есть мѣра всему, даже и внезапной любви вашей къ моей матери. Лучше вотъ что: если вы рѣшились ко мнѣ зайти и у меня просидѣть четверть часа или полчаса (я все еще не знаю для чего, ну, положимъ, для спокойствія матери)—и, сверхъ того, съ такой охотой со мной говорите, не смотря на то, что произошло внизу, то расскажите ужь мнѣ лучше про моего отца—вотъ про этого Макара Иванова, странника. Я именно отъ васъ бы хотѣлъ услыхать о немъ; я спросить васъ давно намѣревался. Разставаясь и, можетъ быть, на долго, я бы очень хотѣлъ отъ васъ же получить отвѣтъ и еще на вопросъ: неужели въ цѣлыя эти двадцать лѣтъ вы не могли подѣйствовать на предразсудки моей матери, а теперь такъ даже и сестры, на столько, чтобъ разсѣять своимъ цивилизующимъ влiянiемъ первоначальный мракъ окружавшей ея среды? О, я не про чистоту ея говорю! Она и безъ того всегда была безконечно выше васъ нравственно, извините, но... это лишь безконечно высшiй мертвецъ. Живеть лишь одинъ Версиловъ, а все остальное кругомъ него и все съ нимъ связанное прозябаетъ подъ тѣмъ непрѣмннмъ условiемъ, чтобъ имѣть честь питать его своими силами, своими живыми соками. Но вѣдь была же и она когда-то живая? Вѣдь вы что нибудь полюбили же въ ней? Вѣдь была же и она когда-то женщиной?

— Другъ мой, если хочешь, никогда не была, отвѣтилъ онъ мнѣ, тотчасъ же скривившись въ ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, столь мнѣ памятную и которая такъ бѣсила меня; то есть, по видимому, онъ само искреннее простодушiе, а смотришь — все въ немъ одна лишь глубочайшая насмѣшка, такъ что я иной разъ никакъ не могъ разобрать его лица:—никогда не была! Русская женщина—женщиной никогда не бываетъ.

— Полька, Француженка бываетъ? Или Итальянка, страстная Итальянка, вотъ что способно плѣнить цивилизованнаго русскаго высшей среды, въ родѣ Версилова?

— Ну, могъ ли я ожидать, что встрѣчу славянофила? разсмѣялся Версиловъ.

Я припоминаю слово въ слово рассказъ его; онъ сталъ говорить съ большой даже охотой и съ видимымъ удовольствiемъ. Мнѣ слишкомъ ясно было, что онъ пришелъ ко мнѣ вовсе не для болтовни и совсѣмъ не для того, чтобъ успокоить мать, а навѣрно имѣя другiя цѣли.

II.

— Мы всё наши двадцать лѣтъ, съ твоею матерью, совершенно прожили молча, началъ онъ свою болтовню (въ высшей степени выдѣлано и ненатурально):—и все, что было у насъ, такъ и произошло молча. Главнымъ характеромъ всего двадцатилѣтія связи нашей было—безмолвіе. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились. Правда, я часто отлучался и оставлялъ ее одну, но кончалось тѣмъ, что всегда пріѣзжалъ обратно. *Nous revenons toujours*, и это ужъ такое основное свойство мужчинъ; у нихъ это отъ великодушія. Если бы дѣло брака зависѣло отъ однѣхъ женщинъ—ни одного бы брака не уцѣлѣло. Смирненіе, безотвѣтность, приниженность и въ тоже время твердость, сила, настоящая сила, вотъ характеръ твоей матери. Замѣтьте, что это лучшая изъ всѣхъ женщинъ, какихъ я встрѣчалъ на свѣтѣ. А что въ ней сила есть—это я засвидѣтельствую: видалъ же я, какъ эта сила ее питала. Тамъ, гдѣ касается, я не скажу убѣжденій—правильныхъ убѣжденій тутъ быть не можетъ—но того, что считается у нихъ убѣжденіемъ, а стало быть, по ихнему и святымъ, тамъ просто хоть на муки. Ну, а самъ можешь заключить: похожъ ли я на мучителя? Вотъ почему я и предпочелъ почти во всемъ замолчать, а не потому только, что это легче, и, признаюсь, не раскаиваюсь. Такимъ образомъ, все обошлось само собою широко и гуманно, такъ что я себѣ даже никакой хвалы не приписываю. Скажу естати, въ скобкахъ, что почему-то подозреваю, что она никогда не вѣрила въ мою гуманность, а потому всегда трепетала; но трепеща, въ то же время не поддавалась ни на какую культуру. Они какъ-то это умѣютъ, а мы тутъ чего-то не понимаемъ, и вообще они умѣютъ лучше нашего обдѣлывать свои дѣла. Онѣ могутъ продолжать жить по своему въ самыхъ ненатуральныхъ для нихъ положеніяхъ и въ самыхъ не ихнихъ положеніяхъ оставаться совершенно самими собою. Мы такъ не умѣемъ.

— Кто они? Я васъ немного не понимаю.

— Народъ, другъ мой, я говорю про народъ. Онъ доказалъ эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически. Но, чтобы обратиться къ нашему, то замѣчу про мать твою, что она вѣдь не все молчитъ; твоя мать иногда и скажетъ, но скажетъ такъ, что ты прямо увидишь, что только время потерялъ говоривши, хотя бы даже пять лѣтъ передъ тѣмъ постепенно ее приготавливалъ. Къ тому же, возраженія самыя неожиданныя. Опять таки замѣтьте, что я совсѣмъ не называю ее душой; напротивъ, тутъ своего

рода умъ, и даже презабѣчательный умъ; впрочемъ, ты уму-то можешь быть не повѣришь...

— Почему нѣтъ? Я вотъ только не вѣрю тому, что вы сами-то въ ея умъ вѣрите въ самое дѣлѣ и не притворяясь.

— Да? Ты меня считаешь такимъ хамелеономъ? Другъ мой, я тебѣ немного слишкомъ позволяю... какъ балованному сыну... но пусть уже на этотъ разъ такъ и останется.

— Расскажите мнѣ про моего отца, если можете, правду.

— На счетъ Макара Ивановича? Макарь Ивановичъ — это, какъ ты уже знаешь, дворовый человѣкъ, такъ сказать, пожалавшій нѣкоторой славн...

— Объ закладѣ побьюсь, что вы ему въ эту минуту въ чемъ нибудь завидуете!

— Напротивъ, мой другъ, напротивъ, и если хочешь, то очень радъ, что вижу тебя въ такомъ замисловатомъ расположеніи духа; влянусь, что я именно теперь въ настроеніи въ высшей степени покаянномъ, и именно теперь, въ эту минуту, въ тысячный разъ, можетъ быть, безсильно жалѣю о всемъ, двадцать лѣтъ тому назадъ происшедшемъ. Къ тому же, видитъ Богъ, что все это произошло въ высшей степени нечаянно... ну, а потомъ, сколько было въ силахъ моихъ, и гуманно; по крайней мѣрѣ, сколько я тогда представлялъ себѣ подвиговъ гуманности. О, мы тогда всё кипѣли ревностью дѣлать добро, служить гражданскимъ дѣламъ, высшей идеѣ; осуждали чины, родовыя права наши, деревни и даже ломбардъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ насъ... Клянусь тебѣ. Насъ было немного, но мы говорили хорошо и, увѣряю тебя, даже поступали иногда хорошо.

— Это когда вы на плечѣ-то рыдали?

— Другъ мой, я съ тобой согласенъ во всемъ впередъ; кстати, ты о плечѣ слышалъ отъ меня же, а стало быть, въ сію минуту употребляешь во зло же мое простодушіе и мою же довѣрчивость; но согласишься, что это плечо, право, было не такъ дурно, какъ оно кажется съ перваго взгляда, особенно для того времени; мы вѣдь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я вѣдь тогда еще не зналъ, что ломаюсь. Развѣ ты, напримѣръ, никогда не ломаешься въ практическихъ случаяхъ?

— Я сейчасъ внизу немного расчувствовался, и мнѣ очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что въ иныхъ случаяхъ, хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься; внизу же, теперь, клянусь, все было натурально.

— Именно это и есть; ты преудачно опредѣлялъ въ одномъ словѣ: „хоть и искренно чувствуешь, но все таки представляешься;“ ну, вотъ такъ точно и было со мной: я хоть и представлялся, но рыдалъ совершенно искренно. Не спорю, что Макаръ Ивановичъ могъ бы принять это плечо за усиленіе насмѣшки, если бы былъ остроумнѣе, но его честность помѣшала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалѣлъ онъ меня тогда или нѣтъ; помнится, мнѣ того тогда очень хотѣлось.

— Знаете, прервалъ я его: — вы вотъ и теперь, говоря это, насмѣхаетесь. И вообще, все время, пока вы говорили со мной, весь этотъ мѣсяцъ, вы насмѣхались. Зачѣмъ вы всегда это дѣлали, когда говорили со мной?

— Ты думаешь? отвѣтилъ онъ крѣтко: — ты очень мнителенъ; впрочемъ, если я и засмѣюсь, то не надъ тобой, или, по крайней мѣрѣ, не надъ тобой однимъ, будь покоенъ. Но я теперь не смѣюсь, а тогда — однимъ словомъ, я сдѣлалъ тогда все, что могъ, и повѣрь не въ свою пользу. Мы т. е. прекрасные люди, въ противоположность народу, совсѣмъ не умѣли тогда дѣйствовать въ свою пользу: напротивъ, всегда себѣ навостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у насъ тогда какою-то „высшей и нашей же пользой,“ разумѣется, въ высшемъ смыслѣ. Теперешнее поволѣніе людей передовыхъ несравненно насъ загребистѣе. Я тогда, еще до грѣха, объяснилъ Макару Ивановичу все съ необыкновенною прямою. Я теперь согласенъ, что многое изъ того не надо было объяснять вовсе, тѣмъ болѣе съ такой прямою: не говоря уже о гуманности, было бы даже вѣжливей; но поди, удержи себя, когда, расстанцовавшись, захочется сдѣлать хорошенькое па? А, можетъ быть, таковы требованія прекраснаго и высокаго въ самомъ дѣлѣ, я этого во всю жизнь не могъ разрѣшить. Впрочемъ, это слишкомъ глубокая тема для поверхностнаго разговора нашего, но клянусь тебѣ, что я теперь иногда умираю отъ стыда, вспоминая. Я тогда предложилъ ему три тысячи рублей и, помню, онъ все молчалъ, а только я говорилъ. Представь себѣ, мнѣ вообразилось, что онъ меня боится, то есть моего крѣпостнаго права, и, помню, я всѣми силами старался его ободрить; я его уговаривалъ, ничего не опасаясь, высказать всѣ его желанія, и даже со всевозможною критикой. Въ видѣ гарантіи, я давалъ ему слово, что если онъ не захочетъ моихъ условій, то есть трехъ тысячъ, вольной (ему и женѣ, разумѣется) — и вояжа на всѣ четыре стороны (безъ жены, разумѣется) — то пусть скажетъ прямо, и я тотчасъ же дамъ ему вольную, отпущу ему жену, награжу ихъ обоихъ, кажется, тѣми же тремя тысячами, и ужъ не они отъ меня уйдутъ на

всѣ четыре стороны, а я самъ отъ нихъ уѣду на три года въ Италію, одинъ-одинехонекъ. Mon ami, я бы не взялъ съ собой въ Италію m-me Сапожкову, будь увѣренъ: я былъ чрезвычайно чистъ въ тѣ минуты. И что же? Этотъ Макарь отлично хорошо понималъ, что я такъ и сдѣлаю, какъ говорю; но онъ продолжалъ молчать, и только когда я хотѣлъ было уже въ третій разъ припасть, отстранился, махнулъ рукой и вышелъ даже съ нѣкоторою безцеремонностью, увѣряю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мелькомъ увидалъ себя въ зеркалѣ и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорятъ—всего хуже, а это былъ мрачный характеръ и, признаюсь, я не только не довѣрялъ ему, призывая въ кабинетъ, но ужасно даже боялся: въ этой средѣ есть характеры и ужасно много, которые заключаютъ въ себѣ, такъ сказать, олицетвореніе непорядочности, а этого боишься пуще побоевъ. Sic. И какъ я рисковалъ, какъ рисковалъ! Ну что, еслибъ онъ закричалъ на весь дворъ, завылъ, сей увѣданный Урія—ну, чтобъ тогда было со мной, съ такимъ малорослымъ Давидомъ, и что бы я сумѣлъ тогда сдѣлать? Вотъ потому-то я и пустилъ прежде всего три тысячи, это было инстинктивно, но я, къ счастью, ошибся: этотъ Макарь Ивановичъ былъ нѣчто совсѣмъ другое...

— Скажите, грѣхъ былъ? Вы сказали сейчасъ, что позвали мужа еще до грѣха?

— То есть, видишь-ли это какъ разумѣть...

— Значить былъ. Вы сказали сейчасъ, что вы въ немъ ошиблись, что это было нѣчто другое; что же другое?

— А что именно, я и до сихъ поръ не знаю. Но что-то другое, и знаешь, даже весьма порядочное; заключаю потому, что мнѣ подъ конецъ стало втрое при немъ совѣстиѣе. Онъ на другой же день согласился на вояжъ, безъ всякихъ словъ, разумѣется, не забывъ ни одной изъ предложенныхъ мною наградъ.

— Деньги взялъ?

— Еще какъ! И знаешь, мой другъ, въ этомъ пунктѣ даже совсѣмъ удивилъ меня. Трехъ тысячъ у меня тогда въ карманѣ, разумѣется, не случилось, но я досталъ семьсотъ рублей и вручилъ ему ихъ на первый случай; и что же? Онъ двѣ тысячи триста остальныхъ требовалъ же съ меня, въ видѣ заемнаго письма, для вѣрности, на имя одного купца. Потомъ, черезъ два года, онъ по этому письму требовалъ съ меня уже деньги судомъ, и съ процентами, такъ что меня опять удивилъ, тѣмъ болѣе, что буквально пошелъ собирать на построеніе Божьяго храма, и съ тѣхъ поръ вотъ уже двадцать лѣтъ ски-

тается. Не понимаю, зачѣмъ страннику столько собственныхъ денегъ... Деньги такая свѣтская вещь... Я, конечно, предлагалъ ихъ въ ту минуту искренно и, такъ сказать, съ первымъ пыломъ, но потомъ, по прошествіи столь многихъ минутъ, я естественно могъ одуматься... и разсчитывалъ, что онъ, по крайней мѣрѣ, меня пощадитъ... или, такъ сказать, насъ пощадитъ, насъ съ нею, подождетъ хоть по крайней мѣрѣ. Однако даже не подождаль...

(Сдѣлаю здѣсь необходимое нотабене: еслибы случилось, что мать пережила г. Верилова, то осталась-бы буквально безъ гроша на старости лѣтъ, когда-бъ не эти три тысячи Макара Ивановича, давно удвоенныя процентами, и которыя онъ оставилъ ей всѣ цѣликомъ, до послѣдняго рубля, въ прошломъ году, по духовному завѣщанію. Онъ предугадалъ Верилова даже въ то еще время).

— Вы разъ говорили, что Макаръ Ивановичъ приходилъ къ вамъ нѣсколько разъ на побывку и всегда останавливался на квартирѣ у матушки?

— Да, мой другъ, и я признаюсь, сперва ужасно боялся этихъ посѣщеній. Во весь этотъ срокъ, въ двадцать лѣтъ, онъ приходилъ всего разъ шесть или семь, и въ первые разы я, если бывалъ дома, прятался. Даже не понималъ сначала, что это значитъ и зачѣмъ онъ является? Но потомъ, по нѣкоторымъ соображеніямъ, мнѣ показалось, что это было вовсе не такъ глупо съ его стороны. Потомъ, случайно, я какъ-то вздумалъ полюбопытствовать и вышелъ поглядѣть на него и, увѣряю тебя, вынесъ преоригинальное впечатлѣніе. Это уже въ третье или четвертое его посѣщеніе, именно въ ту эпоху, когда я поступалъ въ мировые посредники и когда, разумѣется, изъ всѣхъ силъ принялся изучать Россію. Я отъ него услышалъ даже чрезвычайно много новаго. Кроме того, встрѣтилъ въ немъ именно то, чего никакъ не ожидалъ встрѣтить: какое-то благодушіе, ровность характера и, что всего удивительнѣе, чуть не веселость. Ни малѣйшаго намека на *то* (tu comprends?) и въ высшей степени умѣнье говорить дѣло и говорить превосходно, то есть безъ глупаго ихняго двороваго глубокомыслія, котораго я, признаюсь тебѣ, не смотря на весь мой демократизмъ, терпѣть не могу, и безъ всѣхъ этихъ напряженныхъ руссизмовъ, которыми говорятъ у насъ въ романахъ и на сценѣ „настоящіе русскіе люди“. При этомъ, чрезвычайно мало о религіи, если только не заговоришь самъ, и премилые даже рассказы въ своемъ родѣ о монастыряхъ и монастырской жизни, если самъ любопытствуешь. А главное—почтительность, эта скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для выс-

шаго равенства, мало того, безъ которой, по моему, не достигнешь и первенства. Тутъ именно, черезъ отсутствіе малѣйшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человекъ, уважающій себя несомнѣнно и именно въ своемъ положеніи, каково бы тамъ ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно въ своемъ положеніи — чрезвычайно рѣдка на свѣтѣ, по крайней мѣрѣ столь же рѣдка, какъ и истинное собственное достоинство... Ты самъ увидишь, коль проживешь. Но всего болѣе поразило меня и именно впоследствии, а не въ началѣ (прибавилъ Версильовъ), — то, что этотъ Макарь чрезвычайно осанистъ собою, и, увѣряю тебя, чрезвычайно красивъ. Правда старъ, но „Смутлолицъ, высокъ и прямъ“,

простъ и важенъ; я даже подивился моею бѣдной Софьѣ, какъ это она когда *тогда* предпочла меня; тогда ему было пятьдесятъ, но все же онъ былъ такой молодецъ, а я передъ нимъ такой вертунъ. Впрочемъ, помню, онъ уже и тогда былъ непозволительно сѣдъ, стало быть, такъ же сѣдымъ на ней и женился... Вотъ развѣ это повліяло.

У этого Версильова была подлѣйшая заманка изъ высшаго тона: свазавъ (когда нельзя было иначе) нѣсколько преумныхъ и прекрасныхъ вещей, вдругъ кончить нарочно какою нибудь глупостью, въ родѣ этой догадки про сѣдину Макара Ивановича и про вліяніе ея на мать. Это онъ дѣлалъ нарочно, и, вѣроятно, самъ не зная зачѣмъ, по глупѣйшей свѣтской привычкѣ. Слышать его — кажется, говорить очень серьезно, а между тѣмъ про себя кривляется или смѣется.

III.

Не понимаю, почему вдругъ тогда на меня нашло страшное озлобленіе. Вообще, я съ большимъ неудовольствіемъ вспоминаю о нѣкоторыхъ моихъ выходахъ въ тѣ минуты; я вдругъ всталъ со стула:

— Знаете чтѣ, сказала я: — вы говорите, что пришли, главное, съ тѣмъ, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтобы ей подумать; не угодно ли вамъ оставить меня одного.

Онъ слегка покраснѣлъ и всталъ съ мѣста:

— Милый мой, ты чрезвычайно со мной безцеремоненъ. Впрочемъ, до свиданья; насильно милъ не будешь. Я позволю себѣ только одинъ вопросъ: ты, дѣйствительно, хочешь оставить князя?

— Ага! Я такъ и зналъ, что у васъ особая цѣли...

— То есть ты подозрѣваешь, что я пришелъ склонять тебя остаться у князя, имѣя въ томъ свои выгоды. Но, другъ мой, ужъ не ду-

маешь ли ты, что я и изъ Москвы тебя выписать, имѣя въ виду какуюнибудь свою выгоду? О, какъ ты мнителенъ! Я, напротивъ, желая тебѣ же во всемъ добра. И даже вотъ теперь, когда такъ поправились и мои средства, я бы желалъ, чтобы ты, хоть иногда, позволялъ мнѣ съ матерью помогать тебѣ.

— Я васъ не люблю, Версиловъ.

— И даже „Версиловъ“. Кстати, я очень сожалѣю, что не могъ передать тебѣ этого имени, ибо въ сущности только въ этомъ и состоитъ вся вина моя, если ужъ есть вина, не правда ли? Но, опять таки, не могъ же я жениться на замужней, самъ разсуди.

— Вотъ почему, вѣроятно, и хотѣли жениться на незамужней?

Легкая судорога прошла по лицу его.

— Это ты про Эмсъ. Слушай, Аркадій, ты внизу позволилъ себѣ эту же выходку, указывая на меня пальцемъ, при матери. Знай же, что именно тутъ ты наиболѣе промахнулся. Изъ исторіи съ покойной Лидіей Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько въ этой исторіи сама твоя мать участвовала, да, не смотря на то, что ее тамъ со мною не было; и если я когда видѣлъ добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою. Но довольно; это все пока еще тайна, а ты—ты говоришь неизвѣстно что и съ чужаго голоса.

— Князь именно сегодня говорилъ, что вы любитель неоперившихся дѣвочекъ.

— Это князь говорилъ?

— Да, слушайте: хотите я вамъ скажу въ точности, для чего вы теперь ко мнѣ приходили? Я все это время сидѣлъ и спрашивалъ себя: въ чемъ тайна этого визита, и наконецъ, кажется, теперь догадался.

Онъ было уже выходилъ, но остановился и повернулъ ко мнѣ голову въ ожиданіи.

— Давеча я проговорился мелькомъ, что письмо Тушара къ Татьянѣ Павловнѣ, попавшее въ бумаги Андроникова, очутилось, по смерти его, въ Москвѣ у Марьи Ивановны. Я видѣлъ, какъ у васъ что-то вдругъ дернулось въ лицѣ и только теперь догадался, когда у васъ еще разъ, сейчасъ, что-то опять дернулось точно также въ лицѣ: вамъ пришло тогда, внизу, на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А послѣ Андроникова могли остаться преважныя письма, а? Не правда ли?

— И я, придя къ тебѣ, хотѣлъ заставить тебя о чемънибудь проболтать?

— Сами знаете.

Онъ очень поблѣднѣлъ.

— Это ты не самъ собою догадался; тутъ вліяніе женщины; и сколько уже ненависти въ словахъ твоихъ—въ грубой догадкѣ твоей!

— Женщины? А я эту женщину какъ разъ видѣлъ сегодня! Вы, можетъ быть, именно, чтобъ шпионить за ней и хотите меня оставить у князя?

— Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дорогѣ. Ужъ не это ли „твоя идея?“ Продолжай, мой другъ, ты имѣешь несомнѣнныя способности по сыскной части. Данъ талантъ, такъ надо усовершенствовать.

Онъ пріостановился перевести дыханіе.

— Берегитесь, Версиловъ, не дѣлайте меня врагомъ вашимъ!

— Другъ мой, послѣднія свои мысли въ такихъ случаяхъ никто не высказываетъ, а бережетъ про себя. А затѣмъ, посвѣти мнѣ, прошу тебя. Ты хоть мнѣ и врагъ, но не до такой же, вѣроятно, степени, чтобъ пожелать мнѣ сломать себѣ шею. Tiens, mon ami, вообрази, продолжалъ онъ спускаясь:—а вѣдь я весь этотъ мѣсяцъ принималъ тебя за добряка. Ты такъ хочешь жить и такъ жаждешь жить, что дай, кажется, тебѣ три жизни, тебѣ и тѣхъ будетъ мало: это у тебя на лицѣ написано; ну, а такіе большею частью добряки. И вотъ какъ же я ошибся!

IV.

Не могу выразить, какъ сжалось у меня сердце, когда я остался одинъ: точно я отрѣзалъ живьемъ собственный кусокъ мяса! Для чего я такъ вдругъ разозлился и для чего такъ обидѣлъ его—такъ усиленно и нарочно—я бы не могъ теперь рассказать, конечно, и тогда тоже. И какъ онъ поблѣднѣлъ! И чтѣ же: эта блѣдность, можетъ быть, была выраженіемъ самаго искренняго и чистаго чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мнѣ всегда казалось, что бывали минуты, когда онъ очень любилъ меня. Почему, почему не вѣрить мнѣ теперь этому, тѣмъ болѣе, что уже такъ многое совершенно объяснено теперь?

А разозлился я вдругъ и выгналъ его дѣйствительно, можетъ быть, и отъ внезапной догадки, что онъ пришелъ ко мнѣ, надѣясь узнать: не осталось ли у Марьи Ивановны еще писемъ Андроникова? Что онъ долженъ былъ искать этихъ писемъ и ищетъ ихъ—это я зналъ. Но

кто знаетъ, можетъ быть, тогда, именно въ ту минуту, я ужасно ошибся! И кто знаетъ, можетъ быть, я же, этою же самой ошибкой, и навелъ его впоследствии на мысль о Марьѣ Ивановнѣ и о возможности у ней писемъ?

И, наконецъ, опять странность: опять онъ повторилъ слово въ слово мою мысль (о трехъ жизняхъ), которую я высказалъ давеча Крафту, главное, моими же словами. Совпаденіе словъ опять таки случай, но все таки какъ же знаетъ онъ сущность моей природы: какой взглядъ, какая угадка! Но, если такъ понимаетъ одно, зачѣмъ же совсѣмъ не понимаетъ другого? И неужели онъ не ломался, а и въ самомъ дѣлѣ не въ состояніи былъ догадаться, что мнѣ не дворянство версильское нужно было, что не рожденія моего я не могу ему простить, а что мнѣ самого Версилова всю жизнь надо было, всего человѣка, отца, и что эта мысль вошла уже въ кровь мою? Неужели же такой тонкій человѣкъ на столько тушъ и грубъ? А если нѣтъ, то зачѣмъ же онъ меня бѣситъ, зачѣмъ притворяется?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

На утро я постарался встать какъ можно раньше. Обыкновенно у насъ поднимались около восьми часовъ, то есть я, мать и сестра; Версильовъ вѣждался до половины десятаго. Аккуратно въ половинѣ девятаго мать приносила мнѣ кофей. Но на этотъ разъ, я, не дождавшійся кофей, улизнулъ изъ дому ровно въ восемь часовъ. У меня еще съ вечера составилъ общій планъ дѣйствій на весь этотъ день. Въ этомъ планѣ, не смотря на страстную рѣшимость немедленно приступить къ выполненію, я уже чувствовалъ, было чрезвычайно много нетвердаго и неопредѣленнаго въ самыхъ важныхъ пунктахъ; вотъ почему почти всю ночь я былъ какъ въ полуснѣ, точно бредилъ, видѣлъ ужасно много сновъ и почти ни разу не заснулъ какъ слѣдуетъ. Не смотря на то, поднялся бодрѣе и свѣжѣе, чѣмъ когда нибудь. Съ матерью же я особенно не хотѣлъ повстрѣчаться. Я не могъ заговорить съ нею иначе какъ на извѣстную тему и боялся отвлечь себя отъ предпринятыхъ цѣлей какимъ нибудь новымъ и неожиданнымъ впечатлѣніемъ.

Утро было холодное и на всемъ лежалъ сырой, молочный туманъ. Не знаю почему, но раннее, дѣловое, петербургское утро, не смотря на чрезвычайно скверный свой видъ, мнѣ всегда нравится, и весь этотъ

спѣнаціи по своимъ дѣламъ, эгоистической и всегда задумчивый людъ имѣть для меня, въ восьмомъ часу утра, нѣчто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спѣша, или самъ чтонибудь у кого спросить по дѣлу, или если меня кто объ чемънибудь спроситъ: и вопросъ, и отвѣтъ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность отвѣтить наибольшая во дни. Петербуржець, среди дня или къ вечеру, становится мѣтѣе общителенъ, и чуть что, готовъ и обругать или насмѣяться; совсѣмъ другое рано по утру, еще до дѣла, въ самую трезвую и серьезную пору. Я это замѣтилъ.

Я опять направлялся на Петербургскую. Такъ какъ мнѣ въ двѣнадцатомъ часу непремѣнно надо было быть обратно на Фонтанкѣ у Васина (котораго чаще всего можно было застать дома въ двѣнадцать часовъ), то и спѣшилъ я не останавливаясь, не смотря на чрезвычайный позывъ выпить гдѣнибудь кофею. Къ тому же и Ефима Звѣрева надо было захватить дома непремѣнно; я шелъ опять къ нему и впрямь чуть-чуть было не опоздалъ; онъ допивалъ свой кофе и готовился выходить.

— Чего тебя такъ часто носить? встрѣтилъ онъ меня, не вставая съ мѣста.

— А вотъ я тебѣ сейчасъ объясню.

Всякое раннее утро, Петербургское въ томъ числѣ, имѣетъ на природу человека отрезвляющее дѣйствіе. Иная пламенная ночная мечта, вмѣстѣ съ утреннимъ свѣтомъ и холодомъ, совершенно даже испаряется, и мнѣ самому случалось иногда припоминать по утрамъ инныя свои ночныя, только что минувшія грезы, а иногда и поступки, съ укориною и стыдомъ. Но мимоходомъ, однако, замѣчу, что считаю Петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всемъ земномъ шарѣ, — чуть ли не самымъ фантастическимъ въ мірѣ. Это мое личное воззрѣніе или, лучше сказать, впечатлѣніе, но я за него стою. Въ такое Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какогонибудь пушкинскаго Германа изъ „Школьной дамы“ (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургскій типъ, — типъ изъ петербургскаго періода!) — мнѣ кажется, должна еще болѣе укрѣпиться. Мнѣ сто разъ, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, какъ разлетится этотъ туманъ и уйдетъ кверху, не уйдетъ ли съ нимъ вмѣстѣ и весь этотъ гнилой, склизлый городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадникъ на жарко ды-“

шашемъ, загнанномъ конѣ? Однимъ словомъ, не могу выразить моихъ впечатлѣній, потому что все это фантазія, наконецъ,—поэзія, а, стало быть, вздоръ; тѣмъ не менѣе мнѣ часто задавался и задается одинъ ужъ совершенно бессмысленный вопросъ: „Вотъ они всѣ кидаются и мечутся, а почему знать, можетъ быть, все это чей нибудь сонъ, и ни одного-то человѣка здѣсь нѣтъ настоящаго, истиннаго, ни одного поступка дѣйствительнаго? Кто нибудь вдругъ проснется, кому это все грезится—и все вдругъ исчезнетъ“. Но я увлекся.

Скажу заранѣе: есть замыслы и мечты въ каждой жизни до того, казалось бы, эксцентрическіе, что ихъ съ перваго взгляда можно безошибочно принять за сьумасшествіе. Съ одною изъ такихъ фантазій и пришелъ я въ это утро къ Звѣреву,—къ Звѣреву, потому что никого другого не имѣлъ въ Петербургѣ, къ кому бы на этотъ разъ могъ обратиться. А между тѣмъ Ефимъ былъ именно тѣмъ лицомъ, къ которому, будь изъ чего выбирать, я бы обратился съ такимъ предложеніемъ къ послѣднему. Когда я усѣлся напротивъ него, то мнѣ даже самому показалось, что я, олицетворенный бредъ и горячка, усѣлся напротивъ олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей сторонѣ была идея и вѣрное чувство, на его—одинъ лишь практическій выводъ: что такъ никогда не дѣлается. Короче, я объяснилъ ему кратко и ясно, что, кромѣ него, у меня въ Петербургѣ нѣтъ рѣшительно никого, кого бы я могъ послать, въ виду чрезвычайнаго дѣла чести, вѣсто секунданта; что онъ старый товарищъ и отказаться поэтому даже и не имѣетъ права, а что вызвать я желаю гвардіи поручика князя Сокольскаго за то, что, годъ слишкомъ назадъ, онъ, въ Эмсѣ, далъ отцу моему, Версикову, пощечину. Замѣчу при этомъ, что Ефимъ даже очень подробно зналъ всѣ мои семейныя обстоятельства, отношенія мои къ Версикову и почти все, что я самъ зналъ изъ исторіи Версикова; я же ему въ разное время и сообщилъ, кромѣ, разумеется, нѣкоторыхъ секретовъ. Онъ сидѣлъ и слушалъ, по обыкновенію своему, нахохлившись, какъ воробей въ клеткѣ, молчаливый и серьезный, одутловатый, съ своими взъерошенными бѣлыми волосами. Неподвижная, насмѣшливая улыбка не сходила съ губъ его. Улыбка эта была тѣмъ сквернѣе, что была совершенно неумышленная, а невольная; видно было, что онъ дѣйствительно и во истину считалъ себя въ эту минуту гораздо выше меня и умомъ и характеромъ. Я подозрѣвалъ тоже, что онъ къ тому же презираетъ меня за вчерашнюю сцену у Дергачева; это такъ и должно было быть: Ефимъ—толпа, Ефимъ—улица, а та всегда поклоняется только успѣху.

— А Версильовъ про это не знаетъ? спросилъ онъ.

— Разумѣется, нѣтъ.

— Такъ какое же ты право имѣешь вмѣшиваться въ дѣла его? Это во первыхъ. А во вторыхъ, что ты этимъ хочешь доказать?

Я зналъ возраженія и тотчасъ же объяснилъ ему, что это вовсе не такъ глупо, какъ онъ полагаетъ. Во первыхъ, нахалу князю будетъ доказано, что есть еще люди, понимающіе честь и въ нашемъ сословіи, а во вторыхъ, будетъ пристыженъ Версильовъ и вынесетъ урокъ. А въ третьихъ, и главное, если даже Версильовъ былъ и правъ, по какимъ нибудь тамъ своимъ убѣжденіямъ, не вызвавъ князя и рѣшившись нанести пощечину, то, по крайней мѣрѣ, онъ увидитъ, что есть существо до того сильно способное чувствовать его обиду, что принимаетъ ее, какъ за свою, и готовое положить за интересы его даже жизнь свою... не смотря на то, что съ нимъ разсается на вѣки...

— Постой, не кричи, тѣтя не любить. Скажи ты мнѣ, вѣдь съ этимъ самымъ княземъ Сокольскимъ Версильовъ тѣгается о наслѣдствѣ? Въ такомъ случаѣ, это будетъ уже совершенно новый и оригинальный способъ выигрывать тяжбы—убивая противниковъ на дуэли.

Я объяснилъ ему *en toutes lettres*, что онъ просто глупъ и нахаль, и что если насмѣшливая улыбка его разрастается все больше и больше, то это доказываетъ только его самодовольство и ординарность, что не можетъ же онъ предположить, что соображенія о тяжбѣ не было и въ моей головѣ, да еще съ самаго начала, а удостоило посѣтить только его многодумную голову. Затѣмъ я изложилъ ему, что тяжба уже выиграна, къ тому же ведется не съ княземъ Сокольскимъ, а съ князьями Сокольскими, такъ что, если убить одинъ князь, то остаются другіе, но что, безъ сомнѣнія, надо будетъ отдалить вызовъ на срокъ апелляціи (хотя князья апеллировать и не будутъ), но единственно для приличія. По минованіи же срока и послѣдуетъ дуэль; что я съ тѣмъ и пришелъ теперь, что дуэль не сейчасъ, но что мнѣ надо было заручиться, потому что секунданта нѣтъ, а ни съ кѣмъ не знакомъ, такъ, по крайней мѣрѣ, къ тому времени, чтобъ успѣть найти, если онъ, Ефимъ, откажется. Вотъ для чего, дескать, я пришелъ.

— Ну, тогда и приходи говорить, а то ишь претъ по пусту десять верстъ.

Онъ всталъ и взялся за фуражку.

— А тогда пойдешь?

— Нѣтъ, не пойду, разумѣется.

— Почему?

— Да ужь потому одному не пойду, что согласись я теперь, что тогда пойду, какъ ты весь этотъ срокъ апелляціи таскаться начнешь ко мнѣ каждый день. А главное все это вздоръ, вотъ и все. И стану я изъ за тебя мою карьеру ломать? И вдругъ князь меня спроситъ: „Вась кто прислалъ?“ — Долгорукій. — „А какое дѣло Долгорукому до Версилова?“ Такъ я долженъ ему твою родословную объяснять, что ли? Да вѣдь онъ расхохочется!

— Такъ ты ему въ рожу дай!

— Ну, это сказки.

— Боишься? Ты такой высокій; ты былъ сильнѣе всѣхъ въ гимназіи.

— Боюсь, конечно, боюсь. Да князь ужь потому драться не станетъ, что дерутся съ ровней.

— Я тоже джентльменъ по развитію, я имѣю права, я ровня... напротивъ, это онъ неровня.

— Нѣтъ, ты маленькій.

— Какъ маленькій?

— Такъ маленькій; мы оба маленькіе, а онъ большой.

— Дуракъ ты! Да я ужь годъ, по закону, жениться могу.

— Ну и женись, а все таки ш...дикъ: ты еще ростешь!

Я, конечно, понялъ, что онъ вздумалъ надо мною насмѣхаться. Безъ сомнѣнія, весь этотъ глупый анекдотъ можно было и не рассказывать и даже лучше, еслибъ онъ умеръ въ неизвестности; къ тому же онъ отвратителенъ по своей мелочности и ненужности, хотя и имѣлъ довольно серьезныя послѣдствія.

Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполнѣ. Разглядѣвъ, что Ефимъ надо мною насмѣхается, я позволилъ себѣ толкнуть его въ плечо правой рукой, или, лучше сказать, правымъ кулакомъ. Тогда онъ взялъ меня за плечи, обернулъ лицомъ въ поле и—доказалъ мнѣ на дѣлѣ, что онъ дѣйствительно сильнѣе всѣхъ у насъ въ гимназіи.

II.

Читатель, конечно, подумаетъ, что я былъ въ ужаснѣйшемъ расположеніи, выйдя отъ Ефима, и однако ошибется. Я слишкомъ понялъ, что вышелъ случай школьническій, гимназическій, а серьезность дѣла остается вся цѣликомъ. Кофею я напился уже на Васильевскомъ островѣ, нарочно миновавъ мой вчерашній трактиръ на Петербургской; и трак-

тврѣ этотъ, и соловей стали для меня вдвое ненавистиѣе. Странное свойство: я способенъ ненавидѣть мѣста и предметы точно какъ будто людей. Зато есть у меня въ Петербургѣ и нѣсколько мѣстъ счастливыхъ, то есть такихъ, гдѣ я почему нибудь бывалъ когда нибудь счастливъ,—и чтѣ же, я берегу эти мѣста и не захожу въ нихъ какъ можно дольше нарочно, чтобы потомъ, когда буду уже совсѣмъ одинъ и несчастливъ, зайти погрузиться и припомнить. За кофеемъ я отдалъ вполне справедливость Ефиму и здравому смыслу его. Да, онъ былъ практичнѣе меня, но врядъ ли реальнѣе. Реализмъ, ограничивающійся кончикомъ своего носа, опаснѣе самой безумной фантастичности, потому что слѣпъ. Но, отдавая справедливость Ефиму (который, вѣроятно, въ ту минуту думалъ, что я иду по улицѣ и ругаюсь)—я все таки ничего не уступилъ изъ убѣжденій, какъ не уступлю до сихъ поръ. Видалъ я такихъ, что изъ за перваго ведра холодной воды не только отступаются отъ поступковъ своихъ, но даже отъ идеи, и сами начинаютъ смѣяться надъ тѣмъ, чтѣ, всего часъ тому, считали священнымъ; о, какъ у нихъ это легко дѣлается! Пусть Ефимъ, даже и въ сущности дѣла, былъ правѣе меня, а я глупѣе всего глупаго и лишь лгался, но все же въ самой глубинѣ дѣла лежала такая точка, стоя на которой былъ правъ и я: что-то такое было и у меня справедливаго и, главное, чего они никогда не могли понять.

У Васиная, на Фонтанкѣ, у Семеновскаго моста, очутился я почти ровно въ двѣнадцать часовъ, но его не засталъ дома. Занятія свои онъ имѣлъ на Васильевскомъ, домой же являлся въ строго опредѣленные часы, между прочимъ почти всегда въ двѣнадцатомъ. Такъ какъ, кромѣ того, былъ какой-то праздникъ, то я и предполагалъ, чтѣ застаю его навѣрно; не заставъ, расположился ждать, не смотря на то, что являлся къ нему въ первый разъ.

Я разсуждалъ такъ: дѣло съ письмомъ о наслѣдствѣ есть дѣло совѣсти, и я, выбирая Васиная въ судьи, тѣмъ самымъ выказываю ему всю глубину моего уваженія, что ужъ, конечно, должно было ему польстить. Разумеетсяъ, я и взаправду былъ озабоченъ этимъ письмомъ и дѣйствительно убѣжденъ въ необходимости третейскаго рѣшенія; но подозреваю однако, что и тогда уже могъ бы вывернуться изъ затрудненія безъ всякой посторонней помощи. И, главное, самъ зналъ про это; именно, стоило только отдать письмо самому Версикову изъ рукъ въ руки, а чтѣ онъ тамъ захочетъ, пусть такъ и дѣлаетъ — вотъ рѣшеніе. Ставить же самого себя высшимъ судьей и рѣшителемъ въ дѣлѣ такого сорта было даже совсѣмъ неправильно. Устраняя себя переда-

чею письма изъ рукъ въ руки, и именно молча, я ужъ тѣмъ самымъ тотчасъ бы выигралъ, поставивъ себя въ высшее надъ Версиловымъ положеніе; ибо отказавшись, насколько это касается меня, отъ всѣхъ выгодъ по наслѣдству (потому что мнѣ, какъ сыну Версилова, ужъ конечно, чтонибудь перенало бы изъ этихъ денегъ, не сейчасъ, такъ потомъ), — я сохранилъ бы за собою навѣки высшій нравственный взглядъ на будущій поступокъ Версилова. Упрекнуть же меня за то, что я погубилъ князей, опять такъ никто бы не могъ, потому что документъ не имѣлъ рѣшающаго юридическаго значенія. Все это я обдумалъ и совершенно уяснилъ себѣ, сидя въ пустой комнатѣ Васина, и мнѣ даже вдругъ пришло въ голову, что пришелъ я къ Васину, столь жаждая отъ него совѣта, какъ поступить, — единственно съ тою цѣлью, чтобы онъ увидалъ при этомъ, какой я самъ благороднѣйшій и безкорыстнѣйшій человекъ, а, стало быть, чтобы и отстать ему тѣмъ самымъ за вчерашнее мое передъ нимъ приниженіе.

Сознавъ все это, я ощутилъ большую досаду; тѣмъ не менѣе не ушелъ, а остался, хоть и навѣрно зналъ, что досада моя, каждыя пять минутъ, будетъ только нарастать.

Прежде всего, мнѣ стала ужасно не нравиться комната Васина. „Покажи мнѣ свою комнату и я узнаю твой характеръ“, право, можно бы такъ сказать. Васинъ жилъ въ меблированной комнатѣ отъ жильцовъ, очевидно бѣдныхъ и тѣмъ промышлявшихъ, имѣвшихъ постояльцевъ и кромѣ него. Знакомы мнѣ эти узкія, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, съ претензіей на комфортабельный видъ; тутъ непременно мягкій диванъ съ толкучаго рынка, который опасно двигать; рукояйникъ и ширмами огороженная желѣзная кровать. Васинъ былъ, очевидно, лучшимъ и благонадежнѣйшимъ жильцомъ: таковъ самый лучшій жилецъ непременно бываетъ одинъ у хозяйки, и за это ему особенно угождаютъ: у него убираютъ и подметають тщательнѣе, вѣшаютъ надъ диваномъ какую-нибудь литографію, подъ столъ подстилають чахоточный коврикъ. Люди, любящіе эту затхлую чистоту, а главное угодливаю почтительность хозяекъ — сами подозрительны. Я былъ убѣжденъ, что званіе лучшаго жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня началъ мало по малу бѣсить видъ этихъ двухъ загроможденных книгами столовъ. Книги, бумаги, чернилица — все было въ самомъ отвратительномъ порядкѣ, идеаль котораго совпадаетъ съ мировоззрѣніемъ хозяйки нѣмки и ея горничной. Книгъ было довольно, и не то что газетъ и журналовъ, а настоящихъ книгъ, — и онъ, очевидно, ихъ читалъ, и, вѣроятно, садился читать или принимался писать съ чрезвы-

чайно важнымъ и акуратнымъ видомъ. Не знаю, но я больше люблю, гдѣ книги разбросаны въ беспорядкѣ, по крайней мѣрѣ, изъ занятій не дѣлается священнодѣйствія. Навѣрно, этотъ Васинъ чрезвычайно въжливъ съ посьтителемъ, но, навѣрно, каждый жестъ его говорить посьтителю: „Вотъ я посижу съ тобою часика полтора, а потомъ, когда ты уйдешь, займусь уже дѣломъ“. Навѣрно, съ нимъ можно завести чрезвычайно интересный разговоръ и услышать новое, но — „мы вотъ теперь съ тобою поговоримъ, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное“... И однако же я все таки не уходилъ, а сидѣлъ. Въ томъ же, что совсѣмъ не нуждаюсь въ его совѣтѣ, я уже окончательно убѣдился.

Я сидѣлъ уже съ часъ и больше, и сидѣлъ у окна на одномъ изъ двухъ приставленныхъ къ окну плетеныхъ стульевъ. Бѣсило меня и то, что уходило время, а мнѣ до вечера надо было еще сыскать квартиру. Я было хотѣлъ взять какую нибудь книгу отъ скуки, но не взялъ: при одной мысли развлечь себя стало вдвое противнѣе. Больше часу, какъ продолжалась чрезвычайная тишина, и вотъ вдругъ, гдѣ-то очень близко, за дверью, которую заслонялъ диванъ, я невольно и постепенно сталъ различать все больше и больше разрастающійся шопотъ. Говорили два голоса, очевидно женскіе, это слышно было, но различать словъ совсѣмъ нельзя было; и однако я отъ скуки какъ-то сталъ вникать. Ясно было, что говорили одушевленно и страстно, и что дѣло шло не о выкройкахъ: о чемъ-то сговаривались или спорили, или одинъ голосъ убѣждалъ и просилъ, а другой не слушался и возражалъ. Должно быть, какіе нибудь другіе жильцы. Скоро мнѣ наскучило и ухо привыкло, такъ что я хоть и продолжалъ слушать, но механически, а иногда и совсѣмъ забывая, что слушаю, какъ вдругъ произошло что-то чрезвычайное, точно какъ бы кто-то соскочилъ со стула обѣими ногами, или вдругъ вскочилъ съ мѣста и затопалъ: затѣмъ раздался стонъ и вдругъ крикъ, даже и не крикъ, а визгъ, животный, озлобленный и которому уже все равно, услышать чужіе или нѣтъ. Я бросился къ двери и отворилъ; разомъ со мной отворилась и другая дверь, въ концѣ корридора, хозяйкина, какъ узналъ я послѣ, откуда выглянули двѣ любопытныя головы. Крикъ однако тотчасъ затихъ, какъ вдругъ отворилась дверь, рядомъ съ моею, отъ сосѣдокъ, и одна молодая, какъ показалось мнѣ, женщина быстро вырвалась и побѣжала внизъ по лѣстницѣ. Другая же, пожилая женщина, хотѣла было удержать ее, но не могла, и только простонала ей вслѣдъ:

— Оля, Оля, куда? Охъ!

Но, разглядѣвъ двѣ наши отворенныя двери, проворно притворила свою, оставивъ щелку и изъ нея прислушиваясь на лѣстницу до тѣхъ поръ, пока не замолкли совсѣмъ шаги убѣжавшей внизъ Оли. Я вернулся къ моему окну. Все затихло. Случай пустой, а, можетъ быть, и смѣшной, и я пересталъ объ немъ думать.

Примѣрно, четверть часа спустя, раздался въ корридорѣ, у самой двери Васина, громкій и развязный мужской голосъ. Кто-то схватилъ за ручку двери и пріотворилъ ее настолько, что можно было разглядѣть въ корридорѣ какого-то высокаго ростомъ мужчину, очевидно тоже и меня удивившаго и даже меня уже разсматривавшаго, но не входившаго еще въ комнату, а продолжавшаго черезъ весь корридоръ, и держась за ручку, разговаривать съ хозяйкой. Хозяйка перекликалась съ нимъ тоненькимъ и веселенькимъ голоскомъ и, ужъ по голосу слышалось, что посѣтитель ей давно знакомъ, уважаемъ ею и цѣнимъ, и какъ солидный гость, и какъ веселый господинъ. Веселый господинъ кричалъ и острилъ, но дѣло шло только о томъ, что Васина нѣтъ дома, что онъ все никакъ не можетъ застать его, что это ему на роду написано и что онъ опять, какъ тогда, подождетъ, и все это, безъ сомнѣнія, казалось верхомъ остроумія хозяйкѣ. Наконецъ, гость вошелъ, размахнувъ дверь на весь отлетъ.

Это былъ хорошо одѣтый господинъ, очевидно, у лучшаго портнаго, какъ говорится, „по барски“, а, между тѣмъ, всего менѣе въ немъ имѣлось барскаго, и, кажется, не смотря на значительное желаніе имѣть. Онъ былъ не то что развязенъ, а какъ-то натурально нахаленъ, то есть все таки менѣе обидно, чѣмъ нахаль, выработавшій себя предъ зеркаломъ. Волосы его, темнорусые съ легкою просѣдью, черныя брови, большая борода и большіе глаза не только не способствовали его характерности, но именно какъ бы придавали ему что-то общее, на всѣхъ похожее. Этакой человекъ и смѣется, и готовъ смѣяться, но вамъ почему-то съ нимъ никогда не весело. Со смѣшливаго онъ быстро переходитъ на важный видъ, съ важнаго на игривый или подмигивающій, но все это какъ-то раскидчиво и безпричинно... Впрочемъ, нечего впередъ описывать. Этого господина я потомъ узналъ гораздо больше и ближе, а потому поневолѣ представляю его теперь уже болѣе знакомо, чѣмъ тогда, когда онъ отворилъ дверь и вошелъ въ комнату. Однако и теперь затруднился бы сказать о немъ что нибудь точное и опредѣляющее, потому что въ этихъ людяхъ главное—именно ихъ незаконченность, раскидчивость и неопредѣленность.

Онъ еще не успѣлъ и сѣсть, какъ мнѣ вдругъ померещилось, что это, должно быть, отчимъ Васиная, нѣкій, г. Стебельковъ, о которомъ я уже что-то слышалъ, но до того мелькомъ, что нивагъ бы не могъ сказать, чтò именно: помнилъ только, что что-то не хорошее. Я зналъ, что Васиная долго былъ сиротой подъ его началомъ, но что давно уже вышелъ изъ подъ его влiянiя, что и цѣли, и интересы ихъ различны, и что живутъ они совсѣмъ разнo во всѣхъ отношенiяхъ. Запомнилось мнѣ тоже, что у этого Стебелькова былъ нѣкоторый капиталъ, и что онъ какой-то даже спекулянтъ и вертунъ — однимъ словомъ, я уже, можетъ быть, и зналъ про него что нибудь подробнѣе, но забылъ. Онъ обмѣрилъ меня взглядомъ, не поклонившись, впрочемъ, поставилъ свою шляпу-цилиндръ на столъ передъ диваномъ, столъ властно отодвинулъ ногой и не то что сѣлъ, а прямо развалился на диванъ, на которомъ я не посмѣлъ сѣсть, такъ что тотъ затрещалъ, свѣсилъ въ ноги и, высоко поднявъ правый носокъ своего лакированного сапога, сталъ имъ любоваться. Конечно, тотчасъ же обернулся ко мнѣ и обмѣрилъ меня своими большими, нѣсколько неподвижными глазами.

— Не застаю! слегка кивнулъ онъ мнѣ головой.

Я промолчалъ.

— Не акуратень! Свои взгляды на дѣло. Съ Петербургской?

— То есть, вы пришли съ Петербургской? переспросилъ я его.

— Нѣтъ, это я васъ спрашиваю.

— Я... я пришелъ съ Петербургской, только почему вы узнали?

— Почему? Гмъ. Онъ подмигнулъ, но не удостоилъ разъяснить.

— То есть, я не живу на Петербургской, но я былъ теперь на Петербургской и оттуда пришелъ сюда.

Онъ продолжалъ молча улыбаться какою-то значительною улыбкою, которая мнѣ ужасно какъ не нравилась. Въ этомъ подмигиванiи было что-то глупое.

— У господина Дергачева? проговорилъ онъ наконецъ.

— Чтò у Дергачева? открылъ я глаза.

Онъ побѣдоносно смотрѣлъ на меня.

— Я и не знакома.

— Гмъ.

— Какъ хотите, отвѣтилъ я. Онъ мнѣ становился противенъ.

— Гмъ, да-съ. Нѣтъ-съ, позвольте; вы покупаете въ лавкѣ вещь, въ другой лавкѣ рядомъ другой покупатель покупаетъ другую вещь, какую-бы вы думали? Деньги-съ, у купца, который именуется ростов-

щикомъ-съ... потому что деньги есть тоже вещь, а растовщикъ есть тоже купецъ... Вы слѣдите?

— Пожалуй, слѣжу.

— Проходить третій покупатель и, показывая на одну изъ лавокъ, говорить: „это основательно“, а показывая на другую изъ лавокъ, говорить: „это неосновательно“. Что могу я заключить о семъ покупателѣ?

— Почему я знаю.

— Нѣтъ-съ, позвольте. Я къ примѣру; хорошимъ примѣромъ человѣкъ живетъ. Я иду по Невскому, и замѣчаю, что по другой сторонѣ улицы, по тротуару, идетъ господинъ, котораго характеръ я желалъ бы опредѣлить. Мы доходимъ, по разнымъ сторонамъ, вплоть до поворота въ Морскую, и именно тамъ, гдѣ англійскій магазинъ, мы замѣчаемъ третьяго прохожаго, только что раздавленнаго лошадыю. Теперь выньте: проходитъ четвертый господинъ и желаетъ опредѣлить характеръ всѣхъ насъ троицъ, вмѣстѣ съ раздавленнымъ, въ смыслѣ практичности и основательности... Вы слѣдите?

— Извините, съ большимъ трудомъ.

— Хорошо-съ; такъ я и думалъ. Я переищу тему. Я на водахъ въ Германіи, на минеральныхъ водахъ, какъ и бывалъ неоднократно, на какихъ—это все равно. Хожу по водамъ и вижу англичанъ. Съ англичаниномъ, какъ вы знаете, знакомство завести трудно; но вотъ черезъ два мѣсяца, кончивъ срокъ леченія, мы всѣ въ области горъ, всходимъ компаніей, съ остроконечными палками, на гору, ту или другую, все равно. На поворотѣ, то есть на этажѣ, и именно тамъ гдѣ монахи воду Шартрезъ дѣлаютъ,—это замѣтите,—я встрѣчаю туземца, стоящаго уединенно, смотрящаго молча. Я желаю заключить о его основательности: какъ вы думаете, могъ бы я обратиться за заключеніемъ къ толпѣ англичанъ, съ которыми шествую, единственно потому только, что не сумѣлъ заговорить съ ними на водахъ?

— Почему я знаю. Извините, мнѣ очень трудно слѣдить за вами.

— Трудно?

— Да, вы меня утомляете.

— Гмъ. Онъ подмигнулъ и сдѣлалъ рукой какой-то жестъ, вѣроятно долженствовавшій обозначать что-то очень торжествующее и побѣдоносное; затѣмъ, весьма солидно и спокойно вынулъ изъ кармана газету, очевидно только что купленную, развернулъ и сталъ читать въ послѣдней страницѣ, повидимому, оставивъ меня въ совершенномъ покоѣ. Минутъ пять онъ не глядѣлъ на меня.

— Брестогравескія-то вѣдь не шлепнулись, а? Вѣдь пошли, вѣдь идуть! Многихъ знаю, которые тутъ же шлепнулись..

Онъ отъ всей души поглядѣлъ на меня.

— Я пока въ этой биржѣ мало смыслу, отвѣтилъ я.

— Отрицаете?

— Чтѣ?

— Деньги-съ.

— Я не отрицаю деньги, но... но, мнѣ кажется, сначала идея, а потомъ деньги.

— То есть, позвольте-съ... вотъ человѣкъ состоитъ, такъ сказать, при собственномъ капиталѣ...

— Сначала высшая идея, а потомъ деньги, а безъ высшей идеи съ деньгами общество провалится.

Не знаю, зачѣмъ я сталъ было горячиться. Онъ посмотрѣлъ на меня нѣсколько тупо, какъ будто запутавшись, но вдругъ все лицо его раздвинулось въ веселѣйшую и хитрѣйшую улыбку.

— Версильовъ-то, а? Вѣдь тапнулъ-таки, тапнулъ! Присудили вчера, а?

Я вдругъ и неожиданно увидалъ, что онъ уже давно знаетъ, кто я такой, и, можетъ быть, очень многое еще знаетъ. Не понимаю только, зачѣмъ я вдругъ покраснѣлъ и глупѣйшимъ образомъ смотрѣлъ, не отводя отъ него глазъ. Онъ видимо торжествовалъ, онъ весело смотрѣлъ на меня, точно въ чемъ-то хитрѣйшимъ образомъ поймалъ и уличилъ меня.

— Нѣтъ-съ, поднялъ онъ вверхъ обѣ брови:—это вы меня спросите про господина Версильова! Чтѣ я вамъ говорилъ сейчасъ на счетъ основательности? Полтора года назадъ, изъ за этого ребенка онъ бы могъ усовершенствованное дѣльцо завершить — да-съ, а онъ шлепнулся, да-съ.

— Изъ за какого ребенка?

— Изъ за груднаго-съ, котораго и теперь на сторонѣ выкармливаютъ, только ничего не возьметъ черезъ это... потому...

— Какой грудной ребенокъ? Чтѣ такое?

— Конечно его ребенокъ, его собственный-съ, отъ m-lle Лидіи Ахмаковой... „Предестная дѣва ласкала меня“... Фосфорныя-то спички—а?

— Чтѣ за вздоръ, чтѣ за дичь! У него никогда не было ребенка отъ Ахмаковой!

— Вона! Да я-то гдѣ былъ? Я вѣдь и докторъ, и акушеръ-съ.

Фамилія моя Стебельковъ, не слыхали? Правда, я и тогда уже не практиковалъ давно, но практическій совѣтъ въ практическомъ дѣлѣ я могъ подать.

— Вы акушеръ... принимали ребенка у Ахмаковой?

— Нѣтъ-съ, я ничего не принималъ у Ахмаковой. Тамъ, въ форштатѣ, былъ докторъ Гранцъ, обремененный семействомъ, по полталера ему платили, такое тамъ у нихъ положеніе на докторовъ, и никто-то его въ добавокъ не зналъ, такъ вотъ онъ тутъ былъ вмѣсто меня... Я же его и посовѣтовалъ, для мрака неизвѣстности. Вы слѣдите? А я только практическій совѣтъ одинъ далъ по вопросу Версилова-съ, Андрея Петровича, по вопросу секретнѣйшему-съ, глазъ на глазъ. Но Андрей Петровичъ двухъ зайцевъ предпочелъ.

Я слушалъ въ глубочайшемъ изумленіи.

— За двумя зайцами погонишься — ни одного на поймашь, говоритъ народная, или, вѣрнѣе, простонародная пословица. Я же говорю такъ: исключенія, непрерывно повторяющіяся, обращаются въ общее правило. За другимъ зайцемъ, то есть въ переводѣ на русскій языкъ, за другой дамой погнался — и результатовъ никакихъ. Уж если что схватилъ, то сею и держись. Гдѣ надо убыстрять дѣло, онъ тамъ мамлитъ. Версильовъ — вѣдь это „бабій пророкъ-съ“ — вотъ какъ его молодой князь Сокольскій тогда при мнѣ красиво обозначилъ. Нѣтъ, вы ко мнѣ приходите! Если вы хотите про Версильова много узнать, вы ко мнѣ приходите.

Онъ, видимо, любовался на мой раскрытый отъ удивленія ротъ. Никогда и ничего не слыхивалъ я до сихъ поръ про груднаго ребенка. И вотъ въ этотъ мигъ вдругъ хлопнула дверь у сосѣдокъ и кто-то быстро вошелъ въ ихъ комнату.

— Версильовъ живетъ въ Семеновскомъ полку, въ Можайской улицѣ, домъ Литвиновой, № 17, сама была въ адресномъ! громко прокричалъ раздраженный женскій голосъ; каждое слово было намъ слышно. Стебельковъ вскинулъ бровями и поднялъ надъ головою палецъ.

— Мы о немъ здѣсь, а онъ ужъ и тамъ... Вотъ они исключенія-то, непрерывно повторяющіяся! Quand on parle d'une corde...

Онъ быстро, съ присекомъ присѣлъ на диванъ и сталъ прислушиваться къ той двери, къ которой былъ приставленъ диванъ. Ужасно пораженъ былъ и я. Я сообразилъ, что это, вѣроятно, та самая молодая женщина прокричала, которая давеча убѣжала въ такомъ волненіи. Но какимъ же образомъ и тутъ Версильовъ? Вдругъ раздался опять давешній визгъ, неистовый, визгъ озвѣрѣвшаго отъ гнѣва человека,

которому чего-то не даютъ или котораго отъ чего-то удерживаютъ. Разница съ давешнимъ была лишь та, что крики и взвизги продолжались еще дольше. Слышалась борьба, какія-то слова, частыя, быстрыя: „не хочу, не хочу, отдайте, сейчасъ отдайте!“—или что-то въ этомъ родѣ—не могу совершенно припомнить. Затѣмъ, какъ и давеча, кто-то стремительно бросился къ дверямъ и отворилъ ихъ. Обѣ сосѣдки выскочили въ корридоръ, одна, какъ и давеча, очевидно, удерживая другую. Стебельковъ, уже давно вскочившій съ дивана и съ наслажденіемъ прислушивавшійся, такъ и сиганулъ къ дверямъ и тотчасъ протеро-венно выскочилъ въ корридоръ прямо къ сосѣдкамъ. Разумѣется, я тоже подбѣжалъ къ дверямъ. Но его появленіе въ корридорѣ было ведрою холодной воды: сосѣдки быстро скрылись и съ шумомъ захлопнули за собою дверь. Стебельковъ прыгнулъ было за ними, но приостановился, поднявъ палецъ, улыбаясь и соображая; на этотъ разъ въ улыбкѣ его я разглядѣлъ что-то чрезвычайно скверное, темное и зло-вѣщее. Увидавъ хозяйку, стоящую опять у своихъ дверей, онъ скорыми цпочками побѣжалъ къ ней черезъ корридоръ; прошушукавъ съ нею минуты двѣ и, конечно, получивъ свѣдѣнія, онъ уже осанисто и рѣшительно воротился въ комнату, взявъ со стола свой цилиндръ, мелкокомъ взглянулъ въ зеркало, взъерошилъ волосы и съ самодувѣреннымъ достоинствомъ, даже не поглядѣвъ на меня, отправился къ сосѣдкамъ. Мгновеніе онъ прислушивался у двери, подставивъ ухо и побѣдительно подмигивая черезъ корридоръ хозяйкѣ, которая грозилъ ему пальцемъ и покачивала головой, какъ бы выговаривая: „охъ шалунъ, шалунъ!“ Наконецъ съ рѣшительнымъ деликатнѣйшимъ видомъ, даже какъ бы сгорбившись отъ деликатности, постучалъ костями пальцевъ къ сосѣдкамъ. Послышался голосъ:

— Кто тамъ?

— Не позволите-ли войти по важнѣйшему дѣлу? громко и осанисто произнесъ Стебельковъ.

Помедлили, но все таки отворили, сначала чуть-чуть, на четверть; но Стебельковъ тотчасъ же крѣпко ухватился за ручку замка и ужъ не далъ бы затворить опять. Начался разговоръ, Стебельковъ заговорилъ громко, все порывался въ комнату; я не пойню словъ, но онъ говорилъ про Версилова, что можетъ сообщить, все разъяснить— „нѣтъ-съ, вы меня спросите,“ „нѣтъ-съ, вы ко мнѣ приходите“—въ этомъ родѣ. Его очень скоро впустили. Я воротился къ дивану и сталъ было подслушивать, но всего не могъ разобрать, слышалъ только, что часто упоминали про Версилова. По интонаціи голоса, я догадывался, что Сте-

Бельковъ уже овладѣлъ разговоромъ, говорить уже не вкрадчиво, а властно и развалившись, въ родѣ какъ давеча со мной: „вы слѣдите?“ „теперь извольте вникнуть,“ и проч. Впрочемъ, съ женщинами онъ долженъ быть необыкновенно любезенъ. Уже раза два раздался его громкій хохоть и навѣрно совсѣмъ неумѣстно, потому что рядомъ съ его голосомъ, а иногда и побѣждая его голосъ, раздавались голоса обѣихъ женщинъ, вовсе не выражавшіе веселости, и преимущественно молодой женщины, той, которая давеча визжала: она говорила много, нервно, быстро, очевидно что-то обличая и жалуясь, лица суда и судьи. Но Стебельковъ не отставалъ, возвышалъ рѣчь все больше и больше, и хохоталъ все чаще и чаще; эти люди слушать другихъ не умѣютъ. Я скоро сошелъ съ дивана, потому что подслушивать показалось мнѣ стыдно, и перебрался на мое старое мѣсто, у окна, на плетеномъ стулѣ. Я былъ убѣжденъ, что Васинъ считаетъ этого господина ни во что, но что объяви я тоже мнѣніе, и онъ тотчасъ же, съ серьезнымъ достоинствомъ заступится и назидательно замѣтитъ, что это „человѣкъ практическій, изъ людей теперешнихъ дѣловыхъ, и котораго нельзя судить съ нашихъ общихъ и отвлеченныхъ точекъ зрѣнія“. Въ то мгновеніе, впрочемъ, помню, я былъ какъ-то весь нравственно разбитъ, сердце у меня билось и я несомнѣнно чего-то ждалъ. Прошло минутъ десять, и вдругъ, въ самой серединѣ одного раскатистаго взрыва хохота, кто-то, точь въ точь какъ давеча, прынулъ со стула, затѣмъ раздались крики обѣихъ женщинъ, слышно было какъ вскочилъ и Стебельковъ, что онъ что-то заговорилъ уже другимъ голосомъ, точно оправдывался, точно упрашивая, чтобъ его дослушали... Но его не дослушали: раздались гнѣвные крики: „вонъ! Вы негодяй, вы безстыдникъ!“ Однимъ словомъ, ясно было, что его выталкиваютъ. Я отворилъ дверь какъ разъ въ ту минуту, когда онъ выпрыгнулъ въ корридоръ отъ сосѣдокъ и, кажется, буквально, т. е. руками, выпихнутый ими. Увидавъ меня, онъ вдругъ закричалъ на меня, указывая:

— Вотъ сынъ Верилова! Если не вѣрите мнѣ, то вотъ сынъ его, его собственный сынъ! Пожалуйте! И онъ властно схватилъ меня за руку.

— Это сынъ его, родной сынъ его! повторялъ онъ, подводя меня къ дамашъ и не прибавляя, впрочемъ, ничего больше для разъясненія.

Молодая женщина стояла въ корридорѣ, пожилая—на шагъ сзади ея въ дверяхъ. Я запомнилъ только, что эта бѣдная дѣвушка была недурна собой, лѣтъ двадцати, но худа и болѣзненнаго вида, рыжеватая и съ лица какъ бы нѣсколько похожая на мою сестру: эта черта

мнѣ мелькнула и уцѣлѣла въ моей памяти; только Лиза никогда не бывала, и ужь конечно, никогда и не могла быть въ такомъ гнѣвномъ изступленіи, въ которомъ стояла передо мной эта особа: губы ея были бѣлы, свѣтло-сѣрые глаза свергали, она вся дрожала отъ негодованія. Помню тоже, что самъ я былъ въ чрезвычайно глупомъ и недостойномъ положеніи, нотому что рѣшительно не нашелся что сказать, по милости этого нахала.

— Чтожь такое, что сынъ! Если онъ съ вами, то онъ негодяй. Если вы сынъ Версилова, обратилась она вдругъ ко мнѣ: — то передайте отъ меня вашему отцу, что онъ негодяй, что онъ недостойный безстыдникъ, что мнѣ денегъ его не надо... На-те, на-те, на-те, передайте сейчасъ ему эти деньги!

Она быстро вырвала изъ кармана нѣсколько кредитокъ, но пожилая (т. е. ея мать, какъ оказалось послѣ) схватила ее за руку:

— Оля, да вѣдь, можетъ, и не правда, можетъ, они и не сынъ его!

Оля быстро посмотрѣла на нее, сообразила, посмотрѣла на меня презрительно, и повернулась назадъ въ комнату, но прежде чѣмъ захлопнуть дверь, стоя на порогѣ, еще разъ прокричала въ изступленіи Стебелькову:

— Вонъ!

И даже топнула на него ногой. Затѣмъ дверь захлопнулась и уже заперлась на замокъ. Стебельковъ, все еще держа меня за плечо, поднявъ палецъ и, раздвинувъ ротъ въ длинную раздумчивую улыбку, уперся въ меня вопросительнымъ взглядомъ.

— Я нахожу вашъ поступокъ со мной смѣшнымъ и недостойнымъ, пробормотала я въ негодованіи.

Но онъ меня и не слушалъ, хотя и не сводилъ съ меня глазъ.

— Это-бы надо из-слѣ-довать! проговорилъ онъ раздумчиво.

— Но, однако, какъ вы смѣли вытянуть меня? Кто это такое? Что это за женщина? Вы схватили меня за плечо и подвели, — что тутъ такое?

— Э, чортъ! Лишенная невинности какая-то... „часто повторяющееся исключеніе“ — вы слѣдите?

И онъ уперся было мнѣ въ грудь пальцемъ.

— Э, чортъ! отпихнулъ я его палецъ.

Но онъ вдругъ, и совсѣмъ неожиданно, засмѣялся тихе, неслышно, долго, весело. Наконецъ, надѣлъ свою шляпу и, съ быстро пережѣвившимся и уже мрачнымъ лицомъ, замѣтилъ, нахмуривъ брови:

— А хозяйку надо-бы научить... надо-бы ихъ выгнать изъ квартиры,—вотъ что, и какъ можно скорѣй, а то онѣ тутъ... Вотъ увидите! Вотъ помяните мое слово, увидите! Э, чортъ! развеселился онъ вдругъ опять:—вы вѣдь Гришу дождетесь?

— Нѣтъ, не дождусь, отвѣчалъ я рѣшительно.

— Ну, и все едино...

И, не прибавивъ болѣе ни звука, онъ повернулся, вышелъ и направился внизъ по лѣстницѣ, не удостоивъ даже и взгляда очевидно поджидавшую разъясненія и извѣстій хозяйку. Я тоже взялъ шляпу и, попросивъ хозяйку передать, что былъ я, Долгорукий, побѣжалъ по лѣстницѣ.

III.

Я только потерялъ время. Выйдя, я тотчасъ пустился отыскивать квартиру; но я былъ разбѣянъ, пробродилъ нѣсколько часовъ по улицамъ и хоть зашелъ въ пять или шесть квартиръ отъ жильцовъ, но увѣренъ, что мимо двадцати прошелъ, не замѣтивъ ихъ. Къ еще пущей досадѣ, я и не воображалъ, что нанимать квартиры такъ трудно. Вездѣ комнаты, какъ Васинская, и даже гораздо хуже, а цѣны огромныя, то есть не по моему расчету. Я прямо требовалъ угла, чтобъ только повернуться, и мнѣ презрительно давали знать, что въ такомъ случаѣ надо идти „въ углы“. Кромѣ того, вездѣ множество странныхъ жильцовъ, съ которыми я ужь по одному виду ихъ не могъ бы ужиться рядомъ,—даже заплатилъ бы, чтобъ не жить рядомъ. Какіе-то господа безъ сюртуковъ, въ однихъ жилетахъ, съ растрепанными бородами, развязные и лобопытныя. Въ одной крошечной комнатѣ сидѣло ихъ чловѣкъ десять за картами и за пивомъ, а рядомъ мнѣ предлагали комнату. Въ другихъ мѣстахъ я самъ, на разпросы хозяевъ, отвѣчалъ такъ нелѣпо, что на меня глядѣли съ удивленіемъ, а въ одной квартирѣ такъ даже поссорился. Впрочемъ, не описывать же всѣхъ этихъ ничтожностей; я только хочу сказать, что, уставъ ужасно, я поѣлъ чего-то въ одной вухмистерской уже почти когда смерьлось. У меня разрѣшилось окончательно, что я пойду, отдамъ сейчасъ самъ и одинъ Версилову письмо о наслѣдствѣ (безъ всякихъ объясненій), захвачу сверху мои вещи въ чемоданъ и узелъ и переѣду на ночь хоть въ гостиницу. Въ концѣ Обуховскаго проспекта, у Триумфальныхъ воротъ, я зналъ, есть постоянные дворы, гдѣ можно достать даже особую комнату за тридцать копѣекъ; на одну ночь я рѣшился пожертвовать, только чтобъ

не почевать у Версилова. И вотъ, проходя уже мимо Технологическаго института, мнѣ вдругъ почему-то вздумалось зайти къ Татьянѣ Павловнѣ, которая жила тутъ же, напротивъ Технологическаго. Собственно предлогомъ зайти было все то же письмо о наследствѣ, но непреодолимое мое побужденіе зайти, конечно, имѣло другія причины, которыхъ я впрочемъ не сумѣю и теперь разяснить: тутъ была какая-то путаница въ умѣ о „грудномъ ребенкѣ“, „объ исключеніяхъ, входящихъ въ общее правило“. Хотѣлось-ли мнѣ рассказать, или порисоваться, или подражаться, или даже заплакать, — не знаю, только я поднялся къ Татьянѣ Павловнѣ. Я былъ у ней доселѣ всего лишь одинъ разъ, въ началѣ моего пріѣзда изъ Москвы, по какому-то порученію отъ матери, и, помню, зайдя и передавъ порученное, ушелъ черезъ минуту, даже и не присѣвъ, а она и не попросила.

Я позвонилъ, и мнѣ тотчасъ отворила кухарка и молча впустила меня въ комнаты. Именно нужны всѣ эти подробности, чтобъ можно было понять, какимъ образомъ могло произойти такое сумасшедшее приключеніе, имѣвшее такое огромное вліяніе на все послѣдующее. И во первыхъ, о кухаркѣ. Это была злобная и курносая чухонка, и, кажется, ненавидѣвшая свою хозяйку, Татьяну Павловну, а та, напротивъ, разстаться съ ней не могла по какому-то пристрастію, въ родѣ какъ у старыхъ дѣвъ къ старымъ мокроносимъ москкамъ или вѣчно спящимъ кошкамъ. Чухонка или злилась и грубила, или поссорившись молчала по недѣлямъ, тѣмъ наказывая барыню. Должно быть, я попалъ въ такой молчальный день, потому что она даже на вопросъ мой: „Дома-ли барыня?“ который, я положительно помню, что задалъ ей, — не отвѣтила и молча прошла въ свою кухню. Я, послѣ этого, естественно увѣреннѣе, что барыня дома, прошелъ въ комнату, и, не найдя никого, сталъ ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчасъ выйдетъ изъ спальни; иначе зачѣмъ бы впустила меня кухарка? Я не сѣлся и ждалъ минуты двѣ-три; почти уже смеркалось и темная квартирка Татьяны Павловны казалась еще непривѣтливѣе отъ безконечнаго, вездѣ развѣшаннаго ситца. Два слова про эту северную квартиренку, чтобъ понять мѣстность, на которой произошло дѣло. Татьяна Павловна, по характеру своему, упрямому и повелительному и вслѣдствіе старыхъ пошлостныхъ пристрастій, не могла бы ужиться въ меблированной комнатѣ отъ жильцовъ, и нанимала эту пародію на квартиру, чтобъ только быть особнякомъ и сама себѣ госпожей. Эти двѣ комнаты были точъ въ точъ двѣ канареечныя клѣтки, одна къ другой приставленныя, одна другой меньше, въ третьемъ этажѣ и окнами на дворъ. Входя въ квар-

тиру, вы прямо вступали въ узенькій корридорчикъ, аршина въ полтора шириною; налѣво вышеозначенныя двѣ канареечныя кѣтки, а прямо по корридорчику, въ глубинѣ, входъ въ крошечную кухню. Полторы кубическихъ сажени необходимаго для человѣка, на двѣнадцать часовъ, воздуху, можетъ быть, въ этихъ комнатахъ и было, но врядъ-ли больше. Были они до безобразія низки, но что глупѣе всего, — окна, двери, мебель, все, все было обвѣшано или убрано ситцемъ, прекраснымъ французскимъ ситцемъ, и отдѣлано фестончиками; но отъ этого комната казалась еще вдвое темнѣе и походила на внутренность дорожной кареты. Въ той комнатѣ, гдѣ я ждалъ, еще можно было повернуться, хотя все было загромаждено мебелью, и, кстати, мебелью весьма не дурною: тутъ были разныя столики, съ наборной работой, съ бронзовой отдѣлкой, ящики, изящный и даже богатый туалетъ. Но слѣдующая комната, откуда я ждалъ ея выхода, спальня, густо отдѣленная отъ этой комнаты занавѣсью, состояла, какъ оказалось послѣ, буквально изъ одной кровати. Всѣ эти подробности необходимы, чтобъ понять ту глушь, которую я сдѣлалъ.

Итакъ, я ждалъ и не сомнѣвался, какъ раздался звонокъ. Я слышалъ, какъ неторопливыми шагами прошла по корридорчику кухарка и молча, точь въ точь какъ и давеча меня, впустила вошедшихъ. Это были двѣ дамы и обѣ громко говорили, но каково же было мое изумленіе, когда я, по голосу, узналъ въ одной Татьяну Павловну, а въ другой—именно ту женщину, которую всего менѣе приготовлень былъ теперь встрѣтить, да еще при такой обстановкѣ! Ошибаться я не могъ: я слышалъ этотъ звучный, сильный, металлическій голосъ вчера, правда, всего три минуты, но онъ остался въ моей душѣ. Да, это была „вчерашняя женщина“. Что мнѣ было дѣлать? Я вовсе не читателю задаю этотъ вопросъ, я только представляю себѣ эту тогдашнюю минуту, и совершенно не въ силахъ даже и теперь объяснить, какимъ образомъ случилось, что я вдругъ бросился за занавѣску и очутился въ спальнѣ Татьяны Павловны. Короче, я спрятался и едва успѣлъ вскочить, какъ онѣ вошли. Почему я не пошелъ къ нимъ на встрѣчу, а спрятался—не знаю; все случилось нечаянно, въ высшей степени безотчетно.

Вскочивъ въ спальню и наткнувшись на кровать, я тотчасъ замѣтилъ, что есть дверь изъ спальни въ кухню, стало быть, былъ исходъ изъ бѣды и можно было убѣжать совсѣмъ, но—о ужасъ!—дверь была заперта на замокъ, а въ щелкѣ ключа не было. Въ отчаяніи, я опустился на кровать; мнѣ ясно представилось, что, стало быть, я теперь буду подслушивать, а уже по первымъ фразамъ, по первымъ звукамъ

разговора, я догадался, что разговоръ ихъ секретный и щекотливый. О, конечно, честный и благородный человекъ долженъ былъ встать, даже и теперь, выйти и громко сказать: „Я здѣсь, подождите!“ и, не смотря на смѣшное положеніе свое, пройти мимо; но я не всталъ и не вышелъ; не посмѣлъ, подлѣйшимъ образомъ струсить.

— Милая вы моя, Катерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете, умоляла Татьяна Павловна:—успокойтесь вы разъ навсегда, не къ вашему это даже характеру. Вездѣ, гдѣ вы, тамъ и радость, и вдругъ теперь... Да ужъ въ меня-то вы, я думаю, продолжаете вѣрить: вѣдь знаете, какъ я вамъ предана. Вѣдь ужъ не меньше, какъ и Андрею Петровичу, къ которому опять таки вѣчной преданности моей не скрываю... Ну, такъ повѣрьте же мнѣ, честью клянусь вамъ, нѣтъ этого документа въ рукахъ у него, а, можетъ быть, и совсѣмъ ни у кого нѣтъ; да и не способенъ онъ на такія пронырства, грѣхъ вамъ и подозревать. Сами вы оба только сочинили себѣ эту вражду...

— Документъ есть, а онъ способенъ на все. И чтожь, вхожу вчера и первый встрѣча—се petit espion, котораго онъ князю навязалъ.

— Эхъ, се petit espion. Во первыхъ, вовсе и не espion, потому что это я, а его настояла къ князю помѣстить, а то онъ въ Москвѣ помѣшался-бы, или померъ съ голоду,—вотъ какъ его аттестовали отсюда; и главное, этотъ грубый мальчишка даже совсѣмъ дурачокъ, гдѣ ему быть шпиономъ?

— Да, какой-то дурачокъ, что впрочемъ не мѣшаетъ ему стать мерзавцемъ. Я только была въ досадѣ, а то бы умерла вчера со смѣху: поблѣднѣлъ, подбѣжалъ, расшаркивается, по французски заговорилъ. А въ Москвѣ Марья Ивановна меня о немъ, какъ о гени, увѣряла. Что несчастное письмо это цѣло и гдѣ-то находится въ самомъ опасномъ мѣстѣ—это я, главное, по лицу этой Марьи Ивановны заключила.

— Красавица вы моя! Да вѣдь вы сами же говорите, что у ней нѣтъ ничего!

— То-то и есть, что есть: она только лжетъ, и какая это, я вамъ скажу, искусница! Еще до Москвы у меня все еще оставалась надежда, что не осталось никакихъ бумагъ, но тутъ, тутъ...

— Ахъ, милая, напротивъ, это, говорятъ, доброе и разсудительное существо, ее покойникъ выше всѣхъ своихъ племянницъ цѣнилъ. Правда, я ее не такъ знаю, но—вы бы ее обольстили, моя красавица! Вѣдь побѣдить вамъ ничего не стоитъ, вѣдь я же старуха—вотъ влюблена же въ васъ и сейчасъ васъ целовать примусь... Ну, что бы стоило вамъ ее обольстить!

— Обольщала, Татьяна Павловна, пробовала, въ восторгъ даже ее привела, да хитра ужъ и она очень... Нѣтъ, тутъ цѣлый характеръ, и особый, московскій... И представьте, посоветовала мнѣ обратиться къ одному здѣшнему Крафту, бывшему помощнику у Андроникова, авось-дескать онъ что знаетъ. О Крафтѣ этомъ я уже имѣю понятіе и даже мелькомъ помню его; но какъ сказала она мнѣ про этого Крафта, тутъ только я и увѣрилась, что ей не просто неизвѣстно, а что она знаетъ и все знаетъ.

— Да почему-же, почему-же? А вѣдь, пожалуй, что и можно-бы у него справиться! Этотъ нѣмецъ, Крафтъ, не болтунъ и, я помню, пречестный—право, разспросить-бы его! Только его, кажется, теперь въ Петербургѣ нѣтъ...

— О, вернулся еще вчера, я сейчасъ у него была... Я именно и пришла къ вамъ въ такой тревогѣ, у меня руки-ноги дрожать, я хотѣла васъ попросить, ангель мой, Татьяна Павловна, такъ какъ вы всѣхъ знаете, нельзя-ли узнать хоть въ бумагахъ его, потому что непременно: теперь отъ него остались бумаги, такъ къ кому-жь они теперь отъ него пойдутъ? Пожалуй, опять въ чьи-нибудь опасныя руки попадутъ? Я вашего совѣта прибѣжала спросить.

— Да про какія вы это бумаги? не понимала Татьяна Павловна:—да вѣдь вы же говорите, что сейчасъ сами были у Крафта?

— Была, была, сейчасъ была, да онъ застрѣлился! Вчера еще вечеромъ.

Я вскочилъ съ кровати. Я могъ высидѣть, когда меня называли шпиономъ и идиотомъ, и чѣмъ дальше онъ уходилъ въ своемъ разговорѣ, тѣмъ менѣе мнѣ казалось возможнымъ появиться. Это было-бы невообразимо! Я рѣшилъ въ душѣ высидѣть, замирая, пока Татьяна Павловна выпроводитъ гостью, — (если на мое счастье сама не войдетъ раньше зачѣмъ нибудь въ спальню), а потомъ, какъ уйдетъ Ахмакова, — пусть тогда мы хоть подеремся съ Татьяной Павловной!... Но вдругъ теперь, когда я, услышавъ о Крафтѣ, вскочилъ съ кровати, меня всего обхватило, какъ судорогой. Не думая ни о чемъ, не разсуждая и не воображая, я шагнулъ, поднялъ портьеру и очутился передъ ними обѣими. Еще было достаточно свѣтло для того, чтобъ меня разглядѣть, блѣднаго и дрожащаго... Обѣ вскрикнули. Да какъ и не вскрикнуть?

— Крафтъ? пробормоталъ я, обращаясь къ Ахмаковой:—застрѣлился? Вчера? На закатѣ солнца?

— Гдѣ ты былъ? Откуда ты? взвизгнула Татьяна Павловна и буквально вцѣпилась мнѣ въ плечо:—ты шпионилъ? Ты подслушивалъ?

— Что я вамъ сейчасъ говорила? встала съ дивана Катерина Николаевна, указывая ей на меня.

Я вышелъ изъ себя.

— Ложь, вздоръ! прервалъ я ее неистово:—вы сейчасъ называли меня шпиономъ, о Боже! Стоить-ли не только шпионить, но даже и жить на свѣтѣ подлѣ такихъ, какъ вы! Великодушный человекъ кончаетъ самоубійствомъ, Крафтъ застрѣлился—изъ-за идеи, изъ за Гекубы... Впрочемъ, гдѣ вамъ знать про Гекубу!... А тутъ — живи между вашихъ интригъ, валандайся около вашей лжи, обмановъ, подлоповъ... Довольно!

— Дайте ему въ щеку! Дайте ему въ щеку! прокричала Татьяна Павловна, а такъ какъ Катерина Николаевна хоть и смотрѣла на меня (я помню все до черточки), не сводя глазъ, но не двигалась съ мѣста, то Татьяна Павловна, еще мгновение, и навѣрно-бы сама исполнила свой совѣтъ, такъ что я невольно поднялъ руку, чтобъ защитить лицо; вотъ изъ за этого-то движенія ей и показалось, что я самъ замахиваюсь.

— Ну, ударь, ударь! Докажи, что хамъ отъ роду: ты сильнѣе женщинъ, чего-жь церемониться!

— Довольно клеветы, довольно! закричалъ я.—Никогда я не поднималъ руки на женщину! Везстыдница вы, Татьяна Павловна, вы всегда меня презирали. О, съ людьми надо обращаться не уважая ихъ! Вы смѣетесь, Катерина Николаевна, вѣроятно, надъ моей фигурой; да, Богъ не далъ мнѣ фигуры, какъ у вашихъ адъютантовъ. И однако же я чувствую себя не униженнымъ передъ вами, а, напротивъ, возвышеннымъ... Ну, все равно, какъ бы ни выразиться, но только я не виноватъ! Я попалъ сюда нечаянно, Татьяна Павловна: виновата одна ваша чухонка, или, лучше сказать, ваше къ ней пристрастіе: зачѣмъ она мнѣ на мой вопросъ не отвѣтила, и прямо меня сюда привела? А потомъ, согласитесь сами, выскочить изъ спальни женщины мнѣ уже показалось до того монструознымъ, что я рѣшился скорѣе молча выносить ваши плевки, но не показываться... Вы опять смѣетесь, Катерина Николаевна?

— Пошелъ вонъ, пошелъ вонъ, иди вонъ! прокричала Татьяна Павловна, почти толкая меня. — Не считайте ни во что его вранье, Катерина Николаевна: я вамъ сказала, что оттуда его за помѣшаннаго аттестовали!

— За помѣшаннаго? Оттуда? Кто бы это такой и откуда? Все равно, довольно. Катерина Николаевна! Клянусь вамъ всѣмъ, что есть святаго,

разговоръ этотъ и все, что я слышалъ, останется между нами... Чѣмъ я виноватъ, что узналъ ваши секреты? Тѣмъ болѣе, что я кончаю мои занятія съ вашимъ отцомъ завтра же, такъ что на счетъ документа, который вы разыскиваете, можете быть спокойны!

— Что это?.. Про какой документъ говорите вы? смутилась Катерина Николаевна, и даже до того, что поблѣднѣла, или, можетъ быть, такъ мнѣ показалось. Я понялъ, что слишкомъ уже много сказалъ.

Я быстро вышелъ; онѣ молча проводили меня глазами и въ высшей степени удивленіе было въ ихъ взглядѣ. Однимъ словомъ, я задалъ загадку...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

Я спѣшилъ домой и—чуждое дѣло—я былъ очень доволенъ собою. Такъ, конечно, не говорятъ съ женщинами, да еще съ такими женщинами,—вѣрнѣе сказать съ такою женщиной, потому что Татьяну Павловну я не считалъ. Можетъ быть, никакъ нельзя сказать въ лицо женщинѣ такого разряда: „наплевать на ваши интриги“, но я сказалъ это и былъ именно этимъ-то и доволенъ. Не говоря о другомъ, я, по крайней мѣрѣ, былъ увѣренъ, что этимъ тѣномъ затеръ все смѣшное, бывшее въ моемъ положеніи. Но очень много думать объ этомъ было некогда: у меня въ головѣ сидѣлъ Крафтъ. Не то, чтобъ онъ меня такъ ужь очень мучилъ, но все таки я былъ потрясенъ до основанія, и даже до того, что обыкновенное человѣческое чувство нѣкотораго удовольствія при чужомъ несчастіи, т. е. когда кто сломаетъ ногу, потеряетъ честь, лишится любимаго существа и проч., даже обыкновенное это чувство подлаго удовлетворенія безслѣдно уступило во мнѣ другому, чрезвычайно цѣльному ощущенію, именно горю: сожалѣнію о Крафтѣ, то есть сожалѣнію-ли, не знаю, но какому-то весьма сильному и доброму чувству. И этимъ я былъ тоже доволенъ. Удивительно, какъ много постороннихъ мыслей способно мелькнуть въ умѣ именно когда весь потрясенъ какиѣмъ нибудь колоссальнымъ извѣстіемъ, которое, по настоящему, должно бы было, кажется, задавить другія чувства и разогнать всѣ постороннія мысли, особенно мелкія, а мелкія-то напротивъ и лѣзутъ. Помню еще, что меня всего охватила мало по малу довольно чувствительная нервная дрожь, которая и продолжалась нѣсколько минутъ, и даже все время, пока я былъ дома и объяснялся съ Веряловымъ.

Объясненіе это послѣдовало при странныхъ и необыкновенныхъ об-

стоятельствахъ. Я уже упоминалъ, что мы жили въ особомъ флигелѣ на дворѣ; эта квартира была помѣчена тринадцатымъ номеромъ. Еще не войдя въ ворота, я услышалъ женскій голосъ, спрашивавшій у кого-то громко, съ нетерпѣніемъ и раздраженіемъ: „гдѣ квартира № 13?“ Это спрашивала дама, тутъ же близъ воротъ, отворивъ дверь въ мелочную лавочку; но ей тамъ, кажется, ничего не отвѣтили, или даже прогнали, и она сходила съ крылечка внизъ, съ надрывомъ и злобой.

— Да гдѣ же здѣсь дворникъ? прокричала она, топнувъ ногой. Я давно уже узналъ этотъ голосъ.

— Я иду въ квартиру № 13, подошелъ я къ ней:—кого угодно?

— Я уже цѣлый часъ ищу дворника, у всѣхъ спрашиваю, по всѣмъ лѣстницамъ взбиралась.

— Это на дворѣ. Вы меня не узнаете?

Но она уже узнала меня.

— Вамъ Версилова; вы имѣете до него дѣло, и я тоже, продолжалъ я:—я пришелъ съ нимъ распроститься на вѣки. Пойдемте.

— Вы его сынъ?

— Это ничего не значить. Впрочемъ, положимъ, что сынъ, хотя я Долгорукій, я незаконнорожденный. У этого господина бездна незаконнорожденныхъ дѣтей. Когда требуютъ совѣсть и честь, и родной сынъ уходитъ изъ дому. Это еще въ библіи. Къ тому же онъ получилъ наследство, а я не хочу раздѣлять его, и иду съ трудами рукъ моихъ. Когда надо, великодушный жертвуетъ даже жизнью; Крафтъ застрѣлился, Крафтъ, изъ за идеи, представьте, молодой человекъ, подавалъ надежды... Сюда, сюда! Мы въ отдѣльномъ флигелѣ. А это еще въ библіи дѣти отъ отцовъ уходятъ и свое гнѣздо основываютъ... Коли идея влечетъ... коли есть идея! Идея главное, въ идеѣ все...

Я ей болталъ въ этомъ родѣ все время, пока мы взбирались къ намъ. Читатель, вѣроятно, замѣчаетъ, что я себя не очень щажу и отлично, гдѣ надо, аттестую: я хочу выучиться говорить правду. Версиловъ былъ дома. Я вошелъ не сбросивъ пальто, она тоже. Одѣта она была ужасно жидко: на темномъ платьишкѣ болтался сверху лоскуточекъ чего-то, долженствовавшій изображать плащъ или мантилью; на головѣ у ней была старая, облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая. Когда мы вошли въ залу, мать сидѣла на своемъ обычномъ мѣстѣ за работой, а сестра вышла поглядѣть изъ своей комнаты и остановилась въ дверяхъ. Версиловъ, по обыкновенію, ничего не дѣлалъ и поднялся намъ на встрѣчу; онъ уставился на меня строгимъ, вопрошательнымъ взглядомъ.

— Я тутъ не причеиъ, посиѣшилъ я отмахнуться, и сталъ въ сторонкѣ:—я встрѣтилъ эту особу лишь у воротъ; она васъ розыскивала и никто не могъ ей указать. Я же по своему собственному дѣлу, которое буду имѣть удовольствіе объяснить послѣ нихъ...

Версильовъ все таки продолжалъ меня любопытно разглядывать.

— Позвольте, нетерпѣливо начала дѣвушка. Версильовъ обратился къ ней.

— Я долго думала, почему вамъ вздумалось оставить у меня вчера деньги... Я... однимъ словомъ... Вотъ ваши деньги! почти взвизгнула она, какъ давеча, и бросила пачку кредитовъ на столъ, — а васъ въ адресномъ столѣ должна была розыскивать, а то бы раньше принесла. Слушайте, вы! повернулась она вдругъ къ матери, которая вся поблѣднѣла: — я не хочу васъ оскорблять, вы имѣете честный видъ и, можетъ быть, это даже ваша дочь. Я не знаю, жена ли вы ему, но знайте, что этотъ господинъ вырѣзаетъ газетныя объявленія, гдѣ на послѣднія деньги публикуются гувернантки и учительницы, и ходитъ по этимъ несчастнымъ, отыскивая безчестной поживы и втягивая ихъ въ бѣду деньгами. Я не понимаю, какъ я могла взять отъ него вчера деньги: онъ имѣлъ такой честный видъ!.. Прочь, ни одного слова! Вы негодай, милостивый государь! Еслибъ вы даже были и съ честными намѣреніями, то я не хочу вашей милостыни. Ни слова, ни слова! О, какъ я рада, что обличила васъ теперь передъ вашими женщинами! Будьте вы прокляты!

Она быстро выбѣжала, но съ порога повернулась на одно мгновеніе, чтобъ только крикнуть:

— Вы, говорятъ, наслѣдство получили!

И затѣмъ исчезла какъ тѣнь. Напоминаю еще разъ: это была изступленная. Версильовъ былъ глубоко пораженъ: онъ стоялъ какъ бы задумавшись и что-то соображая; наконецъ, вдругъ повернулся ко мнѣ:

— Ты ее совсѣмъ не знаешь?

— Случайно давеча видѣлъ, какъ она бѣсновалась въ корридорѣ у Васина, визжала и проклинала васъ; но въ разговоры не вступала и ничего не знаю, а теперь встрѣтилъ у воротъ. Вѣроятно, это та самая, вчерашняя учительница „дающая уроки изъ ариѳметики“?

— Это та самая. Разъ въ жизни сдѣлалъ доброе дѣло и... А, впрочемъ, что у тебя?

— Вотъ это письмо, отвѣтилъ я. Объяснять считаю ненужнымъ: оно идетъ отъ Крафта, а тому досталось отъ покойнаго Андроникова. По содержанію узнаете. Прибавлю, что никто въ цѣломъ мірѣ не

знаеть теперь объ этомъ письмѣ, кромѣ меня, потому что Крафтъ, передавъ мнѣ вчера это письмо, только что я вышелъ отъ него, застрѣлился...

Пока я говорилъ, запыхавшись и торопясь, онъ взялъ письмо въ руки и, держа его въ лѣвой рукѣ на отлетѣ, внимательно слѣдилъ за мной. Когда я объявилъ о самоубійствѣ Крафта, я съ особымъ вниманіемъ всмотрѣлся въ его лицо, чтобъ увидѣть эффектъ. И что же? — Извѣстіе не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія: даже хотъ бы брови поднялъ! Напротивъ, видя, что я остановился, вытасилъ свой лорнетъ, никогда не оставлявшій его и висѣвшій на черной лентѣ, поднесъ письмо къ свѣчкѣ и, взглянувъ на подпись, пристально сталъ разбирать его. Не могу выразить, какъ я былъ даже обиженъ этимъ высокомернымъ безчувствіемъ. Онъ очень хорошо долженъ былъ знать Крафта: къ тому же все таки такое необыкновенное извѣстіе! Наконецъ, мнѣ, натурально, хотѣлось, чтобъ оно производило эффектъ. Подождавъ съ полминуты и зная, что письмо длинно, я повернулся и вышелъ. Чемоданъ мой былъ давно готовъ, оставалось упрятать лишь нѣсколько вещей въ узелъ. Я думалъ о матери и что такъ и не подошелъ къ ней. Черезъ десять минутъ, когда уже я былъ совсѣмъ готовъ и хотѣлъ идти за извощикомъ, вошла въ мою свѣтелку сестра.

— Вотъ мама посылаетъ тебѣ твои шестьдесятъ рублей и опять просить извинить ее за то, что сказала про нихъ Андрею Петровичу, да еще двадцать рублей. Ты далъ вчера за содержаніе свое пятьдесятъ; мама говоритъ, что больше тридцати съ тебя никакъ нельзя взять, потому что пятидесяти на тебя не вышло, и двадцать рублей посылаетъ сдачи.

— Ну, и спасибо, если только она говоритъ правду. Прощай сестра, ѣду!

— Куда ты теперь?

— Пока на постоялый дворъ, чтобъ только не ночевать въ этомъ домѣ. Скажи мамѣ, что я люблю ее.

— Она это знаетъ. Она знаетъ, что ты и Андрея Петровича тоже любишь. Какъ тебѣ не стыдно, что ты эту несчастную привелъ!

— Клянусь тебѣ, не я: я ее у воротъ встрѣтилъ.

— Нѣтъ, это ты привелъ.

— Увѣряю тебя...

— Подумай, спроси и увидишь, что и ты былъ причиною.

— Я только очень радъ былъ, что осрамили Версилова. Вообрази, у него грудной ребенокъ отъ Лидіи Ахмаковой... впрочемъ, чтожь, я тебѣ говорю...

— У него? Грудной ребенокъ? Но это не его ребенокъ! Откуда ты слышала такую неправду?

— Ну, гдѣ тебѣ знать.

— Миѣ-то не знать? Да я же и нянчила этого ребенка въ Лугѣ. Слушай, братъ: я давно вижу, что ты совсѣмъ ни про что не знаешь, а между тѣмъ, оскорбляешь Андрея Петровича—ну, и маму тоже.

— Если онъ правъ, то я буду виноватъ, вотъ и все, а васъ я не меньше люблю. Отчего ты такъ покраснѣла, сестра? Ну вотъ, еще пуще теперь! Ну, хорошо, а все таки я этого князька на дуэль вызову за пощечину Версильову въ Эмсѣ. Если Версильовъ былъ правъ съ Ахмаковой, такъ тѣмъ паче.

— Братъ, опомнись, что ты!

— Благо въ судѣ теперь дѣло кончено... Ну вотъ, теперь поблѣднѣла.

— Да князь и не пойдетъ съ тобой, улыбнулась сквозь испугъ блѣдною улыбкой Лиза.

— Тогда я публично осрамлю его. Что съ тобой, Лиза?

Она до того поблѣднѣла, что не могла стоять на ногахъ и опустилась на диванъ.

— Лиза! послышался снизу зовъ матери.

Она оправилась и встала; она ласково миѣ улыбалась.

— Братъ, оставь эти пустяки или пережди до времени, пока многое узнаешь: ты ужасно какъ мало знаешь.

— Я буду помнить, Лиза, что ты поблѣднѣла, когда услышала, что я пойду на дуэль.

— Да, да, вспомни и объ этомъ! улыбнулась она еще разъ на прощанье, и сошла внизъ.

Я призвалъ извозчика и, съ его помощью, вытащилъ изъ квартиры мои вещи. Никто изъ домашнихъ не противорѣчилъ миѣ и не остановилъ меня. Я не зашелъ проститься съ матерью, чтобъ не встрѣтиться съ Версильовымъ. Когда я уже усѣлся на извозника, у меня вдругъ мелькнула мысль:

— На Фонтанку, къ Семеновскому мосту, скомандовалъ я внезапно и отправился опять къ Васину.

II.

Миѣ вдругъ подумалось, что Васинъ уже знаетъ о Крафтѣ и, можетъ быть, во сто разъ больше меня; точно такъ и вышло. Васинъ

тотчасъ же и обязательно мнѣ сообщилъ всѣ подробности безъ большаго, впрочемъ, жару; я заключилъ, что онъ утомился, да и впрямь такъ было. Онъ самъ былъ утромъ у Крафта. Крафтъ застрѣдился изъ револьвера (изъ того самаго) вчера, уже въ полныя сумерки, что явствовало изъ его дневника. Последняя отмѣтка сдѣлана была въ дневникѣ передъ самымъ выстрѣломъ, и онъ замѣчаетъ въ ней, что пишетъ почти въ темнотѣ, едва разбирая буквы; свѣчку же зажечь не хочетъ, боясь оставить послѣ себя пожаръ. „А зажечь, чтобъ предъ выстрѣломъ опять потушить, какъ и жизнь мою, не хочу“—страннымъ прибавилъ онъ чуть не въ послѣдней строчкѣ. Этотъ предсмертный дневникъ свой онъ затѣялъ еще третьяго дня, только что воротился въ Петербургъ, еще до визита къ Дергачеву; послѣ же моего ухода вписывалъ въ него каждыя четверть часа; самыя же послѣднія три-четыре замѣтки записывалъ въ каждыя пять минутъ. Я громко удивился тому, что Васинъ, имѣя этотъ дневникъ столько времени передъ глазами (ему дали прочитать его), не снялъ копій, тѣмъ болѣе, что было не болѣе листа кругомъ и замѣтки все короткія, — „хотя бы послѣднюю-то страничку!“ Васинъ съ улыбкою замѣтилъ мнѣ, что онъ и такъ помнить, притомъ: замѣтки безъ всякой системы, о всемъ, чтѣ на умъ взбредеть. Я сталъ было убѣждать, что это-то въ данномъ случаѣ и драгоцѣнно, но бросилъ и сталъ приставать, чтобъ онъ что нибудь припомнилъ, и онъ припомнилъ нѣсколько строкъ, примѣрно за часъ до выстрѣла, о томъ „что его знобитъ:“ „что онъ, чтобы согрѣться, думалъ было выпить рюмку, но мысль, что отъ этого, пожалуй, сильнѣе кровоизліяніе—остановила его.“ Все почти въ этомъ родѣ, заключилъ Васинъ.

— И это вы называете пустяками! воскликнулъ я.

— Гдѣ же я называлъ? Я только не снялъ копій. Но хоть и не пустяки, а дневникъ, дѣйствительно, довольно обыкновенный, или, вѣрнѣе, естественный, то есть именно такой, какой долженъ быть въ этомъ случаѣ...

— Но вѣдь послѣднія мысли, послѣднія мысли!

— Последнія мысли иногда бываютъ чрезвычайно ничтожны. Одинъ такой же самоубійца именно жалуется въ такомъ же своемъ дневникѣ, что въ такой важной часъ, хоть бы одна „выспая мысль“ посѣтила его, а напротивъ, все такія мелкія и пустыя.

— И о томъ, чтѣ знобитъ, тоже пустая мысль?

— То есть вы собственно про ознобъ или про кровоизліяніе? Между тѣмъ, фактъ извѣстенъ, что очень многіе изъ тѣхъ, которые въ силахъ думать о своей предстоящей смерти, самовольной или нѣтъ, весьма

часто наклонны заботиться о благообразіи вида, въ какомъ останется ихъ трупъ. Въ этомъ смыслѣ и Крафтъ побоялся излишняго кровоизліянія.

— Я не знаю, извѣстенъ ли этотъ фактъ... и такъ ли это, про-
бормоталъ я:—но я удивляюсь, что вы считаете это все такъ есте-
ственнымъ, а, между тѣмъ, давно-ли Крафтъ говорилъ, волновался, си-
дѣлъ между нами? Неужто вамъ хоть не жаль его?

— О, конечно жалко, и это совсѣмъ другое дѣло; но, во всякомъ
случаѣ, самъ Крафтъ изобразилъ смерть свою въ видѣ логическаго вы-
вода. Оказывается, что все, чтò говорили вчера у Дергачева о немъ,
справедливо: послѣ него осталась вотъ этакая тетрадь ученыхъ выво-
довъ о томъ, что русскіе—порода людей второстепенная, на основаніи
френелогіи, краниологіи и даже математики, и что, стало быть, въ ка-
чествѣ русскаго, совсѣмъ не стоитъ жить. Если хотите, тутъ харак-
тернѣе всего то, что можно сдѣлать логическій выводъ какой угодно;
но взять и застрѣлиться вслѣдствіе вывода — это, конечно, не всегда
бываетъ.

— По крайней мѣрѣ, надобно отдать честь характеру.

— Можетъ быть и не одному этому, уклончиво замѣтилъ Васинъ,
но ясно, что онъ подразумѣвалъ глупость или слабость разсудка. Меня
все это раздражало.

— Вы сами говорили вчера про чувства, Васинъ.

— Не отрицаю и теперь; но въ виду совершившагосѧ факта, что-
то до того представляется въ немъ грубо ошибочнымъ, что суровый
взглядъ на дѣло по неволѣ какъ-то вытѣсняетъ даже и самую жалость.

— Знаете чтò: я по вашимъ глазамъ еще давеча догадался, что
вы будете хулить Крафта, и чтобы не слышать хулы, положилъ не
добиваться вашего мнѣнія; но вы его сами высказали и я по неволѣ
принужденъ согласиться съ вами; а, между тѣмъ, я недоволенъ вами!
Мнѣ жаль Крафта.

— Знаете, мы далеко зашли...

— Да, да, перебилъ я:—но утѣшительно, по крайней мѣрѣ, то,
что всегда въ такихъ случаяхъ оставшіеся въ живыхъ, судьи покой-
наго, могутъ сказать про себя: „хоть и застрѣлился человѣкъ, достой-
ный всякаго сожалѣнія и снисхожденія, но все же остались мы, а, ста-
ло быть, тужить много нечего“.

— Да, разумѣется, если съ такой точки... Ахъ, да вы, кажет-
ся, пошутили! И преумно. Я въ это время пью чай и сейчасъ при-
кажу: вы, вѣроятно, сдѣлаете компанію.

И онъ вышелъ, обмѣривъ глазами мой чемоданъ и узелъ.

Мнѣ, дѣйствительно, захотѣлось-было сказать чтонибудь позлѣе, въ отместку за Крафта; я и сказалъ какъ удалось; но любопытно, что онъ принялъ-было сначала мою мысль о томъ, что „остались такіе, какъ мы“, за серьезную. Но такъ или нѣтъ, а все таки онъ во всемъ былъ правѣ меня, даже въ чувствахъ. Сознался я въ этомъ безъ всякаго неудовольствія, но рѣшительно почувствовалъ, что не люблю его.

Когда внесли чай, я объяснилъ ему, что попрошу его гостеприимства всего только на одну ночь, и что если нельзя, то пусть скажетъ и я переѣду на постоянный дворъ. Затѣмъ вкратцѣ изложилъ мои причины, выставивъ прямо и просто, что поссорился съ Версиловымъ окончательно, не вдаваясь при этомъ въ подробности. Васинъ выслушалъ внимательно, но безъ всякаго волненія. Вообще, онъ отвѣчалъ только на вопросы, хотя отвѣчалъ радушно и въ достаточной полнотѣ. Преписьмо же, съ которымъ я приходилъ къ нему давеча просить совѣта—я совѣмъ умолчалъ; а давешнее посѣщеніе мое объяснилъ, какъ простой визитъ. Давъ слово Версикову, что письмо это, кромѣ меня, никому не будетъ извѣстно, я почелъ уже себя не въ правѣ объявлять о немъ кому бы то ни было. Мнѣ особенно почему-то противно стало сообщать о иныхъ дѣлахъ Васину. О иныхъ, но не о другихъ: мнѣ все таки удалось заинтересовать его разсказами о давешнихъ сценахъ въ корридорѣ и у сосѣдокъ, кончившихся въ квартирѣ Версикова. Онъ выслушалъ чрезвычайно внимательно, особенно о Стебельковѣ. О томъ, какъ Стебельковъ разспрашивалъ про Дергачева, онъ заставилъ повторить два раза и даже задумался; впрочемъ, все таки подъ конецъ усмѣхнулся. Мнѣ вдругъ въ это мгновеніе показалось, что Васина ничто и никогда не можетъ поставить въ затрудненіе; впрочемъ, первая мысль объ этомъ, я помню, представилась мнѣ въ весьма лестной для него формѣ.

— Вообще, я не могъ многого извлечь изъ того, что говорилъ господи́нь Стебельковъ, заключилъ я о Стебельковѣ: — онъ какъ-то сбивчиво говорить... и какъ будто въ немъ что-то такое легкомысленное...

Васинъ тотчасъ же сдѣлалъ серьезный видъ.

— Онъ, дѣйствительно, даромъ слова не владеетъ, но только съ перваго взгляда ему удавалось дѣлать чрезвычайно мѣткія замѣчанія и вообще—это болѣе люди дѣла, аферы, чѣмъ обобщающей мысли; ихъ надо съ этой точки судить...

Точь въ точь какъ я угадалъ давеча.

— Однакожь, онъ ужасно набунтовалъ у вашихъ сосѣдокъ и, Богъ знаетъ, чѣмъ бы могло кончиться.

О сосѣдкахъ Васинь сообщилъ, что живутъ онѣ здѣсь недѣли съ три, и откуда-то прѣехали изъ провинціи; что комната у нихъ чрезвычайно маленькая и, по всему видно, что онѣ очень бѣдны, что онѣ сидятъ и чего-то ждутъ. Онъ не зналъ, что молодая публиковалась въ газетахъ какъ учительница, но слышалъ, что къ нимъ приходилъ Версиловъ; это было въ его отсутствіе, а ему передала хозяйка. Сосѣдки, напротивъ, всѣхъ чуждаются и даже самой хозяйки. Въ послѣдніе самые дни и онъ сталъ замѣчать, что у нихъ, дѣйствительно, что-то неладно, но такихъ сценъ, какъ сегодня, не было. Всѣ эти наши толки о сосѣдкахъ я припоминаю въ виду послѣдствій; у самихъ же сосѣдокъ за дверью въ это время царствовала мертвая тишина. Съ особеннымъ интересомъ выслушалъ Васинь, что Стебельковъ предполагалъ необходимымъ поговорить на счетъ сосѣдокъ съ хозяйкой, и что повторилъ два раза: „Вотъ увидите, вотъ увидите!“ И увидите, прибавилъ Васинь:—что ему пришло это въ голову не даромъ; у него, на этотъ счетъ, презорный взглядъ.

— Чтожъ, по вашему, посоветовать хозяйкѣ ихъ выгнать?

— Нѣтъ, я не про то, чтобъ выгнать, а чтобы не вышло какой исторіи... Впрочемъ, всѣ этакія исторіи, такъ или такъ, но кончаются... Оставимъ это.

На счетъ же посѣщенія сосѣдокъ Версиловымъ, онъ рѣшительно отказался дать заключеніе.

— Все можетъ быть; человекъ почувствовалъ въ карманѣ у себя деньги... Впрочемъ, вѣроятно и то, что онъ просто подаль милостыню; это—въ его преданіяхъ, а, можетъ быть, и въ наклонностяхъ.

Я рассказалъ, что Стебельковъ болталъ давеча про „груднаго ребенка“.

— Стебельковъ, въ этомъ случаѣ, совершенно ошибается, съ особенною серьезностью и съ особеннымъ удареніемъ произнесъ Васинь (и это я слишкомъ запомнилъ). Стебельковъ, продолжалъ онъ:—слишкомъ вѣрится иногда своему практическому здравомыслію, а потому и спѣшить сдѣлать выводъ сообразно съ своей логикой, нерѣдко весьма проницательной; между тѣмъ, происшествіе можетъ имѣть на дѣлѣ гораздо болѣе фантастическій и неожиданный колоритъ, взявъ во вниманіе дѣйствующихъ лицъ. Такъ случилось и тутъ; зная дѣло отчасти, онъ заключилъ, что ребенокъ принадлежитъ Версипову; и, однако, ребенокъ не отъ Версипова.

Я присталъ къ нему, и вотъ что узналъ къ большому моему удивленію: ребенокъ былъ отъ князя Сергѣя Сокольскаго. Лидія Ахмакова,

вслѣдствіе ли болѣзни, или просто по фантастичности характера, дѣйствовала иногда, какъ нежѣшанная. Она увлеклась княземъ еще до Версилова, а князь „не затруднился принять ея любовь“, выразился Васиць. Связь продолжалась мгновеніе: они, какъ уже извѣстно, поссорились, и Лидія прогнала отъ себя князя, „чему, кажется, тотъ былъ радъ“. Это была очень странная дѣвушка, прибавилъ Васиць:—очень даже можетъ быть, что она не всегда была въ совершенномъ разсудѣ. Но, уѣзжая въ Парижъ, князь совсѣмъ не зналъ, въ какомъ положеніи оставилъ свою жертву, не зналъ до самаго конца, до своего возвращенія. Версильовъ, сдѣлавшись другомъ молодой особы, предложилъ бракъ съ собой, именно въ виду обозначившагося обстоятельства (котораго, кажется, и родители не подозрѣвали почти до конца). Влюбленная дѣвушка была въ восторгѣ, и въ предложеніи Версильова „видѣла не одно только его самопожертвованіе“, которое тоже, впрочемъ, цѣнила. „Впрочемъ, ужъ, конечно, онъ сумѣлъ это сдѣлать“, прибавилъ Васиць. Ребенокъ (дѣвочка) родился за мѣсяць или за шесть недѣль раньше срока, былъ помѣщенъ гдѣ-то въ Германіи же, но потомъ Версильовымъ взятъ обратно и теперь гдѣ-то въ Россіи, можетъ быть, въ Петербургѣ.

— А фосфорныя спички?

— Про это я ничего не знаю, заключилъ Васиць.—Лидія Ахмакова умерла недѣли двѣ спустя послѣ своего разрѣшенія: чтъ тутъ случилось—не знаю. Князь, только лишь возвратясь изъ Парижа, узналъ, что былъ ребенокъ, и, кажется, сначала не повѣрилъ, что отъ него... Вообще, эту исторію со всѣхъ сторонъ держать въ секретѣ даже до сихъ поръ.

— Но каковъ же этотъ князь! вскричалъ я въ негодованіи. — Каковъ поступокъ съ больной дѣвушкой!

— Она не была тогда еще такъ больна... Притомъ она сама прогнала его... Правда, онъ, можетъ быть, излишне успѣшилъ воспользоваться своей отставкой.

— Вы оправдываете такого подлеца?

— Нѣтъ, я только не называю его подлецомъ. Тутъ много другого, кромѣ прямой подлости. Вообще, это дѣло довольно обыкновенное.

— Скажите, Васиць, вы знали его коротко? Мнѣ особенно хотѣлось бы довѣриться вашему мнѣнію, въ виду одного очень касающагося меня обстоятельства.

Но тутъ Васиць отвѣчалъ какъ-то слишкомъ ужъ сдержанно. Князя онъ зналъ, но при какихъ обстоятельствахъ съ нимъ познакомился—съ подросткомъ.

видимымъ намѣреніемъ умолчать. Далѣе сообщилъ, что по характеру своему онъ достоинъ нѣкотораго снисхожденія. „Онъ полонъ честныхъ наклонностей и впечатлительнъ, но не обладаетъ ни разсудкомъ, ни силою воли, чтобы достаточно управлять своими желаніями“. Это — человекъ необразованный; множество идей и явленій ему не по силамъ, а между тѣмъ онъ на нихъ бросается. Онъ, напримѣръ, будетъ вамъ навязчиво утверждать въ такомъ родѣ: „Я князь и происхожу отъ Рюрика; но почему мнѣ не быть сапожникомъ подмастерьемъ, если надо зарабатывать хлѣбъ, а въ другому занятію я неспособенъ? На вывѣскѣ будетъ; „сапожникъ князь такой-то“ — даже благородно. Скажетъ и сдѣлаетъ — вотъ вѣдь главное, прибавилъ Васинъ: — а между тѣмъ тутъ совѣтъ не сила убѣжденія, а лишь одна самая легкомысленная впечатлительность. Зато потомъ несомнѣнно придетъ и раскаяніе, и тогда онъ всегда готовъ на какую нибудь совершенно обратную крайность; въ томъ и вся жизнь. Въ нашъ вѣкъ много людей попались въ просакъ такимъ образомъ, заключилъ Васинъ: — именно тѣмъ, что родились въ наше время.

Я невольно задумался.

— Правда ли, что онъ прежде изъ полка былъ выгнанъ? спра-
вился я.

— Я не знаю, выгнанъ ли, но онъ оставилъ полкъ, въ самомъ дѣлѣ, по непріятностямъ. Вамъ извѣстно, что онъ прошлаго года осенью, именно будучи въ отставкѣ, мѣсяца два или три прожилъ въ Лугѣ?

— Я... я знаю, что вы тогда жили въ Лугѣ.

— Да, нѣкоторое время и я. Князь тоже былъ знакомъ и съ Ли-
заветой Макаровой.

— Да? Не зналъ я. Признаюсь, я такъ мало разговаривалъ съ сестрой... Но неужели онъ былъ принятъ въ домъ у моей матери? вскри-
чалъ я.

— О, нѣтъ: онъ былъ слишкомъ отдаленно знакомъ, черезъ тре-
тій домъ.

— Да, бишь, что мнѣ говорила сестра про этого ребенка? Развѣ
и ребенокъ былъ въ Лугѣ?

— Нѣкоторое время.

— А теперь гдѣ?

— Непремѣнно въ Петербургѣ.

— Никогда въ жизни не повѣрю, вскричалъ я въ чрезвычайномъ
волненіи: — чтобы мать моя хоть чѣмъ нибудь участвовала въ этой исто-
ріи, съ этой Лидіей!

— Въ этой исторіи, кромѣ всѣхъ этихъ интригъ, которыхъ я не беру съ разбирательствомъ, собственно роль Версилова не имѣла въ себѣ ничего особенно предосудительнаго, замѣтилъ Васинъ, снисходительно улыбаясь. Ему, кажется, становилось тяжело со мной говорить, но онъ только не показывалъ вида.

— Никогда, никогда не повѣрю, чтобы женщина, вскричалъ я опять:—могла уступить своего мужа другой женщинѣ, этому я не повѣрю!.. Клянусь, что моя мать въ томъ не участвовала!

— Кажется, однако, не противорѣчила?

— Я бы изъ гордости одной на ея мѣстѣ не противорѣчилъ!

— Съ моей стороны, я совершенно отказываюсь судить въ такомъ дѣлѣ, заключилъ Васинъ.

Дѣйствительно, Васинъ, при всемъ своемъ умѣ, можетъ быть ничего не смыслилъ въ женщинахъ, такъ что цѣлый циклъ идей и явленій оставался ему неизвѣстенъ. Я замолчалъ. Васинъ временно служилъ въ одномъ акціонерномъ обществѣ и я зналъ, что онъ бралъ себѣ занятія на дождь. На мой настойчивый вопросъ онъ сознался, что у него есть и теперь занятіе—счеты, и я съ жаромъ попросилъ его со мной не церемониться. Это, кажется, доставило ему удовольствіе; но, прежде чѣмъ сѣсть за бумаги, онъ принялся устраивать мнѣ на диванѣ постель. Первоначально уступилъ мнѣ кровать, но когда я не согласился, то кажется тоже остался доволенъ. У хозяйки достали подушку и одѣяло; Васинъ былъ чрезвычайно вѣжливъ и любезенъ, но мнѣ какъ-то тяжело было глядѣть, что — такъ изъ за меня хлопочетъ. Мнѣ больше понравилось, когда я разъ, недѣли три тому, заночевалъ нечаянно на Петербургской у Ефима. Помню, какъ онъ стряпалъ мнѣ тогда постель, тоже на диванѣ и потихоньку отъ тетки, предполагая почему-то, что ты разсердится, узнавъ, что къ нему ходятъ ночевать товарищи. Мы очень смѣялись, вмѣсто простыни постлали рубашку, а вмѣсто подушки сложили пальто. Помню, какъ Звѣревъ, окончивъ работу, съ любовью щелкнулъ по дивану и проговорилъ мнѣ:

— Vous dormirez comme un petit roi.

И глупая веселость его, и французская фраза, которая шла къ нему какъ къ коровѣ сѣдло, сдѣлали то, что я съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ выснался тогда у этого шута. Чтò же до Васина, то я чрезвычайно былъ радъ, когда онъ усѣлся, наконецъ, ко мнѣ спиной за свою работу. Я развалился на диванѣ и, смотря ему въ спину, продумалъ долго и о многомъ.

III.

Да и было о чемъ. На душѣ моей было очень смутно, а цѣлаго не было; но нѣкоторыя ощущенія выдавались очень опредѣленно, хотя ни одно не увлекало меня за собою вполне, вслѣдствіе ихъ обилія. Все какъ-то мелькало безъ связи и очереди, а самому мнѣ, помню, совсѣмъ не хотѣлось останавливаться на чемъ нибудь, или заводить очередь. Даже идея о Крафтѣ непримѣтно отошла на второй планъ. Всего болѣе волновало меня мое собственное положеніе, что вотъ уже я „порвалъ“, и чемоданъ мой со мной, и я не дома, и началъ совсѣмъ все новое. Точно до сихъ поръ всѣ мои намѣренія и приготовленія были въ шутку, а только „теперь вдругъ, и главное *внезапно*, все началось уже въ самомъ дѣлѣ“. Эта идея бодрила меня и, какъ ни смутно было на душѣ моей отъ многого, веселила меня. Но... но были и другія ощущенія; одному изъ нихъ особенно хотѣлось выдѣлиться передъ прочими и овладѣть душой моей и, странно, что ощущеніе тоже бодрило меня, какъ будто вызывало на что-то ужасно веселое. А началось однако со страху: я боялся, уже давно, съ самого давеча, что въ жару и врасплохъ слишкомъ проговорился Ахмаковой про документъ. „Да, я слишкомъ много сказалъ, думалъ я, и, пожалуй, онъ о чемъ нибудь догадается... бѣда! Разумѣется, онъ мнѣ не дадутъ покоя, если станутъ подозрѣвать, но... пусть! Пожалуй, и не найдутъ меня — спрячусь! А что, если и въ самомъ дѣлѣ начнутъ за мною бѣгать...“ И вотъ мнѣ начало припоминаться до послѣдней черточки и съ нарастающимъ удовольствіемъ, какъ я стоялъ давеча передъ Катериной Николаевной и какъ ея дерзкіе, но удивленные ужасно глаза смотрѣли на меня въ упоръ. Я и выйдя оставилъ ее въ этомъ удивленіи, припомнилъ я; „глаза ея однако не совсѣмъ черны... рѣсницы лишь очень черны, оттого и глаза кажутся такъ темны...“

И вдругъ, помню, мнѣ стало ужасно омерзительно вспоминать... и досадно, и тошно, и на нихъ, и на себя. Я въ чемъ-то упрекалъ себя и старался думать о другомъ. „Почему у меня нѣтъ ни малѣйшаго негодованія на Версилова за исторію съ сосѣдкой?“ пришло мнѣ вдругъ въ голову. Съ моей стороны, я твердо былъ убѣжденъ, что онъ сыгралъ тутъ любовную роль и приходилъ съ тѣмъ, чтобъ повеселиться, но собственно это не возмущало меня. Мнѣ даже казалось, что иначе его и представить нельзя, и хоть я и въ самомъ дѣлѣ былъ радъ, что его осрамили, но не винилъ его. Мнѣ не то было важно; мнѣ важно было то, что онъ такъ озлобленно посмотрѣлъ на меня, когда я вошелъ съ

сосѣдкой, такъ посмотрѣлъ, какъ никогда. „Наконецъ-то и онъ посмотрѣлъ на меня *серьезно!*“ подумалъ я съ замираніемъ сердца. О, еслибъ я не любилъ его, я бы не обрадовался такъ его ненависти!

Наконецъ я задремалъ и совсѣмъ заснулъ. Помню лишь сквозь сонъ, какъ Васинъ, кончивъ занятіе, аккуратно убрался и, пристально посмотрѣвъ на мой диванъ, раздѣлся и потушилъ свѣчу. Былъ первый часъ пополудни.

IV.

Почти ровно черезъ два часа я вскочилъ съ просонья какъ полоумный и сѣлъ на моею диванъ. Изъ за двери къ сосѣдкамъ раздавались страшные крики, плачь и вой. Наша дверь отворена была настежь, а въ корридоръ, уже освѣщенномъ, кричали и бѣжали люди. Я крикнулъ было Васина, но догадался, что его уже нѣтъ на постели. Не зная, гдѣ найти спички, я напарилъ мое платье и сталъ, торопясь, въ темнотѣ одѣваться. Къ сосѣдкамъ, очевидно, сбѣжались и хозяйка, а, можетъ быть, и жильцы. Вопилъ, впрочемъ, одинъ голосъ, именно пожилой сосѣдки, а вчерашній молодой голосъ, который я слишкомъ хорошо запомнилъ—совсѣмъ молчалъ; помню, что мнѣ это, съ первой мысли, пришло тогда въ голову. Не успѣлъ я еще одѣться, какъ послѣшно вошелъ Васинъ; митомъ, знакомой рукой, отыскалъ спички и освѣтилъ комнату. Онъ былъ въ одномъ бѣльѣ, въ халатѣ и въ туфляхъ и тотчасъ принялся одѣваться.

— Что случилось? крикнулъ я ему.

— Пренепріятное и прехлопотливое дѣло! отвѣтилъ онъ почти злобно:—эта молодая сосѣдка, про которую вы рассказывали, у себя въ комнатѣ повѣсилась.

Я такъ и закричалъ. Передать не могу, до какой степени заняла душа моя! Мы выбѣжали въ корридоръ. Признаюсь, я не осмѣлился войти къ сосѣдкамъ и уже потомъ только увидѣлъ несчастную, уже когда ее сняли, да и тутъ, правда, съ нѣкотораго разстоянія, накрытую простыней, изъ за которой выставлялись двѣ узенькія подошвы ея башмаковъ. Такъ и не заглянулъ почему-то въ лицо. Мать была въ страшномъ положеніи: съ нею была наша хозяйка, довольно мало впрочемъ испуганная. Всѣ жильцы квартиры толпились тутъ же. Ихъ было немного: всего одинъ пожилой морякъ, всегда очень ворчливый и требовательный, и который однако теперь совсѣмъ притихъ, и какіе-то пріѣзжіе изъ Тверской губерніи, старикъ и старуха, мужъ и жена, до-

вольно почтенные и чиновные люди. Не стану описывать всей этой остальной ночи, хлопотъ, а потомъ и официальныхъ визитовъ; вплоть до разсвѣта я буквально дрожала мелкою дрожью и считала обязанностью не ложиться, хотя, впрочемъ, ничего не дѣлала. Да и всѣ имѣли чрезвычайно бодрый видъ, даже какой-то особенно ободренный. Васинъ даже ѣздилъ куда-то. Хозяйка оказалась довольно почтенною женщиной, гораздо лучше, чѣмъ я предполагалъ ее. Я убѣдилъ ее (и вѣнчая себѣ это въ честь), что мать оставить нельзя такъ, одну съ трупомъ дочери, и что хоть до завтра пусть бы она ее перевела въ свою комнату. Та тотчасъ согласилась и, какъ ни билась и ни плакала мать, отказываясь оставить трупъ, однако все таки, наконецъ, перешла къ хозяйкѣ, которая тотчасъ же велѣла поставить самоварчикъ. Послѣ этого и жильцы разошлись по своимъ комнатамъ и затворились, но я все таки ни за что не легъ и долго просидѣлъ у хозяйки, которая даже рада была лишнему человѣку, да еще съ своей стороны, могущему кое-что сообщить по дѣлу. Самоваръ очень пригодился, и вообще самоваръ есть самая необходимая русская вещь, именно во всѣхъ катастрофахъ и несчастіяхъ, особенно ужасныхъ, внезапныхъ и эксцентрическихъ; даже мать выкушала двѣ чашечки, конечно, послѣ чрезвычайныхъ просьбъ и почти насилія. А между тѣмъ, искренно говорю, никогда я не видѣлъ болѣе жестокаго и прямаго горя, какъ смотря на эту несчастную. Послѣ первыхъ взрывовъ рыданій и истерики, она даже съ охотой начала говорить и разсказъ ея я выслушала жадно. Есть несчастныя, особенно изъ женщинъ, которымъ даже необходимо дать какъ можно больше говорить въ такихъ случаяхъ. Кромѣ того, есть характеры, такъ сказать, слишкомъ ужъ обшарканные горемъ, долго всю жизнь терпѣвшіе, претерпѣвшіе чрезвычайно много и большого горя, и постоянного по мелочамъ, и которыхъ ничѣмъ уже не удивишь, никакими внезапными катастрофами, и главное, которые даже передъ гробомъ любимѣйшаго существа не забудутъ ни единого изъ столь дорого доставшихся правилъ искательнаго обхожденія съ людьми. И я не осуждаю: тутъ не пошлость эгоизма и не грубость развитія; въ этихъ сердцахъ, можетъ быть, найдется даже больше золота, чѣмъ у благороднѣйшихъ на видъ героинь, но привычка долгаго приниженія, инстинктъ самосохраненія, долгая запуганность и придавленность берутъ наконецъ свое. Бѣдная самоубійца не походила въ этомъ на каменъку. Лицомъ, впрочемъ, обѣ были, кажется, одна на другую похожи, хотя покойница положительно была недурна собой. Мать же была еще не очень старая женщина, лѣтъ подъ пятьдесятъ всего, такая же бѣлокурая, но

съ ввалившимися глазами и щеками и съ желтыми, большими и неровными зубами. Да и все въ ней отзывалось какой-то желтизной, кожа на лицѣ и рукахъ походила на пергаментъ; темненькое платье ея отъ ветхости тоже совсѣмъ пожелтѣло, а одинъ ноготь, на указательномъ пальцѣ правой руки, не знаю почему, былъ залѣпленъ желтымъ воскомъ тщательно и аккуратно.

Разсказъ бѣдной женщины былъ въ иныхъ мѣстахъ и безсвязенъ. Разскажу, какъ самъ понялъ и что самъ запомнилъ.

V.

Онѣ пріѣхали изъ Москвы. Она уже давно вдовѣтъ, „однако же надворная совѣтница“, мужъ служилъ, ничего почти не оставилъ, „крошѣ двухсотъ рублей, однако, пенсіону. Ну, что двѣсти рублей?“ Взростила, однакоже, Олю и обучила въ гимназіи...“ И вѣдь какъ училась-то, какъ училась; серебряную медаль при выпускѣ получила...“ (Тутъ разумѣется, долгія слезы). Былъ у покойника мужа потерянъ на одномъ здѣшнемъ петербургскомъ купцѣ капиталъ, почти въ четыре тысячи. Вдругъ этотъ купецъ опять разбогатѣлъ, „у меня документы, стала совѣтоваться, говорятъ: ищите, непременно все получите...“ Я и начала, купецъ сталъ соглашаться; поѣзжайте, говорятъ мнѣ, сами. Собрались мы съ Олей, пріѣхали тому назадъ уже мѣсяць. Средства у насъ какія; взяли мы эту комнатку, потому что самая маленькая изъ всѣхъ, да и въ честномъ, сами видимъ, домѣ, а это намъ пуще всего: женщины мы неопытныя, всякій-то насъ обидитъ. Ну, вамъ внесли за одинъ мѣсяць, туда-сюда, Петербургъ-отъ кусается, отказывается совсѣмъ нашъ купецъ. „Знать васъ не знаю, вѣдать не вѣдаю“, а документъ у меня не исправенъ, сама это понимаю. Вотъ и совѣтуютъ мнѣ: заходите къ знаменитому адвокату; онъ профессоромъ былъ, не просто адвокатъ, а юристъ, такъ чтобъ ужъ онъ навѣрно сказалъ, что дѣлать. Понесла я къ нему послѣдніе пятнадцать рублей; вышелъ адвокатъ и трехъ минутъ меня не слушалъ: „вижу, говоритъ, знаю, говоритъ, захочетъ, говоритъ, отдастъ купецъ, не захочетъ—не отдастъ, а дѣло начнете—сами приплатитесь можете; всего лучше помиритесь“. Еще изъ Евангелія тутъ же пошутить; „миритесь, говоритъ, пока на пути, дондеже не заплатите послѣдній кадрантъ“, провожаетъ меня, смѣется. Пропали мои пятнадцать рублей! Прихожу къ Олѣ, сидимъ другъ противъ дружки, заплакала я. Она не плачетъ; гордая такая сидитъ, негодуетъ. И все-то она у меня такая была, во всю жизнь,

даже маленькая, никогда-то не охала, никогда-то не плакала, а сидитъ, грозно смотреть, даже мнѣ жутко смотрѣть на нее. И вѣрите ли тому: боялась я ее, совсѣмъ таки боялась, давно боялась, и хочу иной разъ занять, да не смѣю при ней. Сходила я къ купцу въ послѣдній разъ, расплакалась у него въ волю: „хорошо, говорить“, не слушаетъ даже. Межъ тѣмъ, признаться вамъ должна, такъ какъ мы на долгое-то время не рассчитывали, то давно ужъ безъ денегъ сидимъ. Стала я изъ платишка помаленьку таскать: что заложимъ, тѣмъ и живемъ. Все-то съ себя заложили; стала она мнѣ свое послѣднее бѣлишко отдавать, и заплакала я тутъ горькой слезой. Топнула она ногой, вскочила, побѣжала сама къ купцу. Вдовецъ онъ; поговорилъ съ ней: „приходите, говорить, послѣ завтра въ пять часовъ, можетъ что и скажу“. Пришла она, повеселѣла: „вотъ, говорить, можетъ что и скажетъ“. Ну, рада и я, а только такъ-то на сердцѣ у меня захолохнуло: что-то, думаю, будетъ; а спрашивать ее не смѣю. Послѣзавтра возвращается она отъ купца, блѣдная, дрожить вся, бросилась на кровать—поняла я все и спрашивать не смѣю. Чтожъ бы вы думали: вынесъ онъ ей, разбойникъ, пятнадцать рублей, „а коли, говорить, полную честность встрѣчу, то сорокъ рублей и еще донесу“. Такъ и сказалъ ей въ глаза, не постыдился. Кинулась она тутъ, рассказывала мнѣ, на него, да отпихнулъ онъ ее и въ другой комнатѣ даже на замокъ отъ нея затворился. А межъ тѣмъ, у насъ, признаюсь вамъ по истинной совѣсти, почти кушать нечего. Снесли мы куцавейку, на заячьемъ мѣху была, продали, пошла она въ газету и вотъ тутъ-то публиковалась: приготовляетъ-дескать изъ всѣхъ наукъ и изъ ариметики „хоть по тридцати копѣекъ, говорить, будутъ платить“. И стала я на нее, матушка, подъ самый конецъ даже ужасаться: ничего-то она не говоритъ со мной, сидитъ по цѣлымъ часамъ у окна, смотреть на крышу дома напротивъ, да вдругъ крикнетъ: „хоть бы бѣлье стирать, хоть бы землю копать!“ только одно слово какое нибудь этакое и крикнетъ, топнетъ ногою. И никого-то у насъ здѣсь знакомыхъ такихъ, пойти совсѣмъ не къ кому: „что съ нами будетъ, думаю?“ А съ ней все боюсь говорить. Спитъ это она, однажды днемъ, проснулась, открыла глаза, смотреть на меня; я сижу на сундукѣ, тоже смотрю на нее; встала она молча, подошла ко мнѣ, обняла меня крѣпко-крѣпко и вотъ тутъ мы обѣ не утерпѣли и заплакали, сидимъ и плачемъ, и другъ дружку изъ рукъ не выпускаемъ. Въ первый разъ такъ съ нею было во всю ея жизнь. Только этакъ мы другъ съ дружкой сидимъ, а ваша Настасья входитъ и говоритъ: кабая-то васъ тамъ

барыня спрашиваетъ, освѣдомляется. Всего это четыре дня тому назадъ было. Входитъ барыня: видимъ, одѣта ужь очень хорошо, говорить-то хоть и по русски, но нѣмецкаго, какъ будто, выговору: „вы, говорить, публиковались въ газетѣ, что уроки даете?“ Такъ мы ей обрадовались тогда, посадили ее, смѣется такъ она ласково: „не бо мнѣ, говорить, а у племянницы моей дѣти маленькія; коли угодно, пожалуйста къ намъ, тамъ и сговоримся“. Адресъ дала, у Вознесенскаго моста, № такой-то и квартира № такой-то. Ушла. Отправилась Олечка, въ тотъ же день побѣжала, чтожь — возвратилась черезъ два часа, истерика съ ней, бьется. Разказала потомъ: „спрашиваю, говорить, у дворника: гдѣ квартира № такой-то? Дворникъ, говорить, и поглядѣлъ на меня: „а вамъ чего, говорить, въ той квартирѣ надоть?“ Такъ странно это сказаль, такъ, что ужь тутъ можно-бъ было спохватиться. А она у меня такая властная была, нетерпѣливая, распросовъ этихъ и грубостей не переносила; „ступайте“, говорить, ткнулъ ей пальцемъ на лѣстницу, а самъ повернулся, въ свою каморку ушелъ. Чтожь бы вы думали? Входитъ это она, спрашиваетъ, и набѣжали тотчасъ со всѣхъ сторонъ женщины: „пожалуйте, пожалуйста!“ — все женщины, смѣются, бросились, нарумяненные, скверныя, на фортепьянахъ играютъ, тащутъ ее; „я было, говорить, отъ нихъ вонъ, да ужь не пускають“. Оробѣла тутъ она, ноги подкосились, не пускають да и только, ласково говорятъ, уговаривають, портеру раскупорили, подають, подчуютъ. Вскочила это она, кричитъ благимъ матомъ, дрожить: „пустите, пустите!“ Бросилась къ дверямъ, двери держуть, она вонить; тутъ подскочила давешняя, что приходила къ намъ, ударила мою Олю два раза въ щеку и вытолкнула въ дверь: „не стойшь, говорить, ты, шкура, въ благородномъ домѣ быть!“ А другая кричитъ ей на лѣстницу: „ты сама къ намъ приходила проситься, благо ѣсть нечего, а мы на такую харю и глядѣть-то не стали!“ Всю ночь эту она въ лихорадеѣ пролежала, бредила, а на утро глаза сверкають у ней, встанеть, ходить: „въ судъ, говорить, на нее, въ судъ!“ Я молчу: ну, что, думаю, тутъ въ судѣ возьмешь, чѣмъ докажешь? Ходить она, руки ломаетъ, слезы у ней текутъ, а губы сжала, недвижимы. И потемнѣлъ у ней весь ликъ съ той самой минуты и до самаго конца. На третій день легче ей стало, молчитъ, какъ будто успокоилась. Вотъ тутъ-то въ четыре часа пополудни и пожаловаль къ намъ г. Версиловъ.

И вотъ прямо сважу: понять не могу до сихъ поръ, какимъ это образомъ тогда Оля, такая недоувѣрчивая, съ перваго почти слова начала его слушать? Пуще всего обѣихъ насъ привлекло тогда, что

былъ у него такой серьезный видъ, строгій даже, говоритъ тихо, обстоятельно и все такъ вѣжливо,—куда вѣжливо, почтительно даже, а межъ тѣмъ никакого такого исканья въ немъ не видно: прямо видно, что пришелъ человекъ отъ чистаго сердца. „Я, говоритъ, ваше объявление въ газетѣ прочелъ, вы, говоритъ, не такъ, сударыня, его написали, такъ что даже повредить себѣ тѣмъ самымъ можете“. И сталъ онъ объяснять, признаться не поняла я, про арифметику тутъ что-то, только Оля, смотрю, покраснѣла и вся словно оживилась, слушаетъ, въ разговоръ вступила такъ охотно (да и умный же человекъ должно быть!) слышу, даже благодарить его. Разспросилъ ее про все такъ обстоятельно, и видно, что въ Москвѣ по долгу живаль, и директрису гимназии, оказалось, лично знаетъ. „Уроки я вамъ, говоритъ, найду непременно, потому что я со многими здѣсь знакомъ, и многихъ вліятельныхъ даже лицъ просить могу, такъ что если даже пожелаете постояннаго мѣста, то и то можно имѣть въ виду... а покажѣте простите, говоритъ, меня за одинъ прямой къ вамъ вопросъ: не могу ли я сейчасъ быть вамъ чѣмъ полезнымъ? Не я вамъ, говоритъ, а вы мнѣ, напротивъ, тѣмъ самымъ сдѣлаете удовольствіе, коли допустите пользу оказать вамъ какую ни есть. Пусть это будетъ, говоритъ, за вами долгъ, и какъ только получите мѣсто, то въ самое короткое время можете со мной повѣтаться. Я же, вѣрьте чести моей, еслибъ самъ когда потомъ впалъ въ такую же нужду, а вы, напротивъ, были бы всѣмъ обезпеченъ,—то прямо бы къ вамъ пришелъ за малою помощью, жену и бы и дочь мою прислалъ“... То есть не припомню я вамъ всѣхъ его словъ, только я тутъ прослезилась, потому вижу и у Оли вздрогнули отъ благодарности губки: „Если и принимаю, отвѣчаетъ она ему, то потому, что довѣряюсь честному и гуманному человеку, который бы могъ быть моимъ отцомъ“... Прекрасно она тутъ такъ сказала ему, коротко и благородно: „гуманному, говоритъ, человеку“. Онъ тотчасъ всталъ: „непременно, непременно, говоритъ, доставлю вамъ уроки и мѣсто; съ сего же дня займусь, потому что вы къ тому совсѣмъ достаточный имѣете аттестатъ“... А я и забыла сказать, что онъ съ самаго начала, какъ вошелъ, всѣ ея документы изъ гимназии осмотрѣлъ, показала она ему, и самъ ее въ разныхъ предметахъ экзаменовалъ... Вѣдь онъ меня, маменька, говоритъ мнѣ потомъ Оля, изъ предметовъ экзаменовалъ, и какой онъ, говоритъ, умный, въ кои-то вѣки съ такимъ развитымъ и образованнымъ человекомъ поговоришь“... И вся-то она такъ и сіяетъ. Деньги шестьдесятъ рублей на столѣ лежать: „уберите, говоритъ, маменька: мѣсто получимъ, первымъ долгомъ

какъ можно скорѣй отдадимъ, докажемъ, что мы честныя, а что мы деликатныя, то онъ уже видѣлъ это". Потомъ помолчала, вижу такъ она глубоко дышетъ: „Знаете, говорить вдругъ мнѣ, маменька, кабы мы были грубыя, — то мы бы отъ него, можетъ, по гордости нашей, и не приняли, а что мы теперь приняли, то тѣмъ самымъ только деликатность нашу доказали ему, что во всемъ ему довѣряемъ, какъ почтенному сѣдому человѣку, не правда ли?“ Я сначала не такъ поняла, да говорю: „почему, Оля, отъ благороднаго и богатаго человѣка благодаренія не принять, коли онъ сверхъ того доброй души человѣкъ?“ Нахмурилась она на меня: „нѣтъ, говорить, маменька, это не то, не благодареніе нужно, а „гуманность“ его, говорить, дорогая. А деньги такъ даже лучше бы было намъ и совсѣмъ не брать, маменька: коли ужъ онъ мѣсто обѣщався достать, то и того достаточно... хоть мы и нуждаемся“. „Ну, говорю, Оля, нужды-то наши таковы, что отказаться никакъ нельзя“ — усмѣхнулась даже я. Ну, рада я про себя, только она мнѣ черезъ часъ и ввернула: „вы, говорить, маменька, деньги-то подождите тратить“, — рѣшительно такъ сказала. — Чтò же, говорю? — Такъ, говорить, — оборвала и замолчала. На весь вечеръ примолкла; только ночью, во второмъ часу, просыпаюсь я, слышу Оля ворочается на кровати: „не спите, вы, маменька?“ — Нѣтъ, говорю, не сплю. — „Знаете, говорить, вѣдь онъ меня оскорбить хотѣлъ?“ — Чтò ты, чтò ты, говорю? — „Непремѣнно, говорить, такъ: это подлый человѣкъ, не смѣйте, говорить, ни одной копѣйки его денегъ тратить“. Я было стала ей говорить, всплакнула даже тутъ же на постели, — отвернулась она къ стѣнѣ: „молчите, говорить, дайте мнѣ спать!“ На утро смотрю на нее, ходитъ, на себя непохожа; и вотъ, вѣрьте не вѣрьте мнѣ, передъ судомъ Божиимъ скажу: не въ своемъ умѣ она тогда была! Съ самаго того разу, какъ ее въ этомъ подломъ домѣ оскорбили, помутилось у ней сердце... и умъ. Смотрю я на нее въ то утро и сомнѣвался на нее; страшно мнѣ; не буду, думаю, противорѣчить ей ни въ одномъ словѣ. „Онъ, говорить, маменька, адреса-то своего такъ и не оставилъ“. — „Грѣхъ тебѣ, говорю, Оля: сама его вчера слышала, сама потомъ хвалила, сама благодарными слезами заплакать готова была“. Только я это сказала — взвизгнула она, топнула: „Подлыхъ, говорить, вы чувствъ женщина, стараго вы, говорить, воспитанія на крѣпостномъ правѣ!“... и ужъ чтò тутъ ни говорила, схватила шляпку, выбѣжала, я кричу ей въ слѣдъ: чтò съ ней, думаю, куда побѣжала? А она бѣгала въ адресный столъ, узнала гдѣ г. Версиловъ живетъ, пришла: „сегодня же, говорить, сейчасъ отнесу ему деньги и въ лицо шваркну; онъ меня,

говорить, оскорбить хотѣлъ, какъ Сафроновъ (это купецъ-то нашъ); только Сафроновъ оскорбилъ какъ грубый мужикъ, а этотъ какъ хитрый jesуитъ“. А тутъ вдругъ на бѣду и постучался этотъ вчерашній господинъ: „Слышу, говорятъ про Версилова, могу сообщить“. Какъ услыхала она про Версилова, такъ на него и накинулась, въ изступленіи вся, говорить — говорить, смотрю я на нее и дивлюсь: ни съ кѣмъ она, молчаливая такая, такъ не говоритъ, а тутъ еще съ незнакомымъ совсѣмъ человѣкомъ? Щеки у ней разгорѣлись, глаза сверкаютъ... А онъ-то какъ разъ: „совершенная, говорить, ваша правда, сударыня. Версильовъ, говорить, это точь въ точь какъ генералы здѣшніе, которыхъ въ газетахъ описываютъ; разодѣнется генераль во всѣ ордена и пойдѣтъ по всѣмъ гувернанткамъ, что въ газетахъ публикуются, и ходитъ и что надо находить; а коли не найдетъ чего надо, посидитъ, поговорить, наобщается съ три короба и уйдетъ,—все таки развлеченіе себѣ доставилъ“. Раскохоталась даже Оля, только злобно такъ, а господинъ-то этотъ, смотрю, за руку ее беретъ, руку къ сердцу притягиваетъ: „Я, говорить, сударыня, и самъ при собственномъ капиталѣ состою, и всегда бы могъ прекрасной дѣвицѣ предложить, но лучше, говоритъ, я прежде у ней только миленькую ручку поцалую“... и тянетъ, вижу, цаловать руку. Какъ вскочить она, но тутъ ужъ и я вмѣстѣ съ ней, прогнали мы его обѣ. Вотъ передъ вечеромъ выхватила у меня Оля деньги, побѣжала, приходитъ обратно: „я, говорить, маменька, безчестному человѣку отместила!“—Ахъ Оля, Оля, говорю, можетъ счастья своего мы лишились, благороднаго, благодѣтельнаго человѣка ты оскорбила!“ Заплакала я съ досады на нее, не вытерпѣла. Кричитъ она на меня: „не хочу, кричитъ, не хочу! Будь онъ самый честный человѣкъ и тогда его милостыни не хочу! Чтобъ и жалѣлъ кто нибудь меня и того не хочу!“ Легла я и въ мысли у меня ничего не было. Сколько я разъ на этотъ гвоздь у васъ въ стѣнѣ присматривалась, что отъ зеркала у васъ остался,—не вдоmekъ мнѣ, совсѣмъ не вдоmekъ, ни вчера, ни прежде и не думала я этого, не гадала вовсе, и отъ Оля не ожидала совсѣмъ. Сплю то я обыкновенно крѣпко, храплю, кровь это у меня къ головѣ приливаетъ, а иной разъ подступитъ къ сердцу, закричу во снѣ, такъ что Оля ужъ ночью разбудитъ меня: „что это вы, говорить, маменька, какъ крѣпко спите, и разбудить васъ, когда надо, нельзя“. — „Ой, говорю, Оля, крѣпко, ой крѣпко“. Вотъ какъ я, надо быть, захрапѣла это вчера, такъ тутъ она выждала, и ужъ не опасаясь и поднялась. Ремень-то этотъ отъ чемодана, длинный, все на виду торчалъ, весь мѣсяць, еще утромъ вчера думала: „прибрать его наконецъ,

чтобъ не валялся“. А стулъ, должно быть, ногой потомъ отпихнула, а чтобы онъ не застучалъ, такъ юбку свою съ боку подложила. И, должно быть, я долго-долго спуста, цѣлый часъ или больше спуста, проснулась: „Оля! зову, Оля!“—Сразу померещилось мнѣ что-то, кличу ее. Али что не слышно мнѣ дыханья ее съ постели стало, али въ темнотѣ-то разглядѣла, пожалуй, что какъ будто кровать пуста,—только встала я вдругъ, хватъ рукой: нѣтъ никого на кровати и подушка холодная. Такъ и упало у меня сердце, стою на мѣстѣ какъ безъ чувствъ, умъ помутился: „вышла, думаю, она“,—шагнула это я, анъ у кровати, смотрю, въ углу, у двери, какъ будто она сама и стоитъ. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она, изъ темноты, точно тоже глядитъ на меня, не шелохнется... „Только зачѣмъ же, думаю, она на стулъ встала?“—„Оля, шепчу я, робѣю сама, Оля, слышишь ты?“ Только вдругъ какъ будто во мнѣ все озарилось, шагнула я, кинула обѣ руки впередъ, прямо на нее, обхватила, а она у меня въ рукахъ качается, хватаю, а она качается, понимаю я все и не хочу понимать... Хочу крикнуть, а крику-то нѣтъ... Ахъ, думаю! Упала на полъ съ размаха, тутъ и закричала...

— Васинъ, сказалъ я на утро, часу уже въ шестомъ—еслибъ не ваиъ Стебельковъ, не случилось бы, можетъ, этого.

— Кто знаетъ, навѣрно бы случилось. Тутъ нельзя такъ судить, тутъ и безъ того было готово... Правда, этотъ Стебельковъ иногда...

Онъ не договорилъ и очень неприяно поморщился. Часу въ седьмомъ онъ опять ухвѣлъ; онъ все хлопоталъ. Я остался наконецъ одинъ одиноконекъ. Уже разсвѣло. Голова у меня слегка кружилась. Мнѣ мерещился Версильовъ: рассказъ этой дамы выдвигалъ его совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. Чтобъ удобнѣе обдумать, я прилегъ на постель. Ва-сина, такъ какъ былъ одѣтый и въ сапогахъ, на минутку, совсѣмъ безъ намѣренія спать—и вдругъ заснулъ, даже не помню какъ и случилось. Я проспалъ почти четыре часа; никто-то не разбудилъ меня.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I.

Я проснулся около половины одиннадцатаго и долго не вѣрилъ глазамъ своимъ: на диванѣ, на которомъ я вчера заснулъ, сидѣла моя мать, а рядомъ съ нею—несчастливая сосѣдка, мать самоубійцы. Онѣ.

обѣ держали другъ дружку за руки, разговаривали шепотомъ, вѣроятно, чтобъ не разбудить меня, и обѣ плакали. Я всталъ съ постели и прямо кинулся цаловать маму. Она такъ вся и засіяла, поцаловала меня и перекрестила три раза правой рукой. Мы не успѣли сказать и слова: отворилась дверь и вошли Версиловъ и Васиень. Мама тотчасъ же встала и увела съ собой сосѣдку. Васиень подаль мнѣ рубу, а Версиловъ не сказалъ мнѣ ни слова, и опустился въ кресло. Онъ и мама, повидимому, были здѣсь уже нѣкоторое время. Лицо его было нахмурено и озабочено.

— Всего больше жалѣю, разстановочно началъ онъ Васину, очевидно продолжая начатый разговоръ:—что не успѣлъ устроить все это вчера же вечеромъ, и—навѣрно не вышло бы тогда этого страшнаго дѣла! Да и время было: восьми часовъ еще не было. Только что убѣждала она вчера отъ насъ, а тотчасъ же положилъ было въ мысляхъ идти за ней слѣдомъ сюда и переубѣдить ее, но это непредвидѣнное и неотложное дѣло, которое, впрочемъ, я весьма могъ бы отложить до сегодня... на недѣлю даже,—это досадное дѣло всему помѣшало и все испортило. Сойдется же вѣдь такъ!

— Можетъ быть и не успѣли бы убѣдить; тутъ и безъ вашего слишкомъ, вѣжета, нагорѣло и накинуло, вскользь замѣтилъ Васиень.

— Нѣтъ, успѣлъ бы, успѣлъ бы навѣрно. И вѣдь была мысль въ головѣ послать вмѣсто себя Софью Андреевну. Мелькнула, но только мелькнула. Софья Андреевна одна бы ее побѣдила и несчастная осталась бы въ живыхъ. Нѣтъ, никогда больше не сунусь... съ „добрыми дѣлами“... И всего-то разъ въ жизни высунулся! А я то думалъ, что все еще не отсталъ отъ поколѣнія и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старится чуть не раньше, чѣмъ созрѣетъ. Кстати, вѣдь дѣйствительно ужасно много есть современныхъ людей, которые, по привычкѣ, все еще считаютъ себя молодымъ поколѣніемъ, потому что всего вечера еще таковы были, а между тѣмъ и не замѣчаютъ, что уже на фербантѣ.

— Тутъ вышло недоразумѣніе, и недоразумѣніе слишкомъ ясное, благоразумно замѣтилъ Васиень.—Мать ея говорить, что послѣ жестокаго оскорбленія въ публичномъ домѣ, она какъ бы потеряла разумъ. Прибавьте обстановку, первоначальное оскорбленіе отъ купца... все это могло случиться точно также и въ прежнее время, и нисколько, по моему, не характеризуетъ особенно собственно теперешнюю молодежь.

— Нетерпѣлива немного она, теперешняя молодежь, крогъ, разумѣется и малаго пониманія дѣйствительности, которое хоть и свойственно

всякой молодежи во всякое время, но нынѣшней какъ-то особенно... Скажите, а что тутъ напроворилъ г-нъ Стебельковъ?

— Г-нъ Стебельковъ, ввязался я вдругъ:—причиной всему. Не было бы его, ничего бы не вышло; онъ подлил масла въ огонь.

Версиковъ выслушалъ, но не взглянулъ на меня. Васинъ нахмурился.

— Упрекаю себя тоже въ одномъ смѣшномъ обстоятельствѣ, продолжалъ Версиковъ, не торопясь и по прежнему растягивая слова:— кажется, я, по скверному моему обычаю, позволилъ себѣ тогда съ нею нѣкотораго рода веселость, легкомысленный смѣшокъ этотъ—однимъ словомъ, былъ недостаточно рѣзокъ, сухъ и мраченъ, три качества, которыя, кажется, также въ чрезвычайной цѣнѣ у современнаго молодаго поколѣнія... Однимъ словомъ, далъ ей поводъ принять меня за странствующаго селадона.

— Совершенно напротивъ, рѣзко ввязался я опять:— мать особенно утверждаетъ, что вы произвели великолѣпное впечатлѣніе именно серьезностью, строгостью даже, искренностью, — ея собственныя слова. Покойница сама васъ, какъ вы ушли, хвалила въ этомъ смыслѣ.

— Д-да? промямлилъ Версиковъ, мелькомъ взглянувъ наконецъ на меня.— Возьмите же эту бумажку, она вѣдь къ дѣлу необходима, протянулъ онъ крошечный кусочекъ Васину. Тотъ взялъ и, видя, что я смотрю съ любопытствомъ, подаль мнѣ прочесть. Это была записка, двѣ неровныя строчки, нацарапанныя карандашемъ, и, можетъ быть, въ темнотѣ:

„Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебютъ. Огорчавшая васъ Оля“.

— Это нашли только утромъ, объяснилъ Васинъ.

— Какая странная записка! воскликнулъ я въ удивленіи.

— Чѣмъ странная? спросилъ Васинъ.

— Развѣ можно въ такую минуту писать юмористическими выраженіями?

Васинъ глядѣлъ вопросительно.

— Да и юморъ странный, продолжалъ я, — гимназическій условный языкъ между товарищами... Ну, кто можетъ въ такую минуту и въ такой запискѣ къ несчастной матери, — а мать она вѣдь, оказывается, любила же, — написать: „прекратила мой жизненный дебютъ!“

— Почему же нельзя написать? все еще не понималъ Васинъ.

— Тутъ ровно никакого и нѣтъ юмора, замѣтилъ наконецъ Версиковъ:—выраженіе, конечно, не подходящее, совѣмъ не того тона, и дѣйствительно могло зародиться въ гимназическомъ или тамъ какомъ

нибудь условно-товарищескомъ, какъ ты сказалъ, языкѣ, али изъ фельетоновъ какихънибудь, но покойница употребляла его въ этой ужасной запискѣ совершенно простодушно и серьезно.

— Этого быть не можетъ, она кончила курсъ и вышла съ серебряной медалью.

— Серебряная медаль тутъ ничего не значить. Нынче многіе такъ кончаютъ курсъ.

— Опять на молодежь, улыбнулся Васинъ.

— Нисколько, отвѣтилъ ему Версиловъ, вставая съ мѣста и взявъ шляпу:—если нынѣшнее поколѣніе не столь литературно, то, безъ сомнѣнія, обладаетъ... другими достоинствами, прибавилъ онъ съ необыкновенной серьезностью.—Притомъ „многіе“ — не „всѣ“, и вотъ васъ, напримѣръ, я не обвиняю же въ плохомъ литературномъ развитіи, а вы тоже еще молодой человекъ.

— Да и Васинъ ничего не нашелъ дурнаго въ „дебютѣ“! не утерпѣлъ я, чтобъ не замѣтить.

Версиловъ молча протянулъ руку Васину; тотъ тоже схватилъ фуражку, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ выйти, и крикнулъ мнѣ: до свиданья. Версиловъ вышелъ, меня не замѣтивъ. Мнѣ тоже нечего было время терять: во что бы ни стало надо было бѣжать искать квартиру,—теперь нужнѣе чѣмъ когданибудь! Мамы на было у хозяйки, она ушла и увеза съ собой и сосѣдку. Я вышелъ на улицу какъ-то особенно бодро... Какое-то новое и большое ощущеніе нарождалось въ душѣ. Къ тому же какъ нарочно и все способствовало: я необыкновенно скоро попалъ на случай и нашелъ квартиру, совсѣмъ подходящую; про квартиру эту потомъ, а теперь окончу о главномъ.

Былъ всего второй часъ въ началѣ, когда я вернулся опять къ Васину за моимъ чемоданомъ и какъ разъ опять засталъ его дома. Увидавъ меня, онъ съ веселымъ и искреннимъ видомъ воскликнулъ:

— Какъ я радъ, что вы застали меня, я сейчасъ было уходилъ! Я могу вамъ сообщить одинъ фактъ, который кажется очень васъ заинтересуетъ.

— Увѣренъ заранѣе! вскричалъ я.

— Ва! Какой у васъ бодрый видъ. Скажите, вы не знали ничего о нѣкоторомъ письмѣ, сохранявшемся у Крафта и доставшемся вчера Версилову, именно нѣчто по поводу выиграннаго имъ наслѣдства? Въ письмѣ этомъ завѣщатель разъясняетъ волю свою въ смыслѣ, обратномъ вчерашнему рѣшенію суда. Письмо еще давно писано. Однимъ словомъ, я не знаю, что именно въ точности, но не знаете-ли чегонибудь вы?

— Какъ не знать. Крафтъ третьяго дня для того и повелъ меня къ себѣ... отъ тѣхъ господъ, чтобъ передать мнѣ это письмо, а я вчера передалъ Версиллову.

— Да? Такъ я и подумалъ. Вообразите же, то дѣло, про которое давеча здѣсь говорилъ Версилловъ,—что помѣшало ему вчера вечеромъ придти сюда убѣдить эту дѣвушку, — это дѣло вышло именно черезъ это письмо. Версилловъ прямо, вчера же вечеромъ, отправился къ адвокату князя Сокольскаго, передалъ ему это письмо и отказался отъ всего выиграннаго имъ наслѣдства. Въ настоящую минуту этотъ отказъ уже облеченъ въ законную форму. Версилловъ не даритъ, но признаетъ въ этомъ актѣ полное право князей.

Я остоленѣлъ, но я былъ въ восхищеніи. По настоящему, я совершенно былъ убѣжденъ, что Версилловъ истребитъ письмо, мало того, хоть я говорилъ Крафту про то, что это было бы неблагородно, и хоть и самъ повторялъ это про себя въ трактирѣ, и что „я пріѣхалъ къ чистому человѣку, а не къ этому“,—но еще болѣе про себя, то есть въ самомъ нутрѣ души я считалъ, что иначе и поступить нельзя, какъ похеривъ документъ совершенно. То есть, я считалъ это самымъ обыкновеннымъ дѣломъ. Еслибы я потомъ и винилъ Версиллова, то винилъ бы только нарочно, для виду, то есть для сохраненія надъ нимъ возвышеннаго моего положенія. Но, услыхавъ теперь о подвигѣ Версиллова, я пришелъ въ восторгъ искренній, полный, съ раскаяніемъ и стыдомъ осуждая мой цинизмъ и мое равнодушіе къ добродѣтели, и многожъ, возвысивъ Версиллова надъ собою безконечно, я чуть не обнялъ Васина.

— Каковъ человѣкъ! Каковъ человѣкъ! Кто бы это сдѣлалъ? восклицалъ я въ упоеніи.

— Я съ вами согласенъ, что очень многіе этого бы не сдѣлали... и что, безспорно, поступокъ чрезвычайно безкорыстенъ...

— „Но“?... Договаривайте, Васинъ, у васъ есть „но“?

— Да, конечно, есть и „но“; поступокъ Версиллова, по моему, немного скоръ и немного не такъ прямодушенъ,—улыбнулся Васинъ.

— Непряמודушенъ?

— Да. Тутъ есть нѣкоторый какъ-бы „пьедасталь“. Потому что, во всякомъ случаѣ, можно было бы сдѣлать то же самое, не обижая себя. Если не половина, то все же, несомнѣнно, нѣкоторая часть наслѣдства могла бы и теперь слѣдовать Версиллову, даже при самомъ щекотливомъ взглядѣ на дѣло, тѣмъ болѣе, что документъ не имѣлъ рѣшительнаго значенія, а процессъ имъ уже выигранъ. Такого мнѣнія

держится и самъ адвокатъ противной стороны; я сейчасъ только съ нимъ говорилъ. Поступокъ остался бы не менѣ прекраснымъ, но единственно изъ прихоти гордости случилось иначе. Главное, г. Версиловъ погорячился и—излишне поторопился, вѣдь онъ самъ же сказалъ давеча, что могъ бы отложить на цѣлую недѣлю...

— Знаете что, Васинъ? Я не могу не согласиться съ вами, но... я такъ люблю лучше, мнѣ такъ нравится лучше!

— Впрочемъ, это дѣло вкуса. Вы сами вызвали меня, я бы промолчалъ.

— Даже, если тутъ и „пѣдесталь“, то и тогда лучше, продолжалъ я:—пѣдесталь, хоть и пѣдесталь, но самъ по себѣ онъ очень цѣнная вещь. Этотъ „пѣдесталь“ вѣдь все тотъ же „идеаль“ и, врядъ ли лучше, что въ иной теперешней душѣ его нѣтъ: хоть съ маленькимъ даже уродствомъ, да пусть онъ есть! И навѣрно, вы сами думаете такъ, Васинъ, голубчикъ мой, Васинъ, милый мой, Васинъ! Однимъ словомъ, я, конечно, зарпортовался, но вы вѣдь меня понимаете же. На то вы Васинъ; и, во всякомъ случаѣ, я обнимаю васъ и цалую, Васинъ!

— Съ радости?

— Съ большой радости! Ибо сей человекъ „былъ мертвъ и ожилъ, пропадалъ и нашелся!“ Васинъ, я дрянной мальчишка и васъ не стою. Я именно потому сознаюсь, что въ инны минуты бываю совсѣмъ другой, выше и глубже. Я зато, что третьяго дня васъ расхвалили въ глаза (а расхвалили только за то, что меня унизили и придавили), я зато васъ цѣлхъ два дня ненавидѣлъ! Я далъ слово, въ ту же ночь, къ вамъ не ходить никогда и пришелъ къ вамъ вчера поутру только со зла, понимаете вы, *со зла*. Я сидѣлъ здѣсь на стулѣ одинъ и критиковалъ вашу комнату и васъ, и каждую книгу вашу, и хозяйку вашу, старался унизить васъ и смѣяться надъ вами.

— Этого не надо бы говорить...

— Вчера вечеромъ, заключивъ изъ одной вашей фразы, что вы не понимаете женщины, я былъ радъ, что могъ васъ на этомъ поймать. Давеча, поймавъ васъ на „дебютѣ“—опять таки ужасно былъ радъ, и все изъ-за того, что самъ васъ тогда расхвалилъ.

— Да еще же бы нѣтъ! вскричалъ, наконецъ, Васинъ (онъ все продолжалъ улыбаться, нисколько не удивляясь на меня):—да это такъ вѣдь и бываетъ всегда почти со всѣми, и первымъ даже дѣломъ; только въ этомъ никто не признается, да и не надо совсѣмъ признаваться, потому что, во всякомъ случаѣ, это пройдетъ и изъ этого ничего не будетъ.

— Неужели у всѣхъ такъ? Всѣ такіе? И вы, говоря это, спокойны? Да вѣдь съ такимъ взглядомъ жить нельзя!

— А по вашему:

„Тѣмъ низкихъ истинъ мнѣ дороже
„Насъ возвышающій обманъ?“

— Но вѣдь это же вѣрно, вскричалъ я:—въ этихъ двухъ стихахъ святая аксіома!

— Не знаю; не берусь рѣшать, вѣрны ли эти два стиха или нѣтъ. Должно быть, истина, какъ и всегда, гдѣ нибудь лежитъ по срединѣ: то есть въ одномъ случаѣ святая истина, а въ другомъ ложь. Я только знаю навѣрно одно: что еще надолго эта мысль останется однимъ изъ самыхъ главныхъ спорныхъ пунктовъ между людьми. Во всякомъ случаѣ, я замѣчаю, что вамъ теперь танцовать хочется. Чтожь, и потанцуйте: моціонъ полезенъ, а на меня какъ разъ сегодня утромъ ужасно много дѣла взвалили... да и опоздалъ же я съ вами!

— Ъду, ъду, убираюсь! Одно только слово, прокричалъ я, уже схвативъ чемоданъ:—если я сейчасъ къ вамъ опять „кинулся на шею“, то единственно потому, что когда я вошелъ—вы съ такимъ искреннимъ удовольствіемъ сообщили мнѣ этотъ фактъ и „обрадовались“, что я успѣлъ васъ застать, и это послѣ давешняго „дебюта“; этимъ искреннимъ удовольствіемъ вы разомъ перевернули мое „юное сердце“ опять въ вашу сторону. Ну, прощайте, прощайте, постараюсь какъ можно дольше не приходить, и знаю, что вамъ это будетъ чрезвычайно пріятно, что вижу даже по вашимъ глазамъ, а обоимъ намъ даже будетъ выгодно...

Такъ болтая и чуть не захлебываясь отъ моей радостной болтовни, я вытащилъ чемоданъ и отправился съ нимъ на квартиру. Мнѣ, главное, ужасно нравилось то, что Версиловъ такъ несомнѣнно на меня давеча сердился, говорить и глядѣть не хотѣлъ. Перевезя чемоданъ, я тотчасъ же полетѣлъ къ моему старику князю. Признаюсь, эти два дня мнѣ было безъ него даже немножко тяжело. Да и про Версилова онъ навѣрно уже слышалъ.

II.

Я такъ и зналъ, что онъ мнѣ ужасно обрадуется и, клянусь, я даже и безъ Версилова зашелъ бы къ нему сегодня. Меня только пугала вчера и давеча мысль, что встрѣчу, пожалуй, какъ нибудь Еватерину Николаевну; но теперь я ужъ ничего не боялся.

Онъ сталъ обнимать меня съ радости.

— Версильовъ-то! Слышали? началъ я прямо съ главнаго.

— *Сher enfant*, другъ ты мой милый, это до того возвышенно, это до того благородно,—однимъ словомъ, даже на Кильяна (этого чиновника внизу) произвело потрясающее впечатлѣніе! Это неблагоразумно съ его стороны, но это блескъ, это подвигъ! Идеаль цѣнить надо!

— Неправда ли? Неправда ли? Въ этомъ мы съ вами всегда сходились.

— Милый ты мой, мы съ тобой всегда сходились. Гдѣ ты былъ? Я непремѣнно хотѣлъ самъ къ тебѣ ѣхать, но не зналъ, гдѣ тебя найти... потому что все же не могъ же я къ Версильову... Хотя теперь, послѣ всего этого... Знаешь, другъ мой: вотъ этимъ-то онъ, мнѣ кажется, и женщинъ побѣждалъ, вотъ этими-то чертами, это несомнѣнно...

— Кстати, чтобъ не забыть, я именно для васъ берегъ. Вчера одинъ недостойнѣйшій гороховый шутъ, ругая мнѣ въ глаза Версильова, выразился про него, что онъ— „бабій пророкъ“, каково выраженіе, собственно выраженіе? Я для васъ берегъ...

— „Бабій пророкъ!“ *Mais... c'est charmant!* Ха, ха! Но это такъ идетъ къ нему, то есть это вовсе не идетъ—тфу!.. Но это такъ мѣтко... т. е. это вовсе не мѣтко, но...

— Да ничего, ничего, не конфузьтесь, смотрите только какъ на бонмо!

— Бонмо великолѣпное, и знаешь, оно имѣетъ глубочайшій смыслъ... Совершенно вѣрная идея! То есть вѣришь ли... Однимъ словомъ, я тебѣ сообщу одинъ крошечный секретъ. Замѣтилъ ты тогда эту Олимпіаду? Вѣришь ли, что у ней болитъ немножко по Андреѣ Петровичѣ сердце, и до того, что она даже, кажется, что-то питаетъ...

— Питаетъ! Вотъ ей не угодно ли этого? вскричалъ я, въ негодованіи показывая кукишъ.

— *Mop cher*, не кричи, это все такъ, и ты, пожалуй, правъ, съ твоей точки. Кстати, другъ мой, что это случилось съ тобой прошлый разъ при Катеринѣ Николаевнѣ? Ты качался... я думалъ, ты упадешь и хотѣлъ броситься тебя поддержать?

— Объ этомъ не теперь. Ну, однимъ словомъ, я просто сконфузился, по одной причинѣ...

— Ты и теперь покраснѣлъ.

— Ну, а вамъ надо сейчасъ же и размазать. Вы знаете, что она во враждѣ съ Версильовымъ... ну и тамъ все это; ну, вотъ и я взволновался: эхъ, оставимъ, послѣ!

— И оставимъ, и оставимъ, я и самъ радъ все это оставить... Однимъ словомъ, я чрезвычайно передъ ней виноватъ, и даже, помнишь, ропталъ тогда при тебѣ... Забудь это, другъ мой; она тоже измѣнитъ свое о тебѣ мнѣніе, я это слишкомъ предчувствую... А вотъ и князь Сережа!

Вошелъ молодой и красивый офицеръ. Я жадно посмотрѣлъ на него, а его никогда еще не видалъ. То есть, я говорю красивый, какъ и всѣ про него точно также говорили, но что-то было въ этомъ молодомъ и красивомъ лицѣ несомнѣнно привлекательное. Я именно замѣчаю это, какъ впечатлѣніе самаго перваго мгновенія, перваго на него моего взгляда, оставшееся во мнѣ на все время. Онъ былъ сухощавъ, прекраснаго роста, темнорусъ, съ свѣжимъ лицомъ, немного, впрочемъ, желтоватымъ, и съ рѣшительнымъ взглядомъ. Прекрасные темные глаза его смотрѣли нѣсколько сурово, даже и когда онъ былъ совсѣмъ спокоенъ. Но рѣшительный взглядъ его именно отталкивалъ потому, что какъ-то чувствовалось, почему-то, что рѣшимость эта ему слишкомъ недорого стоила. Впрочемъ, не умѣю выразиться... Конечно, лицо его способно было вдругъ измѣняться съ суроваго на удивительно-ласковое, кроткое и нѣжное выраженіе, и, главное, при несомнѣнномъ простодушіи превращенія. Это-то простодушіе и привлекало. Замѣчу еще черту: не смотря на ласковость и простодушіе, никогда это лицо не становилось веселымъ, даже когда князь хохоталъ отъ всего сердца, вы все таки чувствовали, что настоящей, свѣтлой, легкой веселости какъ будто никогда не было въ его сердцѣ... Впрочемъ, чрезвычайно трудно такъ описывать лицо. Не умѣю я этого вовсе. Старый князь тотчасъ же бросился насъ знакомить, по глупой своей привычкѣ.

— Это мой юный другъ, Аркадій Андреевичъ (опять Андреевичъ!) Долгорукій.

Молодой князь тотчасъ повернулся ко мнѣ съ удвоенно вѣжливымъ выраженіемъ лица; но видно было, что имя мое совсѣмъ ему незнакомо.

— Это... родственникъ Андрея Петровича, — пробормоталъ мой досадный князь. (Какъ досадны бываютъ иногда эти старички, съ ихъ привычками!) Молодой князь тотчасъ же догадался.

— Ахъ! Я такъ давно слышалъ... быстро проговорилъ онъ:—я имѣлъ чрезвычайное удовольствіе познакомиться прошлаго года въ Лугѣ съ сестрицей вашей Лизаветой Макаровой... Она тоже мнѣ про васъ говорила...

Я даже удивился: на лицѣ его сіяло рѣшительно искреннее удовольствіе.

— Позвольте, князь, пролепеталъ я, отводя назадъ обѣ мои руки:—я вамъ долженъ сказать искренно,—и радъ, что говорю при милостѣ нашемъ князю,— что я даже желалъ съ вами встрѣтиться, и еще недавно желалъ, всего только вчера, но совсѣмъ уже съ другими цѣлями. Я это прямо говорю, какъ бы вы ни удивлялись. Короче, я хотѣлъ васъ вызвать за оскорбленіе, сдѣланное вами, полтора года назадъ въ Эмсѣ, Версиллову. И хоть вы, конечно, можете быть, и не пошли-бы на мой вызовъ, потому что я всего лишь гимназистъ и несовершеннолѣтній подростокъ, однако я все бы сдѣлалъ вызовъ, какъ-бы вы тамъ ни приняли, и чтобъ вы тамъ ни сдѣлали... и, признаюсь, даже и теперь тѣхъ же цѣлей.

Старый князь передавалъ мнѣ потомъ, что мнѣ удалось это высказать чрезвычайно благородно.

Искренняя скорбь выразилась въ лицѣ князя.

— Вы мнѣ только не дали договорить, внушительно отвѣтилъ онъ.—Если я обратился къ вамъ съ словами отъ всей души, то причиною тому были именно теперешнія, настоящія чувства мои къ Андрею Петровичу. Мнѣ жаль, что не могу вамъ сейчасъ сообщить всѣхъ обстоятельствъ; но увѣряю васъ честию, я давнымъ-давно уже смотрю на мой несчастный поступокъ въ Эмсѣ съ глубочайшимъ раскаяніемъ. Собираясь въ Петербургъ, я рѣшился дать всевозможныя удовлетворенія Андрею Петровичу, т. е. прямо, буквально, просить у него прощенія, въ той самой формѣ, въ какой онъ самъ назначить. Высшія и могущественныя вліянія были причиною перемѣны въ моемъ взглядѣ. То, что мы были въ тяжбѣ, не повліяло-бы на мое рѣшеніе нимало. Вчерашній же поступокъ его со мной, такъ сказать, потрясъ мою душу, и даже въ эту минуту, вѣрите-ли, я какъ-бы еще не пришелъ въ себя. И вотъ я долженъ сообщить вамъ,—я именно и къ князю пріѣхалъ, чтобъ ему сообщить объ одномъ чрезвычайномъ обстоятельствѣ: три часа назадъ, т. е. это ровно въ то время, когда они составляли съ адвокатомъ этотъ актъ, явился ко мнѣ уполномоченный Андрея Петровича и передалъ мнѣ отъ него вызовъ... формальный вызовъ изъ-за исторіи въ Эмсѣ...

— Онъ васъ вызвалъ? вскричалъ я и почувствовалъ, что глаза мои загорѣлись и кровь залила мнѣ лицо.

— Да, вызвалъ; я тотчасъ же принялъ вызовъ, но рѣшилъ, еще раньше встрѣчи, послать ему письмо, въ которомъ излагаю мой взглядъ на мой поступокъ, и все мое раскаяніе въ этой ужасной ошибкѣ... потому что это была только ошибка,—несчастливая, роковая ошибка!

Замѣчу вамъ, что мое положеніе въ полку заставляло меня такимъ образомъ рисковать: за такое письмо передъ встрѣчей, я подвергалъ себя общественному мнѣнію... вы понимаете? Но не смотря даже на это, я рѣшился, и только не успѣлъ письма отправить, потому что часъ спустя послѣ вызова получивъ отъ него опять записку, въ которой онъ проситъ меня извинить его, что обезпокоилъ, и забыть о вызовѣ и прибавляетъ, что раскаявается въ этомъ „минутномъ порывѣ малодушія и эгоизма“,—его собственныя слова. Такимъ образомъ, онъ уже совершенно облегчаетъ мнѣ теперь шагъ съ письмомъ. Я еще его не отослалъ, но именно пріѣхалъ сказать кое-что объ этомъ князю... И повѣрьте, я самъ выстрадалъ отъ упрековъ моей совѣсти гораздо больше, чѣмъ, можетъ быть, кто нибудь... Довольно-ли вамъ этого объясненія, Аркадій Макаровичъ, по крайней мѣрѣ теперь, пока? Сдѣлаете-ли вы мнѣ честь повѣрить вполне моей искренности?

Я былъ совершенно побѣжденъ; я видѣлъ несомнѣнное прямотушіе, котораго въ высшей степени не ожидалъ. Да и ничего подобнаго я не ожидалъ. Я что-то пробормоталъ въ отвѣтъ и прямо протянулъ ему мои обѣ руки; онъ съ радостью потрясъ ихъ въ своихъ рукахъ. Затѣмъ отвелъ князя и минутъ съ пять говорилъ съ нимъ въ его спальнѣ.

— Если бы вы захотѣли мнѣ сдѣлать особенное удовольствіе, громко и открыто обратился онъ ко мнѣ, выходя отъ князя:—то поѣдите сейчасъ со мною и я вамъ покажу письмо, которое сейчасъ посылаю къ Андрею Петровичу, а вмѣстѣ и его письмо ко мнѣ.

Я согласился съ чрезвычайною охотой. Мой князь захлопоталъ, провожая меня, и тоже вызывалъ меня на минутку въ свою спальню.

— Mon ami, какъ я радъ, какъ я радъ... Мы обо всемъ этомъ послѣ. Кстати, вотъ тутъ въ портфель у меня два письма: одно нужно завести и объяснить лично, другое въ банкъ—и тамъ тоже...

И тутъ онъ мнѣ поручилъ два будто бы неотложныя дѣла и требующія будто бы необыкновеннаго труда и вниманія. Предстояло съѣздить и, дѣйствительно, подать, росписаться и проч.

— Ахъ, вы хитрецъ! вскричалъ я, принимая письма:—клянусь, вѣдь все это—вздоръ и никакого тутъ дѣла нѣтъ, а эти два порученія вы нарочно выдумали, чтобъ увѣрить меня, что я служу и не даромъ деньги беру!

— Mon enfant, клянусь тебѣ, что въ этомъ ты ошибаешься: это два самыя неотложныя дѣла... Cher enfant! вскричалъ онъ вдругъ, ужасно умилвшись:—милый мой юноша! (Онъ положилъ мнѣ обѣ руки на голову): Благословляю тебя и твой жребій... будемъ всегда чисты

сердцемъ, какъ и сегодня... добры и прекрасны, какъ можно больше...
будешь любить все прекрасное... во всѣхъ его разнообразныхъ формахъ...
Ну, enfin... enfin rendons grâces... et je te bénis!

Онъ не докончилъ и захныкалъ надъ моею головою. Признаюсь, почти заплакалъ и я; по крайней мѣрѣ, искренно и съ удовольствіемъ обнять моего чудака. Мы очень поцаловались.

III.

Князь Сережа (то есть князь Сергѣй Петровичъ, такъ и буду его называть) привезъ меня въ щегольской пролетей на свою квартиру, и, первымъ дѣломъ, я удивился великолѣпію его квартиры. То есть не то что великолѣпію, но квартира эта была, какъ у самыхъ „порядочныхъ людей“, высокая, большія, свѣтлыя комнаты (я видѣлъ двѣ, остальные были притворены) и мебель,—опять таки хоть и не Богъ знаетъ какой Versailles или Renaissance, но мягкая, комфортная, обильная, на самую широкую ногу; ковры, рѣзное дерево и статуэтки. Между тѣмъ, про нихъ всѣ говорили, что они нищія, что у нихъ ровно ничего. Я мелькомъ слышалъ, однако, что этотъ князь и вездѣ задавалъ пыли, гдѣ только могъ,—и здѣсь, и въ Москвѣ, и въ прежнемъ полку, и въ Парижѣ, что онъ даже игрокъ, и что у него долги. На мнѣ былъ перемятый скрутъ и вдобавокъ въ пуху, потому что я такъ и спалъ не раздѣвшись, а рубашей приходился уже четвертый день. Впрочемъ, скрутъ мой былъ еще не совсѣмъ скверенъ, но, попавъ къ князю, я вспомнилъ о предложеніи Версилова спить себѣ платье.

— Вообразите, я по поводу одной самоубійцы всю ночь проспалъ одѣвшись, замѣтилъ я съ разсѣяннымъ видомъ, и такъ какъ онъ тотчасъ же выразилъ вниманіе, то вератцѣ и разсказалъ. Но его, очевидно, занимало больше всего его письмо. Главное, мнѣ странно было, что онъ не только не улыбнулся, но даже самого маленькаго вида не показалъ въ этомъ смыслѣ, когда я давеча прямо такъ и объявилъ, что хотѣлъ вызвать его на дуэль. Хоть я бы и сдумѣлъ заставить его не смѣяться, но все таки это было странно отъ человѣка такого сорта. Мы усѣлись другъ противъ друга посреди комнаты, за огромнымъ его письменнымъ столомъ, и онъ мнѣ передалъ на просмотръ уже готовое и переписанное набѣло письмо его къ Версилу. Документъ этотъ былъ очень похожъ на все то, что онъ мнѣ давеча высказалъ у моего князя; написано даже горячо. Это видимое прямодушіе его и готовность ко всему хорошему, я, правда, еще не зналъ, какъ принять окончательно,

но начиналъ уже поддаваться, потому въ сущности, почему же мнѣ было не вѣрить? Какое бы ни былъ человекъ и что бы о немъ ни рассказывали, но онъ все же могъ быть съ хорошими наклонностями. Я посмотрѣлъ тоже и послѣднюю записочку Версилова въ семь строкъ—отказъ отъ вызова. Хотя онъ и дѣйствительно прописалъ въ ней про свое „малодушіе“ и про „свой эгоизмъ“, но вся, въ цѣломъ, записка эта какъ бы отличалась какимъ-то высокоуміемъ... или, лучше, во всемъ поступкѣ этомъ выяснялось какое-то пренебреженіе. Я, впрочемъ, не высказалъ этого.

— Вы, однако, какъ смотрите на этотъ отказъ, спросилъ я,—вѣдь не считаете же вы, что онъ струсилъ?

— Конечно, нѣтъ, улыбнулся князь, но какъ-то очень серьезной улыбкой, и вообще онъ становился все болѣе и болѣе озабоченъ: — я слишкомъ знаю, что этотъ человекъ мужественъ. Тутъ, конечно, особый взглядъ... свое собственное расположеніе идей...

— Безъ сомнѣнія, прервалъ я горячо.—Нѣкто Васинъ говоритъ, что въ поступкѣ его съ этимъ письмомъ и съ отказомъ отъ наслѣдства заключается „пѣдесталь“... По моему такія вещи не дѣлаются для показу, а соотвѣтствуютъ чему-то основному, внутреннему.

— Я очень хорошо знаю г. Васина, замѣтилъ князь.

— Ахъ, да, вы должны были видѣть его въ Лугѣ.

Мы вдругъ взглянули другъ на друга и, вспоминая, я, кажется, капельку покраснѣлъ. По крайней мѣрѣ, онъ перебилъ разговоръ. Мнѣ, впрочемъ, очень хотѣлось разговаривать. Мысль объ одной вчерашней встрѣчѣ моей соблазняла меня задать ему кой-какіе вопросы, но только я не зналъ, какъ приступить. И вообще, я былъ какъ-то очень не по себѣ. Поражала меня тоже его удивительная благовоспитанность, вѣжливость, непринужденность манеръ,—однимъ словомъ, весь этотъ лоскъ ихняго тона, который они принимаютъ чуть не съ колыбели. Въ письмѣ его я начиталъ двѣ прегрубныя грамматическія ошибки. И вообще, при такихъ встрѣчахъ я никогда не принимаюсь, а становлюсь усиленно рѣзокъ, что иногда, можетъ быть, и дурно. Но въ настоящемъ случаѣ тому особенно способствовала еще и мысль, что я въ пуху, такъ что я нѣсколько даже сплосалъ и влѣзъ въ фамиллярность... Я потихоньку замѣтилъ, что князь иногда очень пристально меня оглядывалъ.

— Скажите, князь, вылетѣлъ я вдругъ съ вопросомъ:—не находите вы смѣшнымъ внутри себя, что я, такой еще „молокососъ“, хотѣлъ васъ вызвать на дуэль, да еще за чужую обиду?

— За обиду отца очень можно обидѣться. Нѣтъ, не нахожу смѣшнымъ.

— А мнѣ такъ кажется, что это ужасно смѣшно... на иной взглядъ... то есть, разумѣется, не на собственный мой. Тѣмъ болѣе, что я Долгорукий, а не Версиковъ. А если вы говорите мнѣ неправду или чтобъ какъ нибудь смягчить изъ приличій свѣтскаго лоска, то, стало быть, вы меня и во всемъ остальномъ обманываете?

— Нѣтъ, не нахожу смѣшнымъ, повторилъ онъ ужасно серьезно; — не можете же вы не ощущать въ себѣ крови своего отца?.. Правда, вы еще молоды, потому что... не знаю... кажется, недостижному совершенныхъ дѣтъ нельзя драться, а отъ него еще нельзя принять вызовъ... по правиламъ... Но если хотите, тутъ одно только можетъ быть серьезное возраженіе: если вы дѣлаете вызовъ безъ вѣдома обиженнаго, за обиду котораго вы вызываете, но тѣмъ самымъ выражаете какъ бы нѣкоторое собственное неуваженіе ваше къ нему, не правда ли?

Разговоръ нашъ вдругъ прервалъ лакей, который вошелъ о чемъ-то доложить. Завидѣвъ его, князь, кажется, ожидавшій его, всталъ не докончивъ рѣчи и быстро подошелъ къ нему, такъ что тотъ доложилъ уже въ полголоса и я, конечно, не слыхалъ о чемъ.

— Извините меня, обратился ко мнѣ князь: — я черезъ минуту буду.

И вышелъ. Я остался одинъ, ходилъ по комнатамъ и думалъ. Странно, онъ мнѣ и нравился, и ужасно не нравился. Было что-то такое, чего бы я и самъ не сумѣлъ назвать, но что-то отталкивающее. „Если онъ ни капли не смѣется надо мной, то, безъ сомнѣнія, онъ ужасно прямодушенъ; но еслибы онъ надо мной смѣялся, то... можетъ быть, казался бы мнѣ тогда умнѣе“... странно какъ-то подумалъ я. Я подошелъ къ столу и еще разъ прочелъ письмо къ Версикову. Завлекшись, даже забылъ о времени, и когда очнулся, то вдругъ замѣтилъ, что князева минутка, безспорно, продолжается уже дѣлую четверть часа. Это меня немножко взволновало; я еще разъ прошелся взадъ и впередъ, наконецъ, взялъ шляпу и, помню, рѣшился выйти съ тѣмъ, чтобъ, встрѣтивъ кого нибудь, послать за княземъ, а когда онъ придетъ, то прямо проститься съ нимъ, увѣривъ, что у меня дѣла, и ждать больше не могу. Мнѣ казалось, что такъ будетъ всего приличнѣе, потому что меня капельку мучила мысль, что онъ, оставляя меня такъ надолго, поступаетъ со мной небрежно.

Обѣ затворенныя двери въ эту комнату приходились по обоимъ концамъ одной и той же стѣны. Забывъ, въ которую дверь мы вошли,

а пуце въ разсѣянности, я отворилъ одну изъ нихъ, и вдругъ, въ длинной и узкой комнатѣ, увидѣлъ сидѣвшую на диванѣ, — сестру мою, Лизу. Кромѣ нея никого не было и она, конечно, кого-то ждала. Но не успѣлъ я даже удивиться, какъ вдругъ услышалъ голосъ князя, съ вѣтъ-то громко говорившаго и возвращавшагося въ кабинетъ. Я быстро притворилъ дверь и вошедшій изъ другой двери князь ничего не замѣтилъ. Помню, онъ сталъ извиняться и что-то проговорилъ про какую-то Анну Федоровну... Но я былъ такъ смущенъ и пораженъ, что ничего почти не разобралъ, а пролетѣлъ только, что мнѣ необходимо домой, затѣмъ настойчиво и быстро вышелъ. Благовоспитанный князь, конечно, съ любопытствомъ долженъ былъ смотрѣть на мои приемы. Онъ проводилъ меня въ самую переднюю и все говорилъ, а я не отвѣчалъ и не глядѣлъ на него.

IV.

Выйдя на улицу, я повернулъ налѣво и пошелъ куда попало. Въ головѣ у меня ничего не вязалось. Шелъ я тихо и, кажется, прошелъ очень много, шаговъ пятьсотъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидѣлъ Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтикомъ. Что-то ужасно веселое, а на капельку и лукавое, было въ ея сіяющемъ взглядѣ.

— Ну, какъ я рада, что ты въ эту сторону пошелъ, а то бы я такъ тебя сегодня и не встрѣтила! Она немного задыхалась отъ скорой ходьбы.

— Какъ ты задохлась.

— Ужасно обѣжала, тебя догоняла.

— Лиза, вѣдь это тебя я сейчасъ встрѣтилъ?

— Гдѣ это?

— У князя... у князя Сокольскаго...

— Нѣтъ, не меня, нѣтъ, меня ты не встрѣтилъ...

Я замолчалъ и мы прошли шаговъ десять. Лиза страшно расхохоталась:

— Меня, меня, конечно, меня! Послушай, вѣдь ты же меня самъ видѣлъ, вѣдь ты же мнѣ глядѣлъ въ глаза и я тебѣ глядѣла въ глаза, такъ какъ же ты спрашиваешь, меня ли ты встрѣтилъ? Ну, характеръ! А знаешь, я ужасно хотѣла разсмѣяться, когда ты тамъ мнѣ въ глаза глядѣлъ, ты ужасно смѣшно глядѣлъ.

Она хохотала ужасно. Я почувствовалъ, какъ вся тоска сразу оставила мое сердце.

— Да какже, скажи, ты тамъ очутилась?

— У Анны Федоровны.

— У какой Анны Федоровны?

— У Столбѣевой. Когда мы въ Лугѣ жили, я у ней по цѣлымъ днямъ сживала, она и маму у себя принимала, и къ намъ даже ходила. А она ни къ кому почти тамъ не ходила. Андрею Петровичу она дальняя родственница, и князьямъ Сокольскимъ родственница: она князю какая-то бабушка.

— Такъ она у князя живетъ?

— Нѣтъ, князь у ней живетъ.

— Такъ чья же квартира?

— Ея квартира, вся квартира ея уже цѣлый годъ. Князь только что пріѣхалъ, у ней и остановился. Да и она сама всего только четыре дня въ Петербургѣ.

— Ну... знаешь что, Лиза, Богъ съ ней съ квартирой, и съ ней самой...

— Нѣтъ, она прекрасная...

— И пусть, и книги ей въ руки. Мы сами прекрасные! Смотри какой день, смотри какъ хорошо! Какая ты сегодня красавица, Лиза. А, впрочемъ, ты ужасный ребенокъ.

— Аркадій, скажи, та дѣвушка-то, вчерашняя-то.

— Ахъ, какъ жаль, Лиза, ахъ какъ жаль!

— Ахъ, какъ жаль! Какой жребій! Знаешь, даже грѣшно, что мы идемъ такіе веселые, а ея душа гдѣ нибудь теперь летитъ во мракъ, въ какомъ нибудь бездонномъ мракѣ, согрѣшившая, и съ своей обидой... Аркадій, кто въ ея грѣхъ виноватъ? Ахъ, какъ это страшно! Думаешь ли ты когда объ этомъ мракѣ? Ахъ, какъ я боюсь смерти, и какъ это грѣшно! Не люблю я темноты, то-ли дѣло такое солнце! Мама говоритъ, что грѣшно бояться... Аркадій, знаешь ли ты хорошо маму?

— Еще мало, Лиза, мало знаю.

— Ахъ, какое это существо; ты ее долженъ, долженъ узнать! Ее нужно особенно понимать...

— Да вѣдь вотъ же и тебя не зналъ, а вѣдь знаю же теперь всю. Всю въ одну минуту узналъ. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а, должно быть, гордая, смѣлая, мужественная. Лучше меня, гораздо лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ахъ, Лиза! Пусть приходитъ, когда надо, смерть, а пока жить, жить! О той несчастной пожалѣемъ, а жизнь все таки благословимъ, такъ ли? Такъ ли? У меня есть „идея“, Лиза. Лиза, ты вѣдь знаешь, что Версиловъ отказался отъ наслѣдства?

— Ты не знаешь души моей, Лиза, ты не знаешь, что значилъ для меня человекъ этотъ?...

— Ну, вотъ не знать, все знаю.

— Все знаешь? Ну, да еще бы ты! Ты умна; ты умнѣе Васина. Ты и мама — у васъ глаза проникающіе, гуманные, то есть взглядъ, а не глаза, я вру... Я дурень во многомъ, Лиза.

— Тебя нужно въ руки взять, вотъ и кончено!

— Возьми, Лиза. Какъ хорошо на тебя смотрѣть сегодня. Да знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видалъ твоихъ глазъ... Только теперь въ первый разъ увидѣлъ... Гдѣ ты ихъ взяла сегодня, Лиза? Гдѣ купила? Что заплатила? Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею, какъ на вздоръ; но съ тобой не вздоръ... Хочешь, станемъ друзьями? Ты понимаешь, что я хочу сказать?...

— Очень понимаю.

— И знаешь, безъ уговору, безъ контракту, — просто будемъ друзьями!

— Да просто, просто, но только одинъ уговоръ: если когданибудь мы обвинимъ другъ друга, если будемъ въ чемъ недовольны, если сдѣлаемъ сами злы, дурны, если даже забудемъ все это, — то не забудемъ никогда этого дня и вотъ этого самаго часа! Дадимъ слово такое себѣ. Дадимъ слово, что всегда припомнимъ этотъ день, когда мы вотъ шли съ тобой оба рука въ руку, и такъ смѣялись, и такъ намъ весело было... Да? Вѣдь да?

— Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я какъ будто тебя въ первый разъ слушаю... Лиза, ты много читала?

— До сихъ поръ еще не спросилъ! Только вчера въ первый разъ, какъ я въ словѣ оговорилась, удостоили обратить вниманіе, милостивый государь, господинъ мудрецъ.

— А чтожь ты сама со мной не заговаривала, коли я былъ такой дуракъ?

— А я все ждала, что поумнѣешь. Я выглядѣла васъ всего съ самаго начала, Аркадій Макаровичъ, и какъ выглядѣла, то и стала такъ думать: „Вѣдь онъ придетъ же, вѣдь ужъ навѣрно кончить тѣмъ, что придетъ“, — ну, и положила вамъ лучше эту честь самому предоставить, чтобъ вы первый-то сдѣлали шагъ: „Нѣтъ, думаю, походи-ка теперь за мной?“

— Ахъ ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смѣялась ты надо мной въ этотъ мѣсяць, или нѣтъ?

— Охъ, ты очень смѣшной, ты ужасно смѣшной, Аркадій! И знаешь, я, можетъ быть, за то тебя всего больше и любила въ этотъ мѣсяцъ, что ты вотъ этакій чудакъ. Но ты во многомъ и дурной чудакъ — это чтобъ ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще надъ тобой смѣялся? Мама смѣялась, мама со мной вмѣстѣ: „Экій, шепчемъ, чудакъ, вѣдь этакій чудакъ!“ А ты-то сидишь и думаешь въ это время, что мы сидимъ и тебя трепещемъ.

— Лиза, что ты думаешь про Версилова?

— Я очень много объ немъ думаю; но знаешь, мы теперь объ немъ не будемъ говорить. Объ немъ сегодня не надо; вѣдь такъ?

— Совершенно такъ! Нѣтъ, ты ужасно умна, Лиза! Ты непремѣнно умнѣ меня. Вотъ подожди, Лиза, кончу это все и тогда, можетъ, я кое что и скажу тебѣ...

— Чего ты нахмурился?

— Нѣтъ, я не нахмурился, Лиза, а я такъ... Видишь, Лиза, лучше прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотнаго въ душѣ пальцами дотрогиваются... или, лучше сказать, если часто инныя чувства выпускать наружу, чтобъ всѣ любовались, такъ вѣдь это стыдно, неправда ли? Такъ что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять.

— Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всемъ поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?

— Ахъ, Лиза! Какъ бы только подольше прожить на свѣтѣ! А? Что ты сказала?

— Нѣтъ я ничего не сказала.

— Ты смотришь?

— Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя.

Я довелъ ее почти вплотъ до дому и далъ ей мой адресъ. Прощаясь, я поцаловалъ ее въ первый разъ еще въ жизни...

V.

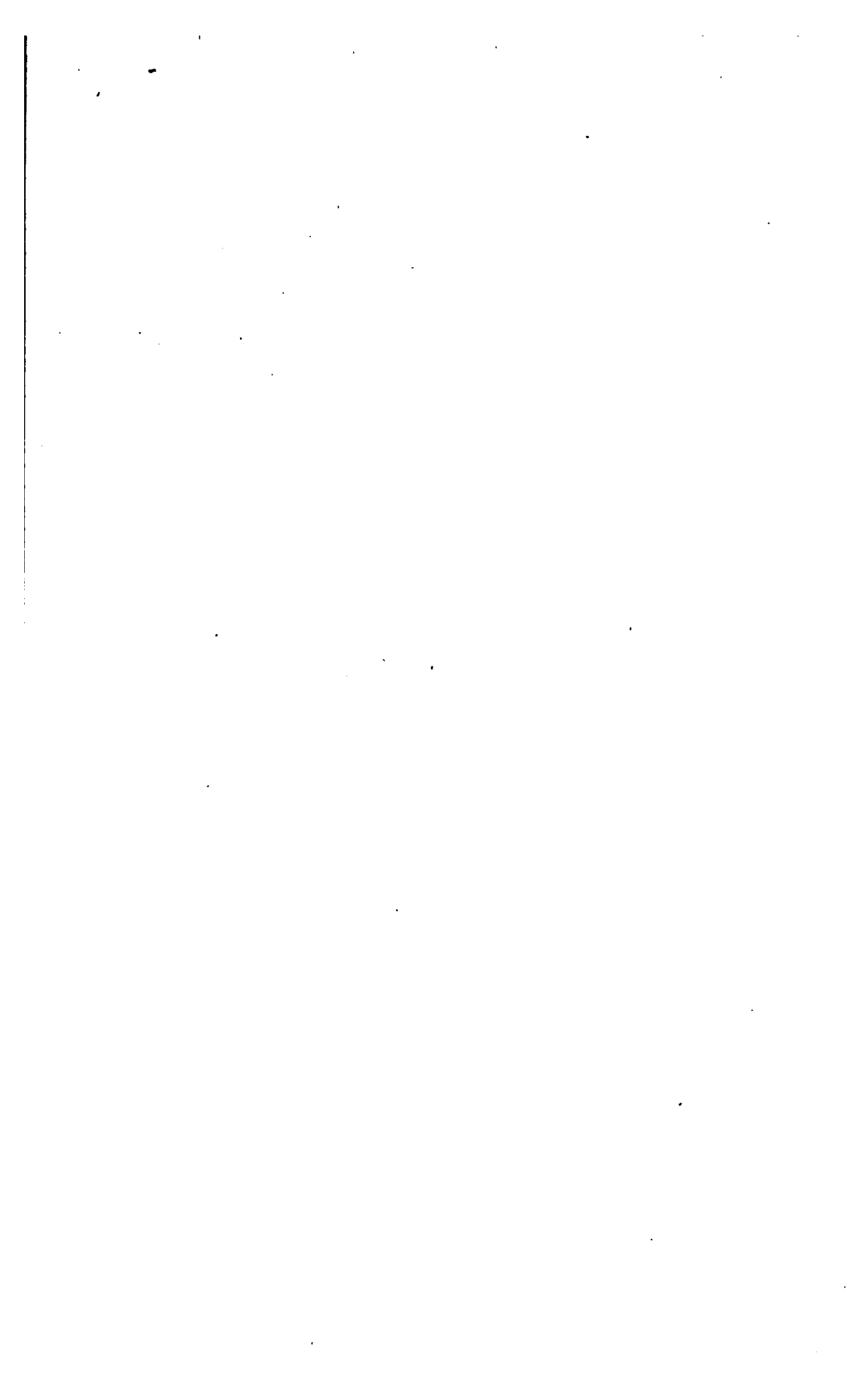
И все бы это было хорошо, но одно только было нехорошо: одна тяжелая идея билась во мнѣ съ самой ночи и не выходила изъ ума. Это то, что когда я встрѣтился вчера вечеромъ у нашихъ воротъ съ той несчастной, то сказалъ ей, что я самъ ухожу изъ дому, изъ гнѣзда, что уходятъ отъ злыхъ и основываютъ свое гнѣздо, и что у Версилова много незаконнорожденныхъ. Такія слова, про отца отъ сына, ужъ конечно утвердили въ ней всѣ ея подозрѣнія на Версилова и на то,

что онъ ее оскорбилъ. Я обвинялъ Стебелькова, а вѣдь, можетъ быть, я-то, главное, и подлилъ масла въ огонь. Эта мысль ужасна, ужасна и теперь... Но тогда, въ то утро, я хоть и начиналъ уже мучиться, но мнѣ все таки казалось, что это вздоръ: „Э, тутъ и безъ меня „нагорѣло и накипѣло“, повторялъ я повременамъ:—э, ничего, пройдетъ! Поправлюсь! Я это чѣмъ нибудь наверстаю... какимъ нибудь добрымъ поступкомъ... Мнѣ еще пятьдесятъ лѣтъ впереди!“

А идея все таки билась.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Перелетаю пространство почти въ два мѣсяца; пусть читатель не беспокоится: все будетъ ясно изъ дальнѣйшаго изложенія. Рѣзко отмѣчаю день пятнадцатаго ноября — день слишкомъ для меня памятный по многимъ причинамъ. И во первыхъ, никто-бы меня не узналъ, кто видѣлъ меня назадъ два мѣсяца; по крайней мѣрѣ, снаружи, т. е. и узналъ бы, но ничего-бы не разобралъ. Я одѣтъ франтомъ—это первое. Тотъ „добросовѣстный французъ и со вкусомъ“, котораго хотѣлъ когда-то отрекомендовать мнѣ Версиловъ, не только сшилъ ужъ мнѣ весь костюмъ, но ужъ и забракованъ мною: мнѣ шьютъ уже другіе портные, повыше, первѣйшіе, и даже я имѣю у нихъ счетъ. У меня бываетъ счетъ и въ одномъ знатномъ ресторанѣ, но я еще тутъ боюсь, и, чуть деньги, сейчасъ плачу, хотя и знаю, что это—моветонъ, и что я себя тѣмъ компрометирую. На Невскомъ, французъ-парикмахеръ со мной на короткой ногѣ, и когда я у него причесываюсь, рассказываетъ мнѣ анекдоты. И, признаюсь, я практикуюсь съ нимъ по французски. Хотя я и знаю языкъ, и даже порядочно, но, въ большомъ обществѣ какъ-то все еще боюсь начинать; да и выговоръ у меня, должно быть, далеко не парижскій. У меня Матвѣй, лихачъ, рысакъ, и является къ моимъ услугамъ, когда я назначаю. У него свѣтло-гнѣдой жеребецъ (я не люблю сѣрыхъ). Есть, впрочемъ, и беспорядки: пятнадцатое ноября, и уже три дня какъ стала зима, а шуба у меня старая, енотовая, Версиловскій обносокъ: продать стодитъ рублей двадцать пять. Надо завести новую, а карманы пусты и, кромѣ того, надо припасти денегъ сегодня же на вечеръ, и это во что-бы ни стало,—иначе я „несчастенъ и погибъ“; это—собственныя мои тогдашнія изрѣченія. О низость! Чтожь, откуда вдругъ эти тысячи, эти рысаки и Борели? Какъ могъ

я такъ вдругъ все забыть и такъ измѣниться? Позоръ! Читатель, я начинаю теперь исторію моего стыда и позора, и ничто въ жизни не можетъ для меня быть постыднѣе этихъ воспоминаній!

Такъ говорю, какъ судья, и знаю, что я виновенъ. Въ томъ вихрѣ, въ которомъ я тогда закружился, я хотъ былъ и одинъ, безъ руководителя и совѣтника, но, влянусь, и тогда уже самъ сознавалъ свое паденіе, а потому неизвинимъ. А между тѣмъ всѣ эти два мѣсяца я былъ почти счастливъ, — зачѣмъ почти? Я былъ слишкомъ счастливъ! И даже до того, что сознаніе позора, мелькавшее минутами (частыми минутами!), отъ котораго содрогалась душа моя, — это-то сознаніе, — повѣрятъ-ли? — пьянило меня еще болѣе: „А чтожь, падать такъ падать; да не упаду же, выѣду! У меня звѣзда!“ — Я шелъ по тоненькому мостику изъ щепокъ, безъ перилъ, надъ пропастью, и мнѣ весело было, что я такъ иду; даже заглядывалъ въ пропасть. Былъ рискъ и было весело. А „идея?“ — „Идея“ — потому, идея ждала; все чтѣ было, — „было лишь уклоненіемъ въ сторону“: „почему-жь не повеселить себя?“ Вотъ тѣмъ-то и скверна „моя идея“, повторю еще разъ, что допускаетъ рѣшительно всѣ уклоненія; была-бы она не такъ тверда и радикальна, то я бы, можетъ быть, и побоялся уклониться.

А пока я все еще продолжалъ занимать мою квартирѣнку, занимать, но не жить въ ней; тамъ лежалъ мой чемоданъ, сакъ и инныя вещи; главная же резиденція моя была у князя Сергѣя Сокольскаго. Я у него сидѣлъ, я у него и спалъ, и такъ по цѣлымъ даже недѣлямъ... Какъ это случилось, объ этомъ сейчасъ, а пока скажу объ этой моей квартирѣнкѣ. Она уже была мнѣ дорога: сюда ко мнѣ пришелъ Версиловъ, самъ, въ первый разъ послѣ тогдашней ссоры, и потомъ приходилъ много разъ. Повторяю, это время было страшнымъ позоромъ, но и огромнымъ счастьемъ... Да и все тогда такъ удавалось и такъ улыбалось! „И къ чему всѣ эти прежнія хмурости, думалъ я въ инныя упоительныя минуты, къ чему эти старыя больныя надрывы, мое одинокое и угрюмое дѣтство, мои глупыя мечты подъ одѣяломъ, клятвы, расчеты и даже „идея?“ Я все это напредставилъ и выдумалъ, а оказывается, что въ мірѣ совсѣмъ не то; мнѣ вотъ такъ радостно и легко: у меня отецъ — Версиловъ, у меня другъ — князь Сережа, у меня и еще“... но объ еще — оставимъ. Увы, все дѣлалось во имя любви, великодушія, чести, а потомъ оказалось безобразнымъ, нахальнымъ, безчестнымъ.

Довольно.

II.

Онъ пришелъ ко мнѣ въ первый разъ на третій день послѣ нашего тогдашняго разрыва. Меня не было дома и онъ остался ждать. Когда я вошелъ въ мою крошечную коморку, то хоть и ждалъ его всѣ эти три дня, но у меня какъ бы заволоклись глаза, и такъ стукнуло сердце, что я даже приостановился въ дверяхъ. Къ счастью, онъ сидѣлъ съ моимъ хозяиномъ, который, чтобъ не было скучно гостю ждать, нашелъ нужнымъ немедленно познакомиться и о чемъ-то ему съ жаромъ началъ рассказывать. Это былъ титулярный совѣтникъ, лѣтъ уже сорока, очень рябой, очень бѣдный, обремененный большою въ чухоткѣ женой и большимъ ребенкомъ; характера чрезвычайно общительнаго и смирнаго, впрочемъ, довольно и деликатный. Я обрадовался его присутствію, и онъ даже выручилъ, потому что чѣмъ бы я сказалъ Версильову? Я зналъ, серьезно зналъ, всѣ эти три дня, что Версильовъ придетъ самъ, первый,—точь въ точь какъ я хотѣлъ того, потому что ни за что на свѣтѣ не пошелъ бы къ нему первый, и не по строптивости, а именно по любви къ нему, по какой-то ревности любви,—не умѣю я этого выразить. Да и вообще краснорѣчія читатель у меня не найдетъ. Но хоть я и ждалъ его всѣ эти три дня и представлялъ себѣ почти непрерывно, какъ онъ войдетъ, а все таки никакъ не могъ вообразить напередъ, хоть и воображалъ изъ всѣхъ силъ, о чемъ мы съ нимъ вдругъ заговоримъ, послѣ всего, что произошло.

— А, вотъ и ты, протянулъ онъ мнѣ руку дружески и не вставая съ мѣста.—Присядь-ка къ намъ; Петръ Ипполитовичъ рассказываетъ пренеприятную исторію объ этомъ камнѣ, близъ Павловскихъ казармъ... или тутъ гдѣ-то...

— Да, я знаю камень, отвѣтилъ я поскорѣе, опускаясь на стулъ рядомъ съ ними. Они сидѣли у стола. Вся комната была ровно въ двѣ сажени въ квадратѣ. Я тяжело перевелъ дыханіе.

Искра удовольствія мелькнула въ глазахъ Версильова: кажется, онъ сомнѣвался и думалъ, что я захочу дѣлать жесты. Онъ успокоился.

— Вы ужъ начните сначала, Петръ Ипполитовичъ.— Они ужъ величали другъ друга по имени-отчеству.

— То есть, это при покойномъ государѣ еще вышло-съ, обратился ко мнѣ Петръ Ипполитовичъ, нервно и съ нѣкоторымъ мученіемъ, какъ бы страдая впередъ за успѣхъ эффекта, — вѣдь вы знаете этотъ камень,—глушій камень на улицѣ, къ чему, зачѣмъ, только лишь мѣ-

шаетъ, такъ-ли-съ? Вздилъ государь много разъ, и каждый разъ этотъ камень. Наконецъ государю не понравилось, и дѣйствительно: цѣлая гора, стоитъ гора на улицѣ, портитъ улицу: „Чтобъ не было камня!“ Ну, сказалъ, чтобъ не было, — понимаете, — что значитъ „чтобъ не было?“ Покойника-то помните? Что дѣлать съ камнемъ? Всѣ потеряли голову, тутъ Дума, а главное тутъ, не помню ужъ кто именно, но одинъ изъ самыхъ первыхъ тогдашнихъ вельможъ, на котораго было возложено. Вотъ этотъ вельможа и слушаетъ: говорятъ, пятнадцать тысячъ будетъ стоять, не меньше, и серебромъ-съ (потому что ассигнаціи это при покойномъ государѣ только обратили на серебро). „Какъ пятнадцать тысячъ, что за дичь!“ Сначала англичане рельсы подвести хотѣли, поставить на рельсы и отвезти паромъ: но вѣдь чего же бы это стоило? Жѣлѣзныхъ-то дорогъ тогда еще не было, только вотъ царскосельская ходила...

— Ну вотъ, распилить можно было, началъ я хмуриться; мнѣ ужасно стало досадно и стыдно передъ Версиловымъ; но онъ слушалъ съ видимымъ удовольствіемъ. Я понималъ, что и онъ радъ былъ хозяину, потому что тоже стыдился со мной, я видѣлъ это; мнѣ, помню, было даже это какъ бы трогательно отъ него.

— Именно распилить-съ, именно вотъ на эту идею и напали, и именно Монферанъ; онъ вѣдь тогда Исаакіевскій соборъ строилъ. Распилить, говорить, а потомъ свезти. Да-съ, да чего оно будетъ стоять?

— Ничего не стоитъ, просто распилить да и вывезти.

— Нѣтъ, позвольте, вѣдь тутъ нужно ставить машину, паровую-съ, и притомъ куда свезти? И при томъ такую гору? Десять тысячъ, говорятъ, менѣе не обойдется, десять или двѣнадцать тысячъ.

— Послушайте, Петръ Ипполитовичъ, вѣдь это — вздоръ, это было не такъ... Но въ это время Версильовъ мнѣ подмигнулъ незамѣтно, и въ этомъ подмигиваніи я увидѣлъ такое деликатное состраданіе къ хозяину, даже страданіе за него, что мнѣ это ужасно понравилось, и я разсмѣялся.

— Ну вотъ, вотъ, обрадовался хозяинъ, ничего не замѣтившій и ужасно боявшійся, какъ и всегда эти разскащики, что его стануть сбивать вопросами: — только какъ-разъ подходитъ одинъ мѣщанинъ, и еще молодой, ну, знаете, русскій человекъ, борода клиномъ, въ долгополомъ кафтанѣ, и чуть ли не хмѣльной немножко... впрочемъ, нѣтъ, не хмѣльной-съ. Только стоитъ этотъ мѣщанинъ, какъ они это стовариваются, англичане да Монферанъ, а это лицо, которому поручено-то, тутъ же въ коляскѣ подѣхалъ, слушаетъ и сердится: какъ это такъ

рѣшаютъ и не могутъ рѣшить; и вдругъ, замѣчаетъ въ отдаленіи, этотъ мѣщаниншико стоитъ и фальшиво этакъ улыбается, то есть не фальшиво, а не такъ, а какъ бы это...

— Насмѣшливо, осторожно поддакнулъ Версильовъ.

— Насмѣшливо-съ, то есть, немножко насмѣшливо, этакая добрая русская улыбка такая, знаете; ну, лицу, конечно, подъ досадную руку, знаете: „Ты здѣсь, борода, чего дожидаетсяся? Кто таковъ?“

— Да вотъ, говорить, камушекъ смотрю, ваша свѣтлость. Именно, кажется, свѣтлость; да чуть ли это не князь Суворовъ былъ, Италійскій, потомокъ полководца-то... Впрочемъ, нѣтъ, не Суворовъ, и какъ жаль, что забылъ кто именно, только знаете, хоть и свѣтлость, а чистый этакій русскій человекъ, русскій этакій типъ, патриотъ, развитое русское сердце; ну, догадался:

— Чтожь, ты, что-ли, говорить, свезешь камень: чего ухмыляешься?

— На англичанъ больше, ваша свѣтлость, слишкомъ ужъ несоразмѣрную цѣну берутъ-съ, потому что русскій кошель толстъ, а имъ дома ѣсть нечего. Сто рубликовъ опредѣлите, ваша свѣтлость — завтра же къ вечеру сведемъ камушекъ.

— Ну, можете представить подобное предложеніе. Англичане, разумеется, съѣсть хотять; Монферанъ смѣется; только этотъ свѣтлѣйшій, русское-то сердце: „Дать, говорить, ему сто рублей!“ Да, неужто, говорить, свезешь?

— Завтра къ вечеру потрафимъ, ваша свѣтлость.

— Да какъ ты сдѣлаешь?

— Это ужъ, если не обидно вашей свѣтлости — нашъ секретъ-съ, говорить, и знаете, русскимъ этакимъ языкомъ. Понравилось: „Э, дать ему все, что потребуетъ!“ Ну, и оставили; чтожь бы, вы думали, онъ сдѣлалъ?

Хозяинъ пріостановился и сталъ обводить насъ умиленнымъ взглядомъ.

— Не знаю, улыбался Версильовъ; а очень хмурился.

— А вотъ какъ онъ сдѣлалъ-съ, проговорилъ хозяинъ съ такимъ торжествомъ, какъ будто онъ самъ это сдѣлалъ: — нанялъ онъ мужичковъ съ заступами, простыхъ этакихъ русскихъ, и сталъ копать у самого камня, у самого края, яму; всю ночь копали, огромную выкопали, ровно въ ростъ камню и такъ только на вершокъ еще поглубже, а какъ выкопали, велѣлъ онъ, по маленьку и осторожно, подкапывать землю ужъ изъ-подъ самого камня. Ну, естественно, какъ подкопали, камню-то не на чемъ стоять, равновѣсіе-то и покачнулось; а какъ по-

качнулось равновѣсіе, они камушекъ-то съ другой стороны уже руками понаперли, этапъ на ура, по русски: камень-то и бухъ въ яму! Тутъ же лопатками засыпали, трюмбовкой утробовали, камушками замостили, — гладко, исчезъ камушекъ!

— Представьте себѣ! сказалъ Версиловъ.

— То есть, народу-то, народу-то тутъ набѣжало, видимо невидимо; англичане эти тутъ же, давно догадались, злятся. Монферанъ прѣхалъ: это, говоритъ, по мужицки, слишкомъ, говоритъ, просто. Да вѣдь въ томъ-то и штука, что просто, а вы-то не догадались, дураки вы этапіе! Такъ это я вамъ скажу, этотъ начальникъ-то, государственное-то лицо, только обнялъ его, поцаловалъ: „Да откуда ты былъ такой, говоритъ?“ — „А изъ Ярославской губерніи, ваше сіятельство, мы, собственно, по нашему ремеслу портные, а лѣтомъ въ столицу фруктовъ приходимъ торговать-съ“. Ну, дошло до начальства; начальство велѣло ему медаль повѣсить; такъ и ходилъ съ медалью на шеѣ, да опился потомъ, говорятъ; знаете, русскій человекъ, не удержится! Отъ того-то вотъ насъ до сихъ поръ иностранцы и заѣдаютъ, да-съ, вотъ-съ!

— Да, конечно, русскій умъ... началъ-было Версиловъ.

Но тутъ рассказчика, къ счастью его, кликнула больная хозяйка, и онъ убѣжалъ, а то-бы я не выдержалъ. Версиловъ смѣялся.

— Милый ты мой, онъ меня цѣлнй часъ передъ тобой веселилъ. Этотъ камень... это все, что есть самаго патріотически непорядочнаго между подобными рассказами, но какъ его перебить? Вѣдь ты видѣлъ, онъ таетъ отъ удовольствія. Да и кромѣ того, этотъ камень, кажется, и теперь стоитъ, если только не ошибаюсь, и вовсе не зарытъ въ яму...

— Ахъ, Боже мой! вскричалъ я: — да вѣдь и вправду. Какъ же онъ смѣлъ!..

— Что ты? Да ты, кажется, совѣмъ въ негодованіи, полно. А это онъ, дѣйствительно, смѣшалъ: я слышалъ какой-то въ этомъ родѣ рассказъ о камнѣ еще во времена моего дѣтства, только, разумеется, не такъ и не про этотъ камень. Помилуй: „дошло до начальства.“ Да у него вся душа пѣла въ ту минуту, когда онъ „дошелъ до начальства“. Въ этой жалкой средѣ и нельзя безъ подобныхъ анекдотовъ. Ихъ у нихъ множество, главное — отъ ихъ невоздержности. Ничему не учились, ничего точно не знаютъ, ну, а кромѣ картъ и производствъ, захочется поговорить о чемънибудь общечеловѣческомъ, поэтическомъ... Что онъ, кто такой этотъ Петръ Ипполитовичъ?

— Бѣднѣйшее существо, и даже несчастный.

— Ну, вотъ видишь, даже, можетъ, и въ карты не играетъ?

Повторяю, рассказывая эту дребедень, онъ удовлетворяетъ своей любви къ ближнему: вѣдь онъ и насъ хотѣлъ осчастливить. Чувство патриотизма тоже удовлетворено; наприимѣръ, еще анекдотъ есть у нихъ, что Завьялову англичане милліонъ давали съ тѣмъ только, чтобъ онъ клейма не клалъ на свои издѣлія.

— Ахъ, Воже мой, этотъ анекдотъ я слышалъ.

— Кто этого не слышалъ, и онъ совершенно даже знаетъ, рассказывая, что ты это навѣрно ужъ слышалъ, но все таки рассказываетъ, нарочно воображая, что ты не слышалъ. Видѣніе шведскаго короля—это ужъ у нихъ, кажется, устарѣло; но въ моей юности, его съ засосомъ повторяли и съ таинственнымъ шопотомъ, точно также, какъ и о томъ, что, въ началѣ столѣтія, кто-то будто-бы стоялъ въ сенатѣ на колѣняхъ передъ сенаторами. Про коменданта Башуцкаго тоже много было анекдотовъ, какъ монументъ увезли. Они придворные анекдоты ужасно любятъ; наприимѣръ, рассказы про министра прошлаго царствования Чернышева, какимъ образомъ онъ, семидесятилѣтній старикъ, такъ поддѣлывалъ свою наружность, что казался тридцатилѣтнимъ, и до того, что покойный государь удивлялся на выходахъ...

— И это я слышалъ.

— Кто не слыхалъ? Всѣ эти анекдоты—верхъ непорядочности; но знай, что этотъ типъ непорядочнаго гораздо глубже и дальше распространенъ, чѣмъ мы думаемъ. Желаніе соврать, съ цѣлью осчастливить своего ближняго, ты встрѣтишь даже и въ самомъ порядочномъ нашемъ обществѣ, ибо всѣ мы страдаемъ этою невоздержанностью сердецъ нашихъ. Только у насъ въ другомъ родѣ рассказы; что у насъ объ одной Америкѣ рассказываютъ, такъ это—страсть, и государственные даже люди! Я и самъ, признаюсь, принадлежу къ этому непорядочному типу и всю жизнь страдалъ отъ того...

— Про Чернышева я самъ рассказывалъ нѣсколько разъ.

— Ужъ и самъ рассказывалъ?

— Тутъ есть, кромѣ меня, еще жилецъ чиновникъ, тоже рябой, и уже старикъ, но тотъ ужасный прозаикъ, и чуть Петръ Ипполитовичъ заговоритъ, тотчасъ начнетъ его сбивать и противорѣчить. И до того довелъ, что тотъ у него какъ рабъ прислуживаетъ и угождаетъ ему, только чтобъ тотъ слушалъ.

— Это—ужъ другой типъ непорядочнаго и даже, можетъ быть, омерзительнѣе перваго. Первый—весь восторгъ! „Да ты дай только соврать—посмотри, какъ хорошо выйдетъ.“ Второй—весь хандра и проза: „не дамъ соврать, гдѣ, когда, въ которомъ году?“ — однимъ

словомъ, человекъ безъ сердца. Другъ мой, дай всегда немного соврать человекѣу—это невинно. Даже много дай соврать. Во первыхъ, это покажетъ твою деликатность, а во вторыхъ, за это тебѣ тоже дадутъ соврать—двѣ огромныхъ выгоды разомъ. Que diable! надобно любить своего ближняго. Но мнѣ пора. Ты премило устроился, прибавилъ огнь, подымаясь со стула. Расскажу Софьѣ Андреевнѣ и сестрѣ твоей, что заходилъ и засталъ тебя въ добромъ здоровьѣ. До свиданья, мой милый.

Какъ, неужели все? Да мнѣ вовсе не о томъ было нужно; я ждалъ другаго, *главнаго*, хотя совершенно понималъ, что и нельзя было иначе. Я со свѣчей сталъ провожать его на лѣстницу; подскочилъ было хозяинъ, но я, потихоньку отъ Верилова, схватилъ его изо всей силы за руку и свирѣпо оттолкнулъ. Онъ поглядѣлъ было съ изумленіемъ, но нигомъ ступевался.

— Эти лѣстницы... мямлилъ Вериловъ, растягивая слова, видимо, чтобъ сказать что нибудь, и видимо боясь, чтобъ я не сказалъ чего нибудь:—эти лѣстницы,—я отвыкъ, а у тебя третій этажъ, а впрочемъ, я теперь найду дорогу... Не безпокойся, мой милый, еще протудишься.

Но я не уходилъ. Мы спускались уже по второй лѣстницѣ.

— Я васъ ждалъ всѣ эти три дня, вырвалось у меня внезапно, какъ-бы само собой; я задыхался.

— Спасибо, мой милый.

— Я зналъ, что вы непременно придете.

— А я зналъ, что ты знаешь, что я непременно приду. Спасибо, мой милый.

Онъ примолкъ. Мы уже дошли до выходной двери, а я все шелъ за нимъ. Онъ отворилъ дверь; быстро ворвавшійся вѣтеръ потушилъ мою свѣчу. Тутъ я вдругъ схватилъ его за руку; была совершенная темнота. Онъ вздрогнулъ, но молчалъ. Я припалъ къ рукѣ его и вдругъ жадно сталъ ее цаловать, нѣсколько разъ, много разъ.

— Милый мой мальчикъ, да за что ты меня такъ любишь? проговорилъ онъ, но уже совсѣмъ другимъ голосомъ. Голосъ его задрожалъ, что-то зазвенѣло въ немъ совсѣмъ новое, точно и не онъ говорилъ.

Я хотѣлъ-было что-то отвѣтить, но не смогъ и побѣжалъ наверхъ. Онъ же все ждалъ на мѣстѣ, и только лишь когда я добѣжалъ до квартиры, я услышала, какъ отворилась и съ шумомъ захлопнулась наружная дверь внизу. Мимо хозяина, который опять зачѣмъ-то подвинулся, я проскользнулъ въ мою комнату, задвинулся на защелку и,

не зажигая свѣчки, бросился на мою кровать, лицомъ въ подушку и — плакалъ-плакалъ. Въ первый разъ заплакалъ съ самаго Тушара! Ряданья рвались изъ меня съ такою силою, и я былъ такъ счастливъ... но что описывать!

Я записалъ это теперь не стыдясъ, потому что, можетъ быть, все это было и хорошо, не смотря на всю нелѣпость.

III.

Но ужъ и досталось же ему отъ меня за это! Я сталъ страшнымъ деспотомъ. Само собою, объ этой сценѣ потомъ у насъ и помину не было. Напротивъ, мы встрѣтились съ нимъ на третій же день, какъ ни въ чемъ не бывало — мало того: я былъ почти грубъ въ этотъ второй вечеръ, а онъ тоже какъ будто сухъ. Случилось это опять у меня; я почему-то все еще не пошелъ къ нему самъ, не смотря на желаніе увидѣть мать.

Говорили мы во все это время, т. е. во всѣ эти два мѣсяца, лишь о самыхъ отвлеченныхъ предметахъ. И вотъ этому я удивляюсь: мы только и дѣлали, что говорили объ отвлеченныхъ предметахъ, — конечно, общечеловѣческихъ и самыхъ необходимыхъ, но нимало не касавшихся насущнаго. Между тѣмъ, многое, очень многое изъ насущнаго надо было опредѣлить и уяснить, и даже настоятельно, но объ этомъ-то мы и молчали. Я даже ничего о матери и о Лизѣ не говорилъ и... ну и, наконецъ, о себѣ самомъ, о всей моей исторіи. Отъ стыда ли это все было, или отъ какой-то юношеской глупости — не знаю. Полагаю, что отъ глупости, потому что стыдъ все таки можно было перескочить. А деспотировалъ я его ужасно и даже вѣзжалъ неоднократно въ нахальство, и даже противъ сердца: это все какъ-то само собою неудержимо дѣлалось, самъ себя не могъ удержать. Его же тонъ былъ по прежнему съ тонкой насмѣшкой, хотя и чрезвычайно всегда ласковый, не смотря ни на что. Поражало меня тоже, что онъ больше любилъ самъ приходитъ ко мнѣ, такъ что я, наконецъ, ужасно рѣдко сталъ ходить къ мамѣ, въ недѣлю разъ, не больше, особенно въ самое послѣднее время, когда я ужъ совсѣмъ завертѣлся. Онъ приходилъ все по вечерамъ, сидѣлъ у меня и болталъ; тоже очень любилъ болтать и съ хозяйномъ; послѣднее меня бѣсило отъ такого человѣка, какъ онъ. Приходило мнѣ тоже на мысль: неужели ему не къ кому ходить, кромѣ меня? Но я зналъ навѣрно, что у него были знакомства; въ послѣднее время онъ даже возобновилъ многія прежнія сношенія въ свѣтскомъ

кругу, въ послѣдній годъ имъ оставленныя; но, кажется, онъ не особенно соблазнялся ими и многое возобновилъ лишь официально, болѣе же любилъ ходить ко мнѣ. Трогало меня иногда очень, что онъ, входя по вечерамъ, почти каждый разъ, какъ будто робѣлъ, отворяя дверь, и въ первую минуту всегда съ страннымъ безпокойствомъ заглядывалъ мнѣ въ глаза: „не помѣшаю ли, дескать? Скажи—я уйду“. Даже говорилъ это иногда. Разъ, напримѣръ, именно въ послѣднее время, онъ вошелъ, когда уже я былъ совсѣмъ одѣтъ въ только что полученный отъ портнаго костюмъ и хотѣлъ ѣхать къ „князю Серезѣ“, чтобъ съ тѣмъ отправиться куда слѣдуетъ (куда — объясню потомъ). Онъ же, войдя, сѣлъ, вѣроятно, не замѣтивъ, что я собираюсь; на него минутами нападала чрезвычайно странная разсѣянность. Какъ нарочно, онъ заговорилъ о хозяйнѣ; я вспылить:

— Э, чортъ съ нимъ, съ хозяиномъ!

— Ахъ, милый мой, вдругъ поднялся онъ съ мѣста;—да ты, кажется, собираешься со двора, а я тебѣ помѣшала... Прости, пожалуйста.

И онъ смиренно заторопился выходить. Вотъ это-то смиреніе предо мной отъ такого человѣка, отъ такого свѣтскаго и независимаго человѣка, у котораго такъ много было своего, разомъ воскрешало въ моемъ сердцѣ всю мою нѣжность къ нему и всю мою въ немъ увѣренность. Но если онъ такъ любилъ меня, то почему же онъ не остановилъ меня тогда во время моего позора? Скажи онъ тогда слово—и я бы, можетъ быть, удержался. Впрочемъ, можетъ быть, нѣтъ. Но видѣлъ же онъ это франтовство, это фанфаронство, этого Матвѣя (я даже разъ хотѣлъ довести его на моихъ саняхъ, но онъ не сѣлъ; и даже нѣсколько разъ это было, что онъ не хотѣлъ садиться), вѣдь видѣлъ же, что у меня деньги сыплются—и ни слова, ни слова, даже не полжобопытствовалъ! Это меня до сихъ поръ удивляетъ, даже теперь. А я, разумѣется, нисколько тогда передъ нимъ не церемонился и все наружу выказывалъ, хотя, конечно, ни слова тоже не говорилъ въ объясненіе. Онъ не спрашивалъ, я и не говорилъ.

Впрочемъ, раза два-три мы какъ бы заговаривали и объ насущномъ. Я спросилъ его разъ однажды, вначалѣ, вскорѣ послѣ отказа отъ наслѣдства: чѣмъ же онъ жить теперь будетъ?

— Какъ нибудь, другъ мой, проговорилъ онъ съ чрезвычайнымъ спокойствіемъ.

Теперь я знаю, что даже крошечный капиталъ Гатяны Павловны, тысячъ въ пять, на половину былъ затраченъ на Верилова въ эти послѣдніе два года.

Въ другой разъ мы какъ-то заговорили о мамѣ:

— Другъ мой, сказалъ онъ вдругъ, грустно:—я часто говорилъ Софьѣ Андреевнѣ, въ началѣ соединенія нашего, впрочемъ, и въ началѣ, и въ серединѣ, и въ концѣ: „Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мнѣ не жалко, пока ты передо мной; а вѣдь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью“.

Впрочемъ, помню, въ тотъ вечеръ онъ былъ особенно откровененъ:

— Хоть бы я былъ слобохарактерною ничтожностью и страдалъ этимъ сознаньемъ! А то вѣдь нѣтъ, я вѣдь знаю, что я безконечно силенъ, и чѣмъ, какъ ты думаешь? А вотъ именно этою непосредственною силою уживчивости съ чѣмъ бы то ни было, столь свойственною всѣмъ умнымъ русскимъ людямъ нашего поколѣнія. Меня ничѣмъ не разрушишь, ничѣмъ не истребишь и ничѣмъ не удивишь. Я живучъ, какъ дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнѣйшимъ образомъ два противоположныя чувства въ одно и то же время—и ужъ, конечно, не по моей волѣ. Но тѣмъ не менѣе знаю, что это безчестно, главное потому, что ужъ слишкомъ благоразумно. Я дожилъ почти до пятидесяти лѣтъ, и до сихъ поръ не вѣдаю: хорошо это, что я дожилъ, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходитъ изъ дѣла; но любить жизнь такому, какъ я—подло. Въ послѣднее время началось что-то новое, и Крафты не уживаются, а застрѣливаются. Но вѣдь ясно, что Крафты глупы; ну, а мы умны—стало быть, и тутъ никакъ нельзя вывести параллели, и вопросъ все таки остается открытымъ. И неужели земля только для такихъ, какъ мы, стоитъ? Всего вѣрнѣе, что да; но идея эта ужъ слишкомъ безотрадная. А впрочемъ... а впрочемъ, вопросъ все таки остается открытымъ.

Онъ говорилъ съ грустью, и все таки я не зналъ, искренно или нѣтъ? Была въ немъ всегда какая-то складка, которую онъ ни за что не хотѣлъ оставить.

IV.

Я тогда его засыпалъ вопросами, я бросался на него, какъ голодный на хлѣбъ. Онъ всегда отвѣчалъ мнѣ съ готовностью и прямодушно, но, въ концѣ концовъ, всегда сводилъ на самыя общія афоризмы, такъ что, въ сущности, ничего нельзя было вытянуть. А, между тѣмъ, всѣ эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь, и, признаюсь откровенно, я еще въ Москвѣ отдалялъ ихъ рѣшеніе, именно до свиданія нашего въ Петербургѣ. Я даже прямо это заявилъ ему, и онъ

не разсмѣялся надо мной—напротивъ, помню, пожалъ мнѣ руку. Изъ всеобщей политики и изъ социальныхъ вопросовъ я почти ничего не могъ изъ него извлечь, а эти-то вопросы, въ виду моей „идеи“, всего болѣе меня и тревожили. О такихъ, какъ Дергачевъ, я вырвалъ у него разъ замѣтку, „что они ниже всякой критики“, но въ то же время онъ странно прибавилъ, что „оставляетъ за собою право не придавать своему мнѣнію никакого значенія“. О томъ, какъ кончатся современныя государства и міръ, и чѣмъ вновь обновится социальный міръ, онъ ужасно долго отмалчивался, но, наконецъ, я таки вымучилъ изъ него однажды нѣсколько словъ:

— Я думаю, что все это произойдетъ какъ нибудь чрезвычайно ordinarily, проговорилъ онъ разъ.—Просто на просто, всё государства, не смотря на всё балансы въ бюджетахъ и на „отсутствіе дефицитовъ“, шп beau matin запутаются окончательно, и всё до единого пожелаютъ не заплатить, чтобъ всёмъ до единого обновиться во всеобщемъ банкротствѣ. Между тѣмъ, весь консервативный элементъ всего міра сему воспротивится, ибо онъ-то и будетъ акціонеромъ и кредиторомъ, и банкротства допустить не захочетъ. Тогда, разумѣется, начнется, такъ сказать, всеобщее окисленіе; прибудетъ много жиды, и начнется жидовское царство; а засимъ всё тѣ, которые никогда не имѣли акцій, да и вообще ничего не имѣли, т. е. всё нищіе, естественно не захотятъ участвовать въ окисленіи... Начнется борьба, и, послѣ семидесяти семи поражений, нищіе уничтожатъ акціонеровъ, отберутъ у нихъ акціи и сядутъ на ихъ мѣсто акціонерами же, разумѣется. Можетъ и скажутъ что нибудь новое, а можетъ и нѣтъ. Вѣрнѣе, что тоже обанкрутятся. Далѣе, другъ мой, ничего не умѣю предугадать въ судьбахъ, которыя измѣнятъ ликъ міра сего. Впрочемъ, посмотри въ Апокалипсисъ...

— Да неужели все это такъ матеріально; неужели только отъ однихъ финансовъ кончится нынѣшній міръ?

— О, разумѣется, я взялъ лишь одинъ уголокъ картины, но вѣдь и этотъ уголокъ связанъ со всёмъ, такъ сказать, неразрывными узами.

— Что же дѣлать?

— Ахъ, Боже мой, да ты не торопись: это все не такъ скоро. Вообще же, ничего не дѣлать всего лучше, по крайней мѣрѣ, спокойнѣе совѣстью, что ни въ чемъ не участвовалъ.

— Э, полноте, говорите дѣло. Я хочу знать, что именно мнѣ дѣлать и какъ мнѣ жить?

— Что тебѣ дѣлать, мой милый? Будь честенъ, никогда не лги,

не пожелай дому ближняго своего, однимъ словомъ, прочти десять заповѣдей—тамъ все это навѣки написано.

— Полноте, полноте, все это такъ старо и притомъ—одни слова; а нужно дѣло.

— Ну ужь, если очень одолѣеть скука, постарайся полюбить когонибудь, или чтонибудь, или даже просто привязаться къ чемунибудь.

— Вы только смѣтаетесь! И притомъ, что я одинъ-то сдѣлаю съ вашими десятью заповѣдями?

— А ты ихъ исполни, не смотря на всѣ твои вопросы и сомнѣнія, и будешь человѣкомъ великимъ.

— Никому неизвѣстнымъ.

— Ничего нѣтъ тайнаго, что бы не сдѣлалось явнымъ.

— Да вы рѣшительно смѣтаетесь!

— Ну, если ужь ты такъ принимаешь къ сердцу, то, всего лучше, постарайся поскорѣе специализироваться, займись постройками или адвокатствомъ, и тогда, занявшись уже настоящимъ и серьезнымъ дѣломъ, успокоишься и забудешь о пустякахъ.

Я промолчалъ; ну что тутъ можно было извлечь? И однако же, послѣ каждаго изъ подобныхъ разговоровъ я еще болѣе волновался чѣмъ прежде. Кромѣ того, я видѣлъ ясно, что въ немъ всегда какъ бы оставалась какая-то тайна, это-то и привлекало меня къ нему все больше и больше.

— Слушайте, прервалъ я его однажды:— я всегда подозрѣвалъ, что вы говорите все это только такъ, со злобы и отъ страданія, но втайнѣ, про себя, вы-то и есть фанатикъ какойнибудь высшей идеи и только скрываете или стыдитесь признаться.

— Спасибо тебѣ, мой милый.

— Слушайте, ничего нѣтъ выше, какъ быть полезнымъ. Скажите, чѣмъ въ данный мигъ я всего больше могу быть полезенъ? Я знаю, что вамъ не разрѣшить этого; но я только вашего мнѣнія ищу: вы скажете, и какъ вы скажете, такъ я и пойду, клянусь вамъ! Ну, въ чемъ же великая мысль?

— Ну, обратить камни въ хлѣбы—вотъ великая мысль.

— Самая великая? Нѣтъ., взаправду, вы указали цѣлнй путь; скажите же: самая великая?

— Очень великая, другъ мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только въ данный моментъ великая: найдется человекъ и не вспомнить; напротивъ, тотчасъ скажетъ: „Ну, вотъ я найлся, а теперь что дѣлать?“ Вопросъ остается вѣковѣчно открытымъ.

— Вы разъ говорили про „Женевскія идеи“; я не понималъ, что такое „Женевскія идеи“?

— Женевскія идеи это — добродѣтель безъ Христа, мой другъ, теперешнія идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизаціи. Однимъ словомъ, это — одна изъ тѣхъ длинныхъ исторій, которыя очень скучно начинать и гораздо будетъ лучше, если мы съ тобой поговоримъ о другомъ, а еще лучше, если помолчимъ о другомъ.

— Вамъ бы все молчать!

— Другъ мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво.

— Красиво?

— Конечно. Молчаніе всегда красиво, а молчаливый всегда красивѣе говорящаго.

— Да такъ говорить, какъ мы съ вами, конечно, все равно, что молчать. Чортъ съ этою красотою, а пуще всего чортъ съ этою выгодой!

— Милый мой, сказалъ онъ мнѣ вдругъ, нѣсколько измѣняя тонъ, даже съ чувствомъ и съ какою-то особенною настойчивостью: — милый мой, я вовсе не хочу прельстить тебя какою нибудь буржуазною добродѣтелью взамѣнъ твоихъ идеаловъ, не твержу тебѣ, что „счастье лучше богатства“; напротивъ, богатство выше всякаго счастья, и одна ужъ способность въ нему составляетъ счастье. Такимъ образомъ, это между нами рѣшено. Я именно и уважаю тебя за то, что ты смогъ, въ наше пробислое время, завести въ душѣ своей какую-то тамъ „свою идею“ (не безпокойся, я очень запомнилъ). Но, все таки, нельзя же не подумать и о мѣрѣ, потому что тебѣ теперь именно хочется звонкой жизни, что нибудь зажечь, что нибудь раздробить, стать выше всей Россіи, пронестись громовою тучей и оставить всѣхъ въ страхъ и въ восхищеніи, а самому скрыться въ Сѣверо-Американскіе Штаты. Вѣдь, навѣрно, что нибудь въ этомъ родѣ въ душѣ твоей, а потому я и считаю нужнымъ тебя предостеречь, потому что искренно полюбилъ тебя, мой милый.

Что могъ я извлечь и изъ этого? Тутъ было только безпокойство обо мнѣ, объ моей матеріальной участи; связывался отецъ съ своими прозаическими, хотя и добрыми чувствами; но того ли мнѣ надо было въ виду идей, за которыя каждый честный отецъ долженъ бы послать сына своего хоть на смерть, какъ древній Горацій своихъ сыновей за идею Рима?

Я приставалъ къ нему часто съ религіей, но тутъ туману было пуще всего. На вопросъ: что мнѣ дѣлать въ этомъ смыслѣ? онъ отвѣ-

чалъ самымъ глупымъ образомъ, какъ маленькому:—Надо вѣровать въ Бога, мой милый.

— Ну, а если я не вѣрю всему этому? вскричалъ я разъ въ раздраженіи.

— И прекрасно, мой милый.

— Какъ прекрасно?

— Самый превосходный признакъ, мой другъ; самый даже благонадежный, потому что нашъ русскій атеистъ, если только онъ вправду атеистъ и чуть-чуть съ умомъ — самый лучший человекъ въ цѣломъ мірѣ и всегда наклоненъ приласкать Бога, потому что непремѣнно добръ, а добръ потому, что безмѣрно доволенъ тѣмъ, что онъ — атеистъ. Атеисты наши — люди почтенные и въ высшей степени благонадежные, такъ сказать, опора отечества...

Это, конечно, было что нибудь, но я хотѣлъ не того; однажды только онъ высказался, но только странно, что удивилъ меня больше всего, особенно въ виду всѣхъ этихъ католичествъ и веригъ, про которыя я объ немъ слышалъ:

— Милый мой, сказалъ онъ мнѣ однажды, не дома, а какъ-то на улицѣ, послѣ длиннаго разговора; я провожалъ его.— Другъ мой — любить людей такъ, какъ они есть, невозможно. И, однако же, должно. И потому дѣлай имъ добро, скрѣпя свои чувства, зажимая носъ и закрывая глаза (последнее необходимо). Переноси отъ нихъ зло, не сердясь на нихъ по возможности, „памятуя, что и ты человекъ“. Разумѣется, ты поставленъ быть съ ними строгимъ, если дано тебѣ быть хоть чуть-чуть поумнѣе середины. Люди по природѣ своей низки и любятъ любить изъ страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Гдѣ-то въ Коранѣ Аллахъ повелѣваетъ пророку взирать на „строптивыхъ“, какъ на мышей, дѣлать имъ добро и проходить мимо — немножко гордо, но вѣрно. Умѣй презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тутъ-то они и скверны. О, милый мой, я, судя по себѣ, сказалъ это! Кто лишь чуть-чуть не глупъ, тотъ не можетъ жить и не презирать себя, честенъ онъ или безчестенъ — это все равно. Любить своего ближняго и не презирать его — невозможно. По моему, человекъ созданъ съ физическою невозможностью любить своего ближняго. Тутъ какая-то ошибка въ словахъ, съ самаго начала, и „любовь къ человѣчеству“ надо понимать лишь къ тому человѣчеству, которое ты же самъ и создалъ въ душѣ своей, — (другими словами, себя самого создалъ и къ себѣ самому любовь), — и котораго, поэтому, никогда и не будетъ на самомъ дѣлѣ.

— Никогда не будетъ?

— Другъ мой, я согласенъ, что это было бы глуповато, но тутъ не моя вина; а такъ какъ при мірозданіи со мною не справлялись, то я и оставляю за собою право имѣть на этотъ счетъ свое мнѣніе.

— Какъ же васъ называютъ послѣ этого христіаниномъ, вскричалъ я:—монахомъ съ веригами, проповѣдникомъ? Не понимаю!

— А кто меня такъ называетъ?

Я рассказалъ ему; онъ выслушалъ очень внимательно, но разговоръ прекратилъ.

Никакъ не запомню, по какому поводу былъ у насъ этотъ памятный для меня разговоръ; но онъ даже раздражился, чего съ нимъ почти никогда не случалось. Говорилъ страстно и безъ насмѣшки, какъ бы и не мнѣ говорилъ. Но я опять таки не повѣрилъ ему: не могъ же онъ съ такимъ, какъ я, говорить о такихъ вещахъ серьезно?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Въ это утро, пятнадцатаго ноября, я именно засталъ его у „князя Сережи.“ Я же и свелъ его съ княземъ, но у нихъ и безъ меня было довольно пунктовъ соединенія (я говорю объ этихъ прежнихъ исторіяхъ за границей и проч.). Кроме того, князь далъ ему слово выдѣлить ему изъ наслѣдства, по крайней мѣрѣ, одну треть, что составило бы тысячь двадцать непременно. Мнѣ, помню, ужасно тогда было странно, что онъ выдѣляетъ всего треть, а не цѣлую половину; но я смолчалъ. Это обѣщаніе выдѣлить князь далъ тогда самъ собой; Версиловъ ни полсловечкомъ не участвовалъ, не заикнулся; князь самъ высочилъ, а Версиловъ только молча допустилъ и ни разу потомъ не упомянулъ, даже и виду не показалъ, что сколько нибудь помнить объ обѣщаніи. Замѣчу встать, что князь вначалѣ былъ имъ рѣшительно очарованъ, въ особенности рѣчами его, даже приходилъ въ восторгъ и нѣсколько разъ мнѣ высказывался. Онъ иногда восклицалъ наединѣ со мною и почти съ отчаяніемъ про себя, что онъ— „такъ необразованъ, что онъ на такой ложной дорогѣ!..“ О, мы были еще тогда такъ дружны!.. Я и Версиллову все старался внушать тогда о князѣ одно хорошее, защищалъ его недостатки, хотя и видѣлъ ихъ самъ; но Версиловъ от-малчивался или улыбался.

— Если въ немъ недостатки, то въ немъ, по крайней мѣрѣ,

столько же достоинствъ, сколько и недостатковъ! воскликнулъ я разъ наединѣ Версилову.

— Боже, какъ ты ему льстишь, засмѣялся онъ.

— Чѣмъ льщу? не понялъ было я.

— Столько же достоинствъ! Да вѣдь его мощи явятся, если столько достоинствъ, сколько у него недостатковъ!

Но, конечно, это было не мнѣніе. Вообще о князѣ онъ какъ-то избѣгалъ тогда говорить, какъ и вообще о всемъ насущномъ; но о князѣ особенно. Я подозрѣвалъ уже и тогда, что онъ заходитъ къ князю и безъ меня и что у нихъ есть особыя сношенія, но я допускалъ это. Не ревновалъ тоже и къ тому, что онъ говорилъ съ нимъ какъ бы серьезнѣе, чѣмъ со мной, болѣе, такъ сказать, положительно и менѣе пускалъ насмѣшки: но я былъ такъ тогда счастливъ, что это мнѣ даже нравилось. Я извинялъ еще и тѣмъ, что князь былъ немножко ограниченъ, а потому любилъ въ словѣ точность, а иныхъ остротъ даже вовсе не понималъ. И вотъ, въ послѣднее время, онъ какъ-то сталъ эмансипироваться. Чувства его къ Версилову какъ будто начали даже измѣняться. Чуткій Версиловъ это замѣтилъ. Предупрежу тоже, что князь въ то же время и ко мнѣ измѣнился, даже слишкомъ видимо; оставались лишь какія-то мертвыя формы первоначальной нашей почти горячей дружбы. Между тѣмъ я все таки продолжалъ къ нему ходить; впрочемъ, какъ бы я и могъ не ходить, затанувшись во все это. О, какъ я былъ тогда неискусень, и неужели лишь одна глупость сердца можетъ довести человѣка до такого неумѣнія и униженія? Я бралъ у него деньги и думалъ, что это ничего, что такъ и надо. Впрочемъ, не такъ: я и тогда зналъ, что такъ не надо, но—я просто мало думалъ объ этомъ. Не изъ-за денегъ я ходилъ, хоть мнѣ и ужасно нужны были деньги. Я зналъ, что я не изъ-за денегъ хожу, но понималъ, что каждый день прихожу брать деньги. Но я былъ въ вихрѣ и, кромѣ всего этого, совсѣмъ другое тогда было въ душѣ моей,—пѣло въ душѣ моей!

Когда я вошелъ, часовъ въ одиннадцать утра, то засталъ Версилова уже доканчивавшаго какую-то длинную тираду; князь слушалъ, шагая по комнатѣ, а Версиловъ сидѣлъ. Князь казался въ нѣкоторомъ волненіи. Версиловъ почти всегда могъ приводить его въ волненіе. Князь былъ чрезвычайно воспримчивое существо, до наивности, заставлявшей меня во многихъ случаяхъ смотрѣть на него свысока. Но, повторяю, въ послѣдніе дни въ немъ явилось что-то злобно оскаливающееся. Онъ пріостановился, увидя меня, и какъ бы что-то передерну-

лось въ его лицѣ. Я зналъ про себя, чѣмъ объяснить эту тѣнь въ это утро, но не ожидалъ, что до такой степени передернется лицо его. Мнѣ извѣстно было, что у него накопились разныя безпокойства, но гадко было то, что я зналъ лишь десятую долю ихъ—остальное было для меня тогда крѣпкимъ секретомъ. Потому это было гадко и глуно, что я часто лѣвъ утѣшать его, давать совѣты и даже свысока усмѣхался надъ слабостью его выходить изъ себя „изъ-за такихъ пустяковъ.“ Онъ отпалчивался; но невозможно, чтобъ не ненавидѣлъ меня въ тѣ минуты ужасно: я былъ въ слишкомъ фальшивомъ положеніи и даже не подозрѣвалъ того. О, свидѣтельствуюсь Богомъ, что главнаго не подозрѣвалъ!

Онъ, однако, вѣжливо протанулъ мнѣ руку, Версиловъ бивнулъ головою, не прерывая рѣчи. Я разлегся на диванѣ. И что за тонъ былъ тогда у меня, что за пріемы! Я даже еще пуше финтигаль, его знакомыхъ третировалъ какъ своихъ... Охъ, еслибъ была возможность это все теперь передѣлать, какъ бы я сумѣлъ держать себя иначе!

Два слова, чтобъ не забыть; князь жилъ тогда въ той же квартирѣ, но занималъ ее уже почти всю; хозяйка квартиры, Столбѣва, пробываа лишь съ мѣсяцъ и опять куда-то уѣхала.

II.

Они говорили о дворянствѣ. Замѣчу, что эта идея очень волновала иногда князя, не смотря на весь его видъ прогрессизма, и я даже подозрѣваю, что многое дурное въ его жизни произошло и началось изъ этой идеи: цѣня свое княжество и будучи нищимъ, онъ всю жизнь изъ ложной гордости сыпалъ деньгами и затапулся въ долги. Версиловъ нѣсколько разъ намекалъ ему, что не въ томъ состоитъ княжество, и хотѣлъ насадить въ его сердцѣ болѣе высшую мысль; но князь подъ конецъ какъ-бы сталъ обижаться, что его учать. Повидимому, что-то въ этомъ родѣ было и въ это утро, но я не засталъ начала. Слова Версилова показались мнѣ сначала ретроградными, но потомъ онъ поправился.

— Слово честь—значить долгъ, говорилъ онъ (я передаю лишь смыслъ и сколько запомню). Когда въ государствѣ господствуетъ главенствующее сословіе, тогда крѣпка земля. Главенствующее сословіе всегда имѣетъ свою честь и свое исповѣданіе чести, которое можетъ быть и неправильнымъ, но всегда почти служить связью и крѣпить землю; полезно нравственно, но болѣе политически. Но терпятъ рабы,

то есть всё непринадлежащiе къ сословию. Чтобъ не терпѣли—сравниваются въ правахъ. Такъ у насъ и сдѣлано, и это прекрасно. Но по всѣмъ опытамъ, вездѣ доселѣ (въ Европѣ то есть) при уравненiяхъ правъ происходило пониженiе чувства чести, а, стало быть, и долга. Эгоизмъ замѣнялъ собою прежнюю скрѣпляющую идею, и все рѣспада-лось на свободу лицъ. Освобожденные, оставаясь безъ скрѣпляющей мысли, до того теряли подъ конецъ всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русскiй типъ дворянства никогда не походилъ на европейскiй. Наше дворянство и теперь, потерявъ права, могло бы оставаться высшимъ сословiемъ, въ видѣ хранителя чести, свѣта, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже въ отдѣльную касту, что было бы смертiю идеи. Напротивъ, ворота въ сословіе отворены у насъ уже слишкомъ издавна; теперь же пришло время ихъ отворить окончательно. Пусть всякiй подвигъ чести, науки и доблести дастъ у насъ право всякому применить къ верхнему разряду людей. Такимъ образомъ, сословіе само собою обращается лишь въ собранiе лучшихъ людей, въ смыслѣ буквальный и истинный, а не въ прежнемъ смыслѣ привилегированной касты. Въ этомъ новомъ или, лучше, обновленномъ видѣ могло бы удержаться сословіе.

Князь оскалилъ зубы:

— Это какое же будетъ тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.

Повторяю, князь былъ ужасно необразованъ. Я даже повернулся съ досады на диванѣ, хоть и не совсѣмъ былъ согласенъ съ Версиловымъ. Версиловъ слишкомъ понялъ, что князь показываетъ зубы:

— Я не знаю, въ какомъ смыслѣ вы сказали про масонство, отвѣтилъ онъ:—впрочемъ, если даже русскiй князь отрекается отъ такой идеи, то, разумѣется, еще не наступило ей время. Идея чести и просвѣщенiя, какъ завѣтъ всякаго, кто хочетъ присоединиться къ сословию, незамкнутому и обновляемому непрерывно, конечно—утопiя, но почему же невозможная? Если живетъ эта мысль хотя лишь въ немногихъ головахъ, то она еще не погибла, а свѣтитъ, какъ огненная точка въ глубокой тѣнѣ.

— Вы любите употреблять слова: „высшая мысль“, „великая мысль“, „скрѣпляющая идея“ и проч.; я бы желалъ знать, что собственно вы подразумеваете подъ словомъ „великая мысль“?

— Право, не знаю, какъ вамъ отвѣтить на это, мой милый князь, тонко усмѣхнулся Версиловъ.—Если я признаюсь вамъ, что и

самъ не умѣю отвѣтить, то это будетъ вѣрнѣе. Великая мысль—это чаще всего чувство, которое слишкомъ иногда по долгу остается безъ опредѣленія. Знаю только, что это всегда было то, изъ чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, а, напротивъ, нескудная и веселая; такъ что высшая идея, изъ которой она истекаетъ, рѣшительно необходима, къ всеобщей досадѣ, разумѣется.

— Почему къ досадѣ?

— Потому, что жить съ идеями скучно, а безъ идей всегда весело. Князь съѣлъ пилюлю.

— А что же такое эта живая жизнь, по вашему? (Онъ видимо злился).

— Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нѣчто ужасно простое, самое обиденное и въ глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никакъ не можемъ повѣрить, чтобъ оно было такъ просто, и естественно проходимъ мимо вотъ уже многія тысячи лѣтъ, не замѣчая и не узнавая.

— Я хотѣлъ только сказать, что ваша идея о дворянствѣ есть въ то же время и отрицаніе дворянства, сказалъ князь.

— Ну, если ужъ очень того хотите, то дворянство у насъ, можетъ быть, никогда и не существовало.

— Все это ужасно темно и неясно. Если говорить, то, по моему, надо развить...

Князь сморщилъ лобъ и мелькомъ взглянулъ на стѣнные часы. Версильовъ всталъ и захватилъ свою шляпу:

— Развить? сказалъ онъ:—нѣтъ, ужъ лучше не развивать, и къ тому же страсть моя—говорить безъ развитія. Право, такъ. И вотъ еще странность: случись, что я начну развивать мысль, въ которую вѣрую, и почти всегда такъ выходитъ, что въ концѣ изложенія я самъ перестая вѣровать въ излагаемое; боюсь подвергнуться и теперь. До свиданія, дорогой князь: у васъ я всегда непростительно разболтаюсь.

Онъ вышелъ; князь вѣжливо проводилъ его, но мнѣ было обидно.

— Чего вы-то нахохлились? вдругъ выпалилъ онъ, не глядя и проходя мимо къ конторѣ.

— Я къ тому нахохлился, началъ я съ дрожью въ голосѣ, что, находя въ васъ такую странную переменъ тона ко мнѣ и даже къ Версильову, я... Конечно, Версильовъ, можетъ быть, началъ нѣсколько ретроградно, но потомъ онъ поправился и... въ его словахъ, можетъ быть, заключалась глубокая мысль, но вы просто не поняли и...

— Я просто не хочу, чтобъ меня высказывали учить и считали за мальчишку! отрѣзалъ онъ почти съ гнѣвомъ.

— Князь, такіа слова...

— Пожалуйста, безъ театральныхъ жестовъ—сдѣлайте одолженіе. Я знаю, что то, что я дѣлаю—подло, что я—мочь, игрокъ, можетъ быть, воръ... да, воръ, потому что я проигрываю деньги семейства, но я вовсе не хочу надо мной судей. Не хочу и не допускаю. Я—самъ себѣ судья. И къ чему двусмысленности? Если онъ хотѣлъ мнѣ высказать, то и говори прямо, а не пророчь сумбуръ туманный. Но, чтобъ сказать это мнѣ, надо право имѣть, надо самому быть честнымъ...

— Во первыхъ, я не засталъ начала и не знаю, о чемъ вы говорили, а, во вторыхъ, чѣмъ же безчестенъ Версиловъ, позвольте васъ это спросить?

— Довольно, прошу васъ, довольно. Вы вчера просили триста рублей, вотъ они... Онъ положилъ передо мной на столъ деньги, а самъ сѣлъ въ кресло, нервно отклонился на спинку и забросилъ одну ногу за другую. Я остановился въ смущеніи:

— Я не знаю... пробормоталъ я: — хоть я васъ и просилъ... и хоть мнѣ и очень нужны деньги теперь, но, въ виду такого тона...

— Оставьте тонъ. Если я сказалъ чтонибудь рѣзкое, то извините меня. Увѣряю васъ, что мнѣ не до того. Выслушайте дѣло: я получилъ письмо изъ Москвы; братъ Саша, еще ребенокъ онъ, вы знаете, умеръ четыре дня назадъ. Отецъ мой, какъ вамъ тоже известно, вотъ уже два года въ параличѣ, а теперь ему, пишутъ, хуже, слова не можетъ вымолвить и не узнаеть. Они обрадовались тамъ наслѣдству и хотять везти за границу; но мнѣ пишетъ докторъ, что онъ врядъ ли и двѣ недѣли проживеть. Стало быть, остается мать, сестра и я, и, стало быть, теперь я одинъ почти... Ну, однимъ словомъ, я—одинъ... Это наслѣдство... Это наслѣдство—о, можетъ, лучше-бъ было, еслибъ оно не приходило вовсе! Но вотъ что именно я вамъ хотѣлъ сообщить: я обѣщалъ изъ этого наслѣдства Андрею Петровичу минимумъ двадцать тысячъ... А, между тѣмъ, представьте, за формальностями, до сихъ поръ ничего нельзя было сдѣлать. Я даже... ми то есть... то есть отецъ еще не введенъ даже и во владѣніе этимъ имѣніемъ. Между тѣмъ, я потерялъ въ послѣднія три недѣли столько денегъ, и этотъ мерзавецъ Стебельковъ беретъ такіе проценты... Я вамъ отдалъ теперь почти послѣднія...

— О, князь, если такъ..

— Я не къ тому, не къ тому. Стебельковъ принесетъ сегодня навѣрно, и на перехватку довольно будетъ, но чортъ его знаетъ этого Стебелькова! Я умолялъ его достать мнѣ десять тысячъ, чтобы хоть

десять тысячъ я могъ отдать Андрею Петровичу. Мое обѣщаніе ему выдѣлать треть меня мучить, истязуетъ. Я далъ слово и долженъ сдержать. И, клянусь вамъ, я рвусь освободиться отъ обязательствъ хоть съ этой стороны. Мнѣ они тяжелы, тяжелы, невыносимы! Эта тяготящая на мнѣ связь... Я не могу видѣть Андрея Петровича, потому что не могу глядѣть ему прямо въ глаза... зачѣмъ же онъ злоупотребляетъ?

— Чѣмъ онъ злоупотребляетъ, князь? остановился я передъ нимъ въ изумленіи.—Развѣ онъ когда вамъ хоть намекалъ?

— О, нѣтъ, и я цѣню, но я самъ себя намекалъ. И, наконецъ, я все больше и больше втягиваюсь... Этотъ Стебельковъ...

— Послушайте, князь, успокойтесь, пожалуйста; я вижу, что вы чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ волненіи, а, между тѣмъ, все это, можетъ быть, лишь миражъ. О, я затаился и самъ, непростительно, подлю; но вѣдь я знаю, что это только временное... и только бы мнѣ отыграть известную цифру, и тогда... скажите, а вамъ долженъ съ этими тремястами до двухъ тысячъ пятисотъ, такъ ли?

— Я съ васъ, кажется, не спрашиваю, вдругъ оскандился князь.

— Вы говорите: Версиллову десять тысячъ. Если я беру у васъ теперь, то, конечно, эти деньги пойдутъ въ зачетъ двадцати тысячъ Версилова; а иначе не допускаю. Но... но я навѣрно и самъ отдамъ... Да неужели же вы думаете, что Версилловъ къ вамъ ходитъ за деньгами?

— Для меня легче было-бы, если-бы онъ ходилъ ко мнѣ за деньгами, загадочно промолвилъ князь.

— Вы говорите объ какой-то „тяготящей связи“... Если это съ Версильовымъ и со мной, то это, ей Богу, обидно. И, наконецъ, вы говорите: зачѣмъ онъ самъ не таковъ, какимъ быть учить—вотъ ваша логика! И, во первыхъ, это — не логика, позвольте мнѣ это вамъ доложить, потому что, если-бы онъ былъ и не таковъ, то все таки не могъ не проповѣдывать истину... И, наконецъ, что это за слово „проповѣдуетъ“? Вы говорите: „пророкъ“. Скажите, это вы его называли „бабьимъ пророкомъ“ въ Германіи?

— Нѣтъ, не я.

— Мнѣ Стебельковъ говорилъ, что вы.

— Онъ солгалъ. Я — не мастеръ давать насмѣшливыя прозвища. Но если кто проповѣдуетъ честь, то будь и самъ честенъ—вотъ моя логика, и, если неправильна, то все равно. Я хочу, чтобъ было такъ, и будетъ такъ. И никто, никто не смѣй приходить судить меня ко

миѢ въ домъ и считать меня за младенца! Довольно! вскричалъ онъ, махнувъ на меня рукой, чтобъ я не продолжалъ...—А, наконецъ!

Отворилась дверь, и вошелъ Стебельковъ.

III.

Онъ былъ все тотъ же, также щеголевато одѣтъ, также выставлялъ грудь впередъ, также глупо смотрѣлъ въ глаза, также воображалъ, что хитритъ, и былъ очень доволенъ собой. На этотъ разъ, входя, онъ какъ-то странно осмотрѣлся; что-то особенно осторожное и проникательное было въ его взглядѣ, какъ будто онъ что-то хотѣлъ угадать по нашимъ физиономіямъ. Мигомъ, впрочемъ, онъ успокоился, и самоувѣренная улыбка засіяла на губахъ его, та „простительно-наглая“ улыбка, которая все таки была невыразимо гадка для меня.

Я зналъ давно, что онъ очень мучилъ князя. Онъ уже разъ или два приходилъ при миѢ. Я... я тоже имѣлъ съ нимъ одно сношеніе въ этотъ послѣдній мѣсяцъ, но на этотъ разъ я, по одному случаю, нешного удивился его приходу.

— Сейчасъ, сказалъ ему князь, не поздоровавшись съ нимъ и, обратясь къ намъ спиной, сталъ вынимать изъ конторки нужныя бумаги и счета. Чтò до меня, я былъ рѣшительно обиженъ послѣдними словами князя; намекъ на безчестность Версилова былъ такъ ясенъ (и такъ удивителен!), что нельзя было оставить его безъ радикальнаго разъясненія. Но при Стебельковѣ невозможно было. Я разлегся опять на диванѣ и развернулъ лежавшую передо мной книгу.

— Бѣлинскій, вторая часть! Это—новость; просвѣтитесь желаете? крикнулъ я князю и, кажется, очень выдѣлннно.

Онъ былъ очень занятъ и спѣшилъ, но на слова мои вдругъ обернулся:

— Я васъ прошу, оставьте эту книгу въ покоѣ, рѣзко проговорилъ онъ.

Это выходило уже изъ границъ, и главное—при Стебельковѣ! Какъ нарочно, Стебельковъ хитро и гадко ослабился и украдкой кивнулъ миѢ на князя. Я отворотился отъ этого глупца.

— Не сердитесь, князь; уступаю васъ самому главному человѣку, а пока ступенькиваюсь...

Я рѣшился быть развязнымъ.

— Это я-то—главный человѣкъ? подхватилъ Стебельковъ, весело показывая самъ на себя пальцемъ.

— Да, вы-то; вы самый главный человекъ и есть, и сами это знаете.

— Нѣтъ-съ, позвольте. На свѣтъ вездѣ второй человекъ. Я— второй человекъ. Есть первый человекъ и есть второй человекъ. Первый человекъ сдѣлаетъ, а второй человекъ возьметъ. Значить, второй человекъ выходитъ первый человекъ, а первый человекъ— второй человекъ. Такъ или не такъ?

— Можетъ и такъ, только я васъ, по обыкновенію, не понимаю.

— Позвольте. Была во Франціи революція и всѣхъ казнили. Пришелъ Наполеонъ и все взялъ. Революція—это первый человекъ, а Наполеонъ—второй человекъ. А вышло, что Наполеонъ сталъ первый человекъ, а революція стала второй человекъ. Такъ или не такъ?

Замѣчу, между прочимъ, что въ томъ, что онъ заговаривалъ со мною про французскую революцію; я увидѣлъ какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую: онъ все еще продолжалъ считать меня за какого-то революціонера, и во всѣ разы, какъ меня встрѣчалъ, находилъ необходимымъ заговорить о чемъ нибудь въ этомъ родѣ.

— Пойдите, сказалъ князь, и оба они вышли въ другую комнату. Оставшись одинъ, я окончательно рѣшился отдать ему назадъ его триста рублей, какъ только уйдетъ Стебелевъ. Мнѣ эти деньги были до крайности нужны, но я рѣшился.

Они оставались тамъ минутъ десять совсѣмъ неслышно, и вдругъ громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдругъ закричалъ, какъ-бы въ сильномъ раздраженіи, доходившемъ до бѣшенства. Онъ иногда бывалъ очень вспыльчивъ, такъ что даже я спускалъ ему. Но въ эту самую минуту вошелъ лакей съ докладомъ; я указалъ ему на ихъ комнату, и тамъ мигомъ все затихло. Князь быстро вышелъ съ озабоченнымъ лицомъ, но съ улыбкой; лакей побѣжалъ и черезъ полминуты вошелъ къ князю гость.

Это былъ одинъ важный гость, съ аксельбантами и вензелемъ, господинъ лѣтъ не болѣе тридцати, великосвѣтской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергѣй Петровичъ къ высшему петербургскому свѣту все еще не принадлежалъ настоящимъ образомъ, не смотря на все страстное желаніе свое (о желаніи я знаю), а потому онъ ужасно долженъ былъ цѣнить такое посѣщеніе. Знакомство это, какъ мнѣ извѣстно было, только что завязалось, послѣ большихъ стараній князя; гость отдавалъ теперь визитъ, но, къ несчастію, накрылъ хозяина въ расщелокъ. Я видѣлъ, съ какими мученіемъ и съ какимъ потеряннымъ взглядомъ обернулся было князь на мигъ къ

Стебелькову; но Стебельковъ вынесъ взглядъ какъ ни въ чемъ не бывало и, нисколько не думая ступевываться, развязно сѣлъ на диванъ и началъ рукой ерошить свои волосы, вѣроятно въ знакъ независимости. Онъ сдѣлалъ даже какую-то важную мину, однимъ словомъ; рѣшительно былъ невозможенъ. Что до меня, разумѣется, я и тогда уже умѣлъ себя держать и, конечно, не осрамилъ-бы никого, но каково же было мое изумленіе, когда я поймалъ тотъ же потерянный, жалкій и злобный взглядъ князя и на мнѣ: онъ стыдился стало быть насъ обоихъ и меня равнялъ со Стебельковыми. Эта идея привела меня въ бѣшенство; я разлегся еще больше и сталъ перебирать книгу съ такимъ видомъ, какъ будто до меня ничего не касается. Напротивъ, Стебельковъ выпучилъ глаза, выгнулся впередъ и началъ вслушиваться въ ихъ разговоръ, полагая вѣроятно, что это и вѣжливо, и любезно. Гость разъ-другой глянулъ на Стебелькова; впрочемъ, и на меня тоже.

Они заговорили о семейныхъ новостяхъ; этотъ господинъ когда-то зналъ мать князя, происходившую изъ известной фамиліи. Сколько я могъ заключить, гость, не смотря на любезность и кажущееся простодушіе тона, былъ очень чопоренъ и, конечно, цѣнилъ себя на столько, что визитъ свой могъ считать за большую честь даже кому бы то ни было. Еслибъ князь былъ одинъ, то есть безъ насъ, я увѣренъ, онъ былъ бы достойнѣе и находчивѣе; теперь же что-то особенно дрожавшее въ улыбкѣ его, можетъ бы и, слишкомъ ужъ любезной, и какая-то странная раскѣянность выдавали его.

Еще пяти минутъ они не сидѣли, какъ вдругъ еще доложили гостя и, какъ нарочно, тоже изъ компрометирующихъ. Этого я зналъ хорошо и слышалъ о немъ много, хотя онъ меня совсѣмъ не зналъ. Это былъ еще очень молодой человекъ, впрочемъ лѣтъ уже двадцатитрехъ, прелестно одѣтый, хорошаго дома и красавчикъ собой, но — несомнѣнно дурнаго общества. Въ прошломъ году онъ еще служилъ въ одномъ изъ виднѣйшихъ кавалерійскихъ гвардейскихъ полковъ, но принужденъ былъ самъ подать въ отставку, и всѣ знали изъ какихъ причинъ. Объ немъ родные публиковали даже въ газетахъ, что не отвѣчаютъ за его долги, но онъ продолжалъ еще и теперь свой кутежъ, доставая деньги по десяти процентовъ въ мѣсяцъ, страшно играя въ игорныхъ обществахъ и проматываясь на одну известную француженку. Дѣло въ томъ, что съ недѣлю назадъ ему удалось выиграть въ одинъ вечеръ тысячъ двѣнадцать, и онъ торжествовалъ. Съ княземъ онъ былъ на дружеской ногѣ: они часто виѣстѣ и за одно играли; но князь даже вздрогнулъ, завидѣвъ его, я замѣтилъ это съ своего мѣста: этотъ

мальчикъ былъ всюду какъ у себя дома, говорилъ громко и весело, не стѣняясь ничѣмъ и все, что на умъ придетъ, и, ужь разумеется, ему и въ голову не могло придти, что нашъ хозяинъ такъ дрожить передъ своимъ важнымъ гостемъ за свое общество.

Войдя, онъ прервалъ ихъ разговоръ и тотчасъ началъ рассказывать о вчерашней игрѣ, даже еще и не садясь.

— Вы кажется тоже были, оборотился онъ съ третьей фразы къ важному гостю, принявъ того за кого-то изъ своихъ, но, тотчасъ же разглядѣвъ, крикнулъ:

— Ахъ, извините, а я васъ было принялъ тоже за вчерашняго!

— Алексѣй Владиміровичъ Дарзанъ, Ипполитъ Александровичъ Нащокинъ, поспѣшно познакомили ихъ князь; этого мальчика все таки можно было рекомендовать: фамилія была хорошая и извѣстная, но насъ онъ давеча не отрекомендовалъ, и мы продолжали сидѣть по своимъ угламъ. Я рѣшительно не хотѣлъ повертывать къ нимъ головы; но Стебельковъ, при видѣ молодаго человѣка, сталъ радостно ослабляться и видимо угрожалъ заговорить. Все это мнѣ становилось даже забавно.

— Я васъ въ прошломъ году часто у графини Веригиной встрѣчалъ, сказалъ Дарзанъ.

— Я васъ помню, но вы были тогда кажется въ военномъ, ласково отвѣтилъ Нащокинъ.

— Да въ военномъ, но благодаря... А, Стебельковъ, ужь тутъ? Какимъ образомъ онъ здѣсь? Вотъ именно благодаря вотъ этимъ господчинамъ, я и не въ военномъ, указалъ онъ прямо на Стебелькова и захохоталъ. Радостно засмѣялся и Стебельковъ, вѣроятно, принявъ за любезность. Князь покраснѣлъ и поскорѣе обратился съ какимъ-то вопросомъ къ Нащокину, а Дарзанъ, подойдя къ Стебелькову, заговорилъ съ нимъ о чемъ-то очень горячо, но уже вполголоса.

— Вамъ кажется очень знакома была за границей Катерина Николаевна Ахмакова? спросилъ гость князя.

— О да, я зналъ...

— Кажется, здѣсь будетъ скоро одна новость. Говорятъ, она выходитъ замужъ за барона Бьоринга.

— Это вѣрно! крикнулъ Дарзанъ.

— Вы... навѣрно это знаете? спросилъ князь Нащокина, съ видимымъ волненіемъ и съ особеннымъ удареніемъ выговаривая свой вопросъ.

— Мнѣ говорили; и объ этомъ кажется уже говорить; навѣрно, Впрочемъ, не знаю.

— О навѣрно! подошелъ въ нимъ Дарзанъ:—миѣ вчера Дубасовъ говорилъ; онъ всегда такія новости первый знаетъ. Да и князю слѣдовало-бы знать...

Нащокинъ переждалъ Дарзана и опять обратился къ князю:

— Она рѣдко стала бывать въ свѣтѣ.

— Последній мѣсяць ея отецъ былъ боленъ, какъ-то сухо замѣтилъ князь.

— А съ похождениями, кажется, барыня! — брякнулъ вдругъ Дарзанъ.

Я поднялъ голову и выпрямился.

— Я имѣю удовольствіе лично знать Катерину Николаевну и беру на себя долгъ завѣрить, что всѣ скандальные слухи — одна ложь и срамъ... и выдуманы тѣми... которые кружились, да не успѣли.

Такъ глупо оборвавъ, я замолчалъ, все еще смотря на всѣхъ съ разгорѣвшимся лицомъ и выпрямившись. Всѣ ко мнѣ обернулись, но вдругъ захихикалъ Стебельковъ; ослабился тоже и пораженный было Дарзанъ.

— Ареадій Макаровичъ Долгорукій, указалъ на меня князь Дарзану.

— Ахъ, повѣрьте, князь, открыто и добродушно обратился ко мнѣ Дарзанъ:—я не отъ себя говорю; если были толки, то не я ихъ распустилъ.

— О я не вамъ! быстро отвѣтилъ я, но ужъ Стебельковъ не-позволительно разсмѣялся и именно, какъ объяснилось послѣ, тому, что Дарзанъ называлъ меня княземъ. Адская моя фамилія и тутъ подгадила. Даже и теперь красяю отъ мысли, что я, отъ стыда, конечно, не посмѣлъ въ ту минуту поднять эту глупость и не заявилъ вслухъ, что я—просто Долгорукій. Это случилось еще въ первый разъ въ моей жизни. Дарзанъ въ недоумѣніи глядѣлъ на меня и на смѣющагося Стебелькова.

— Ахъ да! Какую это хорошенькую я сейчасъ встрѣтилъ у васъ на лѣстницѣ, востренькая и свѣтленькая? спросилъ онъ вдругъ князя.

— Право, не знаю какую, отвѣтилъ тотъ быстро, покраснѣвъ.

— Кому знать? засмѣялся Дарзанъ.

— Впрочемъ это... это могла быть... замаялся какъ-то князь.

— Это... вотъ именно ихъ сестрица была, Лизавета Макаровна! указалъ вдругъ на меня Стебельковъ. — Потому я ихъ тоже давеча встрѣтилъ...

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! подхватилъ князь, но на этотъ разъ съ чрезвычайно солидною и серьезною миной въ лицѣ: — это, должно

быть, Лизавета Макаровна, короткая знакомая Анны Фёдоровны Столбёвой, у которой я теперь живу. Она, вѣрно, посѣщала сегодня Дарью Онисимовну, тоже близкую знакомую Анны Фёдоровны, на которую та, уѣзжая, оставила домъ...

Это все точно такъ и было. Эта Дарья Онисимовна была мать бѣдной Оли, о которой я уже рассказывалъ и которую Татьяна Павловна пріѣхала, наконецъ, у Столбёвой. Я отлично зналъ, что Лиза у Столбёвой бывала и изрѣдка посѣщала потомъ бѣдную Дарью Онисимовну, которую всё у насъ очень полюбили; но тогда, вдругъ, послѣ этого, впрочемъ, чрезвычайно дѣльнаго заявленія князя и особенно послѣ глупой выходки Стебелькова, а можетъ быть и потому, что меня сейчасъ назвали княземъ, я вдругъ отъ всего этого весь покраснѣлъ. Къ счастью, въ эту самую минуту всталъ Нащокинъ, чтобъ уходить; онъ протянулъ руку и Дарзану. Въ мгновеніе, когда мы остались одни съ Стебельковымъ, тотъ вдругъ закивалъ мнѣ на Дарзана, стоявшаго къ намъ спиною, въ дверяхъ; я показалъ Стебелькову кулакъ.

Черезъ минуту отправился и Дарзанъ, условившись съ княземъ непременно встрѣтиться завтра въ какомъ-то уже намѣченномъ у нихъ мѣстѣ—въ игорномъ домѣ, разумеется. Выходя, онъ крикнулъ что-то Стебелькову и слегка поклонился мнѣ. Чуть онъ вышелъ, Стебельковъ вскочилъ съ мѣста и сталъ среди комнаты, поднявъ палецъ кверху:

— Этотъ барченочъ слѣдующую штуку на прошлой недѣлѣ откололъ: далъ вексель, а бланкъ написалъ фальшивый на Аверьянова. Вексель-то въ этомъ видѣ и существуетъ, только это не принято! Уголовное. Восемь тысячъ.

— И навѣрно этотъ вексель у васъ? звѣрски взглянулъ я на него.

— У меня банкъ-съ, у меня Mont de piété, а не вексель. Слыхали, что такое Mont de piété въ Парижѣ? Хлѣбъ и благодареніе бѣднымъ: у меня Mont de piété...

Князь грубо и злобно остановилъ его:

— Вы чего тутъ? Зачѣмъ вы сидѣли?

— А, быстро закивалъ глазами Стебельковъ:—а то? Развѣ не то?

— Нѣтъ-нѣтъ-нѣтъ, не то, закричалъ и топнулъ князь:—я сказалъ!

— А ну, если такъ... такъ и такъ. Только это—не такъ...

Онъ круто повернулся и, наклоня голову и выгнувъ спину, вдругъ вышелъ. Князь прокричалъ ему вслѣдъ уже въ дверяхъ:

— Знайте, сударь, что я васъ несколько не боюсь!

Онъ былъ очень раздраженъ, хотѣлъ было сѣсть, но, взглянувъ на

меня, не сълъ. Взглядъ его какъ будто и мнѣ тоже проговорилъ: „Ты тоже зачѣмъ торчишь?“

— Я, князь, началъ было я...

— Мнѣ, право, некогда, Аркадій Макаровичъ, я сейчасъ ѣду.

— Одну минутку, князь, мнѣ очень важное; и, во первыхъ, возьмите назадъ ваши триста.

— Это еще что такое?

Онъ ходилъ, но приостановился.

— То такое, что послѣ всего, что было... и то, что вы говорили про Версилова, что онъ безчестенъ, и, наконецъ, вашъ тонъ во все остальное время... Однимъ словомъ, я никакъ не могу принять.

— Вы однако же *принимали* цѣлый мѣсяцъ.

Онъ вдругъ сълъ на стулъ. Я стоялъ у стола и одной рукой трепалъ книгу Бѣлинскаго, а въ другой держалъ шляпу.

— Были другія чувства, князь... И, наконецъ, я бы никогда не довелъ до известной цифры... Эта игра... Однимъ словомъ, я не могу!

— Вы просто ничѣмъ не ознаменовали себя, а потому и бѣситесь; я бы попросилъ васъ оставить эту книгу въ покоѣ.

— Что это значить: „не ознаменовали себя“? И, наконецъ, вы при вашихъ гостяхъ почти сравнивали меня съ Стебельковичемъ.

— А, вотъ разгадка! ѣдко ослабился онъ. — Къ тому же вы сконфузились, что Дарзанъ васъ называлъ княземъ.

Онъ злобно засмѣялся. Я вспыхнулъ.

— Я даже не понимаю... ваше княжество я не возьму и даромъ.

— Я знаю вашъ характеръ. Какъ смѣшно вы крикнули въ защиту Ахмаковой... Оставьте книгу!

— Что это значить? вскричалъ я тоже.

— Оставьте-те книгу! завопилъ онъ вдругъ, свирѣпо выпрямившись въ креслѣ, точно готовый броситься.

— Это ужъ сверхъ всякихъ границъ, проговорилъ я и быстро вышелъ изъ комнаты. Но я еще не прошелъ до конца залы, какъ онъ крикнулъ мнѣ изъ дверей кабинета:

— Аркадій Макаровичъ, воротитесь! Во-ро-ти-тесь! Во-ро-ти-тесь сейчасъ!

Я не слушалъ и шелъ. Онъ быстрыми шагами догналъ меня, схватилъ за руку и потащилъ въ кабинетъ. Я не сопротивлялся.

— Возьмите! говорилъ онъ блѣдный отъ волненія, подавая брошенныя мной триста рублей. — Возьмите непременно... иначе мы... непременно!

— Князь, какъ могу я взять?

— Ну, я у васъ прошу прощенья, хотите? Ну, простите меня!..

— Князь, я васъ всегда любилъ, и если вы меня тоже...

— Я—тоже: возьмите...

Я взялъ. Губы его дрожали.

— Я понимаю, князь, что вы взбѣшены этимъ мерзавцемъ.. но я не иначе, князь, возьму, какъ если мы поцалуемся, какъ въ прежнихъ размоловкахъ..

Говоря это, я тоже дрожалъ.

— Ну, вотъ нѣжности, пробормоталъ князь, смущенно улыбаясь, но нагнулся и поцаловалъ меня. Я вздрогнулъ: въ лицѣ его, въ мигъ поцалуя, я рѣшительно прочелъ отвращеніе.

— По крайней мѣрѣ, деньги-то вамъ принесъ?..

— Э, все равно.

— Я для васъ же...

— Принесъ, принесъ.

— Князь, мы были друзьями... и, наконецъ, Версиловъ...

— Ну да, да; хорошо!

— И, наконецъ, я, право, не знаю окончательно, эти триста...

Я держалъ ихъ въ рукахъ.

— Берите, берите! усмѣхнулся онъ опять, но въ улыбкѣ его было что-то очень недоброе.

Я взялъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Я взялъ потому, что любилъ его. Кто не повѣритъ, тому я отвѣчу, что въ ту минуту, по крайней мѣрѣ, когда я бралъ у него эти деньги, я былъ твердо увѣренъ, что если захочу, то слишкомъ могу достать и изъ другаго источника. А потому, стало быть, взялъ не изъ крайности, а изъ деликатности, чтобъ только его не обидѣть. Увы, я такъ тогда разсуждалъ! Но все таки мнѣ было очень тяжело выходя отъ него: я видѣлъ необычайную пережѣну ко мнѣ въ это утро; такого тона никогда еще не было; а противъ Версилова это былъ ужъ рѣшительный бунтъ. Стебельковъ, конечно, чѣмъ нибудь досадилъ ему очень давеча, но онъ началъ еще и до Стебелькова. Повторю еще разъ: пережѣну противъ первоначальнаго можно было замѣтить и во всѣ

послѣдніе дни, но не такъ, не до такой степени — вотъ что главное.

Могло повліять и глупое извѣстіе объ этомъ флигель-адъютантѣ баронѣ Бьорингѣ... Я тоже вышелъ въ волненіи, но... То-то и есть, что тогда сіяло совсѣмъ другое, и я такъ много пропускалъ мимо глазъ легкомысленно: спѣшилъ пропускать, гналъ все мрачное и обращался къ сіяющему...

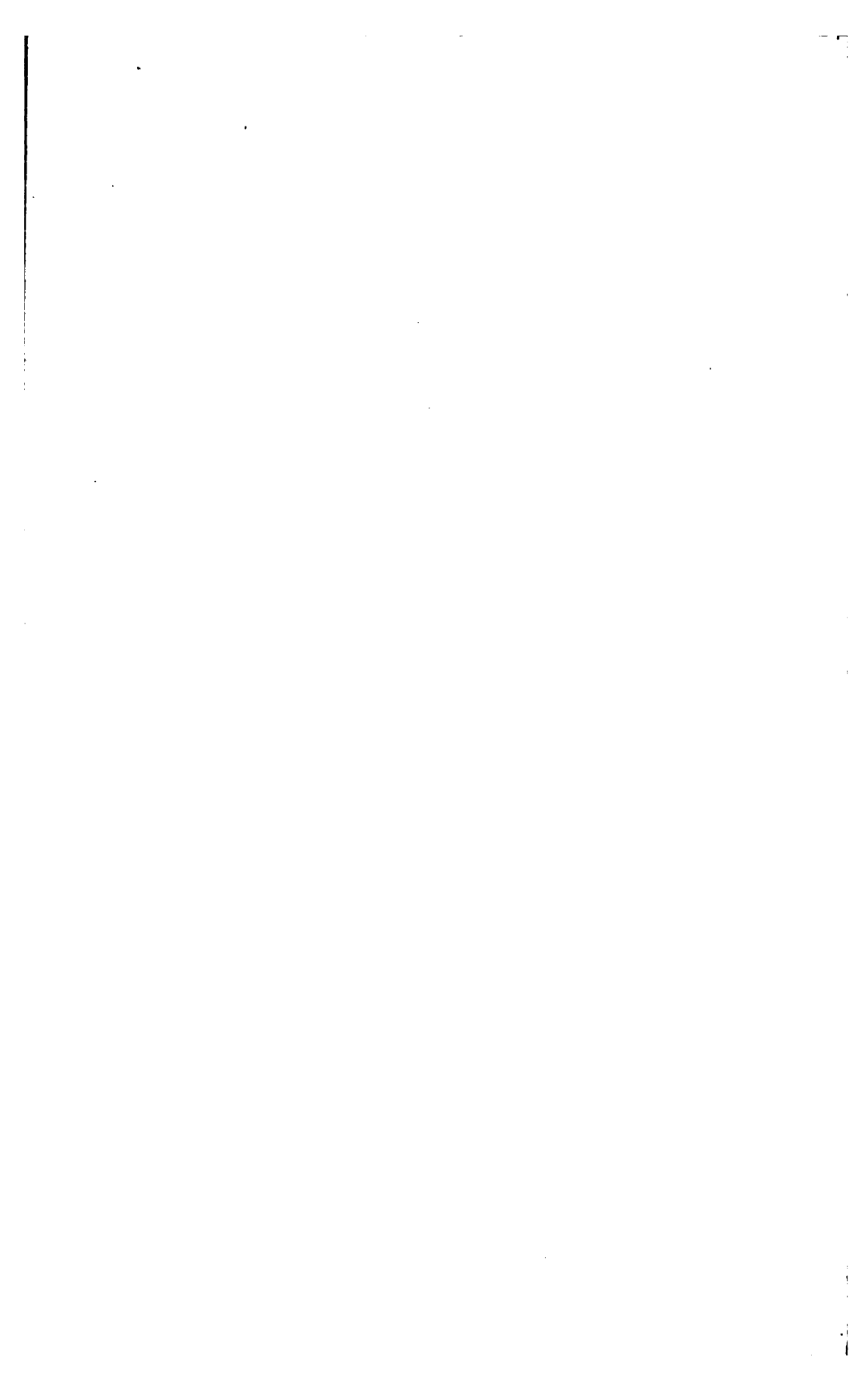
Еще не было часу пополудни. Отъ князя на моемъ Матвѣѣ я отправился прямо — повѣрять-ли къ кому? — къ Стебелькову! То-то и есть, что онъ давеча удивилъ меня не столько приходомъ своимъ къ князю (такъ какъ онъ и общалъ ему быть), сколько тѣмъ, что онъ хотъ и подмигивалъ мнѣ, по своей глупой привычкѣ, но вовсе не на ту тему, на которую я ожидалъ. Вчера вечеромъ я получилъ отъ него по городской почтѣ записку, довольно для меня загадочную, въ которой онъ очень просилъ побывать къ нему именно сегодня, во второмъ часу, и „что онъ можетъ сообщить мнѣ вещи, для меня неожиданныя“. И вотъ о письмѣ этомъ, сейчасъ, тамъ у князя, онъ даже и виду не подалъ. Какія могли быть тайны между Стебельковымъ и мною? Такая идея была даже смѣшна; но, въ виду всего происшедшаго, я теперь, отправляясь къ нему, былъ даже въ маленькомъ волненіи. Я, конечно, обращался къ нему разъ, недѣли двѣ тому, за деньгами, и онъ давалъ, но почему-то мы тогда разошлись, и я самъ не взялъ: онъ что-то тогда забормоталъ неясно, по своему обыкновенію, и мнѣ показалось, что онъ хотѣлъ что-то предложить, какія-то особыя условія; а такъ какъ я третируялъ его рѣшительно свысока, во всѣ разы, какъ встрѣчалъ у князя, то гордо прервалъ всякую мысль объ особенныхъ условіяхъ и вышелъ, не смотря на то, что онъ гнался за мной до дверей; я тогда взялъ у князя.

Стебельковъ жилъ совершеннымъ особнякомъ, и жилъ зажиточно: квартира изъ четырехъ прекрасныхъ комнатъ, хорошая мебель, мужская и женская прислуга и какая-то эконожка, довольно, впрочемъ, пожилая. Я вошелъ въ гнѣвѣ.

— Послушайте, батюшка, началъ я еще изъ дверей: — что значить, во первыхъ, эта записка? Я не допускаю переписки между мною и вами. И почему вы не объявили то, что вамъ надо, давеча прямо у князя: я былъ къ вашимъ услугамъ?

— А вы зачѣмъ давеча тоже молчали и не спросили? раздвинулъ онъ ротъ въ самодовольнѣйшую улыбку.

— Потому что не я къ вамъ имѣю надобность, а вы ко мнѣ имѣете надобность, крикнулъ я, вдругъ разгорячившись.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Я рѣшительно унижался, что слушалъ долѣе, но любопытство мое было необходимо завлечено.

— Слушайте вы... негодный вы человекъ! сказалъ я рѣшительно.— Если я здѣсь сижу и слушаю и допускаю говорить о такихъ лицахъ... и даже самъ отвѣчаю, то вовсе не потому, что допускаю вамъ это право. Я просто вижу какую-то подлость... И, во первыхъ, какія надежды можете имѣть князь на Катерину Николаевну?

— Никакихъ, но онъ бѣсится.

— Это—неправда!

— Бѣсится. Теперь, стало быть, Ахмакова—пасъ. Онъ тутъ плѣ проигралъ. Теперь у него одна Анна Андреевна. И вамъ двѣ тысячи дамъ... безъ процентовъ и безъ векселя.

Выговоривъ это, онъ рѣшительно и важно откинулся на спинку стула и выпучилъ на меня глаза. Я тоже глядѣлъ во всѣ глаза.

— На васъ платѣе съ Большой Милліонной; надо денегъ, надо деньги; у меня деньги лучше, чѣмъ у него. Я больше, чѣмъ двѣ тысячи дамъ....

— Да за что? За что, чортъ возьми?

Я топнулъ ногой. Онъ нагнулся ко мнѣ и проговорилъ выразительно:

— За то, чтобъ вы не мѣшали.

— Да я и безъ того не касаюсь, крикнулъ я.

— Я знаю, что вы молчите; это хорошо.

— Я не нуждаюсь въ вашемъ одобреніи. Я очень желаю этого самъ съ моей стороны, но считаю это не моимъ дѣломъ, и что мнѣ это даже неприлично.

— Вотъ видите, вотъ видите, неприлично! поднялъ онъ палецъ.

— Что вотъ видите?

— Неприлично... Хе! и онъ вдругъ засмѣялся.— Я понимаю, понимаю, что вамъ неприлично, но... мѣшать не будете? подмигнулъ онъ; но въ этомъ подмигиваньи было ужъ что-то столь нахальное, даже насмѣшливое, низкое! Именно онъ во мнѣ предполагалъ какую-то низость, и на эту низость рассчитывалъ... Это ясно было, но я никакъ не понималъ, въ чемъ дѣло.

— Анна Андреевна — вамъ тоже сестра-съ, произнесъ онъ внушительно.

— Объ этомъ вы не смѣете говорить. И вообще объ Аннѣ Андреевнѣ вы не смѣете говорить.

— Не гордитесь, одну только еще минутку! Слушайте: онъ день-

ти получить и всёхъ обезпечить, всёко сказалъ Стебельковъ:—всёхъ, *всёхъ*, вы слѣдите?

— Такъ вы думаете, что я возьму у него деньги?

— Теперь берете же?

— Я беру свои!

— Какія свои?

— Это—деньги Версиловскія: онъ долженъ Версиллову двадцать тысячъ.

— Такъ Версиллову, а не вамъ.

— Версилловъ—мой отецъ.

— Нѣтъ, вы—Долгорукий, а не Версилловъ.

— Это все равно!—Дѣйствительно, я могъ тогда такъ разсуждать! Я зналъ, что не все равно, я не былъ такъ глупъ, но я опять таки изъ „деликатности“ такъ тогда разсуждалъ.

— Довольно! крикнулъ я.—Я ничего ровно не понимаю. И какъ вы смѣли призывать меня за такими пустяками?

— Неужто вправду не понимаете? Вы—нарочно иль нѣтъ? медленно проговорилъ Стебельковъ, пронзительно и съ какою-то недовѣрчивою улыбкой въ меня вглядываясь.

— Божусь, не понимаю!

— Я говорю: онъ можетъ всёхъ обезпечить, *всёхъ*, только не жѣшайте и не отговаривайте...

— Вы, должно быть, съ ума сошли! Чтò вы выѣхали съ этимъ „всёхъ“? Версиллова, чтò ли, онъ обезпечить?

— Не вы одни есть, и не Версилловъ... тутъ и еще есть. А Анна Андреевна вамъ такая же сестра, какъ и *Лизавета Макаровна!*

Я смотрѣлъ, выпуча глаза. Вдругъ что-то даже меня сожалеющее мелькнуло въ его гадкомъ взглядѣ:

— Не понимаете, такъ и лучше! Это хорошо, очень хорошо, что не понимаете. Это похвально... если дѣйствительно только не понимаете.

Я совершенно взбѣсился.

— У-бир-райтесь вы съ вашими пустяками, помѣшанный вы человекъ! крикнулъ я, схвативъ шляпу.

— Это—не пустяки! Такъ идетъ? А знаете, вы опять придете.

— Нѣтъ, отрѣзалъ я на порогъ.

— Придете, и тогда... тогда другой разговоръ. Будетъ главный разговоръ. Двѣ тысячи, помните!

II.

Онъ произвелъ на меня такое грязное и смутное впечатлѣніе, что, видя, я даже старался не думать, и только отплевался. Идея о томъ, что князь могъ говорить съ нимъ обо мнѣ и объ этихъ деньгахъ уколола меня какъ булавкой. „Выиграю и отдамъ сегодня же“, подумалъ я рѣшительно.

Какъ ни былъ глупъ и косноязыченъ Стебельковъ, но я видѣлъ яркаго подлеца, во всемъ его блескѣ, а главное, безъ какой-то интриги тутъ не могло обойтись. Только некогда мнѣ было вникать тогда ни въ какія интриги, и это-то было главною причиною моей куриной слѣпоты! Я съ безпокойствомъ поглядывалъ на часы, но не было еще и двухъ; стало быть, еще можно было сдѣлать одинъ визитъ, иначе я-бы пропалъ до трехъ часовъ отъ волненія. Я поѣхалъ къ Аннѣ Андреевнѣ Версиловой, моей сестрѣ. Съ ней я давно уже сошелся у моего старичка-князя, именно во время его болѣзни. Идея о томъ, что я уже дня три-четыре не видалъ его, жучила мою совѣсть; но именно Анна Андреевна меня выручила: князь чрезвычайно какъ пристрастился къ ней и называлъ даже мнѣ ее своимъ ангеломъ-хранителемъ. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергѣя Петровича, дѣйствительно, родилась въ головѣ моего старичка, и онъ даже не разъ выражалъ мнѣ ее, конечно, по секрету. Я передалъ эту идею Версилу, замѣтивъ и прежде, что изъ всего насущнаго, къ которому Версильовъ былъ столь равнодушенъ, онъ, однако, всегда какъ-то особенно интересовался, когда я передавалъ ему что нибудь о встрѣчахъ моихъ съ Анной Андреевной. Версильовъ пробормоталъ мнѣ тогда, что Анна Андреевна слишкомъ умна и можетъ обойтись въ такомъ щекотливомъ дѣлѣ и безъ постоянныхъ совѣтовъ. Разумѣется, Стебельковъ былъ правъ, что старикъ дастъ ей приданое, но какъ онъ-то смѣлъ рассчитывать тутъ на что нибудь? Давеча князь крикнулъ ему вслѣдъ, что не боится его вовсе: ужъ и въ самомъ дѣлѣ, не говорилъ-ли Стебельковъ ему въ кабинетѣ объ Аннѣ Андреевнѣ; воображаю, какъ бы я былъ взбѣшенъ на его мѣстѣ.

У Анны Андреевны, въ послѣднее время, я бывалъ даже довольно часто. Но тутъ всегда случалась одна странность: всегда было сама назначить, чтобъ я пріѣхалъ, и ужъ навѣрно ждетъ меня, но чуть я войду, она непремѣнно сдѣлаетъ видъ, что я вошелъ неожиданно и нечаянно; эту черту я въ ней замѣтилъ, но все таки я къ ней привязался. Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно, какъ ея

воспитанница (Версиловъ ничего не давалъ на ихъ содержаніе), — но далеко не въ той роли, въ какой обыкновенно описываютъ воспитанницъ въ домахъ знатныхъ барынь, какъ у Пушкина, на примѣръ, въ Пиковой Дамѣ, воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама въ родѣ графини. Она жила въ этомъ домѣ совершенно отдѣльно, т. е. хоть и въ одномъ этажѣ, и въ одной квартирѣ съ Фанариотовыми, но въ отдѣльныхъ двухъ комнатахъ, такъ что, входя и выходя, я, на примѣръ, ни разу не встрѣтилъ никого изъ Фанариотовыхъ. Она имѣла право принимать къ себѣ кого хотѣла и употреблять все свое время, какъ ей было угодно. Правда, ей былъ уже двадцать третій годъ. Въ свѣтъ она, въ послѣдній годъ, почти прекратила ѣздить, хотя Фанариотова и не скупилась на издержки для своей внуки, которую, какъ я слышалъ, очень любила. Напротивъ, мнѣ именно нравилось въ Аннѣ Андреевнѣ, что я всегда встрѣчалъ ее въ такихъ скромныхъ платьяхъ, всегда за какимъ нибудь занятіемъ, съ книгой или съ рукодѣльемъ. Въ ея видѣ было что-то монастырское, почти монашеское, и это мнѣ нравилось. Она была не многорѣчива, но говорила всегда съ вѣсомъ и ужасно умѣла слушать, чего я никогда не умѣлъ. Когда я говорилъ ей, что она, не имѣя ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминаетъ мнѣ Версилова, она всегда чуть-чуть краснѣла. Она краснѣла часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть и я очень полюбилъ въ ея лицѣ эту особенность. У ней я никогда не называлъ Версилова по фамиліи, а непременно Андреемъ Петровичемъ, и это какъ-то такъ само-собою сдѣлалось. Я очень даже замѣтилъ, что вообще у Фанариотовыхъ, должно быть, какъ-то стыдились Версилова; я по одной, впрочемъ, Аннѣ Андреевнѣ это замѣтилъ, хотя опять-таки не знаю, можно ли тутъ употребить слово „стыдились“; что-то въ этомъ родѣ, однако же, было. Я заговаривалъ съ нею и о князѣ Сергѣѣ Петровичѣ, и она очень слушала, и, мнѣ казалось, интересовалась этиими свѣдѣніями; но какъ-то всегда такъ случалось, что я самъ сообщалъ ихъ, а она никогда не спрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смѣлъ съ нею заговорить, хотя часто желалъ, потому что мнѣ самому эта идея отчасти нравилась. Но въ ея комнатѣ я ужасно о многомъ переставалъ какъ-то смѣть говорить, и на оборотъ, мнѣ было ужасно хорошо въ ея комнатѣ. Любилъ я тоже очень, что она очень образована и много читала, и даже дѣльныхъ книгъ; гораздо болѣе моего читала.

Она сама позвала меня къ себѣ въ первый разъ. Я понималъ и тогда, что она, можетъ быть, рассчитывала иногда кой о чемъ у меня

вывѣдать. О, тогда многіе могли вывѣдать отъ меня очень многое! „Но чтожь изъ того, думалъ я, вѣдь не для этого одного она меня у себя принимаетъ“; однимъ словомъ, я даже былъ радъ, что могъ быть ей полезнымъ и... и когда я сидѣлъ съ ней, мнѣ всегда казалось про себя, что это сестра моя сидитъ подлѣ меня, хоть, однако, про наше родство мы еще ни разу съ ней не говорили—ни словомъ, ни даже намекомъ, какъ будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мнѣ казалось какъ-то совсѣмъ и немислимымъ заговорить про это, и, право, глядя на нее, мнѣ приходила иногда въ голову нелѣпая мысль: что она, можетъ быть, и не знаетъ совсѣмъ про это родство,—до того она такъ держала себя со мной.

III.

Войдя, я вдругъ засталъ у ней Лизу. Меня это почти поразило. Мнѣ очень хорошо было извѣстно, что онѣ и прежде видѣлись; произошло это у „груднаго ребенка“. Объ этой фантазіи гордой и стыдливой Анны Андреевны увидать этого ребенка, и о встрѣчѣ тамъ съ Лизой, я, можетъ быть, потомъ расскажу, если будетъ мѣсто; но все же я никакъ не ожидалъ, чтобъ Анна Андреевна когда нибудь пригласила Лизу къ себѣ. Это меня пріятно поразило. Не подавъ виду, разумѣется, я, поздоровавшись съ Анной Андреевной и горячо пожавъ руку Лизѣ, усѣлся подлѣ нея. Обѣ занимались *дьяломъ*: на столѣ и на колѣняхъ у нихъ лежало дорогое выѣздное платье Анны Андреевны, но старое, т. е. три раза надѣванное и которое она желала какъ нибудь передѣлать. Лиза была большая „мастерица“ на этотъ счетъ, и со вкусомъ, а потому и происходилъ торжественный совѣтъ „мудрыхъ женщинъ“. Я вспомнилъ Версилова и разсмѣялся; да и весь я былъ въ сіяющемъ расположеніи духа.

— Вы очень сегодня веселы, и это очень пріятно, промолвила Анна Андреевна, важно и раздѣльно выговаривая слова. Голосъ ея былъ густой и звучный контральтъ, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда нѣсколько опустивъ свои длинныя рѣсницы, и съ чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ея блѣдномъ лицѣ.

— Лиза знаетъ, какъ я непріятенъ, когда невеселъ, отвѣтилъ я весело.

— Можетъ быть и Анна Андреевна про то знаетъ, кольнула меня шаловливая Лиза. Милая! Еслибъ я зналъ, что тогда было у нея на душѣ!

— Что вы теперь дѣлаете? спросила Анна Андреевна. (Замѣчу, что она именно даже просила меня побывать къ ней сегодня).

— Я теперь здѣсь сижу и спрашиваю себя: почему мнѣ всегда пріятнѣе васъ находить за книгой, чѣмъ за руководѣльемъ? Нѣтъ, право, руководѣлье къ вамъ почему-то неидетъ. Въ этомъ смыслѣ я въ Андрея Петровича.

— Все еще не рѣшили поступить въ университетъ?

— Я слишкомъ благодаренъ, что вы не забываете нашихъ разговоровъ: это значитъ, что вы обо мнѣ иногда думаете, но... на счетъ университета я еще не составилъ понятія, притомъ же, у меня свои цѣли.

— То есть у него свой секретъ, замѣтила Лиза.

— Оставь шутки, Лиза. Одинъ умный человѣкъ выразился на дняхъ, что во всемъ этомъ прогрессивномъ движеніи нашемъ за послѣднія двадцать лѣтъ, мы прежде всего доказали, что грязно необразованы. Тутъ, конечно, и про нашихъ университетскихъ было сказано.

— Ну, вѣрно папа сказалъ; ты ужасно часто повторяешь его мысли, замѣтила Лиза.

— Лиза, точно ты не предполагаешь во мнѣ собственнаго ума.

— Въ наше время полезно вслушиваться въ слова умныхъ людей и запоминать ихъ, слегка заступилась за меня Анна Андреевна.

— Именно, Анна Андреевна, подхватилъ я съ жаромъ. Кто не мыслить о настоящей минутѣ Россіи, тотъ не гражданинъ! Я смотрю на Россію, можетъ быть, съ странной точки: мы пережили татарское нашествіе, потомъ двухвѣковое рабство, и ужъ, конечно, потому, что то и другое намъ пришлось по вкусу. Теперь дана свобода и надо свободу перенести: съумѣемъ ли? Также ли по вкусу намъ свобода окажется?— Вотъ вопросъ.

Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчасъ потупилась и начала что-то искать около себя; я видѣлъ, что Лиза изо всей силы крѣпилась, но вдругъ какъ-то нечаянно наши взгляды встрѣтились, и она прыснула со смѣху; я вспыхнулъ:

— Лиза, ты непостижима!

— Прости меня! сказала она вдругъ, переставъ смѣяться и почти съ грустью.— У меня Богъ знаетъ что въ головѣ...

И точно слезы задрожали вдругъ въ ея голосѣ. Мнѣ стало ужасно стыдно: я взялъ ея руку и крѣпко поцаловалъ.

— Вы очень добрый, мягко замѣтила мнѣ Анна Андреевна, увидавъ, что я цалую руку Лизы.

— Я пуще всего радъ тому, Лиза, что на этотъ разъ встрѣчаю

тебя смѣющуюся, сказалъ я.—Вѣрите ли, Анна Андреевна: въ послѣдніе дни она каждый разъ встрѣчала меня какинъ-то страннымъ взглядомъ, а во взглядѣ какъ бы вопросомъ: „что, не узналъ ли чего? Все-ли благополучно?“ Право, съ нею что-то въ этомъ родѣ.

Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядѣла, Лиза потупилась. Я, впрочемъ, очень хорошо видѣлъ, что онѣ обѣ гораздо болѣе и ближе знакомы, чѣмъ могъ я предположить входя давеча; эта мысль была мнѣ пріятна.

— Вы сказали сейчасъ, что я добрый; вы не повѣрите, какъ я весь измѣняюсь у васъ къ лучшему и какъ мнѣ пріятно быть у васъ, Анна Андреевна, сказалъ я съ чувствомъ.

— А я очень рада, что вы именно теперь такъ говорите, съ значеніемъ отвѣтила она мнѣ. Я долженъ сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и объ омутѣ, въ который я окупнулся, хотя, я зналъ это, она обо всемъ этомъ не только знала, но даже стороной разспрашивала. Такъ что теперь это было въ родѣ перваго намека, и—сердце мое еще болѣе повернулось къ ней.

— Что нашъ больной? спросилъ я.

— О, ему гораздо легче: онъ ходитъ, и вечера и сегодня ѣздилъ кататься. А развѣ вы и сегодня не заходили къ нему? Онъ васъ очень ждетъ.

— Я виноватъ предъ нимъ, но теперь вы его навѣщаете и меня вполне замѣнили; онъ—большой измѣнникъ и меня на васъ промѣнялъ.

Она сдѣлала очень серьезную мину; такъ какъ, очень можетъ быть, что шутка моя была тривиальна.

— Я былъ давеча у князя Сергѣя Петровича, заборжоталъ я—и я... Кстати, Лиза, ты вѣдь заходила давеча къ Дарьѣ Онисимовнѣ?

— Да, была, какъ-то коротко отвѣтила она, не подымая головы.—Да вѣдь ты, кажется, каждый день ходишь къ больному князю? спросила она какъ-то вдругъ, чтобы что нибудь сказать, можетъ быть.

— Да, я къ нему хожу, да только не дохожу, усмѣхнулся я.— Я вхожу и поворачиваю назадъ.

— Даже князь замѣтилъ, что вы очень часто заходите къ Катеринѣ Николаевнѣ. Онъ вчера говорилъ и смѣялся, сказала Анна Андреевна.

— Чему же, чему же смѣялся?

— Онъ шутилъ, вы знаете. Онъ говорилъ, что, напротивъ, молодая и прекрасная женщина на молодого человѣка въ вашемъ возрастѣ всегда производитъ лишь впечатлѣніе негодованія и гнѣва... засмѣялась вдругъ Анна Андреевна.

— Послушайте... знаете, что это онъ ужасно мѣтко сказала, вскричалъ я:—навѣрно это не онъ, а вы сказали ему?

— Почему-же? Нѣтъ, это онъ.

— Ну, а если эта красавица обратитъ на него вниманіе, не смотря на то, что онъ такъ ничтоженъ, стоять въ углу и злиться, потому что „маленькій“, и вдругъ предпочтетъ его всей толпѣ окружающихъ ее обожателей, что тогда? спросилъ я вдругъ съ самымъ смѣлымъ и вызывающимъ видомъ. Сердце мое застучало.

— Тогда ты тутъ такъ и пропадешь передъ нею, разсмѣялась Лиза.

— Пропаду? вскричалъ я.—Нѣтъ, я не пропаду. Кажется, не правда. Если женщина станетъ поперекъ моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не перенимаютъ безнаказанно...

Лиза какъ-то говорила мнѣ разъ, мелькомъ, вспоминая уже долго спустя, что я произнесъ тогда эту фразу ужасно странно, серьезно и какъ бы вдругъ задумавшись; но въ то же время „такъ смѣшно, что не было возможности выдержать;“ дѣйствительно Анна Андреевна опять разсмѣялась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь надо мною! воскликнулъ я въ упоеніи, потому что весь этотъ разговоръ и направленіе его мнѣ ужасно нравились:—отъ васъ мнѣ это только удовольствіе. Я люблю вашъ смѣхъ, Анна Андреевна! У васъ есть черта: вы молчите и вдругъ разсмѣетесь, въ одинъ мигъ, такъ что за мигъ даже и не угадать по лицу. Я зналъ въ Москвѣ одну даму, отдаленно, я смотрѣлъ изъ угла: она была почти также прекрасна собою какъ вы, но она не умѣла такъ же смѣяться, и лицо ея такое же привлекательное, какъ и у васъ—терпало привлекательность; у васъ же ужасно привлекаетъ... именно эту способность... Я вамъ давно хотѣлъ высказать.

Когда я выговорилъ про даму, что „она была прекрасна собою, какъ вы,“ то я тутъ схитрилъ; я сдѣлалъ видъ, что у меня вырвалось нечаянно, такъ что какъ будто я и не замѣтилъ; я очень зналъ, что такая „вырвавшаяся“ похвала оцѣнится выше женщиной, чѣмъ какой угодно выдощенный комплиментъ. И какъ ни покраснѣла Анна Андреевна, а я зналъ, что ей это пріятно. Да и даму эту я выдумалъ: никакой я не зналъ въ Москвѣ; я только, чтобъ похвалить Анну Андреевну и сдѣлать ей удовольствіе.

— Виравду можно подумать, прелестно усмѣхнулась она:— что вы въ послѣдніе дни находились подъ влияніемъ какой нибудь прекрасной женщины.

Я какъ будто летѣлъ куда-то... Мнѣ даже хотѣлось бы имъ что нибудь открыть... но удержался.

— А кстати, какъ недавно еще вы выражались о Катеринѣ Николаевнѣ совсѣмъ враждебно.

— Если я выражался какъ нибудь дурно, засверкалъ я глазами, то виною тому была монструозная клевета на нее, что она — врагъ Андрею Петровичу; клевета и на него въ томъ, что будто онъ любилъ ее, дѣлалъ ей предложеніе и подобныя нелѣпости. Эта идея такъ же чудовищна, какъ и другая клевета на нее же, что она, будто бы еще при жизни мужа, общалась князю Сергѣю Петровичу выйти за него, когда овдовѣтъ, а потомъ не сдержала слова. Но я знаю изъ первыхъ рукъ, что все это не такъ, а была лишь шутка. Я изъ первыхъ рукъ знаю. Разъ тамъ, за границей, въ одну шутиливую минуту, она, дѣйствительно, сказала князю: „можетъ быть,“ въ будущемъ; но что же это могло означать кромѣ лишь легкаго слова? Я слишкомъ знаю, что князь, съ своей стороны, никакой цѣны не можетъ придавать такому общанію, да и не намѣренъ онъ вовсе, прибавилъ я, спохватившись.—У него, кажется, совсѣмъ другія идеи, вернулъ я хитро. Давеча у него Нащокинъ говорилъ, что, будто бы Катерина Николаевна замужъ выходитъ за барона Бьоринга: повѣрьте, что онъ перенесъ это извѣстіе какъ нельзя лучше, будьте увѣрены.

— У него былъ Нащокинъ? вдругъ вѣско и какъ бы удивившись спросила Анна Андреевна.

— О, да; кажется, это изъ такихъ порядочныхъ людей...

— И Нащокинъ говорилъ съ нимъ объ этой свадьбѣ съ Бьорингомъ? очень заинтересовалась вдругъ Анна Андреевна.

— Не о свадьбѣ, а такъ, о возможности, какъ слухъ; онъ говорилъ, что въ свѣтѣ будто бы такой слухъ: что до меня, я увѣренъ, что вздоръ.

Анна Андреевна подумала и наклонилась къ своему шитью.

— Я князя Сергѣя Петровича люблю, прибавилъ я вдругъ съ жаромъ.—У него есть свои недостатки, безспорно, я вамъ говорилъ уже, именно нѣкоторая одноидейность... но и недостатки его свидѣтельствуютъ тоже о благородной душѣ, неправда ли? Мы съ нимъ, наприимѣръ, сегодня чуть не поссорились за одну идею: его убѣжденіе, что, если говоришь о благородствѣ, то будь самъ благороденъ, не то все, что ты скажешь—ложь. Ну, логично ли это? А, между тѣмъ, это же свидѣтельствуетъ и о высокихъ требованіяхъ чести въ душѣ его, долга, справедливости, не правда ли?... Ахъ, Боже мой, который это часъ вдругъ вскричалъ я, нечаянно взглянувъ на циферблатъ часовъ на каминѣ.

— Безъ десяти минутъ три, спокойно произнесла она, взглянувъ на часы. Все время, пока я говорилъ о князѣ, она слушала меня потупившись, съ какою то хитренькою, но милою усмѣшкой: она знала, для чего я такъ хвалю его. Лиза слушала, наклонивъ голову надъ работою, и давно уже не ввязывалась въ разговоръ.

Я вскочилъ какъ обожженный.

— Вы куда нибудь опоздали?

— Да... нѣтъ... впрочемъ, опоздалъ, но я сейчасъ. Одно только слово, Анна Андреевна, началъ я въ волненіи: я не могу не высказать вамъ сегодня! Я хочу вамъ признаться, что я уже нѣсколько разъ благословлялъ вашу доброту и ту деликатность, съ которою вы пригласили меня бывать у васъ... На меня знакомство съ вами имѣло самое сильное впечатлѣніе... Въ вашей комнатѣ я какъ бы очищаюсь душой и выхожу отъ васъ лучшимъ, чѣмъ я есть. Это вѣрно. Когда я сижу съ вами рядомъ, то не только не могу говорить о дурномъ, но и мыслей дурныхъ имѣть не могу; онѣ исчезаютъ при васъ, и, вспоминая мелькомъ о чемъ нибудь дурномъ, подлѣ васъ, я тотчасъ же стыжусь этого дурнаго, робѣю и краснѣю въ душѣ. И знаете, мнѣ особенно было пріятно встрѣтить у васъ сегодня сестру мою... Это свидѣтельствуетъ о такомъ вашемъ благородствѣ... о такомъ прекрасномъ отношеніи... Однимъ словомъ, вы высказали что-то такое *братское*, если ужъ позволите разбить этотъ ледъ, что я...

Пока я говорилъ, она подымалась съ мѣста и все болѣе и болѣе краснѣла; но вдругъ какъ бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня:

— Повѣрьте, что я сумѣю оцѣнить всѣмъ сердцемъ ваши чувства... Я ихъ и безъ словъ поняла... и уже давно...

Она пріостановилась въ смущеніи, пожимая мнѣ руку. Вдругъ Лиза незамѣтно дернула меня за рукавъ. Я протиснулся и вышелъ; но въ другой же комнатѣ догнала меня Лиза.

IV.

— Лиза, зачѣмъ ты меня дернула за рукавъ? спросилъ я.

— Она — скверная, она хитрая, она не стоитъ... Она тебя держитъ, чтобъ отъ тебя вывѣдать, быстрымъ злобнымъ шопотомъ прошептала она. Никогда еще я не видывалъ у ней такого лица.

— Лиза, Богъ съ тобой, она — такая прелестная дѣвушка!

— Ну, такъ я — скверная.

— Что съ тобой?

— Я очень дурная. Она, можетъ быть, — самая прелестная дѣвушка, а я дурная. Довольно, оставь. Слушай: мама просить тебя о томъ, „чего сама сказать не смѣетъ“, такъ и сказала. Голубчикъ Аркадій! Перестань играть, милый, молю тебя... мама тоже...

— Лиза, я самъ знаю, но... Я знаю, что это — жалкое малодушіе, но... это — только пустяки и больше ничего! Видишь, я задолжалъ, какъ дуракъ, и хочу выиграть только чтобъ отдать. Выиграть можно, потому что я игралъ безъ разчета, на ура, какъ дуракъ, а теперь за каждый рубль дрожать буду... Не я буду, если не выиграю! Я не пристрастился; это не главное, это только мимолетное, увѣряю тебя! Я слишкомъ силенъ, чтобъ не прекратить, когда хочу. Отдамъ деньги, и тогда вашъ нераздѣльно, и мамѣ скажи, что не выйду отъ васъ...

— Эти триста рублей давеча чего тебѣ стоили!

— Почему ты знаешь? вздрогнулъ я.

— Дарья Осиповна давеча все слышала...

Но въ эту минуту Лиза вдругъ толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавѣсью, въ такъ называемомъ „фонарѣ“, то есть въ круглой маленькой комнатѣ изъ оконъ. Не успѣлъ я опомниться, какъ услышалъ знакомый голосъ, звонъ шпоръ и угадалъ знакомую походку.

— Князь Сережа, прошепталъ я.

— Онъ, прошептала она.

— Чего ты такъ испугалась?

— Такъ; я ни за что не хочу, чтобъ онъ меня встрѣтилъ...

— Тише, да ужь не волочится ли онъ за тобой? усмѣхнулся я: — я-бъ ему тогда задалъ. Куда ты?

— Выйдемъ; я съ тобой.

— Ты развѣ ужь тамъ простилась?

— Простилась; моя шубка въ передней...

Мы вышли; на лѣстницѣ меня поразила одна идея:

— Знаешь, Лиза, онъ, можетъ быть, пріѣхалъ сдѣлать ей предложеніе!

— Н-нѣтъ... онъ не сдѣлаетъ предложенія... твердо и медленно проговорила она тихимъ голосомъ.

— Ты не знаешь, Лиза, я хоть съ нимъ давеча и поссорился, — если ужь тебѣ пересказывали, — но, ей Богу, я люблю его искренно и желаю ему тутъ удачи. Мы давеча помирились. Когда мы счастливы, мы такъ добры... Видишь, въ немъ много прекрасныхъ наклонностей...

и гуманность есть... Зачатки, по крайней мѣрѣ... а у такой твердой и умной дѣвушки въ рукахъ, какъ Версилова, онъ совсѣмъ бы выровнялся и сталъ бы счастливъ. Жаль, что некогда... да пройдемъ вмѣстѣ нежного, а бы тебѣ сообщилъ кое-что...

— Нѣтъ, поѣзжай, мнѣ не туда. Обѣдать придешь?

— Приду, приду, какъ обѣщала. Слушай, Лиза: одинъ поганецъ—однимъ словомъ, одно мерзвѣйшее существо, ну, Стебельковъ, если знаешь, имѣеть на его дѣла страшное влияніе... векселя... Ну, однимъ словомъ, держать его въ рукахъ и до того его припереть, а тотъ до того унизился, что ужъ другого исхода, какъ въ предложеніи Аннѣ Андреевнѣ оба не видать. Ее, по настоящему, надо бы предупредить, впрочемъ, вздоръ, она и сама поправитъ потомъ всѣ дѣла. А что, откажетъ она ему, какъ ты думаешь?

— Прощай, некогда, оборвала Лиза, и въ мимолетномъ взглядѣ ея я увидалъ вдругъ столько ненависти, что тутъ же вскрикнулъ въ испугъ:

— Лиза, милая, за что ты?

— Я не на тебя; не играй только...

— Ахъ, ты про игру, не буду.

— Ты сейчасъ сказалъ: „когда мы въ счастье“, такъ ты очень счастливъ?

— Ужасно, Лиза, ужасно! Боже мой, да ужъ три часа, больше!... Прощай, Лизокъ. Лизочка, милая, скажи: развѣ можно заставлять женщину ждать себя? Позволительно это?

— Это при свиданіи, что-ли, чуть-чуть улыбнулась Лиза какою-то мертвенькою, дрожащею улыбкой.

— Дай свою ручку на счастье.

— На счастье? Мою руку? Ни за что не дамъ!

И она быстро удалилась. И, главное, такъ серьезно вскрикнула. Я бросился въ мои сани.

Да, да, это-то „счастье“ и было тогда главною причиною, что я, какъ слѣпой кротъ, ничего, кромѣ себя, не понималъ и не видѣлъ!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Теперь я боюсь и рассказывать. Все это было давно; но все это и теперь для меня какъ миражъ. Какъ могла бы такая женщина

назначить свиданіе такому гнусному тогдашнему мальчишкѣ, какимъ былъ я?—Вотъ чтò было съ перваго взгляда! Когда я, оставивъ Лизу, помчался и у меня застучало сердце, я прямо подумалъ, что я сошелъ съума: идея о *назначенномъ* свиданіи показалась мнѣ вдругъ такою яркою нелѣпостью, что не было возможности вѣрить. И что же, я совсѣмъ не сомнѣвался; даже такъ: чѣмъ ярче казалась нелѣпость, тѣмъ пуще я вѣрилъ.

То, что пробило уже три часа, меня беспокоило: „если мнѣ дано свиданіе, то какъ же я опаздываю на свиданіе“, думалъ я. Мелькали тоже глупые вопросы, въ родѣ такихъ: „чтò мнѣ теперь лучше, смѣлость или робость?“ Но все это только мелькало, потому что въ сердцѣ было главное, и такое, что я опредѣлить не могъ. Наванунѣ сказано было такъ: „Завтра я въ три часа буду у Татьяны Павловны“—вотъ и все. Но, во первыхъ, я и у ней, въ ея комнатѣ, всегда былъ принятъ наединѣ, и она могла сказать мнѣ все, чтò угодно, и не переселяясь къ Татьянѣ Павловнѣ; стало быть, „зачѣмъ же назначать другое мѣсто у Татьяны Павловны? И опять вопросъ: Татьяна Павловна будетъ дома или не дома? Если это—свиданіе, то, значить, Татьяны Павловны не будетъ дома. А какъ этого достигнуть, не объяснивъ всего заранѣе Татьянѣ Павловнѣ? Значить, и Татьяна Павловна въ секретѣ? Эта мысль казалась мнѣ дикою и какъ-то нецѣломудренною, почти грубою.

И, наконецъ, она просто за просто могла захотѣть побывать у Татьяны Павловны и сообщила мнѣ вчера безъ всякой цѣли, а я не сообразилъ. Да и сказано было такъ мелкою, небрежно, спокойно и послѣ весьма скучнаго сеанса, потому что во все время, какъ я у ней былъ вчера, я почему-то былъ какъ сбитый съ толку: сидѣлъ, мямлил и не зналъ чтò сказать, злился и робѣлъ ужасно, а она куда-то собиралась, какъ вышло послѣ, и видимо была рада, когда я сталъ уходить. Всѣ эти разсужденія толпились въ моей головѣ. Я рѣшилъ, наконецъ, что „войду, позвоню, отворить кухарка, и я спрошу: дома Татьяна Павловна?“ Если нѣтъ дома, значить „свиданіе“. Но я не сомнѣвался, не сомнѣвался!

Я взбѣжалъ на лѣстницу и—на лѣстницѣ, передъ дверью, весь мой страхъ пропалъ: „Ну, пускай, думалъ я, поскорѣй бы только!“ Кухарка отворила и съ гнусной своей флегмой прогнусила, что Татьяна Павловны нѣтъ. „А нѣтъ-ли другого кого, не ждетъ ли кто Татьяну Павловну?“ хотѣлъ было я спросить, но не спросилъ: „лучше самъ увижу,“ и, пробормотавъ кухаркѣ, что я подожду, сбросилъ шубу и отворилъ дверь...

Катерина Николаевна сидѣла у окна и ждала Татьяну Павловну.

— Ея нѣтъ?—вдругъ спросила она меня; какъ бы съ заботой и досадой, только что меня увидала. Её голосъ, рожденный отъ того, что не соответствовали моимъ ожиданіямъ, что она такъ и вѣчно на бровяхъ.

— Кого нѣтъ? пробормотала я.

— Татьяну Павловну! Вѣдь я же вамъ сказала, что она придетъ, что буду у ней въ три часа?

— Я... я и не видала ее вовсе.

— Вы забыли?

Я съѣлъ, какъ убитый. Такъ вотъ что оказалось. И главное, все было такъ ясно, какъ дважды два, а я—я все еще чуждо вѣрилъ.

— Я и не помню, что вы просили ей передать. Да вы и не просили: вы просто сказали, что будете въ три часа, оборвала я нетерпѣливо. Я не глядѣлъ на нее.

— Ахъ! вдругъ вскричала она:—такъ если бы вы забыли сказать, а сами знали, что я буду здѣсь, такъ вы-то сюда бы пришли?

Я поднялъ голову: ни насмѣшки, ни гнѣвъ въ ея лицѣ, на ней была лишь ея свѣтлая, веселая улыбка и какая-то невольность въ выраженіи лица,—ея всегдашнее выраженіе, впрочемъ, ея невольность почти дѣтская: „Вотъ, видишь, я тебя поймала врасплохъ, ну, что ты теперь скажешь?“ какъ бы говорило все ея лице.

Я не хотѣлъ отвѣчать и опять потупился. Молчаніе продолжалось съ полминуты.

— Вы теперь отъ раря? вдругъ спросила она.

— Я теперь отъ Анны Андреевны, Николаи Ивановича вовсе не былъ... и вы это знали, вдругъ прибавила она.

— Съ вами ничего не случилось у Анны Андреевны?

— То есть, что я имѣю теперь сумасшедшій видъ? Нѣтъ, и я до Анны Андреевны имѣлъ сумасшедшій видъ.

— И у ней не поумнѣли?

— Нѣтъ, не поумнѣлъ.—Я тамъ, кромѣ того, слышалъ, что вы выходите замужъ за барона Бюрингвальда.

— Это она вамъ сказала? вдругъ заинтересовалась она.

— Нѣтъ, это я ей передаю, какъ говорилъ давеча Нащокинъ князю Сергѣю Петровичу у него въ гостиной.

Я все не подымалъ на нее глаза; подымать на нее сначала облитъ свѣтомъ, радостью, счастьемъ, радая не хотѣлъ быть счастливымъ. Жало негодванія вонзилось въ мое сердце и въ одинъ мигъ я

принялъ огромное рѣшеніе. Затѣмъ я вдругъ началъ говорить, едва помню о чемъ. Я задыхался и какъ-то боржоталъ, но глядѣлъ я уже смѣло. Сердце у меня стучало. Я заговорилъ о чемъ-то ни къ чему не относящемся, впрочемъ, можетъ быть, и складно. Она сначала было слушала съ своей ровной, терпѣливой улыбкой, никогда не покидавшей ея лица, но мало по малу удивленіе, а потомъ даже испугъ мелькнули въ ея пристальномъ взглядѣ. Улыбка все еще не покидала ея, но и улыбка подчасъ какъ-бы вздрагивала.

— Что съ вами? спросилъ я вдругъ, замѣтивъ, что она вся вздрогнула.

— Я васъ боюсь, отвѣтила она мнѣ почти тревожно.

— Почему вы не уѣзжаете? Вотъ какъ теперь Татьяны Павловны нѣтъ, и вы знаете, что не будетъ, то стало быть вамъ надо встать и уѣхать?

— Я хотѣла подождать, но теперь... въ самомъ дѣлѣ...

Она было приподнялась.

— Нѣтъ, нѣтъ, сядьте, остановилъ я ее:— вотъ вы опять вздрогнули, но вы и въ страхѣ улыбаетесь... У васъ всегда улыбка. Вотъ вы теперь совсѣмъ улыбнулись...

— Вы въ бреду?

— Въ бреду.

— Я боюсь... прошептала она опять.

— Чего?

— Что вы стѣну ломать начнете... опять улыбнулась она, но уже въ самомъ дѣлѣ оробѣвъ.

— Я не могу выносить вашу улыбку!...

И я опять заговорилъ. Я весь какъ-бы летѣлъ. Меня какъ-бы что-то толкало. Я никогда, никогда такъ не говорилъ съ нею, а всегда робѣлъ. Я и теперь робѣлъ ужасно, но говорилъ; помню, я заговорилъ о ея лицѣ: „Я не могу больше выносить вашу улыбку! вскричалъ я вдругъ:—зачѣмъ я представлялъ васъ грозной, великолѣпной и съ ехидными свѣтскими словами еще въ Москвѣ? Да, въ Москвѣ; мы объ васъ еще тамъ говорили съ Марьей Ивановной и представляли васъ, какая вы должны быть... Помните Марью Ивановну? Вы у ней были. Когда я ѣхалъ сюда, вы всю ночь снились мнѣ въ вагонѣ. Я здѣсь до вашего пріѣзда глядѣлъ цѣлый мѣсяцъ на вашъ портретъ у вашего отца въ кабинетѣ и ничего не угадалъ. Выраженіе вашего лица есть дѣтская шаловливость и безконечное простодушіе—вотъ! Я ужасно дивился на это все время, какъ къ вамъ ходилъ. О, и вы умѣете

смотреть гордо и раздавливать взглядомъ: я помню, какъ вы посмотрѣли на меня у вашего отца, когда прѣехали тогда изъ Москвы... Я васъ тогда видѣлъ, а, между тѣмъ, спроси меня тогда, какъ я вышелъ: какая вы?—и я бы не сказалъ. Даже росту вашего бы не сказалъ. Я какъ увидалъ васъ, такъ и ослѣпъ. Вашъ портретъ совсѣмъ на васъ не похожъ: у васъ глаза не темные, а свѣтлые, и только отъ длинныхъ рѣсницъ кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у васъ плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у васъ совсѣмъ деревенское, лицо деревенской красавицы,—не обижайтесь, вѣдь, это хорошо, это лучше—круглое, румяное, ясное, смѣлое, смѣющееся и... застѣнчивое лицо! Право, застѣнчивое. Застѣнчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застѣнчивое и цѣломудренное, клянусь! Больше, чѣмъ цѣломудренное—дѣтское!—Вотъ ваше лицо! Я все время былъ пораженъ и все время спрашивалъ себя: та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но вѣдь сначала я думалъ, что вы простоваты. У васъ умъ веселый, но безъ всякихъ прикрасъ... Еще я люблю, что съ васъ не сходитъ улыбка: это—мой рай! Еще люблю ваше спокойствіе, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лѣниво,—именно эту лѣнивость люблю. Кажется, подломись подъ вами мость, вы и тутъ чтонибудь плавно и мѣрно скажете... Я воображалъ васъ верхомъ гордости и страстей, а вы всѣ два мѣсяца говорили со мной, какъ студентъ съ студентомъ... Я никогда не воображалъ, что у васъ такой лобъ: онъ немного низокъ, какъ у статуи, но бѣлъ и нѣженъ, какъ мраморъ подъ пышными волосами. У васъ грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нѣтъ никакой. Я вѣдь только теперь повѣрилъ, все не вѣрилъ!

Она съ большими открытыми глазами слушала всю эту дикую тираду, она видѣла, что я самъ дрожу. Нѣсколько разъ она приподняла съ милымъ, опасливымъ жестомъ свою гантированную ручку, чтобъ остановить меня, но каждый разъ отнимала ее въ недоумѣніи и страхѣ назадъ. Иногда даже быстро отшатывалась вся назадъ. Два-три раза улыбка опять просвѣчивалась—было на ея лицѣ; одно время она очень покраснѣла, но подъ конецъ рѣшительно испугалась и стала блѣднѣть. Только что я пріостановился, она протянула—было руку и какъ бы просящимъ, но все таки плавнымъ голосомъ промолвила:

— Этакъ нельзя говорить... этакъ невозможно говорить...

И вдругъ подыалась съ мѣста, неторопливо захватывая свой шейный платокъ и свою соболью муфту.

— Вы идете? вскричалъ я.

— Я рѣшительно васъ боюсь... вы злоупотребляете... протянула она какъ бы съ сожалѣніемъ и упрекомъ.

— Послушайте, я ей Богу стѣну не буду ломать.

— Да вы ужь начали, не удержалась она и улыбнулась.— Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти?— И, кажется, она впрямь опасалась, что я ее не пушу.

— Я вамъ самъ дверь отворю, идите, но знайте: я принялъ одно огромное рѣшеніе; и, если вы захотите дать свѣтъ моей душѣ, то воротитесь, садьте и выслушайте только два слова. Но если не хотите, то уйдите, и я вамъ самъ дверь отворю!

Она посмотрѣла на меня и сѣла на мѣсто.

— Съ какимъ бы негодованіемъ вышла иная, а вы сѣли! вскричалъ я въ упоеніи.

— Вы никогда такъ прежде не позволяли себѣ говорить.

— Я всегда робѣлъ прежде. Я и теперь вошелъ, не зная что говорить. Вы думаете, я теперь не робѣю? Я робѣю. Но я вдругъ принялъ огромное рѣшеніе и чувствовалъ, что его выполняю. А какъ принялъ это рѣшеніе, то сейчасъ и сошелъ съ ума и сталъ все это говорить... Выслушайте, вотъ мои два слова: шпіонъ я вашъ, или нѣтъ? Отвѣтите мнѣ—вотъ вопросъ!

Краска быстро залила ея лицо.

— Не отвѣчайте еще, Катерина Николаевна, а выслушайте все и потомъ скажите всю правду,

Я разомъ сломалъ всѣ заборы и полетѣлъ въ пространство.

II.

— Два мѣсяца назадъ, я здѣсь стоялъ за портьерой... вы знаете... а вы говорили съ Татьяной Павловной про письмо. Я выскочилъ и, внѣ себя, проговорился. Вы тотчасъ поняли, что я что-то знаю... вы не могли не понять... вы искали важный документъ и опасались за него... Подождите, Катерина Николаевна, удерживайтесь еще говорить. Объявляю вамъ, что ваши подозрѣнія были основательны: этотъ документъ существуетъ... то есть былъ... я его видѣлъ; это—ваше письмо къ Андроникову, такъ ли?

— Вы видѣли это письмо? быстро спросила она, въ смущеніи и волненіи.—Гдѣ вы его видѣли?

— Я видѣлъ... я видѣлъ у Крафта... вотъ у того, который застрѣлился...

— Въ самомъ дѣлѣ? Вы сами видѣли? Чтожь съ нимъ сталося?

— Крафтъ его разорвалъ.

— При васъ, вы видѣли?

— При мнѣ. Онъ разорвалъ, вѣроятно, передъ смертью... Я вѣдь не зналъ тогда, что онъ застрѣлится...

— Такъ оно уничтожено, слава Богу! проговорила она медленно, вздохнувъ, и перекрестилась.

Я не солгалъ ей. То есть я и солгалъ, потому что документъ былъ у меня и никогда у Крафта, но это была лишь мелочь, а въ самомъ главномъ я не солгалъ, потому что въ ту минуту, когда лгалъ, то далъ себѣ слово сжечь это письмо въ тотъ же вечеръ. Клянусь, еслибъ оно было у меня въ ту минуту въ карманѣ, я бы вынулъ и отдалъ ей; но его со мною не было, оно было на квартирѣ. Впрочемъ, можетъ быть, и не отдалъ бы, потому что мнѣ было бы очень стыдно признаться ей тогда, что оно у меня и что я сторожилъ ее такъ долго, ждалъ и не отдавалъ. Все одно: сжечь бы дома, во всякомъ случаѣ, и не солгалъ! Я былъ чистъ въ ту минуту, клянусь.

— А коли такъ, продолжалъ я почти виѣ себя:—то скажите мнѣ: для того-ли вы привлекали меня, ласкали меня, принимали меня, что подозрѣвали во мнѣ знаніе о документѣ? Пойдите, Катерина Николаевна, еще минутку не говорите, а дайте мнѣ все докончить: я все время, какъ къ вамъ ходилъ, все это время подозрѣвалъ, что вы для того только и ласкали меня, чтобъ изъ меня выпытать это письмо, довести меня до того, чтобъ я признался... Пойдите, еще минутку: я подозрѣвалъ, но я страдалъ. Двоедушіе ваше было для меня невыносимо, потому что... потому что я нашелъ въ васъ благороднѣйшее существо! Я прямо говорю, я прямо говорю: я былъ вамъ врагъ, но я нашелъ въ васъ благороднѣйшее существо! Все было побѣждено разомъ. Но двоедушіе, то есть подозрѣніе въ двоедушіи, томило... Теперь должно все рѣшиться, все объясниться, такое время пришло; но пойдите еще немного, не говорите, узнайте, какъ я смотрю самъ на все это, именно сейчасъ, въ теперешнюю минуту; прямо говорю: если это и такъ было, то я не разсержусь... то есть я хотѣлъ сказать не обижусь, потому что это такъ естественно, я вѣдь понимаю. Чтожь тутъ можетъ быть неестественнаго и дурнаго? Вы мучаетесь документомъ, вы подозрѣваете, что такой-то все знаетъ, чтожь, вы очень могли желать, чтобъ такой-то высказался... Тутъ ничего нѣтъ дурнаго, ровно ничего. Искренно говорю. Но все таки надо, чтобы вы теперь мнѣ что нибудь сказали... признались (простите это слово). Мнѣ надо правду. Почему-то такъ

надо! И такъ, скажите: для того-ли вы обласкали меня, чтобъ выпытать у меня документъ... Катерина Николаевна?

Я говорилъ какъ-будто падалъ и лобъ мой горѣлъ. Она слушала меня уже безъ тревоги, напротивъ, чувство было въ лицѣ; но она смотрѣла какъ-то застѣнчиво, какъ-будто стыдась.

— Для того, проговорила она медленно и вполголоса.— Простите меня, я была виновата, прибавила она вдругъ, слегка приподымая концы руки. Я никакъ не ожидалъ этого. Я всего ожидалъ, но только не этихъ двухъ словъ; даже отъ нея, которую зналъ уже.

— И вы говорите мнѣ: „виновата!“ Такъ прямо: „виновата?“ вскричалъ я.

— О, я уже давно стала чувствовать, что предъ вами виновата... и даже рада теперь, что вышло наружу...

— Давно чувствовали? Для чего же вы не говорили прежде?

— Да я не умѣла какъ и сказать, улыбнулась она:—то есть, я и съумѣла-бы, улыбнулась она опять:—но какъ-то становилось все совѣстно... потому что я, дѣйствительно, въ началѣ васъ только для этого „привлекала“, какъ вы выразились, ну а потомъ мнѣ очень скоро стало противно... и надоѣло мнѣ все это притворство, увѣряю васъ! прибавила она съ горькимъ чувствомъ:—да и всѣ эти хлопоты тоже!

— И почему, почему-бы вамъ не спросить тогда, прамехоньимъ образомъ? Такъ-бы и сказали: „вѣдь ты знаешь про письмо, чего же ты притворяешься?“ И я-бы вамъ тотчасъ все сказалъ, тотчасъ признался!

— Да я васъ... боялась немного. Признаюсь, я тоже вамъ и не довѣряла. Да и вправду: если я хитрила, то вѣдь и вы тоже, прибавила она, усмѣхнувшись.

— Да, да, я былъ недостоинъ! вскричалъ я пораженный.—О, вы еще не знаете всѣхъ безднъ моего паденія!

— Ну, ужъ и безднъ! Узнаю вашъ слогъ, тихо улыбнулась она.— Это письмо, прибавила она грустно, было самымъ грустнымъ и легкомысленнымъ поступкомъ моей жизни. Сознаніе объ этомъ поступкѣ было мнѣ всегдашнимъ укоромъ. Подъ вліяніемъ обстоятельствъ и опасеній, я усумнилась въ моему милому, великодушному отцѣ. Зная, что это письмо могло попасть... въ руки злыхъ людей... имѣя полныя основанія такъ думать (съ жаромъ произнесла она), я трепетала, что имъ воспользуются, покажутъ раръ... а на него это могло произвести чрезвычайное впечатлѣніе... въ его положеніи... на здоровье его... и онъ-бы меня разлюбилъ... Да, прибавила она, смотря мнѣ ясно въ глаза

и, вѣроятно поймавъ на лету что-то въ моемъ взглядѣ:—да, я боялась тоже и за участь мою: я боялась что онъ... подъ вліяніемъ своей болѣзни... могъ лишить меня и своихъ милостей... Это чувство тоже входило, но я навѣрно и тутъ передъ нимъ виновата: онъ такъ добръ и великодушенъ, что, конечно бы, меня простилъ. Вотъ и все, что было. А что я такъ поступила съ вами, то такъ не надо было, кончила она, опять вдругъ застыдившись.—Вы меня привели въ стыдъ.

— Нѣтъ, вамъ нечего стыдиться! вскричалъ я.

— Я, дѣйствительно, разсчитывала... на вашу пылеость... и сознаюсь въ этомъ, вымолвила она, потупившись.

— Катерина Николаевна! Кто, кто, скажите, заставляетъ васъ дѣлать такія признанія мнѣ вслухъ? вскрикнулъ я, какъ опьянѣлый:— ну, чтобы вамъ стоило встать и въ отборнѣйшихъ выраженіяхъ, самымъ тонкимъ образомъ доказать мнѣ, какъ дважды-два, что хоть оно и было, но все таки ничего не было, — понимаете, какъ обыкновенно умѣютъ у васъ въ высшемъ свѣтѣ обращаться съ правдой? Вѣдь я глушь и грубъ, я-бы вамъ тотчасъ повѣрилъ, я-бы всему повѣрилъ отъ васъ, чтобы вы ни сказали! Вѣдь вамъ-бы ничего не стоило такъ поступить? Вѣдь не боитесь же вы меня въ самомъ дѣлѣ? Какъ могли вы такъ добровольно унизиться передъ выскочкой, передъ жалкимъ подросткомъ?

— Въ этомъ, по крайней мѣрѣ, я не унижилась передъ вами, промолвила она съ чрезвычайнымъ достоинствомъ, повидимому не понявъ мое восклицаніе.

— О, напротивъ, напротивъ! Я только это и кричу!...

— Ахъ, это было такъ дурно и такъ легкомысленно съ моей стороны! воскликнула она, приподнимая къ лицу свою руку и какъ бы стараясь закрыться рукой:— мнѣ стыдно было еще вчера, а потому я и была такъ не по себѣ, когда вы у меня сидѣли... Вся правда въ томъ, прибавила она: что теперь обстоятельства мои вдругъ такъ сошлись, что мнѣ необходимо надо было узнать наконецъ всю правду объ участи этого несчастнаго письма, а то я было ужъ стала забывать о немъ... потому что я вовсе не изъ этого только принимала васъ у себя, прибавила она вдругъ.

Сердце мое задрожало.

— Конечно, нѣтъ, улыбнулась она тонкой улыбкой:— конечно, нѣтъ! Я... Вы очень мѣтко замѣтили это давеча, Аркадій Макаровичъ, что мы часто съ вами говорили, какъ студентъ съ студентомъ. Увѣряю васъ, что мнѣ очень скучно бываетъ иногда въ людяхъ; осо-

бежно стало это дело заграничности и в связи с тем, что в наших семейных несчастиях я даже маю теперь и бываю гдѣ-нибудь и не от одной только любви. Мне часто хочется увидеть в издательском кабинетѣ там перочина мои любимыя книжки и журналы, уны дажно отлаживая, а все никакъ не обретаю ихъ. И вѣдь что это уже вѣрится. Помню, что вы смѣялись, что считали русскія газеты, описанъ газетъ, и что вы не даёте в

— Я не смѣюсь. — Я вѣдь знаю, что вы не даёте в

— Конечно, потому что вы не даёте в... я вамъ давно признаюсь, я русская и Россия люблю. Вы помните, что все съ вами читали „Факты“, вы помните, что называли (улицею была она). Вы хоть и очень часто бываея какой-то сдвинутый, но вы тогда такъ оживлялись, какъ всегда умѣли сказать, и вы же и давали интересные именно тѣмъ, что вы интересовались. Когда вы бываея „слушаете“, и вы, правда, бываея, и вы оригинальны. Вотъ другія роли, какъ, вы от себя, маю сидеть, прибавила она съ прелестью, и вы умильной. Вы помните, вы иногда не рѣшались, чего-то говорили, и вы тогда только цифры считали, и вы прибавляли, и вы забылись (о томъ) сколько шло, и вы не буда направляется просвѣщеніе. Мы считали, и вы тогда и вы тогда дѣла, сравнивали съ хорошими дѣлами... хотѣлось узнать, куда вы все стремитесь, и что съ нами самими, и вы тогда, и вы тогда. Я въ вѣрности встрѣтила искренность. Въ свѣтъ съ нами, съ женщинами, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. Я на прошлой недѣль разговорилъ было съ княземъ, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. Бисмаркъ, потому что очень интересовалась, а сама же умѣла рѣшить, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. даже очень подробно, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. именно нестерпимую для меня, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. говорить, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. свое дѣло. А помните, какъ мы о Бисмаркѣ съ вами, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. ссарились. Вы мнѣ доказывали, что у васъ есть своя идея, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. понимае. Бисмарковъ, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. тила, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. покойнаго мужа, очень-очень умнаго, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. произнесла она вынужденно, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда.

— Версикова! всеричаль я. Я чуть дышать надъ каждымъ ея словомъ.

— Да, я очень люблю его слушать, я стала съ нимъ, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. владѣть, и вы тогда, и вы тогда, и вы тогда. и не повѣрилъ!

— Не повѣрилъ?

- Да, вѣдь и никто никогда мнѣ не вѣрилъ.
- Но Версиловъ, Версиловъ!
- Онъ не просто не повѣрилъ, промолвила она, опустивъ глаза и странно какъ-то улыбнувшись:—а счелъ, что во мнѣ „всѣ пороки“.
- Которыхъ у васъ нѣтъ ни одного!
- Нѣтъ, есть нѣкоторые и у меня.
- Версиловъ не любилъ васъ, отъ того и не понялъ васъ, вскричала я, сверкая глазами.

Что-то передернулось въ ея лицѣ.

— Оставьте объ этомъ и никогда не говорите мнѣ объ... этомъ человѣкѣ... прибавила она горячо и съ сильною настойчивостью.—Но довольно; пора. (Она встала, чтобъ уходить). Чтожь, прощаете вы меня или нѣтъ? проговорила она, ясно смотря на меня.

— Мнѣ... васъ... простить! Послушайте, Катерина Николаевна, и не разсердитесь: правда, что вы выходите замужъ?

— Это еще совѣмъ не рѣшено, проговорила она, какъ-бы испугавшись чего-то, въ смущеніи.

— Хорошій онъ человѣкъ? Простите, простите мнѣ этотъ вопросъ!

— Да, очень хорошій...

— Не отвѣчайте больше, не удостоивайте меня отвѣтомъ! Я вѣдь знаю, что такіе вопросы отъ меня невозможны! Я хотѣлъ лишь знать, достоинъ онъ или нѣтъ, но я про него узнаю самъ.

— Ахъ, послушайте! съ испугомъ проговорила она.

— Нѣтъ, не буду, не буду. Я пройду мимо... Но вотъ что только скажу: дай вамъ Богъ всякаго счастья, всякаго, какое сами выберете... за то, что вы сами дали мнѣ теперь столько счастья, въ одинъ этотъ часъ! Вы теперь отпечатались въ душѣ моей вѣчно. Я приобрѣлъ сокровище: мысль о вашемъ совершенствѣ. Я подозрѣвалъ коварство, грубое кокетство и былъ несчастенъ... потому что не могъ съ вами соединить эту мысль... въ послѣдніе дни я думалъ день и ночь, и вдругъ все становится ясно какъ день! Входя сюда, я подумалъ, что унесу иезуитство, хитрость, вывѣдывающую змѣю, а нашелъ честь, славу, студента! Вы смѣетесь? Пусть, пусть! Вѣдь вы—святая, вы не можете смѣяться надъ тѣмъ, что священно...

— О нѣтъ, я тому только, что у васъ такія ужасныя слова... Ну, что такое „вывѣдывающая змѣя“? засмѣялась она.

— У васъ вырвалось сегодня одно драгоценное слово, продолжалъ я въ восторгѣ.—Какъ могли вы только выговорить предо мной: „что рассчитывали на мою пылкость?“ Ну, пусть вы святая и признаетесь

даже въ этомъ, потому что вообразили въ себѣ какую-то вину и хотѣли себя казнить... Хотя, впрочемъ, никакой вины не было, потому что, если и было что, то отъ васъ все свято! Но все таки вы могли не сказать именно этого слова, этого выраженія!... Такое неестественное даже чистосердечіе показывается лишь высшее ваше цѣломудріе, уваженіе ко мнѣ, вѣру въ меня, безсвязно восклицалъ я.—О, не краснѣйте, не краснѣйте!.. И кто, кто могъ клеветать и говорить, что вы—страстная женщина? О, простите: я вижу мучительное выраженіе на вашемъ лицѣ; простите изступленному подростку его неуклюжія слова! Да и въ словахъ ли, въ выраженіяхъ ли теперь дѣло? Не выше ли вы всѣхъ выраженій?... Версильовъ разъ говорилъ, что Отелло не для того убилъ Дездемону, а потомъ убилъ себя, что ревновалъ, а потому, что у него отняли его идеаль... Я это понялъ, потому что и мнѣ сегодня возвратили мой идеаль!

— Вы меня слишкомъ хвалите: я не стою того,—произнесла она съ чувствомъ.—Помните, что я говорила вамъ про ваши глаза? прибавила она шутливо.

— Что у меня не глаза, а вмѣсто глазъ два микроскопа, и что я каждую муху преувеличиваю въ верблюда! Нѣтъ-съ, тутъ не верблюдъ!.. Какъ, вы уходите?

Она стояла среди комнаты, съ муфтой и съ шалью въ рукѣ.

— Нѣтъ, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потомъ. Я еще напишу два слова Татьянѣ Павловнѣ.

— Я сейчасъ уйду, сейчасъ, но еще разъ: будьте счастливы, одиѣ или съ тѣмъ, кого выберете, и дай вамъ Богъ! А мнѣ—мнѣ нуженъ лишь идеаль!

— Милый, добрый Аркадій Макаровичъ, повѣрьте, что я объ васъ... Про васъ отецъ мой говоритъ всегда: „милый, добрый мальчикъ!“ Повѣрьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бѣдномъ мальчикѣ, оставленномъ въ чужихъ людяхъ, и объ уединенныхъ его мечтахъ... Я слишкомъ понимаю, какъ сложилась душа ваша... Но теперь, хоть мы и студенты, прибавила она съ просящей и стыдливой улыбкой, пожимая руку мою:—но намъ нельзя уже болѣе видѣться какъ прежде и, и... вѣрно вы это понимаете?

— Нельзя?

— Нельзя, долго нельзя... въ этомъ ужъ я виновата... Я вижу, что это теперь совсѣмъ невозможно... Мы будемъ встрѣчаться, иногда, у паря...

— Вы боитесь „пылкости“ моихъ чувствъ, вы не вѣрите мнѣ?

хотѣлъ-было я всеричать; но она вдругъ такъ предо мной застыдилась, что слова мои сами не выговорились.

— Скажите, вдругъ остановила она меня уже совсѣмъ у дверей, — вы сами видѣли, что... то письмо... разорвано? Вы хорошо это запомнили? Почему вы тогда узнали, что это было то самое письмо къ Андроникову?

— Крафтъ мнѣ разсказалъ его содержаніе и даже показалъ мнѣ его... Прощайте! Когда я бывалъ у васъ въ кабинетѣ, то робѣлъ при васъ, а когда вы уходили, я готовъ былъ броситься и цаловать то мѣсто на полу, гдѣ стояла ваша нога... проговорилъ я вдругъ безотчетно, самъ не зная, какъ и для чего, и, не взглянувъ на нее, быстро вышелъ.

Я пустился домой; въ моей душѣ былъ восторгъ. Все мелькало въ умѣ, какъ вихрь, а сердце было полно. Подъѣзжая къ дому мамы, я вспомнилъ вдругъ о Лизиною неблагодарности къ Аннѣ Андреевнѣ, объ ея жестокомъ, чудовищномъ словѣ давеча, и у меня вдругъ заняло за нихъ всѣхъ сердце! „Какъ у нихъ у всѣхъ жестко на сердцѣ! Да и Лиза, чтѣ съ ней?“ подумалъ я, ставъ на крыльцо.

Я отпустилъ Матвѣя и велѣлъ пріѣхать за мной, ко мнѣ на квартиру, въ девять часовъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Къ обѣду я опоздалъ, но они еще не сѣли и ждали меня. Можетъ быть, потому, что я вообще у нихъ рѣдко обѣдалъ, сдѣланы были даже кой какія особыя прибавленія: явились на закуску сардины и проч. Но, къ удивленію моему и къ горю, я засталъ всѣхъ чѣмъ-то какъ бы озабоченными, нахмуренными: Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама видимо безпокоилась; Версиловъ улыбался, но съ натугою. „Ужь не поссорились ли?“ подумалось мнѣ. Впрочемъ, сначала все шло хорошо: Версиловъ только поморщился немного на супъ съ клецками и очень сгримасничалъ, когда подали зразы:

— Стоять только предупредить, что желудокъ мой такого-то кушанья не выноситъ, чтобъ оно на другой же день и явилось, вырвалось у него въ досадѣ.

— Да вѣдь чтожь, Андрей Петровичъ, придумать-то? Никакъ не придумаешь новаго-то кушанья никакого, робко отвѣтила мама

— Твоя мать — совершенная противоположность инымъ нашимъ.

газетамъ, у которыхъ что ново, то и хорошо, хотѣлъ было съострить Версиловъ поигривѣ и подружелюбивѣ; но у него какъ-то не вышло, и онъ только пуще испугалъ маму, которая, разумѣется, ничего не поняла въ сравненіи ея съ газетами и озиралась съ недоумѣніемъ. Въ эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявивъ, что ужь отобѣдала, усѣлась подлѣ мамы на диванѣ.

Я все еще не успѣлъ приобрѣсти расположенія этой особы; даже, напротивъ, она еще пуще стала на меня нападать за все про все. Особенно усилилось ея неудовольствіе на меня за послѣднее время: она видѣть не могла моего франтовскаго платья, а Лиза передавала мнѣ, что съ ней почти случился припадокъ, когда она узнала, что у меня лихачъ извощикъ. Я кончилъ тѣмъ, что по возможности сталъ избѣгать съ ней встрѣчи. Два мѣсяца назадъ, послѣ отдачи наслѣдства, я было забѣжалъ къ ней поболтать о поступкѣ Версилова, но не встрѣтилъ ни малѣйшаго сочувствія; напротивъ, она была страшно обозлена: ей очень не понравилось, что отдано все, а не половина; мнѣ же она рѣзко тогда замѣтила:

— Бьюсь объ закладъ, ты увѣренъ, что онъ и деньги отдалъ и на дуэль вызывалъ единственно, чтобъ поправиться въ мнѣніи Аркадія Макаровича.

И вѣдь почти она угадала: въ сущности, я что-то въ этомъ родѣ тогда дѣйствительно чувствовалъ.

Я тотчасъ понялъ, только что она вошла, что она непремѣнно на меня накинется; даже былъ немножко увѣренъ, что она собственно для этого и пришла, а потому я сталъ вдругъ необыкновенно развязенъ; да и ничего мнѣ это не стоило, потому что я все еще, съ давешняго, продолжалъ быть въ радости и въ сіяніи. Замѣчу разъ навсегда, что развязность никогда въ жизни не шла ко мнѣ, то есть не была мнѣ къ лицу, а, напротивъ, всегда покрывала меня позоромъ. Такъ случилось и теперь: я мигомъ проврался; безъ всякаго дурнаго чувства, а чисто изъ легкомыслія, замѣтивъ, что Лиза ужасно скучна, я вдругъ брякнулъ, даже и не подумавъ о томъ, что говорю:

— Въ кои-то вѣки я здѣсь обѣдаю, и вотъ ты, Лиза, какъ нарочно, такая скучная!

— У меня голова болить, отшѣтила Лиза.

— Ахъ, Боже мой, вцѣпилась Татьяна Павловна:—чтожъ что больна? Аркадій Макаровичъ изволилъ пріѣхать обѣдать, должна плясать и веселиться.

— Вы рѣшительно—несчастье моей жизни, Татьяна Павловна:

никогда не буду при васъ сюда ѣздить! и я съ искренней досадою хлопнулъ ладонью по столу; мама вздрогнула, а Версиловъ странно посмотрѣлъ на меня. Я вдругъ разсмѣялся и попросилъ у нихъ прощенія.

— Татьяна Павловна, беру слово о несчастіи назадъ, обратился я къ ней, продолжая развязничать.

— Нѣтъ, нѣтъ, отрѣзала она:—мнѣ гораздо лестнѣе быть твоимъ несчастіемъ, чѣмъ на оборотъ, будь увѣренъ.

— Милый мой, надо умѣть переносить маленькія несчастія жизни, промямлилъ, улыбаясь, Версиловъ, безъ несчастій и жить не стоитъ.

— Знаете, вы—страшный иногда ретроградъ, воскликнулъ я, нервно смѣясь.

— Другъ мой, это наплевать.

— Нѣтъ, не наплевать! Зачѣмъ вы ослу не говорите прямо, когда онъ—оселъ?

— Ужь ты не про себя ли? Я, во первыхъ, судить никого не хочу и не могу.

— Почему не хотите, почему не можете?

— И лѣнь, и претитъ. Одна умная женщина мнѣ сказала однажды, что я не имѣю права другихъ судить потому, что „страдать не умѣю“, а чтобы стать судьей другихъ, надо выстрадать себѣ право на судъ. Немного высокопарно, но въ примѣненіи ко мнѣ, можетъ, и правда, такъ что я даже съ охотой покорился сужденію.

— Да неужто-жь это Татьяна Павловна вамъ сказала? воскликнулъ я.

— А ты почему узналъ? съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянулъ Версиловъ.

— Да я по лицу Татьяны Павловны угадалъ: она вдругъ такъ дернулась.

Я угадалъ случайно. Фраза эта, дѣйствительно, какъ оказалось потомъ, высказана была Татьяной Павловной Версикову наканунѣ въ горячемъ разговорѣ. Да и вообще, повторяю, я съ моими радостями и экспансивностями налетѣлъ на нихъ всѣхъ вовсе не во время: у каждаго изъ нихъ было свое и очень тяжелое.

— Ничего я не понимаю, потому что все это такъ отвлеченно; и вотъ черта: ужасно какъ вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петровичъ; это—эгоистическая черта: отвлеченно любить говорить одни только эгоисты.

— Не глупо сказано, но ты не приставай.

— Нѣтъ, позвольте, лѣзь я съ экспансивностями: что значить.

„выстрадать право на судъ?“ Кто честенъ, тотъ и судья—вотъ моя мысль.

— Немного же ты, въ такомъ случаѣ, наберешь судей.

— Одного ужъ я знаю.

— Кого это!

— Онъ теперь сидитъ и говоритъ со мной.

Версиковъ странно усмѣхнулся, нагнулся къ самому моему уху и, взявъ меня за плечо, прошепталъ мнѣ: „Онъ тебѣ все лжетъ“.

Я до сихъ поръ не понимаю, что у него тогда была за мысль, но, очевидно, онъ въ ту минуту былъ въ какой-то чрезвычайной тревогѣ (вслѣдствіе одного извѣстія, какъ сообразилъ я послѣ). Но это слово: „онъ тебѣ все лжетъ“ было такъ неожиданно и такъ серьезно сказано, и съ такимъ страннымъ, вовсе не шутливымъ выраженіемъ, что я весь какъ-то нервно вздрогнулъ, почти испугался и дико поглядѣлъ на него; но Версиковъ успѣшилъ разсмѣяться.

— Ну, и слава Богу! сказала мама, испугавшись тому, что онъ шепталъ мнѣ на ухо, а то я было подумала... Ты, Аркаша, на насъ не сердись; умные-то люди и безъ насъ съ тобой будутъ, а вотъ кто тебя любить-то станетъ, коли насъ другъ у дружки не будетъ?

— Тѣмъ-то и безнравственна родственная любовь, мама, что она— не заслуженная. Любовь надо заслужить.

— Пока-то еще заслужишь, а здѣсь тебя и ни за что любить.

Всѣ вдругъ разсмѣялись.

— Ну, мама, вы, можетъ, и не хотѣли выстрѣлить, а птицу убили! вскричалъ я, тоже разсмѣявшись.

— А ты ужъ и въ самомъ дѣлѣ вообразилъ, что тебя есть за что любить, набросилась опять Татьяна Павловна:—мало того, что даромъ тебя любить, тебя сѣвозъ отвращенье они любить!

— Ахъ вотъ нѣтъ! весело вскричалъ я:—знаете-ли, кто, можетъ быть, сказалъ мнѣ сегодня, что меня любить?

— Хохоча надъ тобой, сказалъ! вдругъ какъ-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, какъ будто именно отъ меня и ждала этихъ словъ.—Да, деликатный человекъ, а особенно женщина, изъ-за одной только душевной грязи твоей въ омерзенье придетъ. У тебя проборъ на головѣ, бѣлье тонкое, платье у француза сшито, а вѣдь все это—грязь! Тебя кто обшилъ, тебя кто кормить, тебѣ кто деньги, чтобъ на рулеткахъ играть, даетъ? Вспомни, у кого ты братъ не стыдишься?

Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видалъ такого стыда на ея лицѣ. Меня всего передернуло:

— Если я трачу, то трачу свои деньги. и отчетомъ никому не обязанъ, отрѣзалъ было я, весь покрасивъвъ.

— Чьи свои? Какія свои?

— Не мои, такъ Андрей Петровичевы. Онъ мнѣ не откажетъ... Я братья у князя въ зачетъ его долга Андрею Петровичу...

— Другъ мой, проговорилъ вдругъ твердо Версиковъ, тамъ моихъ денегъ ни копѣйки нѣтъ.

Фраза была ужасно значительна. Я осялся на мѣстѣ. О, разумѣется, припоминая все тогдашнее, парадоксальное и безшабашное настроеніе мое, я, конечно бы, вывернулся какимъ нибудь „благороднѣйшимъ“ порывомъ, или трескучимъ словечкомъ, или чѣмъ нибудь, но вдругъ я замѣтилъ въ нахмуренномъ лицѣ Лизы какое-то злобное, обвиняющее выраженіе, несправедливое выраженіе, почти насмѣшку, и точно бѣсъ меня дернулъ.

— Вы, сударыня, обратился я вдругъ къ ней, кажется часто посѣщаете въ квартирѣ князя Дарью Онисимовну? Такъ не угодно ли вамъ передать ей самой вотъ эти триста рублей, за которые вы меня сегодня ужъ такъ пилили!

Я вынулъ деньги и протянулъ ей. Ну, повѣрять ли, что низкія слова эти были сказаны тогда безъ всякой цѣли, т. е. безъ малѣйшаго намека на что нибудь. Да и намека такого не могло быть, потому что въ ту минуту я ровнешенько ничего не зналъ. Можетъ быть, у меня было лишь желаніе чѣмъ нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невиннымъ, въ родѣ того, что вотъ, дескать, барышня, а не въ свое дѣло мѣшается, такъ вотъ не угодно ли, если ужъ непремѣнно вѣшаться хотите, самой встрѣтиться съ этимъ княземъ, съ молодымъ человѣкомъ, съ петербургскимъ офицеромъ, и ему передать, „если ужъ такъ захотѣли вязаться въ дѣла молодыхъ людей“. — Но каково было мое изумленіе, когда вдругъ встала мама и, поднявъ передо мной палецъ и грозя мнѣ, крикнула:

— Не смѣй! Не смѣй!

Ничего подобнаго этому я не могъ отъ нея представить и самъ вскопчилъ съ мѣста, не то что въ испугѣ, а съ какимъ-то страданіемъ, съ какой-то мучительной раной на сердцѣ, вдругъ догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама не долго выдержала: закрывъ руками лицо она быстро вышла изъ комнаты. Лиза даже, не глянувъ въ мою сторону, вышла вслѣдъ за нею. Татьяна Павловна съ полминуты смотрѣла на меня молча:

— Да неужто ты, въ самомъ дѣлѣ, что нибудь хотѣлъ сморозить?

загадочно воскликнула она, съ глубочайшимъ удивленіемъ смотря на меня, но, не дождавшись моего отвѣта, тоже побѣжала къ нимъ. Версиловъ съ непріязненнымъ, почти злобнымъ видомъ всталъ изъ за стола и взялъ въ углу свою шляпу.

— Я полагаю, что ты вовсе не такъ глупъ а только невиненъ, промямлилъ онъ мнѣ насмѣшливо.—Если придуть, скажи, чтобъ меня не ждали къ пирожному: я немножко пройдуся.

Я остался одинъ; сначала мнѣ было странно, потомъ обидно, а потомъ я ясно увидѣлъ, что я виноватъ. Впрочемъ, я не зналъ, въ чемъ собственно я виноватъ, а только что-то почувствовалъ. Я сидѣлъ у окна и ждалъ. Прождавъ минутъ десять, я тоже взялъ шляпу и пошелъ на верхъ, въ мою бывшую свѣтелку. Я зналъ, что тамъ, то есть мама и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Такъ я ихъ и нашелъ обвѣхъ, вмѣстѣ на моемъ диванѣ, объ чемъ-то шептавшихся. При моемъ появленіи, обвѣ тотчасъ же перестали шептаться. Къ удивленію моему, онѣ на меня не сердились; мама, по крайней мѣрѣ, мнѣ улыбнулась.

— Я, мама, виноватъ, началъ было я...

— Ну, ну, ничего, перебила мама:—а вотъ любите только другъ дружку и никогда не ссорьтесь, то и Богъ счастья пошлетъ.

— Онъ, мама, никогда меня не обидитъ, я вамъ это говорю! убѣжденно и съ чувствомъ проговорила Лиза.

— Еслибъ не эта только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло, вскричалъ я:—скверная она!

— Видите, мама? Слышите? указала ей на меня Лиза.

— Я вотъ что вамъ скажу обвѣмъ, провозгласилъ я:—если въ свѣтѣ гадко, то гадокъ только я, а все остальное—предестъ!

— Ареша, не разсердись, милый, а кабы ты въ самомъ дѣлѣ пересталъ...

— Это играть? Играть? Перестану, мама: сегодня въ послѣдній разъ вѣду, особенно послѣ того, какъ Андрей Петровичъ самъ и вслухъ объявилъ, что его денегъ тамъ нѣтъ ни копѣйки. Вы не повѣрите, какъ я краснѣю... Я, впрочемъ, долженъ съ нимъ объясниться... Мама, милая, въ прошлый разъ я здѣсь сказалъ... неловкое слово... Мамочка, я вралъ: я хочу искренно вѣрвать, я только фанфаронилъ, и очень люблю Христа...

У насъ въ прошлый разъ дѣйствительно вышелъ разговоръ въ этомъ родѣ; мама была очень огорчена и встревожена. Выслушавъ меня теперь, она улыбнулась мнѣ какъ ребенку:

— Христось, Аркаша, все простить, и хулу твою простить, и хуже твоего простить. Христось — отецъ, Христось не нуждается и сѣять будетъ даже въ самой глубокой тьмѣ...

Я съ ними простился и вышелъ, подумывая о шансахъ увидѣться сегодня съ Версиловымъ; мнѣ очень надо было переговорить съ нимъ, а давеча нельзя было. Я сильно подозрѣвалъ, что онъ дожидается у меня на квартирѣ. Пошелъ я пѣшкомъ; съ тепла припалось слегка морозить, и пройти было очень пріятно.

II.

Я жгъ стлѣзь Вознесенскаго моста, въ огромномъ дождѣ, на дворѣ. Почти входя въ ворота, я столкнулся съ выходившимъ отъ меня Версиловымъ.

— По моему обычаю, дошелъ гуляя до твоей квартиры, и даже подождалъ тебя у Петра Ипполитовича, но соскучился. Они тамъ у тебя вѣчно спорятся, а сегодня жена у него даже слегла и плачетъ. Посмотрѣлъ и пошелъ.

Мнѣ почему-то стало досадно.

— Вы вѣрно только ко мнѣ одному и ходите, и, кромѣ меня да Петра Ипполитовича, у васъ никого нѣтъ во всемъ Петербургѣ?

— Другъ мой... да вѣдь все равно.

— Куда же теперь-то?

— Нѣтъ, ужъ я къ тебѣ не вернусь. Если хочешь—пройдемся, славный вечеръ.

— Еслибъ, вмѣсто отвлеченныхъ разсужденій, вы говорили со мной по человѣчески и, напримѣръ, хоть намекнули мнѣ только объ этой проклятой игрѣ, я бы, можетъ, не втянулся какъ дуракъ, сказалъ я вдругъ.

— Ты раскаяваешься? Это хорошо, отвѣтилъ онъ, цѣдя слова:— я и всегда подозрѣвалъ, что у тебя игра — не главное дѣло, а лишь временное уклоненіе... Ты правъ, мой другъ, игра — свинство, и къ тому же можно проиграться.

— И чужія деньги проигрывать.

— А ты проигралъ и чужія?

— Ваши проигралъ. Я бралъ у князя за вашъ счетъ. Конечно, это—страшная нелѣпность и глупость съ моей стороны... считать ваши деньги своими, но я все хотѣлъ отыгаться.

— Предупреждаю тебя еще разъ, мой милый, что тамъ моихъ

денегъ нѣтъ. Я знаю, этотъ молодой человѣкъ самъ въ тискахъ, и я на немъ ничего не считаю, не смотря на его обѣщанія.

— Въ такомъ случаѣ, я вдвое въ худшемъ положеніи... я въ комическомъ положеніи! И съ какой стати ему мнѣ давать, а мнѣ у него брать послѣ этого?

— Это— ужь твое дѣло... А дѣйствительно, нѣтъ ли малѣйшей стати тебѣ брать у него, а?

— Кромѣ товарищества...

— Нѣтъ кромѣ товарищества? Нѣтъ ли чего такого, изъ за чего бы ты находилъ возможнымъ брать у него, а? Ну, тамъ по какимъ бы то ни было соображеніямъ?

— По какимъ это соображеніямъ? Я не понимаю.

— И тѣмъ лучше, что не понимаешь, и признаюсь, мой другъ, я былъ въ этомъ увѣренъ. *Brisons là, mon cher*, и постарайся какънибудь не играть.

— Еслибъ вы мнѣ раньше сказали! Вы и теперь мнѣ говорите точно ямлите.

— Еслибъ я раньше сказалъ, то мы бы съ тобой только рассорились, и ты меня не съ такой бы охотою пускалъ къ себѣ по вечерамъ. И знай, мой милый, что всѣ эти спасительные заранѣ совѣты—все это есть только вторженіе на чужой счетъ въ чужую совѣсть. Я достаточно вскакивалъ въ совѣсть другихъ и, въ концѣ концовъ, вынесъ одни щелчки и насмѣшки. На щелчки и насмѣшки, конечно, наплевать, но главное въ томъ, что этимъ манеромъ ничего и не достигнешь: никто тебя не послушается, какъ ни вторгайся... и всѣ тебя разлюбятъ.

— Я радъ, что вы со мной начали говорить не объ отвлеченостяхъ. Я васъ еще объ одномъ хочу спросить, давно хочу, но все какъ-то съ вами нельзя было. Хорошо, что мы на улицѣ. Помните, въ тотъ вечеръ у васъ, въ послѣдній вечеръ, два мѣсяца назадъ, какъ мы сидѣли съ вами у меня „въ гробѣ“, и я разспрашивалъ васъ о мамѣ и о Макарь Ивановичѣ,—помните ли, какъ я былъ съ вами тогда „развязанъ“? Можно ли было позволить паценку-сыну въ такихъ терминахъ говорить про мать? И чтожъ? Вы ни однимъ словечкомъ не подали виду: напротивъ, сами „распахнулись“, а тѣмъ и меня еще пуще развязали.

— Другъ ты мой, мнѣ слишкомъ пріятно отъ тебя слышать... такія чувства... Да, я помню очень, я дѣйствительно ждалъ тогда появленія краски въ твоемъ лицѣ, и, если самъ поддавалъ то, можетъ быть, именно, чтобъ довести тебя до предѣла...

— И только обманули меня тогда и еще пуще замутили чистый источникъ въ душѣ моей! Да, я—жалкій подростокъ и самъ не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мнѣ тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчасъ вскопчилъ на правый путь. Но вы только меня тогда разозлили.

— *Cher enfant*, я всегда предчувствовалъ, что вы, такъ или иначе, а съ тобою сойдемся: эта „краска“ въ твои лица пришла же теперь къ тебѣ сама собой и безъ моихъ указаній, а это, вклянусь, для тебя же лучше... Ты, мой милый, я замѣчаю, въ послѣднее время много приобрѣлъ... неужто въ обществѣ этого князька?

— Не хвалите меня, я этого не люблю. Не оставляйте въ моемъ сердцѣ тяжелого подозрѣнія, что вы хвалите изъ іезуитства, во вредъ истинѣ, чтобъ не переставать нравиться. А въ послѣднее время... видите-ли... я къ женщинамъ ѣздилъ. Я очень хорошо принять, напри- мѣръ, у Анны Андреевны, вы знаете!

— Я это знаю отъ нея же, мой другъ. Да, она—премилая и умная. *Mais brisons là, mon cher*. Мнѣ сегодня какъ-то до странности гадко—хандра, что-ли? Приписываю геморю. Что дома? Ничего? Ты тамъ, разумеется, примирился и были объятія? *Cela va sans dire*. Грустно какъ-то къ нимъ иногда бываетъ возвращаться, даже послѣ самой скверной прогулки. Право, иной разъ лишній крюкъ по дождю сдѣлаю, чтобъ только подольше не возвращаться въ эти нѣдра... И скучища же, скучища, о Боже!

— Мама...

— Твоя мать—совершеннѣйшее и прелестнѣйшее существо, *mais*... Однимъ словомъ, я ихъ вѣроятно не стою. Кстати, что у нихъ тамъ сегодня? Онѣ за послѣдніе дни всё до единой какія-то такія... Я, знаешь, всегда стараюсь игнорировать, но тамъ что-то у нихъ сегодня завязалось... Ты ничего не замѣтилъ?

— Ничего не знаю рѣшительно, и даже не замѣтилъ бы совѣтъ, еслибъ не эта проклятая Татьяна Павловна, которая не можетъ не полѣзть кусаться. Вы правы: тамъ что-то есть. Давеча я Лизу застала у Анны Андреевны, она и тамъ еще была какая-то... даже удивила меня. Вѣдь вы знаете, что она принята у Анны Андреевны?

— Знаю, мой другъ. А ты... ты когда же былъ давеча у Анны Андреевны, въ которомъ именно часу, то есть? Это мнѣ надо для одного факта.

— Отъ двухъ до трехъ. И представьте, когда я выходилъ, при- ѣзжалъ князь...

Тутъ я рассказалъ ему весь мой визитъ до чрезвычайной подробности. Онъ все выслушалъ молча; о возможности сватовства князя къ Аннѣ Андреевнѣ не промолвилъ ни слова; на восторженныя похвалы мои Аннѣ Андреевнѣ промямлилъ опять, что „она—милая“.

— Я ее чрезвычайно успѣлъ удивить сегодня, сообщивъ ей самую свѣженспеченную свѣтскую новость о томъ, что Катерина Николаевна Ахмакова выходитъ за барона Бьоринга, сказалъ я вдругъ, какъ будто вдругъ что-то сорвалось у меня.

— Да? Представь же себѣ, она мнѣ эту самую „новость“ сообщила еще давеча, раньше полудня, то есть гораздо раньше, чѣмъ ты могъ удивить ее?

— Чтò вы? такъ и остановился я на мѣстѣ: — а откуда-жь она узнать могла? А впрочемъ, чтожь я? Разумѣется, она могла узнать раньше моего, но вѣдь представьте себѣ: она выслушала отъ меня, какъ совершенную новость! Впрочемъ... впрочемъ, чтожь я? Да здравствуетъ широкость! Надо широко допускать характеры, такъ-ли? Я бы, напримѣръ, тотчасъ все разболталъ, а она запретъ въ табакерку... И пусть, и пусть, тѣмъ не менѣе она—прекраснѣйшее существо и превосходнѣйшій характеръ!

— О, безъ сомнѣнія, каждый по своему! И чтò оригинальнѣе всего: эти превосходныя характеры умѣютъ иногда чрезвычайно своеобразно озадачивать; вообрази, Анна Андреевна вдругъ огорочиваетъ меня сегодня вопросомъ: „Люблю-ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нѣтъ?“

— Какой дикій и невѣроятный вопросъ! всеричалъ я, опять ошеломленный. У меня даже замутилось въ глазахъ. Никогда еще я не заговаривалъ съ нимъ объ этой темѣ, и—вотъ онъ самъ...

— Чѣмъ же она формулировала?

— Ничѣмъ, мой другъ, совершенно ничѣмъ; табакерка заперлась тотчасъ же и еще пуще, и, главное, замѣть, ни я не допускалъ никогда даже возможности подобныхъ со мной разговоровъ, ни она... Впрочемъ, ты самъ говоришь, что ее знаешь, а потому можешь представить, какъ къ ней идетъ подобный вопросъ... Ужь не знаешь-ли ты чего?

— Я также озадаченъ, какъ и вы. Любопытство какое нибудь, можетъ быть, шутка?

— О, напротивъ, самый серьезный вопросъ, и не вопросъ а почти, такъ сказать, запросъ, и очевидно для самыхъ чрезвычайныхъ и категорическихъ причинъ. Не будешь-ли у ней? Не узнаешь-ли чего? Я-бы тебя даже просилъ, видишь-ли...

— Но возможность, главное — возможность только предположить вашу любовь къ Катеринѣ Николаевнѣ! Простите, я все еще не выхожу изъ остоленія. Я никогда, никогда не позволялъ себѣ говорить съ вами на эту или на подобную тему...

— И благоразумно дѣлалъ, мой милый.

— Ваши бывшія интриги и ваши сношенія, — ужь, конечно, эта тема между нами неприлична, и даже было бы глупо съ моей стороны; но я, именно за послѣднее время, за послѣдніе дни, нѣсколько разъ восклицалъ про себя: что, еслибъ вы любили хоть когда нибудь эту женщину, хоть минутею? — о, никогда-бы вы не сдѣлали такой страшной ошибки на ея счетъ, въ вашемъ мнѣніи о ней, какъ та, которая потомъ вышла! О томъ, что вышло — про то я знаю: о вашей обоюдной враждѣ и о вашемъ отвращеніи, такъ сказать, обоюдномъ другъ отъ друга, я знаю, слышалъ, слишкомъ слышалъ, еще въ Москвѣ слышалъ; но вѣдь именно тутъ прежде всего выпрыгиваетъ наружу фактъ ожесточеннаго отвращенія, ожесточенность неприязни, именно *нелюбви*, а Анна Андреевна вдругъ задаетъ вамъ: „любите-ли?“ Неужели она такъ плохо рансенъирована? Дикое что-то! Она смѣялась, увѣряю васъ, смѣялась!

— Но я замѣчаю, мой милый, послышалось вдругъ что-то нервное и задушевное въ его голосѣ, до сердца проникающее, что ужасно рѣдко бывало съ нимъ: — я замѣчаю, что ты и самъ слишкомъ горячо говоришь объ этомъ. Ты сказалъ сейчасъ, что ѣздишь къ женщинамъ... мнѣ, конечно, тебя спрашивать какъ-то... на эту тему, какъ ты выразился... Но и „эта женщина“ не состоитъ ли тоже въ списокѣ недавнихъ друзей твоихъ?

— Эта женщина... задрожалъ вдругъ мой голосъ: — слушайте, Андрей Петровичъ, слушайте: эта женщина есть то, что вы давеча у этого князя говорили про „живую жизнь“ — помните? Вы говорили, что эта живая жизнь есть нѣчто до того прямое и простое, до того прямо на васъ смотрящее, что именно изъ-за этой-то прямоты и ясности и невозможно повѣрить, чтобъ это было именно то самое, чего мы всю жизнь съ такимъ трудомъ ищемъ... Ну, вотъ съ такимъ взглядомъ вы встрѣтили и женщину — идеаль и въ совершенствѣ, въ идеалѣ призывали — „всѣ пороки!“ Вотъ вамъ!

Читатель можетъ судить, въ какомъ я былъ изступленіи.

— „Всѣ пороки!“ Ого! Эту фразу я знаю! воскликнулъ Версильевъ: и, если ужь до того дошло, что тебѣ сообщена такая фраза, то ужь не поздравить ли тебя съ чѣмъ? Это означаетъ такую интимность

между вами, что, можетъ быть, придется даже похвалить тебя за скромность и тайну, къ которой способенъ рѣдкій молодой человѣкъ...

Въ его голосѣ сверкала милый, дружественный, ласкающій смѣхъ... что-то вызывающее и милое было въ его словахъ, въ его свѣтломъ лицѣ, насколько я могъ замѣтить ночью. Онъ былъ въ удивительномъ возбужденіи. И весь засверкалъ поневолѣ.

— Скромность, тайна! О нѣтъ, нѣтъ! восклицалъ я, краснѣя и въ то же время сжимая его руку, которую какъ-то успѣлъ схватить и, не замѣчая того, не выпускалъ ее.—Нѣтъ, ни за что!... Однимъ словомъ, меня поздравлять не съ чѣмъ, и тутъ никогда, никогда не можетъ ничего случиться, задыхался я и летѣлъ, и мнѣ такъ хотѣлось летѣть, мнѣ такъ было это пріятно:—знаете... ну ужъ пусть будетъ такъ однажды, одинъ маленькій разочекъ! Видите, голубчикъ, славный мой папа,— вы позволите мнѣ васъ назвать папой, — не только отцу съ сыномъ, но и всякому нельзя говорить съ третьимъ лицомъ о своихъ отношеніяхъ къ женщинѣ, даже самыхъ чистѣйшихъ! Даже чѣмъ чище, тѣмъ тутъ больше должно положить запрету! Это претитъ, это грубо, однимъ словомъ—конфидентъ невозможенъ! Но вѣдь если нѣтъ ничего, ничего совершенно, то вѣдь тогда можно говорить, можно?

— Какъ сердце велитъ.

— Нескромный, очень нескромный вопросъ: вѣдь вы, въ вашу жизнь, знавали женщинъ, имѣли связи?.. Я вообще, вообще, я не въ частности! краснѣлъ я и захлебывался отъ восторга.

— Положимъ, бывали грѣхи.

— Такъ вотъ что—случай, а вы мнѣ его разъясните какъ болѣе опытный человѣкъ: вдругъ женщина говоритъ, прощаясь съ вами, этакъ нечаянно, сама смотритъ въ сторону: „я завтра въ три часа буду тамъ-то“... ну, положимъ у Татьяны Павловны,—сорвался я и полетѣлъ окончательно. Сердце у меня стукнуло и остановилось; я даже говорить пріостановился, не могъ. Онъ ужасно слушалъ.

— И вотъ, завтра я въ три часа у Татьяны Павловны, вхожу и разсуждаю такъ: „отворить кухарка,—вы знаете ея кухарку?—я и спрошу первымъ словомъ: дома Татьяна Павловна? И, если кухарка скажетъ, что нѣтъ дома Татьяны Павловны, а что ее какая-то гостыя ждетъ,—что я тогда долженъ заключить, скажите, если вы... Однимъ словомъ, если вы...“

— Просто за просто, что тебѣ назначено было свиданіе. Но, стало быть, это было? И было сегодня? Да?

— О нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, ничего, ничего! Это было, но было не то; свиданіе, но не для того, и я это прежде всего заявляю, чтобъ не быть подлецомъ, было, но...

— Другъ мой, все это начинается становиться до того любопытнымъ, что я предлагаю...

— Самъ давалъ по десяти и по двадцати пяти просителямъ. На крючокъ! Только нѣсколько копѣекъ, умоляетъ поручикъ, просить бывший поручикъ! загородила намъ вдругъ дорогу высокая фигура просителя, можетъ быть, дѣйствительно отставнаго поручика. Любопытнѣе всего, что онъ весьма даже хорошо былъ одѣтъ для своей профессіи, а между тѣмъ протягивалъ руку.

III.

Этотъ мизернѣйшій анекдотъ о ничтожномъ поручикѣ я нарочно не хочу пропустить, такъ какъ весь Версильовъ вспоминается мнѣ теперь не иначе, какъ со всѣми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. Роковой, а я и не зналъ того!

— Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицію, вдругъ, какъ-то неестественно возвысилъ голосъ Версильовъ, оставиваясь предъ поручикомъ. Я бы никогда не могъ вообразить такого гнѣва отъ такого философа и изъ за такой ничтожной причины. И замѣтите, что мы прервали разговоръ на самомъ интереснѣйшемъ для него мѣстѣ, о чемъ онъ и самъ заявилъ.

— Такъ неужто у васъ и пятелышней нѣтъ? грубо прокричалъ поручикъ, махнувъ рукой:— да у какой же теперь канальи есть пятелышней! Ракальи! Подлецы! Самъ въ бобрахъ, а изъ-за пятелышнаго государственнаго вопроса дѣлаетъ!

— Городовой! крикнулъ Версильовъ.

Но кричать и не надо было: городовой какъ разъ стоялъ на углу и самъ слышалъ брань поручика.

— Я васъ прошу быть свидѣтелемъ оскорбленія, а васъ прошу пожаловать въ участокъ, проговорилъ Версильовъ.

— Э-е, мнѣ все равно, рѣшительно ничего не докажете! Преимущественно ума не докажете!

— Не упускайте, городовой, и проводите насъ, настоятельно заключилъ Версильовъ.

— Да неужто мы въ участокъ? Чортъ съ нимъ! прошепталъ я ему.

— Непремѣнно, мой милый. Эта безшабашность на нашихъ ули-

пахъ начинаетъ надѣдаться до безобразія, и еслибъ каждый исполнялъ свой долгъ, то вышло бы всѣмъ полезнѣе. *C'est comique, mais c'est ce que nous fegons.*

Шаговъ сотню поручикъ очепь горячился, бодрился и храбрился; онъ увѣрялъ, что „такъ нельзя“, что тутъ „изъ пятелтышки“ и проч. и проч. Но наконецъ, началъ что-то шептать городовому. Городовой, человѣкъ разсудительный и видимо врагъ уличныхъ нервностей, кажется, былъ на его сторонѣ, но лишь въ извѣстномъ смыслѣ. Онъ бормоталъ ему рюлюгоса на его вопросы, что „теперь ужь нельзя“, что „дѣло вышло“, и что „еслибъ напримѣръ вы извинились, а господинъ согласился принять извиненіе, то тогда развѣ“...

— Ну, па-а-слушайте, милостивый государь, ну, куда мы идемъ? Я васъ спрашиваю: куда мы стремимся и въ чемъ тутъ остроуміе? громко прокричалъ поручикъ:—если человѣкъ несчастный въ своихъ неудачахъ соглашается принести извиненіе... если, наконецъ, вамъ надо его униженіе... Чортъ возьми, да не въ гостиной же мы, а на улицѣ! Для улицы и этого извиненія достаточно...

Версиковъ остановился и вдругъ расхохотался; я даже было подумалъ, что всю эту исторію онъ велъ для забавы, но это было не такъ.

— Совершенно васъ извиняю, господинъ офицеръ, и увѣряю васъ, что вы со способностями. Дѣйствуйте такъ и въ гостиной, — скоро и для гостиной этого будетъ совершенно достаточно, а пока вотъ вамъ два двугривенныхъ, выпейте и закусите; извините, городовой, за безпокойство, поблагодарилъ бы и васъ за трудъ, но вы теперь на такой благородной ногѣ... Милый мой, обратился онъ ко мнѣ: — тутъ есть одна харчевня, въ сущности страшный клоаекъ, но тамъ можно чаю напиться, и я-бъ тебѣ предложилъ... вотъ тутъ сейчасъ, поидемъ же.

Повторяю, я еще не видалъ его въ такомъ возбужденіи, хоть лицо его было весело и сіяло свѣтомъ; но я замѣтилъ, что когда онъ вынималъ изъ портмоне два двугривенныхъ, чтобъ отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсѣмъ не слушались, такъ что онъ, наконецъ, попросилъ меня вынуть и дать поручику; я забыть этого не могу.

Привелъ онъ меня въ маленькій трактиръ на канавѣ, внизу. Публики было мало. Игралъ разстроенный сильный органчикъ, пахло засаленными салфетками; мы усѣлись въ углу.

— Ты, можетъ быть, не знаешь? Я люблю иногда отъ скуки... отъ ужасной душевной скуки... заходить въ разные вотъ эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся арія изъ Лючіи, эти половые въ рус-

скихъ до неприличія костюмахъ, этотъ табачище, эти крики изъ бильярдной—все это до того пошло и прозаично, что граничить почти съ фантастическимъ. Ну, такъ чтожь, мой милый? Этотъ сынъ Марса остановилъ насъ на самомъ, кажется, интересномъ мѣстѣ... А вотъ и чай; я люблю здѣсь чай... Представь, Петръ Ипполитовичъ вдругъ сейчасъ сталъ тамъ увѣрять этого другаго рябаго постояльца, что въ англійскомъ парламентѣ, въ прошломъ столѣтїи, нарочно назначена была коммисія изъ юристовъ, чтобъ разсмотрѣть весь процессъ Христа передъ первосвященникомъ и Пилатомъ единственно, чтобъ узнать, какъ теперь это будетъ по нашимъ законамъ, и что все было произведено со всею торжественностью съ адвокатами-прокурорами и съ прочимъ... ну, и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговоръ... Удивительно, чтò такое! Тотъ дуракъ-жилецъ сталъ спорить, обозлился и рассорился и объявилъ, что завтра съѣзжаетъ... Хозяйка расплакалась, потому что теряетъ доходъ... *Mais passons*. Въ этихъ трактирахъ бывають иногда соловьи. Знаешь старый московскій анекдотъ à la Петръ Ипполитовичъ? Поетъ въ московскомъ трактирѣ соловей, входитъ купецъ „ндраву моему не препятствуй“: чтò стоитъ соловей? — Сто рублей. — Зажарить и подать! Зажарили и подали. „Отрѣжь на гривенникъ“. Я Петру Ипполитовичу рассказывалъ разъ, но онъ не повѣрилъ и даже съ негодованїемъ...

Онъ много еще говорилъ. Привожу эти отрывки для обращива. Онъ безпрерывно меня перебивалъ, чуть лишь я раскрывалъ ротъ, чтобъ начать мой рассказъ, и начиналъ говорить совершенно какой нибудь особенный и не идущій вздоръ; говорилъ возбужденно, весело; смѣялся Богъ знаетъ чему и даже хихикалъ, чего я отъ него никогда не видывалъ. Онъ залпомъ выпилъ стаканъ чаю и налилъ новый. Теперь мнѣ понятно: онъ походилъ тогда на человѣка, получившаго дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо и которое тотъ положилъ передъ собой и нарочно не распечатываетъ, напротивъ, долго вертитъ въ рукахъ, осматриваетъ конвертъ, печать, идетъ распорядиться въ другую комнату, отдаляетъ, однимъ словомъ, интереснѣйшую минуту, зная, что она ни за что не уйдетъ отъ него, и все это для большей полноты наслажденія.

Я, разумѣется, все рассказалъ ему, все съ самаго начала, и рассказывалъ, можетъ быть, около часу. Да и какъ могло быть иначе; я жаждалъ говорить еще давеча. Я началъ съ самой первой нашей встрѣчи, тогда у князя, по ея прїѣздѣ изъ Москвы; потомъ рассказывалъ, какъ все это шло постепенно. Я не пропустилъ ничего, да и не

могъ пропустить: онъ самъ наводилъ, онъ угадывалъ, онъ подсказывалъ. Мгновеніями мнѣ казалось, что происходитъ что-то фантастическое, что онъ гдѣ нибудь тамъ сидѣлъ или стоялъ за дверьми, каждый разъ, во всѣ эти два мѣсяца: онъ зналъ впередъ каждый мой жестъ, каждое мое чувство. Я ощущалъ необъятное наслажденіе въ этой исповѣди ему, потому что видѣлъ въ немъ такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать съ четверть слова. Онъ выслушивалъ нѣжно, какъ женщина. Главное, онъ сумѣлъ сдѣлать такъ, что я ничего не стыдился; иногда онъ вдругъ останавливалъ меня на какой нибудь подробности; часто останавливалъ и нервно повторялъ: „не забывай мелочей, главное—не забывай мелочей: чѣмъ мельче черта, тѣмъ иногда она важнѣе“. И въ этомъ родѣ онъ нѣсколько разъ перебивалъ меня. О, разумѣется, я началъ сначала свысока, къ ней свысока, но быстро свелъ на истину. Я искренно рассказалъ ему, что готовъ былъ бросаться цаловать то мѣсто на полу, гдѣ стояла ея нога. Всего краше, всего свѣтлѣе было то, что онъ въ высшей степени понялъ, что „можно страдать страхомъ по документу“ и въ то же время оставаться чистымъ и безупречнымъ существомъ, какимъ она сегодня передо мной открылась. Онъ въ высшей степени понялъ слово „студентъ“. Но когда я уже оканчивалъ, то замѣтилъ, что сквозь добрую улыбку его начало по временамъ проскакивать что-то ужъ слишкомъ нетерпѣливое въ его взглядѣ, что-то какъ бы разсѣянное и рѣзкое. Когда я дошелъ до „документа“, то подумалъ про себя: „сказать ему настоящую правду или не сказать?“—и не сказалъ, не смотря на весь мой восторгъ. Это я отиѣчаю здѣсь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснилъ дѣло также, какъ и ей, то есть Крафтомъ. Глаза его загорѣлись, странная складка мелькнула на лбу, очень мрачная складка.

— Ты твердо помнишь, мой милый, объ этомъ письмѣ, что Крафтъ его сжегъ на свѣчѣ? Ты не ошибаешься?

— Не ошибаюсь, подтвердилъ я.

— Дѣло въ томъ, что эта грамотка слишкомъ важна для нея и, будь только она у тебя сегодня въ рукахъ, то ты бы сегодня же могъ... Но что „могъ“ онъ не договорилъ.—А что, у тебя нѣтъ ея теперь въ рукахъ?

Я весь задрогнулъ внутри, но не снаружи. Снаружи я ничѣмъ не выдалъ себя, не смигнулъ; но я все еще не хотѣлъ вѣрить вопросу:

— Какъ, нѣтъ въ рукахъ? *Теперь* въ рукахъ? Да вѣдь если Крафтъ ее тогда сжегъ?

— Да? устремилъ онъ на меня огневой, неподвижный взглядъ, памятный мнѣ взглядъ. Впрочемъ, онъ улыбался, но все добродушіе его, вся женственность выраженія, бывшая доселѣ, вдругъ исчезли. Настало что-то неопредѣленное и разстроенное; онъ все болѣе и болѣе становился разсвѣянь. Владѣи онъ тогда собой болѣе, именно такъ, какъ до той минуты владѣлъ, онъ не сдѣлалъ бы мнѣ этого вопроса о документѣ; если же сдѣлалъ, то навѣрно потому, что самъ былъ въ изступленіи. Впрочемъ, я говорю лишь теперь; но тогда я не такъ скоро выкинулъ въ переѣзду, происшедшую съ нимъ; я все еще продолжалъ летѣть, а въ душѣ была все та же музыка. Но рассказъ былъ конченъ; я смотрѣлъ на него.

— Удивительное дѣло, проговорилъ онъ вдругъ, когда я уже высказалъ все до послѣдней запятой:—престранное дѣло, мой другъ: ты говоришь, что былъ тамъ отъ трехъ до четырехъ и что Татьяны Павловны не было дома?

— Ровно отъ трехъ до половины пятого.

— Ну, представь же себѣ, я заходилъ къ Татьянѣ Павловнѣ ровношенько въ половину четвертаго, минута въ минуту, и она встрѣтила меня въ кухнѣ: я вѣдь почти всегда къ ней хожу черезъ черный ходъ.

— Какъ, она васъ встрѣтила въ кухнѣ? вскричалъ я, отшатнувшись отъ изумленія.

— Да, и объявила мнѣ, что не можетъ принять меня; я у ней пробылъ минуты двѣ, а заходилъ лишь позвать ее обѣдать.

— Можетъ быть, она только что откуда нибудь воротилась?

— Не знаю, Впрочемъ — конечно нѣтъ. Она была въ своей распашной кофтѣ. Это было ровношенько въ половинѣ четвертаго.

— Но... Татьяна Павловна не сказала вамъ, что я тутъ.

— Нѣтъ, она мнѣ не сказала, что ты тутъ... Иначе я-бы зналъ и тебя объ этомъ не спрашивалъ.

— Послушайте, это очень важно...

— Да... съ какой точки судя; и ты даже поблѣднѣлъ, мой милый; а Впрочемъ, что же такъ ужь важно-то?

— Меня осмѣяли какъ ребенка!

— Просто „побоялась твоей пылкости“, какъ сама она тебѣ выразилась—ну, и заручилась Татьяной Павловной.

— Но Воже, какая это была продѣлка! Послушайте, она дала мнѣ все это высказать при третьемъ лицѣ, при Татьянѣ Павловнѣ; та, стало быть, все слышала, что я давеча говорилъ! Это... это ужасно даже вообразить!

— C'est selon, mon cher. И притомъ же ты самъ давеча упомянулъ о „широкости“ взгляда на женщину вообще и воскликнулъ: „Да здравствуетъ широкость!“

— Еслибъ я былъ Отелло, а вы—Яго, то вы не могли бы лучше... Впрочемъ, я хохочу! Не можетъ быть никакого Отелло, потому что нѣтъ никакихъ подобныхъ отношеній. Да и какъ не хохотать! Пусть! Я все таки вѣрю въ то, что безконечно меня выше, и не теряю моего идеала!.. Если это—шутка съ ея стороны, то я прощаю. Шутка съ жалкимъ подросткомъ—пусть! Да вѣдь и не радилъ же я себя ни во что, а студентъ—студентъ все таки былъ и остался, не смотря ни на что, въ душѣ ея былъ, въ сердцѣ ея былъ, существуетъ и будетъ существовать! Довольно! Послушайте, какъ вы думаете: поѣхать мнѣ къ ней сейчасъ, чтобы всю правду узнать, или нѣтъ?

Я говорилъ „хохочу“, а у меня были слезы на глазахъ.

— Чтожъ? Съѣзди, мой другъ, если хочешь.

— Я какъ будто измарался душой, что вамъ все это пересказалъ. Не сердитесь, голубчикъ, но объ женщинѣ, я повторяю это—объ женщинѣ нельзя сообщать третьему лицу; конфидентъ не пойметъ. Ангелъ и тотъ не пойметъ. Если женщину уважаешь—не бери конфидента, если себя уважаешь—не бери конфидента! Я теперь не уважаю себя. До свиданья; не прощу себѣ...

— Полно, мой милый, ты преувеличиваешь. Самъ же ты говоришь, что „ничего не было“.

Мы вышли на канаву и стали прощаться.

— Да неужто ты никогда меня не поцалуешь задушевно, по дѣтски, какъ сынъ отца? проговорилъ онъ мнѣ съ странною дрожью въ голосъ. Я горячо поцаловалъ его.

— Милый... будь всегда также чистъ душой, какъ теперь.

Никогда въ жизни я еще не цаловалъ его, никогда бы я не могъ вообразить, что онъ самъ захочетъ..

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

„Разумѣется, ѣхать!“ рѣшилъ было я, поспѣвая домой:— „сейчасъ же ѣхать. Весьма вѣроятно, что застаю ее дома одну: одну или съ кѣмъ нибудь—все равно: можно вызвать. Она меня приметъ; удивится, но приметъ. А не приметъ, то я настою, чтобы приняла, пошлю сказать, что крайне нужно. Она подумаетъ, что нибудь о документѣ, и

приметь. И узнаю все объ Татьянѣ. А тамъ... а тамъ чтожь? Если я не правъ, я ей заслужу, а если я правъ, а она виновата, то вѣдь тогда ужь конецъ всему! Во всякомъ случаѣ—конецъ всему! Чтожь я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ъхать! Ъхать!“

И вотъ, никогда не забуду и съ гордостью вспомяну, что я не поѣхалъ! Это никому не будетъ извѣстно, такъ и умереть, но довольно и того, что это мнѣ извѣстно и что я въ такую минуту былъ способенъ на благороднѣйшее мгновеніе! „Это искушеніе, а я пройду мимо его, рѣшилъ я, наконецъ, одумавшись:—меня пугали фактомъ, а я не повѣрилъ и не потерялъ вѣру въ ея чистоту! И зачѣмъ ѣхать, о чемъ справляться? Почему она такъ непремѣнно должна была вѣрить въ меня, какъ я въ нее, въ мою „чистоту“, не побояться „пылкости“ и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужилъ этого въ ея глазахъ. Пусть, пусть она не знаетъ, что заслуживаю, что я не соблазняюсь „искушеніями“, что я не вѣрю злымъ на нее навѣтанъ: зато я самъ это знаю и буду себя уважать за это. Уважать свое чувство. О да, она допустила меня высказаться при Татьянѣ, она допустила Татьяну, она знала, что тутъ сидитъ и подслушиваетъ Татьяна (потому что та не могла не подслушивать), она знала, что та надо мной смѣется,—это ужасно, ужасно! Но... но вѣдь—если невозможно было этого избѣжать? Чтожь она могла сдѣлать въ давешнемъ положеніи и какъ же ее за это винить? Вѣдь нагаль же я ей давеча самъ про Крафта, вѣдь обманулъ же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избѣжать, и я невольно, невинно нагаль. Боже мой! воскликнулъ я вдругъ мучительно краснѣя:—а самъ-то, самъ-то чтѣ я сейчасъ сдѣлалъ; развѣ я не потащилъ ее передъ ту же Татьяну, развѣ я не рассказалъ же сейчасъ все Версилову? Впрочемъ, чтожь я? Тутъ—разница. Тутъ было только о документѣ; я, въ сущности, сообщилъ Версилову лишь о документѣ, потому что и не было больше о чемъ сообщать, и не могло быть. Не я ли первый предувѣдомилъ его и кричалъ, что „не могло быть?“ Это—человѣкъ понимающій. Гм... Но какая же, однако, ненависть въ его сердцѣ къ этой женщинѣ даже доселѣ! И какая-же должно быть драма произошла тогда между ними и изъ-за чего? Конечно, изъ самолюбія! *Версильовъ ни къ какому чувству, кромѣ безграничнаго самолюбія, и не можетъ быть способенъ!*

Да, эта послѣдняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не замѣтилъ ея. Вотъ какія мысли, послѣдовательно одна за другой, пронеслись тогда въ моей головѣ и я былъ чистосердеченъ тогда съ собой: я не лукавилъ, не обманывалъ самъ себя; и, если чего не осмыс-

лилъ тогда въ ту минуту, то потому лишь, что ума не достало, а не изъ іезуитства предъ самимъ собой.

Я воротился домой въ ужасно веселомъ состояніи духа, хотя въ очень смутномъ. Но я боялся анализировать и всѣми силами старался развлечься. Тотчасъ же я пошелъ къ хозяйкѣ: дѣйствительно, между мужемъ и ею шель страшный разрывъ. Это была очень чахоточная чиновница, можетъ быть и добрая, но, какъ всѣ чахоточныя, чрезвычайно капризная. Я тотчасъ ихъ началъ мирить, сходилъ къ жильцу, очень грубому, рабочему дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему въ одномъ банкѣ, Червякову, котораго я очень самъ не любилъ, но съ которымъ жилъ, однако же, ладно, потому что имѣлъ нивость часто подтрунивать виждѣ съ нимъ надъ Петромъ Ипполитовичемъ. Я тотчасъ уговорилъ его не переѣзжать, да онъ и самъ не рѣшился-бы, въ самомъ-то дѣлѣ, переѣхать. Кончилось тѣмъ, что хозяйку я успокоилъ окончательно и, сверхъ того, съумѣлъ отлично поправить ей подъ головой подушку: „Никогда-то вотъ не съумѣлъ такъ Петръ Ипполитовичъ,“ злорадно заключила она. Затѣмъ возился въ кухнѣ съ ея горчишниками и собственноручно изготовилъ ей два превосходныхъ горчишника. Вѣдннй Петръ Ипполитовичъ только смотрѣлъ на меня и завидовалъ, но я ему не далъ и прикоснуться и былъ награжденъ буквально слезами ея благодарности. И вотъ, помню, мнѣ вдругъ это все надоѣло, и я вдругъ догадался, что я вовсе не по добротѣ души ухаживалъ за больной, а такъ, почему-то, почему-то совсѣмъ другому.

Я нервно ждалъ Матвѣя: въ этотъ вечеръ я рѣшилъ въ послѣдній разъ испытать счастье и... и, кромѣ счастья, ощущалъ ужасную потребность играть; иначе бы было невыносимо. Еслибы никуда не ѣхать, я-бы, можетъ быть, не утерпѣлъ и поѣхалъ къ ней. Матвѣй долженъ былъ скоро явиться, но вдругъ отворилась дверь и вошла неожиданная гостья, Дарья Онисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру потому, что разъ когда-то, по порученію мамы, заходила ко мнѣ. Я ее посадилъ и сталъ глядѣть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрѣла мнѣ только прямо въ глаза и принижено улыбалась.

— Вы не отъ Лизы ли? вздумалось мнѣ спросить.

— Нѣтъ, я такъ-сь.

Я предупредилъ ее, что сейчасъ уѣду; она опять отвѣтила, что „она такъ“ и сейчасъ сама уйдетъ. Мнѣ стало почему-то вдругъ ее жалко. Заиъчу, что отъ всѣхъ насъ, отъ мамы и особенно отъ Татьяны Павловны, она видѣла много участья, но, пристроивъ ее у Столбѣевой,

всѣ наши какъ-то стали ее забывать, кромѣ развѣ Лизы, часто навѣщавшей ее. Причиной тому, кажется, была она сама, потому что обладала способностью отдаляться и ступшевываться, не смотря на всю свою приниженность и заискивающія улыбки. Мнѣ же лично очень не нравились эти улыбки ея и то, что она всегда видимо поддѣлывала лицо, и я даже подумалъ о ней однажды, что недолго же она погрузится о своей Олѣ. Но въ этотъ разъ мнѣ почему-то стало жалко ее.

И вотъ, вдругъ она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдругъ, бросивъ обѣ руки впередъ, обхватила меня за талью, а лицомъ наклонилась къ моимъ колѣнямъ. Она схватила мою руку, я думалъ было что целовать, но она приложила ее къ глазамъ, и горячія слезы струей полились на нее. Она вся тряслась отъ рыданій, но плакала тихо. У меня защемило сердце, не смотря на то, что мнѣ стало какъ бы и досадно. Но она совершенно довѣрчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я разсержусь, не смотря на то, что сейчасъ же предъ симъ такъ боязливо и раболѣпно мнѣ улыбалась. Я ее началъ просить успокоиться.

— Батюшка, голубчикъ, не знаю что дѣлать съ собой. Какъ сумерки, такъ я и не выношу; какъ сумерки, такъ и перестаю выносить, такъ меня и потянетъ на улицу, въ иракъ. И тянетъ, главное, мечтаніе. Мечта такая зародилась въ умѣ, что — вотъ-вотъ я какъ выйду, такъ вдругъ и встрѣчу ее на улицѣ. Хожу и какъ будто вижу ее. То есть, это другіе ходятъ, а я сзади нарочно иду, да и думаю: не она ли, вотъ-вотъ, думаю, это Оля моя и есть? И думаю, и думаю. Одурѣла подъ конецъ, только о народѣ толкаюсь, тошно. Точно пьяная толкаюсь, иные бранятся. Я ужъ таю про себя и ни къ кому не хожу. Да и куда придешь — еще тошнѣй. Проходила сейчасъ мимо васъ, подумала: „Дай зайду къ нему; онъ всѣхъ добрѣе, и тогда былъ при томъ“. Батюшка, простите вы меня бесполезную; я уйду сейчасъ и пойду...

Она вдругъ поднялась и заторопилась. Тутъ какъ разъ прибылъ Матвѣй; я посадилъ ее съ собой въ сани и по дорогѣ завезъ ее къ ней домой, на квартиру Столбѣевой.

II.

Въ самое послѣднее время я сталъ ѣздить на рулетку Зерщикова. До того же времени ѣздилъ дома въ три, все съ княземъ, который „вводилъ“ меня въ эти мѣста. Въ одномъ изъ этихъ домовъ преиму-

щественно шелъ банкъ и играли на очень значительныя деньги. Но тамъ я не полюбилъ: я видѣлъ, что тамъ хорошо при большихъ деньгахъ и, кромѣ того, туда слишкомъ много прѣзжало нахальныхъ людей и „гремящей“ молодежи изъ высшаго свѣта. Это-то князь и любилъ; любилъ онъ и играть, но любилъ и явшаться съ этими сорванцами. Я замѣтилъ, что на этихъ вечерахъ онъ, хотъ и входилъ иногда со мной вмѣстѣ рядомъ, но отъ меня какъ-то, въ теченіе вечера, отдалялся и ни съ кѣмъ „изъ своихъ“ меня не знакомилъ. Я же смотрѣлъ совершеннымъ дикаремъ и даже иногда до того, что, случалось, обращалъ на себя тѣмъ вниманіе. За игорнымъ столомъ приходилось даже иногда говорить кой съ кѣмъ; но разъ я попробовалъ на другой день, тутъ же въ комнатахъ, раскланяться съ однимъ господчиномъ, съ которымъ не только говорилъ, но даже и смѣялся наканунѣ сидя рядомъ, и даже двѣ карты ему угадалъ, и чтожь—онъ совершенно не узналъ меня. То есть хуже: посмотрѣлъ какъ бы съ выдѣланнымъ недоумѣніемъ и прошелъ мимо улыбувшись. Такимъ образомъ, я скоро тамъ бросилъ и пристрастился ѣздить въ одинъ клоакъ—иначе не умѣю назвать. Это была рулетка, довольно ничтожная, мелкая, содержащая одной содержанкой, хотя та въ залу сама и не являлась. Тамъ было ужасно на распашку, и хотя бывали и офицеры, и богачи купцы, но все происходило съ грязнотой, чтд многихъ, впрочемъ, и привлекало. Кромѣ того, тамъ мнѣ часто везло. Но я и тутъ бросилъ послѣ одной омерзительной исторіи, случившейся разъ въ самомъ разгарѣ игры и окончившейся дракой какихъ-то двухъ игроковъ, и сталъ ѣздить къ Зерщикову, къ которому, опять таки, ввелъ меня князь. Это былъ отставной штабсъ-ротмистръ, и тонъ на его вечерахъ былъ весьма сносный, военный, щекотливо раздражительный къ соблюденію формъ чести, кратей и дѣловой. Шутниковъ, наиримѣръ, и большихъ кутилъ тамъ не появлялось. Кромѣ того, отвѣтныи банкъ былъ очень даже не шуточный. Играли же въ банкъ и въ рулетку. До сего вечера, пятнадцатаго ноября, я побывалъ тамъ всего раза два, и Зерщиковъ, кажется, уже зналъ меня въ лицо; но знакомыхъ я еще никого не имѣлъ. Какъ нарочно, и князь съ Дарзаномъ явились въ этотъ вечеръ уже около полуночи, воротаясь съ того банка свѣтскихъ сорванцовъ, который я бросилъ: такимъ образомъ, въ этотъ вечеръ я былъ какъ незнакомый въ чужой толпѣ.

Еслибъ у меня былъ читатель и прочелъ все то, чтд я уже написалъ о моихъ приключеніяхъ, то, нѣтъ сомнѣнія, ему нечего было бы объяснять, что я рѣшительно не созданъ для какого бы то ни было

общества. Главное, я никакъ не умѣю держать себя въ обществѣ. Когда я куда вхожу, гдѣ много народу, мнѣ всегда чувствуется, что всѣ взгляды меня электризуютъ. Меня рѣшительно начинаетъ коробить, коробить физически, даже въ такихъ мѣстахъ, какъ въ театрѣ, а ужъ не говорю въ частныхъ домахъ. На всѣхъ этихъ рулеткахъ и сборищахъ я рѣшительно не умѣлъ пріобрѣсти себѣ никакой осанки: то сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вѣжливость, то вдругъ встану и сдѣлаю какую нибудь грубость. А, между тѣмъ, какіе негодяи, сравнительно со мной, умѣли тамъ держать себя съ удивительной осанкой—и вотъ это-то и бѣсило меня пуще всего, такъ что я все больше и больше терялъ хладнокровіе. Скажу прямо, не только теперь, но и тогда уже мнѣ все это общество, да и самый выигрышъ, если ужъ все говорить—стало, наконецъ, отвратительно и мучительно. Рѣшительно—мучительно. Я, конечно, испытывалъ наслажденіе чрезвычайное, но наслажденіе это проходило чрезъ мученіе; все это, то есть эти люди, игра, и главное я самъ вмѣстѣ съ ними, казалось мнѣ страшно грязнымъ. „Только что выиграю и тотчасъ на все плюну?“ каждый разъ говорилъ я себѣ, засыпая на разсвѣтѣ у себя на квартирѣ послѣ ночной игры. И опять таки этотъ выигрышъ: взять ужъ то, что я вовсе не любилъ деньги. То есть, я не стану повторять гнусной казенщины, обыкновенной въ этихъ объясненіяхъ, что я игралъ, дескать, для игры, для ощущеній, для наслажденій, риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. Мнѣ деньги были нужны ужасно, и, хоть это былъ и не мой путь, не моя идея, но такъ или этакъ, а я тогда все таки рѣшилъ попробовать, въ видѣ опыта, и этимъ путемъ. Тутъ все сбивала меня одна сильная мысль: „Вѣдь ужъ ты вывелъ, что милліонщикомъ можешь стать непременно, лишь имѣя соотвѣтственно сильный характеръ; вѣдь ужъ ты пробы дѣлалъ характеру; такъ покажи себя и здѣсь: неужели у рулетки нужно больше характеру, чѣмъ для твоей идеи?“—вотъ что я повторялъ себѣ. А такъ какъ я и до сихъ поръ держусь убѣжденія, что въ азартной игрѣ, при полномъ спокойствіи характера, при которомъ сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолѣть грубость слѣпаго случая и не выиграть—то естественно, я долженъ былъ тогда все болѣе и болѣе раздражаться, видя что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь какъ совершенный мальчишка. „Я, могшій выдержать голодъ, я не могу выдержать себя на такой глупости!“—вотъ что дразнило меня. Къ тому же, сознаніе, что у меня, во мнѣ, какъ бы я ни казался смѣшонъ и униженъ, лежитъ то сокровище силы, которое заставитъ ихъ всѣхъ когда нибудь измѣ-

подростокъ.

нить обо мнѣ мнѣніе, это сознаніе—уже съ самыхъ почти дѣтскихъ униженныхъ лѣтъ моихъ—составляло тогда единственный источникъ жизни моей, мой свѣтъ и мое достоинство, мое оружіе и мое утѣшеніе, иначе, я бы, можетъ быть, убилъ себя еще ребенкомъ. А потому, могъ ли я не быть раздраженъ на себя, видя въ какое жалкое существо обращаюсь я за игорнымъ столомъ? Вотъ почему я ужь и не могъ отстать отъ игры: теперь я все это ясно вижу. Кромѣ этого, главнаго, страдало и мелочное самолюбіе: проигрышь унижалъ меня передъ княземъ, передъ Версиловымъ, хотя тотъ ничего не удостоивалъ говорить, передъ всѣми, даже передъ Татьяной—такъ мнѣ казалось, чувствовалось. Наконецъ, сдѣлаю и еще признаніе: я уже тогда развратился; мнѣ уже трудно было отказаться отъ обѣда въ семь блюдъ въ ресторани, отъ Матвѣя, отъ англійскаго магазина, отъ мнѣнія моего парфюмера, ну и отъ всего этого. Я сознавалъ это и тогда, но только отмахивался рукой; теперь же, записывая, краснѣю.

III.

Прибывъ одинъ и очутившись въ незнакомой толпѣ, я сначала пристроился въ уголокъ стола и началъ ставить мелкими кушаньями и такъ просидѣлъ часа два, не шевельнувшись. Въ эти два часа шла страшная бурда—ни то ни се. Я пропускалъ удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровіемъ и увѣренностью. Кончилось тѣмъ, что за всѣ два часа я не проигралъ и не выигралъ: изъ трехсотъ рублей проигралъ рублей десять-пятнадцать. Этотъ ничтожный результатъ обозлилъ меня, и къ тому же случилась пренепріятная гадость. Я знаю, что за этими рулетками случаются иногда воры, то есть не то что съ улицы, а просто изъ извѣстныхъ игроковъ. Я, напримѣръ, увѣренъ, что извѣстный игрокъ Афердовъ—воръ; онъ и теперь фигурируетъ по городу: я еще недавно встрѣтилъ его на парѣ собственныхъ пони, но онъ воръ и укралъ у меня. Но объ этомъ исторія еще впереди; въ этотъ же вечеръ случилась лишь прелюдія: я сидѣлъ всѣ эти два часа на углу стола, а подлѣ меня, слѣва, помѣщался все время одинъ гниленькій франтикъ, я думаю, изъ жидковъ; онъ, впрочемъ, гдѣ-то участвуетъ, что-то даже пишетъ и печатаетъ. Въ самую послѣднюю минуту я вдругъ выигралъ двадцать рублей. Двѣ красныя кредитки лежали передо мной, и вдругъ, я вижу, этотъ жиденокъ протягиваетъ руку и преспокойно тащитъ одну мою кредитку. Я было остановилъ его, но онъ съ самымъ наглымъ видомъ и, нисколько не возвышая голоса, вдругъ объявляетъ

мнѣ, что это—его выигрышь, что онъ сейчасъ самъ поставилъ и взялъ; онъ даже не захотѣлъ и продолжать разговора и отвернулся. Какъ нарочно, я былъ въ ту секунду въ преглуномъ состояніи духа: я замыслилъ большую идею и, плюнувъ, быстро всталъ и отошелъ, не захотѣвъ даже спорить и подаривъ ему красненькую. Да ужъ и трудно было бы вести эту исторію съ наглымъ воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла впередъ. И вотъ это-то и было моею огромной ошибкой, которая и отразилась въ послѣдствіяхъ: три-четыре игрока подлѣ насъ замѣтили наше пресинаніе, и увидя, что я такъ легко отступился, вѣроятно, приняли меня самого за такого. Было ровно двѣнадцать часовъ; я прошелъ въ слѣдующую комнату, подумалъ, сообразилъ о новомъ планѣ и, воротясь, размѣнялъ у банка мои кредитки на полумперіалы. У меня очутилось ихъ сорокъ слишкомъ штукъ. Я раздѣлил ихъ на десять частей и рѣшилъ поставить десять ставокъ сряду на Zego, каждую въ четыре полумперіала, одну за другой. „Выиграю—мое счастье, поставлю—тѣмъ лучше; никогда уже болѣе не буду играть“. Замѣчу, что во всѣ эти два часа Zego ни разу не выходило, такъ что подъ конецъ никто уже на Zego и не ставилъ.

Я ставилъ стоя, молча нахмурясь и стиснувъ зубы. На третьей же ставкѣ Зерщикова громко объявилъ Zego, не выходявшее весь день. Мнѣ отсчитали сто сорокъ полумперіаловъ золотомъ. У меня оставалось еще семь ставокъ, и я сталъ продолжать, а между тѣмъ, все кругомъ меня завертѣлось и заплесало.

— Переходите сюда! крикнулъ я черезъ весь столъ одному игроку, съ которымъ давеча сидѣлъ рядомъ, одному сѣдому усачу, съ багровымъ лицомъ и во фракѣ, который уже нѣсколько часовъ съ невыразимымъ терпѣніемъ ставилъ маленькими кушами и проигрывалъ ставку за ставкой: переходите сюда! Здѣсь счастье!

— Вы это мнѣ? съ какимъ-то угрожающимъ удивленіемъ откликнулся усачъ съ конца стола.

— Да, вамъ! Тамъ до тла проиграетесь!

— Не ваше это дѣло и прошу мнѣ не мѣшать!

Но я уже никакъ не могъ выдержать. Напротивъ меня, черезъ столъ, сидѣлъ одинъ пожилой офицеръ. Глядя на мой кушъ, онъ пробормоталъ своему сосѣду:

— Странно, Zego. Нѣтъ, я на Zego не рѣшусь.

— Рѣшайтесь, полковникъ! крикнулъ я, ставя новый кушъ.

— Прошу оставить и меня въ покоѣ-съ, безъ вашихъ совѣтовъ, рѣзко отрѣзалъ онъ мнѣ.—Вы очень здѣсь кричите.

— Я вамъ добрый же совѣтъ подаю; ну, хотите пари, что сейчасъ же выйдетъ опять Зего: десять золотыхъ—вотъ, я ставлю, угодно?

И я выставилъ десять полуимперіаловъ.

— Десять золотыхъ, пари? Это я могу, промолвилъ онъ сухо и строго.—Держу противъ васъ, что не выйдетъ Зего.

— Десять лудировъ, полковникъ.

— Какихъ же десять лудировъ?

— Десять полуимперіаловъ, полковникъ, а въ высокому слогъ — лудировъ.

— Такъ вы такъ и говорите, что полуимперіаловъ, и не извольте шутить со мной.

Я, разумѣется, не надѣялся выиграть пари: было тридцать шесть шансовъ противъ одного, что Зего не выйдетъ; но я предложилъ во первыхъ, потому, что форсиль, а во вторыхъ—потому, что хотѣлось чѣмъ-то всѣхъ привлечь къ себѣ. Я слишкомъ видѣлъ, что меня никто здѣсь почему-то не любитъ и что мнѣ съ особеннымъ удовольствіемъ даютъ это знать. Рулетка завертѣлась, — и каково же было всеобщее изумленіе, когда вышло опять Зего! Даже всеобщій крикъ раздался. Тутъ слава выигрыша совершенно меня отуманила. Мнѣ опять отсчитали сто сорокъ полуимперіаловъ. Зерщиковъ спросилъ меня, не хочу-ли я получить часть кредитками, но я что-то промывчалъ ему, потому что буквально уже не могъ спокойно и обстоятельно изъясняться. Голова у меня кружилась и ноги слабѣли. Я вдругъ почувствовалъ, что страшно сейчасъ пойду рисковать; кромѣ того, мнѣ хотѣлось еще чтонибудь предпринять, предложить еще какоенибудь пари, отсчитать комунибудь нѣсколько тысячъ. Машинально сгребалъ я ладонью мою кучку кредитокъ и золотыхъ и не могъ собраться ихъ сосчитать. Въ эту минуту я вдругъ замѣтилъ сзади меня князя и Дарзана: они только что вернулись съ своего банка и, какъ узналъ я послѣ, проигравшись тамъ въ пухъ.

— А, Дарзанъ, крикнулъ я ему:—вотъ гдѣ счастье! Ставьте на Зего!

— Проигрался, нѣтъ денегъ, отвѣтилъ онъ сухо; князь же рѣшительно какъ будто нѣ замѣтилъ и не узналъ меня.

— Вотъ деньги! крикнулъ я, показывая на свою золотую кучу:—сколько надо?

— Чортъ возьми! крикнулъ Дарзанъ, весь покраснѣвъ:—я, кажется, не просилъ у васъ денегъ.

— Васъ зовутъ, дернулъ меня за рукавъ Зерщиковъ.

Звалъ меня уже нѣсколько разъ и почти съ бранью полковникъ, проигравшій мнѣ пари десять имперіаловъ.

— Извольте принять! крикнулъ онъ весь багровый отъ гнѣва:— я не обязанъ стоять надъ вами: а то послѣ скажете, что не получили. Сосчитайте.

— Вѣрю, вѣрю, полковникъ, вѣрю безъ счету; только, пожалуйста, такъ на меня не кричите и не сердитесь, и я сгребъ кучку его золота рукой.

— Милостивый государь, я васъ прошу, суйтесь съ вашими восторгами къ кому другому, а не ко мнѣ, рѣзко закричалъ полковникъ.— Я съ вами вмѣстѣ свиней не пасъ!

— Странно пускать такихъ, — кто такой? — юноша какой-то, — раздавались въ полголоса восклицанія.

Но я не слушалъ, я ставилъ зря и уже не на Зего. Я поставилъ цѣлую пачку радужныхъ на восемнадцать первыхъ.

— Ёдемъ, Дарзанъ, слышался сзади голосъ князя.

— Домой? обернулся я къ нимъ.—Постойте меня: вмѣстѣ выйдемъ, я—шабашъ.

Моя ставка выиграла; это былъ крупный выигрышъ.—Баста! крикнулъ я, и дрожащими руками началъ загребать и сыпать золото въ карманы, не считая и какъ-то недѣло уминая пальцами кучки кредитокъ, которыя всѣ вмѣстѣ хотѣлъ засунуть въ боковой карманъ. Вдругъ пухлая рука съ перстнемъ Афердова, сидѣвшаго сейчасъ отъ меня направо и тоже ставившаго на большіе куши, легла на три радужныхъ мои кредитки и накрыла ихъ ладонью.

— Позвольте-съ, это — не ваше, строго и раздѣльно отчеканилъ онъ, довольно, впрочемъ, мягкимъ голосомъ.

Вотъ это-то и была та прелюдія, которой потомъ, черезъ нѣсколько дней, суждено было имѣть такіа послѣдствія. Теперь же, честью клянусь, что эти три сторублевныя были мои, но, въ моей злой судьбѣ, тогда, я хоть и былъ увѣренъ въ томъ, что онѣ мои, но все же у меня оставалась одна десятая доля и сомнѣнія, а для честнаго человѣка это — все; а я — честный человѣкъ. Главное, я тогда еще не зналъ навѣрно, что Афердовъ—воръ; я тогда еще и фамилію его не зналъ, такъ что въ ту минуту дѣйствительно могъ подумать, что я ошибся и что эти три сторублевныя не были въ числѣ тѣхъ, которыя мнѣ сейчасъ отсчитали. Я все время не считалъ мою кучу денегъ и только пригребалъ руками, а передъ Афердовымъ тоже все время лежали деньги, и какъ разъ сейчасъ подлѣ моихъ, но въ порядкѣ, и

сосчитанныя. Наконецъ Афердова здѣсь знали, его считали за богача, къ нему обращались съ уваженіемъ: все это и на меня повліяло, и я опять не протестовалъ. Ужасная ошибка! Главное свинство заключалось въ томъ, что я былъ въ восторгѣ.

— Чрезвычайно жаль, что я навѣрно не помню; но мнѣ ужасно кажется, что это—мой, проговорилъ я съ дрожащими отъ негодованія губами. Слова эти тотчасъ же вызвали ропотъ.

— Чтобъ говорить такія вещи, то надо *навѣрно* помнить, а вы сами изволили провозгласить, что помните *не навѣрно*, проговорилъ нестерпимо свисова Афердовъ.

— Да кто такой?—Да какъ позволить это?—раздалось было нѣсколько восклицаній.

— Это съ ними не въ первый разъ; давеча тамъ съ Рехбергомъ вышла тоже исторія изъ-за десятирублевой, раздался подлѣ чей-то подленькій голосъ.

— Ну, довольно же, довольно! восклицалъ я:—я не протестую, берите! Князь... гдѣ же князь и Дарзанъ? Ушли? Господа, вы не видали, куда ушли князь и Дарзанъ? И, подхвативъ, наконецъ, всё мои деньги, а нѣсколько полуимперіаловъ такъ и не успѣвъ засунуть въ карманъ и держа въ горсти, я пустился догонять князя и Дарзана. Читатель, кажется, видитъ, что я не щажу себя и припоминаю въ эту минуту всего себя тогдашняго, до послѣдней гадости; чтобъ было понятно, что потомъ могло выйти.

Князь и Дарзанъ уже спустились съ лѣстницы, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мой зовъ и крики. Я уже догналъ ихъ, но остановился на секунду передъ швейцаромъ и сунулъ ему въ руку три полуимперіала, чортъ знаетъ зачѣмъ; онъ поглядѣлъ на меня съ недоумѣніемъ и даже не поблагодарилъ. Но мнѣ было все равно, и, если бы тутъ былъ и Матвѣй, то я навѣрно бы отвалилъ ему цѣлую горсть золотыхъ; да такъ и хотѣлъ, кажется, сдѣлать, но, выбѣжавъ на крыльцо, вдругъ вспомнилъ, что я его еще давеча отпустилъ домой. Въ эту минуту князю подали его рысака, и онъ сѣлъ въ сани.

— Я съ вами, князь, и къ вамъ! крикнулъ я, схватилъ полость и отмахнулъ ее, чтобъ влѣзть въ его сани; но вдругъ, мимо меня, въ сани вскочилъ Дарзанъ, и кучеръ, вырвавъ у меня полость, запахнулъ господъ.

— Чортъ возьми! крикнулъ я въ изступленіи. Выходило, что будто-бы я для Дарзана и отстегивалъ полость, какъ лакей.

— Домой! крикнулъ князь.

— Стой! заревѣлъ я, хватаясь за сани, но лошадь дернула и я покатился въ снѣгъ. Мнѣ повезлось даже, что они засмѣялись. Вско-чивъ, я мигомъ схватилъ подвернувшася извозчика и полетѣлъ къ князю, понукая каждую секунду мою клячу.

IV.

Какъ нарочно, кляча тащила неестественно долго, хоть я и обѣщаль цѣлый рубль. Извозчикъ только стегалъ и, конечно, настегалъ ее на рубль. Сердце мое замирало: я начиналъ что-то заговаривать съ извозникомъ, но у меня даже не выговаривались слова, и я бормоталъ какой-то вздоръ. Вотъ въ какомъ положеніи я вбѣжалъ къ князю! Онъ только что воротился; онъ завезъ Дарзана и былъ одинъ. Блѣд-ный и злой шагаль онъ по кабинету. Повторяю еще разъ: онъ страшно проигрался. На меня онъ посмотрѣлъ съ какимъ-то разсѣяннымъ недоумѣніемъ.

— Вы опять! проговорилъ онъ, нахмурившись.

— А чтобъ съ вами покончить, сударь! проговорилъ я, задыхаясь. — Какъ вы смѣли со мной такъ поступить?

Онъ глядѣлъ вопросительно.

— Если вы ѣхали съ Дарзаномъ, то могли мнѣ такъ и отвѣтить, что ѣдете съ Дарзаномъ, а вы дернули лошадь, и я...

— Ахъ да, вы, кажется, упали въ снѣгъ, и онъ засмѣялся мнѣ въ глаза.

— На это отвѣчаютъ вызовомъ, а потому мы сначала кончимъ счеты...

И я дрожащею рукой пустился вынимать мои деньги и власть ихъ на диванъ, на мраморный столикъ и даже въ какую-то раскрытую книгу, вучками, пригоршнями, пачками; нѣсколько монетъ покатилося на коверъ.

— Ахъ да, вы, кажется, выиграли?.. то-то и замѣтно по вашему тону.

Никогда еще не говорилъ онъ со мной такъ дерзко. Я былъ очень блѣденъ.

— Тутъ... я не знаю сколько... надо бы сосчитать. Я вамъ дол-женъ до трехъ тысячъ... или сколько?.. Больше или меньше?

— Я васъ, кажется, не вынуждаю платить.

— Нѣтъ-съ, я самъ хочу заплатить, и вы должны знать почему. Я знаю, что въ этой пачкѣ радужныхъ—тысяча рублей, вотъ! И я

сталь было дрожащими руками считать, но бросилъ. — Все равно, я знаю, что тысяча. Ну, такъ вотъ эту тысячу я беру себѣ, а все остальное, вотъ эти кучи, возьмите за долгъ, за часть долга: тутъ, я думаю, до двухъ тысячъ, или, пожалуй, больше!

— А тысячу-то все таки себѣ оставляете? осканился князь.

— А вамъ надо? Въ такомъ случаѣ.. я хотѣлъ было... я думалъ было, что вы не захотите... но, если надо—то вотъ...

— Нѣтъ, не надо, презрительно отвернулся онъ отъ меня и опять зашагалъ по комнатѣ.

— И чортъ знаетъ, что вамъ вздумалось отдавать? повернулся онъ вдругъ ко мнѣ съ страшнымъ вызовомъ въ лицѣ.

— Я отдаю, чтобъ потребовать у васъ отчета! завопилъ я въ свою очередь.

— Убирайтесь вы прочь съ вашими вѣчными словами и жестами! затопалъ онъ вдругъ на меня, какъ бы въ изступленіи.—Я васъ обоихъ давно хотѣлъ выгнать: васъ и вашего Версилова.

— Вы съума сошли! крикнулъ я. Да и было похоже на то.

— Вы меня измучили оба трескучими вашими фразами и все фразами, фразами, фразами! Объ чести, напригѣрь! Тьфу! Я давно хотѣлъ порвать... Я радъ, радъ, что пришла минута. Я считалъ себя связаннымъ и краснѣлъ, что принужденъ принимать васъ... обоихъ! А теперь не считаю себя связаннымъ ничѣмъ, ничѣмъ, знайте это! Вашъ Версиловъ подбивалъ меня напасть на Ахмакову и осрамить ее... Не смѣйте же, послѣ того, говорить у меня о чести. Потому что вы—люди безчестные... оба, оба; а вы развѣ не стыдились у меня брать мои деньги?

Въ глазахъ моихъ потемнѣло.

— Я бралъ у васъ, какъ товарищъ, началъ я ужасно тихо:— вы предлагали сами, и я повѣрилъ вашему расположенію...

— Я вамъ—не товарищъ! Я вамъ давалъ, да не для того, а вы сами знаете для чего.

— Я бралъ въ зачетъ Версиловскихъ; конечно, это глупо, но я...

— Вы не могли брать въ зачетъ Версиловскихъ безъ позволенія, и я не могъ вамъ давать его деньги безъ его позволенія... Я вамъ свои давалъ; и вы знали; знали и брали; а я терпѣлъ ненавистную комедію въ своемъ домѣ!

— Чтò такое я зналъ? Какая комедія? За чтò же вы мнѣ давали?

— *Рoug vos beaux yeux, mon cousin!* захохоталъ онъ мнѣ прямо въ глаза.

— Къ чорту! завопилъ я:—возьмите все, вотъ вамъ и эта тысяча! Теперь—квиты, и завтра...

И я бросилъ въ него этой пачкой радужныхъ, которую оставилъ было себѣ для разживы. Пачка попала ему прямо въ жилетъ и шлепнулась на полъ. Онъ быстро, огромными тремя шагами, подступилъ ко мнѣ въ упоръ:

— Посмѣете ли вы сказать, свирѣпо и раздѣльно какъ по складамъ проговорилъ онъ:—что, бравъ мои деньги весь мѣсяцъ, вы не знали, что ваша сестра отъ меня беременна?

— Чтѣ? Какъ! вскричалъ я, и вдругъ мои ноги ослабѣли, и я безсилно опустился на диванъ. Онъ мнѣ самъ говорилъ потомъ, что я поблѣднѣлъ буквально какъ платокъ. Умъ замѣшался во мнѣ. Помню, мы все смотрѣли молча другъ другу въ лицо. Какъ будто испугъ прошелъ по его лицу; онъ вдругъ наклонился, схватилъ меня за плечи и сталъ меня поддерживать. Я слишкомъ помню его неподвижную улыбку; въ ней была недоувѣрчивость и удивленіе. Да, онъ никакъ не ожидалъ такого эффекта своихъ словъ, потому что былъ убѣжденъ въ моей виновности.

Кончилось обморокомъ, но на одну лишь минуту; я опомнился; приподнялся на ноги, глядѣлъ на него и соображалъ—и вдругъ вся истина открылась столь долго спавшему уму моему! Еслибъ мнѣ сказали заранѣе и спросили: „что бы я сдѣлалъ съ нимъ въ ту минуту“, я бы навѣрно отвѣтилъ, что растерзалъ бы его на части. Но вышло совсѣмъ иное и совсѣмъ не по моей волѣ: я вдругъ закрылъ лицо обѣими руками и горько, навзрыдъ, заплакалъ. Само такъ вышло! Въ молодомъ человѣкѣ сказался вдругъ маленькій ребенокъ. Маленькій ребенокъ, значить, жилъ еще тогда въ душѣ моей на цѣлую половину. Я упалъ на диванъ и всхлипывалъ. „Лиза! Лиза! Бѣдная, несчастная!“ Князь вдругъ и совершенно повѣрилъ.

— Боже, какъ я виноватъ передъ вами! вскричалъ онъ съ глухою горестью. О, какъ гнусно я думалъ объ васъ въ моей мнительности... Простите меня, Аркадій Макаровичъ!

Я вдругъ вскочилъ, хотѣлъ ему что-то сказать, сталъ передъ нимъ, но, не сказавъ ничего, выбѣжалъ изъ комнаты и изъ квартиры. Я прибрелъ домой пѣшкомъ и едва помню путь. Я бросился на мою кровать лицомъ въ подушку, въ темнотѣ и думалъ-думалъ. Въ такія минуты стройно и послѣдовательно никогда не думается. Ужъ и воображеніе мое какъ бы срывалось съ нитки, и, помню, я начиналъ даже мечтать о совершенно постороннемъ и даже Богъ знаетъ объ чемъ. Но

горе и бѣда вдругъ опять припоминались съ болью и съ нѣтъемъ, и я опять ломалъ руки и восклицалъ: „Лиза, Лиза!“ и опять плакалъ. Не помню какъ заснулъ, но спалъ крѣпко, сладко.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Я проснулся утромъ часовъ въ восемь, мигомъ заперъ мою дверь, сѣлъ къ окну и сталъ думать. Такъ просидѣлъ до десяти часовъ. Служанка два раза стучалась ко мнѣ, но я прогналъ ее. Наконецъ, уже въ одиннадцатомъ часу, опять постучались. Я было закричалъ опять, но это была Лиза. Съ нею вошла и служанка, принесла мнѣ кофей и расположилась затоплять печку. Прогнать служанку было невозможно, и все время, пока Фекла накладывала дровъ и раздувала огонь, я все ходилъ большими шагами по моей маленькой комнатѣ, не начиная разговора и даже стараясь не глядѣть на Лизу. Служанка дѣйствовала съ невыразимою медленностью, и это нарочно, какъ всѣ служанки въ такихъ случаяхъ, когда примѣтятъ, что они господамъ мѣшаютъ при нихъ говорить. Лиза сѣла на стулъ у окна и слѣдила за мною.

— У тебя кофей простынетъ, сказала она вдругъ.

Я поглядѣлъ на нее: ни малѣйшаго смущенія, полное спокойствіе, а на губахъ такъ даже улыбка.

— Вотъ женщины! не вытерпѣлъ я и вскинулъ плечами. Наконецъ, служанка затопила печку и принялась было прибираться, но я съ жаромъ выгналъ ее и наконецъ-то заперъ дверь.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, зачѣмъ ты опять заперъ дверь? спросила Лиза.

Я сталъ передъ нею:

— Лиза, могъ ли я подумать, что ты такъ обманешь меня! воскликнулъ я вдругъ, совсѣмъ даже не думая, что такъ начну, и не слезы на этотъ разъ, а почти злобное какое-то чувство укололо вдругъ мое сердце, такъ что я даже не ожидалъ того самъ. Лиза покраснѣла, но не отвѣтила, только продолжала смотрѣть мнѣ прямо въ глаза.

— Постой, Лиза, постой, о, какъ я былъ глупъ! Но глупъ ли? Всѣ намеки сошлись только вчера въ одну кучу, а до тѣхъ поръ откуда я могъ узнать? Изъ того, что ты ходила къ Столбѣвой и къ этой... Дарьѣ Онисимовнѣ? Но я тебя за солнце считалъ, Лиза, и какъ могло бы мнѣ придти чтонибудь въ голову? Помнишь, какъ

я тебя встрѣтилъ тогда, два мѣсяца назадъ, у нею на квартирѣ, и какъ мы съ тобой шли тогда по солнцу и радовались... тогда уже было? Было?

Она отвѣтила утвердительнымъ наклоненіемъ головы.

— Такъ ты ужъ и тогда меня обманывала! Тутъ не отъ глупости моей, Лиза, тутъ скорѣе мой эгоизмъ, а не глупость причиною, мой эгоизмъ сердца и—и пожалуй увѣренность въ святость. О, я всегда былъ увѣренъ, что всё вы безконечно выше меня и—вотъ! Наконецъ, вчера, въ одинъ день срока, я не успѣлъ и сообразить, не смотря на всё намеки... Да и не тѣмъ совсѣмъ я былъ вчера занятъ!

Тутъ я вдругъ вспомнилъ о Катеринѣ Николаевнѣ, и что-то опять мучительно, какъ булавкой, вольнуло меня въ сердце, и я весь покраснѣлъ. Я естественно не могъ быть въ ту минуту добрымъ.

— Да въ чемъ ты оправдываешься? Ты, Аркадій, кажется, въ чемъ-то сгвѣшишь оправдаться, такъ въ чемъ же? тихо и кротко спросила Лиза, но очень твердымъ и убѣжденнымъ голосомъ.

— Какъ въ чемъ? Да мнѣ что теперь дѣлать?—вотъ хоть бы этотъ вопросъ! А ты говоришь: „въ чемъ же?“ Я не знаю, какъ поступить! Я не знаю, какъ въ этихъ случаяхъ поступаютъ братья... Я знаю, что заставляютъ жениться съ пистолетомъ въ рукѣ... Поступлю, какъ надо честному человѣку! А я вотъ и не знаю, какъ тутъ надо поступить честному человѣку!.. Почему? Потому что мы—не дворяне, а онъ—князь и дѣлаетъ тамъ свою карьеру: онъ насъ, честныхъ-то людей, и слушать не станетъ. Мы—даже и не братья съ тобой, а незаконнорожденные какіе-то, безъ фамиліи, дѣти двороваго; а князья развѣ женятся на дворовыхъ? О, гадость! И, сверхъ того, ты сидишь и на меня теперь удивляешься.

— Я вѣрю, что ты мучишься, покраснѣла опять Лиза:—но ты торопишься и самъ себя мучаешь.

— Торопишься? Да неужели же я недостаточно опоздалъ по твоему! Тебѣ ли, тебѣ ли, Лиза, мнѣ такъ говорить? увлекся я, наконецъ, полнымъ негодованіемъ.—А сколько я вынесъ позору, и какъ этотъ князь долженъ былъ меня презирать! О, мнѣ теперь все ясно и вся эта картина передо мной: онъ вполне вообразилъ, что я уже давно догадался о его связи съ тобой, но молчу или даже подымаю носъ и похваляюсь „честью“—вотъ что онъ даже могъ обо мнѣ подумать! И за сестру, за позоръ сестры беру деньги! Вотъ что ему было омерзительно видѣть, и я его оправдываю вполне; каждый день видать и принимать подлеца, потому что онъ—ея братъ, да еще говорить о

чести... это сердце изсохнетъ, хоть бы и его сердце! И ты все это допустила, ты не предупредила меня! Онъ до того презиралъ меня, что говорилъ обо мнѣ Стебелькову и самъ сказалъ мнѣ вчера, что хотѣлъ насъ обоихъ съ Версильовымъ выгнать. А Стебельковъ-то! „Анна Андреевна вѣдь — такая же вамъ сестрица, какъ и Лизавета Макаровна“, да еще кричитъ мнѣ вслѣдъ: „Мои деньги лучше“. А я-то, я-то нахально разваливался у него на диванахъ и лѣзъ, какъ ровня, къ его знакомымъ, чортъ бы ихъ взялъ! И ты все это допустила! Пожалуй, и Дарзанъ теперь знаетъ, судя, по крайней мѣрѣ, по тону его вчера вечеромъ... Всѣ, всѣ знаютъ, кромѣ меня!

— Никто ничего не знаетъ, никому изъ знакомыхъ онъ не говорилъ и не могъ сказать, прервала меня Лиза, а про Стебелькова этого я знаю только, что Стебельковъ его мучитъ и что Стебельковъ этотъ могъ развѣ лишь догадаться... А о тебѣ я ему нѣсколько разъ говорила, и онъ вполне мнѣ вѣрилъ, что тебѣ ничего неизвѣстно, и вотъ только не знаю, почему и какъ это у васъ вчера вышло.

— О, по крайней мѣрѣ, я съ нимъ вчера расплатился и хоть это съ сердца долой! Лиза, знаетъ мама? Да какъ не знать: вчера-то, вчера-то она поднялась на меня!.. Ахъ, Лиза! Да неужто ты рѣшительно во всемъ себя считаешь правой, такъ таки ни капли не винишь себя? Я не знаю, какъ это судятъ по теперешнему и какихъ ты мыслей, то есть на счетъ меня, мамы, брата, отца... Знаетъ Версильовъ?

— Мама ему ничего не говорила: онъ не спрашиваетъ, вѣрно, не хочетъ спрашивать.

— Знаетъ, да не хочетъ знать, это—такъ, это на него похоже! Ну, пусть ты осмѣливаешь роль брата, глупаго брата, когда онъ говорить о пистолетахъ, но мать, мать? Неужели ты не подумала, Лиза, что это—мамѣ укоръ? Я всю ночь объ этомъ промучился; первая мысль мамы теперь „это—потому, что я тоже была виновата, а какова мать—такова и дочь!“

— О, какъ это злобно и жестоко ты сказала! вскричала Лиза съ прорвавшимися изъ глазъ слезами, встала и быстро пошла къ двери.

— Стой, стой! обхватилъ я ее, посадилъ опять и сѣлъ подлѣ нея, не отнимая руки.

— Я такъ и думала, что все такъ и будетъ, когда шла сюда, и тебѣ непременно понадобится, чтобъ я непременно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только изъ гордости сейчасъ молчала, не говорила, а васъ и маму мнѣ гораздо больше, чѣмъ себя самое, жаль... Она не договорила и вдругъ горячо заплакала.

— Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я—тебѣ не судья. Лиза, что мама? Скажи, давно она знаетъ?

— Я думаю, что давно; но я сама сказала ей недавно, когда *это* случилось, тихо проговорила она, опустивъ глаза.

— Что жъ она?

— Она сказала: „носи!“ еще тише проговорила Лиза.

— Ахъ, Лиза, да, „носи“! Не сдѣлай чего надъ собой, упаси тебя Боже!

— Не сдѣлаю, твердо отвѣтила она и вновь подняла на меня глаза.

— Будь спокоенъ, прибавила она, тутъ совсѣмъ не то.

— Лиза, милая, я вижу только, что я тутъ ничего не знаю, но зато теперь только узналъ, какъ тебя люблю. Одного только не понимаю, Лиза: все мнѣ тутъ ясно, одного только совсѣмъ не пойму: за что ты его полюбила? Какъ ты могла такого полюбить? Вотъ вопросъ!

— И, вѣрно, тоже объ этомъ мучился ночью? тихо улыбнулась Лиза.

— Стой, Лиза, это—глупый вопросъ, и ты смѣешься; смѣйся, но вѣдь невозможно же не удивляться: ты и онъ—вы такія противоположности! Онъ—я его изучилъ—онъ мрачный, мнительный, можетъ быть, онъ очень добрый, пусть его, но зато въ высшей степени склонный прежде всего во всемъ видѣть злое (въ этомъ, впрочемъ, совершенно какъ я!). Онъ страстно уважаетъ благородство—это я допускаю, это вижу, но только, кажется, въ идеалѣ. О, онъ склоненъ къ раскаянью, онъ всю жизнь непрерывно клянеть себя и раскаивается, но зато никогда и не исправляется, впрочемъ, это тоже, можетъ быть, какъ я. Тысяча предразсудковъ и ложныхъ мыслей и—никакихъ мыслей! Ищетъ большаго подвига и пакоститъ по мелочамъ. Прости, Лиза, я, впрочемъ—дуракъ: говоря это, я тебя обижаю и знаю это; я это понимаю...

— Портретъ бы вѣренъ, улыбнулась Лиза, но ты слишкомъ на него золь за меня, а потому и ничего невѣрно. Онъ съ самаго начала былъ къ тебѣ недовѣрчивъ и ты не могъ его видѣть, а со мной еще съ Луги... Онъ только и видѣлъ одну меня, съ самой Луги. Да, онъ мнительный и болѣзненный, и безъ меня съума бы сошелъ; и, если меня оставить, то сойдетъ съума или застрѣлится; кажется, онъ это понялъ и знаетъ, прибавила Лиза какъ бы про себя и задумчиво.—Да, онъ слабъ непрерывно, но такіе-то слабые способны когда нибудь и на чрезвычайно сильное дѣло... Какъ ты странно сказалъ про пистолеть,

Аркадій: ничего тутъ этого не надо, и я знаю сама, что будетъ. Не я за нимъ хожу, а онъ за мною ходитъ. Мама плачетъ, говоритъ: „если за него выйдешь, несчастна будешь, любить перестанешь“. Я этому не вѣрю; несчастна, можетъ, буду, а любить онъ не перестанетъ. Я не потому все не давала ему согласія, а по другой причинѣ. Я ему уже два мѣсяца не даю согласія, но сегодня я сказала ему: да, выйду за тебя. Аркаша, знаешь, онъ вчера—(глаза ея сіяли и она вдругъ обхватила мнѣ обѣими руками шею)—онъ вчера пріѣхалъ къ Аннѣ Андреевнѣ и прямо, со всей откровенностью сказалъ ей, что не можетъ любить ее... Да, онъ объяснился совсѣмъ, и эта мысль теперь кончена! Онъ никогда въ этой мысли не участвовалъ, это все намечталъ князь Николай Ивановичъ, да напирали на него эти мучители, Стебельковъ и другой одинъ... Вотъ я и сказала ему за это сегодня: да. Милый Аркадій, онъ очень зоветъ тебя, и не обижайся послѣ вчерашняго: онъ сегодня не такъ здоровъ и весь день дома. Онъ взаправду нездоровъ, Аркадій: не подумай, что отговорка. Онъ меня нарочно прислалъ и просилъ передать, что „нуждается“ въ тебѣ, что ему много надо сказать тебѣ, а у тебя здѣсь, на этой квартирѣ, будетъ неловко. Ну, прощай! Ахъ, Аркадій, стыдно мнѣ только говорить, а я шла сюда и ужасно боялась, что ты меня разлюбилъ, все крестилась дорогою, а ты—такой добрый, милый! Не забуду тебѣ этого никогда! Я къ мамѣ А ты его полюби хоть немножко, а?

Я горячо ее обнялъ и сказалъ ей:

— Я, Лиза, думаю, что ты—крѣпкій характеръ. Да, я вѣрю, что не ты за нимъ ходишь, а онъ за тобой ходитъ, только все таки...

— Только все таки „за что ты его полюбила—вотъ вопросъ!“ подхватила, вдругъ усмѣхнувшись шаловливо, какъ прежде, Лиза и ужасно похоже на меня произнесла: „вотъ вопросъ!“ И при этомъ, совершенно какъ я дѣлаю при этой фразѣ, подняла указательный палецъ передъ глазами. Мы расцаловались, но, когда она вышла, у меня опять защемило сердце.

II.

Замѣчу здѣсь лишь для себя: были, на примѣръ, мгновенія, по уходѣ Лизы, когда самыя неожиданныя мысли цѣлой толпой приходили мнѣ въ голову, и я даже былъ ими очень доволенъ. „Ну, что я хлопочу, думалъ я: мнѣ-то что? У всѣхъ такъ жили почти. Чтожь такое, что съ Лизой это случилось? Что я „честь семейства“, что ли, долженъ спасти? Отмѣчаю всѣ эти подробности, чтобъ показать, до какой степени

я еще не укрѣпленъ былъ въ разумѣніи зла и добра. Спасало лишь чувство: я зналъ, что Лиза несчастна, что мама несчастна, и зналъ это чувствомъ, когда вспоминалъ про нихъ, а потому и чувствовалъ, что все, что случилось, должно быть не хорошо.

Теперь предупрежу, что событія съ этого дня до самой катастрофы моей болѣзни, пустились съ такою быстротой, что мнѣ, припоминая теперь, даже самому удивительно, какъ могъ я устоять передъ ними, какъ не задавила меня судьба. Они обезсилили мой умъ и даже чувства, и еслибъ я подъ конецъ, не устоявъ, совершилъ преступленіе— (а преступленіе чуть-чуть не совершилось), то присяжные, весьма можетъ быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать въ строгомъ порядкѣ, хотя предупреждаю, что тогда въ мысляхъ моихъ мало было порядка. Событія налегли какъ вѣтеръ, и мысли мои закрутились въ умѣ, какъ осенніе сухіе листья. Такъ какъ я весь состоялъ изъ чужихъ мыслей, то гдѣ мнѣ было взять своихъ, когда онѣ потребовались для самостоятельнаго рѣшенія? Руководителя же совѣмъ не было.

Къ князю я рѣшилъ пойти вечеромъ, чтобы обо всемъ переговорить на полной свободѣ, а до вечера оставался дома. Но въ сумерки получилъ по городской почтѣ опять записку отъ Стебелькова, въ три строки, съ настоятельною и „убѣдительною“ просьбою посѣтить его завтра утромъ, часовъ въ одиннадцать, для „самоважнѣйшихъ дѣлъ, и сами увидите, что за дѣломъ“. Обдумавъ, я рѣшилъ поступить, судя по обстоятельствамъ, такъ какъ до завтра было еще далеко.

Было уже восемь часовъ; я бы давно пошелъ, но все поджидалъ Версилова: хотѣлось ему многое выразить, и сердце у меня горѣло. Но Версиловъ не приходилъ и не пришелъ. Къ мамѣ и къ Лизѣ мнѣ показываться пока нельзя было, да и Версилова, чувствовалось мнѣ, навѣрно весь день тамъ не было. И пошелъ пѣшкомъ, и мнѣ уже на пути пришло въ голову заглянуть во вчерашній трактиръ на канавѣ. Какъ разъ Версиловъ сидѣлъ на вчерашнемъ своемъ мѣстѣ.

— Я такъ и думалъ, что ты сюда придешь, странно улыбувшись и странно посмотрѣвъ на меня, сказалъ онъ. Улыбка его была недобрая, и такой я уже давно не видалъ на его лицѣ.

Я присѣлъ къ столу и рассказалъ ему сначала все фактами о князѣ и о Лизѣ, и о вчерашней сценѣ моей у князя послѣ рулетки; не забылъ и о выигрышѣ на рулеткѣ. Онъ выслушалъ очень внимательно и переспросилъ о рѣшеніи князя жениться на Лизѣ.

— *Ravage enfant*, можетъ быть, она ничего тѣмъ не выиграетъ. Но, вѣроятно, не состоится... хотя онъ способенъ...

— Скажите мнѣ, какъ другу: вѣдь вы это знали, предчувствовали?

— Другъ мой, что я тутъ могъ? Все это—дѣло чувства и чужой совѣсти, хотя бы и со стороны этой бѣдненькой дѣвочки. Повторю тебѣ: я достаточно въ оно время вскакивалъ въ совѣсть другихъ—самый неудобный маневръ! Въ несчастьи помочь не откажусь, насколько силъ хватитъ и если самъ разберу, а ты, мой милый, ты таки все время ничего и не подозрѣвалъ?

— Но какъ могли вы, вскричалъ я, весь вспыхнувъ:—какъ могли вы, подозрѣвая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы съ княземъ, и видя, что я въ то же время беру у князя деньги,—какъ могли вы говорить со мной, сидѣть со мной, протягивать мнѣ руку,—мнѣ, котораго вы же должны были считать за подлца, потому, что бьюсь объ закладъ, вы навѣрно подозрѣвали, что я знаю все и беру у князя за сестру деньги зазнамо!

— Опять таки—дѣло совѣсти, усмѣхнулся онъ.—И почему ты знаешь, съ какимъ-то загадочнымъ чувствомъ внятно прибавилъ онъ,—почему ты знаешь, не боялся ли и я, какъ ты вчера при другой случай, свой „идеаль“ потерять и, вмѣсто моего пылкаго и честнаго мальчика, негодяя встрѣтить? Опасаясь, отдалялъ минуту. Почему не предположить во мнѣ, вмѣсто лѣности или коварства, чегонибудь болѣе невиннаго, ну хоть глупаго, но поблагороднѣе. Que diable! Я слишкомъ часто бываю глупъ и безъ благородства. Чтѣбы пользы мнѣ въ тебѣ, еслибы у тебя ужъ такія наклонности были? Уговаривать и исправлять въ такихъ случаяхъ низко; ты бы потерялъ въ моихъ глазахъ всякую цѣну, хотя бы и исправленный...

— А Лизу жалѣете, жалѣете?

— Очень жалѣю, мой милый. Съ чего ты взялъ, что я такъ безчувственъ?... Напротивъ, постараюсь всѣми силами... Ну, а ты какъ, какъ *твоя* дѣла?

— Оставимъ мои дѣла; у меня теперь нѣтъ *моихъ* дѣлъ. Слушайте, почему вы сомнѣваетесь, что онъ женится? Онъ вчера былъ у Анны Андреевны и положительно отказался... ну, то есть отъ той глупой мысли... вотъ что зародилась у князя Николая Ивановича—сосватать ихъ. Онъ отказался положительно.

— Да? Когда же это было? И отъ кого ты именно слышалъ? съ любопытствомъ освѣдомился онъ. Я рассказалъ все, что зналъ.

— Гмъ... произнесъ онъ раздумчиво и какъ бы соображая про себя:—стало быть, это происходило ровно за какойнибудь часъ... до одного другаго объясненія. Гмъ... ну, да, конечно, подобное объясненіе

могло у нихъ произойти... хотя мнѣ, однако, извѣстно, что тамъ до сихъ поръ ничего никогда не было сказано или сдѣлано ни съ той, ни съ другой стороны... Да, конечно, достаточно двухъ словъ, чтобъ объясниться. Но, вотъ что, странно усмѣхнулся онъ вдругъ: — я тебя, конечно, заинтересую сейчасъ однимъ чрезвычайнымъ даже извѣстіемъ: еслибъ твой князь и сдѣлалъ вчера свое предложеніе Аннѣ Андреевнѣ (чего я, подозрѣвая о Лизѣ, всѣми бы силами моими не допустилъ, *entre nous soit dit*), то Анна Андреевна навѣрно и во всякомъ случаѣ ему тотчасъ бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и цѣнишь ее? Это очень мило съ твоей стороны, а потому, вѣроятно, и порадуешься за нее: она, мой милый, выходитъ замужъ, и, судя по ея характеру, кажется, выйдетъ навѣрно, а я — ну, я ужъ, конечно, благословлю.

— Замужъ выходить? За кого же? вскричалъ я, ужасно удивленный.

— А угадай. Мучить не буду: за князя Николая Ивановича, за твоего милого старичка.

Я глядѣлъ во всѣ глаза.

— Должно быть, она давно эту идею питала, и ужъ, конечно, художественно обработала ее со всѣхъ сторонъ, лѣниво и раздѣльно продолжалъ онъ. — Я полагаю, это произошло ровно часъ спустя послѣ посѣщенія „князя Сережи“. (Вотъ вѣдь некстати-то расплакался!) Она просто пришла къ князю Николаю Ивановичу и сдѣлала ему предложеніе.

— Какъ „сдѣлала ему предложеніе“? То есть онъ сдѣлалъ ей предложеніе?

— Ну, гдѣ ему! Она, она сама, то-то и есть, что онъ въ полномъ восторгѣ. Онъ, говорятъ, теперь все сидитъ и удивляется, какъ это ему самому не пришло въ голову. Я слышалъ, онъ даже прихворнулъ... тоже отъ восторга, должно быть.

— Послушайте, вы такъ насмѣшливо говорите... Я почти не могу повѣрить. Да и какъ она могла предложить? Что она сказала?

— Будь увѣренъ, мой другъ, что я искренно радуюсь, отвѣтилъ онъ, вдругъ принявъ удивительно серьезную мину, — онъ старъ, конечно, но жениться можетъ, по всѣмъ законамъ и обычаямъ, а она — тутъ опять таки дѣло чужой совѣсти, то, что уже я тебѣ повторилъ, мой другъ. Впрочемъ, она слишкомъ компетентна, чтобъ имѣть свой взглядъ и свое рѣшеніе. А собственно о подробностяхъ и какими словами она выражалась, то не съумѣю тебѣ передать, мой другъ. Но ужъ, конечно,

она-то съумѣла, да такъ, можетъ быть, какъ мы съ тобою и не придумали-бы. Лучше всего во всемъ этомъ то, что тутъ никакого скандала, все *très simple il faut* въ глазахъ свѣта. Конечно, слишкомъ ясно, что она захотѣла себѣ положенія въ свѣтѣ, но вѣдь она же и стоять того. Все это, другъ мой,—совершенно свѣтская вещь. А предложила она, должно быть, великолѣпно и изящно. Это—строгий типъ, мой другъ, дѣвушка-монашенка, какъ ты ее разъ опредѣлилъ; „спокойная дѣвица“, какъ я ее давно уже называю. Она вѣдь—почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не разъ видѣла его доброту къ себѣ. Она увѣряла меня уже давно, что его „такъ уважаетъ и такъ цѣнитъ, такъ жалѣетъ и симпатизируетъ ему“, ну, и все прочее, такъ что я даже отчасти былъ подготовленъ. Мнѣ о всемъ этомъ сообщилъ сегодня утромъ, отъ ея лица и по ея просьбѣ, сынъ мой, а ея братъ Андрей Андреевичъ, съ которымъ ты, кажется, не знакомъ и съ которымъ я вижу аккуратно разъ въ полгода. Онъ почтительно апробуетъ шагъ ея.

— Такъ это уже гласно? Боже, какъ я изумленъ!

— Нѣтъ, это совсѣмъ еще не гласно, до нѣкотораго времени... я тамъ не знаю, вообще я въ сторонѣ совершенно. Но все это вѣрно.

— Но теперь Катерина Николаевна... Какъ вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится?

— Этого я ужь не знаю... что собственно тутъ ему не понравится; но, повѣрь, что Анна Андреевна и въ этомъ смыслѣ—въ высшей степени порядочный человекъ. А каково, однако, Анна-то Андреевна! Какъ-разъ справилась передъ тѣмъ у меня вчера утромъ: „люблю ли я или нѣтъ госпожу вдову Ахмакову“? Помнишь, я тебѣ съ удивленіемъ вчера передавалъ: нельзя же бы ей выйти за отца, еслибъ я женился на дочери? Понимаешь теперь?

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! вскричалъ я.—Но неужто же, въ самомъ дѣлѣ, Анна Андреевна могла предположить, что вы... могли бы желать жениться на Катеринѣ Николаевнѣ?

— Видно, что такъ, мой другъ, а, впрочемъ... а, впрочемъ, тебѣ, кажется, пора туда, куда ты идешь. У меня, видишь-ли, все голова болить. Прикажу Люцію. Я люблю торжественность скуки, а, впрочемъ, я уже говорилъ тебѣ это... Повторяюсь непростительно... Впрочемъ, можетъ быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай; когда у меня голова болить или зубы, я всегда жажду уединенія.

На лицѣ его показалась какая-то мучительная складка; вѣрю теперь, что у него болѣла тогда голова, особенно голова...

— До завтра, сказалъ я.

— Что такое до завтра и что будетъ завтра? вриво усмѣхнулся онъ.

— Приду къ вамъ, или вы ко мнѣ.

— Нѣтъ, я къ тебѣ не приду, а ты ко мнѣ прибѣжишь...

Въ лицѣ его было что-то слишкомъ ужъ недоброе, но мнѣ было даже не до него: такое происшествіе!

III.

Князь былъ дѣйствительно нездоровъ и сидѣлъ дома одинъ съ обвязанной мокрымъ полотенцемъ головой. Онъ очень ждалъ меня; но не голова одна у него болѣла, а скорѣе онъ весь былъ боленъ нравственно. Предупреждаю опять: во все это послѣднее время, и вплоть до катастрофы, мнѣ какъ-то пришлось встрѣчаться сплошь съ людьми, до того возбужденными, что всѣ они были чуть не помѣшанные, такъ что я самъ по неволѣ долженъ былъ какъ-бы заразиться. Я, признаюсь, пришелъ съ дурными чувствами, да и стыдно мнѣ было очень того, что я вчера передъ нимъ расплакался. Да и все таки они такъ ловко съ Лизой сьумѣли меня обмануть, что я не могъ же не видѣть въ себѣ глупца. Словомъ, когда я вошелъ къ нему, въ душѣ моей звучали фальшивыя струны. Но все это напускное и фальшивое соскочило быстро. Я долженъ отдать ему справедливость: какъ скоро пала и разбивалась его мнительность, то онъ уже отдавался окончательно; въ немъ сказывались черты почти младенческой ласковости, довѣрчивости и любви. Онъ со слезами поцаловалъ меня и тотчасъ же началъ говорить о дѣлѣ... Да, я дѣйствительно былъ ему очень нуженъ: въ словахъ его и въ теченіи идей было чрезвычайно много безпорядка.

Онъ совершенно твердо заявилъ мнѣ о своемъ намѣреніи жениться на Лизѣ и какъ можно скорѣй. „То, что она не дворянка, повѣрьте, не смущало меня ни минуты, сказалъ онъ мнѣ: — мой дѣдъ женатъ былъ на дворовой дѣвушкѣ, пѣвицѣ на собственномъ крѣпостномъ театрѣ одного сосѣда-помѣщика. Конечно, мое семейство питало на счетъ меня своего рода надежды, но имъ придется теперь уступить, да и борьбы никакой не будетъ. Я хочу разорвать, разорвать со всѣмъ теперешнимъ окончательно! Все другое, все по новому! Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра; но ужъ, конечно, я безъ нея, можетъ быть, не жилъ бы теперь на свѣтѣ. Клянусь вамъ отъ глубины души, что я смотрю теперь на встрѣчу мою съ ней въ Лугѣ какъ на перстъ Провидѣнія. Я думаю, она полюбила меня за „безпредѣльность моего паденія“... впрочемъ, поймете-ли вы это, Аркадій Макаровичъ?

— Совершенно! произнесъ я, въ высшей степени убѣжденнымъ голосомъ. Я сидѣлъ въ креслахъ передъ столомъ, а онъ ходилъ по комнатѣ.

— Я долженъ вамъ рассказать весь этотъ фактъ нашей встрѣчи, безъ утайки. Началось съ моей душевной тайны, которую она одна только и узнала, потому что одной только ей я и рѣшился повѣрить. И никто до сихъ поръ не знаетъ. Въ Лугу тогда я попалъ съ отчаяніемъ въ душѣ, и жилъ у Столбѣевой, не знаю зачѣмъ, можетъ быть, искалъ полнѣйшаго уединенія. Я тогда только что оставилъ службу въ—мъ полку. Въ полкъ этотъ я поступилъ, воротаясь изъ-за границы, послѣ той встрѣчи за границей съ Андреемъ Петровичемъ. У меня были тогда деньги, а въ полку моталъ, жилъ открыто; но офицеры-товарищи меня не любили, хотя я старался не оскорблять. И признаюсь вамъ, что меня никто никогда не любилъ. Тамъ былъ одинъ корнетъ, Степановъ какой-то, признаюсь вамъ, чрезвычайно пустой, ничтожный и даже какъ-бы забытый, однимъ словомъ, ничѣмъ не отличавшійся. Безспорно, впрочемъ, честный. Онъ ко мнѣ повадился, а съ нимъ не церемонился, онъ просиживалъ у меня въ углу молча по цѣлымъ днямъ, но съ достоинствомъ, хотя не мѣшалъ мнѣ вовсе. Разъ я рассказалъ ему одинъ текущій анекдотъ, въ который припелъ много вздору, о томъ, что дочь полковника ко мнѣ равнодушна и что полковникъ, рассчитывая на меня, конечно, сдѣлаетъ все, чтò я пожелаю... Однимъ словомъ, я опускаю подробности, но изъ всего этого вышла потомъ пресложная и прегнусная сплетня. Вышла не отъ Степанова, а отъ моего деньщика, который все подслушалъ и запомнилъ, потому что тутъ былъ одинъ смѣшной анекдотъ, компрометтировавшій молодую особу. Вотъ этотъ деньщикъ и указалъ на допросѣ у офицеровъ, когда вышла сплетня, на Степанова: то есть, что я этому Степанову рассказывалъ. Степановъ былъ поставленъ въ такое положеніе, что никакъ не могъ отречься, что слышалъ; это было дѣломъ чести. А такъ какъ я на двѣ трети въ анекдотѣ этомъ нагналъ, то офицеры были возмущены, а полковой командиръ, собравъ насъ къ себѣ, вынужденъ былъ объясниться. Вотъ тутъ-то и былъ заданъ при всѣхъ Степанову вопросъ: слышалъ онъ или нѣтъ? И тотъ показалъ всю правду. Ну-съ, чтò же я тогда сдѣлалъ, я, тысячекратный князь? Я отрекся и въ глаза Степанову сказалъ, что онъ солгалъ, учтивымъ образомъ, то есть, въ томъ смыслѣ, что онъ „не такъ понялъ“, и проч... Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положенія была та, что, такъ какъ Степановъ ко мнѣ учащалъ, то я, не безъ нѣкотораго вѣроятія, могъ выставить дѣло въ

такомъ видѣ, что онъ, будто-бы, ставнулся съ моимъ деньщикомъ изъ нѣкоторыхъ выгодъ. Степановъ только молча поглядѣлъ на меня и пожалъ плечами. Я помню его взглядъ и никогда его не забуду. Затѣмъ онъ немедленно подалъ было въ отставку, но какъ вы думаете, что вышло? Офицеры, всѣ до одинаго, разомъ, сдѣлали ему визитъ и уговорили его не подавать. Черезъ двѣ недѣли вышелъ и я изъ полка: меня никто не выгонялъ, никто не приглашалъ выйти, я выставилъ семейный предлогъ для отставки. Тѣмъ дѣло и кончилось. Сначала я былъ совершенно ничего и даже на нихъ сердился; жилъ въ Лугѣ, познакомился съ Лизаветой Макаровой, но потомъ, еще мѣсяць спустя, я уже смотрѣлъ на мой револьверъ и подумывалъ о смерти. Я смотрю на каждое дѣло мрачно, Аркадій Макаровичъ. Я приготовилъ письмо въ полкъ командиру и товарищамъ, съ полнымъ сознаниемъ во лжи моей, возстановляя честь Степанова. Написавъ письмо, я задалъ себѣ задачу: „послать и жить, или послать и умереть?“ Я-бы не разрѣшилъ этого вопроса. Случай, слѣпой случай, послѣ одного быстрого и страннаго разговора съ Лизаветой Макаровой, вдругъ сблизилъ меня съ нею. А до того она ходила къ Столбѣевой; мы встрѣчались, раскланивались и даже рѣдко говорили. Я вдругъ все открылъ ей. Вотъ тогда-то она и подала мнѣ руку.

— Какъ же она рѣшила вопросъ?

— Я не послалъ письма. Она рѣшила не посылать. Она мотивировала такъ: если пошлю письмо, то, конечно, сдѣлаю благородный поступокъ, достаточный, чтобъ смыть всю грязь и даже гораздо больше, но вынесу-ли его самъ? Ея мнѣніе было то, что и никто-бы не вынесъ, потому что будущность тогда погибла и уже воскресеніе къ новой жизни невозможно. И къ тому же, добро-бы пострадалъ Степановъ; но вѣдь онъ же былъ оправданъ обществомъ офицеровъ и безъ того. Однимъ словомъ — парадоксъ; но она удержала меня, и я ей отдался вполне.

— Она рѣшила по іезуитски, но по женски! вскричалъ я:—она уже тогда васъ любила!

— Это-то и возродило меня къ новой жизни. Я далъ себѣ слово передѣлать себя, переломить жизнь, заслужить передъ собой и передъ нѣю, и—вотъ у насъ чѣмъ кончилось! Кончилось тѣмъ, что мы съ вами ѣздили здѣсь на рулетки, играли въ банкъ; я не выдержалъ передъ наследствомъ, обрадовался карьерѣ, всѣмъ этимъ людямъ, рысакамъ... я мучилъ Лизу—позоръ!

Онъ потеръ себѣ лобъ рукой и прошелся по комнатѣ.

— Насъ съ вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадій Макаровичъ: вы не знаете что дѣлать и я не знаю что дѣлать? Выскочи русскій человекъ чуть-чуть изъ казенной, узаконенной для него общаеиъ колееи—и онъ сейчасъ же не знаетъ что дѣлать. Въ колеѣ все ясно: доходъ, чинъ, положеніе въ свѣтѣ, экипажъ, визиты, служба, жена—а чуть что и—что я такое? Листъ, гонимый вѣтромъ. Я не знаю что дѣлать! Эти два мѣсяца я стремился удержаться въ колеѣ, полюбилъ колею, втянулся въ колею. Вы еще не знаете глубины моего здѣшняго паденія: я любилъ Лизу, искренно любилъ и въ то же время думалъ объ Ахмаковой!

— Неужели? съ болью вскричалъ я.—Кстати, князь, что вы сказали мнѣ вчера про Версилова, что онъ подбивалъ васъ на какую-то подлость противъ Катерины Николаевны.

— Я, можетъ быть, преувеличилъ и также виноватъ въ моей мнительности передъ нимъ, какъ и передъ вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во все это время, съ самой Луги, можетъ быть, я не питалъ высокаго идеала жизни? Клянусь вамъ, онъ не по-идалъ меня и былъ передо мной постоянно, не потерявъ нисколько въ душѣ моей своей красоты. Я помнилъ клятву, данную Лизаветѣ Макаровнѣ, возродиться. Андрей Петровичъ, говоря вчера здѣсь о дворянствѣ, не сказалъ мнѣ ничего новаго, будьте увѣрены. Мой идеалъ поставленъ твердо: нѣсколько десятковъ десятииъ земли (и только нѣсколько десятковъ, потому что у меня не остается уже почти ничего отъ наслѣдства); ватѣмъ полный, полнѣйшій разрывъ со свѣтомъ и съ карьерой; сельскій домъ, семья и самъ—пахарь или въ родѣ того. О, въ нашемъ родѣ это—не новость: братъ моего отца пахалъ собственноручно, дѣдъ тоже. Мы—всего только тысячелѣтне князья и благородны какъ Роганы, но мы—нищіе. И вотъ этому я бы и научилъ и моихъ дѣтей: „Помни всегда всю жизнь, что ты—дворянинъ, что въ жилахъ твоихъ течетъ святая кровь русскихъ князей, но не стыдись того, что отецъ твой самъ пахалъ землю: это онъ дѣлалъ *по княжески*“. Я бы не оставилъ имъ состоянія, кромѣ этого клочка земли, но зато бы далъ высшее образованіе, это ужъ взялъ бы обязанностью. О, тутъ помогла бы Лиза, дѣти, работа, о, какъ мы мечтали обо всемъ этомъ съ нею, здѣсь мечтали, вотъ тутъ въ этихъ комнатахъ, и что же? Я въ то же время думалъ объ Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о возможности свѣтскаго, богатаго брака! И только послѣ извѣстія, привезеннаго вчера Нащокинымъ, объ этомъ Бьорингѣ, я и рѣшилъ отправиться къ Аннѣ Андреевнѣ.

— Но вѣдь вы же вѣдѣли отказаться? Вѣдь вотъ уже честный поступокъ, я думаю?

— Вы думаете? остановился онъ передо мной:—нѣтъ, вы еще не знаете моей природы! Или... или я тутъ самъ не знаю чего нибудь: потому что тутъ, должно быть, не одна природа. Я васъ искренно люблю, Аркадій Макаровичъ, и, кромѣ того, я глубоко виноватъ передъ вами за всѣ эти два мѣсяца, а потому я хочу, чтобы вы, какъ братъ Лизы, все это узнали: я вѣздилъ къ Аннѣ Андреевнѣ съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать ей предложеніе, а не отказываться.

— Можетъ ли быть? Но Лиза говорила...

— Я обманулъ Лизу.

— Позвольте: вы сдѣлали формальное предложеніе, и Анна Андреевна отказала вамъ? Такъ ли? Такъ ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь.

— Нѣтъ, я предложенія не дѣлалъ совсѣмъ, но лишь потому, что не успѣлъ; она сама предупредила меня,—не въ прямыхъ, конечно, словахъ, но, однако же, въ слишкомъ прозрачныхъ и ясныхъ дала мнѣ „деликатно“ понять, что идея эта впредь невозможна.

— Значить, все равно что не дѣлали предложенія, и гордость ваша не пострадала!

— Неужели вы можете такъ разсуждать! А судъ собственной совѣсти, а Лиза, которую я обманулъ и... хотѣлъ бросить, стало быть? А обѣтъ, данный себѣ и всему роду моихъ предковъ—возродиться и выгнать всѣхъ прежнія подлости! Умоляю васъ, не говорите ей про это. Можетъ быть, она этого одного не въ состояніи была бы простить мнѣ! Я со вчерашняго боленъ. А главное, кажется, теперь уже все кончено, и послѣдній изъ князей Согольскихъ отправится въ каторгу. Вѣдная Лиза! Я очень ждалъ васъ весь день, Аркадій Макаровичъ, чтобъ открыть вамъ, какъ брату Лизы, то, чего она еще не знаетъ. Я—уголовный преступникъ и участвую въ поддѣлкѣ фальшивыхъ акцій—своей желѣзной дороги.

— Это чтѣ еще! Какъ, въ каторгу? вскопчилъ я, въ ужасѣ смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горечь.

— Сядьте, сказалъ онъ, и самъ сѣлъ въ кресла напротивъ.—Во первыхъ, узнайте фактъ: годъ слишкомъ назадъ, вотъ въ то самое лѣто Эмса, Лидіи и Катерины Николаевны, и потомъ Парижа, именно въ то время, когда я отправился на два мѣсяца въ Парижъ, въ Парижѣ мнѣ недоставало, разумѣется, денегъ. Тутъ какъ-разъ подвернулся

Стебельковъ, котораго я, впрочемъ, и прежде зналъ. Онъ далъ мнѣ денегъ и обѣщалъ еще дать, но просилъ и съ своей стороны помочь ему: ему нуженъ былъ артистъ, рисовальщикъ, гравёръ, литографъ и прочее, химикъ и техникъ, и—съ извѣстными цѣлями. О цѣляхъ онъ высказался даже съ перваго раза довольно прозрачно. И чтожь? Онъ зналъ мой характеръ,—меня все это только разсмѣшило. Дѣло въ томъ, что мнѣ еще со школьной скамьи былъ знакомъ одинъ, въ настоящее время русскій эмигрантъ, не русскаго, впрочемъ, происхожденія и проживающій гдѣ-то въ Гамбургѣ. Въ Россіи онъ разъ уже былъ замѣшанъ въ одной исторіи по поддѣлкѣ бумагъ. Вотъ на этого-то человека и рассчитывалъ Стебельковъ, но потребовалась къ нему рекомендація, и онъ обратился ко мнѣ. Я далъ ему двѣ строки и тотчасъ забылъ о нихъ. Потомъ онъ еще и еще разъ встрѣчался со мной, и я получилъ отъ него тогда всего до трехъ тысячъ. Обо всемъ этомъ дѣлъ я буквально забылъ. Здѣсь я бралъ все время у него деньги подъ векселя и залого, и онъ извивался передо мною какъ рабъ, и вдругъ вчера я узнаю отъ него въ первый разъ, что я—уголовный преступникъ.

— Когда, вчера?

— А вотъ вчера, когда мы утромъ кричали съ нимъ въ кабинетѣ передъ пріѣздомъ Нащокина. Онъ въ первый разъ и совершенно уже ясно осмѣлился заговорить со мной объ Аннѣ Андреевнѣ. Я поднялъ руку, чтобъ ударить его, но онъ вдругъ всталъ и объявилъ мнѣ, что я съ нимъ солидаренъ, и чтобъ я помнилъ, что я—его участникъ и такой же мошенникъ, какъ онъ,—однимъ словомъ, хоть не эти слова, но эта мысль.

— Вздоръ какой, но вѣдь это мечта?

— Нѣтъ, это—не мечта. Онъ былъ у меня сегодня и объяснилъ подробности. Акціи эти давно въ ходу и еще будутъ пущены въ ходъ, но, кажется, гдѣ-то ужъ начали попадаться. Конечно, я въ сторонѣ, но „вѣдь, однако же, вы тогда изволили дать это писемцо-съ“,—вотъ что мнѣ сказала Стебельковъ.

— Такъ вѣдь вы же не знали для чего, или знали?

— Зналъ, отвѣчалъ тихо князь и потупилъ глаза. — То есть, видите ли, и зналъ, и не зналъ. Я смѣялся, мнѣ было весело. Я ни о чемъ тогда не думалъ, тѣмъ болѣе, что мнѣ было совсѣмъ не надо фальшивыхъ акцій и что не я собирался ихъ дѣлать. Но, однако же, эти три тысячи, которыя онъ мнѣ тогда далъ, онъ даже ихъ и на счетъ потомъ не поставилъ, а я допустилъ это. А, впрочемъ, почему вы знаете, можетъ быть, и я былъ фальшивый монетчикъ? Я не могъ

не знать, я—не маленькій; я зналъ, но мнѣ было весело, и я помогъ подлецамъ каторжникамъ... и помогъ за деньги! Стало быть, и я фальшивый монетчикъ!

— О, вы преувеличиваете; вы виноваты, но вы преувеличиваете!

— Тутъ, главное, есть одинъ Жибельскій, еще молодой человекъ, по судейской части, нѣчто въ родѣ помощника аблакатипки. Въ этихъ акціяхъ онъ тутъ—тоже какой-то участникъ, ѣздилъ потомъ отъ того господина въ Гамбургъ ко мнѣ, съ пустяками, разумеется, и я даже самъ не зналъ для чего, объ акціяхъ и помину не было... Но, однако же, у него уцѣлѣло моей руки два документа, все записки по двѣ строчки, и ужь, конечно, онъ тоже свидѣтельствуютъ; это я сегодня хорошо понялъ. Стебельковъ объясняетъ, что этотъ Жибельскій мѣшаетъ всему: онъ что-то тамъ укралъ, чьи-то деньги, казенныя, кажется, но намѣренъ еще украсть и затѣмъ эмигрировать; такъ вотъ ему надобно восемь тысячъ не меньше въ видѣ вспомошествованія на эмиграцію. Моя часть изъ наслѣдства удовлетворяетъ Стебелькова, но Стебельковъ говорить, что надо удовлетворить и Жибельскаго... Однимъ словомъ, отказаться отъ моей части въ наслѣдствѣ и еще десять тысячъ—вотъ ихъ последнее слово. И тогда мнѣ воротятъ мои двѣ записки. Они—сообща, это ясно.

— Явная нелѣпость! Вѣдь, если они донесутъ на васъ, то себя предадутъ! Они ни за что не донесутъ.

— Понимаю. Они совсѣмъ и не грозятъ донести; они говорятъ только: „мы, конечно, не донесемъ, но, въ случаѣ если дѣло откроется; то“... вотъ что они говорятъ, и все, но я думаю, что этого довольно! Дѣло не въ томъ: что бы тамъ ни вышло, и хотя бы эти записки были у меня теперь же въ карманѣ, но быть солидарнымъ съ этими мошенниками, быть ихъ товарищемъ вѣчно, вѣчно! Лгать Россіи, лгать дѣтямъ, лгать Лизѣ, лгать своей совѣсти!..

— Лиза знаетъ?

— Нѣтъ, всего она не знаетъ. Она не перенесла бы въ своемъ положеніи. Я теперь ношу мундиръ моего полка и при встрѣчѣ съ каждымъ солдатомъ моего полка, каждую секунду, сознаю въ себѣ, что я не смѣю носить этотъ мундиръ.

— Слушайте, вскричалъ я вдругъ:—тутъ нечего разговаривать; у васъ одинъ, единственный путь спасенія; идите къ князю Николаю Ивановичу, возьмите у него десять тысячъ, попросите, не открывая ничего, призовите потомъ этихъ двухъ мошенниковъ, раздѣляйтесь окончательно и выкупите назадъ ваши записки... и дѣло съ концомъ! Все

дѣло съ концомъ, и ступайте пахать! Прочь фантазія и довѣрьтесь жизни!

— Я объ этомъ думалъ, сказалъ онъ твердо.—Я весь день сегодня рѣшался и, наконецъ, рѣшилъ. Я ждалъ только васъ; я поѣду. Знаете ли, что я никогда въ моей жизни не бралъ ни копѣйки у князя Николая Ивановича. Онъ добръ къ нашему семейству и даже... принималъ участіе, но собственно я, я лично, я никогда не бралъ денегъ. Но теперь я рѣшился... Замѣтите, нашъ родъ Сокольскихъ старше, чѣмъ родъ князя Николая Ивановича: они—младшая линія, даже побочная, почти спорная... Наши предки были въ враждѣ. Въ началѣ петровской реформы мой прапрадѣдъ, тоже Петръ, былъ и остался раскольникомъ и скитался въ костромскихъ лѣсахъ. Этотъ князь Петръ во второй разъ тоже на не-дворянкѣ былъ женатъ... Вотъ тогда-то и выдвинулись эти другіе Сокольскіе, но я... о чѣмъ же я это говорю.

Онъ былъ очень утомленъ, почти какъ бы заговаривался.

— Успокойтесь же, всталъ я, захватывая шляпу:— лягте спать, это—первое. А князь Николай Ивановичъ ни за что не откажетъ, особенно теперь, на радостяхъ. Вы знаете тамошнюю-то исторію? Неужто нѣтъ? Я слышалъ дикую вещь, что онъ женится; это—секретъ, но не отъ васъ, разумѣется.

И я все рассказалъ ему, уже стоя со шляпой въ рукѣ. Онъ ничего не зналъ. Онъ быстро освѣдомился о подробностяхъ, преимущественно времени, мѣста и о степени достовѣрности. Я, конечно, не скрылъ, что это, по рассказамъ, произошло тотчасъ вслѣдъ за его вчерашнимъ визитомъ къ Аннѣ Андреевнѣ. Не могу выразить, какое болѣзненное впечатлѣніе произвело на него это извѣстіе; лицо его искажилось, какъ бы перекошилось, кривая улыбка судорожно стянула губы; подъ конецъ онъ ужасно поблѣднѣлъ и глубоко задумался, потупивъ глаза. Я вдругъ слишкомъ ясно увидѣлъ, что самолюбіе его было страшно поражено вчерашнимъ отказомъ Анны Андреевны. Можетъ быть, ему слишкомъ ужъ ярко, при болѣзненномъ настроеніи его, представилась въ эту минуту вчерашняя смѣшная и унижительная роль его передъ этой дѣвицей, въ согласіи которой, какъ оказывалось теперь, онъ былъ все время такъ спокойно увѣренъ. И, наконецъ, можетъ быть, мысль, что сдѣлать такую подлость передъ Лизой и такъ за даромъ! Любопытно то, за кого эти свѣтскіе франты почитаютъ другъ друга и на какихъ это основаніяхъ могутъ они уважать другъ друга; вѣдь этотъ князь могъ же предположить, что Анна Андреевна уже знаетъ

о связи его съ Лизой, въ сущности съ ея сестрой, а если не знаетъ, то когданибудь ужъ навѣрно узнаетъ; и вотъ онъ „не сомнѣвался въ ея рѣшеніи!“

— И неужели же вы могли подумать, гордо и заносчиво вскинулъ онъ вдругъ на меня глаза: — что я, я способенъ ѣхать теперь, послѣ такого сообщенія, къ князю Николаю Ивановичу и у него просить денегъ! У него, жениха той невѣсты, которая мнѣ только что отказала, — какое нищенство, какое лакейство! Нѣтъ, теперь все погбло, и, если помощь этого старика была моей послѣдней надеждой, то пусть гибнетъ и эта надежда!

Я съ нимъ про себя въ душѣ моей согласился; но на дѣйствительность надо было смотрѣть все таки шире: старичокъ-князь развѣ былъ человѣкъ, женихъ? У меня закипѣло нѣсколько идей въ головѣ. Я и безъ того, впрочемъ, рѣшилъ давеча, что завтра непременно навѣщу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатлѣніе и уложить бѣднаго князя спать! „Выспитесь, и идеи будутъ свѣтлѣе, сами увидите!“ Онъ горячо пожалъ мою руку, но уже не цаловался. Я далъ ему слово, что приду къ нему завтра вечеромъ, и „поговоримъ, поговоримъ: слишкомъ много накопилось объ чемъ говорить“. На эти слова мои онъ какъ-то фатально улыбнулся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Всю ту ночь снилась мнѣ рулетка, игра, золото, расчеты. Я все что-то рассчитывалъ, будто бы за игорнымъ столомъ, какую-то ставку, какой-то шансъ, и это давило меня какъ кошмаръ всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущій день, не смотря на всѣ чрезвычайныя впечатлѣнія мои, я поминутно вспоминалъ о выигрышѣ у Зерщикова. Я подавлялъ мысль, но впечатлѣніе не могъ подавить и вздрагивалъ при одномъ воспоминаніи. Этотъ выигрышъ укусилъ мое сердце. Неужели я рожденъ игрокомъ? По крайней мѣрѣ — навѣрное, что съ качествами игрока. Даже и теперь, когда все это пишу, я минутами люблю думать объ игрѣ! Мнѣ случается цѣлые часы проводить иногда, сидя молча, въ игорныхъ расчетахъ въ умѣ и въ мечтахъ о томъ, какъ это все идетъ, какъ я ставлю и беру. Да, во мнѣ много разныхъ „качествъ“ и душа у меня не спокойная.

Въ десять часовъ я намѣревался отправиться къ Стебелькову и пѣшкомъ. Матвѣя я отправилъ домой, только что тотъ явился. Пока

пиль кофе, старался обдуматься. Почему-то я былъ доволенъ; внигнувъ мгновенно въ себя, догадался, что доволенъ главное тѣмъ, что „буду сегодня въ домѣ князя Николая Ивановича“. Но день этотъ въ жизни моей былъ роковой и неожиданный и какъ-разъ начался сюрпризомъ.

Ровно въ десять часовъ отворилась на отпашь моя дверь, и влетѣла—Татьяна Павловна. Я всего могъ ожидать, только не ея посѣщенія, и вскочилъ передъ ней въ испугѣ. Лицо ея было свирѣпо, жесты беспорядочны и, спросить ее, она бы сама, можетъ, не сказала: зачѣмъ вбѣжала ко мнѣ? Предупрежу заранѣе: она только-что получила одно чрезвычайное, подавившее ее извѣстіе и была подъ самымъ первымъ впечатлѣніемъ его. А извѣстіе задѣвало и меня. Впрочемъ, она пробыла у меня полминуты, ну, положимъ, всю минуту, только ужъ не болѣе. Она такъ и вцѣпилась въ меня.

— Такъ ты вотъ какъ! стала она передо мной, вся изогнувшись впередъ.—Ахъ ты, пшенокъ! Что ты это надѣлалъ? Аль еще не знаешь? Кофей пить! Ахъ ты, болтушка, ахъ ты, мельница, ахъ ты, любовникъ изъ бумажки... да такихъ розгами сбьютъ, розгами, розгами!

— Татьяна Павловна, что случилось? Что сдѣлалось? Мама?...

— Узнаешь! грозно вскричала она и выбѣжала изъ комнаты,— только я ее и видѣлъ. Я, конечно бы, погнался за ней, но меня остановила одна мысль, и не мысль, а какое-то темное безпокойство: я предчувствовалъ, что „любовникъ изъ бумажки“ было въ крикахъ ея главнымъ словомъ. Конечно, я бы ничего не угадалъ самъ, но я быстро вышелъ, чтобъ, поскорѣе кончивъ съ Стебельковымъ, направиться къ князю Николаю Ивановичу. „Тамъ—всему влючь!“ подумалъ я инстинктивно.

Удивительно какимъ образомъ, но Стебельковъ уже все зналъ объ Аннѣ Андреевнѣ и даже въ подробностяхъ; не описываю его разговора и жестовъ, но онъ былъ въ восторгѣ, въ изступленіи восторга отъ „художественности подвига“.

— Вотъ это—особа-съ! Нѣтъ-съ, вотъ это—такъ особа! восклицалъ онъ.—Нѣтъ-съ, это не по нашему; мы вотъ сидимъ да и ничего, а тутъ захотѣлось испить водицы въ настоящемъ источникѣ—и испила. Это... это—древняя статуя! Это—древняя статуя Минервы-съ, только ходить и современное платье носить!

Я попросилъ его перейти къ дѣлу; все дѣло, какъ я и предугадалъ вполнѣ, заключалось лишь въ томъ, чтобы склонить и уговорить князя ѣхать просить окончательной помощи у князя Николая Ивано-

вча. „Не то вѣдь ему очень, очень плохо можетъ быть, и не по моей ужь волѣ; такъ или не такъ“?

Онъ заглядывалъ мнѣ въ глаза, но, кажется, не предполагалъ, что мнѣ чтонибудь болѣе вчерашняго извѣстно. Да и не могъ предположить: само собою разужьется, что я ни словомъ, ни намекомъ не выдалъ, что знаю „объ акціяхъ“. Объяснялись мы не долго, онъ тотчасъ же сталъ обѣщать мнѣ денегъ, „и значительно-сь, значительно-сь, только способствуйте, чтобъ князь доѣхалъ. Дѣло спѣшное, очень спѣшное, въ томъ-то и сила, что слишкомъ ужь спѣшное!“

Спорить и пререкаться съ нимъ, какъ вчера, я не захотѣлъ и всталъ выходить, на всякій случай бросивъ ему, что я „постараюсь“. Но вдругъ онъ меня удивилъ невыразимо: я уже направлялся къ двери, какъ онъ, внезапно, ласково обхвативъ мою талию рукой, началъ говорить мнѣ... самыя непонятныя вещи.

Опуская подробности и не привожу всю нить разговора, чтобъ не утомлять. Смысль въ томъ, что онъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе „познакомить его съ господиномъ Дергачевымъ, такъ какъ вы тамъ бываете!“

Я мгновенно притихъ, всѣми силами стараюсь не выдать себя какимъ-нибудь жестомъ. Тотчасъ, впрочемъ, отвѣтилъ, что вовсе тамъ незнакомъ, а если былъ, то всего одинъ разъ случайно.

— Но если были *допущены* разъ, то уже можете придти и въ другой, такъ или не такъ?

Я прямо, но очень хладнокровно спросилъ его, для чего ему это нужно? И вотъ до сихъ поръ не могу понять, какимъ образомъ до такой степени можетъ доходить наивность инаго человѣка, повидимому не глупаго и „дѣловаго“, какъ опредѣлилъ его Васинъ? Онъ совершенно прямо объяснилъ мнѣ, что у Дергачева, по подозрѣніямъ его, „навѣрно, что нибудь изъ запрещеннаго, изъ запрещеннаго строго, а потому, изслѣдовавъ, я бы могъ составить тѣмъ для себя нѣкоторую выгоду“. И онъ, улыбаясь, подмигнулъ мнѣ лѣвымъ глазомъ.

Я ничего ровно не отвѣтилъ утвердительно, но прибавилъ, что обдумываю и „обѣщаль подумать“, а затѣмъ поскорѣе ушелъ. Дѣла усложнились: я полетѣлъ къ Васину и какъ разъ засталъ его дома.

— А, и вы — тоже! загадочно проговорилъ онъ, завидѣвъ меня.

Не подымая его фразы, я прямо приступилъ къ дѣлу и рассказалъ. Онъ былъ видимо пораженъ, хотя нисколько не потерялъ хладнокровія. Онъ все подробно переспросилъ.

— Очень могло быть, что вы не такъ поняли?

— Нѣтъ; ужь понялъ вѣрно, смыслъ совершенно прямой.

— Во всякомъ случаѣ, я вамъ чрезвычайно благодаренъ, прибавилъ онъ искренно.— Да, дѣйствительно, если такъ все было, то онъ полагалъ, что вы не можете устоять противъ известной суммы.

— И къ тому же ему слишкомъ известно мое положеніе: я все игралъ, я велъ себя дурно, Василь.

— Я объ этомъ слышалъ.

— Всего загадочнѣе для меня то, что онъ знаетъ же про васъ, что и вы тамъ бываете, рискнулъ я спросить.

— Онъ слишкомъ знаетъ, совершенно просто отвѣтилъ Василь:— что я тамъ не при чемъ. Да и вся эта молодежь больше болтуны— и ничего больше; вы, впрочемъ, сами лучше всѣхъ это можете помнить.

Мнѣ показалось, что онъ какъ будто мнѣ въ чемъ-то не довѣрялъ.

— Во всякомъ случаѣ, я вамъ чрезвычайно благодаренъ.

— Я слышалъ, что дѣла г. Стебелькова нѣсколько поразстроились, попробовалъ я еще спросить:— по крайней мѣрѣ, я слышалъ про одни акціи...

— Про какія акціи вы слышали?

Я нарочно замѣтилъ объ „акціяхъ“, но ужь, разумѣется, не для того, чтобъ рассказать ему вчерашній секретъ князя. Мнѣ только захотѣлось сдѣлать намекъ и посмотреть по лицу, по глазамъ, знаетъ ли онъ что нибудь про акціи? Я достигъ цѣли: по неумовимому и мгновенному движенію въ лицѣ его, я догадался, что ему, можетъ быть, и тутъ кое-что известно. Я не отвѣтилъ на его вопросъ: „какія акціи“, а промолчалъ; а онъ, любопытно это, такъ и не продолжалъ объ этомъ.

— Какъ здоровье Лизаветы Макаровны? освѣдомился онъ съ участіемъ.

— Она здорова. Сестра моя всегда васъ уважала...

Удовольствіе блеснуло въ его глазахъ: я давно уже угадалъ, что онъ неравнодушенъ къ Лизѣ.

— У меня на дняхъ былъ князь Сергѣй Петровичъ, вдругъ общилъ онъ.

— Когда? всеричалъ я.

— Ровно четыре дня тому.

— Не вчера?

— Нѣтъ, не вчера. Онъ вопросительно посмотрѣлъ на меня.

— Потому я, можетъ быть, вамъ сообщу подробности объ этой нашей встрѣчѣ, но теперь нахожу нужнымъ предупредить васъ (загадочно проговорилъ Васинъ), что онъ показался мнѣ тогда какъ бы въ ненормальномъ состояніи духа и... ума даже. Впрочемъ, я и еще имѣлъ одинъ визитъ, вдругъ улыбнулся онъ:—сейчасъ передъ вами, и тоже принужденъ былъ заключить объ не совѣтъ нормальномъ состояніи посѣтителя.

— Князь былъ сейчасъ?

— Нѣтъ, не князь, а теперь не про князя. У меня былъ сейчасъ Андрей Петровичъ Версиловъ и... вы ничего не знаете? Не случилось съ нимъ ничего такого?

— Можетъ быть, и случилось, но что именно у васъ-то съ нимъ произошло? торопливо спросилъ я.

— Конечно, я долженъ-бы былъ тутъ сохранить секретъ... Мы какъ-то странно разговариваемъ съ вами, слишкомъ секретно, опять улыбнулся онъ.—Андрей Петровичъ, впрочемъ, не заказывалъ мнѣ секрета. Но вы — сынъ его, и, такъ какъ я знаю ваши къ нему чувства, то на этотъ разъ даже кажется хорошо сдѣлаю, если васъ предупрежу. Вообразите, онъ приходилъ ко мнѣ съ вопросомъ: „Если на случай, на дняхъ, очень скоро, ему бы потребовалось драться на дуэли, то согласился-ль бы я взять роль его секунданта?“ Я, разумѣется, вполне отказалъ ему.

Я былъ безконечно изумленъ; эта новость была вѣсѣхъ безпокойнѣе: что-то вышло, что-то произошло, что-то непременно случилось, чего я еще не знаю! Я вдругъ мелькомъ вспомнилъ, какъ Версиловъ промолвилъ мнѣ вчера: „Не я къ тебѣ приду, а ты ко мнѣ прибѣжишь“. Я полетѣлъ къ князю Николаю Ивановичу, еще болѣе предчувствуя, что тамъ разгадка. Васинъ, прощаясь, еще разъ поблагодарилъ меня.

II.

Старикъ князь сидѣлъ передъ каминомъ, окутавъ пледомъ свои ноги. Онъ встрѣтилъ меня какимъ-то даже вопросительнымъ взглядомъ, точно удивившись, что я пришелъ, а между тѣмъ самъ же, чуть не каждый день, присылалъ звать меня. Впрочемъ, поздоровался ласково, но на первые вопросы мои отвѣчалъ какъ бы нѣсколько брезгливо и ужасно какъ-то разсѣяннo. По временамъ, какъ-бы что-то соображалъ и пристально взглядывался въ меня, какъ бы что-то забывъ и припоминая

нѣчто такое, что несомнѣнно должно относиться ко мнѣ. Я прямо сказалъ, что слышалъ уже все, и очень радъ. Привѣтливая и добрая улыбка тотчасъ показалась на губахъ его и онъ оживился; осторожность и недоувѣрчивость его разомъ соскочили, точно онъ и забылъ о нихъ. Да и конечно забылъ.

— Другъ ты мой милый, я такъ и зналъ, что первый придешь, и знаешь, я вчера еще это про тебя подумалъ: „Кто обрадуется? Онъ обрадуется“. Ну, а больше-то и никто; но это ничего. Люди — злые языки, но это ничтожно... *Сher enfant*, все это такъ возвышенно и такъ прелестно... Но вѣдь ты ее знаешь самъ слишкомъ хорошо. А объ тебѣ Анна Андреевна даже высокихъ мыслей. Это, это строгое и прелестное лицо изъ англійскаго кипсека. Это—прелестнѣйшая англійская гравюра, какая только можетъ быть... Третьяго года у меня была цѣлая коллекція этихъ гравюръ... Я всегда, всегда имѣлъ это намѣреніе, всегда: я удивляюсь только, какъ я объ этомъ никогда не думалъ.

— Вы, сколько я помню, всегда такъ любили и отличали Анну Андреевну.

— Другъ мой, мы никому не хотимъ вредить. Жизнь съ друзьями, съ родными, съ милыми сердцу—это рай. Всѣ—поэты... Однимъ словомъ, еще съ доисторическихъ временъ это извѣстно. Знаешь, мы лѣтомъ сначала въ Соденъ, а потомъ въ Бад-Гаштейнъ. Но какъ ты давно однако же не былъ, мой другъ; да что съ тобой? Я тебя ожидалъ. И не правда ли какъ много-много прошло съ тѣхъ поръ. Жаль только, что я не спокоенъ: какъ только остаюсь одинъ, то и не спокоенъ. Вотъ потому-то мнѣ и нельзя одному оставаться, не правда ли? Это — вѣдь дважды-два. Я это тотчасъ же понялъ съ первыхъ же словъ ея. О другъ мой, она сказала всего только два слова, но это... это было въ родѣ великолѣпнѣйшаго стихотворенія. А, впрочемъ, вѣдь ты ей—братъ, почти братъ, не правда ли? Мой милый, не даромъ же я такъ любилъ тебя! Клянусь, я все это предчувствовалъ. Я поцаловалъ у нея ручку и заплакалъ.

Онъ вынулъ платокъ, какъ бы опять собираясь заплакать. Онъ былъ сильно потрясенъ, и, кажется, въ одномъ изъ самыхъ своихъ дурныхъ „состояній“, въ какихъ я могъ его запомнить за все время нашего знакомства. Обыкновенно и даже почти всегда онъ бывалъ несравненно свѣжѣе и добрѣе.

— Я бы всѣхъ простилъ, другъ мой, лепеталъ онъ далѣе.—Мнѣ хочется всѣхъ простить, и я давно уже ни на кого не сержусь. Искусство, *la poésie dans la vie*, вспоможеніе несчастнымъ и она, библей-

ская красота. *Quelle charmante personne, а? Les chants de Salomon... non, ce n'est pas Salomon, c'est David qui mettait une jeune belle dans son lit pour se chauffer dans sa vieillesse. Enfin David, Salomon, все это кружится у меня въ головѣ — кавардакъ какой-то. Всякая вещь, cher enfant, можетъ быть и величественна, и въ то же время смѣшна. Cette jeune belle de la vieillesse de David — c'est tout un roême, а у Поль-де-Кока вышла бы изъ этого какая нибудь scène de bassinoire, и мы бы всё смѣялись. У Поль-де-Кока нѣтъ ни мѣры, ни вкуса, хотя онъ съ талантомъ... Катерина Николаевна улыбается... Я сказалъ, что мы не будемъ мѣшать. Мы начали нашъ романъ и пусть намъ дадутъ его докончить. Пусть это—мечта, но пусть не отнимаютъ у насъ эту мечту.*

— То есть, какъ же мечта, князь?

— Мечта? Какъ мечта? Ну, пусть мечта, только пусть дадутъ умереть съ этой мечтой.

— О князь, къ чему умирать? Жить, теперь только и жить!

— А я что же говорю? Я только это и твержу. Я рѣшительно не знаю, для чего жизнь такъ коротка. Чтобъ не наскучить, конечно, ибо жизнь есть тоже художественное произведение самого Творца, въ окончательной и безукоризненной формѣ Пушкинскаго стихотворенія. Краткость есть первое условіе художественности. Но если кому не скучно, тѣмъ бы и дать пожить подольше.

— Скажите, князь, это уже гласно?

— Нѣтъ! мой милый, отнюдь нѣтъ; мы всё такъ и уговорились. Это семейно, семейно и семейно. Пока, я лишь открылся вполнѣ Катеринѣ Николаевнѣ, потому что считаю себя передъ нею виновнымъ. О, Катерина Николаевна—ангелъ, она ангелъ!

— Да, да!

— Да? И ты да? А я думалъ, что ты-то ей и врагъ. Ахъ, да, кстати, она вѣдь просила не принимать тебя болѣе. И представь себѣ, когда ты вошелъ, а это вдругъ позабылъ.

— Что вы говорите? вскопчалъ я:—за что? Когда?

(Предчувствіе не обмануло меня; да, а именно въ этомъ родѣ предчувствовала съ самой Татьяны!)

— Вчера, мой милый, вчера, а даже не понимаю, какъ ты теперь прошелъ, ибо приняты мѣры. Какъ ты вошелъ?

— Я просто вошелъ.

— Вѣроятноже всего. Еслибъ ты съ хитростью вошелъ, они бы, навѣрно, тебя изловили, а такъ какъ ты просто вошелъ, то они тебя и подростокъ.

пропустили. Простота, mon cher, это въ сущности высочайшая хитрость.

— Я ничего не понимаю: стало быть, и вы рѣшили не принимать меня?

— Нѣтъ, мой другъ, я сказалъ, что я въ сторонѣ... То есть я далъ полное согласіе. И будь увѣренъ, мой милый мальчикъ, что я тебя слишкомъ люблю. Но Катерина Николаевна слишкомъ-слишкомъ настоятельно потребовала.. А, да вот!

Въ эту минуту вдругъ показалась въ дверяхъ Катерина Николаевна. Она была одѣта какъ для выѣзда, и, какъ и прежде это бывало, зашла къ отцу поцаловать его. Увидя меня, она остановилась, смутилась, быстро повернулась и вышла.

— Voilà! вскричалъ пораженный и ужасно взволнованный князь.

— Это недоразумѣніе! вскричалъ я:—это какая-то одна минута... Я... я сейчасъ къ вамъ, князь!

И я выбѣжалъ вслѣдъ за Катериной Николаевной.

Затѣмъ все, что послѣдовало, совершилось такъ быстро, что я не только не могъ сообразиться, но даже и чуть-чуть приготовиться какъ вести себя. Еслибъ я могъ приготовиться, я бы, конечно, велъ себя иначе! Но я потерялся какъ маленькій мальчикъ. Я было бросился въ ея комнаты, но лакей на дорогѣ сказалъ мнѣ, что Катерина Николаевна уже вышла и садится въ карету. Я бросился, сломя голову, на парадную лѣстницу. Катерина Николаевна сходила внизъ, въ своей шубѣ, и рядомъ съ ней шель, или лучше сказать велъ ее высокій стройный офицеръ, въ формѣ, безъ шинели, съ саблей; шинель нетъ за нимъ лакей. Это былъ баронъ, полковникъ, лѣтъ тридцати пяти, щеголеватый типъ офицера, сухощавый, съ немного слишкомъ продолговатымъ лицомъ, съ рыжеватыми усами и даже рѣсницами. Лицо его было хоть и совсѣмъ некрасиво, но съ рѣзкой и вызывающей физиономіей. Я описываю на скоро, какъ замѣтилъ въ ту минуту. Передъ тѣмъ же а его никогда не видалъ. Я бѣжалъ за ними по лѣстницѣ безъ шляпы и безъ шубы. Катерина Николаевна меня замѣтила первая и быстро прошептала ему что-то. Онъ повернулъ было голову, но тотчасъ же кивнулъ слугѣ и швейцару. Слуга шагнулъ было ко мнѣ у самой уже выходной двери, но я отвелъ его рукой и выскочилъ вслѣдъ за ними на крыльцо. Бюрингъ усаживалъ Катерину Николаевну въ карету.

— Катерина Николаевна! Катерина Николаевна! восклицалъ я бессмысленно (какъ дуракъ! Какъ дуракъ! О, я все припоминаю, я былъ безъ шляпы!)

Бьорингъ свирѣпо повернулся было опять къ слугѣ и что-то крикнулъ ему громко, одно или два слова, я не разобралъ. Я почувствовалъ, что кто-то схватилъ было меня за локоть. Въ эту минуту карета тронулась; я крикнулъ было опять и бросился за каретой. Катерина Николаевна, я видѣлъ это, выглядывала въ окно кареты, и, кажется, была въ большомъ безпокойствѣ. Но въ быстромъ движеніи моемъ, когда я бросился, я вдругъ сильно толкнулъ, совсѣмъ о томъ не думая, Бьоринга и, кажется, очень больно наступилъ ему на ногу. Онъ слегка вскрикнулъ, скрежетнулъ зубами, и сильною рукою схвативъ меня за плечо, злобно оттолкнулъ, такъ что я отлетѣлъ шага на три. Въ это мгновеніе ему подали шинель, онъ накинулъ, сѣлъ въ сани и изъ саней еще разъ грозно крикнулъ, указывая на меня лакеямъ и швейцару. Тутъ они схватили и удержали: одинъ слуга набросилъ на меня шубу, другой подаль шляпу и—я ужъ не помню, что они тутъ говорили; они что-то говорили, а я стоялъ и ихъ слушалъ, ничего не понимая. Но вдругъ бросилъ ихъ и побѣжалъ.

III.

Ничего не разбирая и наталкиваясь на народъ, добѣжалъ я наконецъ до квартиры Татьяны Павловны, даже не догадавшись нанять дорогой извозчика. Бьорингъ оттолкнулъ меня при ней! Конечно, я отдалъ ему ногу и онъ инстинктивно оттолкнулъ меня какъ человѣкъ, которому наступили на мозоль (а, можетъ, я и впрямь раздавилъ ему мозоль!) Но она видѣла, и видѣла, что меня хватаютъ слуги, и это все при ней, при ней! Когда я вбѣжалъ къ Татьянѣ Павловнѣ, то въ первую минуту не могъ ничего говорить и нижняя челюсть моя тряслась, какъ въ лихорадкѣ. Да, я и былъ въ лихорадкѣ и, сверхъ того, плакалъ... О, я былъ такъ оскорбленъ!

— А! Что? Вытолкали? И по дѣломъ, и по дѣломъ! проговорилъ Татьяна Павловна; я молча опустился на диванъ и глядѣлъ на нее.

— Да что съ нимъ? оглядѣла она меня пристально.—На, выпей стаканъ, выпей воду, выпей! Говори, что ты еще тамъ накуралесилъ?

Я пробормоталъ, что меня выгнали, а Бьорингъ толкнулъ на улицѣ.

— Понимать-то можешь что нибудь, али еще нѣтъ? На, вотъ прочти, полюбуйся. И, взявъ со стола записку, она подала ее мнѣ, а сама стала передо мной въ ожиданіи. Я сейчасъ узналъ руку Версикова, было всего нѣсколько строкъ: это была записка къ Катеринѣ Николаевнѣ. Я вздрогнулъ и пониманіе мгновенно воротилось ко мнѣ во

всей силѣ. Вотъ содержаніе этой ужасной, безобразной, негѣпой, разбойнической записки слово въ слово:

„Милостивая государыня,

„Катерина Николаевна.

„Какъ вы ни развратны, по природѣ вашей и по искусству вашему, но все же я думалъ, что вы сдержите ваши страсти и не посягнете по крайней мѣрѣ на дѣтей. Но вы и этого не устыдились. Увѣдомляю васъ, что извѣстный вамъ документъ навѣрно не сожженъ на свѣчѣхъ и никогда не былъ у Крафта, такъ что вы ничего тутъ не выиграете. А потому и не развращайте напрасно юношу. Пощадите его, онъ еще несовершеннолѣтній, почти мальчикъ, не развитъ и умственно и физически, чтожь вамъ въ немъ проку? Я беру въ немъ участіе, а потому и рискнулъ написать вамъ, хоть и не надѣюсь на успѣхъ. Честь имѣю предупредить, что копію съ сего одновременно посылаю въ барону Бьорингу.

А. Версильовъ“.

Я блѣднѣлъ, читая, но потомъ вдругъ вспыхнулъ, и губы мои затряслись отъ негодованія.

— Это онъ про меня! Это про то, что я открылъ ему третьяго дня! вскричалъ я въ ярости.

— То-то и есть, что открылъ! вырвала у меня записку Татьяна Павловна.

— Но... я не то, совсѣмъ не то говорилъ! О, Боже, что она можетъ обо мнѣ теперь подумать! Но вѣдь это сьумасшедшій? Вѣдь онъ сьумасшедшій... Я вчера его видѣлъ. Когда письмо было послано?

— Вчера днемъ послано, вечеромъ пришло, а сегодня она мнѣ передала лично.

— Но я его видѣлъ вчера самъ, онъ сьумасшедшій! Такъ не могъ написать Версильовъ, это писалъ сьумасшедшій! Кто можетъ написать такъ женщинѣ?

— А вотъ такіе сьумасшедшіе въ ярости и пишутъ, когда отъ ревности да отъ злобы ослѣпнуть и оглохнуть, а кровь въ ядъ-мышьякъ обратится... А ты еще не зналъ про него, каковъ онъ есть! Вотъ его и приклоннуть теперь за это, такъ что только мокренько будетъ. Самъ подъ сѣкиру лѣзетъ! Да лучше поди ночью на николаевскую дорогу, положи голову на рельсы, вотъ и оттяпали бы ее ему, коли тяжело стало носить! Тебя-то что дернуло говорить ему! Тебя то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумалъ?

— Но какая же ненависть! Какая ненависть! хлопнулъ я себя по головѣ рукой:—и за что, за что? Къ женщинѣ! Что она ему такое сдѣлала? Что такое у нихъ за сношенія были, что такія письма можно писать?

— Не-на-висть! съ яростной насмѣшкой передразнила меня Татьяна Павловна.

Кровь ударила мнѣ опять въ лицо: я вдругъ какъ бы что-то понялъ совсѣмъ уже новое; я глядѣлъ на нее вопросительно изо всѣхъ силъ.

— Убирайся ты отъ меня! взвизгнула она, быстро отвернувшись и махнувъ на меня рукой.—Довольно я съ вами со всѣми возилась! Полно теперь! Хоть провалитесь вы всѣ сквозъ землю!.. Только твою мать одну еще жалко...

Я, разумѣется, побѣждалъ къ Версилову. Но такое коварство! Такое коварство!

IV.

Версилловъ былъ не одинъ. Объясню заранѣе: отославъ вчера такое письмо къ Катеринѣ Николаевнѣ, и дѣйствительно (одинъ только Богъ знаетъ зачѣмъ), пославъ копію съ него барону Бьорингу, онъ естественно сегодня же, въ теченіи дня, долженъ былъ ожидать и извѣстныхъ „послѣдствій“ своего поступка, а потому и принялъ своего рода мѣры; съ утра еще онъ перевелъ маму и Лизу (которая, какъ я узналъ потомъ, воротившись еще утромъ, расхворалась и лежала въ постели), на верхъ, „въ гробъ“, а комнаты, и особенно наша гостиная, были усиленно прибраны и выметены. И дѣйствительно, въ два часа пополудни пожаловалъ къ нему одинъ баронъ Р., полковникъ, военный, господинъ лѣтъ сорока, нѣмецкаго происхожденія, высокій, сухой и съ виду очень сильный физически человекъ, тоже рыжеватый, какъ и Бьорингъ, и немного только плѣшивый. Это былъ одинъ изъ тѣхъ бароновъ Р., которыхъ очень много въ русской военной службѣ, все людей съ сильнѣйшимъ баронскимъ гоноромъ, совершенно безъ состоянія, живущихъ однимъ жалованьемъ и чрезвычайныхъ служаекъ и фрунтовиновъ. Я не засталъ начала ихъ объясненія; оба были очень оживлены, да и какъ не быть. Версилловъ сидѣлъ на диванѣ передъ столомъ, а баронъ въ креслахъ сбоку. Версилловъ былъ блѣденъ, но говорилъ сдержанно и цѣдя слова, баронъ же возвышалъ голосъ и видимо наклоненъ былъ къ порывистымъ жестамъ, сдерживался черезъ силу, но смотрѣлъ строго, высокомерно и даже презрительно, хотя и

не безъ нѣкотораго удивленія. Завидѣвъ меня, онъ нахмурился, но Версиловъ почти мнѣ обрадовался:

— Здравствуй, мой милый. Баронъ, это вотъ и есть тотъ самый очень молодой человекъ, объ которомъ упомянуто было въ запискѣ, и повѣрьте, онъ не помѣшаетъ, а даже можетъ понадобиться. (Баронъ презрительно оглядѣлъ меня).—Милый мой, прибавилъ мнѣ Версиловъ:—я даже радъ, что ты пришелъ, а потому посиди въ углу, прошу тебя, пока мы кончимъ съ барономъ. Не беспокойтесь, баронъ, онъ только посидитъ въ углу.

Мнѣ было все равно, потому что я рѣшился, и кромѣ того, все это меня поражало; я сѣлъ молча въ уголь, какъ можно болѣе въ уголь, и просидѣлъ, не смигнувъ и не пошевелившись до конца объясненія...

— Еще разъ вамъ повторяю, баронъ, твердо отчеканивая слова, говорилъ Версиловъ, что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написалъ это недостойное и болѣзненное письмо, я считаю не только наиблагороднѣйшимъ существомъ, но и верхомъ всѣхъ совершенствъ!

— Такое опроверженіе своихъ же словъ, какъ я уже вамъ замѣтилъ, похоже на подтвержденіе ихъ вновь, промывалъ баронъ.—Ваши слова рѣшительно непочтительны.

— И, однако, всего будетъ вѣрнѣе, если вы ихъ примите въ точномъ смыслѣ. Я, видите-ли, страдаю припадками и... разными разстройствами, и даже лечусь, а потому и случилось, что въ одну изъ подобныхъ минутъ...

— Эти объясненія никакъ не могутъ входить. Еще и еще разъ говорю вамъ, что вы упорно продолжаете ошибаться, можетъ быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредилъ васъ съ самаго начала, что весь вопросъ относительно этой дамы, то есть о письмѣ вашемъ собственно къ генеральшѣ Ахмаковой, долженъ служить, при нашемъ теперешнемъ объясненіи, быть устраненъ окончательно; вы же все возвращаетесь. Баронъ Бьорингъ просилъ меня и поручилъ мнѣ особенно привести въ ясность собственно лишь то, что тутъ до одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщеніе этой „копіи“, а потомъ вашу приписку, что „вы готовы отвѣчать за это чѣмъ и какъ угодно“.

— Но, кажется, послѣднее уже ясно безъ разъясненій.

— Понимаю, слышалъ. Вы даже не просите извиненія, а продолжаете лишь настаивать, что „готовы отвѣчать чѣмъ и какъ угодно“. Но это слишкомъ будетъ дешево. А потому я уже теперь нахожу себя въ правѣ, въ видахъ оборота, который вы упорно хотите придать объяс-

ненію, высказать вамъ съ своей стороны все уже безъ стѣсненія, то есть я пришелъ къ заключенію, что барону Бьорингу ни-ка-кимъ образомъ нельзя имѣть съ вами дѣла... на равныхъ основаніяхъ.

— Такое рѣшеніе, конечно, одно изъ самыхъ выгодныхъ для друга вашего, барона Бьоринга, и, признаюсь, вы меня нисколько не удивили: я ожидалъ того..

Замѣчу въ скобкахъ: мнѣ слишкомъ было видно съ первыхъ словъ, съ перваго взгляда, что Версиловъ даже ищетъ взрыва, вызываетъ и дразнить этого раздражительнаго барона и слишкомъ, можетъ быть, испытываетъ его терпѣніе. Барона покорило.

— Я слышала, что вы можете быть остроумнымъ, но остроуміе еще не умъ.

— Чрезвычайно глубокое замѣчаніе, полковникъ.

— Я не спрашивалъ похвалъ вашихъ, вскрикнулъ баронъ, и не переливать изъ пустаго прѣхаль! Извольте выслушать: баронъ Бьорингъ былъ въ большомъ сомнѣніи, получивъ письмо ваше, потому что оно свидѣтельствовало о сьумасшедшемъ домѣ. И, конечно, могли быть тотчасъ же найдены средства, чтобъ васъ... успокоить. Но для васъ, по нѣкоторымъ особымъ соображеніямъ, было сдѣлано снисхожденіе и объ васъ были наведены справки: оказалось, что хотя вы и принадлежали къ хорошему обществу и когда-то служили въ гвардіи, но изъ общества исключены и репутація ваша болѣе чѣмъ сомнительна. Однако не смотря и на это, я прибылъ сюда, чтобъ удостовѣриться лично, и вотъ, сверхъ всего, вы еще позволяете себѣ играть словами и сами засвидѣтельствовали о себѣ, что подвержены припадкамъ. Довольно! Положеніе барона Бьоринга и его репутація не могутъ снисходить въ этомъ дѣлѣ.. Однимъ словомъ, милостивый государь, я уполномоченъ вамъ объявить, что если за симъ послѣдуетъ повтореніе или хоть что нибудь похожее на прежній поступокъ, то найдены будутъ немедленно средства васъ усмирить, весьма скорыя и вѣрныя, могу васъ увѣрить. Мы живемъ не въ лѣсу, а въ благоустроенномъ государствѣ!

— Вы такъ въ этомъ увѣрены, мой добрый баронъ Р ?

— Чортъ возьми, вдругъ всталъ баронъ: — вы меня слишкомъ испытываете доказать вамъ сейчасъ, что я не очень-то „добрый вашъ баронъ Р.“.

— Ахъ, еще разъ, предупреждаю васъ, поднялся и Версиловъ:— что здѣсь недалеко моя жена и дочь... а потому я бы васъ просилъ говорить не столь громко, потому что ваши крики до нихъ долетаютъ.

— Ваша жена... чортъ... Если я сидѣлъ и говорилъ теперь съ

вами, то единственно съ цѣлью разъяснить это гнусное дѣло, съ прежнимъ гнѣвомъ и нисколько не понижая голоса продолжалъ баронъ. — Довольно! вскричалъ онъ яростно:—вы не только исключены изъ круга порядочныхъ людей, но вы—маньякъ, настоящій помѣшанный маньякъ и такъ васъ атестовали! Вы снисхожденія недостойны, и объявляю вамъ, что сегодня же на счетъ васъ будутъ приняты мѣры и васъ позовутъ въ одно такое мѣсто, гдѣ вамъ съумѣютъ возвратить разсудокъ... и вывезутъ изъ города!

Онъ быстрыми и большими шагами вышелъ изъ комнаты. Версидовъ не провожалъ его. Онъ стоялъ, глядѣлъ на меня разсѣянно и какъ бы меня не замѣчая; вдругъ онъ улыбнулся, тряхнулъ волосами и, взявъ шляпу, направился тоже къ дверямъ. Я схватилъ его за руку.

— Ахъ да, и ты тутъ? Ты... слышалъ? остановился онъ предо мной.

— Какъ могли вы это сдѣлать! Какъ могли вы такъ исказить, такъ опозорить!.. Съ такимъ коварствомъ!

Онъ смотрѣлъ пристально, но улыбка его раздвигалась все болѣе и болѣе, и рѣшительно переходила въ смѣхъ.

— Да вѣдъ меня же опозорили... при ней! При ней! Меня осмѣяли въ ея глазахъ, а онъ... толкнулъ меня! вскричалъ я видѣ себя.

— Неужели? Ахъ, бѣдный мальчикъ, какъ мнѣ тебя жаль... Такъ тебя тамъ ос-мѣ-яли!

— Вы смѣтаетесь, вы смѣтаетесь надо мной! Вамъ смѣшно!

Онъ быстро вырвалъ изъ моей руки свою руку, надѣлъ шляпу и, смѣясь, смѣясь уже настоящимъ смѣхомъ, вышелъ изъ квартиры. Что мнѣ было догонять его, зачѣмъ? Я все понялъ и — все потерялъ въ одну минуту! Вдругъ я увидѣлъ маму; она сошла сверху и робко оглядывалась.

— Ушелъ?

Я молча обнялъ ее, а она меня крѣпко, крѣпко, такъ и прижалась ко мнѣ.

— Мама, родная, неужто вамъ можно оставаться? Пойдите сейчасъ, я васъ укрою, я буду работать для васъ, какъ каторжный, для васъ и для Лизы... Вросите ихъ всѣхъ, всѣхъ и уйдемъ. Будемъ одни. Мама, помните, какъ вы ко мнѣ въ Тушару приходили и какъ я васъ признать не хотѣлъ?

— Помню, родной; я всю жизнь передъ тобой виновата, я тебя родила, а тебя не знала.

— Онъ виноватъ въ этомъ, мама, это онъ во всемъ виноватъ; онъ насъ никогда не любилъ.

— Нѣтъ, любилъ.

— Пойдемте, мама.

— Куда я отъ него пойду, что онъ счастливъ, что ли?

— Гдѣ Лиза?

— Лежитъ; пришла — прихворнула; боюсь я. Что они очень на него тамъ сердятся? Что съ нимъ теперь сдѣлаютъ? Куда онъ пошелъ? Что этотъ офицеръ тутъ грозилъ?

— Ничего ему не будетъ, мама, никогда ему ничего не бываетъ, никогда ничего съ нимъ не случится и не можетъ случиться. Это такой человекъ! Вотъ Татьяна Павловна, ее спросите, коли не вѣрите, вотъ она. (Татьяна Павловна вдругъ вошла въ комнату). Прощайте, мама. Я къ вамъ сейчасъ, и когда приду, опять спрошу то же самое...

Я выбѣжалъ; я не могъ видѣть кого бы то ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотѣлъ быть одинъ, одинъ.

V.

Но я не прошелъ и улицы, какъ почувствовалъ, что не могу ходить, бессмысленно наталкиваясь на этотъ народъ, чужой и безучастный; но куда же дѣться? Кому я нуженъ и—что мнѣ теперь нужно? Я машинально прибрелъ къ князю Сергѣю Петровичу, вовсе о немъ не думая. Его не было дома. Я сказалъ Петру (человѣку его), что буду ждать въ кабинетъ (какъ и множество разъ это дѣлалось). Кабинетъ его была большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрелъ въ самый темный уголъ, сѣлъ на диванъ и, положивъ локти на столъ, подперъ обѣими руками голову. Да, вотъ вопросъ: „что мнѣ теперь нужно?“ Если я и могъ тогда формулировать этотъ вопросъ, то всего менѣе могъ на него отвѣтить.

Но я не могъ ни думать толкомъ, ни спрашивать. Я уже предуведомилъ выше, что, подъ конецъ этихъ дней, я былъ „раздавленъ событіями“; я теперь сидѣлъ и все какъ хаосъ вертѣлось въ умѣ моемъ. „Да, я въ немъ все проглядѣлъ, и ничего не уразумѣлъ“, мерещилось мнѣ минутами. „Онъ засмѣялся сейчасъ мнѣ въ глаза: это не надо мной: тутъ все Бьорингъ, а не я. Третьяго дня за обѣдомъ ужъ онъ все зналъ и былъ ираченъ. Онъ подхватилъ у меня мою глупую исповѣдь въ трактирѣ и исказилъ все на счетъ всякой правды, только зачѣмъ ему было правды? Онъ ни полслову самъ не вѣритъ изъ того, что ей написалъ. Ему надо было только оскорбить, бессмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись къ предлогу,

а предлогъ дать я... Поступокъ бѣшеной собаки! Убить, что ли, онъ теперь хочетъ Бьоринга? Для чего? Его сердце знаетъ для чего! А я ничего не знаю, что въ его сердцѣ... Нѣтъ, нѣтъ, и теперь не знаю. Неужели до такой страсти ее любить? Или до такой страсти ее ненавидить? Я не знаю, а знаетъ ли онъ самъ-то? Что это я сказалъ мамѣ, что съ нимъ „ничего не можетъ сдѣлаться; что я этимъ хотѣлъ сказать? Потерялъ я его или не потерялъ?“

...„Она видѣла, какъ меня толкали... Она тоже смѣялась или нѣтъ? Я бы смѣялся! Шпіона били, шпіона!..“

„Что значитъ (мелькнуло мнѣ вдругъ), что значитъ, что онъ ввключилъ въ это гадкое письмо, что документъ вовсе не сожженъ, а существуетъ?..“

„Онъ не убьетъ Бьоринга, а навѣрно теперь въ трактирѣ сидитъ и слушаетъ Лючію! А можетъ послѣ Лючин поидеть и убьетъ Бьоринга. Бьорингъ толкнулъ меня, вѣдь почти ударилъ; ударилъ ли? Бьорингъ даже и съ Версиловымъ драться брезгаетъ, такъ развѣ поидеть со мной? „Можетъ быть, мнѣ надо будетъ убить его завтра изъ револьвера, выждавъ на улицѣ“... И вотъ эту мысль провель я въ умѣ совсѣмъ машинально, не останавливаясь на ней нисколько.

Минутами мнѣ какъ бы мечталось, что вотъ сейчасъ откроится дверь, войдетъ Катерина Николаевна, подастъ мнѣ руку и мы оба разсмѣемся... О, студентъ, мой милый! Это мнѣ мерещилось, то есть. желалось, ужъ когда очень стѣмнѣло въ комнатѣ. „Да давно ли это было, что я стоялъ передъ ней, прощался съ ней, а она подавала мнѣ руку и смѣялась? Какъ могло случиться, что въ такое короткое время вышло такое ужасное разстояніе! Просто пойти къ ней и объясниться сейчасъ же, сію минуту, просто, просто! Господи, какъ это такъ вдругъ совсѣмъ новый міръ начался! Да, новый міръ, совсѣмъ, совсѣмъ новый... А Лиза, а князь, это еще старыя... Вотъ я здѣсь теперь у князя. И мама, — какъ могла она жить съ нимъ, коли такъ? Я бы могъ, я все смогу, но она? Теперь что же будетъ? И вотъ, какъ въ вихрѣ, фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, князя, Афердова, всѣхъ, безслѣдно замелькали въ моемъ больномъ мозгу. Но мысли становились все безформеннѣе и неуловимѣе; я радъ былъ, когда удавалось осмыслить какую нибудь и ухватиться за нее.

„У меня есть „идея“! подумалъ было я вдругъ: — да такъ ли? Не наизусть ли я затвердилъ? Моя идея — это мракъ и уединеніе, а развѣ теперь ужъ возможно уползти назадъ въ прежній мракъ? Ахъ, Боже мой, я вѣдь не сжегъ „документъ“? Я такъ и забылъ его сжечь

третьяго дня. Ворочусь и сожгу на свѣчкѣ, именно на свѣчкѣ; не знаю только, то-ли я теперь думаю...”

Давно смерклося и Петръ принесъ свѣчи. Онъ постоялъ надо мной и спросилъ: Кушалъ ли я? Я только махнулъ рукой. Однако, спустя часъ онъ принесъ мнѣ чаю и я съ жадностью выпилъ большую чашку. Потомъ я освѣдомился, который часъ? Было половина девятого, и я даже не удивился, что сижу уже пять часовъ.

— Я къ вамъ уже раза три входилъ, сказалъ Петръ, да вы, кажется, спали.

Я же не помнилъ, что онъ входилъ. Не знаю почему, но вдругъ ужасно испугавшись, что я „спаль“, я всталъ и началъ ходить по комнатѣ, чтобъ опять не „заснуть“. Наконецъ, сильно начала болѣть голова. Ровно въ десять часовъ вошелъ князь и я удивился тому, что я ждалъ его: я о немъ совсѣмъ забылъ, совсѣмъ.

— Вы здѣсь, а я забѣжалъ къ вамъ, за вами, сказалъ онъ мнѣ. Лицо его было мрачно и строго, ни малѣйшей улыбки. Въ глазахъ неподвижная идея.

— Я бился весь день и употребилъ все мѣры, продолжалъ онъ сосредоточенно:—все рушилось, а въ будущемъ ужасъ... (NB. онъ такъ и не былъ у князя Николая Ивановича). Я видѣлъ Жибельскаго, это человекъ невозможный. Видите: сначала надо имѣть деньги, а потомъ мы увидимъ. А если и съ деньгами не удастся, тогда... Но я сегодня рѣшился объ этомъ не думать. Добудемъ сегодня только деньги, а завтра все увидимъ. Вашъ третьеводнишній выигрышъ еще цѣль до копѣйки. Тамъ безъ трехъ рублей три тысячи. За вычетомъ вашего долга, вамъ остается сдачи триста сорокъ рублей. Возьмите ихъ и еще семьсотъ, чтобъ была тысяча, а я возьму остальные двѣ. Затѣмъ сядемъ у Зерщикова на двухъ разныхъ концахъ и попробуемъ выиграть десять тысячъ—можетъ что нибудь сдѣлаемъ, не выиграемъ—тогда... Впрочемъ, только это и остается.

Онъ фатально посмотрѣлъ на меня.

— Да, да! вскричалъ я вдругъ, точно воскресая:—ѣдемъ. Я только васъ и ждалъ...

Замѣчу, что я ни одного мгновенія не думалъ въ эти часы о рулеткѣ.

— А подлость? А низость поступка? спросилъ вдругъ князь.

— Это, что мы на рулетку-то! Да это все! вскричалъ я:—деньги все! Это только мы съ вами святые, а Бьорингъ продалъ же себя. Анна Андреевна продала же себя, а Версиловъ — слышали вы, что Версиловъ маньякъ? Маньякъ! Маньякъ!

— Вы здоровы, Аркадій Макаровичъ? У васъ какіе-то странные глаза.

— Это вы, чтобъ безъ меня уѣхать? Да я отъ васъ теперь не отстану. Не даромъ мнѣ всю ночь игра снилась. Ёдемъ, ёдемъ! вскрикивалъ я, точно вдругъ нашелъ всему разгадку.

— Ну, такъ ёдемъ, хоть вы и въ лихорадкѣ, а тамъ...

Онъ не договорилъ. Тяжелое, ужасное было у него лицо. Мы уже выходили.

— Знаете ли, сказалъ онъ вдругъ, приостановившись въ дверяхъ:— что есть и еще одинъ выходъ изъ бѣды, кромѣ игры?

— Какой?

— Княжескій!

— Что же? Что же?

— Потому узнаете что. Знайте только, что я уже его недостоинъ, потому что опоздалъ. Ёдемъ, а вы попомните мое слово. Попробуемъ выходъ лавейскій... И развѣ я не знаю, что я сознательно, съ полной волей ёду и дѣйствую, какъ лавей!

VI.

Я полетѣлъ на рулетку, какъ будто въ ней сосредоточилось все мое спасеніе, весь выходъ, а, между тѣмъ, какъ сказалъ уже, до пріѣзда князя я объ ней и не думалъ. Да и играть ѣхалъ я не для себя, а на деньги князя для князя же; осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреодолимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти круперы, эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мнѣ все это такъ омерзительно, такъ мрачно, такъ грубо и грустно, какъ въ этотъ разъ! Я слишкомъ помню скорбь и и грусть, по временамъ хватавшую меня за сердце во всѣ эти часы у стола. Но для чего я не уѣзжалъ? Для чего выносилъ, точно принявъ на себя жребій, жертву, подвигъ? Скажу лишь одно: врядъ ли я могу сказать про себя тогдашняго, что былъ въ здоровомъ разсудкѣ. А между тѣмъ, никогда еще не игралъ я такъ разумно, какъ въ этотъ вечеръ. Я былъ молчаливъ и сосредоточенъ, внимателенъ и расчетливъ ужасно; я былъ терпѣливъ и скупъ и въ то же время рѣшителенъ въ рѣшительныя минуты. Я помѣстился опять у Зего, то есть, опять между Зерщиковымъ и Афердовымъ, который всегда усаживался подлѣ Зерщикова справа; мнѣ претило это мѣсто, но мнѣ непремѣнно хотѣлось ставить на его, а всѣ остальные мѣста у Зего были заняты. Мы играли

уже слишкомъ часъ; наконецъ, я увидѣлъ съ своего мѣста, что князь вдругъ всталъ и, блѣдный, перешелъ къ намъ и остановился передо мной напротивъ, черезъ столъ: онъ все проигралъ и молча смотрѣлъ на мою игру, впрочемъ, вѣроятно, ничего въ ней не понимая и даже не думая уже объ игрѣ. Въ этому времени я только что сталъ выигрывать и Зерщиковъ отсчиталъ мнѣ деньги. Вдругъ Афердовъ, молча, въ моихъ глазахъ, самымъ наглымъ образомъ взялъ и присоединилъ къ своей, лежавшей передъ нимъ кучѣ денегъ, одну изъ моихъ сторублевыхъ. Я вскрикнулъ и схватилъ его за руку. Тутъ со мной произошло нѣчто мною неожиданное: я точно сорвался съ цѣпи; точно всѣ ужасы и обиды этого дня вдругъ сосредоточились въ этомъ одномъ мгновѣннн, въ этомъ исчезновеннн сторублевой. Точно все накопившееся и сдавленное во мнѣ ждало только этого мига, чтобы прорваться.

— Это—воръ: онъ укралъ у меня сейчасъ сторублевую! восклицалъ я, озкаясь кругомъ внѣ себя.

Не описываю поднявшейся суматохи; такая исторiя была здѣсь совершенною новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тѣмъ славилась. Но я не помнилъ себя. Среди шума и криковъ вдругъ послышался голосъ Зерщикова:

— И, однакоже, денегъ нѣтъ, а они здѣсь лежали! Четыреста рублей!

Разомъ вышла и другая исторiя: пропали деньги въ банкѣ, подъ носомъ у Зерщикова, пачка въ четыреста рублей. Зерщиковъ указывалъ мѣсто, гдѣ онѣ лежали, „сейчасъ только лежали“, и это мѣсто оказывалось прямо подлѣ меня, соприкасалось со мной, съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ лежали мои деньги, то есть гораздо, значить, ближе ко мнѣ, чѣмъ къ Афердову.

— Воръ здѣсь! Это онъ опять укралъ, общите его! восклицалъ я, указывая на Афердова.

— Это—все потому, раздался чей-то громовый и внушительный голосъ среди общихъ криковъ, что входятъ неизвѣстно какіе. Пускаютъ нереккомендованныхъ! Кто его ввелъ? Кто онъ такой?

— Долгорукій какой-то.

— Князь Долгорукій?

— Его князь Сокольскій ввелъ, закричалъ кто-то.

— Слышите, князь, вопилъ я ему черезъ столъ въ изступленнн:— они меня же воровъ считаютъ, тогда какъ меня же здѣсь сейчасъ обобрали! Скажите же имъ, скажите имъ обо мнѣ!

И вотъ тутъ произошло нѣчто самое ужасное изъ всего, что слу-

чилось во весь день... даже изъ всей моей жизни; князь отрекся. Я видѣлъ, какъ онъ пожалъ плечами и въ отвѣтъ на сыпавшіеся вопросы рѣзко и ясно выговорилъ:

— Я ни за кого не отвѣчаю. Прошу оставить меня въ покоѣ.

Между тѣмъ, Афердовъ стоялъ среди толпы и громко требовалъ, чтобъ его обыскали. Онъ выворачивалъ самъ свои карманы. Но на требованіе его отвѣчали криками: „Нѣтъ, нѣтъ, воръ извѣстенъ!“ Два призванные лакея схватили меня сзади за руки.

— Я не дамъ себя обыскивать, не позволю! кричалъ я, вырываясь.

Но меня увлекли въ сосѣднюю комнату, тамъ, среди толпы, меня обыскали всего до послѣдней складки. Я кричалъ и рвался.

— Сбросилъ, должно быть, надо на полу искать, рѣшилъ кто-то.

— Гдѣ жъ теперь искать на полу?

— Подъ столъ, должно быть, какъ нибудь успѣлъ забросить!

— Конечно, слѣдъ простылъ...

Меня вывели, но я какъ-то успѣлъ стать въ дверяхъ и съ бессмысленной яростію прокричалъ на всю залу:

— Рулетка запрещена полиціей. Сегодня же донесу на всѣхъ васъ!

Меня свели внизъ, одѣли и... отворили передо мной дверь на улицу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

День закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вотъ что я запомнилъ изъ этой ночи.

Я думаю, былъ первый часъ въ началѣ, когда я очутился на улицѣ. Ночь была ясная, тихая и морозная. Я почти бѣжалъ, страшно торопился, но — совсѣмъ не домой. „Зачѣмъ домой? Развѣ теперь можетъ быть домъ? Въ домѣ живутъ, я завтра проснусь, чтобъ жить, — а развѣ это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсѣмъ нельзя“. И вотъ, я брелъ по улицамъ, совсѣмъ не разбирая куда иду, да и не знаю, хотѣлъ-ли куда добѣжать? Мнѣ было очень жарко и я поминутно распахивалъ тяжелую оготовую мою шубу. „Теперь уже никакое дѣйствіе, казалось мнѣ въ ту минуту, не можетъ имѣть никакой цѣли“. И странно: мнѣ все казалось, что все кругомъ, даже воздухъ, которымъ я дышу, былъ какъ будто съ иной планеты, точно

я вдругъ очутился на лунѣ. Все это — городъ, прохожіе, тротуаръ, по которому я бѣжалъ—все это было уже *не мое*. „Вотъ это — Дворцовая площадь, вотъ это—Исаакій“, мерещилось мнѣ, „но теперь мнѣ до нихъ никакого дѣла“; все какъ-то отчуждилось, все это стало вдругъ *не мое*. „У меня мама, Лиза — ну, чтожь, что мнѣ теперь Лиза и мать? Все кончилось, все разомъ кончилось, кромѣ одного: того, что я—воръ навѣчно“.

„Чѣмъ доказать, что я—не воръ? Развѣ это теперь возможно? Уѣхать въ Америку? Ну, чтожь этимъ докажешь? Версиловъ первый повѣрять, что я укралъ! „Идея“? Какая „идея“? Что теперь „идея“? Черезъ пятьдесятъ лѣтъ, черезъ сто лѣтъ, я буду идти, и всегда найдется человѣкъ, который скажетъ, указывая на меня: „вотъ это—воръ“ Онъ началъ съ того „свою идею“, что укралъ деньги съ рулетки“..

Была ли во мнѣ злоба? Не знаю, можетъ быть, была. Странно, во мнѣ всегда была и, можетъ быть, съ самаго перваго дѣтства, такая черта: коли ужъ мнѣ сдѣлали зло, исполнили его окончательно, оскорбили до послѣднихъ предѣловъ, то всегда тутъ же являлось у меня неутолимое желаніе пассивно подчиниться оскорбленію и даже пойти впередъ желаніямъ обидчика: „На-те, вы унизили меня, такъ я еще хуже самъ унижусь, вотъ смотрите, любуйтесь!“ Тушаръ билъ меня и хотѣлъ показать, что я—лакей, а не сенаторскій сынъ, и вотъ я тотчасъ же самъ вошелъ тогда въ роль лакея. Я не только подавалъ ему одѣваться, но я самъ схватывалъ щетку и начиналъ счищать съ него послѣднія пылинки, вовсе уже безъ его просьбы или приказанія, самъ гнался иногда за нимъ со щеткой, въ пылу лакейскаго усердія, чтобъ смахнуть какую нибудь послѣднюю соринку съ его фрака, такъ что онъ самъ уже останавливалъ меня иногда: „Довольно, довольно, Аркадій, довольно“. Онъ придетъ, бывало, сниметъ верхнее платье, — а я его вычищу, бережно слѣжу и накрою клѣтчатымъ шелковымъ платочкомъ. Я знаю, что товарищи смѣются и презираютъ меня за это, отлично знаю, но мнѣ это-то и любо: „Коли захотѣли, чтобъ я былъ лакей—ну, такъ вотъ я и лакей, хамъ—такъ хамъ и есть“. Пассивную ненависть и подпольную злобу въ этомъ родѣ я могъ продолжать годами. И что же? У Зерщикова я крикнулъ на всю залу, въ совершенномъ изступленіи: „Донесу на всѣхъ, рулетка запрещена полиціей!“ И вотъ клянусь, что и тутъ было нѣчто какъ-бы подобное: меня унизили, обыскали, огласили воромъ, убили, — „ну, такъ знайте же всѣ, что вы угадали, я—не только воръ, но я и доносчикъ!“ Припоминая теперь, я именно такъ подвожу и объясняю; тогда же было вовсе не до анализа;

крикнулъ я тогда безъ намѣренія, даже за секунду не зная, что такъ крикну: само крикнулось,— ужь *черта* такая въ душѣ была.

Когда я бѣжалъ, несомнѣнно начинался уже бредъ, но я очень вспоминаю, что дѣйствовалъ сознательно. А, между тѣмъ, твердо говорю, что цѣлый цѣль идей и заключеній былъ для меня тогда уже невозможенъ; я даже и въ тѣ минуты чувствовалъ про себя самъ, что „однѣ мысли я могу имѣть, а другихъ я уже никакъ не могу имѣть“. Равно и нѣкоторыя рѣшенія мои, хотя и при ясномъ сознаніи, могли не имѣть въ себѣ тогда ни малѣйшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я могъ въ инныя минуты вполне сознавать нелѣпость иного рѣшенія, и въ то же время съ полнымъ сознаніемъ тутъ же приступить къ его исполненію. Да, преступленіе навертывалось въ ту ночь, и только случайно не совершилось.

Мнѣ мелькнуло вдругъ тогда слово Татьяны Павловны о Версильовѣ: „Пошелъ-бы на Николаевскую дорогу и положилъ-бы голову на рельсы: тамъ бы ему ее и оттапали“. Эта мысль на мгновеніе овладѣла всѣми моими чувствами, но я мигомъ и съ болью прогналъ ее: „Положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажутъ: это оттого онъ сдѣлалъ, что укралъ, сдѣлалъ отъ стыда,— нѣтъ, ни за что!“ И вотъ, въ это мгновеніе, помню, я ощутилъ вдругъ одинъ мигъ страшной злобы. „Чтожь?—пронеслось въ умѣ моемъ, — оправдаться ужь никакъ нельзя, начать новую жизнь тоже невозможно, а потому — покориться, стать лакеемъ, собакой, козавкой, доносчикомъ, настоящимъ уже доносчикомъ, а самому потихоньку приготовляться и когданибудь—все вдругъ взорвать на воздухъ, все уничтожить, всѣхъ, и виноватыхъ и невиноватыхъ, и тутъ вдругъ всѣ узнаютъ, что это — тотъ самый, котораго называли воромъ... а тамъ ужь и убить себя“.

Не помню, какъ я забѣжалъ въ переулочъ, гдѣ-то близко отъ Конногвардейскаго бульвара. Въ переулкѣ этомъ съ обѣихъ сторонъ, почти на сотню шаговъ, шли высокія каменныя стѣны, — заборы заднихъ дворовъ. За одной стѣнной слѣва я увидѣлъ огромный складъ дровъ, длинный складъ, точно на дровяномъ дворѣ, и слишкомъ на сажень превышавшій стѣну. Я вдругъ остановился и началъ обдумывать. Въ карманѣ со мной были восковыя спички въ маленькой серебряной спичечницѣ. Повторяю, я вполне отчетливо сознавалъ тогда то, что обдумывалъ и что хотѣлъ сдѣлать, и такъ припоминаю и теперь, но для чего я хотѣлъ это сдѣлать—не знаю, совсѣмъ не знаю. Помню только, что мнѣ очень вдругъ захотѣлось. „Взлѣзть на заборъ очень можно“, рассуждалъ я; какъ-разъ тутъ въ двухъ шагахъ очутились

въ стѣнѣ ворота, должно быть, наглухо запертыя по цѣлымъ мѣсяцамъ. „Ставь на уступъ внизу, раздумывалъ я далѣе, можно, схватившись за верхъ воротъ, взлѣзть на самую стѣну — и никто не примѣтитъ, никого нѣтъ, тишина! А тамъ я усядусь на верху стѣны, и отлично зажгу дрова, даже не сходя внизъ можно, потому что дрова почти соприкасаются со стѣной. Отъ холода еще сильнѣе будутъ горѣть, стоитъ только рукой достать одно березовое полѣно... да и незачѣмъ совсѣмъ доставать полѣно: можно прямо, сидя на стѣнѣ, содрать рукой съ березоваго полѣна бересту, и на спичкѣ зажечь ее, зажечь и про-
никнуть въ дрова — вотъ и пожаръ. А я соскочу внизъ и уйду; даже и бѣжать не надо, потому что долго еще не замѣтятъ“... Такъ я это все разсудилъ и — вдругъ совсѣмъ рѣшился. Я ощутилъ чрезвычайное удовольствіе, наслажденіе, и полѣзъ. Я лазить умѣлъ отлично: гимнастика была моею спеціальностью еще въ гимназiи, но я былъ въ калошахъ и дѣло оказалось труднѣе. Однакожь, я успѣлъ таки уцѣпиться рукой за одинъ едва ощущаемый выступъ вверху и приподнялся, другую руку замахнулъ было, чтобъ ухватиться уже за верхъ стѣны, но тутъ вдругъ оборвался и навзничъ полетѣлъ внизъ. Полагаю, что я стукнулся о землю затылкомъ, и, должно быть, минуту или двѣ пролежалъ безъ сознанія. Очнувшись, я машинально запахнулъ на себѣ шубу, вдругъ ощутивъ нестерпимый холодъ, и, еще плохо сознавая, что дѣлаю, поползъ въ уголокъ воротъ и тамъ присѣлъ, съживившись и скорчившись, въ углубленіи между воротами и выступомъ стѣны. Мысли мои мѣшались, и, вѣроятно, я очень быстро задремалъ. Какъ сквозь сонъ теперь вспоминаю, что вдругъ раздался въ ушахъ моихъ густой, тяжелый, колокольный звонъ, и я съ наслажденіемъ сталъ къ нему прислушиваться.

II

Колоколь ударилъ твердо и опредѣленно по одному разу въ двѣ или даже въ три секунды, но это былъ не набатъ, а какой-то пріятный, плавный звонъ, и я вдругъ различилъ, что это, вѣдь — звонъ знакомый, что звонятъ у Николая, въ красной церкви напротивъ Тушара, — въ старинной московской церкви, которую я помню, выстроенной еще при Алексѣѣ Михайловичѣ, узорчатой, многоглавой и „въ столпахъ“, — и что теперь только что минула Святая недѣля и на тощихъ березкахъ въ палисадникѣ Тушаровскаго дома уже трепещутъ новорожденные зелененькіе листочки. Яркое предвечернее солнце льетъ косые свои лучи

въ нашу классную комнату, а у меня, въ моей маленькой комнатѣ лѣтѣ, куда Тушаръ отвелъ меня еще годъ назадъ отъ „графскихъ и сенаторскихъ дѣтей“, сидитъ гостья. Да, у меня безроднаго вдругъ очутилась гостья—въ первый разъ съ того времени, какъ я у Тушара. Я тотчасъ узналъ эту гостью, какъ только она вошла: это была мама, хотя съ того времени, какъ она меня причащала въ деревенскомъ храмѣ, а голубокъ пролетѣлъ черезъ куполь, я не видалъ ужъ ее ни разу. Мы сидѣли вдвоемъ, и я странно къ ней приглядывался. Потомъ, уже спустя много лѣтъ, я узналъ, что она тогда, оставшись безъ Версилова, уѣхавшаго вдругъ за границу, прибыла въ Москву на свои жалкія средства *самовольно*, почти украдкой отъ тѣхъ, которымъ поручено было тогда о ней попеченіе, и это единственно, чтобъ со мной повидаться. Странно было и то, что войдя и поговоривъ съ Тушаромъ, она ни слова не сказала мнѣ самому, что она—моя мать. Она сидѣла подлѣ меня и, помню, я даже удивлялся, что она мало такъ говоритъ. Съ ней былъ узелокъ, и она развязала его: въ немъ оказалось шесть апельсиновъ, нѣсколько пряниковъ и два обыкновенныхъ французскихъ хлѣба. Я обидѣлся на французскіе хлѣбы и съ ущемленнымъ видомъ отвѣтилъ, что здѣсь у насъ „пицца“ очень хорошая и намъ каждый день даютъ къ чаю по цѣлой французской булкѣ.

— Все равно, голубчикъ, я вѣдь такъ по простотѣ подумала: „можетъ ихъ тамъ, въ школь-то, худо кормятъ“, не взыщи, родной.

— И Антонинъ Васильевичъ (женъ Тушара) обидно станеть-сь. Товарищи тоже будутъ надо мною смѣяться...

— Не примешь, что-ли, можетъ, и скушаешь?

— Пожалуй, оставьте-сь...

А къ гостямъ я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столикѣ, а я сидѣлъ, потупивъ глаза, но съ большимъ видомъ собственного достоинства. Кто знаетъ, можетъ быть, мнѣ очень хотѣлось тоже не скрыть отъ нея, что визитъ ея меня даже передъ товарищами стыдить; хоть капельку показать ей это, чтобъ поняла: „Вотъ, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того“. О, я уже тогда бѣгалъ со щеткой за Тушаромъ смахивать съ него пылинки! Представлялъ я тоже себѣ, сколько перенесу я отъ мальчишекъ насмѣшекъ, только что она уйдетъ, а, можетъ, и отъ самого Тушара,—и ни малѣйшаго добраго чувства не было къ ней въ моемъ сердцѣ. Искося только я оглядывалъ ея темненькое, старенькое платье, довольно грубая, почти рабочія руки, совсѣмъ ужъ грубые ея башмаки и сильно похудѣвшее лицо; морщинки уже прорѣзывались

у нея на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мнѣ потомъ, вечеромъ, по ея уходѣ: „должно быть ваша татапа была когда-то очень не дурна собой.“

Такъ мы сидѣли, и вдругъ Агафья вошла съ подносомъ, на которомъ была чашка кофею. Было время послѣобѣденное и Тушары всегда въ этотъ часъ пили у себя въ своей гостиной кофею. Но мама поблагодарила и чашку не взяла: какъ узналъ я послѣ, она совсѣмъ тогда не пила кофею, производившаго у ней сердцебіеніе. Дѣло въ томъ, что визитъ ея и дозволеніе ей меня видѣть Тушары внутри себя видимо считали чрезвычайнымъ съ ихъ стороны снисхожденіемъ, такъ что посланная мамѣ чашка кофею была, такъ сказать, уже подвигомъ гуманности, сравнительно говоря, приносившимъ чрезвычайную честь ихъ цивилизованнымъ чувствамъ и европейскимъ понятіямъ. А мама-то, какъ нарочно, и отказалась.

Меня позвали къ Тушару, и онъ велѣлъ мнѣ взять всѣ мои тетрадки и книги и показать мамѣ: „чтобъ она видѣла, сколько успѣли вы приобрѣсти въ моемъ заведеніи“. Тутъ, Антонина Васильевна, съживъ губки, обидчиво и насмѣшливо процѣдила мнѣ съ своей стороны:

— Кажется, вашей татапа не понравился нашъ кофею.

Я набралъ тетрадокъ и понесъ ихъ къ ожидавшей мамѣ, мимо столпившихся въ классной и поглядывавшихъ насъ съ мамой „графскихъ и сенаторскихъ дѣтей.“ И вотъ, мнѣ даже понравилось исполнить приказаніе Тушара въ буквальной точности. „Вотъ это — уроки изъ французской грамматики, вотъ это — упражненіе подъ диктантъ, вотъ тутъ спряженіе вспомогательныхъ глаголовъ avoir и être, вотъ тутъ по географіи, описаніе главныхъ городовъ Европы и всѣхъ частей свѣта и т. д., и т. д.“ Я съ полчаса или больше объяснял ровнымъ маленькимъ голоскомъ, благоправно потупивъ глазки. Я зналъ, что мама ничего не понимаетъ въ наукахъ, можетъ быть, даже писать не умѣетъ, но тутъ-то моя роль мнѣ и правилась. Но утомить ее я не смогъ: она все слушала, не прерывая меня, съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и даже съ благоговѣніемъ, такъ что мнѣ самому, наконецъ, наскучило, и я пересталъ; взглядъ ея былъ, впрочемъ, грустный и что-то жалкое было въ ея лицѣ.

Она поднялась, наконецъ, уходитъ; вдругъ вошелъ самъ Тушаръ и съ дурачки-важнымъ видомъ спросилъ ее: „довольна-ли она успѣхами своего сына?“ Мама начала безсвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить ихъ обоихъ „не оставить сиротки, все равно онъ что сиротка теперь, окажите благо-

дѣяніе ваше“... и она со слезами на глазахъ поклонилась имъ обоимъ, каждому раздѣльно, каждому глубокоимъ поклономъ, именно какъ кланяются „изъ простыхъ“, когда приходятъ просить о чемъ нибудь важныхъ господъ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна видимо была смягчена и, конечно, тутъ же измѣнила свое заключеніе на счетъ чашки кофею. Тушаръ, съ усиленною важностію, гуманно отвѣтилъ, что онъ „дѣтей не рознитъ, что всё здѣсь — его дѣти, а онъ — ихъ отецъ, что я у него почти на одной ногѣ съ сенаторскими и графскими дѣтьми, и что это надо цѣнить“, и проч., и проч. Мама только вланилась, но, впрочемъ, конфузилась, наконецъ, обернулась ко мнѣ и со слезами, блеснувшими на глазахъ, проговорила: „прощай, голубчикъ!“

И поцаловала меня, то есть я позволилъ себя поцаловать. Ей видимо хотѣлось бы еще и еще поцаловать меня, обнять, прижать, но совѣстно ли стало ей самой при людяхъ, али отъ чего-то другого горько, али ужъ догадалась она, что я ее устыдилса, но только она поспѣшно, поклонившись еще разъ Тушарамъ, направилась выходить. Я стоялъ.

— Mais suivez donc votre mère, проговорила Антонина Васильевна: — il n'a pas de sœur cet enfant!

Тушаръ въ отвѣтъ ей пожалъ плечами, что, конечно, означало: „не даромъ же, дескать, я третирую его какъ лакея“.

Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я зналъ, что они всё тамъ смотрять теперь изъ окошка. Мама повернулась къ церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ея вздрагивали, густой колоколь звучно и жѣрно гудѣлъ съ колокольни. Она повернулась ко мнѣ и — не выдержала, положила мнѣ обѣ руки на голову и заплакала надъ моей головой.

— Маменька, полноте-сь... стыдно... вѣдь они изъ окошка теперь это видятъ-сь...

Она вскинулась и заторопилась:

— Ну, Господи... ну, Господь съ тобой... ну, храни тебя ангелы небесные, Пречестная Мать, Николай угодникъ... Господи, Господи! скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестовъ: — голубчикъ ты мой, милнй ты мой! Да постой, голубчикъ...

Она поспѣшно сунула руку въ карманъ и вынула платочекъ, сивенькій клѣтчатый, платочекъ съ крѣпко завязаннымъ на кончикѣ узелочкомъ и стала развязывать узелокъ... но онъ не развязывалса...

— Ну, все равно, возьми и съ платочкомъ: чистенькій, пригодя, можетъ, четыре двугривенныхъ тутъ, можетъ, понадобятся, прости, голубчикъ, больше-то, какъ разъ сама не имѣю... прости-голубчикъ.

Я принялъ платочекъ, хотѣлъ было замѣтить, что намъ „отъ господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержаніе и мы ни въ чемъ не нуждаемся“, но удержался и взял платочекъ.

Еще разъ перекрестила, еще разъ прошептала какую-то молитву и вдругъ—и вдругъ поклонилась и мнѣ точно такъ же, какъ наверху Тушарамъ—глубокииъ, медленными, длинными поклономъ,—никогда не забуду я этого! Такъ я и вздрогнулъ и самъ не зналъ отчего. Что она хотѣла сказать этимъ поклономъ: „вину ли свою передо мной признала?“ какъ придумалось мнѣ разъ уже очень долго спустя—не знаю. Но тогда мнѣ тотчасъ же еще пуще стало стыдно, что „сверху они оттудова смотрять, а Ламбертъ такъ, пожалуй, и бить начнетъ“.

Она, наконецъ, ушла. Апельсины и пряники поѣли еще до моего прихода сенаторскія и графскія дѣти, а четыре двугривенныхъ у меня тотчасъ же отнял Ламбертъ; на нихъ закупили они въ кондитерской пирожковъ и шоколаду и даже меня не поподчивали.

Прошли цѣлые полгода, и наступилъ уже вѣтряный и ненастный октябрь. Я про маму совсѣмъ забылъ. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла въ мое сердце, совсѣмъ наплатала его; я хотъ и обчищаль щеткой Тушара по прежнему, но уже ненавидѣлъ его изъ всѣхъ силъ и каждый день все больше и больше. И вотъ, тогда какъ-то разъ въ грустныя вечернія сумерки, сталъ я, однажды, перебирать для чего-то въ моемъ ящикѣ и вдругъ, въ уголку, увидалъ синенькій батистовый платочекъ ея; онъ такъ и лежалъ съ тѣхъ поръ, какъ я его тогда сунулъ. Я вынулъ его и осмотрѣлъ даже съ нѣкоторыми любопытствомъ; кончикъ платка сохранялъ еще вполне слѣдъ бывшаго узелка и даже ясно отпечатавшійся кругленькій оттискъ монетки; я, впрочемъ, положилъ платокъ на мѣсто и задвинулъ ящикъ. Это было подъ праздникъ и загудѣлъ колоколь ко всенощной. Воспитанники уже съ послѣ обѣда разѣхались по домамъ, но на этотъ разъ Ламбертъ остался на воскресенье, не знаю почему за нимъ не прислали. Онъ хотъ и продолжалъ меня тогда бить, какъ и прежде, но уже очень много мнѣ сообщалъ и во мнѣ нуждался. Мы проговорили весь вечеръ о лепажевскихъ пистолетахъ, которыхъ ни тотъ, ни другой изъ насъ не видалъ, о черкесскихъ шанкахъ и о томъ, какъ они рубятъ, о томъ, какъ хорошо было бы завести шайку разбойни-

ковъ, и подъ конецъ Ламбертъ першелъ къ любимымъ своимъ разговорамъ на извѣстную гадкую тему, и, хоть я и дивился про себя, но очень любилъ слушать. Этотъ же разъ мнѣ стало вдругъ нестерпимо, и я сказалъ ему, что у меня болитъ голова. Въ десять часовъ мы легли спать; я завернулся съ головой въ одѣяло и изъ подъ подушки вытянулъ синенькій платочекъ: я для чего-то опять сходилъ, часъ тому назадъ, за нимъ въ ящикъ и, только что постлали наши постели, сунулъ его подъ подушку. Я тотчасъ прижалъ его къ моему лицу и вдругъ сталъ его целовать: „Мама, мама“, шепталъ я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, какъ въ тискахъ. Я закрылъ глаза и видѣлъ ея лицо съ дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потомъ меня, а я говорилъ ей: „стыдно, смотреть“. „Мамочка, мама, разъ-то въ жизни была ты у меня... Мамочка, гдѣ ты теперь, гостя ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бѣднаго мальчика, къ которому приходила... Покажись ты мнѣ хоть разочекъ теперь, приснись ты мнѣ хоть во снѣ только, чтобъ только я сказалъ тебѣ, какъ люблю тебя, только обнять мнѣ тебя и поцеловать твои синенькіе глазки, сказать тебѣ, что я совѣмъ тебя ужъ теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любилъ, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидѣлъ, какъ лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, какъ я тебя тогда любилъ! Мамочка, гдѣ ты теперь? Слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубочка, въ деревнѣ?“...

— Ахъ чортъ... Чего онъ! ворчитъ съ своей кровати Ламбертъ: — постой я тебѣ! Спать не даетъ... Онъ вскакиваетъ, наконецъ, съ постели, подбѣгаетъ ко мнѣ и начинаетъ рвать съ меня одѣяло, но я ерѣшко-ерѣшко держусь за одѣяло, въ которое укутался съ головой.

— Хнычешь, чего ты хнычешь, дуракъ, духакъ! Вотъ тебѣ!—и онъ бьетъ меня, онъ больно ударяетъ меня кулакомъ въ спину, въ бокъ, все больнѣй и больнѣй и... и я вдругъ открываю глаза...

Уже сильно разсвѣтаетъ, иглистый морозъ сверкаетъ на снѣгу, на стѣнѣ... Я сижу, скорчившись, еле живой, оконченъ въ моей шубѣ, а кто-то стоитъ надо мной, будить меня, громко ругая и больно ударяя въ бокъ носкомъ правой ноги. Приподымаюсь, смотрю: человекъ въ богатой медвѣжьей шубѣ, въ собольей шапкѣ, съ черными глазами, съ черными какъ смоль щегольскими бакенами, съ горбатымъ носомъ, съ бѣлыми оскаленными на меня зубами, бѣлый, румяный, лицо какъ маска... Онъ очень близко наклонился ко мнѣ, и морозный паръ вылетаетъ изъ его рта съ каждымъ его дыханіемъ:

— Замерзла; пьяная харя, духгакъ! Какъ собака замерзнешь, вставай! Вставай!

— Ламбертъ! кричу я.

— Кто ты такой?

— Долгорукій!

— Какой такой чортъ Долгорукій?

— *Просто* Долгорукій!... Тушаръ... Вотъ тотъ, которому ты вилку въ бокъ въ трактиръ всадила!...

— Га-а-а! вскрикиваетъ онъ, улыбаясь какой-то длинной, вспоминаящей улыбкой (да неужто же онъ позабылъ меня!). Га! Такъ это ты, ты!

Онъ поднимаетъ меня, ставитъ на ноги; я еле стою, еле двигаюсь, онъ ведетъ меня, придерживая рукой. Онъ заглядываетъ мнѣ въ глаза, какъ бы соображая и припоминая и слушая меня изо всѣхъ силъ, а я лепечу тоже изо всѣхъ силъ, непрерывно, безъ умолку, и такъ радъ, такъ радъ, что говорю, и радъ тому, что это—Ламбертъ. Показался ли онъ почему нибудь мнѣ „спасеніемъ“ моимъ, или потому я бросился къ нему въ ту минуту, что принялъ его за человѣка совсѣмъ изъ другаго міра,—не знаю,—не разсуждалъ я тогда—но я бросился къ нему не разсуждая. Чтò говорилъ я тогда, я совсѣмъ не помню, и врядъ ли складно хоть сколько нибудь, врядъ ли даже слова выговаривалъ ясно; но онъ очень слушалъ. Онъ схватилъ перваго попавшагося извозчика, и черезъ нѣсколько минутъ, я сидѣлъ уже въ теплѣ, въ его комнатѣ.

III

У всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, навѣрно сохраняется какое нибудь воспоминаніе о чемъ нибудь такомъ, съ нимъ случившемся, на чтò онъ смотритъ или наклоненъ смотрѣть, какъ на нѣчто фантастическое, необычайное, выходящее изъ ряда, почти чудесное, будь-ли то—сонъ, встрѣча, гаданіе, предчувствіе или что нибудь въ этомъ родѣ. Я до сихъ поръ наклоненъ смотрѣть на эту встрѣчу мою съ Ламбертомъ, какъ на нѣчто даже пророческое... судя, по крайней мѣрѣ, по обстоятельствамъ и послѣдствіямъ встрѣчи. Все это произошло, впрочемъ, по крайней мѣрѣ, съ одной стороны, въ высшей степени натурально: онъ просто возвращался съ одного ночнаго своего занятія (какого—объяснится потомъ) полушьяный, и въ переулкѣ, остановясь у воротъ на одну минуту, увидѣлъ меня. Былъ же онъ въ Петербургѣ всего только еще нѣсколько дней.

Комната, въ которой я очутился, была небольшою, весьма нехитро меблированный нумеръ обыкновеннаго петербургскаго шамбръ-гарни средней руки. Самъ Ламбертъ былъ, впрочемъ, превосходно и богато одѣтъ. На полу валялись два чемодана, на половину лишь разобранные. Уголь комнаты былъ загороженъ ширмами, закрывавшими кровать.

— Alphonsine! крикнулъ Ламбертъ.

— Présent! откликнулся изъ-за ширмъ дребезжащій женскій голосъ съ парижскимъ акцентомъ, и не болѣе какъ чрезъ двѣ минуты, выскочила m-lle Alphonsine, наскоро одѣтая, въ распашонкѣ, только что съ постели,—странное какое-то существо, высокаго роста и сухощавая, какъ щепка, дѣвица, брюнетка, съ длинной таліей, съ длиннымъ лицомъ, съ прыгающими глазами и съ ввалившимися щеками,—страшно износившееся существо!

— Скорѣй! (Я перевожу, а онъ ей говорилъ по французски), у нихъ тамъ ужъ долженъ быть самоваръ; живо кипятку, краснаго вина и сахару, стаканъ сюда, скорѣй, онъ замерзъ, это—мой пріятель... проспалъ ночь на снѣгу.

— Malheureux! вскричала было она, съ театральнымъ жестомъ всплеснувъ руками.

— Но-но! прикрикнулъ на нее Ламбертъ словно на собаченку и пригрозилъ пальцемъ; она тотчасъ остановила жесты и побѣжала исполнять приказаніе.

Онъ меня осмотрѣлъ и оцупалъ; попробовалъ мой пульсъ, пощупалъ лобъ, виски.— „Странно, ворчалъ онъ:—какъ ты не замерзъ... Впрочемъ, ты весь былъ закрытъ шубой, съ головой, какъ въ мѣховою норъ сидѣлъ...“

Горячій стаканъ явился, я выхлебнулъ его съ жадностью, и онъ оживилъ меня тотчасъ же; я опять залепеталъ; я полулежалъ въ углу на диванѣ и все говорилъ,—я захлебывался говоря,—но что именно и какъ я рассказывалъ опять таки совсѣмъ почти не помню, мгновеньями и даже цѣлыми промежутками совсѣмъ забывалъ. Повторю: понялъ ли онъ что тогда изъ моихъ рассказовъ—не знаю; но объ одномъ я догадался потомъ уже ясно, а именно: онъ успѣлъ понять меня ровно настолько, чтобъ вывести заключеніе, что со встрѣчей со мной ему пренебрегать не слѣдуетъ... Потомъ объясню въ своемъ мѣстѣ, какой онъ могъ имѣть тутъ расчетъ.

Я не только былъ оживленъ ужасно, но, минутами, кажется, весель. Припоминаю солнце, вдругъ освѣтившее комнату, когда подняли

иторн, и затрещавшую печку, которую кто-то затопилъ—это и какъ не запомню. Памятна мнѣ тоже черная вощеная болонка, которую держала m-lle Alphonsine въ рукахъ, кокетливо прижимая ее къ своему сердцу. Эта болонка какъ-то ужъ очень меня развлекала, такъ даже, что я переставалъ разсказывать и раза два потянулся къ ней, но Ламбертъ махнулъ рукой, и Альфонсина съ своей болонкой мигомъ ступевалась за ширин.

Самъ онъ очень молчалъ, сидѣлъ напротивъ меня и, сильно наклонившись ко мнѣ, слушалъ, не отрываясь; порой улыбался длинной, долгой улыбкой, скалялъ зубы и прищуривалъ глаза, какъ бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранилъ ясно воспоминаніе лишь о томъ, что когда разсказывалъ ему о „документѣ“, то никакъ не могъ понятливо выразиться и толкомъ связать разсказъ, и по лицу его слишкомъ видѣлъ, что онъ никакъ не можетъ понять меня, но что ему очень бы хотѣлось понять, такъ что даже онъ рискнулъ остановить меня вопросомъ, что было опасно, потому что я тотчасъ, чуть перебивалъ меня, самъ перебивалъ тему и забывалъ, о чемъ говорилъ. Сколько времени мы просидѣли и проговорили такъ—я не знаю и даже сообразить не могу. Онъ вдругъ всталъ и позвалъ Альфонсину.

— Ему надо покой; можетъ, надо будетъ доктора. Что спросить— все исполнять, то есть... vous comprenez, ma fille? Vous avez l'argent, нѣтъ? Вотъ! И онъ вынулъ ей десятирублевую. Онъ сталъ съ ней шептаться: vous comprenez! Vous comprenez! повторялъ онъ ей, грозилъ пальцемъ и строго хмурилъ брови. Я видѣлъ, что она страшно передъ нимъ трепетала.

— Я приду, а ты всего лучше выспись, улыбнулся онъ мнѣ и взялъ шапку.

— Mais vous n'avez pas dormi du tout, Maurice! патетически прокричала было Альфонсина.

— Taisez vous, je dormirai après,—и онъ вышелъ.

— Sauvée! патетически прошептала она, показавъ мнѣ вслѣдъ ему рукой.

— M-r, m-r! задекламовала она тотчасъ же, ставъ въ позу среди комнаты:—jamais homme ne fut si cruel, si Bismark que cet être, qui regarde une femme comme une saleté de hazard. Une femme, qu'est-ce que ça dans notre époque? „Tue la!“ voilà le dernier mot de l'Académie française!..

Я выпучилъ на нее глаза; у меня въ глазахъ двоилось, мнѣ мере-

шились уже двѣ Альфонсины... Вдругъ я замѣтилъ, что она плачетъ, вздрогнулъ и сообразилъ, что она уже очень давно мнѣ говорить, а я, стало быть, въ это время спалъ или былъ безъ памяти.

— ...Hélas! de quoi m'aurait servi de le découvrir plutôt, восклицала она:—et n'aurais-je pas autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie? Peut-être, n'est il pas honnête à une demoiselle de s'expliquer si librement devant m-r, mais enfin je vous avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, oh, ce serait de lui plonger au coeur mon couteau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard execrable ne fit trembler mon bras et ne glaçât mon courage! Il a assassiné ce pope russe, m-r, il lui arracha sa barbe rousse pour la vendre à un artiste en cheveux au pont des Maréchaux, tout près de la Maison de m-r Andrieux—hautes nouveautés, articles de Paris, linge, chemises, vous savez, n'est ce pas?.. Oh, m-r, quand l'amitié rassemble à table épouse, enfants, soeurs, amis, quand une vive allegresse enflamme mon coeur, je vous le demande, m-r: est-il bonheur préférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, m-r, ce monstre execrable et inconcevable et si ce n'était pas par l'entremise de m-r Andrieux, jamais, oh, jamais je ne serais... Mais quoi, m-r, qu'avez vous, m-r?

Она бросилась ко мнѣ: со мной, кажется, былъ ознобъ, а можетъ и обморокъ. Не могу выразить, какое тяжелое, болѣзненное впечатлѣніе производило на меня это полусъумасшедшее существо. Можетъ быть, она вообразила, что ей велѣно развлекать меня: по крайней мѣрѣ, она не отходила отъ меня ни на мигъ. Можетъ быть, она когда нибудь была на сценѣ; она страшно декламировала, вертѣлась, говорила безъ умолку, а я уже давно молчалъ. Все, что я могъ понять изъ ея рассказовъ, было то, что она какъ-то тѣсно связана съ какими-то „la Maison de m-r Andrieux—hautes nouveautés, articles de Paris, etc“ и даже произошла, можетъ быть, изъ la Maison de m-r Andrieux; но она была какъ-то отторгнута на вѣки отъ m-r Andrieux par ce monstre furieux et inconcevable, и вотъ въ томъ-то и заключалась трагедія... Она рыдала, но мнѣ казалось, что это только такъ, для порядка, и что она вовсе не плачетъ; порой мнѣ чудилось, что она вдругъ вся, какъ скелетъ, рассыплется; она выговаривала слова какими-то раздавленными, дребезжащими голосомъ; слово préférable, наприимѣръ, она произносила préfér-a-able и на слогъ *a* словно блеяла какъ овца. Разъ очнувшись, я увидѣлъ, что она дѣлаетъ среди комнаты пируетъ, но она не танцевала, а относилась этотъ пируетъ какъ-то тоже къ разсказу, а она

только изображала въ лицахъ. Вдругъ она бросилась и раскрыла маленькое, старенькое разстроенное фортепянце, бывшее въ комнатѣ, забренчала и запѣла. Кажется, я минутъ на десять или болѣе забылся совсѣмъ, заснулъ, но взвизгнула болонка, и я очнулся: сознание вдругъ, на мгновеніе воротилось ко мнѣ вполне и освѣтило меня всѣмъ своимъ свѣтомъ; я вскочилъ въ ужасъ:

— „Ламбертъ, я у Ламберта!“ подумалъ я и, схвативъ шапку, бросился къ моей шубѣ.

— *Ou allez-vous, m-g?* прокричала зоркая Альфонсина.

— Я хочу прочь, я хочу выйти! Пустите меня, не держите меня...

— *Oui, m-g!* изо всѣхъ силъ подтвердила Альфонсина и бросилась сама отворить мнѣ дверь въ корридоръ.—*Mais ce n'est pas loin, m-g, c'est pas loin du tout, ça ne vaut pas la peine de mettre votre choubà, c'est-ici près, m-g!* восклицала она на весь корридоръ. Выбѣжавъ изъ комнаты, я повернулъ направо.

— *Par ici, m-g, c'est par ici!* восклицала она изо всѣхъ силъ, уцѣпившись за мою шубу своими длинными, костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мнѣ налѣво по корридору куда-то, куда я вовсе не хотѣлъ идти. Я вырвался и побѣжалъ къ выходнымъ дверямъ на лѣстницу.

— *Il s'en va, il s'en va!* гналась за мною Альфонсина, крича своимъ разорваннымъ голосомъ:—*mais il me tuega, m-g, il me tuega!* Но я уже выскочилъ на лѣстницу и, не смотря на то, что она даже и по лѣстницѣ гналась за мной, успѣлъ таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на перваго извозчика. Я далъ адресъ мамы...

IV.

Но сознание, блеснувъ на мигъ, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, какъ довели меня и ввели къ мамѣ, но тамъ я почти тотчасъ же впалъ въ совершенное уже безпамятство. На другой день, какъ рассказывали мнѣ потомъ (да и самъ я это, впрочемъ, запомнилъ), разсудокъ мой опять-было на мгновеніе прояснился. Я запомнилъ себя въ комнатѣ Версилова, на его диванѣ; помню вокругъ меня лица Версилова, мамы, Лизы, помню очень, какъ Версиловъ говорилъ мнѣ о Зерщиковѣ, о князѣ, показывалъ мнѣ какое-то письмо, успокаивалъ меня. × Они рассказывали потомъ, что я съ ужасомъ все спрашивалъ про какого-то Ламберта и все слышалъ лай какой-то болонки. Но слабый

свѣтъ сознанія скоро померкъ: къ вечеру этого втораго дня я уже былъ въ полной горячкѣ. Но предупрежу событія и объясню впередъ:

Когда я въ тотъ вечеръ выбѣжалъ отъ Зерщикова и когда тамъ все нѣсколько успокоилось, Зерщиковъ, приступивъ къ игрѣ, вдругъ заявилъ громогласно, что произошла печальная ошибка: процавшія деньги, четыреста рублей, отыскались въ кучѣ другихъ денегъ и счета банка оказались совершенно вѣрными. Тогда князь, остававшійся въ залѣ, приступилъ къ Зерщикову и потребовалъ настоятельно, чтобъ тотъ заявилъ публично о моей невинности и, кромѣ того, принесъ бы мнѣ извиненіе въ формѣ письма. Зерщиковъ, съ своей стороны, нашелъ требованіе достойнымъ уваженія и далъ слово, при всѣхъ, завтра же отправить мнѣ объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщилъ ему адресъ Версилова, и дѣйствительно Версиловъ на другой же день получилъ лично отъ Зерщикова письмо на мое имя и слишкомъ тысячу триста рублей, принадлежавшихъ мнѣ и забытыхъ мною на рулеткѣ денегъ. Такимъ образомъ, дѣло у Зерщикова было покончено; радостное это извѣстіе сильно способствовало моему выздоровленію, когда я очнулся отъ безпамятства.

Князь, воротившись съ игры, написалъ въ ту же ночь два письма: — одно мнѣ, а другое въ тотъ прежній его полетъ, въ которомъ была у него исторія съ корнетомъ Степановымъ. Оба письма онъ отправилъ въ слѣдующее же утро. Засимъ написалъ рапортъ по начальству и съ этимъ рапортомъ въ рукахъ, рано утромъ, явился самъ къ командиру своего полка и заявилъ ему, что онъ, „уголовный преступникъ, участникъ въ поддѣлкѣ — хъ акцій, отдается въ руки правосудія и проситъ надъ собою суда“. Присемъ вручилъ и рапортъ, въ которомъ все это изложено было письменно. Его арестовали.

Вотъ то письмо его ко мнѣ, которое онъ написалъ въ ту ночь, слово въ слово:

„Безцѣнный Аркадій Магаровичъ!

Испробовавъ „выходъ“ лакейскій, я потерялъ тѣмъ самымъ право утѣшить хоть сколько нибудь мою душу мыслью, что смогъ и я, наконецъ, рѣшиться на подвигъ справедливый. Я виновенъ передъ отечествомъ и передъ родомъ моимъ и за это самъ, послѣдній въ родѣ, казню себя. Не понимаю, какъ могъ я схватиться за низкую мысль о самосохраненіи и нѣкоторое время мечтать откупиться отъ нихъ деньгами? Все же самъ, передъ своею совѣстью, я оставался бы на вѣки преступникомъ. Люди же эти, еслибъ и возвратили мнѣ компрометирующія меня записки, не оставили бы меня ни за что на всю жизнь!

Что же оставалось: жить съ ними, быть съ ними за одно во всю жизнь — вотъ участь, меня ожидавшая! Я не могъ принять ея и напелъ въ себѣ, наконецъ, на столько твердости или, можетъ быть, лишь отчаянія, чтобы поступить такъ, какъ поступаю теперь.

Я написалъ письмо въ прежній полкъ къ прежнимъ товарищамъ и оправдалъ Степанова. Въ поступкѣ этомъ нѣтъ и не можетъ быть никакого искупительнаго подвига: это — все лишь предсмертное завѣщаніе завтрашняго жертвеца. Такъ надо смотрѣть.

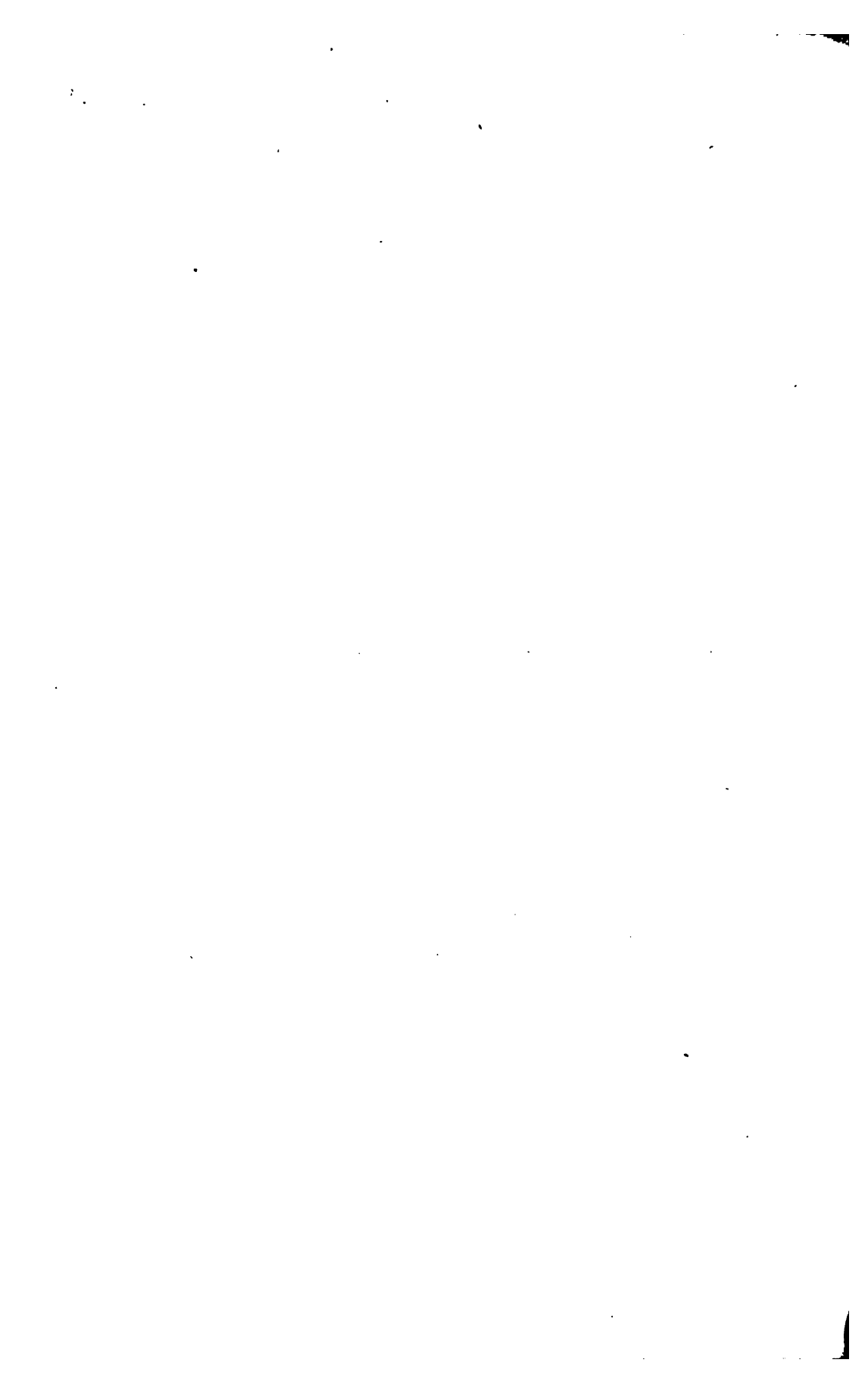
Простите мнѣ, что я отвернулся отъ васъ въ игорномъ домѣ; это — потому, что въ ту минуту я былъ въ васъ не увѣренъ. Теперь, когда я — уже человѣкъ мертвый, я могу дѣлать даже такія признанія... съ того свѣта.

Бѣдная Лиза! Она ничего не знала объ этомъ рѣшеніи; пусть не кланетъ меня, а обсудитъ сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу словъ, чтобы объяснить ей хоть что нибудь. Узнайте тоже, Аркадій Макаровичъ, что вчера, по утру, когда она приходила ко мнѣ въ послѣдній разъ, я открылъ ей мой обманъ и признался, что ѣздилъ къ Аннѣ Андреевнѣ съ намѣреніемъ сдѣлать той предложеніе. Я не могъ оставить это на моей совѣсти передъ послѣднимъ, задуманнымъ уже рѣшеніемъ, видя ея любовь, и открылъ ей. Она простила, все простила, но я не повѣрилъ ей; это — не прощеніе; на ея мѣстѣ я бы не могъ простить.

Помните меня.

Вашъ несчастный послѣдній князь Сокольскій.

Я пролежалъ въ безпамятствѣ ровно девять дней.



ЧАСТЬ ТРЕТья.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Теперь—совсѣмъ о другомъ.

Я все возвѣщаю: „о другомъ, о другомъ,“ а самъ все продолжаю строчить объ одномъ себѣ. Между тѣмъ, я уже тысячу разъ объявлялъ, что вовсе не хочу себя описывать; да и твердо не хотѣлъ, начиная записки: я слишкомъ понимаю, что я нисколько ненадобенъ читателю. Я описываю и хочу описать другихъ, а не себя, а если все самъ под-вертываюсь, то это—только грустная ошибка, потому что никакъ нельзя миновать, какъ бы я ни желалъ того. Главное, мнѣ то досадно, что описывая съ такимъ жаромъ свои собственные приключенія, я тѣмъ самымъ даю поводъ думать, что я и теперь такой же, какимъ былъ тогда. Читатель помнить, впрочемъ, что я уже не разъ восклицалъ: „О, еслибъ можно было пережвнть прежнее и начать совершенно вновь!“ Не могъ бы я такъ восклицать, еслибъ не пережвнился теперь радикально и не сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Это слишкомъ очевидно; и еслибъ только представить кто могъ, какъ надоѣли мнѣ всѣ эти извиненія и предисловія, которыя я вынужденъ втискивать поминутно даже въ самую средину моихъ записокъ!

Въ дѣлу.

Послѣ девятидневнаго безпамятства, я очнулся тогда возрожденный, но не исправленный; возрожденіе мое было, впрочемъ, глупое, разумѣется, если брать въ обширномъ смыслѣ, и, можетъ быть, еслибъ это теперь, то было бы не такъ. Идея, т. е. чувство, состояло опять лишь въ томъ (какъ и тысячу разъ прежде), чтобъ уйти отъ нихъ совсѣмъ, но уже непременно уйти, а не такъ, какъ прежде, когда я тысячу разъ задавалъ себѣ эту же тѣму и все не могъ исполнить. Мстить я не хотѣлъ никому, и даю въ томъ честное слово,—хотя былъ всѣми обижень. Уходить я собирался безъ отвращенія, безъ проклятій, но я
подростокъ.

хотѣлъ собственной силы, и уже настоящей, независимой ни отъ кого изъ нихъ и въ цѣломъ мѣрѣ; а я-то уже чуть было не примирился со всѣмъ на свѣтѣ! Записываю эту тогдашнюю грезу мою не какъ мысль, а какъ неотразимое тогдашнее ощущеніе. Я его еще не хотѣлъ формулировать, пока былъ въ постели. Большой и безъ силъ, лежа въ Версильевской комнатѣ, которую они отвели для меня, я съ болью сознавалъ, на какой низкой степени безсилія я находился: валялась на постели какая-то соломенка, а не человекъ, и не по болѣзни только — и какъ мнѣ это было обидно! И вотъ, изъ самой глубины существа моего, изъ всѣхъ силъ сталъ подыматься протестъ, и я задыхался отъ какого-то чувства безконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени въ цѣлой жизни моей, когда бы я былъ полонъ болѣе надменныхъ ощущеній, какъ въ тѣ первые дни моего выздоровленія, т. е. когда валялась соломенка на постели.

Но пока я молчалъ и даже рѣшился ничего не обдумывать! Я все заглядывалъ въ ихъ лица, стараясь по нимъ угадать все, что мнѣ надо было. Видно было, что и они не желали ни спрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсѣмъ о постороннемъ. Мнѣ это нравилось и, въ то же время, огорчало меня; не буду объяснять это противорѣчіе. Лизу я видѣлъ рѣже, чѣмъ маму, хотя она заходила ко мнѣ каждый день, даже по два раза. Изъ отрывковъ ихъ разговора и изъ всего ихъ вида я заключилъ, что у Лизы накопилось страшно много хлопотъ и что она даже часто дома не бываетъ изъ-за своихъ дѣлъ: уже въ одной этой идеѣ о возможности „своихъ дѣлъ“, какъ бы заключалось для меня нѣчто обидное; впрочемъ, все это были лишь болыня, чисто физиологическія ощущенія, которыя не стоитъ описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мнѣ чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нѣжна со мной, но, по крайней мѣрѣ, не ругалась по прежнему, что до крайности меня раздосадовало, такъ что я ей просто высказывалъ: „Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, — прескучная“. — „Ну, такъ и не приду къ тебѣ“, оторвала она и ушла. А я былъ радъ, что хоть одну прогналъ.

Всего больше я мучилъ маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетитъ, и я очень ворчалъ, что опаздывало кушанье (а оно никогда не опаздывало). Мама не знала, какъ угодить. Разъ она принесла мнѣ супу и стала, по обыкновенію, сама кормить меня, а я все ворчалъ, пока ѣлъ. И вдругъ мнѣ стало досадно, что я ворчу: „ее-то одну, можетъ быть, я и люблю, а ее же и мучаю“. Но злость не унималась, и я отъ злости вдругъ расплакался, а она, бѣдненькая,

подумала, что я отъ удивленія заплакала, нагнулась ко мнѣ и стала цаловать. Я скрѣпился и кое-какъ вытерпѣлъ и, дѣйствительно, въ ту секунду ее ненавидѣлъ. Но маму я всегда любилъ, и тогда любилъ, и вовсе не ненавидѣлъ, а было то, что всегда бываетъ: кого больше любишь, того перваго и оскорбляешь.

Ненавидѣлъ же я въ тѣ первые дни только одного доктора. Докторъ этотъ былъ молодой человекъ и съ заносчивымъ видомъ говорившій рѣзко и даже невѣжливо. Точно они всѣ въ наукѣ, вчера только и вдругъ, узнали что-то особенное, тогда какъ вчера ничего особеннаго не случилось: но такова всегда „средина“ и „улица“. Я долго терпѣлъ, но, наконецъ, вдругъ прорвался и заявилъ ему при всѣхъ нашихъ, что онъ напрасно таскается, что я вылечусь совсѣмъ безъ него, что онъ, имѣя видъ реалиста, самъ весь исполненъ однихъ предрасудковъ и не понимаетъ, что медицина еще никогда никого не вылечила,—что, наконецъ, по всей вѣроятности, онъ грубо необразованъ, „какъ и всѣ теперь у насъ техники и специалисты, которые въ послѣднее время такъ подняли у насъ носъ.“ Докторъ очень обидѣлся (ужь этимъ однимъ доказалъ, что онъ такое), однако же продолжалъ бывать. Я заявилъ, наконецъ, Версиллову, что если докторъ не перестанетъ ходить, то я наговорю ему что нибудь уже въ десять разъ непріятнѣе. Версилловъ замѣтилъ только, что и вдвое непріятнѣе нельзя уже было сказать противъ того, что было высказано, а не то, что въ десять разъ. Я былъ радъ, что онъ это замѣтилъ.

Вотъ человекъ, однако! Я говорю про Версиллова. Онъ, онъ только и былъ всему причиной—и что же: на него одного я тогда не злился. Не одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны другъ другу многими объясненіями... и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно пріятно, когда въ подобныхъ положеніяхъ жизни натолкнешься на умнаго человека! Я уже сообщалъ во второй части моего разсказа, забѣгая впередъ, что онъ очень кратко и ясно передалъ мнѣ о письмѣ ко мнѣ арестованнаго князя, о Зерщиковѣ, о его объясненіи въ мою пользу и проч., и проч. Такъ какъ я рѣшился молчать, то сдѣлалъ ему, со всею сухостью, лишь два-три самыхъ краткихъ вопроса; онъ отвѣтилъ на нихъ ясно и точно, но совершенно безъ лишнихъ словъ и, что всего лучше, безъ лишнихъ чувствъ. Лишнихъ-то чувствъ я тогда и боялся.

О Ламбертѣ я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о немъ слишкомъ думалъ. Въ бреду я нѣсколько разъ говорилъ о Лам-

бертъ; но очнувшись отъ бреда и приглядываясь, я скоро сообразилъ, что о Ламбертѣ все осталось въ тайнѣ и что они ничего не знаютъ, не исключая и Верилова. Тогда я обрадовался, и страхъ мой прошелъ, но я ошибался, какъ и узналъ потомъ, къ моему удивленію: онъ, во время моей болѣзни уже заходилъ, но Вериловъ умолчалъ мнѣ объ этомъ и я заключилъ, что для Ламберта я уже кануль въ вѣчность. Тѣмъ не менѣе, я часто думалъ о немъ, мало того: думалъ не только безъ отвращенія, не только съ любопытствомъ, но даже съ участіемъ, какъ-бы предчувствуя тутъ что-то новое и выходное, соотвѣтствующее зарождавшимся во мнѣ новымъ чувствамъ и планамъ. Однимъ словомъ, я положилъ обдумать Ламберта прежде всего, когда рѣшусь начать думать. Внесу одну странность: я совершенно забылъ, гдѣ онъ живетъ и въ какой все это улицѣ тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собаченку, корридоръ—все запомнилъ; хоть сейчасъ нарисовать; а гдѣ это все происходило, то есть въ какой улицѣ и въ какомъ домѣ—совершенно забылъ. И что страннѣе всего, догадался о томъ лишь на третій или на четвертый день моего полного сознанія, когда давно уже началъ заботиться о Ламбертѣ.

Итакъ, вотъ каковы были мои первыя ощущенія по воскресеніи моемъ. Я отмѣтилъ лишь самое поверхностное, и вѣроятно же всего, что не умѣлъ отмѣтить главнаго. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, все главное именно тогда-то и опредѣлилось и сформулировалось въ моемъ сердцѣ; вѣдь не все же я досадовалъ и злился за то только, что мнѣ не несуть бульону. О, я помню, какъ бывало мнѣ тогда грустно и какъ я тосковалъ иногда въ тѣ минуты, особенно когда оставался по долгу одинъ. Они же, какъ нарочно, скоро поняли, что мнѣ тяжело съ ними, и что ихъ участіе меня раздражаетъ, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного: излишняя тонкость догадливости.

II.

На четвертый день моего сознанія, я лежалъ, въ третьемъ часу пополудни, на моей постели и никого со мной не было. День былъ ясный, и я зналъ, что въ четвертомъ часу, когда солнце будетъ закатываться, то косою, красный лучъ его ударить прямо въ уголъ моей стѣны и яркимъ пятномъ освѣтитъ это мѣсто. Я зналъ это по прежнимъ днямъ, и то, что это непременно сбудется черезъ часъ, а главное то, что я зналъ объ этомъ впередъ, какъ дважды-два, разозлило меня до злости. Я судорожно повернулся всѣмъ тѣломъ и вдругъ, среди

глубокой тишины, ясно услышалъ слова: „Господи, Иисусе Христе, Воже нашъ, помилуй насъ“. Слова произнеслись полупропотомъ, за ними слѣдовалъ глубокий вздохъ всею грудью, и затѣмъ все опять совершенно стихло. Я быстро приподнялъ голову.

Я уже и прежде, т. е. наканунѣ, и даже еще съ третьяго дня, сталъ замѣчать что-то такое особенное въ этихъ нашихъ трехъ комнатахъ внизу. Въ той комнатѣ, черезъ залу, гдѣ прежде помѣщались мама и Лиза, очевидно, былъ теперь кто-то другой. Я уже не разъ слышалъ какіе-то звуки, и днемъ, и по ночамъ, но все лишь мгновѣніями, самыми краткими, и тишина восстанавлилась тотчасъ же полная, на нѣсколько часовъ, такъ что я и не обращалъ вниманія. Наканунѣ мнѣ пришла было мысль, что тамъ Версиловъ, тѣмъ болѣе, что онъ скоро затѣмъ вошелъ ко мнѣ, хотя я зналъ притомъ навѣрно, изъ ихъ же разговоровъ, что Версиловъ, на время моей болѣзни, переѣхалъ куда-то въ другую квартиру, въ которой и ночуетъ. Про маму же съ Лизой мнѣ давно уже стало извѣстно, что онѣ обѣ (для моего же спокойствія, думалъ я) переехали на верхъ, въ бывшій мой „гробъ“, и даже подумалъ разъ про себя: „какъ это могли онѣ тамъ вдвоемъ помѣститься?“ И вдругъ теперь оказывается, что въ ихней прежней комнатѣ живетъ какой-то человекъ и что человекъ этотъ — совсѣмъ не Версиловъ. Съ легкостью, которую я и не предполагалъ въ себѣ (воображая до сихъ поръ, что я совершенно безсиленъ), спустилъ я съ постели ноги, сунулъ ихъ въ туфли, накинулъ сѣрый, мерлушечій халатъ, лежавшій подлѣ (и пожертвованный для меня Версиловымъ) и отправился черезъ нашу гостиную въ бывшую спальню мамы. То, что я тамъ увидѣлъ, сбило меня совсѣмъ съ толку: я никакъ не предполагалъ ничего подобнаго и остановился, какъ вкопанный, на порогѣ.

Тамъ сидѣлъ сѣдой-пресѣдой старикъ, съ большой, ужасно бѣлой бородой, и ясно было, что онъ давно уже тамъ сидитъ. Онъ сидѣлъ не на постели, а на маминой скамеечкѣ и только спиной опирался на кровать. Впрочемъ, онъ до того держалъ себя прямо, что, казалось, ему и не надо совсѣмъ никакой опоры, хотя, очевидно, былъ боленъ. На немъ былъ, сверхъ рубашки, крытый мѣховой тулупчикъ, колѣна же его были прикрыты маминымъ пледомъ, а ноги въ туфляхъ. Росту онъ, какъ угадывалось, былъ большаго, широкоплечъ, очень бодрого вида, не смотря на болѣзнь, хотя нѣсколько блѣденъ и худъ, съ продолговатымъ лицомъ, съ густѣйшими волосами, но не очень длинными, лѣтъ же ему казалось за семьдесятъ. Подлѣ него на столикѣ, рукой до-

стать, лежали три или четыре книги и серебряные очки. У меня хоть и ни малѣйшей мысли не было его встрѣтить, но я въ тотъ же мигъ угадалъ, кто онъ такой, только все еще сообразить не могъ, какимъ это образомъ онъ просидѣлъ эти всѣ дни, почти рядомъ со мной, такъ тихо, что я до сихъ поръ ничего не слышалъ.

Онъ не шевельнулся, меня увидѣвъ, но пристально и молча глядѣлъ на меня, такъ же, какъ я на него, съ тою разницею, что я глядѣлъ съ непомернымъ удивленіемъ, а онъ безъ малѣйшаго. Напротивъ, какъ бы разсмотрѣвъ меня всего, до послѣдней черты, въ эти пять или десять секундъ молчанія, онъ вдругъ улыбнулся и даже тихо и неслышно засмѣялся, и хоть смѣхъ прошелъ скоро, но свѣтлый, веселый слѣдъ его остался въ его лицѣ и, главное, въ глазахъ, очень голубыхъ, лучистыхъ, большихъ, но съ опустившимися и припухшими отъ старости вѣками, и окруженными безчисленными крошечными морщинками. Этотъ смѣхъ его всего болѣе на меня подѣйствовалъ.

Я такъ думаю, что когда смѣется человѣкъ, то, въ большинствѣ случаевъ, на него становится противно смотрѣть. Чаще всего въ смѣхѣ людей обнаруживается нѣчто пошлое, нѣчто какъ бы унижающее смѣющагося, хотя самъ смѣющійся почти всегда ничего не знаетъ о впечатлѣніи, которое производитъ. Точно также не знаетъ, какъ и вообще всѣ не знаютъ, каково у нихъ лицо, когда они спятъ. У иного спящаго лицо и во снѣ умное, а у другаго, даже и умнаго, во снѣ лицо становится очень глупымъ и потому смѣшнымъ. Я не знаю, отчего это происходитъ: я хочу только сказать, что смѣющійся, какъ и спящій, большею частью ничего не знаетъ про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умѣютъ совсѣмъ смѣяться. Впрочемъ, тутъ умѣть нечего: это—даръ и его не выдѣлаешь. Выдѣлаешь развѣ лишь тѣмъ, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя къ лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смѣхъ такого человѣка, весьма вѣроятно, могъ бы перемѣниться къ лучшему. Смѣхомъ иной человѣкъ себя совсѣмъ выдаетъ, и вы вдругъ узнаете всю его подноготную. Даже безспорно умный смѣхъ бываетъ иногда отвратителенъ. Смѣхъ требуетъ прежде всего искренности, а гдѣ въ людяхъ искренность? Смѣхъ требуетъ беззлобія, а люди всего чаще смѣются злобно. Искренній и беззлобный смѣхъ это—веселость, а гдѣ въ людяхъ въ нашъ вѣкъ веселость и умѣютъ-ли люди веселиться? (О веселости въ нашъ вѣкъ—это замѣчаніе Версилова и я его запомнилъ). Веселость человѣка, это—самая выдающаяся человѣка черта, съ ногами и руками. Иной характеръ долго не раскусите, а разсмѣется человѣкъ какъ нибудь очень искренно,

и весь характеръ его вдругъ окажется, какъ на ладони. Только съ самымъ высшимъ и съ самымъ счастливымъ развитіемъ человѣкъ умѣетъ веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитіе говорю, а про характеръ, про цѣлое человѣка. Итакъ, если захотите рассмотреть человѣка и узнать его душу, то вникайте не въ то, какъ онъ молчитъ, или какъ онъ говоритъ, или какъ онъ плачетъ, или даже какъ онъ волнуется благороднѣйшими идеями, а вы смотрите его лучше, когда онъ смѣется. Хорошо смѣется человѣкъ—значитъ хорошій человѣкъ. Примѣчайте притомъ всѣ оттѣнки: надо, напримѣръ, чтобы смѣхъ человѣка ни въ какомъ случаѣ не показался вамъ глупымъ, какъ бы ни былъ онъ веселъ и простодушенъ. Чуть замѣтите малѣйшую черту глуповатости въ смѣхѣ, значитъ, несомнѣнно, тотъ человѣкъ ограниченъ умомъ, хотя бы только и дѣдалъ, что сыпалъ идеями. Если и не глупъ его смѣхъ, но самъ человѣкъ, разсмѣявшись, сталъ вдругъ почему-то для васъ смѣшнымъ, хотя бы даже не много,—то знайте, что въ человѣкѣ томъ нѣтъ настоящаго собственнаго достоинства, по крайней мѣрѣ, вполне. Или, наконецъ, если смѣхъ этотъ, хоть и общителенъ, а все таки почему-то вамъ покажется пошловатымъ, то знайте, что и натура того человѣка пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы замѣтили въ немъ прежде—или съ умносомъ напуское, или бессознательно заимствованное, и что этотъ человѣкъ непремѣнно впоследствии измѣнится къ худшему, займется „полезнымъ“, а благородныя идеи отброситъ безъ сожалѣнія, какъ заблужденія и увлеченія молодости.

Эту длинную тираду о смѣхѣ я помѣщаю здѣсь съ умносомъ, даже жертвуя теченіемъ разсказа, ибо считаю ее однимъ изъ серьезнѣйшихъ выводовъ моихъ изъ жизни. И особенно рекомендую ее тѣмъ дѣвушкамъ-невѣстамъ, которыя ужъ и готовы выйти за избраннаго человѣка, но все еще приглядываются къ нему съ раздумьемъ и недоверчивостью, и не рѣшатся окончателно. И пусть не смѣются надъ жалкимъ подросткомъ за то, что онъ суется съ своими нравоученіями въ брачное дѣло, въ которомъ ни строчки не понимаетъ. Но я понимаю лишь то, что смѣхъ есть самая вѣрная проба души. Взгляните на ребенка: одни дѣти умѣютъ смѣяться въ совершенствѣ хорошо—отъ того-то они и обольстительны. Плачущій ребенокъ для меня отвратителенъ, а смѣющийся и веселящійся, это — лучъ изъ рая, это — откровеніе изъ будущаго, когда человѣкъ станетъ, наконецъ, также чистъ и простодушенъ, какъ дитя. И вотъ что-то дѣтское и до невѣроятности привлекательное мелькнуло и въ миимлетномъ смѣхѣ этого старика. Я тотчасъ же подошелъ къ нему.

III.

— Садись, присядь, ноги-то небось не стоятъ еще, привѣтливо пригласилъ онъ меня, указавъ мнѣ на мѣсто подлѣ себя и все продолжая смотрѣть мнѣ въ лицо тѣмъ же лучистымъ взглядомъ. Я сѣлъ подлѣ него и сказалъ:

— Я васъ знаю, вы—Макаръ Ивановичъ.

— Такъ, голубчикъ. Вотъ и прекрасно, что всталъ. Ты—юноша, прекрасно тебѣ. Старцу къ могилѣ, а юношѣ жить.

— А вы больны?

— Боленъ, другъ, ногами пуще; до порога еще донесли ноженки, а какъ вотъ тутъ сѣлъ и распухли. Это у меня съ прошлаго самаго четверга, какъ стали градусы (NB т. е. сталъ морозъ). Мазалъ я ихъ доселѣ мазью, видишь; третьяго года мнѣ Лихтенъ, докторъ, Едмундъ Барлычъ, въ Москвѣ прописалъ, и помогала мазь, ухъ помогала; ну а вотъ теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложило. А вотъ со вчерашняго и спина, ажно собаки ѣдятъ... По ночамъ-то и не сплю.

— Какъ это васъ здѣсь совсѣмъ не слышно? перебилъ я. Онъ посмотрѣлъ на меня, какъ бы что-то соображая.

— Только ты мать не буди, прибавилъ онъ, какъ бы вдругъ что-то припомнивъ.— Она тутъ всю ночь подлѣ суетилась, да не слышно такъ, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла. Охъ, худо больному старцу, вздохнулъ онъ;—за что, кажись, только душа зацѣпилась, а все держится, а все свѣту рада; и кажись, еслибъ всю-то жизнь опять съизнова начинать, и того бы пожалуй не убоялась душа; хотя, можетъ, и грѣховна такая мысль.

— Почему грѣховна?

— Мечта она, эта мысль, а старцу надо отходить благолѣпно. Опять, оно если съ ропотомъ, али съ недовольствомъ встрѣчаешь смерть, то сіе есть великій грѣхъ. Ну, а если отъ веселія духовнаго жизнь возлюбилъ, то, полагаю, и Богъ простить, хоша бы и старцу. Трудно человѣку знать про всякій грѣхъ, что грѣшно, а что нѣтъ: тайна тутъ, превосходящая умъ человѣческій. Старецъ же долженъ быть доволенъ во всякое время, а умирать долженъ въ полномъ цвѣтѣ ума своего, блаженно и благолѣпно, насытившись днями, воздыхая на послѣдній часъ свой и радуясь, отходя какъ колосъ къ снопу и восполнивши тайну свою.

— Вы все говорите „тайну“; что такое „восполнивши тайну свою“?

спросилъ я и оглянулся на дверь. Я радъ былъ, что мы одни и что кругомъ стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко свѣтило въ окно передъ закатомъ. Онъ говорилъ нѣсколько высокопарно и неточно, но очень искренно и съ какими-то сильными возбужденіемъ, точно и въ самомъ дѣлѣ былъ такъ радъ моему приходу. Но я замѣтилъ въ немъ несомнѣнно лихорадочное состояніе и даже сильное. Я тоже былъ больной, тоже въ лихорадкѣ, съ той минуты, какъ вошелъ къ нему.

— Тайна что? Все есть тайна, другъ, во всемъ тайна Божія. Въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поетъ, али звѣзды всѣмъ сонмомъ на небѣ блещутъ въ ночи—все одна эта тайна, одинаковая. А всѣхъ большая тайна—въ томъ, что душу человѣка на томъ свѣтѣ ожидаетъ. Вотъ такъ-то, другъ!

— Я не знаю, въ какомъ вы смыслѣ... Я, конечно, не для того, чтобъ васъ дразнить, и повѣрьте, что въ Бога вѣрую; но всѣ эти тайны давно открыты умомъ, а что еще не открыто, то будетъ открыто все, совершенно навѣрно и, можетъ быть, въ самый короткій срокъ. Ботаника совершенно знаетъ, какъ растетъ дерево, физиологъ и анатомъ знаютъ даже, почему поетъ птица или скоро узнаютъ, а что до звѣздъ, то онѣ не только всѣ сосчитаны, но всякое движеніе ихъ вычислено съ самою минутною точностью, такъ что можно предсказать, даже за тысячу лѣтъ впередъ, минута въ минуту, появленіе какой нибудь кометы... а теперь такъ даже и составъ отдаленнѣйшихъ звѣздъ сталъ извѣстенъ. Вы возьмите микроскопъ, это—такое стекло увеличительное, что увеличиваетъ предметы въ миллионъ разъ—и рассмотрите въ него каплю воды, и вы увидите тамъ цѣлый новый міръ, цѣлую жизнь живыхъ существъ, а, между тѣмъ, это тоже была тайна, а вотъ открыли же.

— Слышалъ я про это, голубчикъ, неоднократно слышалъ отъ людей. Что говорить, дѣло великое и славное; все предано человѣку волею Божіею; не даромъ Богъ вдунулъ въ него дыханіе жизни: „Живи и познай“.

— Ну, это—общія мѣста. Однако, вы—не врагъ науки, не клерикалъ? То есть, я не знаю, поймете ли вы...

— Нѣтъ, голубчикъ, съ измлада науку почиталъ, и хоть самъ не смысленъ, но на то не роппу: не мнѣ, такъ другому досталось. Оно тѣмъ, можетъ, и лучше, потому что всякому свое. Потому, другъ милый, что не всякому и наука въ прокъ. Всѣ-то невоздержаны, всякій-то хочетъ всю вселенну удивить, а я-то, можетъ, и пуще всѣхъ, коли-бъ былъ искусенъ. А будучи теперь весьма не искусенъ, какъ могу пре-

возноситься, когда самъ ничего не знаю? Ты же младъ и востеръ, и таковъ удѣлъ тебѣ вышелъ, ты и учись. Все познай, чтобы, когда повстрѣчаешь безбожника, али озорника, чтобы ты могъ передъ нимъ отвѣтить, а онъ, чтобы тебя неистовыми словесами не забросалъ и мысли твои незрѣлыя чтобы не смутилъ. А стекло это я еще и не такъ давно видѣлъ.

Онъ перевелъ духъ и вздохнулъ. Рѣшительно, я доставилъ ему чрезвычайное удовольствіе моимъ приходомъ. Жажда общительности была болѣзненная. Кроме того, я рѣшительно не ошибусь, утверждая, что онъ смотрѣлъ на меня минутами съ какою-то необыкновенною даже любовью: онъ ласкательно клалъ ладонь на мою руку, гладилъ меня по плечу... ну, а минутами, надо признаться, совсѣмъ какъ бы забывалъ обо мнѣ, точно одинъ сидѣлъ, и хотя съ жаромъ продолжалъ говорить, но какъ бы куда-то на воздухъ.

— Есть, другъ, продолжалъ онъ:—въ Геннадіевой Пустыни одинъ великаго ума человекъ. Роду онъ благороднаго и чиномъ подполковникъ, и великое богатство имѣеть. Въ мірѣ живши, обязаться бракомъ не захотѣлъ; заключилъ же отъ свѣту вотъ уже десятый годъ, возлюбивъ тихія и безмолвыя пристанища и чувства свои отъ мірскихъ суетъ успокоивъ. Соблюдаетъ весь уставъ монастырскій, а постричься не хочетъ. И книгъ, другъ мой, у него столько, что я и не видывалъ еще столько ни у кого,—самъ говорилъ мнѣ, что на восемь тысячъ рублей. Петромъ Валерьянычемъ звать. Много онъ меня въ разное время поучалъ, а любилъ я его слушать чрезмѣрно. Говорю это я ему разъ: „Какъ это вы, сударь, да при такомъ великомъ вашемъ умѣ, и проживая вотъ уже десять лѣтъ въ монастырскомъ послушаніи и въ совершенномъ отсѣченіи воли своей—какъ это вы честнаго постриженія не примете, чтобы ужъ быть еще совершеннѣе?“ А онъ мнѣ на то:—„Что ты, старикъ, объ умѣ моемъ говоришь; а, можетъ, умъ мой меня же заполонилъ, а не я его остепенилъ. И что о послушаніи моемъ разсуждаешь: можетъ, я давно уже мѣру себѣ потерялъ. И что объ отсѣченіи воли моей толкуешь? Я вотъ денегъ моихъ сей же часъ рѣшусь, и чины отдамъ, и кавалерію всю сей же часъ на столъ сложу, а отъ трубки табаку, вотъ уже десятый годъ бьюсь, отстать не могу. Какой-же я послѣ этого иннокъ, и какое же отсѣченіе воли во мнѣ прославляешь?“ И удивился я тогда смиренію сему. Ну, такъ вотъ прошлаго лѣта, въ Петровки, зашелъ я опять въ ту пустынь,—привелъ Господь,—и вижу въ келіи его стоитъ эта самая вещь—микроскопъ,—за большія деньги изъ за границы выписалъ. „Постой, говорить, старикъ, покажу я тебѣ

дѣло удивительное, потому ты сего еще никогда не видывалъ. Видишь каплю воды, какъ слеза чиста: ну, такъ посмотри, что въ ней есть, и увидишь, что механики скоро всѣ тайны Божіи розшируютъ, ни одной намъ съ тобой не оставятъ—такъ и сказалъ это, запомнилъ я. А я въ этотъ микроскопъ еще тридцать пять лѣтъ передъ тѣмъ смотрѣлъ у Александра Владиміровича Малгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, отъ котораго вотчина и отошла потомъ, по смерти его, къ Андрею Петровичу. Баринъ былъ важный, большой генералъ, и большую псовую охоту содержалъ, и я многіе годы при немъ выжилъ тогда въ ловчихъ. Вотъ тогда и поставилъ онъ тоже этотъ микроскопъ, тоже привезъ съ собой, и повелѣлъ всей дворнѣ одному за другимъ подходить, какъ мужскому, такъ и женскому полу, и смотрѣть, и тоже показывали блоху и вошь, и концы иголки, и волосокъ, и каплю воды. И ужъ потѣха была: подходить боялся, да и барина боялся—вспылчивъ былъ. Одни такъ и смотрѣть-то не умѣютъ, щурятъ глаза, а ничего не видятъ; другіе страшатся и кричатъ, а староста Савинъ Макаровъ глаза обѣими руками закрылъ, да и кричитъ: „что хошь со мной дѣлайте—нейду!“ Пустаго смѣху тутъ много вышло. Петру Валерьянычу я, однако, не признался, что еще допрежь сего, слишкомъ тридцать пять лѣтъ тому, это самое чудо видѣлъ, потому вижу отъ великаго удовольствія показывается чело-вѣкъ, и сталъ я, напротивъ, дивиться и ужасаться. Далъ онъ мнѣ сровъ и спрашиваетъ: „Ну что, старикъ, теперь скажешь?“ А я воскло-нился и говорю ему: „Рече Господь: да будетъ свѣтъ и бысть свѣтъ, а онъ вдругъ мнѣ на то: „А не бысть-ли тьма?“ И такъ странно сказалъ сіе, даже не усмѣхнулся. Удивился я на него тогда, а онъ словно даже осердился, примолкъ.

— Просто-за-просто, вашъ Петръ Валерьянычъ въ монастырѣ вѣстъ кутью и кладетъ поклоны, а въ Бога не вѣруеть, и вы подъ такую минуту попали—вотъ и все, сказалъ я:—и, сверхъ того, чело-вѣкъ довольно смѣшной: вѣдь, ужъ навѣрно онъ разъ десять прежде того микроскопъ видѣлъ, чтожь онъ такъ съ ума сошелъ въ одиннадцатый-то разъ? Впечатлительность какая-то нервная... въ мона-стырѣ выработалъ.

— Человѣкъ чистый и ума высокаго, внушительно произнесъ ста-рикъ — и не безбожникъ онъ. Въ ѣмъ ума гущина, а сердце неспо-койное. Таковыхъ людей очень много теперь пошло изъ господскаго и изъ ученаго званія. И вотъ что еще скажу, самъ казнить себя чело-вѣкъ. А ты ихъ обходи и имъ не досаждай, а передъ ночнымъ сномъ

ихъ поминай на молитвѣ, ибо таковыя Бога ищутъ. Ты молишься-ли передъ сномъ-то?

— Нѣтъ, считаю это пустою обрядностью. Я долженъ вамъ, впрочемъ, признаться, что мнѣ вашъ Петръ Валерьянычъ нравится: не сѣно, но крайней мѣрѣ, а все же человѣкъ, нѣсколько похожій на одного близкаго намъ обимъ человѣчка, котораго мы оба знаемъ.

Старикъ обратилъ вниманіе лишь на первую фразу моего отвѣта:

— Напрасно, другъ, не молишься; хорошо оно, сердцу весело, и предъ сномъ, и возставъ отъ сна, и пробудясь въ ночи. Это я тебѣ скажу. Лѣтомъ же, въ іюлѣ мѣсяцѣ, посѣщали мы въ Богородскій монастырь къ празднику. Чѣмъ ближе подходили къ мѣсту, тѣмъ пуще приставалъ народъ, и сошлось, наконецъ, насъ чуть не два ста человѣкъ, все слѣшившихъ лобызать святыхъ и цѣлокупныхъ мощи великихъ обимъ чудотворцевъ Аникія и Григорія. Заночевали, брате, мы въ полѣ, и проснулся я за утра рано, еще всѣ спали и даже солнышко изъ за лѣса не выглянуло. Восклонился я, милый, головой, обвелъ кругомъ взоръ и вздохнулъ! Красота вездѣ неизрѣченная! Тихо все, воздухъ легкій; трава растетъ—рости трава Божія, птичка поетъ—пой птичка Божія, ребеночекъ у женщины на рукахъ пискнулъ—Господь съ тобой, маленькій человѣчекъ, рости на счастье, младенчикъ! И вотъ точно я въ первый разъ тогда, съ самой жизни моей, все сіе въ себѣ заключилъ... Склонился я опять, заснулъ таково легко. Хорошо на свѣтѣ, милый! Я вотъ, кабы полегчало, опять бы по веснѣ пошелъ. А что тайна, то оно тѣмъ даже и лучше: страшно оно сердцу и дивно; и страхъ сей въ веселію сердца: „Все въ тебѣ, Господи, и я самъ въ Тебѣ и прими меня!“ Не ропщи въюношь: тѣмъ еще прекраснѣе оно, что тайна, прибавилъ онъ умиленно.

— „Тѣмъ даже прекраснѣе оно, что тайна“... Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я понимаю... Меня поражаетъ, что вы гораздо болѣе знаете и понимаете, чѣмъ можете выразить; только вы какъ будто въ бреду... вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на поблѣднѣвшее лицо. Но онъ, кажется, и не слышалъ моихъ словъ.

— Знаешь-ли ты, милый въюношь, началъ онъ опять, какъ бы продолжая прежнюю рѣчь:—знаешь-ли ты, что есть предѣлъ памяти человѣка на сей землѣ? Предѣлъ памяти человѣку положенъ лишь во сто лѣтъ. Сто лѣтъ по смерти его еще могутъ запомнить дѣти его, али внуки его, еще видѣвшіе лицо его, а затѣмъ хотъ и можетъ продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо прейдуть всѣ

видѣвшіе живой ликъ его. И заростетъ его могилка на кладбищѣ травкой, облупится на ней бѣль-камусекъ и забудутъ его всѣ люди и самое потомство его, забудутъ потомъ самое имя его, ибо лишь немногіе въ памяти людей остаются — ну и пусть! И пусть забудутъ, милые, а я васъ и изъ могилки люблю. Слышу, дѣточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родныхъ отчихъ могилкахъ въ родительскій день; живите пока на солнышкѣ, радуйтесь, а я за васъ Бога помолю, въ сонномъ видѣніи къ вамъ сойду... все равно и по смерти любовью!..

Главное, я самъ былъ въ такой же, какъ и онъ, лихорадкѣ; вмѣсто того, чтобъ уйти или уговорить его успокоиться, а, можетъ, и положить его на кровать, потому что онъ былъ совсѣмъ какъ въ бреду, я вдругъ схватилъ его за руку и, нагнувшись къ нему и сжимая его руку, проговорилъ взволнованнымъ шопотомъ и со слезами въ душѣ

— Я вамъ радъ. Я, можетъ быть, васъ давно ожидалъ. Я ихъ никого не люблю: у нихъ нѣтъ благообразія... Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я съ вами пойду...

Но, къ счастью, вдругъ вошла мама, а то бы я не знаю, чѣмъ кончилъ. Она вошла съ только что проснувшимся и встревоженнымъ лицомъ; въ рукахъ у ней была стеклянка и столовая ложка; увидя насъ, она воскликнула:

— Такъ и знала! Хинное-то лекарство и опоздала дать во время, весь въ лихорадкѣ! Проспала я, Маваръ Ивановичъ, голубчикъ!

Я всталъ и вышелъ. Она все таки дала ему лекарство и уложила въ постель. Я тоже улегся въ свою, но въ большомъ волненіи. Я воротился съ великимъ любопытствомъ и изо всѣхъ силъ думалъ объ этой встрѣчѣ. Чего я тогда ждалъ отъ нея — не знаю. Конечно, я рассуждалъ безсвязно, и въ умѣ моемъ мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежалъ лицомъ къ стѣнѣ и вдругъ въ углу увидѣлъ яркое свѣтлое пятно, которое я съ такимъ проклятіемъ ожидалъ давеча, и вотъ помню, вся душа моя какъ бы разыграла и какъ бы новый свѣтъ проникъ въ мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это былъ лишь мигъ новой надежды и новой силы... Я тогда выздоравливалъ, а, стало быть, такіе порывы могли быть неминуемымъ слѣдствіемъ состоянія моихъ нервовъ; но въ ту самую свѣтлую надежду я вѣрю и теперь — вотъ чтó я хотѣлъ теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо зналъ, что не пойду странствовать съ Маваромъ Ивановичемъ и что самъ не знаю, въ чемъ состояло это новое стремленіе, меня захватившее, но одно слово я уже произнесъ, хотя и въ бреду: „Въ нихъ нѣтъ благообразія!“ „Конечно, ду-

маль я въ изступленіи, съ этой минуты я ищу „благообразія“, а у нихъ его нѣтъ, и за то я оставлю ихъ“.

Что-то зашелестило сзади меня, я обернулся: стояла мама, склонясь надо мной и съ робкимъ любопытствомъ заглядывая мнѣ въ глаза. Я вдругъ взялъ ее за руку:

— А что же вы, мама, мнѣ про нашего дорогого гостя ничего не сказали? спросилъ я вдругъ, самъ почти не ожидая, что такъ скажу. Все безпокойство разомъ исчезло съ лица ея, и на немъ вспыхнула какъ бы радость, но она мнѣ ничего не отвѣтила, кромѣ одного только слова:

— Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забылъ.

Она выговорила это скороговоркой, покраснѣвъ, и хотѣла было поскорѣе уйти, потому что тоже страхъ какъ не любила размазывать чувства, и на этотъ счетъ была вся въ меня, т. е. застѣнчива и цѣломудренна; къ тому же, разумѣется, не хотѣла бы начинать со мной на тему о Макарѣ Ивановичѣ; довольно было и того, что мы могли сказать, обмѣнявшись взглядами. Но я, именно ненавидѣвшій всякую размазную чувствъ, я-то и остановилъ ее насильно за руку: я сладко глядѣлъ ей въ глаза, тихо и нѣжно смѣялся, а другой ладонью гладилъ ея милое лицо, ея впалыя щеки. Она пригнулась и прижалась своимъ лбомъ къ моему:

— Ну, Христось съ тобой, сказала она вдругъ, восклонившись и вся сіяя:—выздоровливай. Зачту это тебѣ. Боленъ онъ, очень боленъ... Въ жизни воленъ Богъ... Ахъ, что это я сказала, да быть же того не можетъ!..

Она ушла. Очень ужъ почитала она всю жизнь свою, во страхѣ и трепетѣ, и благоговѣніи, законнаго мужа своего и странника Макара Ивановича, великодушно и разъ навсегда ее протрившаго.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

А Лизу я не „забылъ“, мама ошиблась. Чуткая мать видѣла, что между братомъ и сестрой какъ-бы охлажденіе, но дѣло было не въ нелюбви, а скорѣе въ ревности. Объясню, въ виду дальнѣйшаго, въ двухъ словахъ.

Въ бѣдной Лизѣ, съ самаго ареста князя, явилась какая-то заносчивая гордость, какое-то недоступное высокомеріе, почти нестерпимое; но всякій въ домѣ понималъ истину и то, какъ она страдала, а

если дудся и хмурился въ началѣ я на ея манеру съ нами, то единственно по моей мелочной раздражительности, въ десять разъ усиленной болѣзнію, — вотъ какъ я думаю объ этомъ теперь. Любить-же Лизу я не переставалъ вовсе, а, напротивъ, любилъ еще болѣе, только не хотѣлъ подходить первый, понимая, впрочемъ, что и сама она не подойдетъ первая ни за что.

Дѣло въ томъ, что, какъ только обнаружилось все о князѣ, тотчасъ послѣ его ареста, то Лиза первымъ дѣломъ поснѣшила стать въ такое положеніе относительно насъ и всѣхъ, кого угодно, что какъ будто и мысли не хотѣла допустить, что ее можно сожалѣть или въ чемъ нибудь утѣшать, а князя оправдывать. Напротивъ, — стараясь нисколько не объясняться и ни съ кѣмъ не спорить, — она какъ будто непрерывно гордилась поступкомъ своего несчастнаго жениха, какъ высшимъ геройствомъ. Она какъ будто говорила всѣмъ намъ поминутно (повторяя: не произнося ни слова): „вѣдь вы никто такъ не сдѣлаете, — вѣдь вы не предадите себя изъ-за требованій чести и долга, вѣдь у васъ ни у кого нѣтъ такой чуткой и чистой совѣсти? А что до его поступковъ, то у кого нѣтъ дурныхъ поступковъ на душѣ? Только всѣ ихъ прячуть, а этотъ человѣкъ пожелалъ скорѣе погубить себя, чѣмъ оставаться недостойнымъ въ собственныхъ глазахъ своихъ“. Вотъ что выражалъ, повидимому, каждый жестъ ея. Не знаю, но я точно-бы также поступилъ на ея мѣстѣ. Не знаю тоже, тѣ ли же мысли были у нея на душѣ, то есть про себя; подозреваю, что нѣтъ. Другой, ясной половиной своего разсудка она непремѣнно должна была прозрѣвать всю ничтожность своего „героя“, ибо кто-жъ не согласится теперь, что этотъ несчастный и даже великодушный человѣкъ въ своемъ родѣ былъ въ то же время въ высшей степени ничтожнымъ человѣкомъ? Даже самая эта заносчивость и какъ-бы навидчивость ея на всѣхъ насъ, эта непрерывная подозрительность ея, что мы думаемъ объ немъ иначе — давала отчасти угадывать, что въ тайникахъ ея сердца могло сложиться и другое сужденіе о несчастномъ ея другѣ. Но слѣшу прибавить, однако-же, отъ себя, что на мой взглядъ она была хоть на половину да права; ей даже было простительнѣе всѣхъ насъ колебаться въ окончательномъ выводѣ. Я самъ признаюсь отъ всей души моей, что и до сихъ поръ, когда уже все прошло, совершенно не знаю, какъ и во что окончательно оцѣнить этого несчастнаго, за давняго намъ всѣмъ такую задачу.

Тѣмъ не менѣе, въ домѣ отъ нея начался было чуть не маленькій адъ. Лиза, столь сильно любившая, должна была очень страдать. По

характеру своему она предпочла страдать молча. Характеръ ея былъ похожъ на мой, т. е. самовластный и гордый, и я всегда думалъ, и тогда, и теперь, что она полюбила князя изъ самовластiя, именно за то, что въ немъ не было характера и что онъ вполнѣ, съ перваго слова и часа, подчинился ей. Это какъ-то само собою въ сердцѣ дѣлается, безъ всякаго предварительнаго расчета; но такая любовь, сильная къ слабому, бываетъ иногда несравненно сильнѣе и мучительнѣе, чѣмъ любовь равныхъ характеровъ, потому что невольно берешь на себя отвѣтственность за своего слабого друга. Я, по крайней мѣрѣ, такъ думаю. Всѣ наши, съ самаго начала, окружили ее самыми нѣжными заботами, особенно мама; но она не смягчилась, не откликнулась на участiе и какъ-бы отвергла всякую помощь. Съ мамой еще говорила вначалѣ, но съ каждымъ днемъ становилась скупѣе на слова, отрывистѣе и даже жестче. Съ Версиловымъ сначала совѣтовалась, но скорѣе избрала въ совѣтники и помощники Васина, какъ съ удивленiемъ узналъ я послѣ... Она ходила къ Васину каждый день, ходила тоже по судамъ, по начальству князя, ходила къ адвокатамъ, къ прокурору; подъ конецъ ее почти совсѣмъ не бывало по цѣлымъ днямъ дома. Разумѣется, каждый день, раза по два, посѣщала и князя, который былъ заключенъ въ тюрьмѣ, въ дворянскомъ отдѣленiи, но свиданiя эти, какъ я вполнѣ убѣдился впоследствии, бывали очень для Лизы тягостны. Разумѣется, кто-жъ третiй можетъ вполнѣ узнать дѣла двухъ любящихся? Но мнѣ извѣстно, что князь глубоко оскорблялъ ее поминутно и чѣмъ, напримѣръ? Странное дѣло: непрерывною ревностью. Впрочемъ, объ этомъ впоследствии; но прибавлю къ этому одну мысль: трудно рѣшить, кто изъ нихъ кого мучилъ болѣе? Гордившаяся между нами своимъ героемъ, Лиза относилась, можетъ быть, совершенно иначе къ нему глазъ на глазъ, какъ я подозреваю твердо, по нѣкоторымъ даннымъ, о которыхъ, впрочемъ, тоже впоследствии.

И такъ, что до чувствъ и отношенiй моихъ къ Лизѣ, то все, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь съ обѣихъ сторонъ, но никогда мы оба не любили другъ друга сильнѣе, какъ въ то время. Прибавлю еще, что къ Макару Ивановичу, съ самаго появленiя его у насъ, Лиза, послѣ перваго удивленiя и любопытства, стала почему-то относиться почти пренебрежительно, даже высокомерно. Она какъ бы нарочно не обращала на него ни малѣйшаго вниманiя.

Давъ себѣ слово „молчать“, какъ объяснилъ я въ предыдущей главѣ я, конечно, въ теорiи, то есть въ мечтахъ моихъ, думалъ сдержать мое слово. О, съ Версиловымъ я, напримѣръ, скорѣе бы загово-

рилъ о зоологіи или о римскихъ императорахъ, чѣмъ, напримѣръ, объ *ней* или объ той, напримѣръ, важнѣйшей строчкѣ въ письмѣ его къ ней, гдѣ онъ увѣдомлялъ ее, что „документъ не сожженъ, а живъ и явится“,—строчкѣ, о которой я немедленно началъ про себя опять думать, только что успѣлъ опомниться и прійти въ разсудокъ послѣ горячки. Но увы! Съ первыхъ шаговъ на практикѣ, и почти еще до шаговъ, я догадался, до какой степени трудно и невозможно удерживать себя въ подобныхъ предрѣшеніяхъ: на другой же день послѣ перваго знакомства моего съ Макаромъ Ивановичемъ, я былъ страшно взволнованъ однимъ неожиданнымъ обстоятельствомъ.

II.

Взволнованъ я былъ неожиданнымъ посѣщеніемъ Дарьи Онисимовны матери покойной Оли. Отъ мамы я уже слышалъ, что она два заходила во время моей болѣзни и что очень интересовалась моимъ здоровьемъ. Для меня ли собственно заходила эта „добрая женщина“, какъ выражалась всегда о ней мама, или просто посѣщала маму, по заведенному прежде порядку,—я не спросилъ. Мама рассказывала мнѣ всегда обо всемъ домашнемъ, обыкновенно когда приходила съ супомъ кормить меня (когда я еще не могъ самъ ѣсть)—чтобы развлечь меня: я же при этомъ упорно старался показать каждый разъ, что мало интересуюсь всѣми этими свѣдѣніями, а потому и про Дарью Онисимовну не разспросилъ подробнѣе, даже промолчалъ со-всѣмъ.

Это было часовъ около одиннадцати; я только что хотѣлъ было встать съ кровати и перейти въ кресло къ столу, какъ она вошла. Я нарочно остался въ постели. Мама чѣмъ-то очень была занята наверху и не сошла при ея приходѣ, такъ что мы вдругъ очутились съ нею наединѣ. Она усѣлась противъ меня, у стѣнки на стулѣ, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовалъ молчанку; да и вообще приходъ ея произвелъ на меня самое раздражительное впечатлѣніе. Я даже не кивнулъ ей головой и прямо смотрѣлъ ей въ глаза: но она тоже прямо смотрѣла на меня.

— Вамъ теперь на квартирѣ, послѣ князя, одной-то скучно? спросилъ я вдругъ, потерявъ терпѣніе.

— Нѣтъ-съ, я теперь не на той квартирѣ. Я теперь черезъ Анну Андреевну за ребеночкомъ ихнимъ надзираю.

— За чьимъ ребеночкомъ?

подростокъ.

— За Андреемъ Петровичевымъ, произнесла она конфиденціальнымъ шопотомъ, оглянувшись на дверь.

— Да вѣдь тамъ Татьяна Павловна...

— И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, онѣ обѣ-съ, и Лизавета Макаровна тоже, и маменька ваша... всѣ-съ. Всѣ принимаютъ участіе. Татьяна Павловна и Анна Андреевна въ большой теперь дружбѣ къ другъ-другѣ-съ.

Новость. Она очень оживилась говора. Я съ ненавистью глядѣлъ на нее.

— Вы очень оживились послѣ послѣдняго разу, какъ ко мнѣ приходили.

— Ахъ, да-съ.

— Потолстѣли, кажется?

Она поглядѣла странно:

— Я ихъ очень полюбила-съ, очень-съ.

— Кого это?

— Да Анну Андреевну. Очень-съ. Такая благородная дѣвица и при такомъ разсудкѣ...

— Вотъ какъ. Чтожь она, какъ теперь?

— Онѣ очень спокойны-съ, очень.

— Она и всегда была спокойна.

— Всегда-съ.

— Если вы съ сплетнями, вскричалъ я вдругъ, не вытерпѣвъ, — то знайте, что я ни во что не мѣшаюсь, я рѣшился бросить... все, вѣхъ, мнѣ все равно—я уйду!..

Я замолчалъ, потому что опомнился. Мнѣ унижительно стало какъ бы объяснять ей мои новыя цѣли. Она же выслушала меня безъ удивленія и безъ волненія, но послѣдовалъ опять молчокъ. Вдругъ она встала, подошла къ дверямъ и выглянула въ сосѣднюю комнату. Убѣдившись, что тамъ нѣтъ никого и что мы одни, она преспокойно воротилась и сѣла на прежнее мѣсто.

— Это вы хорошо! засмѣялся я вдругъ.

— Вы вашу-то квартиру, у чиновниковъ, за собой оставите-съ? спросила она вдругъ, немного ко мнѣ нагнувшись и понизивъ голосъ, точно это былъ самый главный вопросъ, за которымъ она и пришла.

— Квартиру? Не знаю. Можетъ и съѣду... Почему я знаю?

— А хозяйка такъ очень ждуть васъ; чиновникъ тотъ въ большемъ нетерпѣніи и супруга его. Андрей Петровичъ удостовѣрилъ ихъ, что вы навѣрно воротитесь.

— Да вамъ зачѣмъ?

— Анна Андреевна тоже желала узнать; очень были довольны узнавши, что вы остаетесь.

— А она почему такъ навѣрно знаетъ, что я на той квартирѣ непремѣнно останусь?

Я хотѣлъ было прибавить: „И зачѣмъ это ей?“—но удержался разспрашивать изъ гордости!

— Да и г. Ламбертъ тоже самое имъ подтвердили.

— Что-о-о?

— Г. Ламбертъ-съ. Они Андрею Петровичу тоже изъ всѣхъ силъ подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну въ томъ удостовѣрили.

Меня какъ бы всего сотрясло. Чтò за чудеса! Такъ Ламбертъ уже знаетъ Версилова, Ламбертъ проникъ до Версилова,—Ламбертъ и Анна Андреевна,—онъ проникъ и до нея! Жаръ охватилъ меня, но я промолчалъ. Страшный приливъ гордости залилъ всю мою душу, гордости или не знаю чего. Но я какъ бы сказалъ себѣ вдругъ въ ту минуту: „Если спрошу хоть одно слово въ объясненіе, то опять вяжусь въ этотъ міръ и никогда не порѣшу съ нимъ“. Ненависть загорѣлась въ моемъ сердцѣ. Я изъ всѣхъ силъ рѣшился молчать и лежалъ неподвижно; она тоже прилокла на цѣлую минуту.

— Чтò князь Николай Ивановичъ? спросилъ я вдругъ, какъ бы потерявъ рассудокъ. Дѣло въ томъ, что я спросилъ рѣшительно, что бы перебить тему, и вновь, нечаянно, сдѣлалъ самый капитальный вопросъ, самъ какъ съумасшедшій возвращаясь опять въ тотъ міръ, изъ котораго съ такою судорогой только что рѣшился бѣжать.

— Они въ Царскомъ Селѣ-съ. Захворали немного, а въ городѣ эти теперешнія горячки пошли; всѣ и посоветовали имъ переѣхать въ Царское, въ собственный ихній тамонный домъ, для хорошаго воздуха-съ.

Я не отвѣтилъ.

— Анна Андреевна и генеральша ихъ каждые три дня навѣщаютъ, вмѣстѣ и ѣздятъ-съ.

Анна Андреевна и генеральша (то есть *она*)—пріятельницы! Вмѣстѣ ѣздятъ! Я молчалъ.

— Такъ дружны они обѣ стали-съ, и Анна Андреевна о Катеринѣ Николаевнѣ до того хорошо отзываюся...

Я все молчалъ.

— А Катерина Николаевна опять въ свѣтъ „ударилась“, празд-

никъ за праздникомъ, совсѣмъ бланстаетъ; говорить, всѣ даже придворные влюблены въ нее... а съ г. Бьорингомъ все совсѣмъ оставили, и не бывать свадьбѣ; всѣ про то утверждаютъ... съ того самаго будто бы разу.

То есть съ письма Версилова. Я весь задрожалъ, но не проговорилъ ни слова.

— Анна Андреевна ужъ такъ сожалѣютъ про князя Сергѣя Петровича, и Катерина Николаевна тоже-съ, и всѣ про него говорить, что его оправдаютъ, а того, Стебелькова, осудятъ...

Я ненавистно поглядѣлъ на нее. Она встала и вдругъ нагнулась ко мнѣ:

— Анна Андреевна особенно приказала узнать про ваше здоровье, проговорила она совсѣмъ шопотомъ:—и очень приказали просить побывать къ ней, только что вы выходить начнете. Прощайте-съ. Выздоровливайте-съ, а я такъ и скажу...

Она ушла. Я присѣлъ на кровати, холодный потъ выступилъ у меня на лбу, но я чувствовалъ не испугъ: непостижимое для меня и безобразное извѣстіе о Ламбертѣ и его проискахъ вовсе, напримѣръ, не наполнило меня ужасомъ, судя по страху, можетъ быть, безотчетному, съ которыми я вспоминалъ и въ болѣзни, и въ первые дни выздоровленія, о моей съ нимъ встрѣчѣ въ тогдашнюю ночь. Напротивъ, въ то смутное первое мгновеніе на кровати, сейчасъ по уходѣ Дарьи Онисимовны, я даже и не останавливался на Ламбертѣ, но... меня захватила пуще всего вѣсть о ней, о разрывѣ ея съ Бьорингомъ, и ея счастья въ свѣтѣ, о праздникахъ, объ успѣхѣхъ, о „блескѣ“. „Блестать-съ“, слышалось мнѣ словцо Дарьи Онисимовны. И я вдругъ почувствовалъ, что не могъ съ моими силами отбиться отъ этого круговорота; вотъ и я сбужѣлъ скрѣпиться, молчать и не разспрашивать Дарью Онисимовну послѣ ея чудныхъ разсказовъ! Непомѣрная жажда этой жизни, *ихъ* жизнь захватила весь мой духъ и... и еще какая-то другая сладостная жажда, которую я ощущалъ до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои какъ-то вертѣлись, но я давалъ имъ вертѣться. „Что тутъ разсуждать!“ чувствовалось мнѣ. „Однако, даже мама смолчала мнѣ, что Ламбертъ приходилъ“, думалъ я безсвязными отрывками, „это Версильовъ велѣлъ молчать... Умру, а не спрошу Версильова о Ламбертѣ!“ — „Версильовъ“, мелькало у меня опять, Версильовъ и Ламбертъ, о, сколько у нихъ новаго! Молодецъ Версильовъ! Напугалъ нѣмца—Бьоринга тѣмъ письмомъ; онъ оклеветалъ ее, la salomnie... il en reste toujours quelque chose, и придворный нѣмецъ испу-

гался скандала—ха-ха... вотъ ей и урокъ!“—«Ламбертъ... ужь не проникъ ли и къ ней Ламбертъ? Еще бы! Отчаго-жь ей и съ нимъ не „связаться?“

Тутъ вдругъ я бросилъ думать всю эту безмыслицу и въ отчаяніи упалъ головой на подушку. „Да не будетъ же!“ воскликнулъ я съ внезапною рѣшимостью, вскочилъ съ постели, надѣлъ туфли, халатъ и прямо отправился въ комнату Макара Ивановича, точно тамъ былъ отводъ всѣмъ навожденіямъ, спасеніе, якорь, на которомъ я удержусь.

Въ самомъ дѣлѣ, могло быть, что я эту мысль тогда почувствовалъ всѣми силами моей души; для чего же иначе было мнѣ тогда такъ неудержимо и вдругъ вскочить съ мѣста и въ такомъ нравственномъ состояніи кинуться къ Макару Ивановичу?

III.

Но у Макара Ивановича я, совсѣмъ не ожидая того, засталъ людей,—маму и доктора. Такъ какъ я почему-то непремѣнно представилъ себѣ идя, что застаю старика одного, какъ и вчера, то и остановился на порогѣ въ тупомъ недоумѣніи. Но не успѣлъ я нахмуриться, какъ тотчасъ же подошелъ и Версильовъ, а за нимъ вдругъ и Лиза... Всѣ, значить, собирались зачѣмъ-то у Макара Ивановича и „какъ разъ когда не надо!“

— О здоровьи вашемъ пришелъ узнать, проговорилъ я, прямо подходя къ Макару Ивановичу:

— Спасибо, милый, ждалъ тебя: зналъ, что придешь! Ночкой-то о тебѣ думалъ.

Онъ ласково смотрѣлъ мнѣ въ глаза, и мнѣ видимо было, что онъ меня чуть не лучше всѣхъ любитъ, но я мигомъ и невольно замѣтилъ, что лицо его хоть и было веселое, но что болѣзнь сдѣлала таки въ ночь успѣхи. Докторъ, передъ тѣмъ, только что весьма серьезно осмотрѣлъ его. Я узналъ потомъ, что этотъ докторъ (вотъ тотъ самый молодой человѣкъ, съ которымъ я поссорился и который съ самаго прибитія Макара Ивановича лечилъ его) весьма внимательно относился къ пациенту и,—не умѣю я только говорить ихъ медицинскимъ языкомъ,—предполагалъ въ немъ цѣлое осложненіе разныхъ болѣзней. Макаръ Ивановичъ, какъ я съ перваго взгляда замѣтилъ, состоялъ уже съ нимъ въ тѣснѣйшихъ пріятельскихъ отношеніяхъ; мнѣ это въ тотъ же мигъ не понравилось; а впрочемъ, и я, конечно, былъ очень скверенъ въ ту минуту.

— Въ самомъ дѣлѣ, Александръ Семеновичъ, какъ сегодня нашъ дорогой больной? освѣдомился Версиловъ. Еслибъ я не былъ такъ потрясенъ, то мнѣ первымъ дѣломъ было-бы ужасно любопытно прослѣдить и за отношеніемъ Версилова къ этому старику, о чемъ я уже вчера думалъ. Меня всего болѣе поразило теперь чрезвычайно мягкое и пріятное выраженіе въ лицѣ Версилова; въ немъ было что совершенно искреннее. Я какъ-то ужъ замѣтилъ, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекраснымъ, когда онъ чуть-чуть только становился простодушнымъ.

— Да вотъ мы все ссоримся, отвѣтилъ докторъ.

— Съ Макаромъ-то Ивановичемъ? Не повѣрю: съ нимъ нельзя ссориться.

— Да не слушается: по ночамъ не спитъ...

— Да перестань уже ты, Александръ Семеновичъ, полно браниться, разсмѣялся Макаръ Ивановичъ. Ну, что, батюшка, Андрей Петровичъ, какъ съ нашей барышней поступили? Вотъ она цѣлое утро клокочетъ, беспокоится, прибавилъ онъ, показывая на маму.

— Ахъ, Андрей Петровичъ, воскликнула дѣйствительно съ чрезвычайнымъ беспокойствомъ мама, расскажи ужъ поскорѣй, не томилъ ее бѣдную порѣшили?

— Осудили нашу барышню!

— Ахъ! вскрикнула мама.

— Да не въ Сибирь, успокойся—къ пятнадцати рублямъ штрафу всего; комедія вышла!

Онъ сѣлъ, сѣлъ и докторъ. Это они говорили про Татьяну Павловну, и я еще совсѣмъ не зналъ ничего объ этой исторіи. Я сидѣлъ налѣво отъ Макара Ивановича, а Лиза усѣлась напротивъ меня направо; у ней видимо было какое-то свое, особое, сегодняшнее горе, съ которымъ она и пришла къ мамѣ; выраженіе лица ея было безпкойное и раздраженное. Въ ту минуту, мы какъ-то переглянулись, и я вдругъ подумалъ про себя: „Оба мы опозоренные, и мнѣ надо сдѣлать къ ней первый шагъ“. Сердце мое вдругъ къ ней смягчилось. Версиловъ, между тѣмъ, началъ рассказывать объ утреннемъ приключеніи.

Дѣло въ томъ, что у Татьяны Павловны былъ въ то утро въ мировомъ судѣ процессъ съ ея кухаркою. Дѣло въ высшей степени пустое; я упоминалъ уже о томъ, что злобная чухонка иногда, озлясь, молчала даже по недѣлямъ, не отвѣчала ни слова своей барынѣ на ея вопросы; упоминалъ тоже и о слабости къ ней Татьяны Павловны, все

отъ нея переносившей и ни за что не хотѣвшей прогнать ее разъ навсегда. Все эти психологическіе капризы старыхъ дѣвъ и барынь на мои глаза въ высшей степени достойны презрѣнія, а отнюдь не вниманія, и если я рѣшаюсь упоминать здѣсь объ исторіи, то единственно потому, что этой кухаркѣ потомъ, въ дальнѣйшемъ теченіи моего разсказа, суждено сыграть нѣкоторую немалую и роковую роль. И вотъ, выйдя, наконецъ, изъ терпѣнія передъ упрямой чухонкой, не отвѣчавшей ей ничего уже нѣсколько дней, Татьяна Павловна вдругъ ее, наконецъ, ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тутъ не произнесла даже ни малѣйшаго звука, но въ тотъ же день вошла въ сообщеніе съ жившимъ по той же черной лѣстницѣ, гдѣ-то въ углу внизу, отставнымъ мичманомъ Осетровымъ, занимавшимся хожденіемъ по разнаго рода дѣламъ и, разумѣется, возбужденіемъ подобнаго рода дѣлъ въ судахъ, изъ борьбы за существованіе. Кончилось тѣмъ, что Татьяну Павловну позвали къ мировому судѣ, а Версикову пришлось почему-то показывать при разбирательствѣ дѣла въ качествѣ свидѣтеля.

Разсказаль все это Версиковъ необыкновенно весело и шутливо, такъ что даже мама разсмѣялась; онъ представилъ въ лицахъ и Татьяну Павловну, и мичмана, и кухарку. Кухарка съ самаго начала объявила суду, что хочетъ штрафъ деньгами, „а то барыню какъ посадятъ, кому-жъ я готовить-то буду? На вопросы судьи, Татьяна Павловна отвѣчала съ великимъ высокоуміемъ, не удостоивая даже оправдываться; напротивъ, заключила словами: „Прибила и еще прибью“, за что немедленно была оштрафована за дерзкіе отвѣты суду тремя рублями. Мичманъ, долговязный и худощавый молодой человекъ, началъ было длинную рѣчь въ защиту своей кліентки, но позорно сбился и насмѣшилъ всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили заплатить обиженной Марьѣ пятнадцать рублей. Та, не откладывая, тутъ же вынула портмоне и стала отдавать деньги, причѣмъ тотчасъ подвернулся мичманъ и протянулъ было руку получить, но Татьяна Павловна почти ударомъ отбила его руку въ сторону и обратилась къ Марьѣ. „Полноте, барыня, стойте безпокоиться, припишете-съ къ счету, а я ужъ съ этимъ сама раслачусь“. — Видишь, Марья, какого долговязаго взяла себѣ!“ показала Татьяна Павловна на мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья, наконецъ, заговорила. „А ужъ и впрямь долговязный, барыня, лукаво отвѣтила Марья:—котлетки-то съ горошкомомъ сегодня приказывали, давеча не дослышала, сюда торопилась?“ — „Ахъ нѣтъ, съ капустой, Марья, да пожалуйста не сожги, какъ вчера“. — „Да ужъ постараюсь сегодня особо, сударыня; пожа-

луйте ручку-съ" — и поцаловала въ знакъ примиренія барынѣ ручку. Однимъ словомъ, развеселила всю залу.

— Экая вѣдь какая! покачала головой мама, очень довольная и свѣдѣнiемъ, и рассказомъ Андрея Петровича, но украдкой, съ безпкойствомъ поглядывая на Лизу.

— Характерная барышня съ измлада была, усмѣхнулся Макаръ Ивановичъ.

— Жолчь и прайдность, отозвался докторъ.

— Это я-то характерная, это я-то жолчь и прайдность? вошла вдругъ къ намъ Татьяна Павловна, повидимому, очень довольная собой:— ужь тебѣ-то, Александръ Семеновичъ, не говорить бы вздору; еще десяти лѣтъ отъ роду былъ, меня зналъ, какова я прайдная, а отъ жолчи самъ цѣлый годъ лечишь, вылечить не можешь, такъ это тебѣ же въ стыдъ. Ну, довольно вамъ надо мной издѣваться; спасибо, Андрей Петровичъ, что потрудился въ судъ придти. Ну, чтѣ ты, Макарушка, тебя только и зашла провѣдать, не этого (она указала на меня, но тутъ же дружелюбно ударила меня по плечу рукой; я нивогда еще не видывалъ ее въ такомъ веселѣйшемъ расположенiи духа).

— Ну, чтѣ? заключила она, вдругъ обратившись къ доктору и озабоченно нахмурившись.

— Да вотъ не хочетъ лечь въ постель, а такъ, сидя, только себя изнураеть.

— Да я только такъ посижу маненько, съ людьми-то, пробормоталъ Макаръ Ивановичъ съ просящимъ, какъ у ребенка, лицомъ.

— Да ужь любимъ мы это, любимъ; любимъ въ кружѣ поболтать, когда около насъ соберутся; знаю Макарушку, сказала Татьяна Павловна.

— Да и прыткiй, ухъ какой, улыбнулся опять старикъ, обращаясь къ доктору; — и въ рѣчь не даешься; ты погоди, дай сказать: лягу, голубчикъ, слышалъ, а по нашему это вотъ чтѣ: „Коли ляжешь, такъ, пожалуй, ужь и не встанешь“, — вотъ чтѣ, другъ, у меня за хребтомъ стоять.

— Ну да, такъ я и зналъ, народныя предрасудки: „лягу, дескать, да, чего добраго, ужь и не встану“, — вотъ чего очень часто боятся въ народѣ и предпочитаютъ лучше проходить болѣзнь на ногахъ, чѣмъ лечь въ больницу. А васъ, Макаръ Ивановичъ, просто тоска беретъ, тоска по волюшкѣ, да по большой дорожкѣ — вотъ и вся болѣзнь; отвыкли по долгу на мѣстѣ жить. Вѣдь вы — такъ называемый странникъ? Ну, а бродяжество въ нашемъ народѣ почти обра-

щается въ страсть. Это я не разъ замѣтилъ за народомъ. Нашъ народъ—бродяга по преимуществу.

— Такъ Макаръ—бродяга, по твоему? подхватила Татьяна Павловна.

— О, я не въ томъ смыслѣ; я употребилъ слово въ его общемъ смыслѣ. Ну, тамъ религиозный бродяга, ну, набожный, а все таки бродяга. Въ хорошесть, почтенномъ смыслѣ, но бродяга... Я съ медицинской точки...

— Увѣряю васъ, обратился я вдругъ въ доктору:—что бродяги—скорѣе мы съ вами, и всё, сколько здѣсь ни есть, а не этотъ старикъ, у котораго намъ съ вами еще поучиться, потому что у него есть твердое въ жизни, а у насъ, сколько насъ ни есть, ничего твердаго въ жизни... Впрочемъ, гдѣ вамъ это понять.

Я, видно, рѣзко проговорилъ, но я съ тѣмъ и пришелъ. Я собственно не знаю, для чего продолжалъ сидѣть и былъ какъ въ безуміи.

— Ты чего? подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна:—что, ты какъ его нашелъ, Макаръ Ивановичъ? указала она на меня пальцемъ.

— Благослови его Богъ, востеръ, проговорилъ старикъ съ серьезнымъ видомъ, — но при словѣ „востеръ“ почти всё разомъ ялились. Я кое-какъ скрѣпился; всёхъ же пуще смѣялся докторъ. Довольно худо было то, что я не зналъ тогда объ ихъ предварительномъ уговорѣ. Версиловъ, докторъ и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всѣми силами отвлекать маму отъ дурныхъ предчувствій и опасеній за Макара Ивановича, который былъ гораздо больнѣе и безнадежнѣе, чѣмъ я тогда подозрѣвалъ. Вотъ почему всё шутили и старались смѣяться. Только докторъ былъ глупъ и, естественно, не умѣлъ шутить: отъ того все потомъ и вышло. Еслибъ я тоже зналъ объ ихъ уговорѣ, то не надѣлалъ бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала.

Я сидѣлъ и слушалъ краемъ уха; они говорили и смѣялись, а у меня въ головѣ была Дарья Онисимовна съ ея извѣстіями, и я не могъ отъ нея отмахнуться; мнѣ все представлялось, какъ она сидитъ и смотритъ, осторожно встаетъ и заглядываетъ въ другую комнату. Наконецъ, они всё вдругъ разомъ ялились: Татьяна Павловна, совсѣмъ не знаю по какому поводу, вдругъ назвала доктора безбожникомъ: „Ну, ужъ всё вы, докторишки—безбожники!...“

— Макаръ Ивановичъ! вскричалъ докторъ, преглупо притворяясь, что обиженъ и ищетъ суда:—безбожникъ я или нѣтъ?

— Ты-то безбожникъ? Нѣтъ, ты—не безбожникъ, степенно отвѣ-

чалъ старикъ, пристально посматрѣвъ на него:—нѣтъ, слава Богу! покачалъ онъ головой:—ты—человѣкъ веселый.

— А кто веселый, тотъ ужь не безбожникъ? иронически замѣтилъ докторъ.

— Это въ своемъ родѣ—мысль, замѣтилъ Версиловъ, но совсѣмъ не смѣясь.

— Это сильная мысль! воскликнулъ я невольно, поразившись идеей. Докторъ же оглядывался вопросительно.

— Ученыхъ людей этихъ, профессоровъ этихъ самыхъ (вѣроятно, передъ тѣмъ говорили чтонибудь о профессорахъ), началъ Макарь Ивановичъ, слегка потупившись:—я сначала, ухъ, боялся: не смѣлъ я предъ ними, ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мнѣ, мысля, едина; ежели ее погублю, то сыскать другой не могу; ну, а потомъ ободрился: „Что же, думаю, не боги же они, а такіе, какъ и мы, подобострастные намъ человѣки“. Да и любопытство было большое: „Узнаю, что, молъ, есть такое безбожіе? Только, другъ, потому и самое любопытство это прошло.

Онъ примолкъ, но намѣреваясь продолжать все съ тою же тихою и степенною улыбкою. Есть простодушіе, которое довѣряется всѣмъ и каждому, не подозрѣвая насмѣшки. Такіе люди всегда ограничены, ибо готовы выложить изъ сердца все самое драгоценное предъ первымъ встрѣчнымъ. Но въ Макарь Ивановичѣ, мнѣ казалось, было что-то другое и что-то другое движетъ его говорить, а не одна только невинность простодушія: какъ бы выглядывалъ пропагандистъ. Я съ удовольствіемъ поймалъ нѣкоторую, какъ бы даже лукавую усмѣшку, обращенную имъ къ доктору, а, можетъ быть, и къ Версилову. Разговоръ былъ, очевидно, продолженіемъ ихъ прежнихъ споровъ за недѣлю: но въ немъ, къ несчастью, проскочило опять то самое роковое слово, которое такъ наэлектризовало меня вчера и свело меня на одну выходку, о которой я до сихъ поръ сожалею.

— Безбожника-человѣка, сосредоточенно продолжалъ старикъ:—я, можетъ, и теперь побююсь; только вотъ что, другъ Александръ Семеновичъ: безбожника-то я совсѣмъ не стрѣчалъ ни разу, а стрѣчалъ замѣсто его суетливаго— вотъ какъ лучше объявить его надо. Всякіе это люди; не сообразишь какіе люди; и большіе и малые, и глуше и ученые, и даже изъ самаго простаго званія бывають, и все суета. Ибо читають и толкують весь свой вѣкъ, насытившись сладости книжной, а сами все въ недоумѣніи пребываютъ и ничего разрѣшить не могутъ. Иной весь раскидался, самого себя пересталъ замѣчать. Иной паче ка-

мене ожесточень, а въ сердцѣ его бродятъ мечты; а другой — безчувственъ и легкомысленъ и лишь бы ему насмѣшку свою отсмѣять. Иной изъ книгъ выбралъ одни лишь цвѣточки, да и то по своему мнѣнію; самъ же суетливъ и въ немъ предрѣшенія нѣтъ. Вотъ что скажу опять: скуки много. Малый человекъ и нуждается, хлѣбца нѣтъ, ребятюкъ сохранить нечѣмъ, на вострой соломякѣ спать, а все въ немъ сердце веселое, легкое; и грѣшить и грубить, а все сердце легкое. А большой человекъ опивается, объѣдается, на золотой кучѣ сидитъ, а все въ сердцѣ у него одна тоска. Иной всѣ науки прошелъ — и все тоска. И мысля такъ, что чѣмъ больше ума прибываетъ, тѣмъ больше и скуки. Да и то взять: учать съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, а чему же они научили доброду, чтобы міръ былъ самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу: благообразія не имѣютъ, даже не хотятъ сего; всѣ погибли, только каждый хвалитъ свою погибель, а обратиться къ единой Истинѣ не помыслить; а жить безъ Бога — одна лишь мука. И выходитъ, что чѣмъ освѣщаемся, то самое и проклинаяемъ, а и сами того не вѣдаемъ. Да и что толку: невозможно и быть человекъ, чтобы не преклониться; не снесетъ себя такой человекъ, да и никакой человекъ. И Бога отвергнетъ, такъ идолу поклонится — деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники, вотъ какъ объявить ихъ слѣдуетъ. — Ну, а и безбожнику какъ не быть? Есть такіе, что и впрямь безбожники, только тѣ много пострашнѣй этихъ будутъ, потому что съ именемъ Божиимъ на устахъ приходятъ. Слышалъ неоднократно, но не стрѣчалъ я ихъ вовсе. Есть, другъ, такіе, и такъ думаю, что и должны быть они.

— Есть, Макарь Ивановичъ, вдругъ подтвердилъ Версиловъ: — есть такіе и „должны быть они“.

— Непремѣнно есть и „должны быть они!“ вырвалось у меня неудержимо и съ жаромъ, не знаю почему; но меня увлекъ тонъ Версилова и плѣнила какъ-бы какая-то идея въ словѣ: „должны быть они“. Разговоръ этотъ былъ для меня совсѣмъ неожиданностью. Но въ эту минуту вдругъ случилось нѣчто тоже совсѣмъ неожиданное.

IV.

День былъ чрезвычайно ясный; стору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенно во весь день, по приказанію доктора; но на окнѣ была не стора, а занавѣска, такъ что самый верхъ окна былъ все

таки не закрыть; это потому, что старикъ тяготился, не видя совсѣмъ, при прежней сторѣ, солнца. И вотъ какъ разъ ми досидѣли до того момента, когда солнечный лучъ вдругъ прямо ударилъ въ лицо Макара Ивановича. За разговоромъ онъ не обратилъ сначала вниманія, но машинально, во время рѣчи, нѣсколько разъ отклонялъ въ сторону голову, потому что яркій лучъ сильно беспокоилъ и раздражалъ его больные глаза. Мама, стоявшая подлѣ него, уже нѣсколько разъ взглядывала на окно съ безпокойствомъ; просто надо-бы было чѣмъ нибудь заслонить окно совсѣмъ, но, чтобъ не помѣшать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамейку, на которой сидѣлъ Макаръ Ивановичъ, вправо въ сторону: всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже нѣсколько разъ наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла; скамейка, съ сидящимъ на ней Макаромъ Ивановичемъ, не трогалась. Чувствуя ея усилія, но въ жару разговора, совсѣмъ безсознательно, Макаръ Ивановичъ нѣсколько разъ пробовалъ было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все таки продолжала напрягаться и дергать, и вотъ, наконецъ, все это ужасно озлило Лизу. Мнѣ запомнилось нѣсколько ея сверкающихъ, раздраженныхъ взглядовъ, но только я, въ первое мгновеніе, не зналъ чему приписать ихъ, да вдобавокъ былъ отвлеченъ разговоромъ. И вотъ вдругъ рѣзко послышался ея почти окрикъ на Макара Ивановича:

— Да приподымитесь хоть немножко: видите, какъ трудно мамѣ!

Старикъ быстро взглянулъ на нее, разомъ вниенулъ и мигомъ успѣшилъ было приподняться, но ничего не вышло: приподнялся вершка на два и опять упалъ на скамейку.

— Не могу, голубчикъ, отвѣтилъ онъ какъ бы жалобно Лизѣ, и какъ-то весь послушно смотря на нее.

— Разсказывать по цѣлой книгѣ можете, а пошевелиться не въ силахъ?

— Лиза! крикнула-было Татьяна Павловна. Макаръ Ивановичъ опять сдѣлалъ чрезвычайное усиліе.

— Возьмите костыль, подлѣ лежить, съ костылемъ приподымитесь! еще разъ отрѣзала Лиза.

— А и впрямь, сказалъ старикъ, и тотчасъ же успѣшно схватился за костыль.

— Просто надо приподнять его! всталъ Версиковъ; двинулся и докторъ, вкочила и Татьяна Павловна, но они не успѣли и подойти, какъ Макаръ Ивановичъ, изо всѣхъ силъ опершись на костыль, вдругъ

приподнялся и съ радостнымъ торжествомъ сталъ на мѣстѣ, озираясь кругомъ:

— А и поднялся! проговорилъ онъ чуть не съ гордостью, радостно усмѣхаясь:— вотъ и спасибо, милая, научила уму, а я-то думалъ, что совсѣмъ ужъ не служатъ ноженки...

Но онъ простоялъ не долго, не успѣлъ и проговорить, какъ вдругъ костыль его, на который онъ упирался всею тяжестью тѣла, какъ-то скользнулъ по ковру, и такъ какъ „ноженки“ почти совсѣмъ не держали его, то и грохнулся онъ со всей высоты на полъ. Это почти ужасно было видѣть, я помню. Всѣ ахнули и бросились его поднимать, но, слава Богу, онъ не разбился; онъ только грузно, со звукомъ, стукнулся объ полъ обоими колѣнями, но успѣлъ таки уставить передъ собою правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Онъ очень поблѣднѣлъ не отъ испуга, а отъ естрясенія. (Докторъ находилъ въ немъ, сверхъ всего другаго, и болѣзнь сердца). Мама же была внѣ себя отъ испуга. И вдругъ Макарь Ивановичъ, все еще блѣдный, съ трясущимся тѣломъ и какъ бы еще не опомнившись, повернулся къ Лизѣ и почти нѣжнымъ, тихимъ голосомъ проговорилъ ей:

— Нѣтъ, милая, знать и впрямь не стоятъ ноженки!

Не могу выразить моего тогдашняго впечатлѣнія. Дѣло въ томъ, что въ словахъ бѣднаго старика не прозвучало ни малѣйшей жалобы или укора; напротивъ, прямо видно было, что онъ рѣшительно не замѣтилъ, съ самаго начала, ничего злобнаго въ словахъ Лизы, а окрикъ ея на себя принялъ какъ за нѣчто должное, то есть, что такъ и слѣдовало его „распечь“ за вину его. Все это ужасно подѣйствовало и на Лизу. Въ минуту паденія, она вскочила какъ и всѣ, и стояла вся помертвѣвъ и, конечно, страдаая, потому что была всему причиною, но, услышавъ такія слова, она вдругъ, почти въ мгновеніе, вся вспыхнула краской стыда и раскаянія.

— Довольно! скомандовала вдругъ Татьяна Павловна: — все отъ разговоровъ! Пора по мѣстамъ; чему быть доброму, когда самъ докторъ болтовню завелъ!

— Именно, подхватилъ Александръ Семеновичъ, суетившійся около больнаго.— Виноватъ, Татьяна Павловна, ему надо покой!

Но Татьяна Павловна не слушала: она съ полминуты молча и въ упоръ наблюдала Лизу.

— Поди сюда, Лиза, и поцалуй меня, старую дуру, если только хочешь, проговорила она неожиданно.

И она поцаловала ее, не знаю, за что, но именно такъ надо было сдѣлать; такъ что я чуть не бросился самъ цаловать Татьяну Павловну. Именно не давить надо было Лизу укоромъ, а встрѣтить радостью и поздравленіемъ новое прекрасное чувство, которое несомнѣнно должно было въ ней зародиться. Но вмѣсто всѣхъ этихъ чувствъ, я вдругъ всталъ и началъ, твердо отчеканивая слова:

— Макаръ Ивановичъ, вы опять употребили слово: „благообразіе“, а я, какъ разъ вчера и всѣ дни этимъ словомъ мучился... да и всю жизнь мою мучился, только прежде не зналъ, о чемъ. Это совпаденіе словъ я считаю роковымъ, почти чудеснымъ... Объявляю это въ вашеѣ присутствіи...

Но меня мигомъ остановили. Повторяю: я не зналъ объ ихъ уговорѣ на счетъ мамы и Макара Ивановича; меня же, по прежнимъ дѣламъ ужь, конечно, они считали способнымъ на всякій скандалъ въ этомъ родѣ.

— Унять, унять его! озвѣрѣла совсѣмъ Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макаръ Ивановичъ, видя всеобщій испугъ, тоже испугался.

— Аркадій, полно! строго крикнулъ Версиловъ.

— Для меня, господа, возвысилъ я еще пуще голосъ:—для меня видѣть васъ всѣхъ подлѣ этого младенца (я указалъ на Макара) — есть безобразіе. Тутъ одна лишь святая—это мама, но и она...

— Вы его испугаете! настойчиво проговорилъ докторъ.

— Я знаю, что я—врагъ всему міру, пролепеталъ было я (или что-то въ этомъ родѣ), но, оглянувшись еще разъ, я съ вызовомъ посмотрѣлъ на Версилова.

— Аркадій! крикнулъ онъ опять: — такая же точно сцена уже была однажды здѣсь между нами. Умоляю тебя, воздержись теперь!

Не могу выразить того, съ какимъ сильнымъ чувствомъ онъ выговорилъ это. Чрезвычайная грусть, искренняя, полнѣйшая, выразилась въ чертахъ его. Удивительнѣе всего было то, что онъ смотрѣлъ какъ виноватый: я былъ судья, а онъ—преступникъ. Все это доканало меня.

— Да! вскричалъ я ему въ отвѣтъ:—такая же точно сцена уже была, когда я хоронилъ Версилова и вырвалъ его изъ сердца... Но затѣмъ послѣдовало воскресенье изъ мертвыхъ, а теперь... теперь уже безъ разсвѣта! Но... но вы увидите всѣ здѣсь, на что я способенъ: даже и не ожидаете того, что я могу доказать!

Сказавъ это, я бросился въ мою комнату. Версиловъ побѣждалъ за мной...

V.

Со мной случился рецидивъ болѣзни; произошелъ сильнѣйшій лихорадочный припадокъ, а къ ночи бредъ. Но не все былъ бредъ: были безчисленные сны, цѣлой вереницей и безъ мѣры, изъ которыхъ одинъ сонъ или отрывокъ сна я на всю жизнь запомнилъ. Сообщаю безъ всякихъ объясненій; это было пророчество и пропустить не могу.

Я вдругъ очутился, съ какимъ-то великимъ и гордымъ нахвѣреніемъ въ сердцѣ, въ большой и высокой комнатѣ, но не у Татьяны Павловны: я очень хорошо помню комнату; замѣчаю это, забѣгая впередъ. Но хотя я и одинъ, но непрерывно чувствую, съ безпокойствомъ и мукой, что я совѣмъ не одинъ, что меня ждутъ и что ждутъ отъ меня чего-то. Гдѣ-то за дверями сидятъ люди и ждутъ того, что я сдѣлаю. Ощущеніе нестерпимое: „о, еслибъ я былъ одинъ!“ И вдругъ входитъ она. Она смотритъ робко, она ужасно боится, она засмагриваетъ въ мои глаза. *Въ рукахъ моихъ документъ.* Она улыбается, чтобъ плѣнить меня, она ластится ко мнѣ; мнѣ жалко, но я начинаю чувствовать отвращеніе. Вдругъ она закрываетъ лицо руками. Я бросаю „документъ“ на столъ въ невыразимомъ презрѣніи: „Не просите, на-те, мнѣ отъ васъ ничего не надо! Мнѣ за все мое поруганіе презрѣнїемъ!“ Я выхожу изъ комнаты, захлебываясь отъ непоимѣнной гордости. Но въ дверяхъ, въ темнотѣ, схватываетъ меня Ламбертъ! „Духгакъ, духгакъ!“ шепчетъ онъ изо всѣхъ силъ, удерживая меня за руку, — „она на Васильевскомъ островѣ благородный пансіонъ для дѣвчонокъ должна открывать (NB. то есть, чтобъ прокормиться, если отецъ, узнавъ отъ меня про документъ, лишитъ ее наслѣдства и прогонитъ изъ дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, какъ приснились).

— Аркадій Макаровичъ ищетъ „благообразія“, слышится голосокъ Анны Андреевны, гдѣ-то подлѣ, тутъ же на лѣстницѣ; но не похвала, а нестерпимая насмѣшка прозвучала въ ея словахъ. Я возвращаюсь въ комнату съ Ламбертомъ. Но, увидѣвъ Ламберта, она вдругъ начинаетъ хохотать. Первое впечатлѣніе мое — страшный испугъ, такой испугъ, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не вѣрю; точно она вдругъ сняла маску съ лица: тѣ же черты, но какъ будто каждая черточка лица исказилась непоимѣнною наглостью. „Выкупъ, барыня, выкупъ!“ кричитъ Ламбертъ, и оба еще пуще хохочутъ, а сердце мое замираетъ: „О, неужели эта безстыжая женщина — та самая, отъ одного взгляда которой кипѣло добродѣтелью мое сердце“?

— Вотъ на что они способны, эти гордецы, въ ихнемъ высшемъ

свѣтъ, за деньги! восклицаетъ Ламбертъ. Но безстыдница не смущается даже этимъ; она хохочетъ именно надъ тѣмъ, что я такъ испуганъ. О, она готова на выкупъ, это я вижу и... и что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзенія; я дрожу, какъ никогда... Меня схватываетъ новое чувство, невыразимое, котораго я еще вовсе не зналъ никогда, и сильное, какъ весь міръ... О, я уже не въ силахъ уйти теперь ни за что! О, какъ мнѣ нравится, что это такъ безстыдно! Я схватываю ее за руки, прикосновеніе рукъ ея мучительно сотрясаетъ меня, и я приближаю мои губы къ ея наглымъ, алымъ, дрожащимъ отъ смѣха и зовущимъ меня губамъ.

О, прочь это низкое воспоминаніе! Проклятый сонъ! Клянусь, что до этого мерзостнаго сна не было въ моемъ умѣ даже хоть чегонибудь похожаго на эту позорную мысль. Даже невольной какойнибудь въ этомъ родѣ мечты не было (хотя я и хранилъ „документъ“ зашитый въ карманѣ и хватался иногда за карманъ съ странной усмѣшкой). Откуда же это все явилось совсѣмъ готовое? Это отъ того, что во мнѣ была душа паука! Это значитъ, что все уже давно зародилось и лежало въ развратномъ сердцѣ моемъ, въ *желаніи* моемъ лежало, но сердце еще стыдилось на яву и умъ не смѣлъ еще представить чтонибудь подобное сознательно. А во снѣ душа сама все представила и выложила, что было въ сердцѣ, въ совершенной точности и въ самой полной картинѣ и — въ пророческой формѣ. И неужели *это* я имъ хотѣлъ *доказать*, выбѣгая по утру отъ Макара Ивановича? Но довольно: до времени ничего объ этомъ! Этотъ сонъ, мнѣ приснившійся, есть одно изъ самыхъ странныхъ приключеній моей жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Черезъ три дня я всталъ поутру съ постели и вдругъ почувствовалъ, ступивъ на ноги, что больше не слягу. Я всецѣло ощутилъ близость выздоровленія. Всѣ эти маленькія подробности, можетъ быть, и не стоило бы вписывать, но тогда наступило нѣсколько дней, въ которые, хотя и не произошло ничего особеннаго, но которые всѣ остались въ моей памяти, какъ нѣчто отрадное и спокойное, а это — рѣдкость въ моихъ воспоминаніяхъ. Душевнаго состоянія моего не буду пока формулировать; еслибъ читатель узналъ, въ чемъ оно состояло, то, конечно бы, не повѣрилъ. Лучше потомъ все объяснится изъ фактовъ. А пока лишь скажу одно: пусть читатель помнитъ *душу паука*.

И это у того, который хотѣлъ уйти отъ нихъ и отъ всего свѣта во имя „благообразія!“ Жажда благообразія была въ высшей мѣрѣ, и ужь, конечно, такъ, но какими образомъ она могла сочетаться съ другими, ужь Богъ знаетъ какими, жаждами—это для меня тайна. Да и всегда была тайною, и я тысячу разъ дивился на эту способность человѣка (и, кажется, русскаго человѣка по преимуществу) желать въ душѣ своей высочайшій идеаль рядомъ съ величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная въ русскомъ человѣкѣ, которая его далеко поведетъ, или просто подлость—вотъ вопросъ!

Но оставимъ. Такъ или этакъ, а наступило затишье. Я просто понялъ, что выздоровѣть надо во что бы ни стало и какъ можно скорѣе, чтобы какъ можно скорѣе начать дѣйствовать, а потому рѣшился жить гигиенически и слушааясь доктора (кто бы онъ ни былъ), а бурныя намѣренія, съ чрезвычайнымъ благоразуміемъ (плодъ широкости), отложилъ до дня выхода, то есть до выздоровленія. Какимъ образомъ могли сочетаться всѣ мирныя впечатлѣнія и наслажденія затишьемъ съ мучительно-сладкими и тревожными біеніями сердца, при предчувствіи близкихъ бурныхъ рѣшеній,—не знаю, но все опять отношу къ „широкости“. Но прежняго недавняго безпокойства во мнѣ уже не было; я отложилъ все до срока, уже не трепеща передъ будущимъ, какъ еще недавно, но какъ богачъ, увѣренный въ своихъ средствахъ и силахъ. Надменности и вызова ожидавшей меня судьбѣ прибывало все больше и больше, и отчасти, полагаю, отъ дѣйствительнаго уже выздоровленія и отъ быстро возвращавшихся жизненныхъ силъ. Вотъ эти-то нѣсколько дней окончательнаго и даже дѣйствительнаго выздоровленія я и вспоминаю теперь съ полнымъ удовольствіемъ.

О, они мнѣ все простили, т. е. выходку, и это—тѣ самые люди, которыхъ я въ глаза обозвалъ безобразными! Это я люблю въ людяхъ, это я называю умомъ сердца; по крайней мѣрѣ, это меня тотчасъ же привлекало, разумеется, до известной мѣры. Съ Версиловымъ, напримеръ, мы продолжали говорить, какъ самые добрые знакомые, но до известной мѣры: чуть слишкомъ проскакивала экспансивность (а она проскакивала), и мы тотчасъ же сдерживались оба, какъ бы капельку стыдась чего-то. Есть случаи, въ которыхъ побѣдитель не можетъ не стыдиться своего побѣжденнаго, а именно за то, что одержалъ надъ нимъ верхъ. Побѣдитель былъ очевидно—я; я и стыдился.

Въ то утро, то есть, когда я всталъ съ постели послѣ рецидива болѣзни, онъ зашелъ ко мнѣ, и тутъ я въ первый разъ узналъ отъ

него объ ихъ общенъ тогдашнемъ соглашеніи на счетъ мамы и Макара Ивановича; причемъ онъ замѣтилъ, что хоть старику и легче, но докторъ за него положительно не отвѣчаетъ. И отъ всего сердца далъ ему и мое обѣщаніе вести себя впредь осторожнѣе. Когда Версильовъ передавалъ мнѣ все это, я, въ первый разъ тогда, вдругъ замѣтилъ, что онъ и самъ чрезвычайно искренно занятъ этимъ старикомъ, т. е. гораздо болѣе, чѣмъ я бы могъ ожидать отъ человѣка, какъ онъ, и что онъ смотритъ на него, какъ на существо ему и самому почему-то особенно дорогое, а не изъ-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило, и, признаюсь, безъ Версильова, я бы многое пропустилъ безъ вниманія и не оцѣнилъ въ этомъ старикѣ, оставившемъ одно изъ самыхъ прочныхъ и оригинальныхъ воспоминаній въ моемъ сердцѣ.

Версильовъ какъ бы боялся за мои отношенія къ Макару Ивановичу, то есть, не довѣрялъ ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно былъ доволенъ потому, когда разглядѣлъ, что и я умѣю иногда понять, какъ надо отнестись къ человѣку совершенно иныхъ понятій и возрвній, однимъ словомъ, умѣю быть, когда надо, и уступчивымъ, и широкимъ. Признаюсь тоже (не унижая себя, я думаю), что въ этомъ существѣ изъ народа я нашелъ и нѣчто совершенно для меня новое относительно иныхъ чувствъ и возрвній, нѣчто мнѣ неизвѣстное, нѣчто гораздо болѣе ясное и утѣшительное, чѣмъ какъ я самъ понималъ эти вещи прежде. Тѣмъ не менѣе, возможности не было не выходить иногда просто изъ себя отъ иныхъ рѣшительныхъ предразсудковъ, которыми онъ вѣровалъ съ самыми возмутительнымъ спокоевствомъ и непоколебимостью. Но тутъ, конечно, виною была лишь его необразованность; душа же его была довольно хорошо организована и такъ даже, что я не встрѣчалъ еще въ людяхъ ничего лучшаго въ этомъ родѣ.

II.

Прежде всего, привлекало въ немъ, какъ я уже и замѣтилъ выше, его чрезвычайное чистосердечіе и отсутствіе малѣйшаго самолюбія; предчувствовалось почти безгрѣшное сердце. Было „веселіе“ сердца, а потому и „благообразіе“. Слово „веселіе“ онъ очень любилъ и часто употреблялъ. Правда, находила иногда на него какая-то, какъ бы болѣзненная восторженность, какая-то, какъ бы болѣзненность умиленія, — отчасти, полагаю, и отъ того, что лихорадка, по настоящему говоря, не покидала его во все время; но благообразію это не мѣшало. Были

и контрасты: рядомъ съ удивительнымъ прстодупствомъ, иногда совершенно не примѣчавшимъ проиш (часто къ досадѣ моей), уживалась въ немъ и какая-то хитрая тонность, всего чаще въ полемическихъ спсбкахъ. А полемичу онъ любилъ, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что онъ много исходилъ по Россіи, много переслушалъ, но, повторяю, больше всего онъ любилъ умиленіе, а потому и все на него наводящее, да и самъ любилъ рассказывать умилительныя вещи. Вообще, рассказывать очень любилъ. Много я отъ него переслушалъ и о собственныхъ его странствіяхъ, и разныхъ легендъ изъ жизни самыхъ древнѣйшихъ „подвижниковъ“. Неизнакомъ я съ этими, но, думаю, что онъ много перевиралъ изъ этихъ легендъ, усвоивъ ихъ, большею частью, изъ изустныхъ же рассказовъ просто народа. Просто невозможно было допустить иныхъ вещей. Но рядомъ съ очевидными передѣлками или просто съ враньемъ, всегда мелькало какое-то удивительное цѣлое, полное народнаго чувства и всегда умилительное... Я запомнилъ, напримеръ, изъ этихъ рассказовъ, одинъ длинный рассказъ—жизне „Маріи Египетской“. Объ „жизни“ этомъ, да почти и о всѣхъ подобныхъ, я не имѣлъ, до того времени, никакого понятія. Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести безъ слезъ, и не отъ умиленія, а отъ какого-то страннаго восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, какъ та раскаленная песчаная стена со львами, въ которой скиталась святая. Впрочемъ, объ этомъ я не хочу говорить, да и не компетентенъ.

Кромѣ умиленія, нравились мнѣ въ немъ и нѣкоторыя чрезвычайно оригинальныя иногда воззрѣнія на нѣкоторыя весьма еще спорныя вещи, въ современной дѣйствительности. Рассказывалъ онъ разъ, напримеръ, одну недавнюю исторію объ одномъ отпущенномъ солдатѣ; этого происшествія онъ почти былъ свидѣтелемъ. Вернулся одинъ солдатъ на родину со службы, опять къ мужикамъ, и не понравилось ему жить опять съ мужиками, да и самъ онъ мужикамъ не понравился. Сбилъ чело-вѣкъ, зашилъ и ограбилъ гдѣ-то и кого-то; уликъ врѣзанныхъ не было, но схватили, однако, и стали судить. Въ судѣ адвокат совсѣмъ уже было его оправдалъ—нѣтъ уликъ да и только, какъ вдругъ тотъ слушалъ-слушалъ, да вдругъ всталъ и перервалъ адвоката: „Нѣтъ, ты постой говорить“, да все и рассказалъ, „до послѣдней соринки“; повинился во всемъ, съ плачемъ и съ раскаяньемъ. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдругъ всѣ и выходятъ: „Нѣтъ, не виновенъ“. Всѣ закричали, зарадовались, а солдатъ, какъ стоялъ, такъ ни съ мѣста, точно въ столбъ обратился, не понимаетъ ничего; не понялъ ничего и

изъ того, что предсѣдатель сказалъ ему въ увѣщаніе, отпуская на волю. Пошелъ солдатъ опять на волю и все не вѣритъ себѣ. Сталъ тосковать, задумался, не ѣсть, не пить, съ людьми не говоритъ, а на пятый день взялъ да и повѣсяся. „Вотъ каково съ грѣхомъ-то на душѣ жить!“ заключилъ Макаръ Ивановичъ. Разсказъ этотъ, конечно, пустой и такихъ бездна теперь во всѣхъ газетахъ, но мнѣ понравился въ немъ тонъ, а пуще всего нѣкоторыя словечки, рѣшительно съ новою мыслью. Говоря, наприимѣръ, о томъ, какъ солдатъ, возвратясь въ деревню, не понравился мужикамъ, Макаръ Ивановичъ выразился: „А солдатъ извѣстно что: солдатъ—*„мужикъ порченый“*. Говоря потомъ объ адвокатѣ, чуть не выигравшемъ дѣло, онъ тоже выразился: „А адвокатъ извѣстно что: адвокатъ—*„нанятая совесть“*. Оба эти выраженія онъ высказалъ, совѣмъ не трудясь надъ ними и себѣ неприимѣтно, а межъ тѣмъ, въ этихъ двухъ выраженіяхъ—цѣлое особое воззрѣніе на оба предмета, и хоть ужь, конечно, не всего народа, такъ все таки Макаръ Ивановичево, собственное и не заимствованное! Эти предрѣшенія въ народѣ на счетъ иныхъ тѣмъ по истинѣ иногда чудесны по своей оригинальности.

— А какъ вы, Макаръ Ивановичъ, смотрите на грѣхъ самоубійства? спросилъ я его по тому же поводу.

— Самоубійство есть самый великій грѣхъ человѣческій, отвѣталъ онъ, вдохнувъ:—но судья тутъ—единъ Господь, ибо Ему лишь извѣстно все, всякій предѣлъ и всякая мѣра. Намъ же безпремѣнно надо молиться о такомъ грѣшникѣ. Каждый разъ, какъ услышишь о такомъ грѣхѣ, то, отходя ко сну, помолись за сего грѣшника умиленно; хотя бы только воздохни о немъ къ Богу, даже хотя бы ты и не зналъ его вовсе,—тѣмъ доходнѣе твоя молитва будетъ о немъ.

— А поможетъ ему молитва моя, коли онъ уже осужденъ?

— А почему ты знаешь? Многіе, охъ, многіе не вѣрують и оглушаютъ самъ людей не свѣдующихъ; ты же не слушай, ибо сами не знаютъ куда бредутъ. Молитва за осужденнаго отъ живущаго еще человѣка во истину доходитъ. Такъ каково же тому, за кого совѣмъ некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончаніи и прибавь: „Помилуй, Господи Іисусе, и всѣхъ тѣхъ, за кого некому помолиться“. Вельми доходна молитва сія и пріятна. Также и о всѣхъ грѣшникахъ еще живущихъ: „Господи, ими же самъ всѣи судьбами спаси всѣхъ нераскаянныхъ“,—это тоже молитва хорошая.

Я обѣщала ему, что помолюсь, чувствуя, что обѣщаніемъ этимъ доставлю ему чрезмѣрное удовольствіе. И дѣйствительно, радость за-

сіяла въ его лицѣ; но спѣшу прибавить, что въ подобныхъ случаяхъ онъ никогда не относился ко мнѣ свысока, то есть, въ родѣ какъ бы старецъ къ какому нибудь подростку; напротивъ, весьма часто любилъ самого меня слушать, даже заслушивался, на разныя темы, полагая, что имѣеть дѣло, хоть и съ „вьюношемъ“, какъ онъ выражался въ высокомъ слогѣ (онъ очень хорошо зналъ, что надо выговаривать „юноша“, а не „вьюношь“), но понимая вмѣстѣ и то, что этотъ „вьюношь“ безмѣрно выше его по образованію. Любилъ онъ, напримѣръ, очень часто говорить о пустынножителствѣ и ставилъ „пустыню“ несравненно выше „страстей.“ Я горячо возражалъ ему, напирая на эгоизмъ этихъ людей, бросающихъ міръ и пользу, которую бы могли принести человечеству, единственно для эгоистической идеи своего спасенія. Онъ сначала не понималъ, подозреваю даже, что и совѣмъ не понял; но пустыню очень защищалъ: „Сначала жалко себя, конечно (то есть, когда поселишься въ пустынѣ)—ну, а потомъ каждый день все больше радуешься, а потомъ уже и Бога узришь“.—Тутъ я развилъ передъ нимъ полную картину полезной дѣятельности ученаго, медика, или вообще друга человечества въ мірѣ, и привелъ его въ сущій восторгъ, потому что и самъ говорилъ горячо; онъ поминутно поддакивалъ мнѣ: „такъ милый, такъ, благослови тебя Богъ, по истинѣ мыслишь“; но когда я кончилъ, онъ все таки не совѣмъ согласился: „такъ-то оно такъ, вздохнулъ онъ глубоко:—да много ли такихъ, что выдержать и не развлекутся? Деньги хоть не Богъ, а все-жъ полбога — великое искушеніе; а тутъ и женскій полъ, а тутъ и сомнѣніе, и зависть. Вотъ дѣло-то великое и забудутъ, а займутся маленькимъ. То-ли въ пустынѣ? Въ пустынѣ человѣкъ укрѣпляетъ себя даже на всякій подвигъ. Другъ! Да и что въ мірѣ? воскликнулъ онъ съ чрезмѣрнымъ чувствомъ: „Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку, да посѣй на камушкѣ; когда желтъ песочикъ у тебя на камушкѣ томъ взойдетъ, тогда и мечта твоя въ мірѣ сбудется,—вотъ какъ у насъ говорится. То-ли у Христа: „Поди и раздай твое богатство и стань всѣмъ слуга“. И станешь богатъ паче прежняго въ безсчетно разъ; ибо не пищею только, не платьями цѣнными, не гордостью и не завистью счастливъ будешь, а умножившеюся безсчетно любовью. Ужъ не малое богатство, не сто тысячъ, не миллионъ, а цѣлый міръ приобретаешь! Нынѣ безъ сытости собираемъ и съ безуміемъ расточаемъ, а тогда не будетъ ни сиротъ, ни нищихъ, ибо всѣ мои, всѣ родные, всѣхъ приобретаешь, всѣхъ до одинаго купишь! Нынѣ не въ рѣдкость, что и самый богатый и знатный къ числу дней своихъ равнодушенъ, и самъ ужъ не знаетъ, какую забаву выдумать;

тогда же дни и часы твои умножатся какъ-бы въ тысячу разъ; ибѣ ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую въ веселіи сердца оплутыишь. Тогда и премудрость приобрятешь не изъ единныхъ книгъ-только, а будешь съ самимъ Богомъ лицомъ къ лицу; и возсияетъ земля паче солнца, и не будетъ ни печали, ни воздыханія, а лишь единый безцѣнный рай“...

Вотъ эти-то восторженные выходы чрезвычайно, кажется, любилъ Версиковъ. Въ этотъ разъ онъ тутъ-же былъ въ комнатѣ.

— Макаръ Ивановичъ! прервалъ я его вдругъ, самъ разгораясь безъ всякой мѣры (я помню тотъ вечеръ): — да вѣдь вы коммунизмъ, рѣшительный коммунизмъ, если такъ, проповѣдуете!

И такъ какъ онъ рѣшительно ничего не зналъ про коммунистическое ученіе, да и самое слово въ первый разъ услышалъ, то я тутъ же сталъ ему излагать все, что зналъ на эту тему. Признаюсь, я зналъ мало и обивчиво, да и теперь не совсѣмъ компетентенъ; но что зналъ; то изложилъ съ величайшимъ жаромъ, не смотря ни на что. До сихъ поръ вспоминаю съ удовольствіемъ о чрезвычайномъ впечатлѣніи, которое я произвелъ на старика. Это было даже не впечатлѣніе, а почти потрясеніе. Присемъ онъ страшно интересовался историческими подробностями: „Гдѣ? Какъ? Кто устроилъ? Кто сказалъ?“ Кстати, я замѣтилъ, что это—вообще свойство простонародья: онъ не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непременно начнетъ требовать самыхъ твердыхъ и точныхъ подробностей. Я таки въ подробностяхъ сбивался; и такъ какъ тутъ былъ Версиковъ, то немного стыдился его, а отъ того еще пуще горячился. Кончилось тѣмъ, что Макаръ Ивановичъ, въ умиленіи, подъ конецъ только повторялъ къ каждому слову: „Такъ, такъ!“ но уже видимо не понимая и теряя нитку. Мнѣ стало досадно, но Версиковъ вдругъ прервалъ разговоръ, всталъ и объявилъ, что пора идти спать. Мы тогда всѣ были въ сборѣ и было поздно. Когда онъ черезъ нѣсколько минутъ заглянулъ въ мою комнату, я тотчасъ спросилъ его: какъ онъ глядитъ на Макара Ивановича вообще и что онъ объ немъ думаетъ? Версиковъ весело усмѣхнулся (но вовсе не надъ моими ошибками въ коммунизмъ—напротивъ, объ нихъ не упомянулъ). Повторяю опять: онъ рѣшительно какъ бы прильпился къ Макару Ивановичу, и я часто ловилъ на лицѣ его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда онъ слушалъ старика. Впрочемъ, улыбка вовсе не помѣшала критикѣ.

— Макаръ Ивановичъ, прежде всего—не мужикъ, а дворовый чловѣкъ, произнесъ онъ съ большою охотою: —бывшій дворовый чело-

вѣкъ и бывшій слуга, родившійся слугою и отъ слуги. Дворовые и слуги чрезвычайно много раздѣляли интересовъ частной, духовной и умственной жизни своихъ господъ въ близкое время. Замѣть, что Макаръ Ивановичъ до сихъ поръ всего больше интересуется событіями изъ господской и высшей жизни. Ты еще не знаешь, до какой степени интересуется онъ иными событіями въ Россіи за послѣднее время. Знаешь ли, что онъ великій политикъ? Его медомъ не корми, а расскажи гдѣ кто воюетъ и будемъ-ли мы воевать. Въ прежнее время я доводилъ его подобными разговорами до блаженства. Науку уважаетъ очень и изъ всѣхъ наукъ любитъ больше астрономію. При всемъ томъ выработалъ въ себѣ нѣчто столь независимое, чего уже ни за что въ немъ не передвинешь. Убѣжденія есть, и твердыя, и довольно ясны... и истинныя. При совершенномъ невѣжествѣ, онъ вдругъ способенъ изумить неожиданнымъ знакомствомъ съ иными понятіями, которыхъ бы въ немъ и не предполагалъ. Хвалить пустыню съ восторгомъ, но ни въ пустыню, ни въ монастырь ни за что не пойдетъ, потому что въ высшей степени „бродяга,“ какъ мило называлъ его Александръ Семеновичъ, на котораго ты напрасно, мимоходомъ сказать, сердисься. Ну, чтожь еще, наконецъ: нѣсколько художникъ, много своихъ словъ, но есть и не свои. Нѣсколько хремъ въ логическомъ изложеніи, подъ-часъ очень отвѣченая; съ порывами сентиментальности, но совершенно народной или, лучше сказать, съ порывами того самаго общенароднаго умиленія, которое такъ широко вносить народъ нашъ въ свое религіозное чувство. Про чистосердочіе и неакобивость его опускаю: не намъ съ тобой начинать на эту тему...

III.

Чтобы закончить съ характеристикой Макара Ивановича, передамъ какойнибудь изъ его рассказовъ, собственно уже изъ частной жизни. Характеръ этихъ рассказовъ былъ странный: вѣрнѣе то, что не было въ нихъ никакого общаго характера; нравоученія какогонибудь или общаго направленія нельзя было выжать, развѣ то, что всѣ болѣе или менѣе были умилительны. Но были и не умилительныя, были даже совсѣмъ веселыя, были даже насмѣшки надъ иными монахами изъ безпутныхъ, такъ что онъ прямо вредилъ своей идеѣ рассказывая, — о чемъ я и замѣтилъ ему; но онъ не понималъ, что я хотѣлъ сказать. Иногда трудно было сообразить, что его такъ побуждаетъ рассказывать, такъ что я подъ-часъ даже дивился на такое многоглаголаніе и приписывалъ отчасти старчеству и болѣзненному состоянію.

— Онъ—не то, что прежде, шепнулъ мнѣ разъ Версиловъ:—онъ прежде былъ не совсѣмъ таковъ. Онъ скоро умретъ, гораздо скорѣе, чѣмъ мы думаемъ, и надо быть готовымъ.

Я забылъ сказать, что у насъ установилось нѣчто въ родѣ „вечеровъ“. Кромѣ мамы, не отходившей отъ Макара Ивановича, всегда по вечерамъ въ его комнату приходилъ Версиловъ; всегда приходилъ я, да и не гдѣ мнѣ было и быть; въ послѣдніе дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже другихъ, и всегда почти сидѣла молча. Бывала и Татьяна Павловна, и, хоть рѣдко, да бывалъ и докторъ. Съ докторомъ я, какъ-то вдругъ такъ вышло, сошелся; не очень, но, по крайней мѣрѣ, прежнихъ выходовъ не было. Мнѣ нравилась его какъ бы простоватость, которую я, наконецъ, разглядѣлъ въ немъ, и нѣкоторая привязанность его къ нашему семейству, такъ что я рѣшился, наконецъ, ему простить его медицинское высокомѣріе и, сверхъ того, научилъ его мыть себѣ руки и чистить ногти, если ужъ онъ не можетъ носить чистаго бѣлья. Я прямо растолковалъ ему, что это вовсе не для франтовства и не для какихъ нибудь тамъ изящныхъ искусствъ, но что чистоплотность естественно входитъ въ ремесло доктора, и доказалъ ему это. — Подходила, наконецъ, часто къ дверямъ изъ своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, какъ рассказываетъ Макаръ Ивановичъ. Версиловъ вызвалъ ее разъ изъ за дверей и пригласилъ сѣсть вмѣстѣ съ нами. Мнѣ это понравилось; но съ этого разу она уже перестала подходить къ дверямъ. Свои нравы!

Помѣщаю одинъ изъ рассказовъ, безъ выбору, единственно потому, что онъ мнѣ болѣе запомнился. Это—одна исторія объ одномъ купцѣ, и я думаю, что такихъ исторій въ нашихъ городахъ и городишкахъ случается тысячами, лишь бы умѣть смотреть. Желающіе могутъ обойти рассказъ, тѣмъ болѣе, что я рассказываю его слогомъ.

IV.

„А было у насъ въ городѣ Афишевскомъ, скажу теперь, вотъ како чудо. Жилъ купецъ, Скотобойниковъ прозвался, Максимъ Ивановичъ, и не было его богаче по всей округѣ. Ситцевую фабрику построилъ и рабочихъ нѣсколько сотъ содержалъ; и возмнилъ о себѣ безмѣрно. И надо такъ сказать, что уже все ходило по его знаку, и само начальство ни въ чемъ не препятствовало, и архимандритъ за ревность благодарилъ: много на монастырь жертвовалъ и, когда стихъ находилъ, очень о душѣ своей воздыхалъ и о будущемъ вѣкѣ озабо-

чонъ былъ не мало. Вдовъ былъ и бездѣтенъ; про супругу-то его былъ слухъ, что усахарилъ онъ ее будто еще на первомъ году и что съ молоду ручкамъ любилъ волю давать: только давно ужъ передъ тѣмъ это было; снова же обѣзаться бравомъ не захотѣлъ. Слабъ былъ тоже и выпить, и когда наступалъ ему срокъ, то хмѣльной по городу бѣжить нагишомъ и вопить; городъ не знатный, а все зазорно. Когда же переставалъ срокъ, становился сердить, и все, что онъ разсудить, то и хорошо, и все, что повелить, то и прекрасно. А народъ разсчитывалъ произвольно; возьметъ счеты, надѣнетъ очки: „Тебѣ, Ома, сколько?“ — Съ Рождества не бралъ, Максимъ Ивановичъ, тридцать девять рублей монхъ есть. — „Ухъ, сколько денегъ! Это много тебѣ; ты и весь такихъ денегъ не стоишь; совсѣмъ не къ лицу тебѣ будетъ: десять рублей съ костей долой, а двадцать девять получай“. И молчать человѣкъ; да и никто не смѣетъ пикнуть, всѣ — молчать.

— Я, говорить, знаю, сколько ему слѣдуетъ дать. Съ здѣшнимъ народомъ по другому нельзя. Здѣшній народъ развратенъ; безъ меня-бъ они всѣ здѣсь съ голоду перемерли, сколько ихъ тутъ ни есть. Опять сказать, народъ здѣшній — воръ, на чтѣ взглянетъ, то и тянетъ, никакого въ немъ мужества нѣтъ. Опять взять и то, что онъ — пьяница; разочти его, онъ въ кабакъ снесетъ, и сидитъ въ кабакѣ нагъ — ни ниточки, выходитъ голешенекъ. Опять же онъ — и подлець: сядетъ супротивъ кабака на камушекъ и пошелъ причитать: „матушка моя родная, и зачѣмъ же ты меня такого горькаго пьяницу на свѣтъ произвела? А и лучше-бъ ты меня, такого горькаго пьяницу, на роду придала!“ Такъ развѣ это — человѣкъ? Это — звѣрь, а не человѣкъ; его, перво-на-перво, образить слѣдуетъ, а потомъ ужъ ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать.

Вотъ такъ говорилъ Максимъ Ивановичъ объ народѣ Афимьевскомъ; хоть худо онъ это говорилъ, а все-жъ и правда была: народъ былъ стокчивый, не выдерживалъ.

Жилъ въ этомъ же городѣ и другой купецъ, да и померъ; человѣкъ былъ молодой и легкомысленный, прогорѣлъ и всего капиталу рѣшился. Вился въ послѣдній годъ, какъ рыба на пескѣ, да урокъ житію его приспѣлъ. Съ Максимъ Ивановичемъ все время не ладилъ и кругомъ ему долженъ остался. Въ послѣдній часъ еще Максима Ивановича проклиналъ. И оставилъ по себѣ вдову еще молодую, да съ ней вѣсть и пятерыхъ дѣтей. И одинокой-то вдовицѣ оставаться послѣ супруга, подобно какъ безпріютной ластовицѣ, — не малое испытаніе, а не то чтѣ съ пятерыми младенцами, которыхъ пропитать нечѣмъ:

последнее имѣнныко, домъ деревянный, Максимъ Ивановичъ за долги отбиралъ. И поставила она ихъ всѣхъ рядкомъ у церковной паперти; старшему мальчику восемь годковъ, а остальные всѣ дѣвочки погодки, всѣ малъ-малой меньше; старшенькая четырехъ годковъ, а младшая еще на рукахъ грудь сосеть. Кончилась обѣдня, вышелъ Максимъ Ивановичъ, и всѣ дѣвочки, всѣ-то рядкомъ, стали передъ нимъ на колѣни, — научила она ихъ передъ тѣмъ, и ручки передъ собой ладошками какъ одинъ сложили, а сама за ними, съ пятымъ ребенкомъ на рукахъ, земно при всѣхъ людяхъ ему поклонилась: „Батюшка, Максимъ Ивановичъ, помилуй сиротъ, не отымай послѣдняго куска, не выгоняй изъ роднаго гнѣзда!“ И всѣ, кто тутъ ни былъ, всѣ прослезилась — такъ ужъ хорошо она ихъ научила. Думала: „при людяхъ-то возгордится и простить, отдасть домъ скретахъ“, только не такъ оно вышло. Сталъ Максимъ Ивановичъ: „Ты, говоритъ, молодая вдова; мужа хочешь, а не о сиротахъ плачешь. Покойникъ-то меня на смертномъ одрѣ проклиналъ“, и прошелъ мимо и не отдасть домъ. „Чего ихнимъ дурачествахъ подражать (т. е. поблажать)? Окажи благодѣяніе; еще пуще стануть косятъ; все сіе ничтоже успѣваетъ, а лишь паче молва бываетъ“. А молва-то ходила и въпрямь, что будто онъ къ сей вдовицѣ, еще къ дѣвицѣ, лѣтъ десять передъ тѣмъ подсылалъ и большимъ капиталомъ жертвовалъ (красива ужъ очень была), забывая, что грѣхъ сей, все едино, что храмъ Божій раззорить; да ничего тогда не успѣлъ. А мерзостей этихъ самыхъ, и по городу, и по всей даже губерніи, производилъ не мало, и даже всякую мѣру въ семь случаевъ потерялъ.

Возонила мать со птенцами, выгналъ сиротъ изъ дому, и не по злобѣ токмо, а и самъ не знаетъ иной разъ человекъ по какому побужденію стоитъ на своемъ. Ну, помогали сперва, а потомъ пошла наниматься въ работу. Да только какой у насъ, окромѣ фабрики, заработокъ; тамъ поля вымоетъ, тамъ въ огородѣ выколетъ, тамъ баньку вытопитъ, да съ ребеночкомъ-то на рукахъ и вззоетъ; а четверо прочихъ тутъ же по улицѣ въ рубашонкахъ бѣгаютъ. Когда на колѣнки ихъ у паперти ставила, все еще въ башмачонкахъ были, какихъ ни есть, да въ сапожикахъ, все какъ ни есть, а кунецкія дѣти; а тутъ ужъ пошли бѣгать и босенькія: на ребенкѣ одежонка горитъ, известно. Ну, а дѣткамъ что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуютъ, словно птички, голосочьи ихъ что колокольчики. Думаетъ вдова: „Станетъ зима, и куда я васъ тогда подѣваю; хоть бы васъ къ тому сроку Богъ прибралъ!“ Только не дождалась зимы. Есть по на-

нему мѣсто такой на дѣтей кашель, коклюшъ, что съ одного на другого переходить. Перво-на-перво, померла грудная дѣвочка, а за ней заболѣли и прочія, и всѣхъ-то четырехъ дѣвочекъ, въ ту же осень, одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улицѣ лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила, да и взвыла; то прокликала, а какъ Богъ прибралъ, жалко стало. Материнское сердце!

.. Остался у ней въ живыхъ одинъ лишь старшемъ мальчикъ, и ужъ не надынешь она надъ нимъ, трепещетъ. Слабенькій былъ и нѣжный и личикомъ милостивый, какъ дѣвочка. И свела она его на фабрику, къ крестному его отцу, управляющему, а сама въ нянюшки къ чиновнику нанялась. Только бѣгаетъ мальчикъ разъ на дворъ, а тутъ вдругъ и подѣкалъ на царя Максимъ Ивановичъ, да какъ разъ выплиши; а мальчикъ-то съ лѣстницы прямо на него, невзначай, то есть поскользнулся, да прямо объ него стукнулся, какъ онъ съ дрожжъ сходилъ, и обѣими руками ему прямо въ животъ. Охватилъ онъ его за волосенки, завопилъ: „Чей такой? Лозы! Высѣчь его, говорить, тотъ же часъ при мнѣ“. Помертвѣлъ мальчикъ! Стали сѣчь, закричала. „Такъ ты еще и кричишь? Сѣки-жь его, пока кричать перестанетъ!“ Мало-ли, много-ли сѣкли, не пересталъ кричать, пока не омертвѣлъ вовсе. Тутъ и бросали сѣчь, испугались, не дышетъ мальчикъ, лежитъ въ безчувствіи. Сказывали потомъ, что немного и сѣкли, да ужъ пугливъ былъ очень. Испугался было и Максимъ Ивановичъ: „Чей такой?“ спросилъ; сказали ему; „ишь вѣдь! Снести его къ матери; чего онъ тутъ на фабрикѣ шаялся?“ Два дня потомъ молчалъ и опять спросилъ: „А что мальчикъ?“ А съ мальчикомъ вышло худо: заболѣлъ, у матери въ углу лежитъ, та и мѣсто по тому случаю у чиновниковъ бросила, и вышло у него воспаление въ легкихъ. „Ишь вѣдь! произнесъ, и съ чего, кажись? Диви-бъ его больно сѣкли: самое лишь малое пристрастіе произвели. Я и надъ всѣми прочими такіе точно побой пронюхивалъ; сходило безъ всякихъ такыхъ пустяковъ“: Ждалъ было онъ, что мать пойдетъ жаловаться и, возгордись, молчалъ; только гдѣ ужъ, не посмѣла мать жаловаться. И послалъ онъ ей тогда отъ себя пятнадцать рублей и лекаря отъ себя; и не то, чтобъ побоявшись чего, а такъ, задумался. А тутъ скоро и срокъ ему подошелъ, зашилъ недѣли на три.

Миновала зима, и на самое Свѣтло-Христово Воскресенье, въ самый великій день, спрашиваетъ Максимъ Ивановичъ опять: „А что тотъ самый мальчикъ?“ А всю зиму молчалъ, не спрашивалъ. И говорить ему: „выздоровѣлъ, у матери, а та все поденно уходитъ“. И

поѣхалъ Максимъ Ивановичъ того же дня ко вдовѣ, въ домъ не вошелъ, а вызвалъ къ воротамъ; самъ на дрожкахъ сидитъ: „Вотъ что, говорить, честная вдова, хочу я твоему сыну, чтобы истиннымъ благодѣтелемъ быть и безпредѣльными милости ему оказать: беру его отсѣлъ къ себѣ, въ самый мой домъ. И ежели вмалѣ мнѣ угодить, то достаточный капиталъ ему отпишу: а совсѣмъ ежели угодить, то и всего состоянія нашего могу его, по смерти, пріемникомъ утвердить, равно какъ роднаго бы сына, съ тѣмъ однако, чтобы ваша милость, окромя великихъ праздниковъ, въ домъ не жаловали. Коли складно по вашему, такъ завтра утромъ приводи мальчика, не все ему въ бабки играть“. И, сказавъ, уѣхалъ, мать оставивъ какъ бы въ безуміи. Прослышали люди, говорятъ ей: „Возрастетъ малый, самъ попрекать тебя станетъ, что лишила его такой судьбы“. Ночь-то надъ нимъ поплакала, а по утру отвела дитя. А мальчикъ ни живъ, ни мертвъ.

Одѣлъ его Максимъ Ивановичъ какъ барченка и учителя нанялъ, и съ того самаго часу за книгу засадилъ; и такъ дошло, что и съ глазъ его не спускаетъ, все при себѣ. Чуть мальчикъ зазѣвается, онъ ужъ и кричитъ: „За книгу! Учись: я тебя человѣкомъ сдѣлать хочу“. А мальчикъ хилый, съ того самаго разу, послѣ побоевъ-то, кашлять сталъ. „У меня-ль не житье! — дивится Максимъ Ивановичъ: — у матери босой бѣгаль, корки жеваль, съ чего-жъ онъ еще пуще прежняго хиль?“ А учитель и говоритъ: „Всякому мальчику, говорить, надо и порѣзвиться, не все учиться; ему моціонъ необходимъ“, и вывелъ ему все резономъ. Максимъ Ивановичъ подумалъ: „это ты правду говоришь“. А былъ тотъ учитель Петръ Степановичъ, царство ему небесное, какъ бы словно юродивый, пилъ ужъ оченно, такъ даже, что и слишкомъ, и потому самому его давно уже отъ всякаго мѣста оставили и жилъ по городу все одно, что милостыней, а ума былъ великаго и въ наукахъ твердъ. „Мнѣ бы не здѣсь быть, самъ говорилъ про себя: — мнѣ въ университетѣ профессоромъ только быть, а здѣсь я въ грязь погруженъ и „самныя одежды мои возгнушались мною“. Сѣлъ Максимъ Ивановичъ и кричитъ мальчику: „рѣзвись!“ — а тотъ передъ нимъ еле дышетъ. И до того дошло, что самаго голосу его ребенокъ не могъ снести, — такъ весь и затрепещется. А Максимъ-то Ивановичъ все пуще удивляется: „Ни онъ такой, ни онъ этакой; я его изъ грязи взялъ, въ драдедамъ одѣлъ; на немъ полсапожки матерчатныя, рубашка съ вышивкой, какъ генеральскаго сына держу, чего-жъ онъ ко мнѣ не приверженъ? Чего какъ волченкомъ молчить?“ И хоть давно ужъ всѣ перестали удивляться на Максима Ивановича, но тутъ опять задиви-

лись: изъ себя вышелъ человекъ; къ такому малому ребенку присталь, отступиться не можетъ. „Живъ не желаю быть, а характеръ въ немъ искореню. Меня отецъ его, на смертномъ одрѣ, уже святаго причастья вкусивъ, проклиналъ; это у него отцовскій характеръ“. И вѣдь даже ни разу лозы не употребилъ (съ того разу боялся). Запугалъ онъ его; вотъ что. Безъ лозы запугалъ.

И случилось дѣло. Только онъ разъ вышелъ, а мальчикъ всеочилъ изъ за книги да на стулъ: передъ тѣмъ на шифонерку мячъ забросилъ, такъ чтобъ мячикъ ему достать, да объ фарфоровую лампу на шифонеркѣ рукавомъ и зацѣпилъ; лампа-то грохнулась, да на полъ, да въ дребезги, ажю по всѣму дому зазвенѣло, а вещь дорогая—фарфоръ саксонскій. А тутъ вдругъ Максимъ Ивановичъ изъ третьей комнаты услышалъ и завопилъ. Бросился ребенокъ бѣжать, куда глаза глядятъ съ перепугу, выбѣжалъ на террасу, да черезъ садъ да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной тамъ бульваръ идетъ, старыя рамыны стоятъ, мѣсто веселое. Сбѣжалъ онъ внизъ къ водѣ, люди видѣли, сплеснулъ руками, у самаго того мѣста, гдѣ паремъ пристаесть, да ужаснулся, что-ли, передъ водой—сталъ какъ вкопанный. А мѣсто это широкое, рѣка быстрая, барки проходятъ; на той сторонѣ лавки, площадь, храмъ Божій златыми главами сіяетъ. И какъ-разъ тутъ на перевозъ поспѣшала съ дочкой полковница Ферзингъ—подлѣк стоялъ пѣхотный. Дочка, тоже ребеночекъ лѣтъ восьми, идетъ въ бѣленькомъ платьицѣ, смотреть на мальчика и смѣется, а въ рукахъ такую малую кошолочку деревенскую несетъ, а въ кошолочекѣ ежика.—„Смотрите, говоритъ, маменька, какъ мальчикъ смотритъ на моего ежика“.—„Нѣтъ, говоритъ полковница, а онъ испугался чего-то.—Чего вы такъ испугались, хорошенькій, мальчикъ?“ (такъ все это потомъ и рассказывали). „И какой, говоритъ, это хорошенькій мальчикъ, и какъ хорошо одѣтъ; чей вы, говоритъ, мальчикъ?“ А онъ никогда еще ежика не видывалъ, подступилъ и смотреть, и уже забылъ—дѣтскій возрастъ! „Что это, говоритъ, у васъ такое?“—„А это, говоритъ барышня, у насъ ежикъ, мы сейчасъ у деревенскаго мужика купили: онъ въ лѣсу нашелъ“.—„Какъ же это, говоритъ, такой ежикъ?“ и ужъ смѣется, и сталъ онъ его тыкать пальчикомъ, а ежикъ-то щетинится, а дѣвочка-то рада на мальчика: „мы, говоритъ, его домой несемъ и хотимъ приучать“.—„Ахъ, говоритъ, подарите мнѣ вашего ежика!“ И такъ онъ это ее умильно попросилъ, и только-что выговорить, какъ вдругъ Максимъ-то Ивановичъ надъ нимъ сверху: „А! Вотъ ты гдѣ! Держи его!“ (до того озвѣрѣлъ, что самъ безъ шапки

изъ дому погнался за нимъ). Мальчикъ, какъ вспомнилъ про все, вскрикнулъ, бросился къ водѣ, прижалъ себя къ обѣмъ грудкамъ по жулачку, посмотрѣлъ въ небеса (видѣли, видѣли!)—да бухъ въ воду! Ну, закричали, бросились съ парема, стали явиться, да водой отшле, рѣка быстрая, а какъ виталили, узя и задебуился, — мертвенькій. Грудкой-то слабъ былъ, не стерпѣлъ воды, да и нѣчто-ль такому наде? И вотъ на памяти людской еще не было въ тѣхъ мѣстахъ, чтобы такой малый ребеночекъ на свою жизнь посягнуть! Таковой грѣкъ! И что можетъ сія малая душа на томъ свѣтѣ Господу Богу сказать!

Надъ тѣмъ самымъ, съ тѣхъ поръ, Максимъ Ивановичъ и задумался. И перемѣнился человекъ, что узнать нельзя. Больно ужъ тогда опечалился. Сталъ было пить, много иилъ, да бросилъ — не помогло. Бросилъ и на фабрику ѣздить, никого не слушаетъ. Говорятъ ему что, — молчитъ, али рукой махнетъ. Такъ проводилъ онъ мѣсяца съ два, а потомъ сталъ самъ съ собой говорить. Ходитъ и самъ съ собой говорить. Сгорѣла подгородная деревнюшка Васьева, выгорѣло девять домовъ; поѣхалъ Максимъ Ивановичъ взглянуть. Обступили его погорѣльцы, взвали, — общалъ помочь и приказъ отдалъ, а потомъ призвалъ управляющаго и все отмѣнилъ: „Не надо-тъ, говорить, ничего давать“, и не сказалъ за что. „Въ поправіе меня, говорить, отдалъ Господь всеиъ людямъ, якоже нѣкогто изверга, те ужъ пусть такъ и будетъ. Какъ вѣтеръ, говорить, развѣялась слава моя“. Приѣхалъ въ нему самъ архимандритъ, старецъ былъ строгій и въ монастырѣ общежитіе ввелъ. — „Ты чего, говорить?“ строго такъ. — „А я вотъ чего“ и раскрылъ ему Максимъ Ивановичъ и указалъ мѣсто:

„А иже аще соблазнить единого малыхъ сихъ вѣрующихъ въ мя, уже есть ему, да обѣсится жерновъ оселскій на выи его, и потонетъ въ пучинѣ морстѣи“ (Мат. 18, 6).

— Да, сказалъ архимандритъ: — хоть и не о томъ сіе прямо сказано, а все же соприкасается. Бѣда, коли мѣрву свою потеряетъ человекъ — пропадетъ тотъ человекъ. А ты возмнилъ.

А Максимъ Ивановичъ сидитъ, словно столбикъ на него напалъ. Архимандритъ глядѣлъ-глядѣлъ.

— Слушай, говорить, — и запомни. Сказано: „Слова отчаяннаго летятъ на вѣтеръ“. И еще то вспомни, что и ангелы Божіи несовершенны, а совершенъ и безгрѣшенъ токмо единый Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, Ему же ангелы служатъ. Да и не хотѣлъ же ты смерти сего младенца, а только былъ безразсуденъ. Только вотъ что, говорить, мнѣ даже чудесно: мало-ль ты, говорить, еще горшихъ без-

чинствъ произносилъ, мало-ль по міру людей пустилъ, мало-ль растлилъ, мало-ль погубилъ — все одно, какъ бы убіеніемъ? И не его ли сестры еще прежде того всё перемерли, всё четыре младенчика, почти что на глазахъ твоихъ? Чего-жь тебя такъ сей единственный смутилъ? Въдь о прежнихъ всёхъ, полагаю, не то что сожалѣлъ, а и думать забылъ? Почему же такъ утрашился младенца сего, въ коюмъ и не весьма повинень?

— Во снѣ мнѣ снится, изрекъ Максимъ Ивановичъ.

— И что же?

Но ничего болѣе не отърылъ, сидитъ-молчитъ. Удивился архимандритъ, да съ тѣмъ и отъѣхалъ: ничего ужъ тутъ не подблещь.

И послалъ Максимъ Ивановичъ за учителемъ, за Петромъ Степановичемъ; съ самаго того случая не видались.—Помнишь ты? говорить.

— Помню, говорить.

— Ты, говорить, здѣсь масляной краской въ трактиръ картины навалъ и съ архиреева портрета копію снималъ. Можешь ты мнѣ написать краской картину одну?

— Я, говорить, все могу; я, говорить, всякій талантъ имѣю и все могу.

— Напиши же ты мнѣ картину самую большую, во всю стѣну, и напиши на ней перво-на-перво рѣку, и спускъ, и перевозъ, и чтобъ всё люди, какіе были тогда, всё тутъ были. И чтобъ полковница и дѣвочка были, и тотъ самый ежикъ. Да и другой берегъ весь мнѣ спиши, чтобъ видѣнь былъ, какъ есть: и церковь, и площадь, и лавки, и гдѣ извошники стоятъ,—все, какъ есть, спиши. И тутъ у перевоза мальчишка, надъ самой рѣкой, на тотъ самомъ мѣстѣ, и безпремѣнно, чтобъ два булачка вотъ такъ къ груди прижалъ, къ обоямъ сосочкамъ. Безпремѣнно это. И раскрой ты передъ нимъ съ той стороны, надъ церковью небо, и чтобъ всё ангелы во свѣтѣ небесномъ летѣли встрѣчать его. Можешь пографить, аль нѣтъ?

— Я все могу.

— Я не то, чтобъ такого Трифона, какъ ты, я и первѣйшаго живописца изъ Москвы могу выписать, али хоша бы изъ самаго Лондона, да ты его ликъ помнишь. Если выйдетъ не схожъ, али мало схожъ, то дамъ тебѣ всего пятьдесятъ рублей, а если выйдетъ совсѣмъ похожъ, то дамъ двѣсти рублей. Помни, глазки голубенькіе... Да чтобъ самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; сталъ писать Петръ Степановичъ, да вдругъ и приходитъ:

— Нѣтъ, говорить, въ такомъ видѣ нельзя писать.

— Что такъ?

— Потому что грѣхъ сей, самоубиство, есть самый великій изъ всѣхъ грѣховъ. То какъ же ангели его будутъ стрѣчать послѣ такого грѣха?

— Да вѣдь онъ—младенецъ, ему невѣнимо.

— Нѣтъ, не младенецъ, а уже отрокъ: восьми уже лѣтъ былъ, когда сіе совершилось. Все же онъ хотя нѣкій отвѣтъ долженъ дать.

Еще пуще ужаснулся Максимъ Ивановичъ.

— А я, говорить Петръ Степановичъ, вотъ какъ придумалъ: небо открывать не станемъ и ангеловъ писать нечего; а спущу я съ неба, какъ бы въ встрѣчу ему, лучъ, такой одинъ свѣтлый лучъ: все равно, какъ бы нѣчто и выйдетъ.

Такъ и пустили лучъ. И видѣлъ я самъ потомъ, уже спустя, картину сію и этотъ лучъ самый, и рѣку — во всю стѣну вытянулъ, вся синяя, и отрокъ милый тутъ же, обѣ ручки къ грудкамъ прижалъ, и маленькую барышню, и ежика—все потрафилъ. Только Максимъ Ивановичъ тогда никому картину не открылъ, а заперъ ее въ кабинетъ на ключъ отъ всѣхъ глазъ. А ужъ какъ рвались по городу, чтобъ повидать: всѣхъ гнать велѣлъ. Большой разговоръ пошелъ. А Петръ Степановичъ словно изъ себя тогда вышелъ: „я, говорить, теперь уже все могу; мнѣ, говорить, только въ Санктпетербургъ при дворѣ состоять“. Любезнѣйшій былъ человекъ, а превозноситься любилъ безпримѣрно. И постигла его участь: какъ получилъ всѣ двѣсти рублей, началъ тотчасъ же пить и всѣмъ деньги показывать, похваляясь; и убилъ его пьянаго ночью нашъ мѣщанинъ, съ которымъ и шилъ, и деньги ограбилъ; все сіе на утро и объяснилось.

А кончилось все такъ, что и теперь тамъ напрѣжъ всего вспоминаютъ. Вдругъ прѣзжаетъ Максимъ Ивановичъ къ той самой вдовѣ: нанимала на краю у мѣщанки въ избушкѣ. На сей разъ уже во дворъ вошелъ; сталъ предъ ней, да и поклонился въ землю. А та, съ тѣхъ разовъ, больна была, еле двигалась. „Матушка, возопилъ, честная вдовица: выйди за меня, изверга, замужъ, дай жить на свѣтѣ!“! Та глядитъ ни жива, ни мертва. „Хочу, говорить, чтобъ у насъ еще мальчикъ родился, и ежели родится онъ, тогда, значить, тотъ мальчикъ простилъ насъ обоихъ: и тебя, и меня. Мнѣ такъ мальчикъ велѣлъ“. Видитъ она, что не въ умѣ человекъ, а какъ бы въ изступленіи, да все же не утерпѣла:

— Пустяки это все, отвѣчаетъ ему:—и одно малодушіе. Черезъ

то самое малодушіе я всѣхъ моихъ претензовъ истеряла. Я и видѣть-то васъ передъ собой не могу, а не то, чтобы такую вѣковѣченскую муку принять.

Отъѣхалъ Максимъ Ивановичъ, да не унялся. Загрохоталъ весь городъ отъ такого чуда. А Максимъ Ивановичъ свихъ заслалъ. Выписалъ изъ губерніи двухъ своихъ тетокъ, по ибѣданству жили. Тетки-не-тетки, все же родственницы, честь, значить; стали тѣ ее склонять, привились улащать, изъ избѣ не выходятъ. Заслалъ и изъ городскихъ, и по кумечеству, и престопошну соборную, и изъ чиновницъ; обступили ее всѣмъ городомъ, а та даже гнушается: „Еслибъ, говорить, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я передъ сиротками моиими какой грѣхъ прииму!“ Склонилъ и архимандрита, подулъ и тотъ въ ухо: „Ты, говорить, въ немъ новаго человѣка воззвать можешь“. Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: „Ужъ и какъ же это можно, чтобы отъ такого счастья отказываться!“ И вотъ, чѣмъ же онъ ее въ концѣ покорилъ: „Все же онъ, говорить, самоубивецъ, и не младенецъ, а уже отрокъ, и по лѣтамъ ко святому причастію его уже прямо допустить нельзя было, а, стало быть, все же онъ хотя бы нѣкій отвѣтъ долженъ дать. Если же вступишь со мной въ супружество, то великое обѣщаніе дамъ: выстрою новый храмъ токмо на вѣчный поминъ души его“. Противъ сего не устояла и согласилась. Такъ и повѣнчались.

И вышло всѣмъ на удивленіе. Стали они жить съ самаго перваго дня, въ великомъ и нелицемѣрномъ согласіи, опасно соблюдая свое супружество, и какъ единая душа въ двухъ тѣлесахъ. Зачала она въ ту же зиму, и стали они посѣщать храмы Божіи и трепетать гнѣва Господня. Были въ трехъ монастыряхъ и внимали пророчествамъ. Онъ же соорудилъ обѣщанный храмъ, и выстроилъ въ городѣ больницу и богадѣльню. Отдѣлилъ капиталъ на вдовъ и сиротъ. И вспомнилъ всѣхъ, кого обидѣлъ, и возжелалъ воззвать; деньги же сталъ выдавать безмѣрно, такъ что уже супруга и архимандритъ придержали за руки, ибо „довольно, говорить, и сего“. Послушался Максимъ Ивановичъ: „Я, говорить, въ тотъ разъ Оому обсчиталъ“. Ну, Оомъ отдал. А Оома такъ даже заплакала: „Я, говорить, я и такъ... Многимъ и безъ того довольны и вѣчно обязаны Богу молитъ“. Всѣхъ, стало быть, проникло оно, и значить правду говорить, что хорошимъ примѣромъ будетъ живъ человѣкъ. А народъ тамъ добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать и такъ, что и теперь вспоминаютъ. Питъ не пересталъ, но стала она его въ эти самые дни

обладать, а потомъ и лечить. Рѣчь его стала степенная, и даже усамнй гласъ измѣнился. Сталъ жалостливъ безпримѣрно, даже къ скотамъ: увидалъ изъ окна, какъ мужикъ стегалъ лошадь по головѣ безобразно, и тотчасъ выслалъ и купилъ у него лошадь, за вдвое цѣны. И получилъ даръ слезный: кто бы съ нимъ ни заговорилъ, такъ и зальется слезами. Когда же пришло время ея, внялъ, наконецъ, Господь ихъ молитвамъ и послалъ имъ сына, и сталъ Максимъ Ивановичъ, еще въ первый разъ съ тѣхъ поръ, свѣтель; много милостини роздалъ, много долговъ простилъ, на крестины созвалъ весь городъ. Созвалъ онъ-это городъ, а на другой день, какъ ночь, вышелъ. Видитъ супруга, что съ нимъ нѣчто случилось, и поднесла къ нему новорожденнаго: „Простилъ, говорить, насъ отрокъ, внялъ слезамъ и молитвамъ за него нашимъ“. А о семъ предметѣ, надо такъ сказать, они во весь годъ ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядѣлъ на нее Максимъ Ивановичъ мрачно, какъ ночь: „Подожди, говорить: онъ, почитай, весь годъ не приходилъ, а въ сію ночь опять приснился.“ — „Тутъ-то въ первый разъ проникъ и въ мое сердце ужасъ, послѣ сихъ странныхъ словъ“, припоминала потомъ.

И не напрасно приснился отрокъ. Только что Максимъ Ивановичъ о семъ изрекъ, почти, такъ сказать, въ самую ту минуту приключилось съ новорожденнымъ нѣчто: вдругъ захворалъ. И болѣло дитя восемь дней, молились неустанно и докторовъ призывали, и выписали изъ Москвы самаго перваго доктора по чугункѣ. Прибылъ докторъ, разсердился: „Я, говорить—самый первый докторъ, меня вся Москва ожидаетъ“. Прописалъ капель и уѣхалъ поспѣшно. Восемьсотъ рублей увезъ. А ребеночекъ къ вечеру померъ.

И что же за сямъ? Отписалъ Максимъ Ивановичъ все имущество любезной супругѣ, выдалъ ей всѣ капиталы и документы, завершилъ все правильно и законнымъ порядкомъ, а затѣмъ сталъ передъ ней и поклонился ей до земли: „Отпусти ты меня, безцѣнная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое безъ успѣха дунѣ проведу, то назадъ уже не возвращусь. Былъ я твердъ и жестокъ, и тягости налагалъ, но жню, что за скорби и странствія предстоящія не оставить безъ воздаянія Господь, ибо оставить все сіе есть не малый грѣсъ и не малая скорбь“. И унимала его супруга со многими слезами: „Ты мнѣ единъ теперь на землѣ, на кого же останусь? Я, говорить, за годъ въ сердцѣ милость нажила“. И увѣщевали всѣмъ городомъ цѣлый мѣсяцъ, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушалъ ихъ, и ночью скрытно вышелъ и болѣе уже не возвра-

щался. А, слышно, подвизается въ странствіяхъ и терпѣніи даже до сегодня, а супругу милую извѣщаетъ ежегодно...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Теперь приступлю къ окончательной катастрофѣ, завершающей мои записки. Но чтобъ продолжать дальше, я долженъ предварительно изъяснить впередъ и объяснить нѣчто, о чемъ я совсѣмъ въ то время не зналъ, когда дѣйствовалъ, но о чемъ узналъ и что разъяснилъ себѣ вполнѣ уже гораздо позже, то есть тогда, когда все уже кончилось. Иначе не сумѣю быть яснымъ, такъ какъ пришлось бы все писать загадками. И потому сдѣлаю простое и простое разъясненіе, жертвуя такъ называемою художественностью, и сдѣлаю такъ, какъ бы и не я писалъ, безъ участія моего сердца, а въ родѣ какъ бы *entree-filet* въ газетахъ.

Дѣло въ томъ, что товарищъ моего дѣтства Ламбертъ очень и даже прямо могъ бы быть причисленъ къ тѣмъ мерзкимъ шайкамъ мелкихъ пройдохъ, которыя сообщаются взаимно ради того, что называютъ теперь шантажемъ и на чтѣ подыскиваютъ теперь въ сводѣ законовъ опредѣленія и наказанія. Шайка, въ которой участвовалъ Ламбертъ, завелась еще въ Москвѣ и уже надѣлала тамъ довольно проказъ (впоследствии она была отчасти обнаружена). Я слышалъ потомъ, что въ Москвѣ у нихъ, нѣкоторое время, былъ чрезвычайно опытный и не глупый руководитель и уже пожилой человекъ. Пускались они въ свои предпріятія и всею шайкою, и по частямъ. Производили же, рядомъ съ самыми грязными и нецензурными вещами (о которыхъ, впрочемъ, извѣстія уже являлись въ газетахъ) — и довольно сложныя и даже хитрыя предпріятія, подъ руководствомъ ихъ шефа. Объ нѣкоторыхъ я потомъ узналъ, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характеръ ихъ приемовъ состоялъ въ томъ, чтобъ разузнать кой какіе секреты людей, иногда честнѣйшихъ и довольно высоко поставленныхъ; затѣмъ они являлись къ этимъ лицамъ и грозили обнаружить документы (которыхъ иногда совсѣмъ у нихъ не было) и за молчаніе требовали выкупъ. Есть вещи и не грѣшныя, и совсѣмъ не преступныя, но обнаруженія которыхъ испугается даже порядочный и твердый человекъ. Были они большею частію на семейныя тайны. Чтобъ указать, какъ ловко дѣйствовалъ иногда ихъ шефъ, разскажу, безо всякихъ подробностей и въ трехъ только строкахъ, объ одной ихъ продѣлкѣ. Въ

одною весьма честною домою случилось действительно и грѣшное, и преступное дѣло; а именно, жена одного известнаго и уважаемаго человѣка вошла въ тайную любовную связь съ однимъ молодымъ и богатымъ офицеромъ. Они это проиокали и поступили такъ: прямо дали знать молодому человѣку, что увѣдомить мужа. Доказательствъ у нихъ не было ни малѣйшихъ, и молодой человѣкъ про это зналъ отлично, да и сами они отъ него не таились; но вся ловкость приѣма и вся хитрость расчета состояла въ этомъ случаѣ лишь въ томъ соображеніи, что увѣдомленный мужъ и безъ всякихъ доказательствъ поступитъ точно такъ же и сдѣлаетъ тѣ же самые шаги, какъ еслибъ получилъ самыя математическія доказательства. Они были тутъ на знаніе характера этого человѣка и на знаніе его семейныхъ обстоятельствъ. Главное то, что въ шайкѣ участвовалъ одинъ молодой человѣкъ изъ самаго порядочнаго круга и которому удалось предварительно достать свѣдѣнія. Съ любовника они содрали очень не дурную сумму и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны.

Ламбертъ, хотъ и участвовалъ, но всецѣло къ той московской шайкѣ не принадлежалъ; войдя же во вкусъ, началъ по маленьку и въ видѣ пробы дѣйствовать отъ себя. Скажу заранѣе: онъ на это былъ не совѣтъ способенъ. Былъ онъ весьма не глупъ и расчетливъ, но горячъ и, сверхъ того, простодушенъ или, лучше сказать, наивенъ, то есть не зналъ ни людей, ни общества. Онъ, на примѣръ, вовсе, кажется, не понималъ значенія того московскаго шефа и полагалъ, что направлять и организовать такія предпріятія очень легко. Наконецъ, онъ предполагалъ чуть не всѣхъ такими же подлецами, какъ самъ. Или, на примѣръ, разъ вообразивъ, что такой-то человѣкъ боится или долженъ бояться потому-то и потому-то, онъ уже и не сомнѣвался въ томъ, что тотъ дѣйствительно боится, какъ въ аксіомѣ. Не умѣю я это выразить; впоследствии разъясню яснѣе фактами, но, по моему, онъ былъ довольно грубо развитъ, а въ иныхъ добрыхъ, благородныхъ чувствахъ не то что не вѣрилъ, но даже, можетъ быть, не имѣлъ о нихъ и понятія.

Прибылъ онъ въ Петербургъ, потому что давно уже помышлялъ о Петербургѣ, какъ о поприщѣ болѣе широкомъ чѣмъ Москва, и еще потому, что въ Москвѣ онъ гдѣ-то и какъ-то попалъ въ просакъ и и его кто-то розыскивалъ съ самыми дурными на его счетъ намѣреніями. Прибывъ въ Петербургъ, тотчасъ же вошелъ въ сообщеніе съ однимъ прежнимъ товарищемъ, но поле нашель скудное, дѣла мелкія. Знакомство потомъ разрослось, но ничего не составлялось: „Народъ здѣсь

дранной, тутъ одни мальчишки“, говорилъ онъ мнѣ самъ потомъ. И вотъ въ одно прекрасное утро, на разсвѣтѣ, онъ вдругъ находитъ меня замерзавшаго подъ заборомъ и прямо нападаетъ на слѣдъ „богатѣйшаго“, по его мнѣнію, „дѣла“.

Все дѣло оказалось въ моемъ враньѣ, когда я оттаялъ тогда у него на квартирѣ. О, я былъ тогда какъ въ бреду! Но изъ словъ моихъ все таки выступило ясно, что я изъ всѣхъ моихъ обидъ того рокового дня всего болѣе запомнилъ и держалъ на сердцѣ лишь обиду отъ Бьоринга и отъ нея: иначе я бы не бредилъ объ этомъ одномъ у Ламберта; а бредилъ бы, наприимѣръ, и о Зерщиковѣ; между тѣмъ, оказалось лишь первое, какъ узналъ я впоследствии отъ самого Ламберта. И къ этому же, я былъ въ восторгѣ, и на Ламберта, и на Альфонсину смотрѣлъ въ то ужасное утро, какъ на какихъ-то освободителей и спасителей. Когда потомъ, выздоравливая, я соображалъ, еще лежа въ постели: что бы могъ узнать Ламбертъ изъ моего вранья и до какой именно степени я ему проврался?—то ни разу не приходило ко мнѣ даже подозрѣнія, что онъ могъ такъ много тогда узнать! О, конечно, судя по угрызеніямъ совѣсти, я уже и тогда подозрѣвалъ, что должно быть насказалъ много лишняго, но, повторяю, никакъ не могъ предположить, что до такой степени! Надѣялся тоже и рассчитывалъ на то, что я и выговаривать слова тогда у него не въ силахъ былъ ясно, объ чемъ у меня осталось твердое воспоминаніе, а между тѣмъ, оказалось на дѣлѣ, что я и выговаривалъ тогда гораздо яснѣе, чѣмъ потомъ предполагалъ и чѣмъ надѣялся. Но главное то, что все это обнаружилось лишь потомъ и долго спустя, а въ томъ-то и заключалась моя бѣда.

Изъ моего бреда, вранья, лепета, восторговъ и проч. онъ узналъ во первыхъ: почти всѣ фамиліи въ точности, и даже нѣмныя адреса. Во вторыхъ, составилъ довольно приблизительное понятіе о значеніи этихъ лицъ (старого князя, ея, Бьоринга, Анны Андреевны, и даже Версилова); третье: узналъ, что я оскорбленъ и грожусь отомстить и, наконецъ, четвертое, главнѣйшее: узналъ, что существуетъ такой документъ, таинственный и спрятанный, такое письмо, которое, если показать полусъумасшедшему старику-князю, то онъ, прочтя его и узнавъ, что собственная дочь считаетъ его съумасшедшимъ и уже „совѣтовалась съ юристами“ о томъ, какъ бы его засадить, — или сойдеть съума окончательно, или прогнать ее изъ дому и лишить наслѣдства, или женится на одной m-lle Версиловой, на которой уже хочетъ жениться и чего ему не позволяютъ. Однимъ словомъ, Ламбертъ очень много.

понять; безъ сомнѣнія, ужасно много оставалось темнаго, не шантажный искусникъ все таки попалъ на вѣрный слѣдъ. Когда я убѣждалъ потомъ отъ Альфонсины, онъ немедленно разыскалъ мой адресъ (самымъ простымъ средствомъ — въ адресномъ столѣ); потомъ немедленно сдѣлалъ надлежащія справки, изъ коихъ узналъ, что всѣ эти лица, о которыхъ я ему вралъ, существуютъ дѣйствительно. Тогда онъ прямо приступилъ къ первому шагу.

Главнѣйшее состояло въ томъ, что существуетъ *документъ* и что обладатель его — я, и что этотъ документъ имѣетъ высокую цѣнность: въ этомъ Ламбертъ не сомнѣвался. Здѣсь опускаю одно обстоятельство, о которомъ лучше будетъ сказать впоследствии и въ своемъ мѣстѣ, но упомяну лишь о томъ, что обстоятельство это наглавнѣйше утвердило Ламберта въ убѣжденіи о дѣйствительномъ существованіи и, главное, о цѣнности документа. (Обстоятельство роковое, предупреждаю впередъ, котораго я-то ужъ никакъ вообразить не могъ не только тогда, но даже до самаго конца всей исторіи, когда все вдругъ рушилось и разъяснилось само собой). И такъ, убѣжденный въ главномъ, онъ, первымъ шагомъ, поѣхалъ къ Аннѣ Андреевнѣ.

А, между тѣмъ, для меня до сихъ поръ задача: какъ могъ онъ, Ламбертъ, профильтроваться и присосаться къ такой неприступной и высшей особѣ, какъ Анна Андреевна? Правда, онъ взялъ справки, но чтѣ же изъ этого? Правда, онъ былъ одѣтъ прекрасно, говорилъ по парижски и носилъ французскую фамилію, но вѣдь не могла же Анна Андреевна не разглядѣть въ немъ тотчасъ же мошенника? Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели такъ?

Я никогда не могъ узнать подробностей ихъ свиданія, но много разъ потомъ представлялъ себѣ въ воображеніи эту сцену. Вѣроятно же всего, что Ламбертъ, съ перваго слова и жеста разыгралъ передъ нею моего друга дѣтства, трепещущаго за любимаго и милаго товарища. Но, ужъ конечно, въ это же первое свиданіе съумѣлъ очень ясно намекнуть и на то, что у меня „документъ“, дать знать, что это — тайна, что одинъ только онъ, Ламбертъ, обладаетъ этой тайной, и что я собираюсь отмстить этимъ документомъ генеральшѣ Ахмаковой и проч., и проч. Главное, могъ разъяснить ей, какъ можно точнѣе, значеніе и цѣнность этой бумажки. Чтѣ же до Анны Андреевны, то она именно находилась въ такомъ положеніи, что не могла не удѣвиться за извѣстіе о чемъ нибудь въ этомъ родѣ, не могла не выслушать съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и... не могла не пойти на удочку „изъ

что если ужъ нельзя иначе, то дѣйствовать со мной вѣстѣ и взять меня въ половину, предварительно овладѣвъ мной и нравственно, и физически. Но второй планъ улыбался ему гораздо больше; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ надуть меня, какъ мальчишку, и выкрасть у меня документъ или даже просто отнять его у меня силой. Этотъ планъ былъ излюбленъ и взлелѣванъ въ мечтахъ его. Повторяю: было одно такое обстоятельство, черезъ которое онъ почти не сомнѣвался въ успѣхѣ второго плана, но, какъ сказалъ уже я, объясню это послѣ. Во всякомъ случаѣ, ждалъ меня съ судорожнымъ нетерпѣннѣмъ: все отъ меня зависѣло, всѣ шаги и на чтѣ рѣшиться.

И надо ему отдать справедливость: до времени онъ себя выдержалъ, не смотря на горячность. Онъ не являлся ко мнѣ на домъ во время болѣзни, — разъ только приходилъ и видѣлся съ Версиковичъ; онъ не тревожилъ, не пугалъ меня, сохранилъ передо мной во дни и часу моего выхода видъ самой полной независимости. На счетъ же того, что я могъ передать или сообщить, или уничтожить документъ, то въ этомъ онъ былъ спокоенъ. Изъ моихъ словъ у него онъ могъ заключить, какъ я самъ дорожу тайной и какъ боюсь, чтобы кто не узналъ про документъ. А что я приду къ нему первому, а не къ кому другому, въ первый же день по выздоровленіи, то и въ этомъ онъ не сомнѣвался ни мало: Дарья Онисимовна приходила ко мнѣ отчасти по его приказанію, и онъ зналъ, что любопытство и страхъ уже возбуждены, что я не выдержу... Да въ тому же, онъ взялъ всѣ мѣры. могъ знать даже день моего выхода, такъ что я никакъ не могъ отъ него отвернуться, еслибъ даже захотѣлъ того.

Но если ждалъ меня Ламбертъ, то еще пуще, можетъ быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу: Ламбертъ отчасти могъ быть и правъ, готовясь ей измѣнить, и вина была на ея сторонѣ. Не смотря на несомнѣнное ихъ соглашеніе (въ какой формѣ не знаю, но въ которомъ не сомнѣваюсь), — Анна Андреевна до самой послѣдней минуты была съ нимъ не вполне откровенна. Не раскрылась на всю распашку. Она намекнула ему на всѣ согласія съ своей стороны и на всѣ обѣщанія, — но только лишь намекнула; выслушала, можетъ быть, весь его планъ до подробностей, но одобрила лишь молчаніемъ. Я имѣю твердныя данныя такъ заключить, а причина всему та, что — *ждала меня*. Она лучше хотѣла имѣть дѣло со мной, чѣмъ съ неразвѣченнымъ Ламбертомъ — вотъ несомнѣнный для меня фактъ! Это я конимаю; но ошибка ея состояла въ томъ, что это понялъ, наконецъ, и Ламбертъ. А ему слишкомъ было бы невыгодно, еслибъ она, мимо его, выманила у меня

документъ и вошла бы со мной въ соглашеніе. Къ тому же, въ то время онъ уже былъ увѣренъ въ крѣпости „дѣла“. Другой бы на его мѣстѣ трусилъ и все бы еще сомнѣвался; но Ламбертъ былъ молодъ, дерзокъ, съ нетерпѣливѣйшей жаждой жизни, мало зналъ людей и несомнѣнно предполагалъ ихъ всѣхъ подлыми; такой усумниться не могъ, тѣмъ болѣе, что уже вычиталъ у Анны Андреевны всѣ главнѣйшія подтвержденія.

Последнее словечко и важнѣйшее: зналъ-ли чтонибудь къ тому дню Верилловъ и участвовалъ-ли уже тогда въ какихъ-нибудь хоть отдаленныхъ планахъ съ Ламбертомъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ, *тогда* еще нѣтъ, хотя, можетъ быть, уже было закинуто роковое словцо... Но довольно, довольно, я слишкомъ забѣгаю впередъ.

Ну, а я-то что же? Зналъ-ли я чтонибудь, и что я зналъ ко дню выхода! Начиная это *entre-filet*, я увѣдомилъ, что ничего не зналъ ко дню выхода, что узналъ обо всемъ слишкомъ позже и даже тогда, когда уже все совершилось. Это правда, но такъ-ли вполне? Нѣтъ, не такъ; я уже зналъ кое-что несомнѣнно, зналъ даже слишкомъ много, но какъ? Пусть читатель вспомнитъ про *Сонъ*! Если ужъ могъ быть такой сонъ, если ужъ могъ онъ вырваться изъ моего сердца и такъ формулироваться, то, значить, я страшно много — не зналъ, а *предчувствовалъ* изъ того самаго, что сейчасъ разъяснилъ и что, въ самомъ дѣлѣ, узналъ лишь тогда, „когда уже все кончилось“. Знанія не было, но сердце билось отъ предчувствій и злые духи уже овладѣли моими снами. И вотъ, къ такому человѣку я рвался, вполне зналъ, что это за человѣкъ и предчувствуя даже подробности! И зачѣмъ я рвался? Представьте: мнѣ теперь, вотъ въ эту самую минуту, какъ я пишу, кажется, что я уже тогда зналъ во всѣхъ подробностяхъ, зачѣмъ я рвался къ нему, тогда какъ, опять таки, я еще ничего не зналъ. Можетъ быть, читатель это пойметъ. А теперь — къ дѣлу и фактъ за фактомъ.

II.

Началось съ того, что еще за два дня до моего выхода Лиза воротилась ввечеру вся въ тревогѣ. Она была страшно оскорблена; и дѣйствительно, съ нею случилось нѣчто нестерпимое.

Я упомянулъ уже о ея сношеніяхъ съ Васинимъ. Она пошла къ нему не потому лишь, чтобъ показать намъ, что въ насъ не нуждается, а и потому, что дѣйствительно цѣнила Васина. Знакомство ихъ началось еще съ Луги, и мнѣ всегда казалось, что Васинъ былъ къ ней

неравнодушень. Въ несчастіи, ее поразившемъ, она естественно могла пожелать совѣта отъ ума твердаго, спокойнаго, всегда возвышеннаго, который предполагала въ Васинѣ. Къ тому же, женщины небольшія мастерицы въ оцѣнкѣ мужскихъ умовъ, если человекъ имъ нравится, и парадоксы съ удовольствіемъ принимаютъ за строгіе выводы, если тѣ согласны съ ихъ собственными желаніями. Въ Васинѣ Лиза любила симпатію къ своему положенію и, какъ показалось ей съ первыхъ разговоровъ,—симпатію и къ князю. Подозрѣвая притомъ его чувства къ себѣ, она не могла не оцѣнить въ немъ симпатіи къ его сопернику? Князь же, которому она сама передала, что ходить иногда совѣтоваться къ Васяну, принялъ это извѣстіе съ чрезвычайнымъ безпокойствомъ съ самаго перваго раза; онъ сталъ ревновать ее. Лиза была этимъ оскорблена, такъ что нарочно уже продолжала сношенія съ Васиннымъ. Князь примолкъ, но былъ мраченъ. Лиза же сама мнѣ потомъ призналась (очень долго спустя), что Васинъ даже очень скоро пересталъ ей тогда нравиться; онъ былъ спокоенъ, и именно это-то вѣчное ровное спокойствіе, столь поправившееся ей въ началѣ, показалось ей потомъ довольно непригляднымъ. Казалось бы, онъ былъ дѣловитъ, и дѣйствительно далъ ей нѣсколько хорошихъ съ виду совѣтовъ, но всѣ эти совѣты, какъ нарочно, оказались неисполнимыми. Судилъ же иногда слишкомъ свысока и нисколько передъ нею не конфузаясь; — не конфузаясь, тѣмъ дальше, тѣмъ больше,—что и приписала она возраставшему и невольному его пренебреженію къ ея положенію. Разъ она поблагодарила его за то, что онъ постоянно ко мнѣ благодушень и, будучи такъ выше меня по уму, разговариваетъ со мной какъ съ равной (то есть, передала ему мои же слова). Онъ ей отвѣтилъ:

— Это не такъ и не отъ того. Это отъ того, что я не вижу въ немъ никакой разницы съ другими. Я не считаю его ни глупѣе умныхъ, ни злѣе добрыхъ. Я ко всѣмъ одинаковъ, потому что въ моихъ глазахъ всѣ одинаковы.

— Какъ, неужели не видите различій?

— О, конечно, всѣ чѣмъ нибудь другъ отъ друга разнятся, но въ моихъ глазахъ различій не существуетъ, потому что различія людей до меня не касаются: для меня всѣ равны и все равно, а потому я со всѣми одинаково добръ.

— И вамъ такъ не скучно?

— Нѣтъ; я всегда доволенъ собой.

— И вы ничего не желаете?

— Какъ не желать? Но не очень. Мнѣ почти ничего не надо, ни

рубля сверхъ. Я въ золотомъ платьѣ и я какъ есть,—это все равно; золотое платье ничего не прибавитъ Васину. Куски не соблазняютъ меня: могутъ-ли мѣста или почести стоить того мѣста, котораго я стою?

Лиза увѣряла меня честью, что онъ высказалъ это разъ буквально. Впрочемъ, тутъ нельзя такъ судить, а надо знать обстоятельства, при которыхъ высказано.

Мало по малу, Лиза пришла къ заключенію, что и къ князю онъ относится снисходительно, можетъ, потому лишь, что для него всё равны и „не существуетъ различій“, а вовсе не изъ симпатіи къ ней; но подъ конецъ онъ какъ-то видимо сталъ терять свое равнодушіе, и къ князю началъ относиться не только съ осужденіемъ, но и съ презрительной ироніей. Это разгорячило Лизу, но Васинъ не унялся. Главное, онъ всегда выражался такъ мягко, даже и осуждалъ безъ негодованія, а просто лишь логически выводилъ о всей ничтожности ея героя; но въ этой-то логичности и заключалась иронія. Наконецъ, почти прямо вывелъ передъ нею всю „неразумность“ ея любви, всю упрямую насильственность этой любви. „Вы въ своихъ чувствахъ заблудились, а заблужденія, разъ сознанныя, должны быть непременно исправлены“.

Это было какъ разъ въ тотъ день; Лиза въ негодованіи встала съ мѣста, чтобъ уйти, но что же сдѣлалъ и чѣмъ кончилъ этотъ разумный человекъ? Съ самымъ благороднымъ видомъ, и даже съ чувствомъ, предложилъ ей свою руку. Лиза тутъ же назвала его прямо въ глаза дуракомъ и вышла.

Предложить измѣну несчастному потому, что этотъ несчастный „не стоитъ“ ея, и, главное, предложить это беременной отъ этого несчастнаго женщиной, — вотъ умъ этихъ людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершеннымъ незнаніемъ жизни, происходящимъ отъ безмѣрнаго самолюбія. И вдобавокъ ко всему, Лиза самымъ яснымъ образомъ разглядѣла, что онъ даже гордился своимъ поступкомъ, хотя бы потому, наприимѣръ, что зналъ уже о ея беременности. Со слезами негодованія она поспѣшила къ князю, и тотъ,—тотъ даже перещеголялъ Васина: кажется бы могъ убѣдиться послѣ разказа, что уже ревновать теперь нечего; но тутъ-то онъ и сошелъ съ ума. Впрочемъ, ревнивцы всё таковы! Онъ сдѣлалъ ей страшную сцену и оскорбилъ ее такъ, что она было рѣшилась порвать съ нимъ тутъ же всё отношенія.

Она пришла, однакоже, домой, еще сдерживаясь, но мамѣ не могла не признаться. О, въ тотъ вечеръ онъ сошлись опять совершенно какъ

прежде: ледъ былъ разбитъ; обѣ, разумѣется, наплакались, но ихъ обыкновенію, обнявшись, и Лиза, повидимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечеръ у Макара Ивановича она просидѣла, не говоря ни слова, но и не покидала комнаты. Она очень слушала, что онъ говорилъ. Съ того разу съ скамейкой она стала къ нему чрезвычайно и какъ-то робко почтительна, хотя все оставалась неразговорчивою.

Но въ этотъ разъ Макаръ Ивановичъ какъ-то неожиданно и удивительно повернулъ разговоръ; замѣчу, что Версиловъ и докторъ очень нахмуренно разговаривали поутру о его здоровьи. Замѣчу тоже, что у насъ въ домѣ уже нѣсколько дней, какъ притовлялись справлять день рожденія мамы, приходившійся ровно черезъ пять дней, и часто говорили объ этомъ. Макаръ Ивановичъ, по поводу этого дня, почему-то вдругъ ударился въ воспоминанія и припомнилъ дѣтство мамы и то время, когда она еще „на ножкахъ не стояла“. „У меня съ рукъ не сходила, вспоминалъ старикъ: — бывало и ходить учу, поставлю въ уголокъ шага за три, да и зову ее, а она-то ко мнѣ колыхается черезъ комнату, и не боится, смѣется, а добѣжить до меня—бросится и за шею обниметъ. Сказки я тебѣ потомъ рассказывалъ, Софья Андревна; до связокъ ты у меня большая была охотница; часа по два на колѣняхъ у меня сидитъ—слушаетъ. Въ избѣ-то дивятся: „Ишь къ Макару какъ привязалась“. А то унесу тебя въ лѣсъ, отыщу малиновый кустъ, посажу у малины, а самъ тебѣ свистульки изъ дерева рѣжу. Нагуляемся и назадъ домой на рукахъ несу—спитъ младенчикъ. А то разъ волка испугалась, бросилась ко мнѣ, вся трепещетъ, а и никакого волка не было“.

— Это я помню, сказала мама.

— Неужто поминишь?

— Многое помню. Какъ только себя въ жизни запомнила, съ тѣхъ поръ любовь и милость вашу надъ собой увидѣла, проникнутымъ голосомъ проговорила она и вся вдругъ вскинула.

Макаръ Ивановичъ переждалъ немного:

— Простите, дѣтки, отхожу. Нынѣ урокъ житію моему припѣлъ. Въ старости обрѣлъ утѣшеніе отъ всѣхъ скорбей; спасибо вамъ, милые.

— Полноте, Макаръ Ивановичъ, голубчикъ, воскликнулъ, нѣсколько встревожась, Версиловъ: — мнѣ докторъ давеча говорилъ, что вамъ несравненно легче...

Мама прислушивалась испуганно.

— Ну, что онъ знаетъ, твой Александръ Семенычъ, улыбулся Макаръ Ивановичъ: — милый онъ человекъ, а и не болѣе. Полноте,

други, али думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня, послѣ утренней молитвы, такое въ сердцѣ чувство, что ужъ болѣе отсюда не выйду; сказано было. Ну, и что же, да будетъ благословенно имя Господне; только на васъ еще на всѣхъ наглядѣться хочется. И Ювъ многострадальный, глядя на новыхъ своихъ дѣтушекъ, утѣшался, а забылъ ли прежнихъ, и могъ ли забыть ихъ—невозможно сіе! Только съ годами нечаль какъ бы съ радостью вѣстѣ смѣшиваются, въ дыханіе свѣтлое преобразуется. Такъ-то въ мірѣ: всякая душа и испытуета, и утѣшена. Положилъ я, дѣтки, вамъ словечко сказать одно, небольшое, продолжалъ онъ съ тихой, прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдругъ ко мнѣ;—ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позоветъ время — и умри за нее; да подожди, не пугайся, не сейчасъ, усмѣхнулся онъ.—Теперь ты, можетъ быть, о семь и не думаешь, потому, можетъ, подумаешь. Только вотъ что еще: что благое дѣлать замислишь, то дѣлай для Бога, а не зависти ради. Дѣла же своего твердо держись и не сдавай черезъ всякое малодушіе; дѣлай же постепенно, не бросаешься и не кидаешься; ну, вотъ и все, что тебѣ надо. Развѣ, только молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это такъ только, авось когда припомнишь. Хотѣлъ было я и вамъ, Андрей Петровичъ, сударь, кой-что сказать, да Богъ и безъ меня ваше сердце найдетъ. Да и давно ужъ мы съ вами о семь прекратили, съ тѣхъ поръ, какъ сія стрѣла сердце мое пронзила. Нынѣ же отходя, лишь напомню... о чемъ тогда пообѣщали...

Онъ почти прошепталъ послѣднія слова, потупившись.

— Макаръ Ивановичъ! смущенно проговорилъ Версиковъ и всталъ со стула.

— Ну, ну, не смущайтесь, сударь, я только такъ напомнилъ... А виновенъ въ семь дѣлѣ Богу всѣхъ больше я; ибо хотъ и господинъ мой были, но все же не долженъ былъ я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишкомъ, ибо весь твой грѣхъ—мой, а въ тебѣ такъ мысля, и разумѣнье-то врядъ ли тогда было, а пожалуй, и въ васъ тоже, сударь, вкупѣ съ немю, улыбнулся онъ съ задрожавшими отъ какой-то боли губами: —и хотъ могъ бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезломъ, да и долженъ былъ, но жалко стало, какъ предо мной упала въ слезахъ и ничего не по-тала... ноги мои цаловала. Не въ укоръ тебѣ вспомнилъ сіе, возлюбленная, а лишь въ напоминаніе Андрею Петровичу... ибо сами, сударь, помните дворянское обѣщаніе ваше, а вѣнцомъ все прикрывается... При дѣткахъ говорю, сударь-батюшка...

Онъ былъ чрезвычайно взволнованъ и смотрѣлъ на Версилова, какъ бы ожидая отъ него подтвердительнаго слова. Повторяю, все это было такъ неожиданно, что я сидѣлъ безъ движенія. Версиловъ былъ взволнованъ даже не меньше его: онъ молча подошелъ къ мамѣ и крѣпко обнялъ ее; затѣмъ мама подошла, и тоже молча, къ Макару Ивановичу и поклонилась ему въ ноги.

Однимъ словомъ, сцена вышла потрясающая; въ комнатѣ на сей разъ были мы только всѣ свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза какъ-то выпрямилась вся на мѣстѣ и молча слушала; вдругъ встала и твердо сказала Макару Ивановичу:

— Благословите и меня, Макаръ Ивановичъ, на большую муку. Завтра рѣшится вся судьба моя... а вы сегодня обо мнѣ помолитесь.

И вышла изъ комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже извѣстно было о ней все отъ мамы. Но я въ первый разъ еще въ этотъ вечеръ увидалъ Версилова и маму вмѣстѣ, до сихъ поръ я видѣлъ подлѣ него лишь рабу его. Страшно много еще не зналъ я и не при- мѣтилъ въ этомъ человѣкѣ, котораго уже осудилъ, а потому воротился къ себѣ смущенный. И надо такъ сказать, что именно къ этому времени сгустились всѣ недоумѣнія мои о немъ; никогда еще не представлялся онъ мнѣ столь таинственнымъ и неразгаданнымъ, какъ въ то именно время; но объ этомъ-то и вся исторія, которую пишу; все въ свое время.

„Однако“, подумалъ я тогда про себя, уже ложась спать, „выходитъ, что онъ далъ Макару Ивановичу свое „дворянское слово“ об- вѣнчаться съ мамой въ случаѣ ея вдовства. Онъ объ этомъ умолчалъ, когда рассказывалъ мнѣ прежде о Макарь Ивановичѣ“.

На завтра Лиза не была весь день дома, а возвратясь уже до- вольно поздно, прошла прямо къ Макару Ивановичу. Я было не хотѣлъ входить, чтобъ не помѣшать имъ, но вскорѣ замѣтивъ, что тамъ ужъ и мама, и Версиловъ, вошелъ. Лиза сидѣла подлѣ старика и плакала на его плечѣ, а тотъ, съ печальнымъ лицомъ, молча гладилъ ее по головкѣ.

Версиловъ объяснилъ мнѣ (уже потомъ у меня), что князь настоялъ на своемъ и положилъ обвѣнчаться съ Лизой при первой возможности, еще до рѣшенія суда. Лизѣ трудно было рѣшиться, хотя и не рѣ- шиться она уже почти не имѣла права. Да и Макаръ Ивановичъ „приказывалъ“ вѣнчаться. Разумѣется, все бы это обошлось потомъ само собой и обвѣнчалась бы она несомнѣнно и сама безъ приказаній и колебаній. но въ настоящую минуту она такъ была оскорблена тѣмъ,

кого любила, и такъ унижена была этою любовью даже въ собственныхъ глазахъ своихъ, что рѣшиться ей было трудно. Но, кромѣ оскорбленія, прии́малось и новое обстоятельство, котораго я и подозрѣвать не могъ.

— Ты слышалъ, вся эта молодежь съ петербургской вчера арестована? прибавилъ вдругъ Версиловъ.

— Какъ? Дергачевъ? вскричалъ я.

— Да; и Васинъ тоже.

Я былъ пораженъ, особенно услышавъ о Васинѣ.

— Да развѣ онъ въ чемъ нибудь замѣшанъ? Боже мой, что съ ними теперь будетъ? И какъ нарочно въ то самое время, какъ Лиза такъ обвинила Васина!... Какъ вы думаете, что съ ними можетъ быть? Тутъ Стебельковъ! Клянусь вамъ, тутъ Стебельковъ!

— Оставивъ, сказалъ Версиловъ, странно посмотрѣвъ на меня (именно такъ, какъ смотреть на человѣка непонимающаго и неугадывающаго): — кто знаетъ что у нихъ тамъ есть и кто можетъ знать что съ ними будетъ? Я не про то: я слышалъ, ты завтра хотѣлъ бы выйти. Не зайдешь-ли къ князю Сергѣю Петровичу?

— Первымъ дѣломъ; хоть, признаюсь, мнѣ это очень тяжело. — А что, вамъ не надо ли передать чего?

— Нѣтъ, ничего. Я самъ увижусь. Мнѣ жаль Лизу. И что можетъ посоветовать ей Макаръ Ивановичъ? Онъ самъ ничего не смыслить ни въ людяхъ, ни въ жизни. Вотъ что еще, мой милый (онъ меня давно не называлъ „мой милый“), тутъ есть тоже... нѣкоторые молодые люди... изъ которыхъ одинъ твой бывший товарищъ, Ламбертъ... Мнѣ кажется, все это — большіе мерзавцы... Я только, чтобъ предупредить тебя... Впрочемъ, конечно, все это твое дѣло, и я понимаю, что не имѣю права...

— Андрей Петровичъ, схватилъ я его за руку, не подумавъ и почти въ вдохновеніи, какъ часто со мною случается (дѣло было почти въ темнотѣ): — Андрей Петровичъ, я молчалъ, — вѣдь вы видѣли это, я все молчалъ до сихъ поръ, знаете для чего? Для того, чтобъ избѣгнуть вашихъ тайнъ. Я прямо положилъ ихъ не знать никогда. Я — трусь, я боюсь, что ваши тайны вырвутъ васъ изъ моего сердца уже совсѣмъ, а я не хочу этого. А коли такъ, то зачѣмъ бы и вамъ знать мои секреты? Пусть бы и вамъ все равно, куда бы я ни пошелъ! Не такъ-ли?

— Ты правъ; но ни слова болѣе, умоляю тебя! проговорилъ онъ и вышелъ отъ меня. Такимъ образомъ, мы нечаянно и капельку объяс-

видись. Но онъ только прибавилъ къ моему волненію передъ новыми завтрашними шагами въ жизни, такъ что я всю ночь спалъ, непрерывно просыпаясь; но мнѣ было хорошо.

III.

На другой день я вышелъ изъ дому, хоть и въ десять часовъ дня, но изъ всѣхъ силъ постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись, такъ сказать, ускользнулъ. Для чего такъ сдѣлалъ—не знаю; но, еслибъ даже мама подглядѣла, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы отвѣтилъ ей какойнибудь злостью. Когда я очутился на улицѣ идохнулъ уличнаго холоднаго воздуху, то такъ и вдрогнулъ отъ сильнѣйшаго ощущенія—почти животнаго и которое я назвалъ бы *плотояднымъ*. Для чего я шелъ, куда я шелъ? Это было совершенно неопредѣленно и въ то же время *плотоядно*. И странно мнѣ было, и радостно все вмѣстѣ.

— А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня? молодцовато подумалъ я про себя, хотя слишкомъ зналъ, что разъ сдѣланный сегодняшній шагъ будетъ уже рѣшительнымъ и непоправимымъ на всю жизнь. Но нечего говорить загадками.

Я прямо пришелъ въ тюрьму князя. Я уже три дня какъ имѣлъ отъ Татьяны Павловны письмо къ смотрителю, и тотъ принялъ меня прекрасно. Не знаю, хорошій ли онъ человекъ, и это, я думаю, лишнее; но свиданіе мое съ княземъ онъ допустилъ и устроилъ въ своей комнатѣ, любезно уступивъ ее намъ. Комната была какъ комната, — обыкновенная комната на казенной квартирѣ у чиновника извѣстной руки, — это тоже, я думаю, лишнее описывать. Такимъ образомъ, съ княземъ мы остались одни.

Онъ вышелъ ко мнѣ въ какомъ-то полубоенномъ домашнемъ костюмѣ, но въ чистѣйшемъ бѣльѣ, въ щеголеватомъ галстукѣ, вымытый и причесанный, вмѣстѣ съ тѣмъ ужасно похудѣвшій и пожелтѣвшій. Эту желтизну я замѣтилъ даже въ глазахъ его. Однимъ словомъ, онъ такъ переимѣнился на видъ, что я остановился даже въ недоумѣніи.

— Какъ вы измѣнились! вскричалъ я.

— Это ничего! Садитесь, голубчикъ, полуфатски показалъ онъ мнѣ на кресло, и самъ сѣлъ напротивъ. — Перейдемъ къ главному: видите, мой милый Алексѣй Макаровичъ...

— Аркадій, поправилъ я.

— Что? Ахъ да; ну-ну, все равно. Ахъ да! сообразилъ онъ вдругъ, — извините, голубчикъ, перейдемъ къ главному...

Однимъ словомъ, онъ ужасно торопился къ чему-то перейти. Онъ былъ весь тѣмъ-то проникнуть, съ ногъ до головы, какою-то главнѣйшею идеей, которую желалъ формулировать и мнѣ изложить. Онъ говорилъ ужасно много и скоро, съ напряженіемъ и страданіемъ разъясняя и жестивулируя, но въ первыя минуты я рѣшительно ничего не понималъ.

— Короче сказать (онъ уже десять разъ передъ тѣмъ употребилъ слово „короче сказать“) — короче сказать, заключилъ онъ, если я васъ, Аркадій Макаровичъ, потревожилъ и такъ настоятельно позвалъ вчера черезъ Лизу, то хоть это и пожаръ, но такъ какъ сущность рѣшенія должна быть чрезвычайная и окончательная, то мы...

— Позвольте, князь, перебилъ я: — вы звали меня вчера? Мнѣ Лиза ровно ничего не передавала.

— Какъ? вскричалъ онъ, вдругъ останавливаясь въ чрезвычайномъ недоумѣніи, даже почти въ испугѣ.

— Она мнѣ ровно ничего не передавала. Она вечеромъ вчера пришла такая разстроенная, что не успѣла даже сказать со мной слова.

Князь вскочилъ со стула.

— Неужели вы вправду, Аркадій Макаровичъ? Въ такомъ случаѣ это... это...

— Да чтожь тутъ, однако, такого? Чего вы такъ беспокоитесь? Просто забыла, или чтонибудь...

Онъ сѣлъ, но на него нашелъ какъ бы столбнякъ. Казалось, извѣстіе о томъ, что Лиза мнѣ ничего не передала, просто придавило его. Онъ быстро вдругъ заговорилъ и замахалъ руками, но опять ужасно трудно было понять.

— Пойдите! проговорилъ онъ вдругъ, умолкая и подымая кверху палецъ: — пойдите: это... это... если только не ошибусь... это — штуки-сь!.. пробормоталъ онъ съ улыбкою маньяка, — и значить, что...

— Это ровно ничего не значить! перебилъ я: — и не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство васъ такъ мучить... Ахъ, князь, съ тѣхъ поръ, съ той самой ночи, — помните...

— Съ какой ночи и что? капризно крикнулъ онъ, явно досадуя, что я перебилъ.

— У Зерщикова, гдѣ мы видѣлись въ послѣдній разъ, ну вотъ, передъ вашимъ письмомъ? Вы тогда тоже были въ ужасномъ волненіи, но тогда и теперь — это такая разница, что я даже ужасаюсь на васъ... Или вы не помните?

— Ахъ да, произнесъ онъ голосомъ свѣтсаго человѣка, и какъ подростокъ.

бы вдругъ припоминавъ:—ахъ да! Тотъ вечеръ... Я слышалъ... Ну, какъ ваше здоровье и какъ вы теперь сами послѣ всего этого, Аркадій Макаровичъ?.. Но, однако, перейдемъ къ главному. Я, видите-ли, собственно преслѣдую три цѣли; три задачи передо мной, и я...

Онъ быстро заговорилъ опять о своемъ „главномъ“. Я понялъ, наконецъ, что вижу передъ собой человѣка, которому сейчасъ же надо бы приложить, по крайней мѣрѣ, полотенце съ уксусомъ къ головѣ, если не отворить кровь. Весь безсвязный разговоръ его, разумѣется, вертѣлся на счетъ процесса, на счетъ возможнаго исхода; на счетъ того еще, что навѣстилъ его самъ командиръ полка и что-то долго ему отговѣтовалъ, но онъ не послушался,—на счетъ записки, имъ только что и куда-то поданной, —на счетъ прокурора; о томъ, что его навѣрно сошлютъ, по лишеніи правъ, куда нибудь въ сѣверную полосу Россіи; о возможности колонизоваться и выслужиться въ Ташкентѣ, о томъ, что научить своего сына (будущаго, отъ Лизы) тому-то и передать ему то-то, „въ глуши, въ Архангельскѣ, въ Холмогорахъ“. — „Если я пожелалъ вашего мнѣнія, Аркадій Макаровичъ, то, повѣрьте, я такъ дорожу чувствомъ... Еслибъ вы знали, еслибъ вы знали, Аркадій Макаровичъ, милый мой, братъ мой, что значитъ мнѣ Лиза, что значила она мнѣ здѣсь, теперь, все это время! вскричалъ онъ вдругъ, схватываясь обѣими руками за голову.

— Сергѣй Петровичъ, неужели вы ее погубите и увезете съ собой?.. Въ Холмогоры! вырвалось у меня вдругъ неудержимо.— Жребій Лизы съ этимъ маньякомъ на весь вѣкъ—вдругъ ясно и какъ бы въ первый разъ предсталъ моему сознанію. Онъ поглядѣлъ на меня, снова всталъ, шагнулъ, повернулся и сѣлъ опять, все придерживая голову руками.

— Мнѣ все пауки снятся! сказалъ онъ вдругъ.

— Вы въ ужасномъ волненіи; я бы вамъ совѣтовалъ, князь, лечь и сейчасъ же потребовать доктора.

— Нѣтъ, позвольте, это потому. Я, главное, просилъ васъ къ себѣ, чтобъ разъяснить вамъ на счетъ вѣнчанія. Вѣнчаніе, вы знаете, произойдетъ здѣсь же въ церкви, я уже говорилъ. На все это дано согласіе, и они даже поощряютъ... Что же до Лизы, то...

— Князь, помиуйте Лизу, милый, вскричалъ я: не мучьте ее, по крайней мѣрѣ, хоть теперь, не ревнуйте!

— Какъ! вскричалъ онъ, смотря на меня почти вытаращенными глазами въ упоръ и скосивъ все лицо въ какую-то длинную, бессмысленно-вопросительную улыбку. Видно было, что слово „не ревнуйте“ почему-то страшно его поразило.

— Простите, князь, я нечаянно. О, князь, въ послѣднее время я узналъ одного старика, моего названнаго отца... О, еслибъ вы его видѣли, вы бы споконѣе... Лиза тоже такъ цѣнитъ его.

— Ахъ да, Лиза... ахъ да, это—вашъ отецъ? Или... pardon, mon cher, что-то такое... Я помню... она передавала... старичокъ... Я увѣренъ, я увѣренъ. Я тоже зналъ одного старичка... Mais passons, главное, чтобъ уяснить всю суть момента, надо...

Я всталъ, чтобъ уйти. Мнѣ больно было смотрѣть на него.

— Я не понимаю! строго и важно произнесъ онъ; вида что я встаю уходить.

— Мнѣ больно смотрѣть на васъ, сказалъ я.

— Аркадій Макаровичъ, одно слово, еще одно слово! ухватилъ онъ меня вдругъ за плечи, совсѣмъ съ другимъ видомъ и жестомъ и усадилъ въ кресло. Вы слышали про этихъ, понимаете? наклонился онъ ко мнѣ.

— Ахъ да, Дергачевъ. Тутъ навѣрно Стебельковъ! вскричалъ я, не удержавшись.

— Да, Стебельковъ и... вы не знаете?

Онъ освѣся и опять уставился въ меня съ тѣми же вытаращенными глазами и съ тою же длинною, судорожною, бессмысленно-вопросающей улыбкой, раздвигавшейся все болѣе и болѣе. Лицо его постепенно блѣднѣло. Что-то вдругъ какъ бы сотрясло меня: я вспомнилъ вчерашній взглядъ Версилова, когда онъ передавалъ мнѣ объ арестѣ Васина.

— О, неужели? вскричалъ я испуганно.

— Видите, Аркадій Макаровичъ, я затѣмъ васъ и звалъ, чтобъ объяснить... я хотѣлъ... быстро зашепталъ было онъ.

— Это вы донесли на Васина? вскричалъ я.

— Нѣтъ; видите-ли, тамъ была рукопись. Васинъ передъ самымъ послѣднимъ днемъ передалъ Лизѣ... сохранить. А та оставила мнѣ здѣсь проглядѣть, а потомъ случилось, что они поссорились на другой день...

— Вы представили по начальству рукопись!

— Аркадій Макаровичъ, Аркадій Макаровичъ!

— И такъ, вы, вскричалъ я, вскакивая и отчеканивая слова:— вы, безъ всякаго инаго побужденія, безъ всякой другой цѣли, а единственно потому, что несчастный Васинъ—*вашъ соперникъ*, единственно только изъ ревности, вы передали *остренную Лизы рукопись*... передали кому? Кому? Прокурору?

Но онъ не успѣлъ отвѣтить, да и врядъ-ли бы что отвѣтилъ, потому что стоялъ передо мной, какъ истуканъ все съ тою же болѣзненной улыбкой и неподвижнымъ взглядомъ; но вдругъ отворилась дверь и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидѣвъ насъ вмѣстѣ.

— Ты здѣсь? Такъ ты здѣсь? вскричала она съ искаженнымъ вдругъ лицомъ и хватая меня за руки,—такъ ты... *знаешь*?

Но она уже прочла въ лицѣ моемъ, что я „знаю“. Я быстро неудержимо обнялъ ее, крѣпко, крѣпко! И въ первый разъ только я постигъ въ ту минуту, во всей силѣ, какое безвыходное, безконечное горе безъ разсвѣта легло навѣкъ надъ всей судьбой этой... добровольной искательницы мученій.

— Да развѣ можно съ нимъ говорить теперь? оторвалась она вдругъ отъ меня.—Развѣ можно съ нимъ быть? Зачѣмъ ты здѣсь? Посмотри на него, посмотри! И развѣ можно, можно судить его?

Безконечное страданіе и состраданіе были въ лицѣ ея, когда она, восклицая, указывала на несчастнаго. Онъ сидѣлъ въ креслѣ, закрывъ лицо руками. И она была права; это былъ человекъ въ бѣлой горячкѣ и безотвѣтственный. Его въ то-же утро положили въ больницу, а къ вечеру у него уже было воспаленіе въ мозгу.

IV.

Отъ князя, оставивъ его тогда съ Лизою, я, около часу пополудни, заѣхалъ на прежнюю мою квартиру. Я забылъ сказать, что день былъ сырой, тусклый, съ начинавшеюся оттепелью и съ теплымъ вѣтромъ, способнымъ разстроить нервы даже у слона. Хозяинъ встрѣтилъ меня обрадовавшись, заматавшись и закидавшись, чего я страха не люблю именно въ такія минуты. Я обошелся сухо и прямо прошелъ къ себѣ, но онъ последовалъ за мной, и хоть не смѣлъ разспрашивать, но любопытство такъ и сіяло въ глазахъ его, притомъ смотрѣлъ, какъ уже имѣющій даже какое-то право быть любопытнымъ. Я долженъ былъ обойтись вѣжливо для своей же выгоды: но хотя мнѣ слишкомъ необходимо было кое-что узнать (и я зналъ, что узнаю), но все же было противно начать разспросы. Я освѣдомился о здоровьи жены его, и мы сходили къ ней. Та встрѣтила меня хоть и внимательно, но съ чрезвычайно дѣловымъ и неразговорчивымъ видомъ; это меня нѣсколько примирило. Короче, я узналъ въ тотъ разъ весьма чудныя вещи.

Ну, разумѣется, былъ Ламбертъ, но потомъ онъ приходилъ еще два раза и „осмотрѣлъ всѣ комнаты“, говоря, что, можетъ, найметъ.

Приходила нѣсколько разъ Дарья Онисимовна, эта ужь Богъ знаетъ зачѣмъ: „очень тоже любопытствовала“, — прибавилъ хозяйинъ; — но я не утѣшилъ его, не спросилъ о чемъ она любопытствовала. Вообще, я не разспрашивалъ, а говорилъ лишь онъ, а я дѣлалъ видъ, что роюсь въ моемъ чемоданѣ (въ которомъ почти ничего и не оставалось). Но всего досаднѣе было, что онъ тоже вздумалъ играть въ таинственность и, замѣтивъ, что я удерживаюсь отъ разспросовъ, почелъ тоже обязанностью стать отрывочнѣе, почти загадочнѣе.

— Барышня тоже бывала, прибавилъ онъ, странно смотря на меня.

— Какая барышня?

— Анна Андреевна; два раза была; съ моей женой познакомилась. Очень милая особа, очень пріятная. Такое знакомство даже слишкомъ можно оцѣнить, Аркадій Макаровичъ... — И выговоривъ, онъ даже сдѣлалъ ко мнѣ шагъ: очень ужь ему хотѣлось, чтобъ я что-то понялъ.

— Неужели два раза? удивился я.

— Во второй разъ вмѣстѣ съ братцемъ пріѣзжала.

“Это съ Ламбертомъ, подумалось мнѣ вдругъ невольно.

— Нѣтъ-съ, не съ господиномъ Ламбертомъ, такъ и угадалъ онъ сразу, точно впрыгнулъ въ мою душу своими глазами: — а съ ихнимъ братцемъ дѣйствительнымъ, молодымъ господиномъ Версиловымъ. Камеръ-юнкеръ, вѣдь, кажется?

Я былъ очень смущенъ; онъ смотрѣлъ, ужасно ласково улыбаясь.

— Ахъ, вотъ еще кто былъ, васъ спрашивалъ — эта мамзель, французенка, мамзель Альфонсина де-Вердень. Ахъ, какъ поетъ хорошо и декламируетъ тоже прекрасно въ стихахъ! Потихоньку къ князю Николаю Ивановичу тогда проѣзжала, въ Царское, собачку; говорить, ему продать рѣдкую, черненькую, вся въ кулачекъ...

Я попросилъ его оставить меня одного, отговорившись головою болью. Онъ мигомъ удовлетворилъ меня, даже не докончивъ фразы, и не только безъ малѣйшей обидчивости, но почти съ удовольствіемъ, таинственно помахавъ рукой и какъ бы выговаривая: „Понимаю-съ, понимаю-съ“, и хоть не проговорилъ этого, но зато изъ комнаты вышелъ на цыпочкахъ, доставилъ себѣ это удовольствіе. Есть очень досадные люди на свѣтѣ.

Я просидѣлъ одинъ, обдумывая часа полтора; не обдумывая, впрочемъ, а лишь задумавшись. Хоть я былъ и смущенъ, но зато ни мало не удивленъ. Я даже ждалъ еще пуще чего нибудь, еще большихъ чудесъ. „Можетъ они теперь ужь и натворили ихъ“, подумалъ я. Я твердо и давно былъ

увѣренъ, еще дома, что машина у нихъ заведена и въ полномъ ходу. „Меня только итъ недостаетъ,“ вотъ что подумалъ я опять, съ какимъ-то раздражительнымъ и пріятнымъ самодовольствомъ. Что они ждутъ меня изъ всѣхъ силъ и что-то въ моей квартирѣ затѣвуютъ устроить — было ясно, какъ день. „Ужь не свадьбу ли стараго князя? На него цѣлая облава. Только позволю-ли я, господа, вотъ что-съ?“ заключилъ я опять съ надменнымъ удовольствіемъ.

— Разъ начну и тотчасъ опять въ водоворотъ затянусь, какъ щепка. Свободенъ-ли я теперь, сейчасъ, или ужь не свободенъ? Могу ли я еще, воротаясь сегодня вечеромъ къ мамѣ, сказать себѣ, какъ во всѣ эти дни: „Я самъ по себѣ?“

Вотъ эссенція моихъ вопросовъ или, лучше сказать, біеній сердца моего, въ тѣ полтора часа, которые я просидѣлъ тогда въ углу на кровати, локтями въ колѣна, а ладонями подпирая голову. Но вѣдь я зналъ, я зналъ уже и тогда, что всѣ эти вопросы — совершенный вздоръ, а что влечетъ меня лишь *она*, — она и она одна! Наконецъ-то выговорилъ это прямо и прописалъ перомъ на бумагѣ, ибо даже теперь, когда пишу, годъ спустя, не знаю еще, какъ назвать тогдашнее чувство мое по имени!

О, мнѣ было жаль Лизу, и въ сердцѣ моемъ была самая нелицемѣрная боль! Ужь одно-бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мнѣ, хоть на время, *плотоядность* (опять поминаю это слово). Но меня влекло безмѣрное любопытство и какой-то страхъ, и еще какое-то чувство, — не знаю какое; но знаю и зналъ уже и тогда, что оно было недоброе. Можетъ быть, я стремился пасть къ ея ногамъ, а можетъ быть, хотѣлъ бы предать ее на всѣ муки и что-то „поскорѣй, поскорѣй“ доказать ей. Никакая боль и никакое состраданіе къ Лизѣ не могли уже остановить меня. Ну, могли ли я встать и уйти домой... къ Макару Ивановичу?

— „А развѣ нельзя только пойти къ нимъ, разузнать отъ нихъ обо всемъ и вдругъ уйти отъ нихъ навсегда, пройдя безвредно мимо чудесъ и чудовищъ?“

Въ три часа, схватившись и сообразивъ, что почти опоздалъ, я поскорѣе вышелъ, схватилъ извозчика и полетѣлъ къ Аннѣ Андреевнѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Анна Андреевна, лишь только обо мнѣ доложили, бросила свое шитье и поспѣшно вышла встрѣтить меня въ первую свою комнату— чего прежде никогда не случалось. Она протянула мнѣ обѣ руки и быстро покраснѣла. Молча провела она меня къ себѣ, подсѣла опять къ своему руководѣлю, меня посадила подлѣ; но за шитье уже не принималась, а все съ тѣмъ же горячимъ участіемъ продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова.

— Вы ко мнѣ присылали Дарью Онисимовну, началъ я прямо, нѣсколько тяготясь такимъ ужъ слишкомъ эффектнымъ участіемъ, хотя оно мнѣ было пріятно.

Она вдругъ заговорила, не отвѣтивъ на мой вопросъ.

— Я все слышала, я все знаю. Эта ужасная ночь... О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, правда ли, что васъ нашли ужъ безъ чувствъ, на морозѣ?

— Это вамъ... Ламбертъ... пробормоталъ я, краснѣя.

— Я отъ него тогда же все узнала; но я ждала васъ. О, онъ пришелъ ко мнѣ испуганный! На вашей квартирѣ... тамъ, гдѣ вы лежали больной, его не хотѣли къ вамъ допустить... и странно встрѣтили... Я, право, не знаю какъ это было, но онъ разсказалъ мнѣ все объ этой ночи: онъ говорилъ, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже ему обо мнѣ и... объ вашей преданности ко мнѣ. Я была тронута до слезъ, Аркадій Макаровичъ, и даже не знаю, чѣмъ заслужила такое горячее участіе съ вашей стороны, и еще въ такомъ положеніи, въ какомъ вы были сами! Скажите, г. Ламбертъ—вангъ товарищъ дѣтства?

— Да, но этотъ случай... я, признаюсь, былъ неостороженъ и, можетъ быть, я насаждалъ ему тогда слишкомъ много.

— О, объ этой черной, ужасной интригѣ я узнала бы и безъ него! Я всегда, всегда предчувствовала, что они васъ доведутъ до этого. Скажите, правда ли, что Бьорингъ осмѣлился поднять на васъ руку?

Она говорила такъ, какъ будто чрезъ одного Бьоринга и чрезъ нея я и очутился подъ заборомъ. А вѣдь она права, подумалось мнѣ, но я вспыхнулъ:

— Еслибъ онъ на меня поднялъ руку, то не ушелъ бы ненаказанный, и я бы не сидѣлъ теперь передъ вами не отомстивъ, отвѣтилъ я съ жаромъ. Главное, мнѣ показалось, что она хочетъ меня для

чего-то раздражить, противъ кого-то возбудить (впрочемъ извѣстно — противъ кого); и все таки я поддался.

— Если вы говорите, что вы предвидѣли, что меня доведутъ до *этого*, то со стороны Катерины Николаевны, разумѣется, было лишь недоумѣніе... хотя правда и то, что она слишкомъ уже скоро промѣняла свои добрыя чувства ко мнѣ на это недоумѣніе...

— То-то и есть, что ужъ слишкомъ скоро! подхватила Анна Андреевна съ какимъ-то даже восторгомъ сочувствія.—О, еслибъ вы знали какая тамъ теперь интрига! Конечно, Аркадій Макаровичъ, вамъ трудно теперь понять всю щекотливость моего положенія, произнесла она, покраснѣвъ и потупившись.—Съ тѣхъ поръ, въ то самое утро, какъ мы съ вами въ послѣдній разъ видѣлись, я сдѣлала тотъ шагъ, который не всякій способенъ понять и разобрать такъ, какъ бы понялъ его человекъ съ вашимъ незараженнымъ еще умомъ, съ вашимъ любящимъ, неиспорченнымъ, свѣжимъ сердцемъ. Будьте увѣрены, другъ мой, что я способна оцѣнить вашу ко мнѣ преданность и заплачу вамъ вѣчною благодарностью. Въ свѣтѣ, конечно, подымутъ на меня камень и подняли уже. Но еслибъ даже они были правы, съ своей гнусной точки зрѣнія, то кто бы могъ, кто бы смѣлъ изъ нихъ даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцомъ моимъ съ дѣтства; мы, Версиловы — древній, высокій русскій родъ, мы — проходимцы, и я ѣмъ чужой хлѣбъ изъ милости. Не естественно ли мнѣ было обратиться къ тому, кто еще съ дѣтства замѣнялъ мнѣ отца, чьи милости я видѣла на себѣ столько лѣтъ? Мои чувства къ нему видить и судить одинъ только Богъ, и я не допускаю свѣтскаго суда надъ собою въ сдѣланномъ мною шагѣ! Когда же тутъ, сверхъ того, самая коварная, самая мрачная интрига и довѣрчиваго, великодушнаго отца сговорила погубить его же собственная дочь, то развѣ это можно снести? Нѣтъ, пусть сгублю даже репутацію мою, но спасу его! Я готова жить у него просто въ нянькахъ, быть его сторожемъ, сидѣлкой, но не дамъ восторжествовать холодному, свѣтскому, мерзкому расчету!

Она говорила съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, очень можетъ быть, что на половину напускнымъ, но все таки искреннимъ, потому что видно было, до какой степени затянулась она вся въ это дѣло. О, я чувствовалъ, что она лжетъ (хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно) и что она теперь дурная; но удивительно, какъ бываетъ съ женщинами: этотъ видъ порядочности, эти высшія форин, эта недоступность свѣтской высоты и гордаго цѣломудрія — все это сбило меня съ толку, и я сталъ соглашаться съ нею во всежъ, то есть,

пока у ней сидѣлъ; по крайней мѣрѣ—не рѣшился противорѣчить. О, мужчина въ рѣшительномъ нравственномъ рабствѣ у женщины, особенно если великодушнаго! Такая женщина можетъ убѣдить въ чемъ угодно великодушнаго. „Она и Ламбертъ—Боже мой!“ думалъ я, въ недоумѣніи смотря на нее. Впрочемъ, скажу все: я даже до сихъ поръ не умѣю судить ее; чувства ея дѣйствительно могъ видѣть одинъ только Богъ, а человѣкъ, къ тому же—такая сложная машина, что ничего не разберешь въ иныхъ случаяхъ, и въ добавокъ къ тому же, если этотъ человѣкъ—женщина.

— Анна Андреевна, чего именно вы отъ меня ждете? спросилъ я, однако, довольно рѣшительно.

— Какъ? Чтò значить вашъ вопросъ, Аркадій Макаровичъ?

— Мнѣ кажется по всему... и по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ... разъяснилъ я, путаясь:—что вы прислали ко мнѣ, чего-то отъ меня ожидая; такъ чего же именно?

Не отвѣчая на вопросъ, она мигомъ заговорила опять, также скоро и одушевленно:

— Но я не могу, я слишкомъ горда, чтобъ входить въ объясненія и сдѣлки съ неизвѣстными лицами, какъ г. Ламбертъ. Я ждала васъ, а не г. Ламберта. Мое положеніе—крайнее, ужасное, Аркадій Макаровичъ! Я обязана хитрить, окруженная происками этой женщины—а это мнѣ нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала васъ, какъ спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругомъ себя, чтобъ отыскать хоть одного друга, а потому я и не могла не обрадоваться другу: тотъ, кто могъ даже въ ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мнѣ и повторять одно только мое имя—тотъ ужъ, конечно, мнѣ преданъ. Такъ думала я все это время, а потому на васъ и надѣялась.

Она съ нетерпѣливымъ вопросомъ смотрѣла мнѣ въ глаза. И вотъ, у меня опять не достало духу разувѣрить ее и объяснить ей прямо, что Ламбертъ ее обманулъ и что я вовсе не говорилъ тогда ему, что ужъ такъ ей особенно преданъ, и вовсе не вспоминалъ „одно только ея имя“. Такимъ образомъ, молчаніемъ моимъ я какъ-бы подтвердилъ ложь Ламберта. О, она вѣдь и сама, я увѣренъ, слишкомъ хорошо понимала, что Ламбертъ преувеличилъ и даже просто нагаль ей, единственно, чтобъ имѣть благовидный предлогъ явиться къ ней и завязать съ нею сношенія; если же смотрѣла мнѣ въ глаза, какъ увѣренная въ истиннѣ моихъ словъ и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмѣю отказаться, такъ сказать, изъ деликатности и по моей

молодости. А, впрочемъ, правъ я въ этой догадкѣ или не правъ— не знаю. Можетъ быть, я ужасно развращень.

— За меня заступится братъ мой, произнесла она вдругъ съ жаромъ, видя, что я не хочу отвѣтить.

— Мнѣ сказали, что вы были съ нимъ у меня на квартирѣ, про- бормотала я въ смущеніи.

— Да вѣдь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь отъ всей этой интриги или, лучше сказать, отъ родной своей дочери, кромѣ какъ на вашу квартиру, то есть на квартиру друга; вѣдь въ правѣ же онъ считать васъ, по крайней мѣрѣ, хоть другомъ!.. И тогда, если вы только захотите что нибудь сдѣлать въ его пользу, то сдѣлайте это—если только можете, если только въ васъ есть великодушіе и смѣлость... и, наконецъ, если и вправду вы *что-то можете сдѣлать*. О, это не для меня, не для меня, а для несчастнаго старика, который одинъ только любилъ васъ искренно, который успѣлъ къ вамъ привязаться сердцемъ какъ къ своему сыну, и тоскуетъ о васъ даже до сихъ поръ! Себѣ же я ничего не жду, даже отъ васъ—если даже родной отецъ сыгралъ со мною такую коварную, такую злобную выходку?

— Мнѣ кажется, Андрей Петровичъ... началъ было я.

— Андрей Петровичъ, прервала она съ горькой усмѣшкой:—Андрей Петровичъ на мой прямой вопросъ отвѣтилъ мнѣ тогда честнымъ словомъ, что никогда не имѣлъ ни малѣйшихъ намѣреній на Екатерину Николаевну, чему я вполнѣ и повѣрила, дѣлая шагъ мой; а, между тѣмъ, оказалось, что онъ спокоенъ лишь до перваго извѣстія о какомъ нибудь г. Бьорингѣ.

— Тутъ не то! вскричалъ я:—было мгновеніе, когда и я было повѣрилъ его любви къ этой женщинѣ, но это не то... Да, еслибъ даже и то, то вѣдь, вѣжеться, теперь онъ уже могъ бы быть совершенно спокоенъ... за отставкой этого господина.

— Какого господина?

— Бьоринга.

— Кто же вамъ сказалъ объ отставкѣ? Можетъ быть, никогда этотъ господинъ не былъ въ такой силѣ, язвительно усмѣхнулась она; мнѣ даже показалось, что она посмотрѣла и на меня насмѣшливо.

— Мнѣ говорила Дарья Онисимовна, пробормотала я въ смущеніи, которое не въ силахъ былъ скрыть и которое она слишкомъ за- мѣтила.

— Дарья Онисимовна—очень милая особа, и, ужь конечно, я не

могу ей запретить любить меня, но она не имѣетъ никакихъ средствъ знать о томъ, что до нея не касается.

Сердце мое заняло; и такъ какъ она именно рассчитывала возжечь мое негодованіе, то негодованіе вскипѣло во мнѣ, но не къ той женщинѣ, а пока лишь къ самой Аннѣ Андреевнѣ. Я всталъ съ мѣста:

— Какъ честный человѣкъ, я долженъ предупредить васъ, Анна Андреевна, что ожиданія ваши... на счетъ меня... могутъ оказаться въ высшей степени напрасными...

— Я ожидаю, что вы за меня заступитесь, твердо поглядѣла она на меня:—за меня, всеми оставленную... за вашу сестру, если хотите того, Аркадій Макаровичъ!

Еще мгновеніе, и она бы заплакала.

— Ну, такъ лучше не ожидайте, потому что, „можетъ быть“ ничего не будетъ, пролепеталъ я съ невыразимо тягостнымъ чувствомъ.

— Какъ понимать мнѣ ваши слова? проговорила она какъ-то слишкомъ ужъ опасно.

— А такъ, что я уйду отъ васъ всёхъ, и—баста! вдругъ воскликнулъ я почти въ ярости, а документъ—разорву. Прощайте!

Я поклонился ей и вышелъ молча, въ то же время почти не смѣя взглянуть на нее; но не сошелъ еще съ лѣстницы, какъ догнала меня Дарья Онисимовна съ сложеннымъ вдвое полулистикомъ почтовой бумаги. Оттуда взялась Дарья Онисимовна и гдѣ она сидѣла, когда я говорилъ съ Анной Андреевной—даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убѣжала назадъ. Я развернулъ листокъ: на немъ четко и ясно былъ написанъ адресъ Ламберта, а заготовленъ былъ, очевидно, еще за нѣсколько дней. Я вдругъ вспомнилъ, что когда была у меня тогда Дарья Онисимовна, то я проговорилъ ей, что не знаю, гдѣ живетъ Ламбертъ, но въ томъ только смыслѣ, что „не знаю и знать не хочу“. Но адресъ Ламберта въ настоящую минуту я уже зналъ черезъ Лизу, которую нарочно попросилъ справиться въ адресномъ столѣ. Выходка Анны Андреевны показалась мнѣ слишкомъ ужъ рѣшительною, даже циничскою: не смотря на мой отказъ содѣйствовать ей, она, какъ-бы не вѣря мнѣ ни на грошъ, прямо послала меня къ Ламберту. Мнѣ слишкомъ ясно стало, что она узнала уже все о документѣ—и отъ кого же, какъ не отъ Ламберта, къ которому потому и послала меня сговариваться?

— Рѣшительно, они всё до единого принимаютъ меня за мальчишку безъ воли и безъ характера, съ которымъ все можно сдѣлать! подумалъ я съ негодованіемъ.

II.

Тѣмъ не менѣе, я все таки пошелъ къ Ламберту. Гдѣ же было мнѣ справиться съ тогдашнимъ моимъ любопытствомъ? Ламбертъ, какъ оказалось, жилъ очень далеко, въ Косомъ переулкѣ, у Лѣтняго сада, впрочемъ, все въ тѣхъ же номерахъ; но тогда, какъ я бѣжалъ отъ него, я до того не замѣтилъ дороги и разстоянія, что, получивъ, дня четыре тому назадъ, его адресъ отъ Лизы, даже удивился и почти не повѣрилъ, что онъ тамъ живетъ. У дверей въ номера, въ третьемъ этажѣ, еще поднимаясь по лѣстницѣ, я замѣтилъ двухъ молодыхъ людей и подумалъ, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворять. Пока я поднимался, они оба, обернувшись спиной къ дверямъ, тщательно меня разсматривали. „Тутъ номера, и они конечно къ другимъ жильцамъ“, нахмурился я, подходя къ нимъ. Мнѣ было-бы очень неприятно застать у Ламберта когонибудь. Стараясь не глядѣть на нихъ, я протянулъ руку къ звонку.

— Атанде! крикнулъ мнѣ одинъ.

— Пожалуйста, подождите звонить, звонкимъ и нѣжнымъ голоскомъ и нѣсколько протягивая слова, проговорилъ другой молодой человекъ. — Мы вотъ кончимъ и тогда позвонимъ всѣ вмѣстѣ, хотите?

Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, такъ лѣтъ двадцати или двадцати двухъ; они дѣлали тутъ у дверей что-то странное, и я съ удивленіемъ старался вникнуть. Тотъ, кто крикнулъ атанде, былъ малый очень высокаго роста, вершковъ десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, съ очень небольшой, по росту, головой и съ страннымъ, какимъ-то комически мрачнымъ выраженіемъ въ нѣсколько рябомъ, но довольно неглупомъ и даже пріятномъ лицѣ. Глаза его смотрѣли какъ-то не въ мѣру пристально и съ какой-то совсѣмъ даже ненужной и излишней рѣшимостью. Онъ былъ одѣтъ очень скверно: въ старую шинель на ватѣ, съ выдѣвшимъ маленькимъ енотовымъ воротникомъ, и не по росту короткую—очевидно, съ чужаго плеча; въ скверныхъ, почти мужицкихъ сапогахъ и въ ужасно смятомъ, порыжѣвшемъ цилиндрѣ на головѣ. Въ цѣломъ видно было неряху: руки, безъ перчатокъ, были грязныя, а длинные ногти — въ траурѣ. Напротивъ, товарищъ его былъ одѣтъ щегольски, судя по легкой ильковой шубѣ, по изящной шляпѣ и по свѣтлымъ свѣжимъ перчаткамъ на тоненькихъ его пальчикахъ; ростомъ онъ былъ съ меня, но съ чрезвычайно милымъ выраженіемъ на своемъ свѣжемъ и молоденькомъ личикѣ.

Длинный паренъ стаскивалъ съ себя галстукъ — совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти ужъ тесемку, а миловидный мальчикъ, вынувъ изъ кармана другой новенькій черннй галстучекъ, только что купленный, повязывалъ его на шею длинному парню, который послушно и съ ужасно серьезнымъ лицомъ вытягивалъ свою шею, очень длинную, спустивъ шинель съ плечъ.

— Нѣтъ; это нельзя, если такая грязная рубашка, проговорилъ надѣвавшій; не только не будетъ эффекта, но покажется еще грязнѣй. Вѣдь я тебѣ сказалъ, чтобъ ты воротнички надѣлъ. Я не умѣю... вы не съумѣете? обратился онъ вдругъ ко мнѣ.

— Чего? спросилъ я.

— А вотъ, знаете, повязать ему галстукъ. Видите ли, надобно какъ нибудь такъ, чтобъ не видно было его грязной рубашки, а то пропадетъ весь эффектъ, какъ хотите. Я нарочно ему галстукъ у Филиппа парикмахера сейчасъ купилъ, за рубль.

— Это ты—тотъ рубль? пробормоталъ длинный.

— Да, тотъ; у меня теперь ни копѣйки. Такъ не умѣете? Въ такомъ случаѣ, надо будетъ попросить Альфонсинку.

— Къ Ламберту? рѣзко спросилъ меня вдругъ длинный.

— Къ Ламберту, отвѣтилъ я съ неменьшею рѣшимостью, смотря ему въ глаза.

— Dolgogowky? повторилъ онъ тѣмъ же тономъ и тѣмъ же голосомъ.

— Нѣтъ, не Коровкинъ, также рѣзко отвѣтилъ я, разслушавъ ошибочно.

— Dolgogowky?! почти прокричалъ, повторяя, длинный и надвигаясь на меня почти съ угрозой. Товарищъ его расхохотался.

— Онъ говоритъ Dolgogowky, а не Коровкинъ, пояснилъ онъ мнѣ. — Знаете, французы въ „Journal des Débats“ часто коверкаютъ русскія фамилии...

— Въ „Indépendance“, промывчалъ длинный.

— ...Ну, все равно и въ „Indépendance“. Долгорумога, напримѣръ, пишутъ Dolgogowky—я самъ читалъ, а В—ва всегда comte Wallonieff.

— Doboynu! крикнулъ длинный.

— Да, вотъ тоже есть еще какой-то Doboynu; я самъ читалъ, и мы оба смѣялись: какая-то русская М-ше Doboynu, за границей... только видишь ли, чего же всѣхъ-то поминать, обернулся онъ вдругъ къ длинному.

— Извините, вы—г. Долгорукій?

— Да, я—Долгорукой, а вы почему знаете?

Длинный вдруг шепнул что-то миловидному мальчику, тот нахмурился и сдѣлалъ отрицательный жестъ; но длинный вдругъ обратился ко мнѣ:

— *M-r le prince, vous n'avez pas de rouble d'argent pour nous, pas deux, mais un seul, voulez-vous?*

— Ахъ, какой ты скверный, крикнуть мальчикъ.

— *Nous vous rendons*, заключилъ длинный, грубо и неловко выговаривая французскія слова.

— Онъ, знаете—циникъ, усмѣхнулся мнѣ мальчикъ:—и вы думаете, что онъ не умѣетъ по французски? Онъ какъ парижанинъ говорить, а онъ только передразниваетъ русскихъ, которымъ въ обществѣ ужасно хочется вслухъ говорить между собою по французски, а сами не умѣютъ...

— *Dans les wagons*, пояснилъ длинный.

— Ну да, и въ вагонахъ: ахъ, какой ты скучный! Нечего пояснять-то. Вотъ тоже охота прикидываться дуракомъ.

Я между тѣмъ вынулъ рубль и протянулъ длинному.

— *Nous vous rendons*, проговорилъ тотъ, спряталъ рубль и, вдругъ повернувшись къ дверямъ, съ совершенно неподвижнымъ и серьезнымъ лицомъ, принялся колотить въ нихъ концомъ своего огромнаго грубаго сапога и, главное, безъ малѣйшаго раздраженія...

— Ахъ, опять ты подерешься съ Ламбертомъ! съ безпокойствомъ замѣтилъ мальчикъ.—Позвоните ужъ вы лучше!

Я позвонилъ, но длинный все таки продолжалъ колотить сапогомъ.

— *Ah, sacré...* послышался вдругъ голосъ Ламберта изъ за дверей, и онъ быстро отперъ.

— *Dites donc, voulez-vous que je vous casse la tête, mon ami!* крикнулъ онъ длинному.

— *Mon ami, voilà Dolgorowky, l'autre mon ami*, важно и серьезно проговорилъ длинный, въ упоръ смотря на покрасѣвшаго отъ злости Ламберта. Тотъ, лишь увидѣлъ меня, тотчасъ же какъ бы весь преобразился.

— Это—ты, Аркадій! Наконецъ-то! Ну, такъ ты здоровъ же, здоровъ, наконецъ?

Онъ схватилъ меня за руки, крѣпко сжимая ихъ; однимъ словомъ, онъ былъ въ такомъ искреннемъ восхищеніи, что мнѣ мигомъ стало ужасно пріятно, и я даже полюбилъ его.

— Къ тебѣ первому!

— *Alphonsine!* закричалъ Ламбертъ.

Та мигомъ выпрыгнула изъ-за ширмъ.

— *Le voilà!*

— *C'est lui!* воскликнула Альфонсина, всплеснувъ руками и, вновь распахнувъ ихъ, бросилась было меня обнимать, но Ламбертъ меня защитилъ.

— Но-но-но, тубо! крикнулъ онъ на нее, какъ на собачонку.— Видишь, Аркадій: насъ сегодня нѣсколько парней стоворились пообѣдать у татаръ. Я ужь тебя не выпущу, повѣжай съ нами. Пообѣдаемъ; я этихъ тотчасъ же въ шею—и тогда наболтаемся. Да входи, входи! Мы вѣдь сейчасъ и выходимъ, минутку только постоять...

Я вошелъ и сталъ посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламбертъ за ширмами наскоро переодѣвался. Длинный и его товарищъ прошли тоже вслѣдъ за нами, не смотря на слова Ламберта. Мы всѣ стояли.

— *M-lle Alphonsine, voulez vous me baiser?* промывчалъ длинный.

— *M-lle Alphonsine,* подвинулся было младшій, показывая ей галстучекъ, но она свирѣпо накинулась на обоихъ:

— *Ah le petit vilain!* крикнула она младшему: — *ne m'approchez pas, ne me salissez pas, et vous, le grand dadais, je vous flanque à la porte tous les deux, savez vous cela!*

Младшій, не смотря на то, что она презрительно и брезгливо отъ него отмахивалась, какъ бы, въ самомъ дѣлѣ, боясь объ него запачкаться (чего я никакъ не понималъ, потому что онъ былъ такой хорошенькій и оказался такъ хорошо одѣтъ, когда сбросилъ шубу)—младшій настойчиво сталъ просить ее повязать своему длинному другу галстукъ, а предварительно повязать ему чистые воротнички изъ Ламбертовыхъ. Та чуть не кинулась бить ихъ отъ негодованія при такомъ предложеніи, но Ламбертъ, вслушавшись, крикнулъ ей изъ-за ширмъ, чтобъ она не задерживала и сдѣлала чтò просить, „а то не отста-нуть“, прибавилъ онъ, и Альфонсина мигомъ схватила воротничекъ и стала повязывать длинному галстукъ, безъ малѣйшей уже брезгливости. Тотъ, точно такъ же, какъ на лѣстницѣ, вытянулъ передъ ней шею, пока та повязывала.

— *M-lle Alphonsine, avez vous vendu votre bologne?* спросилъ онъ.

— *Qu'est que ça, ma bologne?*

Младшій объяснилъ, что „*ma bologne*“ означаетъ болонку.

— *Tiens, quel est ce baragouin?*

— *Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales,* за-мѣтилъ *le grand dadais,* все еще съ протянутой шеей.

— Qu'est que ça qu'une dame russe sur les eaux minérales et... où est donc votre jolie montre que Lambert vous a donné—обратилась она вдругъ къ младшему.

— Какъ, опять нѣтъ часовъ? раздражительно отозвался Ламбертъ изъ-за ширмъ.

— Прошли! промывчалъ le grand dadais.

— Я ихъ продалъ за восемь рублей: вѣдь они — серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые. Этакіе теперь и въ магазинѣ—только шестнадцать рублей, отвѣтилъ младшій Ламберту, оправдываясь съ неохотой.

— Этому надо положить конецъ! еще раздражительно продолжалъ Ламбертъ.—Я вамъ, молодой мой другъ, не для того покупаю платье и даю прекрасныя вещи, чтобъ вы на вашего длиннаго друга тратили... Какой это галстукъ вы еще купили?

— Это—только рубль; это не на ваши. У него совѣмъ не было галстука, и ему надо еще купить шляпу.

— Вздоръ! уже дѣйствительно озлился Ламбертъ:—я ему достаточно далъ и на шляпу, а онъ тотчасъ устриць и шампанскаго. Отъ него пахнетъ; онъ неряха; его нельзя брать никуда. Какъ я его повезу обѣдать?

— На извожикѣ, промывчалъ dadais.—Nous avons un rouble d'argent que nous avons prêté chez notre nouvel ami.

— Не давай имъ, Аркадій, ничего! опять крикнулъ Ламбертъ.

— Позвольте, Ламбертъ; я прямо требую отъ васъ сейчасъ же десять рублей, разсердился вдругъ мальчикъ такъ, что даже весь покраснѣлъ и оттого сталъ почти вдвое лучше:—и не смѣйте никогда говорить глупостей, какъ сейчасъ Долгорукому. Я требую десять рублей, чтобъ сейчасъ отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчасъ шляпу—вотъ сами увидите.

Ламбертъ вышелъ изъ-за ширмъ:

— Вотъ три желтыхъ бумажки, три рубля, и больше ничего до самаго вторника, и не смѣть... не то..!

Le grand dadais такъ и вырвалъ у него деньги.

— Dolgorowku, вотъ рубль, nous vous rendons avec beaucoup de grâse. Петя, вѣхать! крикнулъ онъ товарищу, и затѣмъ вдругъ, поднявъ двѣ бумажки вверхъ и махая ими и въ упоръ смотря на Ламберта, завопилъ изъ всей силы:

— Ohé, Lambert! Où est Lambert, as-tu vu Lambert?

— Не смѣть, не смѣть! завопилъ и Ламбертъ въ ужаснѣйшемъ

гнѣвъ: я видѣлъ, что во всемъ этомъ было что-то прежнее, чего я не зналъ вовсе, и глядѣлъ съ удивленіемъ. Но длинный ~~дисквалло~~ не испугался Ламбертова гнѣва; напротивъ, завопилъ еще сильнѣе: *Ohé, Lambert!* и т. д. Съ этимъ крикомъ выскочилъ и на лѣстницу. Ламбертъ погнался было за ними, но, ~~сильно~~, воротился.

— Э, я ихъ скоро пр-рогою въ шею! Больше стоятъ, чѣмъ даютъ... Пойдемъ, Аркадій! Я опоздалъ. Тамъ меня ждетъ одинъ тоже... нужный человекъ... Скотина тоже... Это всё—скоты! Шу-шехга, шу-шехга! прокричалъ онъ вновь и почти срежетнулъ зубами; но вдругъ окончательно опомнился.

— Я радъ, что ты хоть наконецъ пришелъ. *Alphonsine*, ни шагу изъ дому! Идемъ.

У крыльца ждалъ его лихачь-рысакъ. Мы сѣли; но даже и во весь путь онъ все таки не могъ придти въ себя отъ какой-то ярости на этихъ молодыхъ людей и успокоиться. Я дивился, что это такъ серьезно, и тому еще, что они такъ къ Ламберту непочтительны, а онъ чуть ли даже не трусить передъ ними. Мнѣ, по вѣвшемуся въ меня старому впечатлѣнію съ дѣтства, все казалось, что всё должны бояться Ламберта, такъ что, не смотря на всю мою независимость, я навѣрно въ ту минуту и самъ трусилъ Ламберта.

— Я тебѣ говорю, это—все ужасная шушехга, не унимался Ламбертъ.—Вѣришь: этотъ высокій, мерзкій, мучилъ меня, три дня тому, въ хорошемъ обществѣ. Стоитъ передо мной и кричить: „*Ohé, Lambert!*“ Въ хорошемъ обществѣ! Всё смѣются и знаютъ, что это, чтобъ я денегъ далъ—можешь представить. Я далъ. О, это—мерзавцы! Вѣришь, онъ былъ юнкеръ въ полку и выгнанъ, и, можешь представить, онъ образованный: онъ получилъ воспитаніе въ хорошемъ домѣ, можешь представить! У него есть мысли, онъ бы могъ... Э, чортъ! И онъ силенъ, какъ Еркуль (*Herkule*). Онъ полезень, только мало. И можешь видѣть: онъ рукъ не моетъ. Я его рекомендовалъ одной госпожѣ, старой знатной барынѣ, что онъ раскаивается и хочетъ убить себя отъ совѣсти, а онъ пришелъ къ ней, сѣлъ и засвисталъ. А этотъ другой, хорошенькій—одинъ генеральскій сынъ; семейство стыдится его, я его изъ суда вытянулъ, я его спасъ, а онъ вотъ какъ платитъ. Здѣсь нѣтъ народу! Я ихъ въ шею, въ шею!

— Они знаютъ мое имя: ты имъ обо мнѣ говорилъ?

— Имѣлъ глупость. Пожалуйста, за обѣдомъ посиди, скрѣпи себя... Туда придетъ еще одна страшная каналья. Вотъ это—такъ ужъ страшная каналья, и ужасно хитеръ; здѣсь всё ракальи; здѣсь нѣтъ ни подростокъ.

одного честнаго человѣка! Ну, да мы кончимъ — и тогда... Что ты любишь кушать? Ну, да все равно, тамъ хорошо кормятъ. Я плачу, ты не безпокойся. Это хорошо, что ты хорошо одѣтъ. Я тебѣ могу дать денегъ. Всегда приходи. Представь, я ихъ здѣсь поилъ - кормилъ, каждый день кулебяка; эти часы, что онъ продалъ — это во второй разъ. Этотъ маленькій, Тришатовъ — ты видѣлъ, Альфонсина гнушается даже гладѣть на него и запрещаетъ ему подходить близко — и вдругъ онъ въ ресторанѣ, при офицерахъ: „хочу бекасовъ“. Я далъ бекасовъ! Только я отомщу.

— Помнишь, Ламбертъ, какъ мы съ тобой въ Москвѣ ѣхали въ трактиръ и ты меня въ трактиръ вилкой пырнулъ, и какъ у тебя были тогда пятьсотъ рублей?

— Да, помню! Э, чортъ, помню! Я тебя люблю... Ты этому вѣрь. Тебя никто не любитъ, а я люблю; только одинъ я, ты помни... Тотъ, что придетъ туда, рябой — это хитрѣйшая каналья; не отвѣчай ему, если заговорить, ничего, а коль начнетъ спрашивать, отвѣчай вздоръ, молчи...

По крайней мѣрѣ, онъ изъ-за своего волненія ни о чемъ меня дорогой не разспрашивалъ. Миѣ стало даже оскорбительно, что онъ такъ увѣренъ во миѣ и даже не подозреваетъ во миѣ недовѣрчивости; миѣ казалось, что въ немъ глупая мысль, что онъ миѣ смѣетъ по прежнему приказывать. „И къ тому же, онъ ужасно необразованъ“, подумалъ я, вступая въ ресторанъ.

III.

Въ этомъ ресторанѣ, въ Морской, я и прежде бывалъ, во время моего гнусенькаго паденія и разврата, а потому впечатлѣннѣе отъ этихъ комнатъ, отъ этихъ лакеевъ, приглядывавшихся ко миѣ и узнавшихъ во миѣ знакомаго посѣтителя, наконецъ, впечатлѣннѣе отъ этой загадочной компаніи друзей Ламберта, въ которой я такъ вдругъ очутился и какъ будто уже принадлежа къ ней нераздѣльно, а главное — темное предчувствіе, что я добровольно иду на какія-то гадости и несомнѣнно кончу дурнымъ дѣломъ — все это какъ бы вдругъ пронзило меня. Было мгновеніе, что я едва не ушелъ; но мгновеніе это прошло и я остался.

Тотъ „рябой“, котораго почему-то такъ боялся Ламбертъ, уже ждалъ насъ. Это былъ человѣчекъ съ одной изъ тѣхъ глупо-дѣловыхъ наружностей, которыхъ типъ я такъ ненавижу чуть-ли не съ моего дѣтства; лѣтъ сорока пяти, средняго роста, съ просѣдью, съ выбри-

тымъ до гадости лицомъ и съ маленькими правильными сѣденькими подстриженными бакенбардами, въ видѣ двухъ колбасокъ по обѣимъ щекамъ чрезвычайно плоскаго и злого лица. Разумѣется, онъ былъ скученъ, серьезенъ, неразговорчивъ, и даже, по обыкновенію всѣхъ этихъ людишекъ, почему-то надмененъ. Онъ оглядѣлъ меня очень внимательно, но не сказалъ ни слова, а Ламбертъ такъ былъ глупъ, что, сажая насъ за одинъ столъ, не счелъ нужнымъ насъ перезнакомить, и, стало быть, тотъ меня могъ принять за одного изъ сопровождавшихъ Ламберта шантаниковъ. Съ молодыми этими людьми (прибывшими почти одновременно съ нами) онъ тоже не сказалъ ничего во весь обѣдъ, но видно было однако, что знаетъ ихъ коротко. Говорилъ онъ о чемъ-то лишь съ Ламбертомъ, да и то почти шопотомъ, да и то говорилъ почти одинъ Ламбертъ, а рябой лишь отдѣлывался отрывочными, сердитыми и ультимативными словами. Онъ держалъ себя высокомерно, былъ золъ и насмѣшливъ, тогда какъ Ламбертъ, напротивъ, былъ въ большомъ возбужденіи и видимо все его уговаривалъ, вѣроятно, склоняя на какое-то предпріятіе. Разъ я протянулъ руку къ бутылкѣ съ краснымъ виномъ; рябой вдругъ взялъ бутылку хересу и подаль мнѣ, до тѣхъ поръ не сказавъ со мною ни слова:

— Попробуйте этого, сказалъ онъ, протягивая мнѣ бутылку. Тутъ я вдругъ догадался, что и ему должно уже быть извѣстно обо мнѣ все на свѣтѣ—и исторія моя, и мня мое и, можетъ быть, то, въ чемъ рассчитывалъ на меня Ламбертъ. Мысль, что онъ приметъ меня за служащаго у Ламберта, взбѣсила меня опять, а въ лицѣ Ламберта выразилось сильнѣйшее и глупѣйшее безпокойство, чуть только тотъ заговорилъ со мной. Рябой это замѣтилъ и засмѣялся. „Рѣшительно Ламбертъ отъ всѣхъ зависитъ“, подумалъ я, ненавида его въ ту минуту отъ всей души. Такимъ образомъ, мы, хотя и просидѣли весь обѣдъ за одинъ столъ, но были раздѣлены на двѣ группы: рябой съ Ламбертомъ, ближе къ окну, одинъ противъ другого, и я рядомъ съ засаленнымъ Андреевымъ, а напротивъ меня — Тришатовъ. Ламбертъ сѣвшилъ съ кушаньями, поминутно торопя слугу подавать. Когда подали шампанское, онъ вдругъ протянулъ ко мнѣ свой бокалъ:

— За твое здоровье, чокнемся! проговорилъ онъ, прерывая свой разговоръ съ рябымъ.

— А вы мнѣ позволите съ вами чокнуться? протянулъ мнѣ черезъ столъ свой бокалъ хорошенькій Тришатовъ. До шампанскаго онъ былъ какъ-то очень задумчивъ и молчаливъ. Dadais же совѣтъ ничего не говорилъ, но молчалъ и много ѣлъ.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтилъ я Тришатову. Мы чокнулись и выпили.

— А я за ваше здоровье не стану пить, обернулся ко мнѣ вдругъ *dadais*:—не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтобъ вы здѣсь сегодня больше не пили. Онъ проговорилъ мрачно и вѣско.

— Съ васъ довольно и трехъ бокаловъ. Вы, я вижу, смотрите на мой немѣтный кулакъ? продолжалъ онъ, выставляя свой кулакъ на столъ:—я его не мою и такъ немѣтнымъ и отдаю въ наемъ Ламберту для раздробленія чужихъ головъ въ щекотливыхъ для Ламберта случаяхъ. И, проговоривъ это, онъ вдругъ стукнулъ кулакомъ объ столъ съ такой силой, что подскочили всѣ тарелки и рюмки. Кромѣ насъ обѣдали въ этой комнатѣ еще на четырехъ столахъ, все офицеры и разные осанистаго вида господа. Ресторанъ этотъ модный; всѣ на мгновеніе прервали разговоры и посмотрѣли въ нашъ уголь: да, кажется, мы и давно уже возбуждали нѣкоторое любопытство. Ламбертъ весь покраснѣлъ.

— Га, онъ опять начинаетъ! Я васъ, кажется, просилъ, Николай Семеновичъ, вести себя, проговорилъ онъ яростнымъ шопотомъ Андрееву. Тотъ оглядѣлъ его длиннымъ и медленнымъ взглядомъ:

— Я не хочу, чтобъ мой новый другъ *Dolgowky* пилъ здѣсь сегодня много вина.

Ламбертъ еще пуще вспыхнулъ. Рябой прислушивался молча, но съ видимымъ удовольствіемъ. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только одинъ не понималъ, для чего бы это мнѣ не пить вина.

— Это онъ, чтобъ только получить деньги! Вы получите еще семь рублей, слышите, послѣ обѣда—только дайте пообѣдать, не срамите, проскрежеталъ ему Ламбертъ.

— Ага! побѣдоносно промичалъ *dadais*. Это уже совсѣмъ восхи- тило рябаго, и онъ злобно захихикалъ.

— Послушай, ты ужь очень... съ безпокойствомъ и почти съ страданіемъ проговорилъ своему другу Тришатовъ, видимо, желая сдержать его. Андреевъ замолкъ, но не надолго; не таковъ былъ расчетъ его. Отъ насъ черезъ столъ, шагахъ въ пяти, обѣдали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливаго вида среднихъ лѣтъ господа. Одинъ высокій и очень толстый, другой—тоже очень толстый, но маленькій. Говорили они по польски о теперешнихъ парижскихъ событіяхъ. *Dadais* уже давно на нихъ любопытно поглядывалъ и прислушивался. Маленькій полякъ, очевидно, показался ему фигурой комическою, и онъ тотчасъ возненавидѣлъ его по примѣру

всѣхъ желчныхъ и печеночныхъ людей, у которыхъ это всегда вдругъ происходитъ безо всякаго даже повода. Вдругъ маленькій полякъ произнесъ имя депутата Мадье де-Монжд, но по привычкѣ очень многихъ поляковъ, выговорилъ его по польски, то есть съ удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ и вышло не Мадье де-Монжд, а Мадье де-Монжо. Того только и надо было *da-da-is*. Онъ повернулся къ полякамъ и, важно выпрямившись, раздѣльно и громко, вдругъ произнесъ какъ бы обращаясь съ вопросомъ;

— Мадье де-Монжд?

Поляки свирѣпо обернулись къ нему.

— Чтò вамъ надо? грозно крикнулъ большой толстый полякъ по русски. *Da-da-is* выждаль:

— Мадье де-Монжд? повторилъ онъ вдругъ опять на всю залу, не давая болѣе никакихъ объясненій, точно такъ же какъ давеча глупо повторялъ мнѣ у двери, надвигаясь на меня: *Dolgo-gowku?* Поляки вскочили съ мѣста, Ламбертъ выскочилъ изъ-за стола, бросился было къ Андрееву, но, оставивъ его, подскочилъ къ полякамъ и принялся униженно извиняться передъ ними.

— Это—шуты, пане, это—шуты! презрительно повторялъ маленький полякъ, весь красный, какъ морковь, отъ негодованія. Скоро нельзя будетъ приходить!—Въ залѣ тоже зашевелились, тоже раздавался ропотъ, но больше смѣхъ.

— Выходите... пожалуйста... пойдите! бормоталъ, совсѣмъ потерявшись, Ламбертъ, усиливаясь какъ нибудь вывести Андреева изъ комнаты. Тотъ, пытливо обозрѣвъ Ламберта и догадавшись, что онъ уже теперь дастъ денегъ, согласился за нимъ послѣдовать. Вѣроятно, онъ уже не разъ подобнымъ безстыднымъ приемомъ выбивалъ изъ Ламберта деньги. Тришатовъ хотѣлъ было тоже побѣжать за ними, но посмотрѣлъ на меня и остался.

— Ахъ, какъ скверно! проговорилъ онъ, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками.

— Скверно очень-съ, процепталъ на этотъ разъ уже съ разозленнымъ видомъ рабой. Между тѣмъ, Ламбертъ возвратился почти совсѣмъ блѣдный и что то оживленно жестикулируя, началъ шептать рабому. Тотъ, между тѣмъ, приказалъ лакею поскорѣй подавать кофе; онъ слушалъ брезгливо; ему, видимо, хотѣлось поскорѣй уйти. И, однако, вся исторія была простымъ лишь школьничествомъ. Тришатовъ съ чашкою кофе перешелъ съ своего мѣста ко мнѣ и сѣлъ со мною рядомъ.

— Я его очень люблю, началъ онъ мнѣ съ такимъ откровеннымъ видомъ, какъ будто всегда со мной объ этомъ говорилъ.

— Вы не повѣрите, какъ Андреевъ несчастенъ. Онъ провѣлъ и пропилъ приданое своей сестры, да и все у нихъ провѣлъ и пропилъ въ тотъ годъ, какъ служилъ, и я вижу, что онъ теперь мучается. А что онъ не моется—это онъ съ отчаянія. И у него ужасно странныя мысли: онъ вамъ вдругъ говоритъ, что и подлець, и честный—это все одно и нѣтъ разницы: и что не надо ничего дѣлать, ни добраго, ни дурнаго, или все равно—можно дѣлать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по мѣсяцу, пить, да ѣсть, да спать—и только. Но повѣрите, что это онъ—только такъ. И знаете, я даже думаю, онъ это теперь потому накуралесилъ, что захотѣлъ со-всѣмъ покончить съ Ламбертомъ. Онъ еще вчера говорилъ. Вѣрите-ли, онъ иногда ночью или когда одинъ долго сидитъ, то начинаетъ пла-кать, и знаете, когда онъ плачетъ, то какъ-то особенно, какъ никто не плачетъ; онъ зареветъ, ужасно зареветъ, и это, знаете, еще жалче... И къ тому же, такой большой и сильный и вдругъ—такъ совсѣмъ зареветъ. Какой бѣдный, не правда-ли? Я его хочу спасти, а самъ я—такой скверный, потерянный мальчишка, вы не повѣрите! Пустите вы меня къ себѣ, Долгорукій, если я къ вамъ когда приду?

— О, приходите, я васъ даже люблю.

— За чтѣ же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокаль. Впрочемъ, чтожь я? Вы лучше не пейте. Это онъ вамъ правду ска-залъ, что вамъ нельзя больше пить, мигнулъ онъ мнѣ вдругъ значи-тельно—а я все таки выпью. Мнѣ ужъ теперь ничего, а я, вѣрите ли, ни въ чемъ себя удержать не могу. Вотъ скажите мнѣ, что мнѣ ужъ больше не обѣдать по ресторанамъ, и я на все готовъ, чтобы только обѣдать. О, мы искренно хотимъ быть честными, увѣряю васъ, но только мы все откладываемъ,

А годы идутъ—и все лучшіе годы!

А онъ, я ужасно боюсь,—повѣсится. Пойдетъ и никому не скажетъ. Онъ такой. Нынче всѣ вѣшаютъ; почему знать—можетъ, много та-кихъ, какъ мы? Я, напримѣръ, никакъ не могу жить безъ лишннихъ денегъ. Мнѣ лишніа гораздо важнѣе, чѣмъ необходимыа. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вамъ сыграю что нибудь, когда къ вамъ приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Еслибъ я сочинялъ оперу, то знаете, я бы взялъ сюжетъ изъ Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все со-здаю сцену въ соборѣ, такъ, въ головѣ только воображаю. Готическій

соборъ, внутренность, хоры, гимны, входитъ Гретхенъ, и знаете—хоры средневѣковне, чтобъ такъ и слышался пятнадцатый вѣкъ. Гретхенъ въ тоскѣ, сначала речитативъ, тихій, но ужасный, мучительный, а хоры гремятъ мрачно, строго, безучастно

Dies irae, dies illa!

И вдругъ—голосъ дьявола, пѣсня дьявола. Онъ невидимъ, одна лишь пѣсня, рядомъ съ гимнами, вмѣстѣ съ гимнами, почти совпадаетъ съ ними, а между тѣмъ, совсѣмъ другое—какъ нибудь такъ это сдѣлать. Пѣсня длинная, неустанная, это—теноръ, непременно теноръ. Начинаетъ тихо, нѣжно: „Помнишь, Гретхенъ, какъ ты, еще невинная, еще ребенкомъ, приходила съ твоей мамой въ этотъ соборъ и лепетала молитвы по старой книгѣ?“ Но пѣсня все сильнѣе, все страстнѣе, стремительнѣе; ноты выше: въ нихъ слезы, тоска, безустанная, безвыходная, и, наконецъ, отчаяніе: „Нѣтъ прощенія, Гретхенъ, нѣтъ здѣсь тебѣ прощенія!“ Гретхенъ хочетъ молиться, но изъ груди ея рвутся лишь крики—знаете, когда судорога отъ слезъ въ груди—а пѣсня сатаны все не умолкаетъ, все глубже вонзается въ душу, какъ остріе, все выше—и вдругъ обрывается почти крикомъ: „Конецъ всему, проклята!“ Гретхенъ падаетъ на колѣна, сжимаетъ передъ собой руки—и вотъ тутъ ея молитва, что нибудь очень краткое, полуречитативъ, но наивное, безо всякой отдѣлки, что нибудь въ высшей степени средневѣковое, четыре стиха, всего только четыре стиха—у Страделлы есть нѣсколько такихъ нотъ—и съ послѣдней нотой обморокъ! Смятеніе. Ее поднимаютъ, несутъ—и тутъ вдругъ громовый хоръ. Это—какъ бы ударъ голосовъ, хоръ вдохновенный, побѣдоносный, подавляющій, что нибудь въ родѣ нашего Дори-но-си-ма чин-ми—такъ, чтобъ все потряслось на основаніяхъ, и все переходитъ въ восторженный, ликующій всеобщій возгласъ: *Hossanna!*—Какъ-бы крикъ всей вселенной, а ее несутъ-несутъ, и вотъ тутъ опустить занавѣсъ! Нѣтъ, знаете, еслибъ я могъ, я-бы что нибудь сдѣлалъ! Только я ничего ужъ теперь не могу, а только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю; вся моя жизнь обратилась въ одну мечту, я и ночью мечтаю. Ахъ, Долгорукій, читали вы Диккенса „Лавку Древностей“?

— Читалъ; что же?

— Помните вы... Постойте, я еще бокаль выпью—помните вы тамъ одно мѣсто въ концѣ, когда они—сбумасшедшій этотъ старикъ и эта прелестная тринадцатилѣтняя дѣвочка, внучка его, послѣ фантастическаго ихъ бѣгства и странствій, пріютились, наконецъ, гдѣ-то на краю Англіи, близъ какого-то готическаго средневѣковаго собора, и эта

дѣвочка какую-то тутъ должность получила, соборъ посѣтителѣмъ показывала... И вотъ разъ закатывается солнце, и этотъ ребенокъ на паперти собора, вся облитая послѣдними лучами, стоитъ и смотритъ на закатъ съ тихимъ задумчивымъ созерцаніемъ въ дѣтской душѣ, удивленной душѣ, какъ будто передъ какой-то загадкой, потому что и то, и другое, вѣдь какъ загадка—солнце, какъ мысль Божія, а соборъ, какъ мысль человѣческая... не правда-ли? Охъ, я не умѣю это выразить, но только Богъ такія первыя мысли отъ дѣтей любитъ... А тутъ, подлѣ нея, на ступенькахъ, сумасшедшій этотъ старикъ-дѣдъ глядитъ на нее остановившимся взглядомъ... Знаете, тутъ нѣтъ ничего такого, въ этой картинѣ у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы въ вѣкъ не забудете, и это осталось во всей Европѣ—отъ чего? Вотъ прекрасное! Тутъ невинность! Э, я не знаю, что тутъ, только хорошо. Я все въ гимназіи романы читалъ. Знаете, у меня сестра въ деревнѣ, только годомъ старше меня... О, теперь тамъ уже все продано и уже нѣтъ деревни! Мы сидѣли съ ней на террасѣ, подъ нашими старыми лицами, и читали этотъ романъ, и солнце тоже закатывалось, и вдругъ мы перестали читать и сказали другъ другу, что и мы будемъ также добрыми, что и мы будемъ прекрасными—я тогда въ университетъ готовился и... Ахъ, Долгорукій, знаете, у каждого есть свои воспоминанія!...

И вдругъ онъ склонилъ свою хорошенькую головку мнѣ на плечо и—заплакалъ. Мнѣ стало очень, очень его жалко. Правда, онъ выпилъ много вина, но онъ такъ искренно и такъ братски со мной говорилъ и съ такимъ чувствомъ... Вдругъ, въ это мгновеніе, съ улицы раздался крикъ и сильные удары пальцами къ намъ въ окно (тутъ окна цѣльныя, большія и въ первомъ нижнемъ этажѣ, такъ что можно стучать пальцами съ улицы). Это былъ выведенный Андреевъ.

— Ohé, Lambert! Où est Lambert? As tu vu Lambert? раздался дикій крикъ его съ улицы.

— Ахъ, да онъ вѣдь здѣсь! Такъ онъ не ушелъ? воскликнулъ, срываясь съ мѣста, мой мальчикъ.

— Счетъ! проскрежеталъ Ламбертъ прислугѣ. У него даже руки тряслись отъ злости, когда онъ сталъ расчитываться, но рабой не позволилъ ему за себя заплатить.

— Почему же? Вѣдь я васъ приглашалъ, вы приняли приглашеніе?

— Нѣтъ, ужъ повольте—вынулъ свой портмоне рабой и, считавъ свою долю, уплатилъ себѣ.

— Вы меня обижаете, Семень Сидоровичъ!

— Такъ ужъ я хочу-съ, стрѣзаль Семенъ Сидоровичъ и, взявъ шляпу, не простившись ни съ кѣмъ, пошелъ одинъ изъ залы. Ламбертъ бросилъ деньги слугѣ и торопливо выбѣжалъ вслѣдъ за нимъ, даже позабывъ въ своемъ смущеніи обо мнѣ. Мы съ Тришатовымъ вышли послѣ всѣхъ. Андреевъ какъ верста стоялъ у подѣзда и ждалъ Тришатова.

— Негодяй! не утерпѣлъ-было Ламбертъ.

— Но-но! рыкнулъ на него Андреевъ и однимъ взмахомъ руки сбиль съ него круглую шляпу, которая покатила по тротуару. Ламбертъ униженно бросился поднимать ее.

— *Vingt cinq roubles!* указалъ Андреевъ Тришатову на кредитку, которую еще давеча сорвалъ съ Ламберта.

— Полно, крикнулъ ему Тришатовъ.— Чего ты все буянишь... И за чтѣ ты содралъ съ него двадцать пять? Съ него только семь слѣдовало.

— За чтѣ содралъ? Онъ общалъ обѣдать отдѣльно, съ аѳинскими женщинами, а вмѣсто женщинъ подаль рабаго, и, кромѣ того, я не доѣлъ и промерзъ на морозѣ непремѣнно на восемнадцать рублей. Семь рублей за нимъ оставалось—вотъ тебѣ ровно и двадцать пять.

— Убир-райтесь къ чорту оба! завонилъ Ламбертъ:—я васъ прогоняю обоихъ, и я васъ въ бараній рогъ...

— Ламбертъ, я васъ прогоняю, и я васъ въ бараній рогъ! крикнулъ Андреевъ.— *Adieu, mon prince*, не пейте больше вина! Петья, маршъ! *Ohé Lambert! Ou est Lambert As tu vu Lambert?* равкнулъ онъ въ послѣдній разъ, удаляясь огромными шагами.

— Такъ я приду къ вамъ, можно? пролепеталъ мнѣ наскоро Тришатовъ, спѣша за своимъ другомъ.

Мы остались одни съ Ламбертомъ.

— Ну... пойдёмъ! выговорилъ онъ, какъ бы съ трудомъ перевода дыханіе и какъ бы даже ошалѣвъ.

— Куда я пойду? Нигуда я съ тобой не пойду! поспѣшилъ я крикнуть съ вызовомъ.

— Какъ не пойдешь? пугливо вострепенулся онъ, очнувшись разомъ.— Да я только и ждалъ, что мы одни останемся!

— Да куда идти-то? Признаюсь, у меня тоже капельку звенѣло въ головѣ отъ трехъ бокаловъ и двухъ рюмокъ хересу.

— Сюда, вотъ сюда, видишь?

— Да тутъ свѣжія устрицы, видишь, написано. Тутъ такъ свѣрсно пахнетъ...

— Это потому, что ты послѣ обѣда, а это—милютинская лавка; мы устрицъ ѣсть не будемъ, а я тебѣ дамъ шампанскаго...

— Не хочу! Ты меня опять хочешь.

— Это тебѣ они сказали; они надъ тобой смѣялись. Ты вѣришь мерзавцамъ!

— Нѣтъ, Тришатовъ—не мерзавецъ. А я и самъ умѣю быть осторожнымъ—вотъ что!

— Что, у тебя есть свой характеръ?

— Да, у меня есть характеръ, побольше, чѣмъ у тебя, потому что ты въ рабствѣ у перваго встрѣчнаго. Ты насъ осрамилъ, ты у поляковъ, какъ лакей, прощенія просилъ. Знать, тебя часто били въ трактирахъ?

— Да вѣдь намъ надо же говорить, духагъ! вскричалъ онъ съ тѣмъ презрительнымъ нетерпѣннѣмъ, которое чуть не говорило: „И ты туда же?“—Да ты боишься, что ли? Другъ ты мнѣ или нѣтъ?

— Я—тебѣ не другъ, а ты—мошенникъ. Пойдемъ, чтобъ только доказать тебѣ, что я тебя не боюсь. Ахъ, какъ скверно пахнетъ, сыромъ пахнетъ! Экая гадость!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Я еще разъ прошу вспомнить, что у меня нѣсколько звенѣло въ головѣ; еслибъ не это, я бы говорилъ и поступалъ иначе. Въ этой лавкѣ, въ задней комнатѣ, дѣйствительно, можно было ѣсть устрицы. и мы усѣлись за накрытый скверной, грязной скатертью столикъ. Ламбертъ приказалъ подать шампанскаго; бокалъ съ холоднымъ золотого цвѣта виномъ очутился предо мною и соблазнительно глядѣлъ на меня; но мнѣ было досадно.

— Видишь, Ламбертъ, мнѣ, главное, обидно, что ты думаешь, что можешь мнѣ и теперь повелѣвать, какъ у Тушара, тогда какъ ты у всѣхъ здѣшнихъ самъ въ рабствѣ.

— Духагъ! Э, чокнемся!

— Ты даже и притворяться не удостоиваешь передо мной; хоть бы скрывалъ, что хочешь меня опять.

— Ты врешь и ты пьянь. Надо еще пить, и будешь веселѣе. Бери же бокалъ, бери же!

— Да что за бери же? Я уйду, вотъ и кончено.

И я, дѣйствительно, было привсталъ. Онъ ужасно разсердился:

— Это тебѣ Тришатовъ нащепталъ на меня: я видѣлъ—вы тамъ шептались. Ты—духагъ послѣ этого. Альфонсина такъ даже гну-

шается, что онъ къ ней подходитъ близко... Онъ мерзкій. Это я тебѣ расскажу, какой онъ.

— Ты это ужъ говорилъ. У тебя все—одна Альфонси́на; ты ужасно узокъ.

— Узокъ? не понималъ онъ:—они теперь перешли къ рябому. Вотъ что! Вотъ почему я ихъ прогналъ.—Они безчестныя. Этого рябой злодѣй и ихъ развратить. А я требовалъ, чтобы они всегда вели себя благородно.

Я съѣлъ, какъ-то машинально взявъ бокаль и отпилъ глотокъ.

— Я несравненно выше тебя по образованію, сказалъ я. Но онъ ужъ слишкомъ былъ радъ, что я съѣлъ, и тотчасъ подлил мнѣ еще вина.

— А вѣдь ты ихъ боишься? продолжалъ я дразнить его (и ужъ навѣрно былъ тогда гаже его самого).—Андреевъ сбиль съ тебя шляпу, а ты ему двадцать пять рублей за то далъ.

— Я далъ, но онъ мнѣ заплатитъ. Они бунтуются, но я ихъ сверну...

— Тебя очень волнуетъ рябой. А знаешь, мнѣ кажется, что я только одинъ у тебя теперь и остался. Всѣ твои надежды только во мнѣ одномъ теперь заключаются—а?

— Да, Аркаша, это—такъ: ты одинъ мнѣ другъ и остался; вотъ это хорошо ты сказалъ! хлопнулъ онъ меня по плечу.

Что было дѣлать съ такимъ грубымъ человѣкомъ; онъ былъ совершенно неразвитъ и насмѣшку принялъ за похвалу.

— Ты бы могъ меня избавить отъ худыхъ вещей, еслибъ былъ добрый товарищъ, Аркадій, продолжалъ онъ, ласково смотря на меня.

— Чѣмъ бы я могъ тебя избавить?

— Самъ знаешь—чѣмъ. Ты безъ меня, какъ духгакъ, и навѣрно будешь глупъ, а я бы тебѣ далъ тридцать тысячъ, и мы бы взяли пополамъ, и ты самъ знаешь—какъ. Ну, кто ты такой, посмотри: у тебя ничего нѣтъ—ни имени, ни фамиліи, а тутъ сразу кушь; а имѣя такія деньги, можешь знаешь какъ начать карьеру!

Я просто удивился на такой пріемъ. Я рѣшительно предполагалъ, что онъ будетъ хитрить, а онъ со мной такъ прямо, такъ по мальчишнически прямо началъ. Я рѣшился слушать его изъ широкости и... изъ ужаснаго любопытства.

— Видишь, Ламбертъ: ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широкъ, твердо заявиль я и опять хлебнулъ изъ бокала. Ламбертъ тотчасъ подлилъ.

— Вотъ что, Аркадій: еслибы мнѣ осмѣлился такой, какъ Бю-

рингъ, наговорить ругательствъ и ударить при дамѣ, которую я обожая, то я-бъ и не знаю что сдѣлалъ! А ты стерпѣлъ и я гнушаюсь тобой: ты—тряпка!

— Какъ ты смѣешь сказать, что меня ударилъ Бьорингъ! вскричалъ я, краснѣя:—это я его скорѣе ударилъ, а не онъ меня.

— Нѣтъ, это онъ тебя ударилъ, а не ты его.

— Врешь, еще я ему ногу отдалъ!

— Но онъ тебя отбилъ рукой и велѣлъ лакеямъ тащить... а она сидѣла и глядѣла изъ кареты и смѣялась на тебя, она знаетъ, что у тебя нѣтъ отца и что тебя можно обидѣть.

— Я не знаю, Ламбертъ, между нами мальчишническій разговоръ, котораго я стыжусь. Ты это чтобъ раздражить меня, и такъ грубо и открыто, какъ съ шестнадцатилѣтнимъ какимъ-то. Ты сговорился съ Анной Андреевной! вскричалъ я, дрожа отъ злости и машинально все хлебая вино.

— Анна Андреевна—шельма! Она надуетъ и тебя, и меня, и весь свѣтъ! Я тебя ждалъ, потому что ты лучше можешь докончить съ той.

— Съ какой той?

— Съ m-me Ахмаковой. Я все знаю. Ты мнѣ самъ сказалъ, что она того письма, которое у тебя, боится...

— Какое письмо... врешь ты... Ты видѣлъ ее? бормоталъ я въ смущеніи.

— Я ее видѣлъ. Она хороша собой. Très belle; и у тебя вкусъ.

— Знаю, что ты видѣлъ; только ты съ нею не смѣлъ говорить, и я хочу, чтобы и объ ней ты не смѣлъ говорить.

— Ты еще маленькій, а она надъ тобою смѣется — вотъ что! У насъ была одна такая добродѣтель въ Москвѣ: ухъ, какъ носъ подымала! а затрепетала, когда пригрозили, что все расскажемъ, и тотчасъ послушалась; а мы взяли и то, и другое: и деньги, и то—понимаешь что? Теперь она опять въ свѣтъ недоступная — фу, ты, чортъ, какъ высоко летаетъ, и карета какая, о коли-бъ ты видѣлъ, въ какомъ это было чуланѣ! Ты еще не жилъ; еслибъ ты зналъ, какихъ чулановъ онѣ не побоятся...

— Я это думалъ, пробормоталъ я неудержимо.

— Онѣ развращены до конца ногтей; ты не знаешь, на что онѣ способны! Альфонсина жила въ одномъ такомъ домѣ, такъ она гнушалась.

— Я объ этомъ думалъ, подтвердилъ я опять.

— А тебя бьютъ, а ты жалѣешь...

— Ламбертъ, ты — мерзавецъ, ты — проклятый! вскричалъ я, вдругъ какъ-то сообразивъ и затрепетавъ. — Я видѣлъ все это во снѣ, ты стоялъ и Анна Андреевна... О, ты — проклятый! Неужели ты думаешь, что я — такой подлецъ? Я вѣдь и видѣлъ потому во снѣ, что такъ и зналъ, что ты это скажешь. И, наконецъ, все это не можетъ быть такъ просто, чтобъ ты мнѣ про все это такъ прямо и просто говорилъ!

— Ишь разсердился! Те-те-те! протянулъ Ламбертъ, смѣясь и торжествуя. — Ну, братъ, Аркашка, теперь я все узналъ, что мнѣ надо. Для того-то и ждалъ тебя. Слушай, ты, стало быть, ее любишь, а Бьорингу отомстить хочешь — вотъ что мнѣ надо было узнать. Я все время это такъ и подозрѣвалъ, когда тебя здѣсь ждалъ. *Sesі rose, cela change la question.* И тѣмъ лучше, потому что она сама тебя любить. Такъ ты и женись, ни мало не медля, это лучше. Да иначе и нельзя тебѣ, ты на самомъ вѣрномъ остановился. А затѣмъ знай, Аркадій, что у тебя есть другъ, это я, котораго ты можешь верхомъ осѣдлатъ. Вотъ этотъ другъ тебѣ и поможетъ, и женить тебя: изъ подъ земли все достану, Аркаша! А ты ужь подари за то потомъ старому товарищу тридцать тысячекъ за труды, а? А я помогу, не сомнѣвайся. Я во всѣхъ этихъ дѣлахъ всѣ тонкости знаю, и тебѣ все приданое дадутъ, и ты — богатъ съ карьерой!

У меня — хоть и кружилась голова, но я съ изумленіемъ смотрѣлъ на Ламберта. Онъ былъ серьезенъ, то есть, не то что серьезенъ, но въ возможность женить меня, я видѣлъ ясно, онъ и самъ совсѣмъ вѣрилъ и даже принималъ идею съ восторгомъ. Разумѣется, я видѣлъ тоже, что онъ ловитъ меня, какъ мальчишку (навѣрное — видѣлъ тогда же); но мысль о бракѣ съ нею до того пронзила меня всего, что я, хоть и удивлялся на Ламберта, какъ это онъ можетъ вѣрить въ такую фантазію, но въ то же время самъ стремительно въ нее увѣровалъ, ни на мигъ не утрачивая, однако, сознанія, что это, конечно, ни за что не можетъ осуществиться. Какъ-то все это уложилось вмѣстѣ.

— Да развѣ это возможно? пролепеталъ я.

— Зачѣмъ нѣтъ? Ты ей покажешь документъ — она струситъ и пойдетъ за тебя, чтобы не потерять деньги.

Я рѣшился не останавливать Ламберта на его подлостяхъ, потому что онъ до того простодушно выкладывалъ ихъ предо мной, что даже и не подозрѣвалъ, что я вдругъ могу возмутиться; но я промямлилъ, однако, что не хотѣлъ бы жениться только силой.

— Я ни за что не захочу силой; какъ ты можешь быть такъ подлъ, чтобы предположить во мнѣ это?

— Эвона! Да она сама пойдетъ: это—не ты, а она сама испугается и пойдетъ. А пойдетъ она еще потому, что тебя любить, спохватилса Ламбертъ.

— Ты это врешь. Ты надо мной смѣешься. Почему ты знаешь, что она меня любитъ?

— Непремѣнно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагаетъ. Это я тебѣ серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагаетъ. И потомъ еще я расскажу тебѣ, когда придешь ко мнѣ, одну вещь, и ты увидишь, что любить. Альфонсина была въ Царскомъ; она тамъ тоже узнавала...

— Чтожь она тамъ могла узнать?

— А вотъ поидемъ ко мнѣ: она тебѣ расскажетъ сама, и тебѣ будетъ пріятно. Да и чѣмъ ты хуже кого? Ты красивъ, ты воспитанъ...

— Да, я воспитанъ, прощенталъ я, едва переводя духъ. Сердце мое колотилось и, конечно, не отъ одного вина.

— Ты красивъ, ты одѣтъ хорошо.

— Да, я одѣтъ хорошо.

— И ты добрый...

— Да, я добрый.

— Почему же ей не согласиться? А Бьорингъ все таки не возьметъ безъ денегъ, а ты можешь ее лишить денегъ—вотъ она и испугается, ты женишься и тѣмъ отмстишь Бьорингу. Вѣдь ты мнѣ самъ тогда въ ту ночь говорилъ, послѣ морозу, что она въ тебя влюблена.

— Я тебѣ это развѣ говорилъ? Я, вѣрно, не такъ говорилъ.

— Нѣтъ, такъ.

— Это я въ бреду. Вѣрно, я тебѣ тогда и про документъ сказалъ?

— Да, ты сказалъ, что у тебя есть такое письмо; я и подумалъ: какъ же онъ, коли есть такое письмо, свое теряетъ?

— Это все фантазія, и я вовсе не такъ глупъ, чтобы этому повѣрить, бормоталъ я.—Во первыхъ, разница въ лѣтахъ, а во вторыхъ, у меня нѣтъ никакой фамиліи.

— Да ужъ пойдетъ; нельзя не пойти, когда столько денегъ пропадетъ—это я устрою. А къ тому жъ, тебя любить. Ты знаешь, этотъ старый князь къ тебѣ совсѣмъ расположенъ; ты чрезъ его покровительство знаешь какія связи можешь завязать; а что до того, что у тебя нѣтъ фамиліи, такъ нынче этого ничего не надо: разъ ты тѣнешь деньги—и пойдешь, и пойдешь и чрезъ десять лѣтъ будешь такимъ миллионеромъ, что вся Россія затрещитъ, такъ какое тебѣ тогда надо имя? Въ Австріи

можно барона купить. А какъ женишься, тогда въ руки возьми. Надо ихъ хорошенько. Женщина, если полюбить, то любить, чтобы ее въ кулакѣ держать. Женщина любитъ въ мужчинѣ характеръ. А ты какъ испугаешь ее письмомъ, то съ того часа и покажешь ей характеръ. „А, скажешь, онъ такой молодой, а у него есть характеръ“.

Я сидѣлъ, какъ опалѣннй. Ни съ кѣмъ другимъ никогда я-бы не упалъ до такого глупаго разговора. Но тутъ какая-то сладостная жажда тянула вести его. Къ тому же, Ламбертъ былъ такъ глупъ и подлъ, что стыдиться его нельзя было.

— Нѣтъ, знаешь, Ламбертъ, вдругъ сказалъ я: — какъ хочешь, а тутъ много вздору; я потому съ тобой говорилъ, что мы—товарищи и намъ нечего стыдиться; но съ другимъ я бы ни за что не унизился. И, главное, почему ты такъ утверждаешь, что она меня любитъ? Это ты хорошо сейчасъ сказалъ про капиталъ; но видишь, Ламбертъ, ты не знаешь высшаго свѣта: у нихъ все это на самыхъ патриархальныхъ, родовыхъ, такъ сказать, отношеніяхъ, такъ что теперь, пока она еще не знаетъ моихъ способностей и до чего я въ жизни могу достигнуть—ей все таки теперь будетъ стыдно. Но я не скрою отъ тебя, Ламбертъ, что тутъ, дѣйствительно, есть одинъ пунктъ, который можетъ подать надежду. Видишь: она можетъ за меня выйти изъ благодарности, потому что я ее избавлю тогда отъ ненависти одного человѣка. А она то боится, этого человѣка.

— Ахъ, ты это про твоего отца? А что, онъ очень ее любить? съ необыкновеннымъ любовитствомъ вострепнулся вдругъ Ламбертъ.

— О, нѣтъ! вскричалъ я:—и какъ ты страшенъ и въ то же время глупъ, Ламбертъ! Ну могъ-ли бы я, еслибъ онъ любилъ ее, хотѣть тутъ жениться? Вѣдь, все таки—сынъ и отецъ, это вѣдь ужъ стыдно будетъ. Онъ маму любить, маму, и я видѣлъ, какъ онъ обнималъ ее, и я прежде самъ думалъ, что онъ любить Катерину Николаевну, но теперь узналъ ясно, что онъ, можетъ, ее когда-то любилъ, но теперь давно ненавидитъ... и хочетъ мстить, и она боится, потому что я тебѣ скажу, Ламбертъ, онъ ужасно страшенъ, когда начнетъ мстить. Онъ почти съумасшедшимъ становится. Онъ, когда на нее злится, то на все лѣзетъ. Это вражда въ старомъ родѣ изъ-за возвышенныхъ принциповъ. Въ наше время — наплевать на всѣ общіе принципы; въ наше время не общіе принципы, а одни только частные случаи. Ахъ, Ламбертъ, ты ничего не понимаешь: ты глупъ, какъ палецъ; я говорю тебѣ теперь объ этихъ принципахъ, а ты вѣрно ничего не понимаешь. Ты

ужасно необразованъ. Помнишь, ты меня билъ? Я теперь сильнѣе тебя— знаешь ты это?

— Арканка, пойдемъ ко мнѣ! Мы просидимъ вечеръ и выпьемъ еще одну бутылку, а Альфонсина споетъ съ гитарой.

— Нѣтъ, не пойду. Слушай, Ламбертъ, у меня есть „идея“. Если не удастся и не женюсь, то я уйду въ идею; а у тебя нѣтъ идеи.

— Хорошо, хорошо, ты расскажешь, пойдемъ.

— Не пойду! всталъ я:—не хочу и не пойду. Я къ тебѣ приду, но ты — подлецъ. Я тебѣ дамъ тридцать тысячъ — пусть, но я тебя чище и выше... Я вѣдь вижу, что ты меня обмануть во всемъ хочешь. А объ ней я запрещаю тебѣ даже и думать: она выше всѣхъ, и твои планы—это такая низость, что я даже удивляюсь тебѣ, Ламбертъ. Я жениться хочу—это дѣло другое, но мнѣ не надобенъ капиталъ, я презираю капиталъ. Я самъ не возьму, еслибъ она дала мнѣ свой капиталъ на колѣняхъ... А жениться, жениться, это — дѣло другое. И знаешь, это ты хорошо сказала, чтобы въ кулакѣ держать. Любить, страстно любить, со всѣмъ великодушіемъ, какое въ мужчинѣ и какого никогда не можетъ быть въ женщинѣ, но и деспотировать—это хорошо. Потому что, знаешь что, Ламбертъ—женщина любитъ деспотизмъ. Ты, Ламбертъ, женщину знаешь. Но ты удивительно глупъ во всемъ остальномъ. И, знаешь, Ламбертъ, ты не совсѣмъ такой мерзкій, какъ кажешься, ты—простой. Я тебя люблю. Ахъ, Ламбертъ, зачѣмъ ты такой плутъ? Тогда-бы мы такъ весело стали жить! Знаешь, Тришатовъ — милый.

Всѣ эти послѣднія безсвязныя фразы я пролепеталъ уже на улицѣ. О, я все это припоминаю до мелочи, чтобы читатель видѣлъ, что при всѣхъ восторгахъ и при всѣхъ клятвахъ и обѣщаніяхъ возродиться къ лучшему и искать благообразія, я могъ тогда такъ легко упасть и въ такую грязь! И клянусь, еслибъ я не увѣренъ былъ вполне и совершенно, что теперь я уже совсѣмъ не тотъ, и что уже выработалъ себѣ характеръ практическою жизнью, то я-бы ни за что не признался во всемъ этомъ читателю.

Мы вышли изъ лавки, и Ламбертъ меня поддерживалъ, слегка обнявши рукой. Вдругъ я посмотрѣлъ на него и увидѣлъ почти то же самое выраженіе его пристального, разглядывающаго, страшно внимательнаго и въ высшей степени трезваго взгляда, какъ и тогда, въ то утро, когда я замерзалъ и когда онъ велъ меня, точно также обнявъ рукой, къ извознику и вслушивался, и ушами и глазами, въ мой безсвязный лепетъ. У пьянящихся людей, но еще не опьянѣвшихъ совсѣмъ, бывають вдругъ мгновенія самаго полного отрезвленія.

— Ни за что къ тебѣ не пойду! твердо и связно проговорилъ я, насмѣшливо смотря на него и отстраняя его рукой.

— Ну, полно, я велю Альфонсинѣ чаю, полно!

Онъ ужасно былъ увѣренъ, что я не вырвусь; онъ обнималъ и придерживалъ меня съ наслажденіемъ, какъ жертвочку, а ужъ я-то, конечно, былъ ему нуженъ, именно въ тотъ вечеръ и въ такомъ состояніи! Потому это все объяснится—зачѣмъ.

— Не пойду! повторилъ я:—извозчикъ!

Какъ разъ подскочилъ извозчикъ, и я прыгнулъ въ сани.

— Куда ты? Что ты! завопилъ Ламбертъ, въ ужаснѣйшемъ страхѣ, хватая меня за шубу.

— И не смѣй за мной! вскричалъ я:—не догоняй. Въ этотъ мигъ какъ-разъ тронулъ извозчикъ, и шуба моя вырвалась изъ рувъ Ламберта.

— Все равно, придешь! закричалъ онъ мнѣ вслѣдъ злымъ голосомъ.

— Приду, коль захочу—моя воля! обернулся я къ нему изъ саней.

II.

Онъ не преслѣдовалъ, конечно, потому что подъ рукой не случилось другаго извозчика, и я успѣлъ скрыться изъ глазъ его. Я-же доѣхалъ лишь до Сѣнной, а тамъ всталъ и отпустилъ сани. Мнѣ ужасно захотѣлось пройтись пѣшкомъ. Ни усталости, ни большой опянѣлости я не чувствовалъ, а была лишь одна только бодрость; былъ приливъ силъ, была необыкновенная способность на всякое предпріятіе и безчисленныя пріятныя мысли въ головѣ.

Сердце усиленно и вѣско билось — я слышалъ каждый ударъ. И все такъ мнѣ было мило, все такъ легко. Проходя мимо гауптвахты, на Сѣнной, мнѣ ужасно захотѣлось подойти къ часовому и поцаловаться съ нимъ. Была оттепель, площадь почернѣла и запахла, но мнѣ очень нравилась и площадь.

„Я теперь на Обуховскій проспектъ, думалъ я, а потомъ поверну направо и выйду въ Семеновскій полкъ, сдѣлаю крюку, это прекрасно, все прекрасно. Шуба у меня на распашку—а чтожь ее никто не снимаетъ, гдѣ-жь воры? На Сѣнной, говорятъ, воры; пусть подойдутъ, я, можетъ, и отдамъ имъ шубу. На что мнѣ шуба? Шуба—собственность. *Еа propriété, c'est le vol.* А, впрочемъ, какой вздоръ, и какъ все

хорошо. Это хорошо, что оттепель. Зачѣмъ морозъ? Совсѣмъ не надо морозу. Хорошо и вздоръ нести. Чтб, бишь, я сказала Ламберту про принципы? Я сказала, что нѣтъ общихъ принциповъ, а есть только частные случаи; это я соврала, архи-соврала! И нарочно, чтобъ пофорсить. Стыдно немножко, а впрочемъ—ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадій Макаровичъ. Аркадій Макаровичъ, вы мнѣ нравитесь. Вы мнѣ очень даже нравитесь, молодой мой другъ. Жаль, что вы—маленькій плутишка... и... и... ахъ да... ахъ!

Я вдругъ остановился, и все сердце мое опять заняло въ упоении:

„Господи! Чтб это онъ сказалъ? Онъ сказалъ, что она—меня любить. О, онъ—мошенникъ, онъ много тутъ нагаль; это для того, чтобъ я къ нему поѣхалъ ночевать. А, можетъ, и нѣтъ. Онъ сказалъ, что и Анна Андреевна такъ думаетъ... Ба! Да ему могла и Дарья Онисимовна тутъ что нибудь разузнать: та вездѣ шныряетъ. И зачѣмъ я не поѣхалъ къ нему? Я бы все узналъ! Гмъ! У него планъ, и я все это до послѣдней черты предчувствовалъ. Сонъ. Широко задумано, г. Ламбертъ, только врите вы, не такъ это будетъ. А, можетъ, и такъ! А, можетъ, и такъ! И развѣ онъ можетъ женить меня? А, можетъ, и можетъ. Онъ наивенъ и вѣритъ. Онъ глупъ и дерзокъ, какъ всѣ дѣловые люди. Глупость и дерзость, соединяясь вмѣстѣ—великая сила. А, признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадій Макаровичъ! И на чтб ему честные люди? Такъ серьезно и говорить: ни одного здѣсь честнаго человѣка! Да ты-то самъ—кто? Э, чтожь я! Развѣ честные люди подлецамъ не нужны? Въ плутовствѣ честные люди еще лучше, чѣмъ вездѣ, нужны. Ха-ха! Этого только вы не знали до сихъ поръ, Аркадій Макаровичъ, съ вашей полной невинностью. Господи! Чтб если онъ вправду женить меня!“

Я опять приостановился. Я долженъ здѣсь признаться въ одной глупости (такъ какъ это уже давно прошло), я долженъ признаться, что я уже давно предъ тѣмъ хотѣлъ жениться—то есть не хотѣлъ и этого бы никогда не случилось (да и не случится впредь, даю слово), но я уже не разъ и давно уже передъ тѣмъ мечталъ о томъ, какъ хорошо бы жениться—то есть, ужасно много разъ, особенно засыпая каждый разъ на ночь. Это началось у меня еще по шестнадцатому году. У меня былъ въ гимназiи товарищъ, ровесникъ мнѣ, Лавровский—и такой милый, тихій, хорошенькій мальчикъ, впрочемъ, ничѣмъ другимъ не отличавшійся. Я съ нимъ никогда почти не разговаривалъ. Вдругъ мы какъ-то сидѣли рядомъ одни, и онъ былъ очень задумчивъ и вдругъ онъ мнѣ: „Ахъ, Долгорукій, какъ вы думаете,

вотъ-бы теперь жениться; право, когда-жъ и жениться, какъ не теперь; теперь бы самое лучшее время, и, однако, никакъ нельзя!" И такъ онъ откровенно это сказалъ. И я вдругъ всёми сердцемъ съ этимъ согласился, потому что самъ ужъ грезилъ о чемъ-то. Потомъ мы нѣсколько дней сряду сходились и все объ этомъ говорили какъ бы въ секретъ,—впрочемъ, только объ этомъ. А потомъ, не знаю какъ это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вотъ съ тѣхъ-то поръ я и сталъ мечтать. Объ этомъ, конечно, не стоило бы вспоминать, но мнѣ хотѣлось только указать, какъ это издалека иногда идетъ...

„Тутъ одно только серьезное возраженіе“, все мечталъ я, продолжая идти. „О, конечно, ничтожная разница въ нашихъ лѣтахъ не составитъ препятствія, но вотъ что: она—такая аристократка, а я—просто Долгорукій! Страшно скверно! Гмъ! Версиковъ развѣ не могъ бы, женись на мамѣ, просить правительство о позволеніи усыновить меня... за заслуги, такъ сказать, отца... Онъ вѣдь служилъ, стало быть, были и заслуги; онъ былъ мировымъ посредникомъ... О, чортъ возьми, какая гадость!

Я вдругъ воскликнулъ это и вдругъ, въ третій разъ, остановился, но уже какъ бы раздавленный на мѣстѣ. Все мучительное чувство униженія отъ сознанія, что я могъ пожелать такого позору, какъ переимѣна фамиліи усыновленіемъ, эта измѣна всему моему дѣтству—все это почти въ одинъ мигъ уничтожило все прежнее расположеніе, и вся радость моя разлетѣлась, какъ дымъ. „Нѣтъ, этого я никому не перескажу, подумалъ я, страшно покраснѣвъ:—это я потому такъ унизился, что я... влюбленъ и глупъ... Нѣтъ, если въ чемъ правъ Ламбертъ, такъ въ томъ, что нынче въ нашъ вѣкъ главное—самъ человекъ, а потому его деньги. То есть—не деньги, а его имущество. Съ такимъ капиталомъ и брошусь въ „идею“, и вся Россія затрепещетъ черезъ десять лѣтъ, и я всё отомщу. А съ ней церемониться нечего, тутъ опять правъ Ламбертъ. Струсить и просто поидеть. Простѣйшимъ и пошлѣйшимъ образомъ согласится и поидеть. „Ты не знаешь, ты не знаешь въ какомъ это чуданѣ происходило!“ припоминались мнѣ давешнія слова Ламберта. „И это такъ, подтверждалъ я:—Ламбертъ правъ во всемъ, въ тысячу разъ правѣ меня и Версикова, и всёхъ идеалистовъ! Онъ—реалистъ. Она увидитъ, что у меня есть характеръ, и скажетъ: „А, у него есть характеръ!“ Ламбертъ—подлецъ, и ему только бы тридцать тысячъ съ меня сорвать, а все таки онъ у меня одинъ только другъ и есть. Другой дружбы нѣтъ и не можетъ

быть, это все выдумали непрактическіе люди. А ее я даже и не унижаю; развѣ я ее унижаю? Ничуть: всѣ женщины таковы! Женщина развѣ бываетъ безъ подлости? Потому-то надъ ней и нуженъ мужчина, потому-то она и создана существомъ подчиненнымъ. Женщина—порокъ и соблазнъ, а мужчина—благородство и великодушіе. Такъ и будетъ во вѣки вѣковъ. А что я собираюсь употребить „документъ“ — такъ это ничего. Это не помѣшаетъ ни благородству, ни великодушію. Шиллеровъ въ чистомъ состояніи не бываетъ—ихъ выдумали. Ничего, коль съ грязнотой, если цѣль великолѣпна! Потомъ все омоется, все заглядится. А теперь это—только широкость, это—только жизнь, это—только жизненная правда—вотъ какъ это теперь называется!

О, опять повторю: да простятъ мнѣ, что я привожу весь этотъ тогдашній хмѣльной бредъ до послѣдней строчки. Конечно, это только эссенція тогдашнихъ мыслей, но, мнѣ кажется, я этими самыми словами и говорилъ. Я долженъ былъ привести ихъ, потому что я сѣлъ писать, чтобъ судить себя. А что же судить, какъ не это? Развѣ въ жизни можетъ быть чтонибудь серьезнѣе? Вино же не оправдывало. *In vino veritas.*

Такъ мечтая и весь закопавшись въ фантазію, я и не замѣтилъ, что дошелъ, наконецъ, до дому, то есть до маминной квартиры. Даже не замѣтилъ, какъ вошелъ въ квартиру; но только что я вступилъ въ нашу крошечную переднюю, какъ уже сразу понялъ, что у насъ произошло нѣчто необычайное. Въ комнатахъ говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. Въ дверяхъ меня чуть не сбила съ ногъ Лукерья, стремительно пробѣжавшая изъ комнаты Макара Ивановича въ кухню. Я сбросилъ шубу и вошелъ къ Макару Ивановичу, потому что тамъ всѣ столпились.

Тамъ стояли Версиловъ и мама. Мама лежала у него въ объятіяхъ, а онъ крѣпко прижималъ ее къ сердцу. Макаръ Ивановичъ сидѣлъ, по обыкновенію, на своей скамеечкѣ, но какъ бы въ какомъ-то безсиліи, такъ что Лиза съ усиліемъ придерживала его руками за плечо, чтобы онъ не упалъ; и даже ясно было, что онъ все клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнулъ ближе, вздрогнулъ и догадался: старикъ былъ мертвъ.

Онъ только что умеръ, за минуту какуюнибудь до моего прихода. За десять минутъ онъ еще чувствовалъ себя какъ всегда. Съ нимъ была тогда одна Лиза; она сидѣла у него и рассказывала ему о своемъ горѣ, а онъ, какъ вчера, гладилъ ее по головѣ. Вдругъ онъ весь затрепеталъ (рассказывала Лиза), хотѣлъ было встать, хотѣлъ было

вскрикнуть и молча сталъ падать на лѣвую сторону. „Разрывъ сердца!“ говорилъ Версиловъ. Лиза закричала на весь домъ, и вотъ тутъ-то они всѣ и сбѣжались — и все это за минуту какую нибудь до моего прихода.

— Аркадіи! крикнулъ мнѣ Версиловъ:—мигомъ бѣги къ Татьянѣ Павловнѣ. Она непремѣнно должна быть дома. Проси немедленно. Возьми извозчика. Скорѣй, умоляю тебя!

Его глаза сверкали—это я ясно помню. Въ лицѣ его я не замѣтилъ чего нибудь въ родѣ чистой жалости, слезъ—плакали лишь мама, Лиза, да Лукерья. Напротивъ, и это я очень хорошо запомнилъ, въ лицѣ его поражало какое-то необыкновенное возбужденіе, почти восторгъ. Я побѣждалъ за Татьяной Павловной.

Путь, какъ извѣстно изъ прежняго, тутъ не длинный. Я извозчика не взялъ, а пробѣжалъ всю дорогу не останавливаясь. Въ умѣ моемъ было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понималъ, что совершилось нѣчто радикальное. Опьянѣніе же совершенно исчезло во мнѣ, до послѣдней капли, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ неблагоприятныя мысли, когда я позвонилъ къ Татьянѣ Павловнѣ.

Чухонка отперла: „Нѣтъ дома!“—и хотѣла тотчасъ запереть.

— Какъ нѣтъ дома? ворвался я въ переднюю силой:—да быть же не можетъ! Макарь Ивановичъ умеръ!

— Чтѣ-о! раздался вдругъ крикъ Татьяны Павловны сквозь запертую дверь въ ея гостиную.

— Умеръ! Макарь Ивановичъ умеръ! Андрей Петровичъ проситъ васъ сію минуту придти!

— Да ты врешь!..

Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершокъ: „что такое, рассказывай!..“

— Я самъ не знаю, я только что пришелъ, а онъ уже мертвъ. Андрей Петровичъ говоритъ: разрывъ сердца!

— Сейчасъ, сію минуту. Бѣги, скажи, что буду: ступай же, ступай же, ступай! Ну, чего еще сталъ?

Но я ясно видѣлъ сквозь пріотворенную дверь, что кто-то вдругъ вышелъ изъ-за портьеры, за которой помѣщалась кровать Татьяны Павловны, и сталъ въ глубинѣ комнаты, за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замокъ и уже не далъ затворить дверь.

— Аркадіи Макаровичъ! Неужели правда, что онъ умеръ? раздался знакомый мнѣ тихій, плавный, металлическій голосъ, отъ котораго все

такъ и задрожало въ душѣ моей разомъ: въ вопросѣ слышалось что-то проникнувшее и взволновавшее ея душу.

— А коли такъ, бросила вдругъ дверь Татьяна Павловна, коли такъ—такъ и улаживайтесь какъ хотите сами. Сами захотѣли!

Она стремительно выбѣжала изъ квартиры, накидывая на бѣгу пла-токъ и шубку, и пустилась по лѣстницѣ. Мы остались одни. Я сбросилъ шубу, шагнулъ и затворилъ за собою дверь. Она стояла предо мной какъ тогда, въ то свиданіе, съ свѣтлымъ взглядомъ, и, какъ тогда, протягивала мнѣ обѣ руки. Меня точно подвесило, и я буквально упалъ къ ея ногамъ.

III.

Я началъ было плавать, не знаю съ чего; не помню, какъ она усадила меня подлѣ себя, помню только, въ безцѣнномъ воспоминаніи моемъ, какъ мы сидѣли рядомъ, рука въ руку, и стремительно разговаривали: она спрашивала про старика и про смерть его, а я ей объ немъ рассказывалъ — такъ что можно было подумать, что я плавалъ о Макарь Ивановичѣ, тогда какъ это было бы верхъ нелѣпости; и я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мнѣ такой совѣмъ ужъ малолѣтней пошлости. Наконецъ, я вдругъ спохватился, и мнѣ стало стыдно. Теперь я полагаю, что плавалъ тогда единственно отъ восторга, и думаю, что она это очень хорошо поняла сама, такъ что на счетъ этого воспоминанія я спокоенъ.

Мнѣ вдругъ показалось очень страннымъ, что она все такъ спрашивала про Макара Ивановича.

— Да вы развѣ знали его? спросилъ я въ удивленіи.

— Давно. Я его никогда не видала, но въ жизни моей онъ тоже игралъ роль. Мнѣ много передавалъ о немъ въ свое время тотъ человекъ, котораго я боюсь. Вы знаете, какой человекъ.

— Я только знаю теперь, что „тотъ человекъ“ гораздо былъ ближе къ душѣ вашей, чѣмъ вы это мнѣ прежде открыли, сказалъ я, самъ не зная, что хотѣлъ этимъ выразить, но какъ бы съ укоризной и весь нахмурился.

— Вы говорите, онъ цаловалъ сейчасъ вашу мать? Обнималъ ее? Вы это видѣли сами? не слушала она меня и продолжала спрашивать.

— Да, видѣлъ; и повѣрьте, все это было въ высшей степени искренно и великодушно! поспѣшилъ я подтвердить, видя ея радость.

— Дай ему Богъ! перекрестилась она.—Теперь онъ развязанъ. Этотъ

прекрасный старикъ только связывалъ его жизнь. Со смертью его въ немъ опять воскреснетъ долгъ и... достоинство, какъ воскресали уже разъ. О, онъ прежде всего—великодушный, онъ успокоитъ сердце вашей матери, которую любить больше всего на землѣ, и успокоится, наконецъ, самъ, да и слава Богу—пора.

— Онъ вамъ дорогъ?

— Да, очень дорогъ, хотя и не въ томъ смыслѣ, въ какомъ бы онъ самъ желалъ и въ какомъ вы спрашиваете.

— Да вы теперь-то за него или за себя боитесь? спросилъ я вдругъ.

— Ну, это—мудреные вопросы, оставимъ ихъ.

— Оставимъ, конечно; только ничего я этого не зналъ, слишкомъ многого, можетъ быть; но пусть вы правы, теперь все по новому, и, если кто воскресъ, то я первый. Я передъ вами низокъ мыслями, Катерина Николаевна, и, можетъ быть, не болѣе часу назадъ, я совершилъ низость противъ васъ и дѣломъ, но знайте, я вотъ сижу подлѣ васъ и не чувствую никакого угрызенія. Потому что все теперь исчезло и все по новому, а того человѣка, который часъ назадъ замышлялъ противъ васъ низость, я не знаю и знать не хочу!

— Очнитесь, улыбулась она:—вы какъ будто немножко въ бреду.

— И развѣ можно судить себя подлѣ васъ? продолжалъ я:—будь честный, будь низкій—вы все равно какъ солнце недосыгаемы... Скажите, какъ это вы могли выйти ко мнѣ, послѣ всего, что было? Да еслибъ вы знали, что было часъ тому назадъ, только часъ? И какой сонъ сбился?

— Все, должно быть, знаю, тихо улыбулась она:— вы только что хотѣли мнѣ въ чемъ нибудь отмстить, поклялись меня погубить и навѣрно убили бы или прибили тутъ же всякаго, который осмѣлился бы сказать обо мнѣ при васъ хоть одно худое слово.

О, она улыбалась и шутила: но это лишь по чрезмѣрной ея добротѣ, потому что вся душа ея въ ту минуту была полна, какъ сообразилъ я послѣ, такой собственной огромной заботы и такого сильного и могущественнаго ощущенія, что разговаривать со мной и отвѣчать на мои пустыньскіе, раздражительные вопросы она могла лишь въ родѣ, какъ когда отвѣчаютъ маленькому ребенку на какой нибудь его дѣтскій неотвязный вопросъ, чтобъ отвязаться. Я это вдругъ понялъ и мнѣ стало стыдно, но я уже не могъ отвязаться.

— Нѣтъ, вскричалъ я, не владѣя собой:— нѣтъ, я не убилъ того, который говорилъ объ васъ худо, а, напротивъ, я же его и поддерживалъ!

— О, ради Бога, не надо, не нужно, не рассказывайте ничего, протянула она вдругъ руку, чтобъ остановить меня, и даже съ какимъ-то страданіемъ въ лицѣ, но я уже вскочилъ съ мѣста и сталъ передъ нею, чтобъ высказать все, и, еслибъ высказалъ, не случилось бы того, что вышло послѣ, потому что навѣрно кончилось бы тѣмъ, что я бы сознался во всемъ и возвратилъ ей документъ. Но она вдругъ за-смѣялась:

— Не надо, не надо ничего, никакихъ подробностей! Всѣ ваши преступленія я сама знаю: бьюсь объ закладъ, вы хотѣли на мнѣ жениться или въ родѣ того, и только что стоваривались объ этомъ съ какимъ нибудь изъ вашихъ помощниковъ, вашихъ прежнихъ школьныхъ друзей... Ахъ, да вѣдь я кажется угадала! вскричала она, серьезно всматриваясь въ мое лицо.

— Какъ... какъ вы могли угадать? пролетѣлъ было я, какъ дуракъ, страшно пораженный.

— Ну, вотъ еще! Но довольно, довольно! Я вамъ прощаю, только перестаньте объ этомъ, махнула она опять рукой, уже съ видимымъ нетерпѣніемъ.— Я—сама мечтательница, и, еслибъ вы знали къ какимъ средствамъ въ мечтахъ прибѣгаю въ минуты, когда во мнѣ удержу нѣтъ! Довольно, вы меня сбиваете. Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла; мнѣ очень хотѣлось васъ видѣть, а при ней нельзя было бы такъ, какъ теперь, говорить. Мнѣ кажется, я передъ вами виновата въ томъ, что тогда случилось. Да? Вѣдь да?

— Вы виноваты? Но тогда я предалъ васъ ему, и—что могли вы обо мнѣ подумать! Я объ этомъ думалъ все это время, всѣ эти дни, съ тѣхъ поръ, каждую минуту, думалъ и ощущалъ. (Я ей не солгалъ).

— Напрасно такъ себя мучили, я тогда же слишкомъ поняла, какъ это все вышло; просто вы проговорились ему тогда въ радости, что въ меня влюблены и что я... ну, и что я васъ слушаю. На то вамъ и двадцать лѣтъ. Вѣдь вы его любите больше всего міра, ищите въ немъ друга, идеалъ? Я слишкомъ это поняла, но уже было поздно; о да, я сама была тогда виновата: мнѣ надо было васъ позвать тогда же и васъ успокоить, но мнѣ стало досадно; и я попросила не принимать васъ въ домъ; вотъ и вышла та сцена у подъѣзда, а потомъ та ночь. И знаете, я все это время, какъ и вы, мечтала съ вами увидѣться потихоньку, только не знала какъ бы это устроить. И какъ вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы повѣрите его наговорамъ обо мнѣ.

— Никогда! всеричаль я.

— Я цѣню наши бывшія встрѣчи; мнѣ въ васъ дорогъ юноша, и даже, можетъ быть, эта самая искренность... Я вѣдь пресерьезный характеръ. Я—самый серьезный и нахмуренный характеръ изъ всѣхъ современныхъ женщинъ, знайте это... ха-ха-ха! Мы еще наговоримся, а теперь я немного не по себѣ, я взволнована и... кажется, у меня истерика. Но, наконецъ-то, наконецъ-то, дасть онъ и мнѣ жить на свѣтѣ!

Это восклицаніе вырвалось печально; я это тотчасъ понялъ и не захотѣлъ поднимать, но я весь задрожалъ.

— Онъ знаетъ, что я простила ему! воскликнула она вдругъ опять, какъ бы сама съ собой.

— Неужели вы могли простить ему то письмо? И какъ онъ могъ бы узнать про то, что вы ему простили? воскликнула я, уже не сдержавшись.

— Какъ онъ узналъ? О, онъ знаетъ, продолжала она отвѣчать мнѣ, но съ такимъ видомъ, какъ-будто и забывъ про меня и точно говоря съ собою.—Онъ теперь очнулся. Да и какъ ему не знать, что я его простила, коли онъ знаетъ наизусть мою душу? Вѣдь знаетъ же онъ, что я сама немножко въ его родѣ.

— Вы?

— Ну, да, это ему извѣстно. О, я—не страстная, я—спокойная: но я тоже хотѣла бы, какъ и онъ, чтобъ всѣ были хороши... Вѣдь полюбилъ-же онъ меня за чтонибудь.

— Какъ же онъ говорилъ, что въ васъ всѣ пороки?

— Это онъ только говорилъ, у него про себя есть другой секретъ. А неправда-ли, что письмо свое онъ ужасно смѣшно написалъ?

— Смѣшно! (Я слушала ее изъ всѣхъ силъ; полагаю, что дѣйствительно она была какъ въ истерикѣ и... высказывалась, можетъ быть, вовсе не для меня; но я не могъ удержаться, чтобъ не разспрашивать).

— О, да, смѣшно, и, какъ бы я смѣялась, еслибъ... еслибъ не боялась. Я, впрочемъ—не такая ужъ трусиха, не подумайте; но отъ этого письма я ту ночь не спала, оно писано какъ-бы какою-то больною кровью... и послѣ такого письма, чтожь еще остается? Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно въ этомъ малодушна... Ахъ, послушайте! вскинулась она вдругъ;—ступайте къ нему! Онъ теперь одинъ, онъ не можетъ быть все тамъ, и навѣрно ушелъ куданибудь одинъ: отыщите его скорѣй, непременно скорѣй, бѣгите къ

нему, покажите, что вы—любящій сынъ его, докажите, что вы—ми-
лый, добрый мальчикъ, мой студентъ, котораго я... О, дай вамъ Богъ
счастья! Я никого не люблю, да это и лучше; но я желаю всѣмъ
счастья, всѣмъ, и ему первому, и пусть онъ узнаетъ про это... даже
сейчасъ-же, мнѣ было-бы очень крѣпко...

Она встала и вдругъ исчезла за портьеру; на лицѣ ея въ то мгно-
венеіе блистали слезы (истерическія, послѣ смѣха). Я остался одинъ,
взволнованный и смущенный. Положительно я не зналъ, чему припи-
сать такое въ ней волненіе, котораго я никогда бы въ ней и не пред-
положилъ. Что-то какъ-бы скалось въ моемъ сердцѣ.

Я прождалъ пять минутъ, наконецъ—десять; глубокая тишина
вдругъ поразила меня, и я рѣшился выглянуть изъ дверей и оклик-
нуть. На мой окликъ появилась Марья и объявила мнѣ самымъ спо-
койнымъ тономъ, что барыня давнымъ-давно одѣлась и вышла черезъ
черный ходъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Этого только недоставало. Я захватилъ мою шубу и, накидывая
ее на ходу, побѣждалъ вонъ съ мыслью: „Она велѣла идти къ нему,
а гдѣ я его достану?“

Но, мимо всего другого, я пораженъ былъ вопросомъ: „Почему
она думаетъ, что теперь что-то настало и что онъ дастъ ей покой?
Конечно—потому, что онъ женится на мамѣ, но чтожь она? Радуетса
ли тому, что онъ женится на мамѣ, или, напротивъ, она отъ того
и несчастна? Отъ того-то и въ истерикѣ? Почему я этого не могу
разрѣшить?“

Отмѣчаю эту вторую мелькнувшую тогда мысль буквально, для па-
мяти: она—важная. Этотъ вечеръ былъ роковой. И вотъ, пожалуй,
по неволѣ повѣришь предопредѣленію: не прошелъ я и ста шаговъ по
направленію къ маминой квартирѣ, какъ вдругъ столкнулся съ тѣмъ,
кого искалъ. Онъ схватилъ меня за плечо и остановилъ.

— Это—ты! вскрикнулъ онъ радостно и, въ тоже время, какъ-
бы въ величайшемъ удивленіи.—Вообрази, я былъ у тебя, быстро за-
говорилъ онъ:—искалъ тебя, спрашивалъ тебя—ты мнѣ нуженъ теперь
одинъ только во всей вселенной! Твой чиновникъ вралъ мнѣ Богъ
знаетъ чтѣ; но тебя не было, и я ушелъ, даже забывъ попросить пере-
дать тебѣ, чтобъ ты не медля ко мнѣ прибѣжалъ—и чтѣ-же? я все

такъ шелъ въ непоколебимой увѣренности, что судьба не можетъ не послать тебя теперь, когда ты мнѣ всего нужнѣе, и вотъ ты первый и встрѣчаешься! Идемъ ко мнѣ: ты никогда не бывалъ у меня.

Однимъ словомъ, мы оба другъ друга искали, и съ нами, съ каждымъ, случилось какъ бы нѣчто схожее. Мы пошли очень торопясь.

Дорогой онъ промолвилъ лишь нѣсколько коротенькихъ фразъ о томъ, что оставилъ маму съ Татьяной Павловной и проч. Онъ вельменя держа за руку. Жилъ онъ отъ тѣхъ мѣстъ не далеко, и мы скоро пришли. Я, дѣйствительно, никогда еще у него не бывалъ. Это была небольшая квартира въ три комнаты, которую онъ нанималъ (или, вѣрнѣе, нанимала Татьяна Павловна) единственно для того „груднаго ребенка“. Квартира эта и прежде всегда была подъ надзоромъ Татьяны Павловны, и въ ней помѣщалась нянька съ ребенкомъ (а теперь и Дарья Онисимовна); но всегда была и комната для Версилова, именно—первая, входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, въ родѣ кабинета для книжныхъ и письменныхъ занятій. Дѣйствительно, на столѣ, въ шкафу и на этажеркахъ было много книгъ (которыхъ въ маминой квартирѣ почти совсѣмъ не было); были исписанныя бумаги, были связанныя пачки съ письмами—однимъ словомъ, все глядѣло, какъ давно уже обжитой уголь, и я знаю, что Версильовъ и прежде (хотя и довольно рѣдко) переселялся по временамъ на эту квартиру совсѣмъ и оставался въ ней даже по цѣлымъ недѣлямъ. Первое, что остановило мое вниманіе, былъ висѣвшій надъ письменнымъ столомъ, въ великолѣпной рѣзной дорогого дерева рамѣ, маминъ портретъ—фотографія, снятая, конечно, за границей и, судя по необыкновенному размѣру ея, очень дорогая вещь. Я не зналъ и ничего не слыхалъ объ этомъ портретѣ прежде, и что главное поразило меня—то необыкновенное въ фотографіи сходство, такъ сказать духовное, сходство—однимъ словомъ, какъ будто это былъ настоящій портретъ изъ руки художника, а не механической оттискъ. Я, какъ вошелъ, тотчасъ же и невольно остановился передъ нимъ.

— Не правда-ли? Не правда-ли? повторилъ вдругъ надо мной Версильовъ.

То есть „не правда-ли, какъ похожъ?“ Я оглянулся на него и былъ пораженъ выраженіемъ его лица. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, но съ горячимъ, напряженнымъ взглядомъ, сіявшимъ какъ бы счастіемъ и силой: такого выраженія я еще не зналъ у него вовсе.

— Я не зналъ, что вы такъ любите маму! отрѣзалъ я вдругъ самъ въ восторгѣ.

Онъ блаженно улыбнулся, хотя въ улыбкѣ его и отразилось какъ бы что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее... не умѣю я этого высказать; но высокоразвитые люди, какъ мнѣ кажется, не могутъ имѣть торжественно и побѣдоносно счастливыхъ лицъ. Не отвѣтивъ мнѣ, онъ снялъ портретъ съ колець обѣими руками, приблизилъ къ себѣ, поцаловалъ его, затѣмъ тихо повѣсилъ опять на стѣну.

— Замѣть, сказалъ онъ:—фотографическіе снимки чрезвычайно рѣдко выходятъ похожими, и это понятно: самъ оригиналъ, то есть каждый изъ насъ, чрезвычайно рѣдко бываетъ похожъ на себя. Въ рѣдкія только мгновенія человѣческое лицо выражаетъ главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художникъ изучаетъ лицо и угадываетъ эту главную мысль лица, хотя бы въ тотъ моментъ, въ который онъ списываетъ, и не было ея вовсе въ лицѣ. Фотографія же застаётъ человѣка какъ есть, и весьма возможно, что Наполеонъ, въ иную минуту, вышелъ бы глупымъ, а Бисмаркъ—нѣжнымъ. Здѣсь же, въ этомъ портретѣ, солнце, какъ нарочно, застало Соню въ ея главномъ мгновеніи—стыдливой, кроткой любви и нѣсколько дикаго, пугливаго ея цѣломудрія. Да и счастлива же какъ была она тогда, когда наконецъ, убѣдилась, что и такъ жажду имѣть ея портретъ! Этотъ снимокъ сдѣланъ хоть и не такъ давно, а все же она была тогда моложе и лучше собою; а между тѣмъ, ужъ и тогда были эти впалыя щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, какъ бы нарастающая у ней теперь съ годами—чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Вѣришь ли, милый? Я почти и представить теперь ее не могу съ другимъ лицомъ, а вѣдь была же и она когда-то молода и прелестна! Русскія женщины дурнѣютъ быстро, красота ихъ только мелькнетъ, и, право, это не отъ однихъ только этнографическихъ особенностей типа, а и отъ того еще, что онѣ умѣютъ любить беззавѣтно. Русская женщина все разомъ отдаетъ, коль полюбить—и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умѣютъ, про запасъ не прячутъ, и красота ихъ быстро уходитъ въ того, кого любятъ. Эти впалыя щеки—это тоже въ меня ушедшая красота, въ мою коротенькую потѣху. Ты радъ, что я любилъ твою маму, и даже не вѣрилъ, можетъ быть, что я любилъ ее? Да, другъ мой, я ее очень любилъ, но, кромѣ зла, ей ничего не сдѣлалъ... Вотъ тутъ еще есть и другой портретъ—посмотри и на него.

Онъ взялъ со стола и мнѣ подалъ. Это тоже была фотографія, не сравненно мѣншаго размѣра, въ тоненькомъ, овальномъ, деревянномъ ободокѣ—лицо дѣвушки, худое и чахоточное и, при всемъ томъ, прекрасное; задумчивое и, въ то же время, до странности лишенное мысли.

Черты правильныя, выхоленнаго поколѣніями типа, но оставляющія болѣзненное впечатлѣніе: похоже было на то, что существомъ этимъ вдругъ овладѣла какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тѣмъ, что была ему не подь силу.

— Это... это—та дѣвушка, на которой вы хотѣли тамъ жениться и которая умерла въ чахоткѣ... ея падчерица? проговорилъ я нѣсколько робко.

— Да, хотѣлъ жениться, умерла въ чахоткѣ, ея падчерица. Я зналъ, что ты знаешь... всѣ эти сплетни. Впрочемъ, кромѣ сплетень—ты тутъ ничего и не могъ бы узнать. Оставь портретъ, мой другъ, это бѣдная съумасшедшая и ничего больше.

— Совсѣмъ съумасшедшая?

— Или идиотка; впрочемъ, я думаю, что и съумасшедшая. У нея былъ ребенокъ отъ князя Сергѣя Петровича (по съумасшествію, а не по любви; это—одинъ изъ подлѣйшихъ поступковъ князя Сергѣя Петровича); ребенокъ теперь здѣсь, въ той комнатѣ, и я давно хотѣлъ тебѣ показать его. Князь Сергѣй Петровичъ не смѣлъ сюда приходить и смотрѣть на ребенка: это былъ мой съ нимъ уговоръ еще за границей. Я взялъ его къ себѣ, съ позволенія твоей мамы. Съ позволенія твоей мамы хотѣлъ тогда и жениться на этой... несчастной...

— Развѣ такое позволеніе возможно? промолвилъ я съ горячностью.

— О, да! Она мнѣ позволила: ревнуютъ къ женщинамъ, а это была не женщина.

— Не женщина для всѣхъ, кромѣ мамы! Въ жизнь не повѣрю, чтобъ мама не ревновала! вскричалъ я.

— И ты правъ. Я догадался о томъ, когда уже было все кончено, то есть, когда она дала позволеніе. Но оставь объ этомъ. Дѣло не сладилось за смертью Лидіи, да, можетъ, еслибъ и осталась въ живыхъ, то не сладилось бы, а маму я и теперь не пускаю къ ребенку. Это—лишь эпизодъ. Милый мой, я давно тебя ждалъ сюда. Я давно мечталъ, какъ мы здѣсь сойдемся; знаешь ли, какъ давно?—Уже два года мечталъ.

Онъ искренно и правдиво посмотрѣлъ на меня, съ беззавѣтною горячностью сердца. Я схватилъ его за руку:

— Зачѣмъ вы медлили, зачѣмъ давно не звали? Еслибъ вы знали, что было... и чего бы не было, еслибъ давно меня кликнули!..

Въ это мгновеніе внесли самоваръ, а Дарья Онисимовна вдругъ внесла ребенка, спящаго.

— Посмотри на него, сказалъ Версильовъ:—я его люблю и велѣлъ принести теперь нарочно, чтобъ ты тоже посмотрѣлъ на него. Ну, и

унесите его опять, Дарья Онисимовна. Садись къ самовару. Я буду воображать, что мы вѣчно съ тобой такъ жили и каждый вечеръ сходились, не разлучаясь. Дай мнѣ посмотрѣть на тебя: сядь вотъ такъ, чтобъ я твое лицо видѣлъ. Какъ я его люблю, твое лицо! Какъ я воображалъ себѣ твое лицо, еще когда ждалъ тебя изъ Москвы! Ты спрашиваешь: зачѣмъ давно за тобой не послалъ? Подожди, это ты, можешь быть, и поймешь теперь.

— Но неужели только смерть этого старика вамъ теперь развязала языкъ? Это странно...

Но если я и вымолвилъ это, то смотрѣлъ я съ любовью. Говорили мы, какъ два друга, въ высшемъ и полномъ смыслѣ слова. Онъ привелъ меня сюда, чтобы что-то мнѣ выяснить, рассказать, оправдать; а, между тѣмъ, уже все было, раньше словъ, разъяснено и оправдано. Чтѣ бы я ни услышалъ отъ него теперь—результатъ уже былъ достигнутъ, и мы оба со счастьемъ знали про это и такъ и смотрѣли другъ на друга.

— Не то, что смерть этого старика, отвѣтилъ онъ:—не одна смерть; есть и другое, что попало теперь въ одну точку... Да благословить Богъ это мгновеніе и нашу жизнь впредь и надолго! Милый мой, поговоримъ. Я все разбиваюсь, развлекаюсь, хочу говорить объ одномъ, а ударяюсь въ тысячу боковыхъ подробностей. Это всегда бываетъ, когда сердце полно... Но, поговоримъ; время пришло, а я давно влюбленъ въ тебя, мальчикъ...

Онъ откинулся въ своихъ креслахъ и еще разъ оглядѣлъ меня.

— Какъ это странно! Какъ это странно слышать! повторялъ я, утопая въ восторгѣ.

И вотъ, помню, въ лицѣ его вдругъ мелькнула его обычная складка—какъ бы грусти и насмѣшки вмѣстѣ, столь мнѣ знакомая. Онъ скрѣпился и, какъ бы съ нѣкоторою натугою, началъ.

II.

— Вотъ чтѣ, Аркадій, еслибъ я и позвалъ тебя раньше, то чтѣ бы сказалъ тебѣ? Въ этомъ вопросѣ весь мой отвѣтъ.

— То есть, вы хотите сказать, что вы теперь—маминъ мужъ и мой отецъ, а тогда... Вы на счетъ соціального положенія не знали бы чтѣ сказать мнѣ прежде? Такъ ли?

— Не объ одномъ этомъ, милый, не зналъ бы чтѣ тебѣ сказать: тутъ о многомъ пришлось бы молчать. Тутъ даже многое смѣшно и уни-

зительно тѣмъ, что похоже на фокусъ; право, на самый балаганный фокусъ. Ну, гдѣ же прежде намъ было бы понять другъ друга, когда я и самъ-то понять себя самого—лишь сегодня, въ пять часовъ по полудни, ровно за два часа до смерти Макара Ивановича. Ты глядишь на меня съ неприятнымъ недоумѣніемъ? Не безпокойся: я разъясню фактъ; но то, что я сказалъ, вполнѣ справедливо: вся жизнь въ странствіи и недоумѣніяхъ, и вдругъ—разрѣшеніе ихъ такого-то числа, въ пять часовъ по полудни! Даже обидно, не правда ли? Въ недавнюю еще старину, я и впрямь бы обидѣлся.

Я слушалъ, дѣйствительно, съ болѣзненнымъ недоумѣніемъ; сильно выступала прежняя Версировская складка, которую я не желалъ бы встрѣтить въ тотъ вечеръ, послѣ такихъ уже сказанныхъ словъ. Вдругъ я воскликнулъ:

— Боже мой! Вы получили чтонибудь отъ нея... въ пять часовъ, сегодня?

Онъ посмотрѣлъ на меня пристально и, видимо, пораженный моимъ восклицаніемъ, а, можетъ, и выраженіемъ моимъ: „отъ нея“.

— Ты все узнаешь, сказалъ онъ, съ задумчивою улыбкой:—и ужь, конечно, я, что надо, не потаяю отъ тебя, потому что затѣмъ тебя и привелъ; но теперь пока это все отложимъ. Видишь, другъ мой, я давно уже зналъ, что у насъ есть дѣти, уже съ дѣтства задумывающіяся надъ своей семьей, оскорбленные неблагообразіемъ отцовъ своихъ и среды своей. Я намѣтилъ этихъ задумывающихся еще съ моей школы и заключилъ тогда, что все это потому, что они слишкомъ рано завидуютъ. Затѣмъ, однако, что я и самъ былъ изъ задумывающихся дѣтей, но... извини, мой милый, я удивительно какъ разсѣянъ. Я хотѣлъ только выразить, какъ постоянно я боялся здѣсь за тебя почти все это время. Я всегда воображалъ тебя однимъ изъ тѣхъ маленькихъ, но сознающихъ свою даровитость и уединяющихся существъ. Я тоже, какъ и ты, никогда не любилъ товарищей. Бѣда этимъ существамъ, оставленнымъ на однѣ свои силы и грезы и съ страстной, слишкомъ ранней и почти мстительной жадной благообразія, именно—„мстительной“. Но довольно, милый: я опять уклонился... Я еще прежде, чѣмъ началъ любить тебя, уже воображалъ тебя и твои уединенныя, одичавшія мечты... Но довольно; я, собственно, забылъ, о чемъ сталъ говорить. Впрочемъ, все же надо было это высказать. А прежде, прежде, что бы я могъ тебѣ сказать? Теперь я вижу твой взглядъ на мнѣ и знаю, что на меня смотритъ мой сынъ; а я вѣдь даже вчера еще не могъ повѣрить, что буду когда нибудь, какъ сегодня, сидѣть и говорить съ моимъ мальчикомъ.

Онъ, дѣйствительно, становился очень разсѣянъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы чѣмъ-то растроганъ.

— Миѣ теперь не нужно мечтать и грезить, миѣ теперь довольно и васъ! Я пойду за вами! проговорилъ я, отдаваясь ему всей душой.

— За мной? А мои странствія какъ-разъ кончились и какъ-разъ сегодня: ты опоздалъ, мой милый. Сегодня — финалъ послѣдняго акта и занавѣсъ опускается. Этотъ послѣдній актъ долго длился. Начался онъ очень давно—тогда, когда я побѣжалъ въ послѣдній разъ за границу. Я тогда бросилъ все, и знай, мой милый, что я тогда разжегнулся съ твоей мамой и ей самъ заявилъ про это. Это ты долженъ знать. Я объяснилъ ей тогда, что уѣзжаю на вѣкъ, что она меня больше никогда не увидитъ. Всего хуже, что я забылъ даже оставить ей тогда денегъ. Объ тебѣ тоже не подумалъ ни минуты. Я уѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ остаться въ Европѣ, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировалъ.

— Къ Герцену? Участвовать въ заграничной пропагандѣ? Вы навѣрно всю жизнь участвовали въ какомъ нибудь заговорѣ? вскричалъ я, не сдерживаясь.

— Нѣтъ, мой другъ, я ни въ какомъ заговорѣ не участвовалъ. А у тебя такъ даже глаза засверкали; я люблю твои восклицанія, мой милый. Нѣтъ, я просто уѣхалъ тогда отъ тоски, отъ внезапной тоски. Это была тоска русскаго дворянина—право, не умѣю лучше выразиться.— Дворянская тоска— и ничего больше.

— Крѣпостное право... освобожденіе народа? пробормоталъ было я, задыхаясь.

— Крѣпостничество? Ты думаешь, я стосковался по крѣпостничеству? Не могъ вынести освобожденія народа? О, нѣтъ, мой другъ, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировалъ безъ всякой злобы. Я только что былъ мировымъ посредникомъ и бился изъ всѣхъ силъ, бился безкорыстно и уѣхалъ даже и не потому, что мало получилъ за мой либерализмъ. Мы и всѣ тогда ничего не получили, то есть, опять таки такіе, какъ я. Я уѣхалъ скорѣе въ гордости, чѣмъ въ раскаяніи, и, повѣрь тому, весьма далекій отъ мысли, что настало миѣ время кончить жизнь скромнымъ сапожникомъ. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme! Но миѣ все таки было грустно. Насъ такихъ въ Россіи, можетъ быть, около тысячи человекъ; дѣйствительно, можетъ быть, не больше, но вѣдь этого очень довольно, чтобы не умирать идеѣ. Мы—носители идеи, мой милый!.. Другъ мой, я говорю въ какой-то странной надеждѣ, что ты поймешь всю эту белиберду.

Я призывалъ тебя по капризу сердца: мнѣ уже давно мечталось, какъ я что нибудь скажу тебѣ... тебѣ, именно тебѣ! А впрочемъ... впрочемъ...

— Нѣтъ, говорите, вскричалъ я:— я вижу на вашемъ лицѣ опять искренность... Что же, Европа воскресила ли васъ тогда? Да и что такое ваша „дворянская тоска“? Простите, голубчикъ, я еще не понимаю.

— Воскресила-ли меня Европа? Но я самъ тогда вѣхалъ ее хоронить!

— Хоронить? повторилъ я въ удивленіи.

Онъ улыбнулся.

— Другъ Аркадій, теперь душа моя утомилась, и я возмущился духомъ. Я никогда не забуду моихъ тогдашнихъ первыхъ мгновеній въ Европѣ. Я и прежде жила въ Европѣ, но тогда было время особенное, и никогда я не въѣзжалъ туда съ такою безотрадною грустью и... съ такою любовью, какъ въ то время. Я расскажу тебѣ одно изъ первыхъ тогдашнихъ впечатлѣній моихъ, одинъ мой тогдашній сонъ, дѣйствительный сонъ. Это — еще въ Германіи. Я только что выѣхалъ изъ Дрездена и въ разсѣянности проѣхалъ станцію, съ которой долженъ былъ повернуть на мою дорогу, и попалъ на другую вѣтвь. Меня тотчасъ высадили; былъ третій часъ пополудни, день ясный. Это былъ маленькій нѣмецкій городокъ. Мнѣ указали гостиницу: Надо было выждать: слѣдующій поѣздъ проходилъ въ одиннадцать часовъ ночи. Я даже былъ доволенъ приключеніемъ, потому что никуда особенно не спѣшилъ. Я скитался, другъ мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся въ зелени и обставлена клумбами цвѣтовъ, какъ всегда у нихъ. Мнѣ дали тѣсную комнатку, и такъ какъ я всю ночь былъ въ дорогѣ, то и заснулъ послѣ обѣда, въ четыре часа пополудни.

Мнѣ приснился совершенно неожиданный для меня сонъ, потому что я никогда не видалъ такихъ. Въ Дрезденѣ, въ галлерей, есть картина Клода-Лоррена, по каталогу— „Асисъ и Галатея“; я же называлъ ее всегда „Золотымъ вѣкомъ“, самъ не знаю почему. Я ужъ и прежде ее видѣлъ, а теперь, дня три назадъ, еще разъ мимоѣздомъ замѣтилъ. Эта-то картина мнѣ и приснилась, но не какъ картина, а какъ будто какая-то былъ. Я, впрочемъ, не знаю что мнѣ именно снилось: точно такъ, какъ и въ картинѣ—уголокъ греческаго Архипелага, причемъ и время какъ-бы перешло за три тысячи лѣтъ назадъ; голубья, ласковыя волны, острова и скалы, цвѣтущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце—словами не передашь. Тутъ запо-

нило свою колыбель европейское человечество, и мысль о томъ какъ-бы наполнила и мою душу родною любовью. Здѣсь былъ земной рай человечества: боги сходили съ небесъ и рождались съ людьми... О, тутъ жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись ихъ пѣснями и веселыми криками; великій избытокъ непочатыхъ силъ уходилъ въ любовь и въ простодушную радость. Солнце обливало ихъ тепломъ и свѣтомъ, радуясь на своихъ прекрасныхъ дѣтей... Чудный сонъ, высокое заблужденіе человечества! Золотой вѣкъ—мечта самая невѣроятная изъ всѣхъ, какія были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и всѣ свои силы, для которой умирали и убивались прорска, безъ которой народы не хотятъ жить и не могутъ даже и умереть! И все это ощущеніе я какъ будто прожилъ въ этомъ снѣ; скалы и море, и косые лучи заходящаго солнца—все это я какъ будто еще видѣлъ, когда проснулся и раскрылъ глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я былъ радъ. Ощущеніе счастья, мнѣ еще неизвѣстнаго, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловѣческая любовь. Былъ уже полный вечеръ; въ окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявшихъ на окнѣ цвѣтовъ, прорывался пучокъ косыхъ лучей и обливалъ меня свѣтомъ. И вотъ, другъ мой, и вотъ—это заходящее солнце перваго дня европейскаго человечества, которое я видѣлъ во снѣ моемъ, обратилось для меня тотчасъ, какъ я проснулся, на яву, въ заходящее солнце послѣдняго дня европейскаго человечества! Тогда особенно слышался надъ Европой какъ бы звонъ похороннаго колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и безъ того зналъ, что все пройдетъ, весь ликъ европейскаго стараго міра—рано-ли, поздно-ли; но я, какъ русскій европеецъ, не могъ допустить того. Да, они только что сожгли тогда Тюильри... О, не безпокойся, я знаю, что это было „логично“, и слишкомъ понимаю неотразимость текущей идеи, но, какъ носитель высшей русской культурной мысли, я не могъ допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримиреніе идей. И кто бы могъ понять тогда такую мысль во всемъ мірѣ: я скитался одинъ. Не про себя лично я говорю—я про русскую мысль говорю. Тамъ была брань и логика; тамъ французъ былъ всего только французомъ, а нѣмецъ всего только нѣмцемъ, и это съ наибольшимъ напряженіемъ, чѣмъ во всю ихъ исторію; стало быть, никогда французъ не повредилъ столько Франціи, а нѣмецъ своей Германіи, какъ въ то именно время! Тогда во всей Европѣ не было ни одного европейца! Только я одинъ, между всѣми петролейщиками, могъ сказать имъ въ глаза, что ихъ Тюильри ошибка; и только я

одинъ, между всѣми консерваторами-отштителами могъ сказать отштителамъ, что Тюильри—хоть и преступленіе, но все же логика. И это потому, мой мальчикъ, что одинъ я, какъ русскій, былъ тогда въ Европѣ *единственнымъ европейцемъ*. Я не про себя говорю—я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой другъ, я скитался и твердо зналъ, что мнѣ надо молчать и скитаться. Но все же мнѣ было грустно. Я, мальчикъ мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смѣешься?

— Нѣтъ, не смѣюсь, проговорилъ я проникнутымъ голосомъ,—вовсе не смѣюсь: вы потрясли мое сердце вашимъ видѣніемъ золотого вѣка, и будьте увѣрены, что я начинаю васъ понимать. Но болѣе всего я радъ тому, что вы такъ себя уважаете. Я спѣшу вамъ заявить это. Никогда я не ожидалъ отъ васъ этого!

— Я уже сказалъ тебѣ, что люблю твои восклицанія, милый, улыбнулся онъ опять на мое наивное восклицаніе и, вставъ съ кресла, началъ, не примѣчая того, ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Я тоже приветалъ. Онъ продолжалъ говорить своимъ страннымъ языкомъ, но съ глубочайшимъ проникновеніемъ мыслью.

III.

— Да, мальчикъ, повторю тебѣ, что я не могу не уважать моего дворянства. У насъ созданъ вѣками какой-то еще нигдѣ не виданный высшій культурный типъ, котораго нѣтъ въ цѣломъ мірѣ—типъ всемірнаго болѣнія за всѣхъ. Это—типъ русскій, но такъ какъ онъ взятъ въ высшемъ культурномъ словѣ народа русскаго, то, стало быть, я имѣю честь принадлежать къ нему. Онъ хранитъ въ себѣ будущее Россіи. Насъ, можетъ быть, всего только тысяча человекъ—можетъ, болѣе, можетъ, менѣе—но вся Россія жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажутъ—мало, вознегодуютъ, что на тысячу человекъ истрачено столько вѣковъ и столько миллионъ народу. По моему, не мало.

Я слушалъ съ напряженіемъ. Выступало убѣжденіе, направленіе всей жизни. Эти „тысяча человекъ“ такъ рельефно выдавали его! Я чувствовалъ, что экспансивность его со мной шла изъ какого-то внѣшняго потрясенія. Онъ говорилъ мнѣ всѣ эти горячія рѣчи, любя меня: но причина, почему онъ сталъ вдругъ говорить и почему такъ пожелалъ именно со мной говорить, мнѣ все еще оставалась неизвѣстною.

— Я эмигрировалъ, продолжалъ онъ:—и мнѣ ничего было не

жалъ назадъ. Все, что было въ силахъ моихъ, я отслужилъ тогда Россіи, пока въ ней былъ; выѣхавъ, я тоже продолжалъ ей служить, но лишь расширивъ идею. Но, служа такъ, я служилъ ей гораздо больше, чѣмъ еслибъ я былъ всего только русскимъ, подобно тому, какъ французъ былъ тогда всего только французомъ, а нѣмецъ—нѣмцемъ. Въ Европѣ этого пока еще не поймутъ. Европа создала благородные типы француза, англичанина, нѣмца, но о будущемъ своемъ человѣкѣ она еще почти ничего не знаетъ. И, кажется, еще пока знать не хочетъ. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я одинъ въ Европѣ, съ моею русской тоскою, тогда былъ свободенъ.

Замѣть себѣ, другъ мой, странность: всякій французъ можетъ служить не только своей Франціи, но даже и человѣчеству, единственно подъ тѣмъ лишь условіемъ, что останется наиболѣе французомъ, равно—англичанинъ и нѣмецъ. Одинъ лишь русскій, даже въ наше время, то есть гораздо еще раньше, чѣмъ будетъ подведенъ всеобщій итогъ, получилъ уже способность становиться наиболѣе русскимъ, именно лишь тогда, когда онъ наиболѣе европеецъ. Это и есть самое существенное національное различіе наше отъ всѣхъ, и у насъ на этотъ счетъ—какъ нигдѣ. Я во Франціи—французъ, съ нѣмцемъ—нѣмецъ, съ древнимъ грекомъ—грекъ и, тѣмъ самымъ, наиболѣе русскій. Тѣмъ самымъ я—настоящій русскій и наиболѣе служу для Россіи, ибо выставляю ея главную мысль. Я—піонеръ этой мысли. Я тогда эмигрировалъ, но развѣ я повиннулъ Россію? Нѣтъ, я продолжалъ ей служить. Пусть бы я и ничего не сдѣлалъ въ Европѣ, пусть я ѣхалъ только скитаться (да я и зналъ, что ѣду только скитаться), но довольно и того, что я ѣхалъ съ моею мыслью и съ моимъ сознаніемъ. Я повезъ туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня такъ испугала, и даже не Тюильри, а все, что должно послѣдовать. Имъ еще долго суждено драться, потому что они—еще слишкомъ нѣмцы и слишкомъ французы и не кончили свое дѣло еще въ этихъ роляхъ. А до тѣхъ поръ мнѣ жалъ разрушенія. Русскому Европа такъ же драгоценна, какъ Россія: каждый камень въ ней милъ и дорогъ. Европа такъ же была отечествомъ нашимъ, какъ и Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ и искусствъ, вся исторія ихъ—мнѣ милѣй, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго Божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ! У нихъ теперь другія мысли и другія чувства, и они перестали дорожить ста-

рыми камнями... Тамъ консерваторъ всего только борется за существованіе; да и петролейщикъ лѣзетъ лишь изъ-за права на кусокъ. Одна Россія живетъ не для себя, а для мысли, и согласись, мой другъ, знаменательный фактъ, что вотъ уже почти столѣтіе, какъ Россія живетъ рѣшительно не для себя, а для одной лишь Европы! А имъ? О, имъ суждены страшныя муки прежде, чѣмъ достигнуть царствія Божія.

Признаюсь, я слушалъ въ большомъ смущеніи; даже тонъ его рѣчи пугалъ меня, хотя я не могъ не поражаться мыслями. Я болѣзненно боялся лжи. Вдругъ я замѣтилъ ему строгимъ голосомъ:

— Вы сказали сейчасъ: „Царствіе Божіе.“ Я слышалъ, вы проповѣдывали тамъ Бога, носили вериги?

— О веригахъ моихъ оставь, улыбнулся онъ:—это совсѣмъ другое. Я тогда еще ничего не проповѣдывалъ, но о Богѣ ихъ тосковалъ, это—правда. Они объявили тогда атеизмъ... одна кучка изъ нихъ, но это вѣдь все равно; это лишь первые скакуны, но это былъ первый *исполнительный шагъ*—вотъ что важно. Тутъ опять ихъ логика; но вѣдь въ логикѣ и всегда тоска. Я былъ другой культуры, и сердце мое не допускало того. Эта неблагодарность, съ которою они разставались съ идеей, эти свистки и комки грязи мнѣ были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочемъ, дѣйствительность и всегда отзывается сапогомъ, даже при самомъ яркомъ стремленіи къ идеалу, и я, конечно, это долженъ былъ знать; но все же я былъ другого типа человѣкъ: я былъ свободенъ въ выборѣ, а они нѣтъ — и я плакалъ, за нихъ плакалъ, плакалъ по старой идеѣ, и, можетъ быть, плакалъ настоящими слезами, безъ краснаго слова.

— Вы такъ сильно вѣровали въ Бога? спросилъ я недоувѣрчиво.

— Другъ мой, это—вопросъ, можетъ быть, лишній. Положимъ, я и не очень вѣровалъ, но все же я не могъ не тосковать по идеѣ. Я не могъ не представлять себѣ временами, какъ будетъ жить человѣкъ безъ Бога и возможно-ли это когда нибудь. Сердце мое рѣшало всегда, что невозможно; но нѣкоторый періодъ, пожалуй, возможенъ... Для меня даже сомнѣній нѣтъ, что онъ настанетъ; но тутъ я представлялъ себѣ всегда другую картину...

— Какую?

Правда, онъ уже прежде объявилъ, что онъ счастливъ; конечно, въ словахъ его было много восторженности; такъ я и принимаю многое изъ того, что онъ тогда высказалъ. Всего, безъ сомнѣнія, не рѣшусь, уважая этого человѣка, передать теперь на бумагѣ изъ того, что мы тогда переговорили; но нѣсколько штриховъ страшной картины, которую

я успѣлъ таки отъ него выманить, я здѣсь приведу. Главное, меня всегда и все время прежде мучили эти „вериги,“ и я жалалъ ихъ разъяснить — потому и настаивалъ. Нѣсколько фантастическихъ и чрезвычайнао странныхъ идей, имъ тогда высказанныхъ, остались въ моемъ сердцѣ на вѣки.

— Я представляю себѣ, мой милый, началъ онъ съ задумчивою улыбкою:— что бой уже кончился и борьба улеглась. Послѣ проклятій, комьевъ грязи и свистковъ, настало затишье, и люди остались *одни*, какъ желали: великая прежняя идея оставила ихъ; великій источникъ силъ, до сихъ поръ питавшій и грѣвшій ихъ, отходилъ, какъ то величавое зовущее солнце въ картинѣ Клода Лоррена, но это былъ уже какъ бы послѣдній день человечества. И люди вдругъ поняли, что они остались совсѣмъ одни, и разомъ почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчикъ, я никогда не могъ вообразить себѣ людей неблагодарными и оглупѣвшими. Осиротѣвшіе люди тотчасъ же стали бы прижиматься другъ къ другу тѣснѣе и любовнѣе; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляютъ все другъ для друга! Исчезла бы великая идея безсмертія, и приходилось бы замѣнить ее; и весь великій избытокъ прежней любви къ Тому, который и былъ Безсмертіе, обратился бы у всѣхъ на природу, на міръ, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенно, уже не прежнею любовью. Они стали бы замѣчать и открыли бы въ природѣ такія явленія и тайны, какихъ и не предполагали прежде, ибо смотрѣли бы на природу новыми глазами, взглядомъ любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спѣшили бы целовать другъ друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это—все, чтѣ у нихъ остается. Они работали бы другъ на друга, и каждый отдавалъ бы всѣмъ все свое состояніе и тѣмъ однимъ былъ бы счастливъ. Каждый ребенокъ зналъ бы и чувствовалъ, что всякій на землѣ — ему какъ отецъ и мать. „Пусть — завтра послѣдній день мой, думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти ихъ“ — и эта мысль, что они останутся, все также любя и трепеща другъ за друга, замѣнила бы мысль о загробной встрѣчѣ. О, они торопились бы любить, чтобъ затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Они были бы горды и смѣлы за себя, но сдѣлались бы робкими другъ за друга; каждый трепеталъ бы за жизнь и за счастье каждаго. Они стали бы нѣжны другъ къ другу и не стыдились бы того, какъ теперь, и ла-

скали бы другъ друга, какъ дѣти. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ, и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть...

— Милый мой, прервалъ онъ вдругъ съ улыбкой:— все это—фантазія, даже самая невѣроятная; но я слишкомъ ужъ часто представлялъ себѣ, потому что всю жизнь мою не могъ жить безъ этого и не думать объ этомъ. Я не про вѣру мою говорю: вѣра моя велика, я—деиствъ, философскій деиствъ, какъ вся наша тысяча, такъ я полагаю, но... но замѣчательно, что я всегда кончалъ картинку мою видѣніемъ, какъ у Гейне, „Христа на Балтійскомъ морѣ“. Я не могъ обойтись безъ Него, не могъ не вообразить Его, наконецъ, посреди осиротѣвшихъ людей. Онъ приходилъ къ нимъ, простиралъ къ нимъ руки и говорилъ: „Какъ могли вы забыть Его?“ И тутъ какъ бы пелена упала со всѣхъ глазъ и раздавался бы великій восторженный гимнъ новаго и послѣдняго воскресенія...

— Оставимъ это, другъ мой; а „вериги“ мои—вздоръ; не безпокойся объ нихъ. Да еще вотъ что: ты знаешь, что я на языкъ стыдливъ и трезвъ; если разговорился теперь, то это... отъ разныхъ чувствъ и потому что—съ тобой; другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить.

Но я былъ даже разстроганъ; лжи, которой я опасался, не было, и я особенно радъ былъ тому, что уже мнѣ ясно стало, что онъ дѣйствительно тосковалъ и страдалъ и дѣйствительно несомнѣнно, много любилъ—а это было мнѣ дороже всего. Я съ увлеченіемъ ему высказалъ это.

— Но знаете, прибавилъ вдругъ я:—мнѣ кажется, что все таки, не смотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы?

Онъ весело разсмѣялся.

— Ты сегодня особенно мѣтокъ на замѣчанія, сказалъ онъ.—Ну да, я былъ счастливъ, да и могъ ли я быть несчастливъ съ такой тоской? Нѣтъ свободнѣе и счастливѣе русскаго европейскаго скитальца, изъ нашей тысячи. Это я, право, не смѣясь говорю, и тутъ много серьезнаго. Да, я за тоску мою не взялъ бы никакого другаго счастья. Въ этомъ смыслѣ я всегда былъ счастливъ, мой милый, всю жизнь мою. И отъ счастья полюбилъ тогда твою маму въ первый разъ въ моей жизни.

— Какъ въ первый разъ въ жизни?

— Именно—такъ. Считаясь и тоскуя, я вдругъ полюбилъ ее, какъ никогда прежде, и тотчасъ послалъ за нею.

— О, расскажите мнѣ и про это, расскажите мнѣ про маму!

— Да я затѣмъ и призвалъ тебя, и знаешь, улыбнулся онъ весело:—я ужь боялся, что ты простишь мнѣ маму за Герцена или за какойнибудь тамъ заговорышко...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

II.

Такъ какъ мы проговорили тогда весь вечеръ и просидѣли до ночи, то я и не привожу всѣхъ рѣчей, но передамъ лишь то, что объяснило мнѣ, наконецъ, одинъ загадочный пунктъ въ его жизни.

Начну съ того, что для меня и сомнѣнія нѣтъ, что онъ любилъ маму, и если бросилъ ее и „разженился“ съ ней уѣзжая, то, конечно, потому, что слишкомъ заскучалъ или чтонибудь въ этомъ родѣ, что впрочемъ, бываетъ и со всѣми на свѣтѣ, но что объяснить всегда трудно. За границей, послѣ долгаго, впрочемъ, времени, онъ вдругъ полюбилъ опять маму заочно, то есть, въ мысляхъ, и послалъ за нею. Скажутъ, пожалуй: „заблажилъ“, но я скажу иное: по моему, тутъ было все, что только можетъ быть серьезнаго въ жизни человѣческой, не смотря на видимое брандахлыстничанье, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю внѣ сомнѣнія и не только на ряду, но и несравненно выше какойнибудь современной практической дѣятельности по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ. Любовь его къ человѣчеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, безъ всякихъ фокусовъ; а любовь его къ мамѣ за нѣчто совершенно неоспоримое, хотя, можетъ быть, немного и фантастическое. За границей, въ „тоскѣ и счастіи“, и, прибавлю, въ самомъ строгомъ монашескомъ одиночествѣ (это особое свѣдѣніе я уже получилъ потомъ черезъ Татьяну Павловну), онъ вдругъ вспомнилъ о мамѣ—и именно вспомнилъ ее „впалмя щеки“, и тотчасъ послалъ за нею.

— Другъ мой, вырвалось у него, между прочимъ:—я вдругъ созналъ, что мое служеніе идеѣ вовсе не освобождаетъ меня, какъ нравственно-разумное существо, отъ обязанности сдѣлать въ продолженіи моей жизни хоть одного человѣка счастливымъ практически.

— Неужели такая книжная мысль была всему причиной? спросилъ я съ недоумѣніемъ.

— Это—не книжная мысль. А, впрочемъ—пожалуй. Тутъ все, однако же, вмѣстѣ: вѣдь я же любилъ твою маму въ самомъ дѣлѣ,

искренно, не книжно. Не любилъ бы такъ—не послалъ-бы за нею, а „осчастливилъ“ бы какогонибудь подвернувшася нѣмца или нѣмку, если ужъ выдумалъ эту идею. А осчастливить непременно и чѣмънибудь хоть одно существо въ своей жизни, но только практически, то есть въ самомъ дѣлѣ, я бы поставилъ заповѣдью для всякаго развитаго человѣка; подобно тому, какъ я поставилъ бы въ законъ или въ повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево въ своей жизни въ виду обезлѣсенія Россіи; впрочемъ, одного-то дерева мало будетъ, можно бы приказать сажать и каждый годъ по дереву. Высшій и развитой человѣкъ, преслѣдуя высшую мысль, отвлекается иногда совѣтъ отъ насущнаго, становится смѣшонъ, капризенъ и холоденъ, даже просто скажу тебѣ—глупъ, и не только въ практической жизни, но, подъ конецъ, даже глупъ въ своихъ теоріяхъ. Такимъ образомъ, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо въ самомъ дѣлѣ все бы поправила и освѣжила бы самого благотворителя. Какъ теорія, это—очень смѣшно; но, еслибъ это вошло въ практику и обратилось въ обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испыталъ на себѣ: лишь только я началъ развивать эту идею о новой заповѣди—и сначала разумѣется шутя—я вдругъ началъ понимать всю степень моей, таившейся во мнѣ, любви къ твоей матери. До тѣхъ поръ я совѣтъ не понималъ, что люблю ее. Пока жилъ съ нею, я только тѣшился ею, пока она была хороша, а потомъ капризничалъ. Я въ Германіи только понялъ, что люблю ее. Началось съ ея впалыхъ щекъ, которыхъ я никогда не могъ припоминать, а иногда такъ даже и видѣть безъ боли въ сердцѣ—буквально боли, настоящей, физической. Есть большія воспоминанія, мой милый, причиняющія дѣйствительную боль; они есть почти у каждого, но только люди ихъ забываютъ; но случается, что вдругъ потомъ припоминаютъ, даже только какую-нибудь черту, и ужъ потомъ отвязаться не могутъ. Я сталъ припоминать тысячу подробностей моей жизни съ Соней; подъ конецъ онѣ сами припоминались и лѣзли массажи и чуть не замучили меня, пока я ее ждалъ. Пуще всего меня мучило воспоминаніе о ея вѣчной приниженности передо мной и о томъ, что она вѣчно считала себя безмѣрно ниже меня во всѣхъ отношеніяхъ—вообрази себѣ—даже въ физическомъ. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрѣлъ на ея руки и пальцы, которые у ней совѣтъ не аристократическіе. Да и не пальцевъ однихъ,—она всего стыдилась въ себѣ, не смотря на то, что я любилъ ея красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости, но то худо, что въ стыдливости этой всегда проскакивалъ какъ

бы какой-то испугъ. Однимъ словомъ, она считала себя предо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Право, иной разъ, вначалѣ, я иногда подумывалъ, что она все еще считаетъ меня за своего барина и боится, но это было совсѣмъ не то. А, между тѣмъ, клянусь, она болѣе чѣмъ ктонибудь способна понимать мои недостатки, да и въ жизни моей я не встрѣчалъ съ такимъ тонкимъ и догадливымъ сердцемъ женщины. О, какъ она была несчастна, когда я требовалъ отъ нея вначалѣ, когда она еще была такъ хороша, чтобы она ридилась. Тутъ было и самолюбіе, и еще какое-то другое оскорблявшееся чувство: она понимала, что никогда ей не быть барыней и что въ чужомъ костюмѣ она будетъ только смѣшна. Она, какъ женщина, не хотѣла быть смѣшною въ своемъ платьѣ и поняла, что каждая женщина должна имѣть *свой* костюмъ, чего тысячи и сотни тысячъ женщинъ никогда не поймутъ—только бы одѣться по модѣ. Насмѣшливаго взгляда моего она боялась—вотъ что! Но особенно грустно мнѣ было припоминать ея глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставлялъ на себѣ во все наше время: въ нихъ сказывалось совершенное пониманіе своей судьбы и ожидавшаго ее будущаго, такъ что мнѣ самому даже бывало тяжело отъ этихъ взглядовъ, хотя, признаюсь, я въ разговоры съ ней тогда не пускался и третировалъ все это какъ-то свысока. И, знаешь, вѣдь она не всегда была такая пугливая и дикая, какъ теперь; и теперь случается, что вдругъ развеселится и похорошѣетъ, какъ двадцатилѣтняя; а тогда съ молодости она очень иногда любила поболтать и посмѣяться, конечно, въ своей компаніи—съ дѣвушками, съ приживалками; и какъ вздрагивала она, когда я внезапно заставлялъ ее иногда смѣющеюся, какъ быстро краснѣла и пугливо смотрѣла на меня! Разъ, уже не задолго до отъѣзда моего за границу, то есть, почти наканунѣ того, какъ я съ ней разженился, я вошелъ въ ея комнату и засталъ ее одну, за столикомъ, безъ всякой работы, облокотившюся на столикъ рукой и въ глубокой задумчивости. Съ ней никогда почти не случалось, чтобы она такъ сидѣла безъ работы. Въ то время я уже давно пересталъ ласкать ее. Мнѣ удалось подойти очень тихо, на цыпочкахъ, и вдругъ обнять и поцаловать ее... Она вскочила—и никогда не забуду этого восторга, этого счастья въ лицѣ ея, и вдругъ это все смѣнилось быстрой краской, и глаза ея сверкнули. Знаешь-ли, что я прочелъ въ этомъ сверкнувшемъ взглядѣ? „Милостыню ты мнѣ подаль—вотъ что!“ Она истерически зарыдала подъ предлогомъ, что я ее испугалъ, но я даже тогда задумался. И, вообще, всѣ такія воспоминанія—претяжелая вещь,

мой другъ. Это подобно, какъ у великихъ художниковъ въ ихъ поэмахъ бываютъ иногда такія *больныя* сцены, которыя всю жизнь потомъ съ болью припоминаются—например, послѣдній монологъ Отелло у Шекспира, Евгений у ногъ Татьяны, или встрѣча бѣлаго каторжника съ ребенкомъ, съ дѣвочкой, въ холодную ночь, у колодца, въ *Misérables* Виктора Гюго; это разъ пронзаетъ сердце и потомъ на вѣки остается рана. О, какъ я ждалъ Сою и какъ хотѣлось мнѣ поскорѣй обнять ее! Я съ судорожнымъ нетерпѣнiемъ мечталъ о цѣлой новой программѣ жизни; я мечталъ постепенно, методическимъ усиленiемъ, разрушить въ душѣ ея этотъ постоянный ея страхъ передо мной, растолковать ей ея собственную цѣну и все, чѣмъ она даже выше меня. О, я слишкомъ зналъ и тогда, что я всегда начиналъ любить твою маму чуть только мы съ ней разлучались, и всегда вдругъ холодѣлъ къ ней, когда опять съ ней сходились; но тутъ было не то, тогда было не то.

Я былъ удивленъ: „А она?“ мелькнулъ во мнѣ вопросъ.

— Ну чтожь, какъ вы встрѣтились тогда съ мамой? спросилъ я осторожно.

— Тогда? Да я тогда съ ней вовсе и не встрѣтился. Она едва до Кенигсберга тогда доѣхала, да тамъ и осталась, а я былъ на Рейнѣ. Я не поѣхалъ къ ней, а ей велѣлъ оставаться и ждать. Мы свидѣлись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я поѣхалъ къ ней просить позволенiя жениться...

II.

Здѣсь передамъ уже сущность дѣла, то есть, только то, что самъ могъ усвоить; да и онъ мнѣ началъ передавать безсвязно. Рѣчь его вдругъ стала въ десять разъ безсвязнѣе и безпорядочнѣе, только что онъ дошелъ до этого мѣста.

Онъ встрѣтилъ Катерину Николаевну, внезапно, именно тогда, когда ждалъ маму, въ самую нетерпѣливую минуту ожиданiя. Всѣ они были тогда на Рейнѣ, на водахъ, и всѣ лечились. Мужъ Катерины Николаевны уже почти умеръ, по крайней мѣрѣ, уже обреченъ былъ на смерть докторами. Съ первой встрѣчи она поразила его, какъ бы заколдовала чѣмъ-то. Это былъ фатумъ. Замѣчательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтобъ онъ хоть разъ употребилъ тогда въ разсказѣ своею слово „любовь“ и то, что онъ былъ „влюбленъ“. Слово „фатумъ“ я помню.

И ужь, конечно, это былъ фатумъ. Онъ не захотѣлъ его, „не захотѣлъ любить“. Не знаю, смогу ли передать это ясно; но только вся душа его была возмущена именно отъ факта, что съ нимъ это могло случиться. Все-де, что было въ немъ свободнаго, разомъ уничтожалось предъ этой встрѣчей, и человѣкъ на вѣки приковывался къ женщинѣ, которой совсѣмъ до него не было дѣла. Онъ не пожелалъ этого рабства страсти. Скажу теперь прямо: Катерина Николаевна есть рѣдкій типъ свѣтской женщины — типъ, котораго въ этомъ кругу, можетъ быть, и не бываетъ. Это — типъ простой и прямодушной женщины въ высшей степени. Я слышалъ, то есть, я знаю навѣрно, что тѣмъ-то она и была неотразима въ свѣтѣ, когда въ немъ появлялась (она по часту удалялась изъ него совсѣмъ). Версильовъ, разумѣется, не повѣрилъ тогда, при первой встрѣчѣ съ нею, что она — такая, а именно повѣрилъ обратному, то есть, что она — притворщица и иезуитка. Здѣсь приведу, забывая впередъ, ея собственное сужденіе о немъ: она утверждала, что онъ и не могъ о ней подумать иначе, „потому что идеалистъ, стукнувшись лбомъ объ дѣйствительность, всегда, прежде другихъ, склоненъ предположить всякую мерзость“. Я не знаю, справедливо ли это вообще объ идеалистахъ, но о немъ, конечно, было справедливо вполнѣ. Впишу здѣсь, пожалуй, и собственное мое сужденіе, мелькнувшее у меня въ умѣ, пока я тогда его слушалъ: я подумалъ, что любилъ онъ маму болѣе, такъ сказать, гуманною и общечеловѣческою любовью, чѣмъ простою любовью, которою вообще любятъ женщинъ, и чуть только встрѣтилъ женщину, которую полюбилъ этою простою любовью, то тотчасъ же и не захотѣлъ этой любви — вѣроятно всею съ непривычки. Впрочемъ, можетъ быть, это — мысль невѣрная; ему я, конечно, не высказалъ. Было бы неделикатно; да и клянусь, онъ былъ въ такомъ состояніи, что его почти надо было щадить: онъ былъ взволнованъ: въ иныхъ мѣстахъ разсказа иногда просто обрывалъ и молчалъ по нѣсколькимъ минутъ, расхаживая съ злымъ лицомъ по комнатѣ.

Она скоро проникла тогда въ его тайну; о, можетъ быть, и кокетничала съ нимъ нарочно: даже самыя свѣтлыя женщины бываютъ подлы въ этихъ случаяхъ, и это — ихъ непреоборимый инстинктъ. Кончилось у нихъ ожесточительнымъ разрывомъ, и онъ, кажется, хотѣлъ убить ее; онъ испугалъ ее и убилъ бы, можетъ быть, „но все это обратилось въ ненависть“. Потомъ наступилъ одинъ странный періодъ: онъ вдругъ задался одною странною мыслью: мучить себя дисциплиной, „вотъ той самой, которую употребляютъ монахи. Ты постепенно и методической практикой одолевашь свою волю, начиная съ самыхъ свѣш-

ныхъ и мелкихъ вещей, а кончасшь совершеннымъ одолѣніемъ воли своей и становишься свободнымъ“. Онъ прибавилъ, что у монаховъ это — дѣло серьезное, потому что тысячелѣтнимъ опытомъ возведено въ науку. Но всего замѣчательнѣе, что этой идеей о „дисциплинѣ“ онъ задался тогда вовсе не для того, чтобъ избавиться отъ Катерины Николаевны, а въ самой полной увѣренности, что онъ не только уже не любитъ ея, но даже въ высшей степени ненавидитъ. Онъ до того повѣрилъ своей къ ней ненависти, что даже вдругъ задумалъ влюбиться и жениться на ея падчерицѣ, обманутой княземъ, совершенно увѣрилъ себя въ своей новой любви и неотразимо влюбилъ въ себя бѣдную идиотку, доставивъ ей эту любовью, въ послѣдніе мѣсяцы ея жизни, совершенное счастье. Почему онъ, вмѣсто нея, не вспомнилъ тогда о мамѣ, все ждавшей его въ Кенигсбергѣ—осталось для меня невыясненнымъ... Напротивъ, объ мамѣ онъ вдругъ и совсѣмъ забылъ, даже денегъ не выслалъ на прожитокъ, такъ что спасла ее тогда Татьяна Павловна; и вдругъ, однако, поѣхалъ къ мамѣ „спросить ея позволенія жениться на той дѣвицѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что „такая невѣста — не женщина“. О, можетъ быть, все это — лишь портретъ „книжнаго человѣка“, какъ выразилась про него потомъ Катерина Николаевна; но почему же, однако, эти „бумажные люди“ (если ужъ правда, что они—бумажные) способны, однако, столь настоящимъ образомъ мучиться и доходить до трагедій? Впрочемъ, тогда, въ тотъ вечеръ, я думалъ нѣсколько иначе, и меня потрясла одна мысль:

— Вамъ все развитіе ваше, вся душа ваша досталась страданіемъ и боемъ всей жизни вашей—а ей все ея совершенство досталось даромъ. Тутъ неравенство... Женщина этимъ возмутительна. — Я проговорилъ вовсе не съ тѣмъ, чтобъ подольститься къ нему, а съ жаромъ и даже съ негодованіемъ.

— Совершенство? Ея совершенство? Да въ ней нѣтъ никакихъ совершенствъ! проговорилъ онъ вдругъ, чуть не въ удивленіи на мои слова:—это—самая ординарная женщина, это даже дрянная женщина... Но она обязана имѣть всё совершенства!

— Почему же обязана?

— Потому что, имѣя такую власть, она обязана имѣть всё совершенства!—злобно вскрикнулъ онъ.

— Грустнѣе всего то, что вы и теперь такъ измучены! вырвалось у меня вдругъ невольно.

— Теперь? Измученъ? повторилъ онъ опять мои слова, останавливаясь передо мной, какъ бы въ какомъ-то недоумѣніи. И вотъ вдругъ

тихая, длинная, вздумчивая улыбка озарила его лицо, и онъ подвнялъ передъ собой палець, какъ бы соображая. Затѣмъ, уже совсѣмъ опомнившись, схватилъ со стола распечатанное письмо и бросилъ его передо мною:

— На, читай! Ты непременно долженъ все узнать... и зачѣмъ ты такъ много далъ мнѣ перерыть въ этой старой дребедени?.. Я только осквернилъ и озлобилъ сердце!..

Не могу выразить моего удивленія. Письмо это было отъ нея къ нему, сегодняшнее, полученное имъ около пяти часовъ пополудни. Я прочелъ его, почти дрожа отъ волненія. Оно было невелико, но написано до того прямо и искренно, что я, читая, какъ будто видѣлъ ее самое передъ собою и слышалъ ея слова. Она въ высшей степени правдиво (а потому почти трогательно) признавалась ему въ своемъ страхѣ и затѣмъ просто умоляла его „оставить ее въ покоѣ“. Въ заключеніе, увѣдомляла, что теперь положительно выходитъ за Бьоринга. До этого случая она никогда не писала къ нему.

И вотъ чтó я понималъ тогда изъ его объясненій:

Только что онъ, давеча, прочелъ это письмо, какъ вдругъ ощутилъ въ себѣ самое неожиданное явленіе: въ первый разъ, въ эти роковые два года, онъ не почувствовалъ ни малѣйшей къ ней ненависти и ни малѣйшаго сотрясенія, подобно тому, какъ недавно еще „сошелъ съ ума“ при одномъ только слухѣ о Бьорингѣ. „Напротивъ, я ей послалъ благословеніе отъ всего сердца“, проговорилъ онъ мнѣ съ глубокимъ чувствомъ. Я выслушалъ эти слова съ восхищеніемъ. Значить, все что было въ немъ страсти, муки, печезло разомъ, само собою, какъ сонъ, какъ двухлѣтнее навожденіе. Еще не вѣря себѣ, онъ посмѣшилъ было давеча къ мамѣ—и чтó же: онъ вошелъ именно въ ту минуту, когда она стала *свободною*, и завѣщавшій ей вчера старикъ умеръ. Вотъ эти-то два совпаденія и потрясли его душу. Немного спустя, онъ бросился искать меня—и эту столь скорую мысль его обо мнѣ я никогда не забуду.

Да и не забуду окончанія того вечера. Этотъ человекъ весь и вдругъ преобразился опять. Мы просидѣли до глубокой ночи. О томъ, какъ подѣйствовало все это „извѣстіе“ на меня—разкажу потомъ, въ своемъ мѣстѣ, а теперь—лишь нѣсколько заключительныхъ словъ о немъ. Соображая теперь, понимаю, что на меня всего обаятельнѣе подѣйствовало тогда его какъ бы смиреніе передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, такимъ мальчишкой! „Это былъ чадъ, но благословеніе и ему! вскричалъ онъ:—безъ этого ослѣпленія я бы,

можетъ, никогда не отыскалъ въ моемъ сердцѣ такъ всецѣло и на вѣки единственную царицу мою, мою страдальцу—твою мать“. Эти восторженные слова его, вырвавшіяся неудержимо, особенно отмѣчаю въ виду дальнѣйшаго. Но тогда онъ захватилъ и побѣдилъ мою душу.

Помню, мы стали подъ конецъ ужасно веселы. Онъ велѣлъ принести шампанскаго, и мы выпили за маму и за „будущее“. О, онъ такъ полонъ былъ жизнію и такъ собирался жить! Но веселы мы стали вдругъ ужасно не отъ вина: мы выпили всего по два бокала. Я не знаю отъ чего, но подъ конецъ мы смѣялись почти неудержимо. Мы стали говорить совсѣмъ о постороннемъ; онъ пустился разсказывать анекдоты, я ему тоже. И смѣхъ, и анекдоты наши были въ высшей степени не злобны и не насмѣшливы, но намъ было весело. Онъ все не хотѣлъ меня отпускать: „Посиди, посиди еще!“ повторялъ онъ, и я оставался. Даже вышелъ провожать меня; вечеръ былъ прелестный, слегка подморозило.

— Скажите: вы ей уже послали отвѣтъ? спросилъ я вдругъ совсѣмъ нечаянно, въ послѣдній разъ пожимая его руку на перекресткѣ.

— Нѣтъ еще, нѣтъ, и это все равно. Приходи завтра, приходи раньше... Да вотъ что еще: брось Ламберта совсѣмъ, а „документъ“ разорви, и скорѣй. Прощай!

Сказавъ это, онъ вдругъ ушелъ; я же остался, стоя на мѣстѣ и до того въ смущеніи, что не рѣшился воротить его. Выраженіе „документъ“ особенно потрясло меня: отъ кого же бы онъ узналъ, и въ такихъ точныхъ выраженіяхъ, какъ не отъ Ламберта? Я воротился домой въ больномъ смущеніи. Да и какъ же могло случиться, мелькнуло во мнѣ вдругъ, чтобъ такое двухлѣтнее навожденіе исчезло какъ сонъ, какъ чадъ, какъ видѣніе?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

Но проснулся я на утро свѣжѣе и душевнѣе. Я даже упрекнулъ себя, неволью и сердечно, за нѣкоторую легкость и какъ бы высокомеріе, съ которыми, какъ припоминалось мнѣ, вслушивалъ вчера нѣкоторыя мѣста его „исповѣди“. Если отчасти она была въ безпорядкѣ, если нѣкоторыя откровенія были нѣсколько какъ бы чадны и даже нескладны, то развѣ онъ готовился къ ораторской рѣчи, зазвавъ меня вчера къ себѣ? Онъ только сдѣлалъ мнѣ великую честь, обратившись ко мнѣ, какъ къ единственному другу въ такое мгновеніе, и этого я

никогда ему не забуду. Напротивъ, его исповѣдь была „трогательна“, какъ бы ни смѣялись надо мной за это выраженіе, и, если мелькало иногда циническое или даже что-то какъ будто смѣшное, то я былъ слишкомъ широкъ, чтобъ не понять и не допустить реализма—не мара, впрочемъ, идеала. Главное, я, наконецъ, достигъ этого человѣка, и даже мнѣ было отчасти жаль и какъ бы досадно, что все это оказалось такъ просто: этого человѣка я всегда ставилъ въ сердцѣ моемъ на чрезвычайную высоту, въ облака, и непремѣнно одѣваль его судьбу во что-то таинственное, такъ что естественно до сихъ поръ желалъ, чтобъ ларчикъ открывался похитрѣе. Впрочемъ, въ встрѣчѣ его *съ нею* и въ двухлѣтнихъ страданіяхъ его было много и сложнаго; онъ не захотѣлъ фатума жизни; ему нужна была свобода, а не рабство фатума; черезъ рабство фатума онъ принужденъ былъ оскорбить маму, которая просидѣла въ Кѣнигсбергѣ... Къ тому же, этого человѣка, во всякомъ случаѣ, я считалъ проповѣдникомъ: онъ носилъ въ сердцѣ золотой вѣкъ и зналъ будущее объ атеизмѣ; и вотъ встрѣча съ нею все надломила, все извратила! О, я ей не измѣнилъ, но все таки я взялъ его сторону. Мама, напримѣръ, разсуждалъ я, ничему бы не помѣшала въ судьбѣ его, даже бракъ его съ мамой. Это я понималъ; это—совсѣмъ не то, что встрѣча съ *тою*. Правда, мама все равно не дала бы ему спокойствія, но это даже тѣмъ бы и лучше: такихъ людей надо судить иначе, и пусть такъва и будетъ ихъ жизнь всегда; и это—вовсе не безобразіе; напротивъ, безобразіемъ было бы то, еслибы они успокоились, или, вообще, стали бы похожими на всѣхъ среднихъ людей. Похвалы его дворянству и слова его: „je m'outraî gentilhomme“ ни мало меня не смущали: я осмыслилъ какой это былъ gentilhomme; это былъ типъ, отдающій все и становящійся провозвѣстникомъ всемірнаго гражданства и главной русской мысли „всесоединенія идей“. И хоти бы это все было даже и вздоромъ, то есть, „всесоединеніе идей“ (что, конечно, немислимо), то все таки ужъ одно то хорошо, что онъ всю жизнь поклонялся идеѣ, а не глупому золотому тельцу. Боже мой! Да, замысливъ мою „идею“, я, я самъ—развѣ я поклонился золотому тельцу, развѣ мнѣ денегъ тогда надо было? Клянусь, мнѣ надо было лишь идею! Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обиль бы я себѣ бархатомъ и ѣлъ бы, имѣя сто милліоновъ, ту же тарелку супу съ говядиной, какъ и теперѣ!

Я одѣвался и спѣшилъ къ нему неудержимо. Прибавлю, на счетъ вчерашней выходки его о „документѣ“ я тоже былъ впятеро спокойнѣе, чѣмъ вчера. Во первыхъ, я надѣялся съ нимъ объясниться, а,

во вторыхъ, что же въ томъ, что Ламбертъ профильтровался и къ нему и объ чемъ-то тамъ поговорить съ нимъ?—Но главная радость моя была въ одномъ чрезвычайномъ ощущеніи: это была мысль, что онъ уже „не любилъ ея“; въ это я увѣровалъ ужасно и чувствовалъ, что съ сердца моего какъ бы кто-то столкнулъ страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку: именно безобразіе и бессмыслица той послѣдней яростной вспышки его при извѣстіи о Бьорингѣ и отсылка оскорбительнаго тогдашняго письма; именно эта крайность и могла служить какъ бы пророчествомъ и предтечей самой радикальной перемѣны въ чувствахъ его и близкаго возвращенія его къ здравому смыслу; это должно было быть почти какъ въ болѣзни, думалъ я, и онъ именно долженъ былъ придти къ противоположной точкѣ—медицинскій эпизодъ и больше ничего! Мысль эта дѣлала меня счастливымъ.

„И пусть, пусть она располагаетъ какъ хочетъ судьбой своей, пусть выходитъ за своего Бьоринга, сколько хочетъ, но только пусть онъ, мой отецъ, мой другъ, болѣе не любитъ ея“, восклицалъ я. Впрочемъ, тутъ была нѣкоторая тайна моихъ собственныхъ чувствъ, но о которыхъ я здѣсь, въ запискахъ моихъ, размазывать не желаю.

Вотъ и довольно. А теперь весь послѣдовавшій ужасъ и всю махинацію фактовъ передамъ уже безо всякихъ разсужденій.

II.

Въ десять часовъ, только что я собрался уходить—къ нему, разумеется—появилась Дарья Онисимовна. Я радостно спросилъ ее: „не отъ него ли?“ и съ досадой услышалъ, что вовсе не отъ него, а отъ Анны Андреевны, и что она, Дарья Онисимовна, „чѣмъ свѣтъ ушла съ квартиры“.

— Съ какой же квартиры?

— Да съ той самой, съ вчерашней. Вѣдь квартира вчерашняя, при младенцѣ-то, на мое имя теперь взята, и платитъ Татьяна Павловна...

— Э, ну, мнѣ все равно! прервалъ я съ досадой: — онъ-то по крайней мѣрѣ дома? Застану я его?

И, къ удивленію моему, я услышалъ отъ нея, что онъ еще раньше ея со двора ушелъ; значить, она—„чѣмъ свѣтъ“, а онъ еще раньше.

— Ну, такъ теперь воротился?

— Нѣтъ-съ, ужъ навѣрно не воротился, да и не воротится, можетъ,

и совсѣмъ, проговорила она, смотря на меня тѣмъ самымъ вострымъ и вороватымъ взглядомъ и точно такъ же не спуская его съ меня, какъ въ то уже описанное мною посѣщеніе, когда я лежалъ больной. Меня главное взорвало, что тутъ опять выступали ихъ какія-то тайны и глухости и что эти люди, видимо, не могли обойтись безъ тайнъ и безъ хитростей.

— Почему вы сказали: навѣрно не воротится? Чтò вы подразумеваете? Онъ къ мамѣ пошелъ — вотъ и все!

— Н-не знаю-сь.

— Да вы-то сами зачѣмъ пожаловали?

Она объявила мнѣ, что теперь она отъ Анны Андреевны и что та зоветъ меня и непремѣнно ждетъ меня сей же часъ, а то „поздно будетъ“. Это опять загадочное слово вывело меня уже изъ себя:

— Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду! Не дамъ я мной опять овладѣть! Наплевать на Ламберта — такъ и скажите ей, и что если она пришлетъ ко мнѣ своего Ламберта, то я его выгоню въ толчки — такъ и передайте ей!

Дарья Онисимовна испугалась ужасно.

— Ахъ нѣтъ-сь, шагнула она ко мнѣ, складывая руки ладонями и какъ бы умоляя меня: — вы ужъ повремените такъ слѣшать. Тутъ дѣло важное, для васъ самихъ очень важное, для нихъ тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей — для всѣхъ... Вы ужъ посѣтите Анну Андреевну тотчасъ же, потому что онѣ никакъ не могутъ болѣе дожидаться... ужъ это я васъ увѣряю честью... а потомъ и рѣшеніе приметъ.

Я глядѣлъ на нее съ изумленіемъ и отвращеніемъ.

— Вздоръ, ничего не будетъ, не приду! вскричалъ я упрямо и съ злорадствомъ: теперь — все по новому! Да и можете ли вы это понять? Прощайте, Дарья Онисимовна, нарочно не пойду, нарочно не буду васъ разспрашивать. Вы меня только сбиваете съ толку. Не хочу я проникать въ ваши загадки.

Но такъ какъ она не уходила и все стояла, то я, схвативъ шубу и шапку, вышелъ самъ, оставивъ ее среди комнаты. Въ комнатѣ же моей не было никакихъ писемъ и бумагъ, да я и прежде никогда почти не запиралъ комнату уходя. Но я не успѣлъ еще дойти до выходной двери, какъ съ лѣстницы сбѣжалъ за мною, безъ шляпы и въ вицмундирѣ, хозяинъ мой, Петръ Ипполитовичъ.

— Аркадій Макаровичъ! Аркадій Макаровичъ!

— Вамъ чтò еще?

— А вы ничего не прикажете, уходѣ?

— Ничего.

Онъ смотрѣлъ на меня вонзающимися взглядомъ и съ видимымъ безпокойствомъ:

— На счетъ квартиры, напригѣрь-сь?

— Что такое на счетъ квартиры? Вѣдь я вамъ въ срокъ прислалъ деньги?

— Да нѣтъ-сь, я не про деньги, улыбнулся онъ вдругъ длинной улыбкой и все продолжая вонзаться въ меня взглядомъ.

— Да что съ вами со всѣми? крикнулъ я, наконецъ, почти со всѣми озвѣрѣвъ:—вамъ-то еще чего?

Онъ подождалъ еще нѣсколько секундъ, все еще какъ бы чего-то отъ меня ожидая.

— Ну, значитъ, послѣ прикажете... коли ужъ теперь стихъ не таковъ, пробормоталъ онъ, еще длиннѣе ухмыляясь;—ступайте-сь, а я и самъ въ должность.

Онъ убѣждалъ къ себѣ по лѣстницѣ. Конечно, все это могло навести на размышленія. Я нарочно не опускаю ни малѣйшей черты изъ всей этой тогдашней мелкой безсмыслицы, потому что каждая черточка вошла потомъ въ окончательный букетъ, гдѣ и нашла свое мѣсто, въ чемъ и увѣрится читатель. А что тогда они дѣйствительно сбивали меня съ толку, то это—правда. Если я былъ такъ взволнованъ и раздраженъ, то именно слышавъ опять въ ихъ словахъ этотъ столь надобвшій мнѣ тонъ интригъ и загадокъ и напомнившій мнѣ старое. Но продолжаю.

Дома Верейлова не оказалось, и ушелъ онъ, дѣйствительно, чѣмъ свѣтъ. „Конечно — къ мамѣ“, стоялъ я упорно на своемъ. Няньку, довольно глупую бабу, я не спрашивалъ, а, кромѣ нея, въ квартирѣ никого не было. Я побѣждалъ къ мамѣ и, признаюсь, въ такомъ безпокойствѣ, что на полдорогѣ схватилъ извозчика. *У мамы его со вечерашняго вечера не было.* Съ мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошелъ, стала собираться уходить.

Онъ всѣ сидѣли наверху, въ моемъ „гробѣ“. Въ гостиной же нашей, внизу, лежалъ на столѣ Макаръ Ивановичъ, а надъ нимъ какой-то старикъ мѣрно читалъ псалтирь. Я теперь ничего уже не буду описывать изъ не прямо касающагося къ дѣлу, но замѣчу лишь, что гробъ, который уже успѣли сдѣлать, стоявшій тутъ же въ комнатѣ, былъ не простой, хотя и черннй, но обитый бархатомъ, а покровъ на покойникѣ былъ изъ дорогихъ—пышность не по старцу и не по

убѣжденіямъ его; но таково было настоятельное желаніе мамы и Татьяны Павловны вкупѣ.

Разумѣется, я не ожидалъ ихъ встрѣтить веселыми; но та особенная давящая тоска, съ заботой и безпокойствомъ, которую я прочелъ въ ихъ глазахъ, сразу поразила меня, и я мигомъ заключилъ, что „тутъ вѣрно не одинъ повойникъ причиною“. Все это, повторяю, я отлично запомнилъ.

Не смотря на все, я нѣжно обнялъ маму и тотчасъ спросилъ о немъ. Во взглядѣ мамы мигомъ сверкнуло тревожное любопытство. Я на-скоре упомянулъ, что мы съ нимъ вчера провели весь вечеръ до глубокой ночи, но что сегодня его нѣтъ дома, еще съ разсвѣта, тогда какъ онъ меня самъ пригласилъ еще вчера, разставаясь, придти сегодня какъ можно раньше. Мама ничего не отвѣтила, а Татьяна Павловна, улучивъ минуту, погрозила мнѣ пальцемъ.

— Прощай, братъ, вдругъ отрѣзала Лиза, быстро выходя изъ комнаты. Я, разумѣется, догналъ ее, но она остановилась у самой выходной двери.

— Я такъ и думала, что ты догадаешься сойти, проговорила она быстрымъ шопотомъ.

— Лиза, что тутъ такое?

— А я и сама не знаю, только много чего-то. Навѣрно, развязка „вѣчной исторіи“. Онъ не приходилъ, а онъ имѣютъ какія-то о немъ свѣдѣнія. Тебѣ не расскажутъ, не безпокойся, а ты не спрашивай, коли уменъ; но мама убита. Я тоже ни о чемъ не спрашивала. Прощай.

Она отворила дверь.

— Лиза, а у тебя у самой нѣтъ ли чего? выскочилъ я за нею въ сѣни. Ея ужасно убитый, отчаянный видъ пронзилъ мое сердце. Она посмотрѣла не то что злобно, а даже почти какъ-то ожесточенно, желчно усмѣхнулась и махнула рукой.

— Кабы умеръ—такъ и слава Богу! бросила она мнѣ съ лѣстницы и ушла. Это она сказала такъ про князя Сергѣя Петровича, а тотъ въ то время лежалъ въ горячкѣ и безпамятствѣ. „Вѣчная исторія! Какая вѣчная исторія?“ съ вызовомъ подумалъ я, и вотъ мнѣ вдругъ захотѣлось непременно рассказать имъ хоть часть вчерашнихъ моихъ впечатлѣній отъ его ночной исповѣди, да и самую исповѣдь. „Онъ что-то о немъ теперь думаютъ дурное—такъ пусть же узнаютъ все!“ пролетѣло въ моей головѣ.

Я помню, что мнѣ удалось какъ-то очень ловко начать рассказывать. Мигомъ на лицахъ ихъ обнаружилось страшное любопытство. На

этотъ разъ, и Татьяна Павловна такъ и впилась въ меня глазами; но мама была сдержаннѣе; она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсѣмъ какая-то безнадежная улыбка промелькнула таки въ лицѣ ея и не сходила почти во все время разсказа. Я, конечно, говорилъ хорошо, хотя и зналъ, что для нихъ почти непонятно. Къ удивленію моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючковъ, по своему обыкновенію, какъ всегда, когда я начиналъ что нибудь говорить. Она только сжимала изрѣдка губы и щурила глаза, какъ бы вникая съ усиліемъ. По временамъ, мнѣ даже казалось, что онѣ все понимаютъ, но этого почти быть не могло. Я, напримѣръ, говорилъ объ его убѣжденіяхъ, но, главное, объ его вчерашнемъ восторгѣ, о восторгѣ къ мамѣ, о любви его къ мамѣ, о томъ, что онъ цаловалъ ея портретъ... Слушая это, онѣ быстро и молча переглядывались, мама вся вспыхнула, хотя обѣ продолжали молчать. Затѣмъ... затѣмъ я, конечно, не могъ, *при мамѣ*, коснуться до главнаго пункта, то есть, до встрѣчи съ *нею* и всего прочаго, а, главное, до ея вчерашняго письма къ нему, и о нравственномъ „воскресеніи“ его послѣ письма; а это-то и было главнымъ, такъ что всѣ его вчерашнія чувства, которыми я думалъ такъ обрадовать маму, естественно остались непонятными, хотя, конечно, не по моей винѣ, потому что я все, чтò можно было разсказать, разсказалъ прекрасно. Кончилъ я совершенно въ недоумѣніи; ихъ молчаніе не прерывалось и мнѣ стало очень тяжело съ ними.

— Вѣрно, онъ теперь воротился, а, можетъ, сидитъ у меня и ждетъ, сказалъ я и всталъ уходить.

— Сходи, сходи! твердо поддакнула Татьяна Павловна.

— Внизу-то былъ? полушопотомъ спросила меня мама, прощаясь.

— Былъ, поклонился ему и помолился о немъ. Какой спокойный, благообразный ликъ у него, мама! Спасибо вамъ, мама, что не пожалѣли ему на гробъ. Мнѣ сначала это странно показалось, но тотчасъ же подумалъ, что и самъ то же бы сдѣлалъ.

— Въ церковь-те завтра придешь? спросила она—и у ней задрожали губы.

— Чтò вы, мама? удивился я:—я и сегодня на панихиду приду и еще приду; и... къ тому же, завтра—день вашего рожденія, мама, милый другъ мой! Не дожилъ онъ трехъ дней только!

Я вышелъ въ болѣзненномъ удивленіи: какъ же это задавать такіе вопросы—приду я или нѣтъ на отпѣваніе въ церковь? И, значить, если такъ обо мнѣ—то чтò же онѣ о *немъ* тогда думаютъ?

Я зналъ, что за мной погонится Татьяна Павловна, и нарочно приотстановился въ выходныхъ дверяхъ; но она, догнавъ меня, протолкнула меня рукой на самую лѣстницу, вышла за мной и притворила за собою дверь.

— Татьяна Павловна, значить вы Андрея Петровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуганъ...

— Молчи. Много важности, что ты испуганъ. Говори: чего ты тамъ не договорилъ, когда про вчерашнюю ахиною рассказывалъ?

Я не нашелъ нужнымъ скрывать и, почти въ раздраженіи на Версидова, передалъ все о вчерашнемъ письмѣ къ нему Екатерины Николаевны и объ эффектѣ письма, то есть, о воскресеніи его въ новую жизнь. Къ удивленію моему, фактъ письма ея ни мало не удивилъ, и я догадался, что она уже о немъ знала.

— Да ты врешь?

— Нѣтъ, не вру.

— Ишь вѣдь, ядовито улыбулась она, какъ бы раздумывая:— воскресъ! Станется отъ него и это! А правда, что онъ портретъ цаловалъ?

— Правда, Татьяна Павловна.

— Съ чувствомъ цаловалъ, не притворялся?

— Притворялся? Развѣ онъ когда притворяется? Стыдно вамъ, Татьяна Павловна; грубая у васъ душа, женская.

Я проговорилъ это съ жаромъ, но она какъ бы не слыхала меня: она что-то какъ бы опять соображала, не смотря на сильный холодъ на лѣстницѣ. Я-то былъ въ шубѣ, а она въ одномъ платьѣ.

— Поручила бы я тебѣ одно дѣло, да жаль, что ужь очень ты глупъ, проговорила она съ презрѣніемъ и какъ бы досадой.—Слушай, сходи-ка ты къ Аннѣ Андреевнѣ и посмотри, что у ней тамъ дѣлается... Да нѣтъ, не ходи; олухъ—такъ олухъ и есть! Ступай, маршъ, чего сталъ верстой?

— Анъ вотъ и не пойду къ Аннѣ Андреевнѣ! А Анна Андреевна и сама меня присылала звать.

— Сама? Дарью Онисимовну? быстро повернулась она ко мнѣ; она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее.

— Ни за что не пойду къ Аннѣ Андреевнѣ! повторилъ я съ злобнымъ наслажденіемъ;—потому не пойду, что назвали меня сейчасъ олухомъ, тогда какъ я никогда еще не былъ такъ проникателемъ, какъ сегодня. Всѣ ваши дѣла на ладонкѣ вижу; а къ Аннѣ Андреевнѣ все таки не пойду!

— Такъ я и знала! воскликнула она, но опять таки вовсе не на мои слова, а продолжая обдумывать свое.— Оплетутъ теперь ее всю и мертвой петлей затянутъ!

— Анну Андреевну?

— Дуракъ!

— Такъ про кого же вы? Такъ ужъ не про Катерину ли Николаевну? Какой мертвой петлей? Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла всю душу мою. Татьяна Павловна пронзительно поглядѣла на меня.

— Ты-то чего тамъ? спросила она вдругъ.— Ты-то тамъ въ чемъ участвуешь? Слышала я что-то и про тебя—ой, смотри!

— Слушайте, Татьяна Павловна: я вамъ сообщу одну страшную тайну, но только не сейчасъ, теперь нѣтъ времени, а завтра наединѣ, но зато скажите мнѣ теперь всю правду, и что это за мертвая петля... потому что я весь дрожу...

— А наплевать мнѣ на твою дрожь! воскликнула она. — Какую еще рассказать хочешь завтра тайну? Да ужъ ты впрямь не знаешь ли чего? впиалась она въ меня вопросительнымъ взглядомъ.— Вѣдь самъ же ей повѣлся тогда, что письмо Крафта сожечь.

— Татьяна Павловна, повторяю вамъ, не мучьте меня, продолжайте я свое, въ свою очередь не отвѣчая ей на вопросъ, потому что былъ внѣ себя:—смотрите, Татьяна Павловна, чрезъ то, что вы отъ меня скрываете, можетъ выйти еще чтонибудь хуже... вѣдь онъ вчера былъ въ полномъ, въ полнѣйшемъ воскресеніи!

— Э, убрαιся, шутъ! Самъ-то небось тоже, какъ воробей, влюбленъ—отецъ съ сыномъ въ одинъ предметъ! Фу, безобразники!

Она скрылась, съ негодованіемъ хлопнувъ дверь. Въ бѣшенствѣ отъ наглаго, безстыднаго цинизма самыхъ послѣднихъ ея словъ—цинизма, на который способна лишь женщина, я выбѣжалъ глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутныхъ ощущеній моихъ, какъ уже и далъ слово; буду продолжать лишь фактами, которые теперь все разрѣшать. Разумѣется, я пробѣжалъ мимоходомъ опять къ нему и опять отъ няньки услышалъ, что онъ не бывалъ вовсе.

— И совсѣмъ не придетъ?

— А Богъ ихъ вѣдаетъ.

III.

Фактами, фактами!.. Но понимаетъ ли чтонибудь читатель? Помню, какъ меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали ни-

чего осмыслить, такъ что, подъ конецъ того дня, у меня совсѣмъ голова сбилась съ толку. А потому двумя-тремя словами забѣгу впередъ.

Всѣ муки мои состояли вотъ въ чемъ: если вчера онъ воскресъ и ее разлюбилъ, то въ такомъ случаѣ, гдѣ бы онъ долженствовалъ быть сегодня? Отвѣтъ: прежде всего—у меня, съ которымъ вчера обнижался, а потомъ сейчасъ же у мамы, которой портретъ онъ вчера цаловалъ. И вотъ, вмѣсто этихъ двухъ натуральныхъ шаговъ, его вдругъ „чѣмъ свѣтъ“ нѣту дома и онъ куда-то пропалъ, а Дарья Онисимовна бредитъ почему-то, что „врядъ-ли и воротится“. Мало того: Лиза увѣряетъ о какой-то развязкѣ „вѣчной исторіи“ и о томъ, что у мамы о немъ имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія, и уже позднѣйшія: сверхъ того, тамъ несомнѣнно знаютъ и про письмо Катерины Николаевны (это я самъ примѣтилъ), и все таки не вѣрятъ его „воскресенію въ новую жизнь“, хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна надъ словомъ „воскресеніе“ ехидно остричь. Но если все это—такъ, то, значить, съ нимъ опять случился за ночь переворотъ, опять кризисъ, и это—послѣ вчерашняго-то восторга, умиленія, паэсса! Значить, все это „воскресеніе“ лопнуло, какъ надутый пузырь, и онъ, можетъ быть, теперь опять толчется гдѣ нибудь въ томъ же бѣшенствѣ, какъ тогда послѣ извѣстія о Бьорингѣ! Спрашивается, чтѣ же будетъ съ мамой, со мной, со всѣми нами и... и—что же будетъ, наконецъ, съ нею? Про какую „мертвую петлю“ проболталась Татьяна, посылая меня къ Аннѣ Андреевнѣ? Значить, тамъ-то и есть эта „мертвая петля“—у Анны Андреевны! Почему же у Анны Андреевны? Разумѣется, я побѣгу къ Аннѣ Андреевнѣ; это я нарочно, съ досады лишь сказалъ, что не пойду; я сейчасъ побѣгу. Но чтѣ такое говорила Татьяна про „документъ“? И не онъ ли самъ сказалъ мнѣ вчера: „Сожги документъ“.

Вотъ были мысли мои, вотъ чтѣ давило меня тоже мертвой петлей; но, главное, мнѣ надо было *его*. Съ нимъ бы я тотчасъ же все порѣшилъ—я это чувствовалъ; мы поняли бы одинъ другаго съ двухъ словъ! Я бы схватилъ его за руки, сжалъ ихъ; я бы нашелъ въ моемъ сердцѣ горячія слова,—мечталось мнѣ неотразимо. О, я бы покоришь безуміе!.. Но гдѣ онъ? Гдѣ онъ? И вотъ, нужно же было въ такую минуту подвернуться Ламберту, когда я такъ былъ разгоряченъ! Не доходя нѣсколькихъ шаговъ до моего дома, я вдругъ встрѣтилъ Ламберта; онъ радостно завопилъ, меня увидавъ, и схватилъ меня за руку:

— Я къ тебѣ уже третій разъ... Епфип! Пойдемъ завтракать!

— Стой! Ты у меня былъ? Тамъ нѣтъ Андрея Петровича?

— Нѣтъ тамъ никого. Оставь ихъ всѣхъ! Ты, духгакъ, вчера разсердился; ты былъ пьянъ, а я имѣю тебѣ говорить важное; я сегодня слышала прелестныя вѣсти про то, что мы вчера говорили...

— Ламбертъ, перебилъ я, задыхаясь и торопясь и по неволѣ нѣсколько декламируя:—если я остановился съ тобою, то единственно за тѣмъ, чтобы навсегда съ тобою покончить. Я уже говорилъ тебѣ вчера, но ты все не понимаешь. Ламбертъ, ты—ребенокъ и глупъ, какъ французъ. Ты все думаешь, что ты какъ у Тушара, и что я такъ же глупъ, какъ у Тушара. . Но я не такъ же глупъ, какъ у Тушара... Я вчера былъ пьянъ, но не отъ вина, а потому, что былъ и безъ того возбужденъ; а если я поддакивалъ тому, что ты молодъ, то потому, что я хитрилъ, чтобы вывѣдать твои мысли. Я тебя обманывалъ, а ты обрадовался, и повѣрилъ, молодъ.— Знай, что жениться на ней, это — такой вздоръ, которому гимназистъ приготовительнаго класса не повѣритъ. Можно ли подумать, чтобы я повѣрилъ? А ты повѣрилъ! Ты потому повѣрилъ, что ты не принять въ высшемъ обществѣ и ничего не знаешь, какъ у нихъ въ высшемъ свѣтѣ дѣлается. Это не такъ просто у нихъ въ высшемъ свѣтѣ дѣлается, и это невозможно, чтобы такъ просто—взяла да и вышла замужъ... Теперь скажу тебѣ ясно, чего тебѣ хочется: тебѣ хочется зазвать меня, чтобы опохмѣть и чтобы я выдалъ тебѣ документъ и пошелъ съ тобою на какое-то мошенничество противъ Катерины Николаевны! Такъ врешь же! Не приду къ тебѣ никогда, и знай тоже, что завтра же, или уже непремѣнно послѣ завтра, бумага эта будетъ въ ея собственныхъ рукахъ, потому что документъ этотъ принадлежитъ ей, потому что ею написанъ, и я самъ передамъ ей лично, и, если хочешь знать гдѣ, такъ знай, что черезъ Татьяну Павловну, ея знакомую, въ квартирѣ Татьяны Павловны, при Татьянѣ Павловнѣ—передамъ и за документъ не возьму съ нея ничего. А теперь отъ меня—маршъ навсегда, не то... не то, Ламбертъ, я обойдусь не столь учтиво...

Окончивъ это, я весь дрожалъ мелкою дрожью. Самое главное дѣло и самая скверная привычка въ жизни, вредящая всему въ каждомъ дѣлѣ, это... это, если зарисуешься. Чортъ меня дернулъ разгорячиться передъ нимъ до того, что я, кончая рѣчь и съ наслажденіемъ отчеканивая слова и возвышая все болѣе и болѣе голосъ, вошелъ вдругъ въ такой жаръ, что всунулъ эту совсѣмъ ненужную подробность о томъ, что передамъ документъ черезъ Татьяну Павловну и у нея на квартирѣ! Но мнѣ такъ вдругъ захотѣлось тогда его огорошить! Когда я брякнулъ такъ прямо о документѣ и вдругъ увидѣлъ его глушій испугъ,

мнѣ вдругъ захотѣлось еще пуще придавить его точностью подробностей. И вотъ эта-то бабья хвастливая болтовня и была потомъ причиною ужасныхъ несчастій, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ея квартиру тотчасъ же засѣла въ умѣ его, какъ у мошенника и практическаго человѣка на малыя дѣла; въ высшихъ и важныхъ дѣлахъ онъ ничтоженъ и ничего не смыслить, но на эти мелочи у него все таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павловну—не случилось бы большихъ бѣдъ. Однако, выслушавъ меня, онъ въ первую минуту потерялся ужасно.

— Слушай, пробормоталъ, онъ: — Альфонсина... Альфонсина споешь... Альфонсина была у ней; слушай: я имѣю письмо, почти письмо, гдѣ Ахмакова говорить про тебя, мнѣ рабой досталъ, помнишь рябаго— и вотъ увидишь, вотъ увидишь, пойдемъ!

— Лжешь, покажи письмо!

— Оно дома, у Альфонсины, пойдемъ!

Разумѣется, онъ вралъ и бредилъ, трепеща, чтобы я не убѣждалъ отъ него; но я вдругъ бросилъ его среди улицы, и, когда онъ хотѣлъ было за мной слѣдовать, то остановился и погрозилъ ему кулакомъ. Но онъ уже стоялъ въ раздумьи—и далъ мнѣ уйти: у него уже, можетъ быть, замелькалъ въ головѣ новый планъ. Но для меня сюрпризы и встрѣчи не кончились... И какъ вспомню весь этотъ несчастный день, то все кажется, что всѣ эти сюрпризы и нечаянности точно тогда створились вмѣстѣ и такъ и посыпались разомъ на мою голову изъ какого-то проклятаго рога изобилія. Едва я отворилъ дверь въ квартиру, какъ столкнулся, еще въ передней, съ однимъ молодымъ человѣкомъ высокаго роста, съ продолговатымъ и блѣднымъ лицомъ, важной и „изящной“ наружности и въ великолѣпной шубѣ. У него былъ на носу пенсне; но онъ тотчасъ же, какъ завидѣлъ меня, стянулъ его съ носа (очевидно, для учтивости) и, вѣжливо приподнявъ рукой свой цилиндръ, но, впрочемъ, не останавливаясь, проговорилъ мнѣ, изящно улыбаясь: „На, bonsoir“ и прошелъ мимо на лѣстницу. Мы оба узнали друга друга тотчасъ же, хотя видѣлъ я его всего только мелькомъ одинъ разъ въ моей жизни, въ Москвѣ. Это былъ братъ Анны Андреевны, камеръ-юнкеръ, молодой Версиловъ, сынъ Версилова, а, стало быть, почти и мой братъ. Его провожала хозяйка (хозяйинъ все еще не возвращался со службы). Когда онъ вышелъ, я такъ на нее и накинулся:

— Чтò онъ тутъ дѣлаетъ? Онъ въ моей комнатѣ былъ?

— Совсѣмъ не въ вашей комнатѣ. Онъ проходилъ ко мнѣ... быстро и сухо отрѣзала она и повернулась къ себѣ.

— Нѣтъ, этакъ нельзя! закричалъ я:—извольте отвѣчать: зачѣмъ онъ приходилъ?

— Ахъ, Боже мой! Такъ вамъ все и рассказывать, зачѣмъ люди ходятъ. Мы, кажется, тоже свой расчетъ можемъ имѣть. Молодой человекъ, можетъ, денегъ занять захотѣлъ, у меня адресъ узнавалъ. Можетъ, я ему еще съ прошлаго раза пообщала...

— Когда съ прошлаго раза?

— Ахъ, Боже мой! Да, вѣдь, не впервой же онъ приходитъ!

Она ушла. Главное, я понялъ, что тутъ тонъ измѣняется: они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это — опять секретъ; секреты накоплялись съ каждымъ шагомъ, съ каждымъ часомъ. Въ первый разъ молодой Версильовъ прѣвзжалъ съ сестрой, съ Анной Андреевной, когда я былъ боленъ; про это я слишкомъ хорошо помнилъ, равно и то, что Анна Андреевна уже забинула мнѣ вчера удивительное словечко, что, можетъ быть, старшій князь остановится на моей квартирѣ... Но все это было такъ сбито и такъ уродливо, что я почти ничего не могъ на этотъ счетъ придумать. Хлопнувъ себя по лбу и даже не присѣвъ отдохнуть, я побѣжалъ къ Аннѣ Андреевнѣ: ея не оказалось дома, а отъ швейцара получилъ отвѣтъ, что „поѣхали въ Царское; завтра только развѣ около этого времени будутъ“.

Она—въ Царское и ужъ, разумеется, къ старому князю, а братъ ея осматриваетъ мою квартиру! Нѣтъ, этого не будетъ! проскрежеталъ я:—а если тутъ, и въ самомъ дѣлѣ, какая нибудь мертвая петля, то я защищу „бѣдную женщину“!

Отъ Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что въ воспаленной головѣ мой вдругъ промелькнуло воспоминаніе о трактирѣ на канавѣ, въ который Андрей Петровичъ имѣлъ обыкновеніе заходить въ иные мрачныя свои часы. Обрадовавшись догадкѣ, я мигомъ побѣжалъ туда; былъ уже четвертый часъ и смеркалось. Въ трактирѣ извѣстили, что онъ приходилъ: „побывали немного и ушли, а, можетъ, и еще придутъ“. Я вдругъ изъ всей силы рѣшился ожидать его и велѣлъ подать себѣ обѣдать; по крайней мѣрѣ, являлась надежда.

Я съѣлъ обѣдъ, съѣлъ даже лишнее, чтобы имѣть право какъ можно дольше оставаться, и просидѣлъ, я думаю, часа четыре. Не описываю мою грусть и лихорадочное нетерпѣніе; точно все во мнѣ внутри сотрясалося и дрожало. Этотъ органъ, эти посѣтители—о, вся эта тоска отпечатлѣлась въ душѣ моей, быть можетъ, на всю жизнь! Не описываю и мыслей, подымавшихся въ головѣ, какъ туча сухихъ листьевъ осенью, послѣ налетѣвшаго вихря; право, чтѣ-то было на это

похоже и, признаюсь, я чувствовалъ, что, по временамъ, мнѣ начинаетъ измѣнять разсудокъ.

Но чтó мучило меня до боли (мимоходомъ, разужьется, сбоку, мимо главнаго мученія)—это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатлѣніе— неотвязчивое, какъ ядовитая, осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около васъ, жьшастъ вамъ и вдругъ преобильно уку- сить. Это было лишь воспоминаніе, одно происшествіе, о которомъ я еще никому на свѣтѣ не сказывалъ. Вотъ въ чемъ дѣло, ибо надобно же и это гдѣ нибудь разсказать.

IV.

Когда въ Москвѣ уже было рѣшено, что я отправлюсь въ Петербургъ, то мнѣ дано было знать чрезъ Николая Семеновича, чтобы я ожидалъ присылки денегъ на выѣздъ. Отъ кого придутъ деньги—я не справлялся; я зналъ, что отъ Верилова, а такъ какъ я день и ночь мечталъ тогда, съ замираніемъ сердца и съ высокомѣрными планами, о встрѣчѣ съ Верилловымъ, то о немъ вслухъ совсѣмъ пересталъ говорить, даже съ Марьей Ивановной. Напомню, впрочемъ, что у меня были и свои деньги на выѣздъ; но я все таки положилъ ждать; между прочимъ, предполагалъ, что деньги придутъ черезъ почту.

Вдругъ, однажды Николай Семеновичъ, возвратясь домой, объявилъ мнѣ (по своему обмѣновенію, кратко и не размазывая), чтобы я сходилъ завтра на Мясницкую, въ одиннадцать часовъ утра, въ домъ и квартиру князя В—скаго, и что тамъ пріѣхавшій изъ Петербурга камеръ-юнкеръ Верилловъ, сынъ Андрея Петровича и остановившійся у товарища своего по лицу, князя В—скаго, вручить мнѣ присланную для переѣзда сумму. Казалось бы, дѣло весьма простое: Андрей Петровичъ весьма могъ поручить своему сыну эту комиссію вмѣсто отсылки черезъ почту; но извѣстіе это меня какъ-то неестественно придавило и испугало. Сомнѣній не было, что Верилловъ хотѣлъ свести меня съ своимъ сыномъ, моимъ братомъ; такимъ образомъ, обрисовывались намѣренія и чувства человѣка, о которомъ мечталъ я; но представлялся громадный для меня вопросъ: какъ же буду и какъ же долженъ я вести себя въ этой совсѣмъ неожиданной встрѣчѣ, и не потеряетъ ли въ чемъ нибудь собственное мое достоинство?

На другой день, ровно въ одиннадцать часовъ, я явился въ квартиру князя В—скаго, холостую, но, какъ угадывалось мнѣ, пышно меблированную, съ лакеями въ ливреяхъ. Я остановился въ передней.

Изъ внутреннихъ комнатъ долетали звуки громкаго разговора и смѣха: у князя, кромя камеръ-юнкера гостя, были и еще посѣтители. Я велѣлъ лакею о себѣ доложить и, кажется, въ немного гордыхъ выраженіяхъ: по крайней мѣрѣ, уходя докладывать, онъ посмотрѣлъ на меня странно, мнѣ показалось даже не такъ почитительно, какъ бы слѣдовало. Къ удивленію моему, онъ что-то ужъ очень долго докладывалъ, минутъ съ пять, а между тѣмъ оттуда все раздавались тотъ же смѣхъ и тѣ же отзвуки разговора.

Я, разумѣется, ожидалъ стоя, очень хорошо зная, что мнѣ, какъ „такому же барину“, неприлично и невозможно сѣсть въ передней, гдѣ были лакеи. Самъ же я, своей волей, безъ особаго приглашенія, ни за что не хотѣлъ шагнуть въ залу, изъ гордости; изъ утонченной гордости, можетъ быть, но такъ слѣдовало. Къ удивленію моему, оставшіеся лакеи (двое) осмѣлились при мнѣ сѣсть. Я отвернулся, чтобы не замѣтить этого, и, однакожь, началъ дрожать всѣмъ тѣломъ, и вдругъ, обернувшись и шагнувъ къ одному лакею, велѣлъ ему „тотчасъ же“ пойти доложить еще разъ. Не смотря на мой строгій взглядъ и чрезвычайное мое возбужденіе, лакей лѣниво посмотрѣлъ на меня, не вставая, и уже другой за него отвѣтилъ:

— Доложено, не безпокойтесь.

Я рѣшилъ прождать еще только одну минуту или, по возможности, даже менѣе минуты, а тамъ—*непременно уйти*. Главное, я былъ одѣтъ весьма прилично: платье и пальто все таки были новыя, а бѣлье совершенно свѣжее, о чемъ позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этихъ лакеевъ я уже гораздо позже и уже въ Петербургѣ *наотрѣно* узналъ, что они, чрезъ пріѣхавшаго съ Версиловымъ слугу, узнали еще наканунѣ, что „придетъ, дескать такой-то, побочный братъ и студентъ“. Про это я теперь знаю на вѣрное.

Минута прошла. Странное это ощущеніе, когда рѣшаешься и не можешь рѣшиться: „уйти или нѣтъ, уйти или нѣтъ?“ повторялъ я каждую секунду почти въ ознобъ; вдругъ показался ухидившій докладывать слуга. Въ рукахъ у него, между пальцами, болтались четыре красныхъ кредитки, сорокъ рублей.

— Вотъ-съ, извольте получить сорокъ рублей!

Я вскипѣлъ. Это была такая обида! Я всю прошлую ночь мечталъ объ устроенной Версиловымъ встрѣчѣ двухъ братьевъ; я всю ночь грезилъ въ лихорадкѣ, какъ я долженъ держать себя и не уронить—не уронить всего цикла идей, которыя выжилъ въ уединеніи моемъ и ко-

торыми могъ гордиться даже въ какомъ угодно кругу. Я мечталъ, какъ я буду благороденъ, гордъ и грустенъ, можетъ быть, даже въ обществѣ князя В—скаго, и, такимъ образомъ, прямо буду введенъ въ этотъ свѣтъ—о, я не щажу себя, и пусть, и пусть: такъ и надо записать это въ такихъ точно подробностяхъ! И вдругъ сорокъ рублей черезъ лакея, въ переднюю, да еще послѣ десяти минутъ ожиданія, да еще прямо изъ рукъ, изъ лакейскихъ пальцевъ, а не на тарелкѣ, не въ конвертѣ!

Я до того закричалъ на лакея, что онъ вздрогнулъ и отшатнулся; я немедленно велѣлъ ему отнести деньги назадъ и чтобы „баринъ его самъ принесъ“ — однимъ словомъ, требованіе мое было, конечно, бессвязное и ужъ, конечно, непонятное для лакея. Однакожъ я такъ закричалъ, что онъ пошелъ. Вдобавокъ, въ залѣ, кажется, мой крикъ услышали—и говоръ, и смѣхъ вдругъ затихли.

Почти тотчасъ же я слышалъ шаги, важные, неспѣшныя, мягкія, и высокая фигура красиваго и надменнаго молодого человѣка (тогда онъ мнѣ показался еще блѣднѣе и худощавѣе, чѣмъ въ сегодняшнюю встрѣчу) показалась на порогѣ въ переднюю—даже на аршинъ не доходя до порога. Онъ былъ въ великолѣпномъ красномъ шелковомъ халатѣ и въ туфляхъ, и съ пенснѣ на носу. Не проговоривъ ни слова, онъ направилъ на меня пенснѣ и сталъ разсматривать. Я, какъ звѣрь, шагнулъ въ нему одинъ шагъ и сталъ съ вызовомъ, смотря на него въ упоръ. Но разсматривалъ онъ меня лишь мгновеніе, всего секундъ десять; вдругъ самая непримѣтная усмѣшка показалась на губахъ его, и, однакожъ, самая язвительная, тѣмъ именно и язвительная, что почти непримѣтная: онъ молча повернулся и пошелъ опять въ комнату, также не торопясь, также тихо и плавно, какъ и пришелъ. О, эти обидчики еще съ дѣтства, еще въ семействахъ своихъ, внучиваются матерями своими обижать! Разумѣется, я потерялся... О, зачѣмъ я тогда потерялся!

Почти въ то же мгновеніе появился опять тотъ же лакей съ тѣми же кредитками въ рукахъ:

— Извольте получить, это—вамъ изъ Петербурга, а принять васъ самихъ не могутъ; „въ другое время развѣ какъ нибудь, когда итъ будетъ свободнѣе“. — Я почувствовалъ, что эти послѣднія слова онъ уже отъ себя прибавилъ. Но потерянность моя все еще продолжалась. Я принялъ деньги и пошелъ къ дверямъ; именно отъ потерянности принялъ, потому что надо было не принять; но лакей, ужъ, конечно, желая язвить меня, позволилъ себѣ одну самую лакейскую выходку:

онъ вдругъ усиленно распахнулъ предо мною дверь и, держа ее настежь, проговорилъ важно и съ удареніемъ, когда я проходилъ мимо:

— Пожалуйте-съ!

— Подлецъ! заревѣлъ я на него и вдругъ замахнулся, но не опустилъ руки: — и твой баринъ подлецъ! Доложи ему это сейчасъ, прибавилъ я и быстро вышелъ на лѣстницу.

— Это вы такъ не смѣете! Это еслибъ я барину тотчасъ доложилъ, то васъ сію же минуту при запискѣ можно въ участокъ препроводить. А замахиваться руками не смѣете...

Я спускался съ лѣстницы. Лѣстница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видѣть всего, пока я спускался по красному ковру. Всѣ три лакея вышли и стали наверху, надъ перилами. Я, конечно, рѣшился молчать: браниться съ лакеями было невозможно. Я сошелъ всю лѣстницу, не прибавляя шагу и даже, кажется, замедливъ шагъ.

О, пусть есть философы (и позоръ на нихъ!), которые скажутъ, что все это—пустяки, раздраженіе молокососа—пусть, но для меня это была рана—рана, которая и до сихъ поръ не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу и когда уже все кончено и даже отомщено. О, клянусь! Я не злопамятенъ и не мстителенъ. Безъ сомнѣнія, я всегда, даже до болѣзни, желаю отомстить, когда меня обидятъ, но клянусь—лишь однимъ великодушіемъ. Пусть я отплачу ему великодушіемъ, но съ тѣмъ, чтобы это онъ почувствовалъ, чтобы онъ это понялъ — и я отищенъ! Кстати прибавлю: я не мстителенъ, но я злопамятенъ, хотя и великодушенъ—бываетъ ли такъ съ другими? Тогда же, о, тогда я пришелъ съ великодушными чувствами, можетъ быть, смѣшными, но пусть: лучше пусть смѣшными, да великодушными, чѣмъ не смѣшными, да подлыми, обиденными, срединными! Про эту встрѣчу съ „братомъ“ я никому не открывалъ, даже Марьѣ Ивановнѣ, даже въ Петербургѣ Лизѣ; эта встрѣча была все равно, что полученная позорно пощечина. И вотъ, вдругъ этотъ господинъ встрѣчается, когда я всего менѣе его ожидалъ встрѣтить; онъ улыбается мнѣ, снимаетъ шляпу и совершенно дружески говоритъ: „bonsoir“. Конечно, было о чемъ подумать... Но рана открылась!

V.

Просидѣвъ часа четыре слишкомъ въ трактирѣ, я вдругъ выбѣжалъ, какъ въ припадкѣ—разумѣется, опять къ Версикову и, разумѣется,

опять не засталъ дома, не приходилъ вовсе; нянька была скучна и вдругъ попросила меня прислать Дарью Онисимовну; о, до того-ли мнѣ было! Я забѣжалъ и къ мамѣ, но не вошелъ, а вызвалъ Луверья въ сѣни; отъ нея узналъ, что онъ не былъ и что Лизы тоже нѣтъ дома. Я видѣлъ, что Луверья тоже хотѣла бы что-то спросить и, можетъ быть, тоже что нибудь мнѣ поручить; но до того ли мнѣ было! Оставалась послѣдняя надежда, что онъ заходилъ ко мнѣ; но уже этому я не вѣрилъ.

Я уже предупредилъ, что почти терялъ рассудокъ. И вотъ, въ моей комнатѣ я вдругъ застаю Альфонсинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитовича въ рукахъ была свѣча.

— Это—что! почти бессмысленно завопилъ я на хозяина:—какъ вы смѣли ввести эту шельму въ мою комнату?

— Тиенъ! вскричала Альфонсинка:—*et les amis!*

— Вонъ! заревѣлъ я.

— *Mais c'est un ours!* выпорхнула она въ корридоръ, притворяясь испуганною, и въ мигъ скрылась къ хозяйкѣ. Петръ Ипполитовичъ, все еще со свѣчей въ рукахъ, подошелъ ко мнѣ съ строгимъ видомъ:

— Позвольте вамъ замѣтить, Аркадій Макаровичъ, что вы слишкомъ разгорячились; какъ ни уважаемъ мы васъ, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсѣмъ напротивъ, находится въ гостяхъ, и не у васъ, а у моей жены, съ которою уже нѣсколько времени какъ обоюдно знакомы.

— А какъ вы смѣли ввести ее въ мою комнату? повторилъ я, схвативъ себя за голову, которая почти вдругъ ужасно заболѣла.

— А случайно-съ. Это я входилъ, чтобъ затворить форточку, которую я же и отворилъ для свѣжаго воздуха; а такъ какъ мы продолжали съ Альфонсиной Карловной прежній разговоръ, то среди разговора она и зашла въ вашу комнату, единственно сопровождая меня.

— Неправда, Альфонсинка—шпіонъ, Ламбертъ—шпіонъ! Можетъ быть, вы сами—тоже шпіонъ! А Альфонсинка приходила у меня что нибудь украсть.

— Это ужъ какъ вамъ будетъ угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдать на нѣкоторое время, а самъ съ женой переберусь въ коморку, такъ что Альфонсина Карловна теперь—почти такая же здѣсь жилица, какъ и вы-съ.

— Вы Ламберту сдали квартиру? вскричалъ я въ испугѣ.

— Нѣтъ-съ, не Ламберту, улыбнулся онъ давешней длинной улыбкой, въ которой, впрочемъ, видна была уже твердость взгляда утренняго

недоумѣнія:—полагаю, что сами изволите знать кому, а только напрасно дѣлаете видъ, что не знаете, единственно для красоты-съ, а потому и сердитесь. Покойной ночи-съ!

— Да, да, оставьте, оставьте меня въ покоѣ! замахалъ я руками, чуть не плача, такъ что онъ вдругъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня; однако-же, вышелъ. Я насадилъ на дверь крючокъ и повалился на мою кровать ничкомъ въ подушку. И вотъ такъ прошелъ для меня этотъ первый ужасный день изъ этихъ трехъ роковыхъ послѣднихъ дней, которыми завершаются мои записки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I.

Но я опять, предупреждая ходъ событій, нахожу нужнымъ разъяснить читателю хотя бы нѣчто впередъ, ибо тутъ къ логическому теченію этой исторіи примѣшалось такъ много случайностей, что, не разъяснивъ ихъ впередъ, нельзя разобрать. Тутъ дѣло состояло въ этой самой „мертвой петлѣ“, о которой проговорилась Татьяна Павловна. Состояла же эта петля въ томъ, что Анна Андреевна рискнула, наконецъ, на самый дерзкій шагъ, который только можно было представить въ ея положеніи. Подлинно—характеръ! Хотя старый князь, подъ предлогомъ здоровья, и былъ тогда своевременно конфискованъ въ Царское Село, такъ что извѣстіе о его бракѣ съ Анной Андреевной не могло распространиться въ свѣтѣ и было на время потушено, такъ сказать, въ самомъ зародышѣ, но, однакоже, слабый старичокъ, съ которымъ все можно было сдѣлать, ни за что на свѣтѣ не согласился бы отстать отъ своей идеи и измѣнить Аннѣ Андреевнѣ, сдѣлавшей ему предложеніе. На этотъ счетъ онъ былъ рыцаремъ, такъ что рано или поздно, онъ вдругъ могъ встать и приступить къ исполненію своего намѣренія съ неудержимой силой, что весьма и весьма случается, именно съ слабыми характерами, ибо у нихъ есть такая черта, до которой не надобно доводить ихъ. Къ тому же онъ совершенно сознавалъ всю щекотливость положенія Анны Андреевны, которую уважалъ безмѣрно, сознавалъ возможность свѣтскихъ слуховъ, насмѣшекъ, худой на ея счетъ молвы. Смиряло и останавливало его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словомъ, ни намекомъ, не позволила себѣ заикнуться въ его присутствіи объ Аннѣ Андреевнѣ съ дурной стороны или обнаружить хоть что нибудь противъ намѣренія его вступить съ нею въ бракъ. Напротивъ, она высказывала ярезвычайное радушіе и

вниманіе къ невѣстѣ отца своего. Такимъ образомъ, Анна Андреевна поставлена была въ чрезвычайно неловкое положеніе, тонко понимая своимъ женскимъ чутьемъ, что малѣйшимъ наговоромъ на Катерину Николаевну, передъ которой князь тоже благоговѣлъ, а теперь даже болѣе, чѣмъ всегда, и именно потому, что она такъ благодушно и почтительно позволила ему жениться—малѣйшимъ наговоромъ на нее она оскорбила бы всѣ его нѣжныя чувства и возбудила бы въ немъ къ себѣ недовѣріе и даже, пожалуй, негодованіе. Такимъ образомъ, на этомъ полѣ пока и шла битва: обѣ соперницы какъ бы соперничали одна передъ другой въ деликатности и терпѣніи, и князь, въ концѣ концовъ, уже не зналъ, которой изъ нихъ болѣе удивляться, и, по обыкновенію всѣхъ слабыхъ, но нѣжныхъ сердцемъ людей, кончилъ тѣмъ, что началъ страдать и винить во всемъ одного себя. Тоска его, говорятъ, дошла до болѣзни; нервы его и впрямь разстроились, и вмѣсто поправки здоровья въ Царскомъ, онъ, какъ увѣрили, готовъ уже былъ слечь въ постель.

Здѣсь замѣчу въ скобкахъ о томъ, о чемъ узналъ очень долго спустя: будто бы Бьорингъ прямо предлагалъ Катеринѣ Николаевнѣ отвезти старика за границу, склонивъ его къ тому какъ нибудь обманомъ, объявивъ, между тѣмъ, негласно въ свѣтѣ, что онъ совершенно лишился разсудка, а за границей уже достать свидѣтельство объ этомъ врачей. Но этого-то и не захотѣла Катерина Николаевна ни за что; такъ, по крайней мѣрѣ, потомъ утверждали. Она будто бы съ негодованіемъ отвергнула этотъ проектъ. Все это—только самый отдаленный слухъ, но я ему вѣрю.

И вотъ, когда дѣло, такъ сказать, дошло до послѣдней безвыходности, Анна Андреевна вдругъ, черезъ Ламберта, узнаетъ, что существуетъ такое письмо, въ которомъ дочь уже совѣтовалась съ юристомъ о средствахъ объявить отца сумасшедшимъ. Мстительный и гордый умъ ея былъ возбужденъ въ высочайшей степени. Вспоминая прежніе разговоры со мной и сообразивъ множество мельчайшихъ обстоятельствъ, она не могла усомниться въ вѣрности извѣстія. Тогда въ этомъ твердомъ, непреклонномъ женскомъ сердцѣ неотразимо созрѣлъ планъ удара. Планъ состоялъ въ томъ, чтобы вдругъ, безъ всякихъ подходовъ и наговоровъ, разомъ объявить все князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидаетъ сумасшедшій домъ, и, когда онъ упрется, придетъ въ негодованіе, станетъ не вѣрить—то показать ему письмо дочери: „дескать, ужъ было разъ намѣреніе объявить сумасшедшимъ; такъ теперь, чтобъ помѣшать браку, и подавно можетъ

быть". Затѣмъ, взять испуганнаго и убитаго старика и перевезти въ Петербургъ—*прямо на мою квартиру.*

Это былъ ужасный рискъ, но она твердо надѣялась на свое могущество. Здѣсь, отступая на мигъ отъ разсказа, сообщу, забѣгая очень впередъ, что она не обманулась въ эффектѣ удара; мало того, эффектъ превзошелъ всѣ ея ожиданія. Извѣстіе объ этомъ письмѣ подѣйствовало на стараго князя, можетъ быть, въ нѣсколько разъ сильнѣе, чѣмъ она сама и мы всѣ предполагали. Я и не зналъ никогда до этого времени, что князю уже было нѣчто извѣстно объ этомъ письмѣ еще прежде; но, по обычаю всѣхъ слабыхъ и робкихъ людей, онъ не повѣрилъ слуху и отмахивался отъ него изъ всѣхъ силъ, чтобы остаться спокойнымъ; мало того, винилъ себя въ неблагородствѣ своего легковѣрія. Прибавлю те же, что фактъ существованія письма подѣйствовалъ также и на Екатерину Николаевну несравненно сильнѣе, чѣмъ я самъ тогда ожидалъ... Однимъ словомъ, эта бумага оказалась гораздо важнѣе, чѣмъ я самъ, носившій ее въ карманѣ, предполагалъ. Но тутъ я уже слишкомъ забѣжалъ впередъ.

Но зачѣмъ же, спросать, ко мнѣ на квартиру? Зачѣмъ перевозить князя въ жалкія наши коморки и, можетъ быть, испугать его нашею жалкою обстановкой? Если ужъ нельзя было въ его домъ (такъ какъ тамъ разомъ могли всему помѣшать), то почему не на особую „богатую“ квартиру, какъ предлагалъ Ламбертъ? Но тутъ-то и заключался весь рискъ чрезвычайнаго шага Анны Андреевны.

Главное состояло въ томъ, чтобы тотчасъ же, по прибытіи князя, предъявить ему документъ; но я не выдавалъ документа ни за что. А такъ какъ времени терять уже было нельзя, то, надѣясь на свое могущество, Анна Андреевна и рѣшилась начать дѣло и безъ документа, но съ тѣмъ, чтобы князя прямо доставить ко мнѣ—для чего? А для того именно, чтобы тѣмъ же самымъ шагомъ накрыть и меня, такъ сказать, по пословицѣ, однимъ камнемъ убить двухъ воробьевъ. Она рассчитывала подѣйствовать и на меня толчкомъ, сотрясеніемъ, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, увидя его испугъ, безпомощность и услышавъ ихъ общія просьбы, я сдамся и предъявлю документъ! Признаюсь — расчетъ былъ хитрый и умный, психологическій, мало того—она чуть было не добилась успѣха... что же до старика, то Анна Андреевна тѣмъ и увлекла его тогда, тѣмъ и заставила повѣрить себѣ, хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везетъ его *ко мнѣ*. Все это я узналъ впоследствии. Даже одно только извѣстіе о томъ, что документъ этотъ у меня, уничтожило въ

робкомъ сердцѣ его послѣднія сомнѣнія въ достовѣрности факта—до такой степени онъ любилъ и уважалъ меня!

Замѣчу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомнѣвалась, что документъ еще у меня и что я его изъ рукъ еще не выпустилъ. Главное, она понимала превратно мой характеръ и цинически рассчитывала на мою невинность, простосердечіе, даже на чувствительность; а съ другой стороны, полагала, что я, еслибъ даже и рѣшился передать письмо, напримѣръ, Катеринѣ Николаевнѣ, то не иначе, какъ при особыхъ какихъ нибудь обстоятельствахъ, и вотъ эти-то обстоятельства она и спѣшила предупредить нечаянностью, наскокомъ, ударомъ.

А, наконецъ, во всемъ этомъ удостовѣрилъ ее и Ламбертъ. Я уже сказалъ, что положеніе Ламберта въ это время было самое критическое: ему, предателю, изъ всей силы желалось бы сманить меня отъ Анны Андреевны, чтобы, вмѣстѣ съ нимъ, продать документъ Ахмаковой, что онъ находилъ почему-то выгоднѣе. Но такъ какъ и я ни за что не выдавалъ документа до послѣдней минуты, то онъ и рѣшилъ, въ крайнемъ случаѣ, содѣйствовать даже и Аннѣ Андреевнѣ, чтобы не лишиться всякой выгоды, а потому изъ всѣхъ силъ лѣзъ къ ней съ своими услугами, до самаго послѣдняго часу, и я знаю, что предлагалъ даже достать, если понадобится, и священника... Но Анна Андреевна съ презрительной усмѣшкой попросила его не упоминать объ этомъ. Ламбертъ ей казался ужасно грубымъ и возбуждалъ въ ней полное отвращеніе; но изъ осторожности она все таки принимала его услуги, которыя состояли, напримѣръ, въ шпіонствѣ. Кстати, не знаю навѣрно даже до сего дня, подкупили они Петра Ипполитовича, моего хозяина, или нѣтъ, и получилъ ли онъ отъ нихъ хоть сколько нибудь тогда за услуги, или просто пошелъ въ ихъ общество для радостей интриги; но только и онъ былъ за мной шпіономъ, и жена его—это я знаю навѣрно.

Читатель пойметъ теперь, что я, хоть и былъ отчасти предувѣдомленъ, но ужъ никакъ не могъ угадать, что завтра или послѣзавтра найду стараго князя у себя на квартирѣ и въ такой обстановкѣ. Да и не могъ бы я никакъ вообразить такой дерзости отъ Анны Андреевны! На словахъ можно было говорить и намекать объ чемъ угодно, но рѣшиться, приступить и въ самомъ дѣлѣ исполнить—нѣтъ, это я вамъ скажу, характеръ!

II.

Продолжаю.

Проснулся я на утро поздно, а спать необыкновенно крѣпко и безъ сновъ, о чемъ припоминаю съ удивленіемъ, такъ что, проснувшись, почувствовалъ себя опять необыкновенно бодримъ нравственно, точно и не было всего вчерашняго дня. Бъ мамѣ я положилъ не заѣзжать, а прямо отправиться въ кладбищенскую церковь, съ тѣмъ, чтобы потомъ, послѣ церемоніи, возвратясь въ мамину квартиру, не отходить уже отъ нея во весь день. Я твердо былъ увѣренъ, что, во всякомъ случаѣ, встрѣчу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли—но непременно.

Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чемъ не хотѣлъ спрашивать, да и вообще положилъ прекратить съ ними всякія сношенія и даже съѣхать какъ можно скорѣй съ квартиры; а потому, только что принесли мнѣ кофей, я заперся опять на крючокъ. Но вдругъ постучали въ мою дверь; въ удивленію моему, оказался Тришатовъ.

Я тотчасъ отворилъ ему и, обрадовавшись, просилъ войти, но онъ не хотѣлъ войти.

— Я только два слова съ порогу... или ужъ войти, потому что, кажется, здѣсь надо говорить шопотомъ; только я у васъ не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто: это—Ламбертъ отобралъ шубу.

Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ въ дрянномъ, старомъ и не по росту длинномъ пальто. Онъ стоялъ передо мной какой-то сумрачный и грустный, руки въ карманахъ и не снимая шляпы.

— Я не сяду, я не сяду. Слушайте, Долгорукій, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламбертъ готовитъ противъ васъ какое-то предательство, близкое и неминуемое—и это навѣрно. А потому берегитесь. Мнѣ проговорился рябой—помните рябаго? Но ничего не сказалъ, въ чемъ дѣло, такъ что болѣе я ничего не могу сказать. Я только пришелъ предупредить—прощайте.

— Да сядьте же, милый Тришатовъ! Я хоть и спѣшу, но я такъ радъ вамъ... вскричалъ было я.

— Не сяду, не сяду; а то, что вы рады мнѣ, буду помнить. Э, Долгорукій, что другихъ обманывать: я сознательно, своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у васъ. Мы теперь у рябаго... Прощайте. Я не стою, чтобъ съѣсть у васъ.

— Полноте, Тришатовъ, милый...

— Нѣтъ, видите, Долгорукій: я передъ всѣми дерзокъ и начну теперь кутить. Мнѣ скоро сошьютъ шубу еще лучше, и я буду на рыскахъ ѣздить. Но я буду знать про себя, что я все таки у васъ не сѣлъ, потому что самъ себя такъ осудилъ, потому что передъ вами низокъ. Это все таки мнѣ будетъ пріятно припомнить, когда я буду безчестно кутить. Прощайте, ну, прощайте. И руки вамъ не дамъ; вѣдь Альфонсинка же не беретъ моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мнѣ не ходите; у насъ контрактъ.

Странный мальчикъ повернулся и вышелъ. Мнѣ только было некогда, но я положилъ непремѣнно розыскать его въ скорости, только что улажу наши дѣла.

Затѣмъ, не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить. Версилова въ церкви на похоронахъ не было, да, кажется, по ихъ виду, можно было еще до выноса заключить, что въ церковь его и не ждали. Мама благоговѣнно молилась и, повидимому, вся отдалась молитвѣ. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего, ничего не описываю. Послѣ погребенія всѣ воротились и сѣли за столъ, и опять таки по виду ихъ я заключилъ, что и къ столу его, вѣроятно, не ждали. Когда встали изъ за стола, я подошелъ къ мамѣ, горячо обнялъ ее и поздравилъ съ днемъ ея рожденія; за мной сдѣлала то же самое Лиза.

— Слушай, братъ, шепнула мнѣ украдкой Лиза:— онъ его ждутъ.

— Угадываю, Лиза, вижу.

— Онъ навѣрно придетъ.

Значить, имѣютъ точныя свѣдѣнія, подумалъ я, но не расспрашивалъ. Хоть не описываю чувствъ моихъ, но вся эта загадка, не смотря на всю бодрость мою, вдругъ опять навалилась камнемъ на мое сердце. Мы всѣ усѣлись въ гостиной за круглымъ столомъ вокругъ мамы. О, какъ мнѣ нравилось тогда быть съ нею и смотрѣть на нее! Мама вдругъ попросила, чтобъ я прочелъ чтонибудь изъ Евангелія. Я прочелъ главу отъ Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ея не казалось мнѣ столь осмысленнымъ духовно. Въ тихомъ взглядѣ ея свѣтилась идея, но никакъ я не могъ замѣтить, чтобъ она чегонибудь ждала въ тревогѣ. Разговоръ не умолкалъ; стали многое припоминать о покойномъ, много рассказала о немъ и Татьяна Павловна, чего я совершенно не зналъ прежде. И вообще, еслибъ записать, то нашлось бы много любопытнаго. Даже Татьяна Павловна советѣмъ какъ бы измѣнила свой обычный видъ: была очень тиха, очень ласкова, а, главное, тоже очень спокойна, хотя и

много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишком запомнилъ: мама сидѣла на диванѣ, а влѣво отъ дивана, на особомъ кругломъ столикѣ, лежалъ какъ бы приготовленный къ чему-то образъ—древняя икона безъ ризы, но лишь съ вѣнчиками на главахъ святыхъ, которыхъ изображено было двое. Образъ этотъ принадлежалъ Макару Ивановичу—объ этомъ я зналъ и зналъ тоже, что покойникъ никогда не разставался съ этою иконой и считалъ ее чудотворною. Татьяна Павловна нѣсколько разъ на нее взглядывала.

— Слушай, Софья, сказала она вдругъ, пережывая разговоръ:— чѣмъ иконѣ лежать—не поставить ли ее на столѣ же, прислоня къ стѣнѣ, и не зажечь ли предъ ней лампадку?

— Нѣтъ, лучше такъ, какъ теперь, сказала мама.

— А и впрямь. А то много торжества покажется...

Я тогда ничего не понималъ, но дѣло состояло въ томъ, что этотъ образъ давно уже завѣщанъ былъ Макаромъ Ивановичемъ, на словахъ, Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его.

Было уже пять часовъ пополудни; нашъ разговоръ продолжался, и вдругъ я замѣтилъ въ лицѣ мамы какъ бы содроганіе; она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда какъ говорившая въ то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замѣчая. Я тотчасъ обернулся къ двери и, мигъ спустя, увидѣлъ въ дверяхъ Андрея Петровича. Онъ прошелъ не съ крыльца, а съ черной лѣстницы, черезъ кухню и корридоръ, и одна мама изъ всѣхъ насъ заслышала шаги его. Теперь опишу всю послѣдовавшую безумную сцену, жестъ за жестомъ, слово за словомъ; она была коротка.

Во первыхъ, въ лицѣ его я, съ перваго взгляда, по крайней мѣрѣ, не замѣтилъ ни малѣйшей переменны. Одѣтъ онъ былъ какъ всегда, то есть, почти щеголевато. Въ рукахъ его былъ небольшой, но дорогой букетъ свѣжихъ цвѣтовъ. Онъ подошелъ и съ улыбкой подалъ его мамѣ; та было посмотрѣла съ пугливымъ недоумѣніемъ, но приняла букетъ, и вдругъ краска слегка оживила ея блѣдныя щеки, а въ глазахъ сверкнула радость.

— Я такъ и зналъ, что ты такъ примешь, Соня, проговорилъ онъ. Такъ какъ мы всѣ встали при входѣ его, то онъ, подойдя къ столу, взялъ кресло Лизы, стоявшее слѣво подлѣ мамы, и, не замѣчая, что занимаетъ чужое мѣсто, сѣлъ на него. Такимъ образомъ, прямо очутился подлѣ столика, на которомъ лежалъ образъ.

— Здравствуйте всѣ. Соня, я непременно хотѣлъ принести тебѣ сегодня этотъ букетъ, въ день твоего рожденія, а потому и не явился

на погребеніе, чтобъ не придти къ мертвому съ букетомъ; да ты и сама меня не ждала къ погребенію, я знаю. Старикъ вѣрно не посердится на эти цвѣты, потому что самъ же завѣщаль намъ радость, не правда ли? Я думаю, онъ здѣсь гдѣ нибудь въ комнатѣ.

Мама странно поглядѣла на него; Татьяну Павловну какъ будто передернуло.

— Кто это здѣсь въ комнатѣ? спросила она.

— Покойникъ. Оставимъ. Вы знаете, что не вполне вѣрующій человекъ во всѣ эти чудеса, всегда наиболѣе склоненъ къ предрасудкамъ... Но я лучше буду про букетъ: какъ я его донесъ — не понимаю. Мнѣ раза три дорогой хотѣлось бросить его на снѣгъ и растоптать ногой.

Мама вздрогнула.

— Ужасно хотѣлось. Пожалѣй меня, Соня, и мою бѣдную голову. А хотѣлось потому, что слишкомъ красивъ. Чтѣ красивѣе цвѣтка на свѣтѣ изъ предметовъ? Я его несу, а тутъ снѣгъ и морозъ. Нашъ морозъ и цвѣты — какая противоположность! Я, впрочемъ, не про то: просто хотѣлось измять его, потому что хорошъ. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забочусь — такъ кто же будетъ лечить меня отъ испуга, гдѣ же взять ангела, какъ Соню?... Чтѣ это у васъ за образъ? А, покойниковъ, помню. Онъ у него родовой, дѣдовскій; онъ весь вѣкъ съ нимъ не разставался; знаю, помню, онъ мнѣ его завѣщаль; очень припоминаю... и, кажется, раскольничій... дайте-ка взглянуть.

Онъ взялъ икону въ руки, поднесъ къ свѣчѣ и пристально оглядѣлъ ее, но, продержавъ лишь нѣсколько секундъ, положилъ на столъ уже передъ собою. Я дивился, но всѣ эти странныя рѣчи его произнесены были такъ внезапно, что я не могъ еще ничего осмыслить. Помню только, что болѣзненный испугъ проникалъ въ мое сердце. Испугъ мамы переходилъ въ недоумѣніе и состраданіе; она, прежде всего, видѣла въ немъ лишь несчастнаго; случалось же, что и прежде онъ говорилъ иногда почти такъ же странно, какъ и теперь. Лиза стала вдругъ очень почему-то блѣдна и странно кивнула мнѣ на него головой. Но болѣе всѣхъ испугана была Татьяна Павловна.

— Да чтѣ съ вами, голубчикъ Андрей Петровичъ? выговорила она осторожно.

— Право не знаю, милая Татьяна Павловна, чтѣ со мной. Не беспокойтесь, я еще помню, что вы — Татьяна Павловна и что вы — милая. Я, однако, зашелъ лишь на минуту; я хотѣлъ бы сказать Сонѣ

чтонибудь хорошее и ищю такого слова, хотя сердце полно словъ, которыхъ не умѣю высказать, право, все такихъ какихъ-то странныхъ словъ. Знаете, мнѣ кажется, что я весь точно раздваиваюсь, оглядѣвъ онъ насъ всѣхъ съ ужасно серьезнымъ лицомъ и съ самою искреннею сообщительностью.—Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подлѣ васъ стоитъ вашъ двойникъ; вы сами умны и разумны, а тотъ непремѣнно хочетъ сдѣлать подлѣ васъ какуюнибудь безсмыслицу, и иногда превеселую вещь; и вдругъ вы замѣчаете, что это вы сами хотите сдѣлать эту веселую вещь, и Богъ знаетъ зачѣмъ, то есть какъ-то нехотя хотите, сопротивляясь изъ всѣхъ силъ хотите. Я зналъ, однажды, одного доктора, который на похоронахъ своего отца, въ церкви, вдругъ засвисталъ. Право, я боялся придти сегодня на похороны, потому что мнѣ съ чего-то пришло въ голову непремѣнное убѣжденіе, что я вдругъ засвищу или захохочу, какъ этотъ несчастный докторъ, который довольно не хорошо кончилъ... И, право, не знаю, почему мнѣ все припоминается сегодня этотъ докторъ; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вотъ я взялъ опять образъ (онъ взялъ его и вертѣлъ въ рукахъ), и знаешь, мнѣ ужасно хочется теперь, вотъ сію секунду, ударить его объ печку, объ этотъ самый уголь. Я увѣренъ, что онъ разомъ расколется на двѣ половины—ни больше, ни меньше.

Главное, онъ проговорилъ все это безъ всякаго вида притворства или даже какойнибудь выходки; онъ совсѣмъ просто говорилъ, но это было тѣмъ ужаснѣе; и, кажется, онъ дѣйствительно ужасно чего-то боялся; я вдругъ замѣтилъ, что его руки слегка дрожатъ.

— Андрей Петровичъ! вскрикнула мама, всплеснувъ руками.

— Оставь, оставь образъ, Андрей Петровичъ, оставь, положи! вскочила Татьяна Павловна:—раздѣнься и лягъ. Аркадій, за докторомъ!

— Однако... однако, какъ вы засуетились? проговорилъ онъ тихо, обводя насъ всѣхъ пристальнымъ взглядомъ. Затѣмъ, вдругъ положилъ оба локтя на столъ и подперъ голову руками:

— Я васъ пугаю, но вотъ чтѣ, друзья мои: потѣшите меня каплю, сядьте опять и станьте всѣ спокойнѣе—на одну хоть минуту! Соня, я вовсе не объ этомъ пришелъ говорить; я пришелъ чтѣ-то сообщить, но совсѣмъ другое. Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, какъ уже нѣсколько разъ отъ тебя отправлялся... Ну, конечно, когданибудь приду къ тебѣ опять—въ этомъ смыслѣ ты неминуема. Къ кому же мнѣ и придти, когда все кончится? Вѣрь, Соня,

что я пришелъ къ тебѣ теперь, какъ къ ангелу, а вовсе не какъ къ врагу: какой ты мнѣ врагъ, какой ты мнѣ врагъ! Не подумай, что съ тѣмъ, чтобъ разбить этотъ образъ, потому что, знаешь-ли что, Соня, мнѣ все таки вѣдь хочется разбить...

Когда Татьяна Павловна передъ тѣмъ вскрикнула: „Оставь образъ!“—то выхватила икону изъ его рукъ и держала въ своей рукѣ. Вдругъ онъ, съ послѣднимъ словомъ своимъ, стремительно вскочилъ, мгновенно выхватилъ образъ изъ рукъ Татьяны и, свирѣпо размахнувшись, изо всѣхъ силъ ударилъ его объ уголь изразцовой печки. Образъ раскололся ровно на два куска!... Онъ вдругъ обернулся къ намъ, и его блѣдное лицо вдругъ все покраснѣло, почти побагровѣло, и каждая черточка въ лицѣ его задрожала и заходила:

— Не прими за аллегорію. Соня, я не наследство Макара разбилъ, я только такъ, чтобъ разбить... А все таки къ тебѣ вернусь, къ послѣднему ангелу! А впрочемъ, прими хоть и за аллегорію; вѣдь это непремѣнно было такъ!...

И онъ вдругъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты, опять черезъ кухню (гдѣ оставалась шуба и шапка). Я не описываю подробно, что случилось съ мамой: смертельно испуганная, она стояла, поднимъ и сложивъ надъ собой руки, и вдругъ закричала ему вслѣдъ:

— Андрей Петровичъ, воротись хоть проститься-то, милый!

— Придетъ, Софья, придетъ! Не безпокойся! вся дрожь въ ужасномъ припадкѣ злости, злости звѣрской, прокричала Татьяна.—Вѣдь слышала, самъ обѣщаль воротиться! Дай ему, блажнику, еще разъ послѣдній погулять-то. Состарится—кто-жь его тогда, въ самомъ дѣлѣ, безногаго-то, нянчить будетъ, кромѣ тебя, старой няньки? Такъ вѣдь прямо самъ и объявляетъ, не стыдится...

Что до насъ, то Лиза была въ обморокѣ. Я было хотѣлъ обѣжать за нимъ, но бросился къ мамѣ. Я обнялъ ее и держалъ въ своихъ объятіяхъ. Лукерья прибѣжала со стаканомъ воды для Лизы. Но мама скоро очнулась; она опустила на диванъ, закрыла лицо руками и заплакала.

— Однако, однако... однако, догони-ка его! закричала вдругъ изо всей силы Татьяна Павловна, какъ бы опомнившись.—Ступай... ступай... догони, не отставай отъ него ни шагу, ступай, ступай! отдергивала она меня изо всѣхъ силъ отъ мамы:—ахъ, да побѣгу же я сама!

— Аркаша, ахъ, побѣги за нимъ поскорѣй! крикнула вдругъ и мама.

Я внобжалъ, сломя голову, тоже черезъ кухню и черезъ дворъ, но его уже нигдѣ не было. Вдали по тротуару чернѣлись въ темнотѣ прохожіе; я пустился догонять ихъ и, нагоняя, засматривалъ каждому въ лицо, пробѣгая мимо. Такъ добѣжалъ я до перекрестка.

„На сьумасшедшихъ не сердятся, мелькнуло у меня вдругъ въ головѣ, а Татьяна озвѣрѣла на него отъ злости; значить онъ—вовсе не сьумасшедшій“... О, мнѣ все казалось, что это была аллегорія и что ему непременно хотѣлось съ чѣмъ-то покончить, какъ съ этимъ образомъ, и показать это намъ, мамѣ; всѣмъ. Но и „двойникъ“ былъ тоже несомнѣнно подлѣ него; въ этомъ не было никакого сомнѣнія...

II.

Его, однако, нигдѣ не оказывалось, и не къ нему же было бѣжать; трудно было представить, чтобъ онъ такъ просто отправился домой. Вдругъ одна мысль заблестѣла предо мною, и я стрелгавъ бросился къ Аннѣ Андреевнѣ.

Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчасъ же допустили. Я пошелъ, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо разсказалъ ей сейчасъ происшедшую сцену, то есть, именно о „двойникѣ“. Никогда не забуду и не прощу ей того жаднаго, но безжалостно спокойнаго и самоувѣреннаго любопытства, съ которымъ она меня выслушала, тоже не садясь.

— Гдѣ онъ? Вы, можетъ быть, знаете? заключилъ я, настойчиво.— Къ вамъ меня вчера послала Татьяна Павловна...

— Я васъ призывала еще вчера. Вчера онъ былъ въ Царскомъ, былъ и у меня. А теперь (она взглянула на часы), теперь семь часовъ... Значить навѣрно у себя дома.

— Я вижу, что вы все знаете—такъ говорите, говорите! вскричалъ я.

— Знаю многое, но всего не знаю. Конечно, отъ васъ скрывать нечего... обмѣрила она меня страннымъ взглядомъ, улыбаясь и какъ бы соображая.—Вчера утромъ онъ сдѣлалъ Катеринѣ Николаевнѣ, въ отвѣтъ на письмо ея, формальное предложеніе выйти за него замужъ.

— Это—не правда! вытаращилъ я глаза.

— Письмо прошло черезъ мои руки; я сама ей и отвезла его нераспечатанное. Въ этотъ разъ онъ поступилъ „по рыцарски“, и отъ меня ничего не потаилъ.

— Анна Андреевна, я ничего не понимаю!

— Конечно, трудно понять, но это — въ родѣ игрока, который бросаетъ на столъ послѣдній червонецъ, а въ карманѣ держитъ уже приготовленный револьверъ—вотъ смыслъ его предложенія. Девять изъ десяти шансовъ, что она его предложеніе не приметъ; но на одну десятую шансовъ, стало быть, онъ все же рассчитывалъ и, признаюсь, это очень любопытно по моему, впрочемъ... впрочемъ, тутъ могло быть изступленіе, тотъ же „двойникъ“, какъ вы сейчасъ такъ хорошо сказали.

— И вы смѣтаетесь? И развѣ я могу повѣрить, что письмо было передано черезъ васъ? Вѣдь вы — невѣста отца ея? Пощадите меня, Анна Андреевна!

— Онъ просилъ меня пожертвовать своей судьбой его счастью, а, впрочемъ, не просилъ, по настоящему: это все довольно молчаливо обдѣлалось, я только въ глазахъ его все прочитала. Ахъ, Боже мой, да чего же больше: вѣдь ѣздилъ же онъ въ Кенигсбергъ, къ вашей матушкѣ, проситься у ней жениться на падчерицѣ m-me Ахмаковой? Вѣдь это очень сходно съ тѣмъ, что онъ избралъ меня вчера своимъ уполномоченнымъ и конфидентомъ.

Она была нѣсколько блѣдна. Но ея спокойствіе было только усиленіемъ сарказма. О, я прѣстилъ ей многое въ ту минуту, когда постепенно осмыслилъ дѣло. Съ минуту я обдумывалъ; она молчала и ждала.

— Знаете ли, усмѣхнулся я вдругъ:—вы передали письмо потому, что для васъ не было никакого риска, потому что браку не бываетъ, но вѣдь онъ? Она, наконецъ? Разумѣется, она отвернется отъ его предложенія, и тогда... что тогда можетъ случиться? Гдѣ онъ теперь, Анна Андреевна? вскричалъ я:—тутъ каждая минута дорога, каждую минуту можетъ быть бѣда!

— Онъ у себя дома, я вамъ сказала. Въ своемъ вчерашнемъ письмѣ къ Катеринѣ Николаевнѣ, которое я передала, онъ просилъ у ней, *во всякомъ случаѣ* свиданія у себя на квартирѣ, сегодня, ровно въ семь часовъ вечера. Та дала обѣщаніе.

— Она къ нему на квартиру? Какъ это можно?

— Почему же? Квартира эта принадлежитъ Дарьѣ Онисимовнѣ: они оба очень могли у ней встрѣтиться, какъ ея гости...

— Но она боится его... онъ можетъ убить ее!

Анна Андреевна только улыбнулась.

— Катерина Николаевна, не смотря на весь свой страхъ, который я въ ней сама примѣтила, всегда питала, еще съ пружяго вре-

мѣнѣ, нѣкоторое благоговѣніе и удивленіе къ благородству правилъ и къ возвышенности ума Андрея Петровича. На этотъ разъ она довѣрилась ему, чтобы покончить съ нимъ навсегда. Въ письмѣ же своемъ онъ далъ ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего... Однимъ словомъ, я не помню выраженій письма, но она довѣрилась... такъ сказать, для послѣдняго разу... и, такъ сказать, отвѣчая самыми геройскими чувствами. Тутъ могла быть нѣкоторая рыцарская борьба съ обѣихъ сторонъ.

— А двойникъ, двойникъ! воскликнулъ я:— да вѣдь онъ съ ума сошелъ!

— Давая вчера свое слово явиться на свиданіе, Катерина Николаевна, вѣроятно, не предполагала возможности такого случая.

Я вдругъ повернулся и бросился обѣжать... Къ нему, къ нимъ, разумѣется! Но изъ залы еще воротился на одну секунду.

— Да важъ, можетъ быть, того и надо, чтобы онъ убилъ ее! вскричалъ я и выбѣжалъ изъ дому.

Не смотря на то, что я весь дрожалъ, какъ въ припадкѣ, я вошелъ въ квартиру тихо, черезъ кухню, и шопотомъ попросилъ вызвать ко мнѣ Дарью Онисимовну, но та сама тотчасъ же вышла и молча впила въ меня ужасно вопросительнымъ взглядомъ.

— Они-съ, ихъ нѣтъ дома-съ.

Но я прямо и точно, быстрымъ шопотомъ изложилъ, что все знаю отъ Анны Андреевны, да и самъ сейчасъ отъ Анны Андреевны.

— Дарья Онисимовна, гдѣ они?

— Они въ залѣ-съ тамъ же, гдѣ вы сидѣли третьяго дня, за столомъ...

— Дарья Онисимовна, пустите меня туда!

— Какъ это возможно-съ?

— Не туда, а въ комнату рядомъ. Дарья Онисимовна, Анна Андреевна можетъ сама того хотеть. Кабы не хотѣла, не сказала бы мнѣ, что они здѣсь. Они меня не слышатъ... она сама того хотеть...

— А какъ не хотеть? не спускала съ меня влившагося взгляда своего Дарья Онисимовна.

— Дарья Онисимовна, я вашу Олю помню... пропустите меня.

У нея вдругъ затряслись губы и подбородокъ:

— Голубчикъ, вотъ за Олю развѣ... за чувство твое... Не покинь ты Анну Андреевну, голубчикъ! Не покинешь, а? Не покинешь?

— Не покину!

— Дай же мнѣ свое великое слово, что не вбѣжишь къ нимъ и не закричишь, коли я тебя тамъ поставлю?

— Честью моею клянусь, Дарья Онисимовна!

Она взяла меня за сюртукъ, провела въ темную комнату, смежную съ той, гдѣ они сидѣли, подвела чуть слышно по мягкому ковру къ дверямъ, поставила у самыхъ спущенныхъ портьеръ и, поднявъ крошечный уголокъ портьеры, показала мнѣ ихъ обоихъ.

Я остался, она ушла. Разумѣется, остался. Я понималъ, что я подслушиваю, подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться — а двойникъ? Вѣдь ужъ онъ разбилъ въ моихъ глазахъ образъ!

IV.

Они сидѣли другъ противъ друга за тѣмъ же столомъ, за которымъ мы съ нимъ вчера пили вино за его „воскресеніе“; я могъ вполне видѣть ихъ лица. Она была въ простомъ черномъ платьѣ, прекрасная и, повидимому, спокойная, какъ всегда. Говорилъ онъ, а она съ чрезвычайнымъ и предупредительнымъ вниманіемъ его слушала. Можетъ быть, въ ней и видна была нѣкоторая робость. Онъ же былъ страшно возбужденъ. Я пришелъ уже къ начатому разговору, а потому нѣкоторое время ничего не понималъ. Помню, она вдругъ спросила:

— И я была причиною?

— Нѣтъ, это я былъ причиною, отвѣтилъ онъ:—а вы только безъ вины виноваты. Вы знаете, что бываютъ безъ вины виноватыми? Это — самыя непростительныя вины и всегда почти несутъ наказаніе, прибавилъ онъ, странно засмѣявшись. А я и впрямь думалъ минуту, что васъ совсѣмъ забылъ и надъ глупой страстью моею совсѣмъ смѣюсь... но вы это знаете. А, однако же, что мнѣ до того человѣка, за котораго вы выходите? Я сдѣлалъ вамъ вчера предложеніе, простите за это, это — нелѣпость, а, между тѣмъ, замѣнить ее совсѣмъ нечѣмъ... чтожь бы я могъ сдѣлать, кромѣ этой нелѣпости? Я не знаю...

Онъ потерянно разсмѣялся при этомъ словѣ, вдругъ поднявъ на нее глаза; до того же времени говорилъ, какъ бы смотря въ сторону. Еслибъ я былъ на ея мѣстѣ, я бы испугался этого смѣха, я это почувствовалъ. Онъ вдругъ всталъ со стула:

— Скажите, какъ могли вы согласиться придти сюда? спросилъ онъ вдругъ, какъ бы вспомнивъ о главномъ:—мое приглашеніе и мое все письмо—нелѣпость... Пойдите, я еще могу угадать, какиимъ образомъ вышло, что вы согласились придти, но — вачѣмъ вы пришли— вотъ вопросъ? Неужто вы изъ одного только страху пришли?

— И чтобъ видѣть васъ пришла, произнесла она, присматриваясь къ нему съ робкою осторожностью. Оба съ полминуты молчали. Версильовъ опустился опять на стулъ и вроткимъ, но проникнутымъ, почти дрожавшимъ голосомъ началъ:

— Я васъ ужасно давно не видалъ, Катерина Николаевна, такъ давно, что почти ужъ и возможнымъ не считалъ когда нибудь сидѣть, какъ теперь, подлѣ васъ, вглядываться въ ваше лицо и слушать вашъ голосъ... Два года мы не видались, два года не говорили. Говорить-то я съ вами ужъ никогда не думалъ. Ну, пусть, что прошло—то прошло, а что есть—то завтра исчезнетъ, какъ дымъ—пусть это! Я согласенъ, потому что опять таки этого замѣнить нечѣмъ, но не уходите теперь даромъ, вдругъ прибавилъ онъ, почти умоляя:—если ужъ подали милостыню—пришли, то не уходите даромъ: отвѣйте мнѣ на одинъ вопросъ.

— На какой вопросъ?

— Вѣдь мы никогда не увидимся и — что вамъ? Скажите мнѣ правду разъ на вѣкъ, на одинъ вопросъ, который никогда не задають умные люди: любили вы меня хоть когда нибудь, или я... ошибся?

Она вспыхнула.

— Любила, проговорила она.

Такъ я и ждалъ, что она это скажетъ:—о правдивая, о искренняя, о честная!

— А теперь? продолжалъ онъ.

— Теперь не люблю.

— И смѣетесь?

— Нѣтъ, я потому сейчасъ усмѣхнулась, нечаянно, потому что я такъ и знала, что вы спросите: „А теперь?“. А потому улыбнулась... потому что, когда что угадываешь, то всегда усмѣхнешься...

Мнѣ было даже странно; я еще никогда не видалъ ее такою осторожною, даже почти робкою и такъ конфузящеюся. Онъ пожиралъ ее глазами.

— Я знаю, что вы меня не любите... и—совсѣмъ не любите?

— Можетъ быть, совсѣмъ не люблю. Я васъ не люблю, прибавила она твердо и уже не улыбаясь и не краснѣя.— Да, я любила васъ, но недолго. Я очень скоро васъ тогда разлюбила...

— Я знаю, знаю, вы увидали, что тутъ не то, что вамъ надо, но... что же вамъ надо? Объясните мнѣ это еще разъ...

— Развѣ я это уже когда нибудь вамъ объясняла? Что мнѣ надо? Да я—самая обыкновенная женщина; я—спокойная женщина, я люблю... я люблю веселыхъ людей.

— Веселыхъ?

— Видите, какъ я даже не умѣю говорить съ вами. Мнѣ кажется, еслибъ вы меня могли меньше любить, то я бы васъ тогда полюбила, опять робко улыбнулась она. Самая полная искренность сверкнула въ ея отвѣтъ, и неужели она не могла понять, что отвѣтъ ея есть самая окончательная формула ихъ отношеній, все объясняющая и разрѣшающая. О, какъ онъ долженъ былъ понять это! Но онъ смотрѣлъ на нее и странно улыбался.

— Бьорингъ—человѣкъ веселый? продолжалъ онъ спрашивать.

— Онъ не долженъ васъ беспокоить совсѣмъ, отвѣтила она съ нѣкоторою поспѣшностью.— Я выхожу за него потому только, что мнѣ за нимъ будетъ всего покойнѣе. Вся душа моя останется при мнѣ.

— Вы, говорятъ, опять полюбили общество, свѣтъ?

— Не общество. Я знаю, что въ нашемъ обществѣ такой же безпорядокъ, какъ и вездѣ; но снаружи формы еще красивы, такъ что, если жить, чтобъ только проходить мимо, то ужъ лучше тутъ, чѣмъ гдѣ нибудь.

— Я часто сталъ слышать слово „безпорядокъ“; вы тогда тоже испугались моего безпорядка, веригъ, идей, глупостей?

— Нѣтъ, это было не совсѣмъ то...

— Чтò-же? Ради Бога говорите все прямо.

— Ну, я вамъ скажу это прямо, потому что считаю васъ за величайшій умъ... Мнѣ всегда казалось въ васъ что-то смѣшное.

Выговоривъ это, она вдругъ вспыхнула, какъ бы сознавъ, что сдѣлала чрезвычайную неосторожность.

— Вотъ за то, чтò вы мнѣ сказали, я васъ много могу простить, странно проговорилъ онъ.

— Я не договорила, заторопилась она, все краснѣя: — это я смѣшна... ужъ тѣмъ, что говорю съ вами какъ дура.

— Нѣтъ, вы не смѣшны, а вы — только развратная, свѣтская женщина! поблѣднѣлъ онъ ужасно. — Я давеча тоже не договорилъ, когда васъ спрашивалъ, зачѣмъ вы пришли. Хотите, договорю? Тутъ существуетъ одно письмо, одинъ документъ, и вы ужасно его боитесь, потому что отецъ вашъ, съ этимъ письмомъ въ рукахъ, можетъ васъ проблѣсть при жизни и законно лишить наслѣдства въ завѣщаніи. Вы боитесь этого письма и—вы пришли за этимъ письмомъ, проговорилъ онъ, почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его съ тоскливымъ и болѣзненнымъ выраженіемъ лица.

— Я знаю, что вы можете мнѣ сдѣлать множество неприятностей,

проговорила она, какъ бы отмахиваясь отъ его словъ: — но я пришла не столько за тѣмъ, чтобы уговорить васъ меня не преслѣдовать, сколько чтобы васъ самого видѣть. Я даже очень желала васъ встрѣтить уже давно, сама. Но я встрѣтила васъ такого же, какъ и прежде, вдругъ прибавила она, какъ бы увлеченная особенно и рѣшительною мыслию и даже какимъ-то страннымъ и внезапнымъ чувствомъ.

— А вы надѣялись увидѣть другого? Это — послѣ письма-то моего о вашемъ развратѣ? Скажите, вы шли сюда безъ всякаго страху?

— Я пришла потому, что васъ прежде любила; но, знаете, прошу васъ, не угрожайте мнѣ, пожалуйста, ничѣмъ, пока мы теперь виѣсть, не напоминайте мнѣ дурныхъ моихъ мыслей и чувствъ. Еслибъ вы могли заговорить со мной о чемънибудь другомъ, я бы очень была рада. Пусть угрозы — потому, а теперь бы другое... Я, право, пришла, чтобы васъ минуту видѣть и слышать. Ну, а если не можете, то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами, заключила она, въ странномъ ожиданіи смотря на него, точно и впрямь предполагая, что онъ можетъ убить ее. Онъ всталъ опять со стула и, горячимъ взглядомъ смотря на нее, проговорилъ твердо:

— Вы уйдете отсюда безъ малѣйшаго оскорбленія.

— Ахъ да, ваше честное слово! улыбнулась она.

— Нѣтъ, не потому только, что дано честное слово въ письмѣ, а потому, что я хочу и буду думать о васъ всю ночь...

— Мучить себя?

— Я воображаю васъ, когда я одинъ, всегда. Я только и дѣлаю, что съ вами разговариваю. Я ухожу въ трущобы и берлоги, и, какъ контрастъ, вы сейчасъ являетесь предо мною. Но вы всегда смѣетесь надо мною, какъ и теперь... онъ проговорилъ это какъ бы внѣ себя...

— Никогда, никогда не смѣялась я надъ вами! воскликнула она проникнутымъ голосомъ и какъ бы съ величайшимъ состраданіемъ, избразившимся на лицѣ ея: — если я пришла, то изъ всѣхъ силъ старалась сдѣлать это такъ, чтобы вамъ ни за что не было обидно, прибавила она вдругъ. — Я пришла сюда, чтобы сказать вамъ, что я почти васъ люблю... Простите, я, можетъ, не такъ сказала, прибавила она торопливо.

Онъ засмѣялся:

— Зачѣмъ вы не умѣете притворяться? Зачѣмъ вы — такая простушка, зачѣмъ вы — не такая, какъ всѣ... Ну, какъ сказать человѣку, котораго прогоняешь: „почти люблю васъ?“

— Я только не умѣла выразиться, заторопилась она:—это я не такъ сказала; это потому, что я при васъ всегда стыдилась и не умѣла говорить съ первой нашей встрѣчи. А если я не такъ сказала словами, что „почти васъ люблю“, то вѣдь въ мысли это было почти такъ,— вотъ потому я и сказала, хотя и люблю я васъ такую... ну, такую *общю* любовью, которою всѣхъ любишь и въ которой всегда не стыдно признаться...

Онъ, молча, не спуская съ нее своего горячаго взгляда, прислушивался:

— Я, конечно, васъ обижаю, продолжалъ онъ какъ бы внѣ себя.— Это, въ самомъ дѣлѣ, должно быть то, что называютъ страстью... Я одно знаю, что я при васъ конченъ, безъ васъ тоже. Все равно безъ васъ или при васъ, гдѣ бы вы ни были, вы все при мнѣ. Знаю тоже, что я могу васъ очень ненавидѣть, больше, чѣмъ любить. Впрочемъ, я давно ни объ чемъ не думаю — мнѣ все равно. Мнѣ жаль только, что я полюбилъ такую, какъ вы...

Голосъ его прерывался; онъ продолжалъ, какъ бы задыхаясь.

— Чего вамъ? Вамъ дико, что я такъ говорю? улыбнулся онъ блѣдной улыбкой.—Я думаю, что еслибъ только это могло васъ прельстить, то я бы простоялъ гдѣнибудь тридцать лѣтъ столпникомъ на одной ногѣ... Я вижу, вамъ меня жаль; ваше лицо говоритъ: „я бы полюбила тебя, еслибъ могла, но я не могу“... Да? Ничего, у меня нѣтъ гордости. Я готовъ, какъ нищій, принять отъ васъ всякую милостыню—слышите, всякую... У нищаго какая же гордость?

Она встала и подошла къ нему:

— Другъ мой! проговорила она, прикасаясь рукой къ его плечу и съ невыразимымъ чувствомъ въ лицѣ:—я не могу слышать такихъ словъ! Я буду думать о васъ всю мою жизнь, какъ о драгоцѣннѣйшемъ человѣкѣ, какъ о величайшемъ сердцѣ, какъ о чемъ-то священномъ изъ всего, что могу уважать и любить. Андрей Петровичъ, поймите мои слова: вѣдь за чтонибудь я пришла же теперь, милый, и прежде и теперь милый человѣкъ! Я никогда не забуду, какъ вы потрясли мой умъ при первыхъ нашихъ встрѣчахъ. Разстанетесь же какъ друзья, и вы будете самою серьезнѣйшею и самою милою моею мыслью во всю мою жизнь!

— „Разстанетесь и тогда буду любить васъ“; буду любить — только разстанетесь. Слушайте, произнесъ онъ, совсѣмъ блѣдный: — подайте мнѣ еще милостыню: не любите меня, не живите со мной, будемъ никогда не видаться; я буду вашъ рабъ — если позовете, и

тотчасъ исчезну — если не захотите ни видѣть, ни слышать меня, только... *только не выходите ни за кого замужъ!*

У меня сердце сжалось до боли, когда я услышалъ такія слова. Эта наивно унижительная просьба была тѣмъ жалче, тѣмъ сильнѣе пронзала сердце, что была такъ обнажена и невозможна. Да, конечно, онъ просилъ милостыню! Ну, могъ ли онъ думать, что она согласится? Межъ тѣмъ онъ унижался до просьбы, онъ попробовалъ попросить! Эту послѣднюю степень упадка духа было невыносимо видѣть. Всѣ черты лица ея какъ бы исказились отъ боли; но, прежде чѣмъ она успѣла сказать слово, онъ вдругъ опомнился:

— Я васъ *истреблю!* проговорилъ онъ вдругъ страннымъ, искаженнымъ, не своимъ какимъ-то голосомъ.

Но отвѣтила она ему тоже странно, тоже совсѣмъ какимъ-то не своимъ, неожиданнымъ голосомъ.

— Подай я вамъ милостыню, сказала она вдругъ твердо:—и вы откитите мнѣ за нее потомъ еще пуще, чѣмъ теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли передо мною такимъ нищимъ... Не могу я слышать отъ васъ угрозъ! заключила она почти съ негодованіемъ, чуть не съ вызовомъ посмотрѣвъ на него.

— „Отъ васъ угрозъ“, то есть—отъ такого нищаго! Я пошутилъ, проговорилъ онъ тихо, улыбаясь.—Я вамъ ничего не сдѣлаю, не бойтесь, уходите... и тотъ документъ изъ всѣхъ силъ постараюсь прислать — только идите, идите! Я вамъ написалъ глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли—мы свѣтались. Вамъ сюда, указалъ онъ на дверь (она хотѣла было пройти черезъ ту комнату, въ которой я стоялъ за портьерой).

— Простите меня, если можете, остановилась она въ дверяхъ.

— Ну что, если мы встрѣтимся когда нибудь совсѣмъ друзьями и будемъ вспоминать и объ этой сценѣ съ свѣтлымъ смѣхомъ? проговорилъ онъ вдругъ; но всѣ черты лица его дрожали, какъ у человѣка, одержимаго припадкомъ.

— О, дай Богъ! вскричала она, сложивъ предъ собою руки, но пугливо всматриваясь въ его лицо и какъ бы угадывая, что онъ хотѣлъ сказать.

— Ступайте. Много въ насъ ума-то въ обоихъ, но вы... О, вы—моего пошиба человекъ! Я написалъ сумасшедшее письмо, а вы согласились придти, чтобъ сказать, что „почти меня любите“. Нѣтъ, мы съ вами—одного безумія люди! Будьте всегда такая безумная, не иѣняйтесь, и мы встрѣтимся друзьями—это я вамъ пророчу, влянусь вамъ!

— И вотъ тогда я васъ люблю непремѣнно, потому что и теперь это чувствую! не утерпѣла въ ней женщина и бросила ему съ порога эти послѣднія слова.

Она вышла. Я поспѣшно и неслышно прошелъ въ кухню и, почти не взглянувъ на Дарью Онисимовну, ожидавшую меня, пустился черезъ черную лѣстницу и дворъ на улицу. Но я успѣлъ только увидеть, какъ она сѣла въ извозничью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побѣжалъ по улицѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I.

Я прибѣжалъ къ Ламберту. О, какъ ни желалъ бы я придать логическій видъ и отыскать хоть малѣйшій здравый смыслъ въ моихъ поступкахъ въ тотъ вечеръ и во всю ту ночь, но даже и теперь, когда могу уже все сообразить, я никакъ не въ силахъ представить дѣло въ надлежащей и ясной связи. Тутъ было чувство или, лучше сказать, цѣлый хаосъ чувствъ, среди которыхъ я естественно долженъ былъ заблудиться. Правда, тутъ было одно главнѣйшее чувство, меня подавлявшее и надъ всѣмъ командовавшее, но... признаваться ли въ немъ? Тѣмъ болѣе, что я не увѣренъ...

Вбѣжалъ я къ Ламберту, разумѣется, внѣ себя. Я даже испугалъ было его и Альфонсинку. Я всегда замѣчалъ, что даже самые заблуденные, самые потерянные французы чрезмѣрно привержены въ своемъ домашнемъ быту къ нѣкотораго рода буржуазному порядку, къ нѣкотораго рода самому прозаическому, обыденно обрядному образу раз навсегда заведенной жизни. Впрочемъ, Ламбертъ очень скоро понялъ, что нѣчто случилось, и пришелъ въ восторгъ, видя, наконецъ, меня у себя, *обладая*, наконецъ, мною. А онъ объ этомъ только и думалъ, день и ночь, эти дни! О, какъ я ему былъ нуженъ! И вотъ, когда уже онъ потерялъ всю надежду, я вдругъ являюсь самъ, да еще въ такомъ безуміи—именно въ томъ видѣ, въ какомъ ему было надо.

— Ламбертъ, вина! закричалъ я:—давай пить, давай буяннить. Альфонсина, гдѣ ваша гитара?

Сцену я не описываю—лишнее. Мы пили, и я все ему рассказывалъ, все. Онъ выслушалъ жадно. Я прямо, и самъ первый, предложилъ ему заговоръ, пожаръ. Во первыхъ; мы должны были звать Катерину Николаевну къ намъ письмомъ...

— Это можно, поддакивалъ Ламбертъ, схватывая каждое мое слово. Во вторыхъ, для убѣдительности послать въ письмѣ всю копію съ ея „документа“, такъ, чтобы она могла прямо видѣть, что ее не обманываютъ.

— Такъ и должно, такъ и надо! поддакивалъ Ламбертъ, безпрерывно переглядываясь съ Альфонсиньей.

Въ третьихъ, зазвать ее долженъ былъ самъ Ламбертъ, отъ себя, въ родѣ какъ-бы отъ неизвѣстнаго, пріѣхавшаго изъ Москвы, а я долженъ былъ привезти Верилова.

— И Верилова можно, поддакивалъ Ламбертъ.

— Должно, а не можно! вскричалъ я:— необходимо! Для него-то все и дѣлается! объяснилъ я, прихлебывая изъ стакана глотокъ за глоткомъ. (Мы пили всѣ трое, и, кажется, я одинъ выпилъ всю бутылку шампанскаго, а они только дѣлали видъ). Мы будемъ сидѣть съ Вериловымъ въ другой комнатѣ—(Ламбертъ, надо достать другую комнату!)—и когда вдругъ она согласится на все—и на выкупъ деньгами, и на *другой* выкупъ, потому что онѣ всѣ—подлая, тогда мы съ Вериловымъ выйдемъ и уличимъ ее въ томъ, какая она подлая, а Верилова, увидавъ, какая она мерзвая, разомъ вылетится, а ее выгонитъ пинками. Но тутъ надо еще Бюринга, чтобы и тотъ посмотрѣлъ на нее! прибавилъ я въ изступленіи.

— Нѣтъ, Бюринга не надо, замѣтилъ было Ламбертъ.

— Надо, надо! завопилъ я опять:—ты ничто не понимаешь, Ламбертъ, потому что ты глупъ! Напротивъ, пусть пойдетъ скандалъ въ высшемъ свѣтѣ—этимъ мы отмстимъ и высшему свѣту, и ей, и пусть она будетъ наказана! Ламбертъ, она дастъ тебѣ вексель... Мнѣ денегъ не надо—я на деньги наплюю, а ты нагнешься и подберешь ихъ къ себѣ въ карманъ съ моими плевками, но зато я ее сокрушу!

— Да, да, все поддакивалъ Ламбертъ:—это ты—такъ... Онъ все переглядывался съ Альфонсиньей.

— Ламбертъ! Она страшно благоговѣть передъ Вериловымъ: я сейчасъ убѣдился, лепеталъ я ему.

— Это хорошо, что ты все подсмотрѣлъ: я никогда не предполагалъ, что ты—такой шпионъ и что въ тебѣ столько ума! Онъ сказалъ это, чтобы ко мнѣ подольститься.

— Врешь, французъ, я—не шпионъ, но во мнѣ много ума! А знаешь, Ламбертъ, она вѣдь его любитъ! продолжалъ я, стараясь изъ всѣхъ силъ высказаться.—Но она за него не выйдетъ, потому что Бюрингъ—гвардеецъ, а Верилова—всего только великодушный чело-

вѣкъ и другъ человѣчества, по-ихнему, лицо комическое и — ничего больше! О, она понимаетъ эту страсть и наслаждается ею, кокетничаетъ, завлекаетъ, но не выйдетъ! Это — женщина, это — змѣя! Всякая женщина — змѣя и всякая змѣя — женщина! Его надо излечить; съ него надо сорвать пелену: пусть увидитъ, какова она, и излечится. Я его приведу къ тебѣ, Ламбертъ!

— Такъ и надо, все подтверждалъ Ламбертъ, поддывая мнѣ каждую минуту.

Главное, онъ такъ и трепеталъ, чтобы чѣмъ нибудь не разсердить меня, чтобы не противорѣчить мнѣ и чтобы я больше пилъ. Это было такъ грубо и очевидно, что даже я тогда не могъ не замѣтить. Но я и самъ ни за что уже не могъ уйти; я все пилъ и говорилъ, и мнѣ страшно хотѣлось окончательно высказаться. Когда Ламбертъ пошелъ за другою бутылкой, Альфонсинка сыграла на гитарѣ какой-то испанскій мотивъ; я чуть не расплакался.

— Ламбертъ, знаешь ли ты все! восклицалъ я въ глубокомъ чувствѣ. — Этого человѣка надо непременно спасти, потому что кругомъ его... колдовство. Еслибы она вышла за него, онъ бы на утро, послѣ первой ночи, прогналъ бы ее пинками... потому что это бываетъ. Потому что такая насильственная дикая любовь дѣйствуетъ, какъ припадокъ, какъ мертвая петля, какъ болѣзнь, и — чуть достигъ удовлетворенія — тотчасъ же упадаетъ пелена и является противоположное чувство — отвращеніе и ненависть, желаніе истребить, раздавить. Знаешь ты исторію Ависаги, Ламбертъ, читалъ ее?

— Нѣтъ, не помню; романъ? пробормоталъ Ламбертъ.

— О, ты ничего не знаешь, Ламбертъ! Ты страшно, страшно не образованъ... но я плюю. Все равно. О, онъ любитъ маму; онъ цаловалъ ея портретъ; онъ прогонять ту на другое утро, а самъ придетъ къ мамѣ; но уже будетъ поздно, а потому надо спасти теперь...

Подъ конецъ я сталъ горько плакать; но все продолжалъ говорить и ужасно много выпилъ. Характернѣйшая черта состояла въ томъ, что Ламбертъ, во весь вечеръ, ни разу не спросилъ про „документъ“, то есть: гдѣ же, дескать, онъ? Т. е., чтобы я его показалъ, выложилъ на столъ. Чего бы, кажется, натуральнѣе спросить про это, уговариваясь дѣйствовать? Еще черта: мы только говорили, что надо это сдѣлать, что мы „это“ непременно сдѣлаемъ, но о томъ, гдѣ это будетъ, какъ и когда — объ этомъ мы не сказали тоже ни слова! Онъ только мнѣ поддакивалъ, да переглядывался съ Альфонсинкой — больше ничего! Конечно, я тогда ничего не могъ сообразить, но я все таки это запомнилъ.

Кончилъ я тѣмъ, что заснулъ у него на диванѣ, не раздѣваясь. Проспалъ я очень долго и проснулся очень поздно. Вспоминаю, что, пробудясь, я нѣкоторое время лежалъ на диванѣ, какъ ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить и притворяясь, что все еще сплю. Но въ комнатѣ Ламберта уже не оказалось: онъ ушелъ. Былъ уже десятый часъ; трещала затопленная печка, точь въ точь, какъ тогда, когда я, послѣ той ночи, очутился въ первый разъ у Ламберта. Но за ширмами сторожила меня Альфонсинья: я это тотчасъ замѣтилъ, потому что она раза два выглянула и приглядывалась, но я каждый разъ закрывалъ глаза и дѣлалъ видъ, что все еще сплю. Я дѣлалъ такъ оттого, что былъ придавленъ и что мнѣ надо было осмыслить мое положеніе. Я съ ужасомъ чувствовалъ всю нелѣпость и всю мерзость моей ночной исповѣди Ламберту, моего уговора съ нимъ, моей ошибки, что я прибѣжалъ къ нему! Но, слава Богу, документъ все еще оставался при мнѣ, все также зашитый въ моемъ боковомъ карманѣ; я ощущалъ его рукой—тамъ! Значить, стоило только сейчасъ вскочить и убѣжать, а стыдиться потомъ Ламберта нечего было: Ламбертъ того не стоилъ.

Но стыдился я самъ и себя самого! Я самъ былъ судьей себѣ, и—о, Боже, что было въ душѣ моей! Но не стану описывать этого адскаго, нестерпимаго чувства и этого сознанія грязи и мерзости. Но все же я долженъ признаться, потому что, кажется, пришло тому время. Въ запискахъ моихъ это должно быть отмѣчено. Итакъ, пусть же знаютъ, что не для того я хотѣлъ ее опозорить и собирался быть свидѣтелемъ того, какъ она дастъ выкупъ Ламберту (о, низость!)—не для того, чтобы спасти безумнаго Версилова и возвратить его мамѣ, а для того... что, можетъ быть, самъ былъ влюбленъ въ нее, влюбленъ и ревновалъ! Къ кому ревновалъ: къ Бьорингу, къ Версиллову? Но всѣмъ тѣмъ, на которыхъ она на балѣ будетъ смотрѣть и съ которыми будетъ говорить, тогда какъ я буду стоять въ углу, стыдясь самого себя!.. О, безобразіе!

Однимъ словомъ, я не знаю, къ кому я ее ревновалъ; но я чувствовалъ только и убѣдился въ вчерашній вечеръ, какъ дважды два, что она для меня пропала, что эта женщина меня оттолкнетъ и осмѣетъ за фальшь и за нелѣпость! Она—правдивая и честная, а я—я шпионъ и съ документами!

Все это я таялъ съ тѣхъ самыхъ поръ въ моемъ сердцѣ, а теперь пришло время и—я подвожу итогъ. Но, опять таки и въ послѣдній разъ: я, можетъ быть, на цѣлую половину или даже на семьдесятъ пять процентовъ нагаль на себя! Въ ту ночь, я нана-

видѣлъ ее, какъ изступленный, а потомъ какъ разбушевавшійся пьяный. Я сказалъ уже, что это былъ хаосъ чувствъ и ощущеній, въ которомъ я самъ ничего разобрать не могъ. Но, все равно, ихъ надо было высказать, потому что хоть часть этихъ чувствъ да была же навѣрно.

Съ неудержимымъ отвращеніемъ и съ неудержимымъ намереніемъ все заглядеть, я вдругъ вскочилъ съ дивана; но только что я вскочилъ, нигомъ выскочила Альфонсинка. Я схватилъ шубу и шапку и велѣлъ ей передать Ламберту, что я вчера бредилъ, что я облеветалъ женщину, что я нарочно шутилъ и чтобъ Ламбертъ не смѣлъ больше никогда приходить ко мнѣ... Все это я высказалъ кое-какъ, черезъ пень-колоду, торопясь, по французски, и, разумѣется, странно неясно, но, къ удивленію моему, Альфонсинка все поняла ужасно; но что всего удивительнѣе—даже чему-то какъ-бы обрадовалась.

— Oui, oui, продолжала она мнѣ:—c'est une honte! Une dame... Oh, vous êtes généreux, vous! Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert...

Такъ что я даже въ ту минуту долженъ былъ бы стать въ недоумѣніи, видя такой неожиданный переворотъ въ ея чувствахъ, а, стало быть, пожалуй, и въ Ламбертовыхъ. Я, однако же, вышелъ молча; на душѣ моей было смутно и разсуждалъ я плохо. О, потомъ я все обсудилъ, но тогда уже было поздно! О, какая адская вышла тутъ машинація! Остановлюсь здѣсь и объясню ее всю впередъ, такъ какъ иначе читателю было-бы невозможно понять.

Дѣло состояло въ томъ, что еще въ первое свиданіе мое съ Ламбертомъ, вотъ тогда, какъ я оттаивалъ у него на квартирѣ, я проормоталъ ему, какъ дуракъ, что документъ зашитъ у меня въ карманѣ. Тогда я вдругъ на нѣкоторое время заснулъ у него на диванѣ въ углу, и Ламбертъ тогда же немедленно ошупалъ мнѣ карманъ и убѣдился, что въ немъ дѣйствительно зашита бумажка. Потомъ онъ нѣсколько разъ убѣждался, что бумажка еще тутъ: такъ, напримѣръ, во время нашего обѣда у татаръ, я помню, какъ онъ нарочно нѣсколько разъ обнималъ меня за талію. Понявъ, наконецъ, какой важности эта бумага, онъ составилъ свой совершенно особый планъ, котораго я во все и не предполагалъ у него. Я, какъ дуракъ, все время воображалъ, что онъ такъ упорно зоветъ меня къ себѣ единственно, чтобъ склонить меня войти съ нимъ въ компанію и дѣйствовать не иначе, какъ вмѣстѣ. Но, увы! онъ звалъ меня совсѣмъ для другаго! Онъ звалъ меня, чтобъ опонть меня за смертью, и когда я растанусь безъ чувствъ и захраплю, то взрѣзать мой карманъ и овладѣть документомъ. Точь въ

точь такимъ образомъ они съ Альфонсинкой въ ту ночь и поступали; Альфонсинка и взрѣзывала карманъ. Доставъ письмо, *ея письмо*, мой московскій документъ, они взяли такого же размѣра простую почтовую бумажку и положили въ надрѣзанное мѣсто кармана и зашили снова, какъ ни въ чемъ ни бывало, такъ что я ничего не могъ замѣтить. Альфонсинка же и зашивала. А я-то, я-то до самаго почти конца, еще дѣлалъ полтора дня—я все еще продолжалъ думать, что я—обладатель тайны и что ужасъ Катерины Николаовны все еще въ моихъ рукахъ.

Последнее слово: эта кража документа была всему причиною, всѣмъ остальнымъ несчастіямъ!

II.

Наступили послѣднія сутки моихъ записокъ и я—на концѣ конца!

Было, я думаю, около половины одиннадцатаго, когда я, возбужденный и, сколько помню, какъ-то странно разсѣянный, но съ окончательнымъ рѣшеніемъ въ сердцѣ, добрелъ до своей квартиры. Я не торопился, я зналъ уже, какъ поступлю. И вдругъ, едва только я вступилъ въ нашъ корридоръ, какъ тотчасъ же понялъ, что стряслась новая бѣда и произошло необыкновенное усложненіе дѣла: старшій князь, только что привезенный изъ Царскаго Села, находился въ нашей квартирѣ, а при немъ была Анна Андреевна!

Они помѣстили его не въ моей комнатѣ, а въ двухъ хозяйскихъ, рядомъ съ моей. Еще наканунѣ, какъ оказалось, произведены были въ этихъ комнатахъ нѣкоторые измѣненія и украшенія, впрочемъ, самыя легкія. Хозяинъ перешелъ съ своей женой въ каморку капризнаго рыбаго жильца, о которомъ я уже упоминалъ прежде, а рыбакой жилецъ былъ на это время конфискованъ—ужь не знаю куда.

Меня встрѣтилъ хозяинъ, тотчасъ же шмыгнувшій въ мою комнату. Онъ смотрѣлъ не такъ рѣшительно, какъ вчера, но былъ въ необыкновенно возбужденномъ состояніи, такъ сказать, на высотѣ событія. Я ничего не сказалъ ему, но, отойдя въ уголъ и взявшись за голову руками, такъ простоялъ съ минуту. Онъ сначала подумалъ было, что я „представляюсь“, но подѣ конецъ не вытерпѣлъ и испугался:

— Развѣ что не такъ? пробормоталъ онъ: — я вотъ ждалъ васъ спросить, прибавилъ онъ, вида, что я не отвѣчаю:—не прикажете ли растворить вотъ эту самую дверь, для прямаго сообщенія съ княжескими покоями... чѣмъ черезъ корридоръ? Онъ указывалъ боковую

всегда запертую дверь, сообщавшуюся съ его хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, съ помещеніемъ князя.

— Вотъ что, Петръ Ишполитовичъ, обратился я къ нему съ строгимъ видомъ: — прошу васъ покорнѣйше пойти и пригласить сейчасъ сюда ко мнѣ Анну Андреевну для переговоровъ. Давно они здѣсь?

— Да уже почти что часъ будетъ.

— Такъ сходите.

Онъ сходилъ и принесъ отвѣтъ странный, что Анна Андреевна и князь Николай Ивановичъ съ нетерпѣніемъ ожидаютъ меня къ себѣ; Анна Андреевна, значить, не захотѣла пожаловать. Я оправилъ и почистилъ мой смявшійся за ночь сюртукъ, умылся, причесался, все это не торопясь, и, понимая, какъ надобно быть осторожнымъ, отправился къ старику.

Князь сидѣлъ на диванѣ за круглымъ столомъ, а Анна Андреевна, въ другомъ углу, у другаго накрытаго скатертью стола, на которомъ кипѣлъ вычищенный, какъ никогда, хозяйскій самоваръ, приготовляла ему чай. Я вошелъ съ тѣмъ же строгимъ видомъ въ лицѣ, и старичокъ, мигомъ замѣтивъ это, такъ и вздрогнулъ, и улыбка быстро смѣнилась въ лицѣ его рѣшительно испугомъ, но я тотчасъ же не выдержалъ, засмѣялся и протянулъ ему руки; бѣдный такъ и бросился въ мои объятія.

Безъ сомнѣнія, я тотчасъ же понялъ, съ кѣмъ имѣю дѣло. Во первыхъ, мнѣ стало ясно, какъ дважды два, что изъ старика, даже почти еще бодрого и все таки хоть сколько нибудь разумнаго и хоть съ какими нибудь да характеромъ, они, за это время, пока мы съ нимъ не видѣлись, сдѣлали какую-то мумію, какого-то ребенка, пугливаго и недовѣрчиваго. Прибавлю: онъ совершенно зналъ, зачѣмъ его сюда привезли, и все случилось точно такъ, какъ я объяснилъ выше, забывая впередъ. Его прямо вдругъ поразили, разбили, раздавили извѣстіемъ о предательствѣ его дочери и о сѣумасшедшемъ домѣ. Онъ далъ себя увести, едва сознавая отъ страха, что дѣлаетъ. Ему сказали, что я—обладатель тайны и что у меня ключъ къ окончательному рѣшенію. Скажу впередъ: вотъ этого-то окончательнаго рѣшенія и ключа онъ испугался пуще всего на свѣтѣ. Онъ ждалъ, что я такъ и войду къ нему съ какимъ-то приговоромъ на лбу и съ бумагой въ рукавѣ, и странно былъ радъ, что я покаместъ готовъ смѣяться и болтать совсѣмъ о другомъ. Когда мы обнялись, онъ заплакалъ. Признаюсь, капельку заплакалъ и я; но мнѣ вдругъ стало его очень жалко... Маленькая Адфонсинкина собачонка заливалась тоненькимъ, какъ

колокольчикъ, лаемъ и рвалась на меня съ дивана. Съ этой крошечной собачкой онъ уже не разставался съ тѣхъ поръ, какъ приобрѣлъ ее, даже спалъ вмѣстѣ съ нею.

— Oh, je disais qu'il a du sommeil! воскликнулъ онъ, указывая на меня Аннѣ Андреевнѣ.

— Но какъ же вы поздоровѣли, князь, какой у васъ прекрасный свѣжій, здоровый видъ! замѣтилъ я. Увы! Все было на оборотъ: это была мумія, а я такъ только сказалъ, чтобъ его ободрить.

— N'est-ce pas, n'est-ce pas? радостно повторялъ онъ. — О, я удивительно поправился здоровьемъ.

— Однако, кушайте вашъ чай, и, если дадите и мнѣ чашку, то и я выпью съ вами.

— И чудесно! „Будемъ пить и наслаждаться...“ или какъ это тамъ, есть такіе стихи. Анна Андреевна, дайте ему чаю; il prend toujours par les sentiments... дайте намъ чаю, милая.

Анна Андреевна подала чаю, но вдругъ обратилась ко мнѣ и начала съ чрезвычайною торжественностью.

— Аркадій Макаровичъ, мы оба, я и благодѣтель мой, князь Николай Ивановичъ, пріютились у васъ. Я считаю, что мы пріѣхали къ вамъ, въ вамъ одному, и оба просимъ у васъ убѣжища. Помните, что почти вся судьба этого святаго, этого благороднѣйшаго и обиженнаго человѣка въ рукахъ вашихъ... Мы ждемъ рѣшенія отъ вашего правдиваго сердца!

Но она не могла докончить; князь пришелъ въ ужасъ и почти задрожалъ отъ испуга:

— Après, après, n'est-ce pas? Chère amie! повторялъ онъ, подымая къ ней руки.

Не могу выразить, какъ непріятно подѣйствовала и на меня ея выходка. Я ничего не отвѣтилъ и удовольствовался лишь холоднымъ и важнымъ поклономъ; затѣмъ сѣлъ за столъ и даже нарочно заговорилъ о другомъ, о какихъ-то глупостяхъ, началъ смѣяться и острить... Старикъ былъ видимо мнѣ благодаренъ и восторженно развеселился. Но его веселіе, хотя и восторженное, видимо было какое-то непрочное и моментально могло смѣниться совершеннымъ упадкомъ духа; это было ясно съ перваго взгляда.

— Cher enfant, я слышалъ, ты былъ боленъ... Ахъ, pardon! Ты, я слышалъ, все время занимался спиритизмомъ?

— И не думалъ, улыбнулся я.

— Нѣтъ? А кто же мнѣ говорилъ про спи-ри-тизмъ?

— Это вамъ здѣшній чиновникъ, Петръ Ипполитовичъ, давеча говорилъ, объяснила Анна Андреевна:—онъ—очень веселый человекъ и знаетъ множество анекдотовъ; хотите, я позову?

— Oui, oui, il est charmant... знаетъ анекдоты, но лучше позовемъ потомъ. Мы позовемъ его, и онъ намъ все расскажетъ; mais argès. Представь, давеча столъ накрываютъ, а онъ и говоритъ: не безпокойтесь, не улетитъ, мы—не спириты. Неужто у спиритовъ столы летаютъ?

— Право, не знаю; говорятъ, поднимаются на всѣхъ ножкахъ.

— Mais c'est terrible ce que tu dis, поглядѣлъ онъ на меня испуганно.

— О, не безпокойтесь, это вѣдь—вздоръ.

— Я и самъ говорю. Настасья Степановна Саломеева... ты вѣдь знаешь ее... ахъ да, ты не знаешь ея—...представь себѣ, она тоже вѣрить въ спиритизмъ и, представьте себѣ, chère enfant, повернулся онъ къ Аннѣ Андреевнѣ: я ей и говорю: въ министерствахъ вѣдь тоже столы стоятъ и на нихъ по восьми паръ чиновничьихъ рукъ лежать, все бумаги нишуть—такъ отчего-жъ тамъ столы не пляшутъ? Вообрази, вдругъ запляшутъ! Бунтъ столовъ въ министерствѣ финансовъ или народнаго просвѣщенія—этого не доставало?

— Какія вы, по прежнему, милыя вещи говорите, князь, воскликнулъ я, стараясь искреннѣе разсмѣяться.

— N'est-ce pas? Je ne parle pas trop, mais je dis bien.

— Я приведу Петра Ипполитовича, встала Анна Андреевна. Удовольствіе засіяло въ лицѣ ея: судя по тому, что я такъ ласковъ къ старику, она обрадовалась. Но лишь только она вышла, вдругъ все лицо старика измѣнилось мгновенно. Онъ торопливо взглянулъ на дверь, оглядѣлся кругомъ и, нагнувшись ко мнѣ съ дивана, зашепталъ мнѣ испуганнымъ голосомъ:

— Cher ami! О, еслибъ я могъ видѣть ихъ обѣихъ здѣсь вмѣстѣ! О, cher enfant!

— Князь, успокойтесь...

— Да, да, но... мы ихъ помиримъ, n'est-ce-pas? Тутъ пустая мелкая ссора двухъ достойнѣйшихъ женщинъ, n'est-ce-pas? Я только на тебя одного и надѣюсь... Мы это здѣсь все приведемъ въ порядокъ; и какая здѣсь странная квартира, оглядывался онъ почти боязливо; и знаешь, этотъ хозяинъ... у него такое лицо... Скажи, онъ не опасенъ?

— Хозяинъ? О, нѣтъ, чѣмъ же онъ можетъ быть опасенъ?

— C'est ça. Тѣмъ лучше. Il semble qu'il est bête, ce gentil-homme. Cher enfant, ради Христа, не говори Аннѣ Андреевнѣ, что я здѣсь всего боюсь: я все здѣсь похвалилъ съ перваго шагу, и хозяйина похвалилъ. Послушай, ты знаешь исторію о фонъ-Зонѣ—помнишь?

— Такъ что же?

— Rien, rien du tout... Mais je suis libre ici, n'est-ce pas? Какъ ты думаешь, здѣсь ничего не можетъ со мной случиться... въ такомъ же родѣ?

— Но увѣряю же васъ, голубчикъ... помируйте!

— Mon ami! Mon enfant! воскликнулъ онъ вдругъ, складывая передъ собою руки и уже вполне не скрывая своего испуга:—если у тебя въ самомъ дѣлѣ что-то есть... документы... однимъ словомъ—если у тебя есть что мнѣ сказать, то не говори; ради Бога ничего не говори совѣтъ... какъ можно дольше не говори...

Онъ хотѣлъ броситься обнимать меня; слезы текли по его лицу; не могу выразить, какъ сжалось у меня сердце: бѣдный старикъ былъ похожъ на жалкаго, слабаго, испуганнаго ребенка, котораго выкрали изъ роднаго гнѣзда какіе-то цыгане и увели къ чужимъ людямъ. Но обняться намъ не дали: отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна, но не съ хозяиномъ, а съ братомъ своимъ камеръ-юнкеромъ. Эта новость ошеломила меня; я всталъ и направился къ двери.

— Аркадій Макаровичъ, позвольте васъ познакомиться, громко проговорила Анна Андреевна, такъ что я невольно долженъ былъ остановиться.

— Я слишкомъ знакомъ уже съ вашимъ братцемъ, отчеканилъ я, особенно ударяя на слово слишкомъ.

— Ахъ, тутъ ужасная ошибка! И я такъ ви-но-вать, милый Анд... Андрей Макаровичъ, началъ ямлить молодой человѣкъ, подходя ко мнѣ съ необыкновенно развязнымъ видомъ и захвативъ мою руку, которую я не въ состояніи былъ отнять:—во всемъ виноватъ мой Степанъ; онъ такъ глупо тогда доложилъ, что я принялъ васъ за другого—это въ Москвѣ, пояснилъ онъ сестрѣ:—потомъ я стремился къ вамъ изо всей силы, чтобъ розыскать, но заболѣлъ, вотъ спросите ее. Cher prince, nous devons être amis même par droit de naissance...

И дерзкій молодой человѣкъ осмѣлился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уже верхомъ фамиллярности. Я отстранился, но, сконфузившись, предпочелъ скорѣе уйти, не сказавъ ни слова. Войдя къ себѣ, я сѣлъ на кровать въ раздумьи и въ волненіи. Ин-

трига душила меня, но не могъ же я такъ прямо огоршить и подкосить Анну Андреевну. Я вдругъ почувствовалъ, что и она мнѣ тоже дорога и что положеніе ея ужасно.

III.

Какъ я и ожидалъ того, она сама вошла въ мою комнату, оставивъ князя съ братомъ, который началъ пересказывать князю какія-то свѣтскія сплетни, самыя свѣжія и новоиспеченныя, чѣмъ нигомъ увлекъ и развеселилъ впечатлительнаго старичка. Я молча и съ вопросительнымъ видомъ приподнялся съ кровати.

— Я вамъ сказала все, Аркадій Макаровичъ, прямо начала она:—наша судьба въ вашихъ рукахъ.

— Но вѣдь и я васъ предупредилъ, что не могу... Самыя святныя обязанности мѣшаютъ мнѣ исполнить то, на что вы рассчитываете...

— Да? Это—вашъ отвѣтъ? Ну, пусть я погибну, а старикъ! Какъ вы рассчитываете: вѣдь онъ къ вечеру сойдетъ съ ума!

— Нѣтъ, онъ сойдетъ съ ума, если я ему покажу письмо дочери, въ которомъ та совѣтуется съ адвокатомъ о томъ какъ объявить отца сумасшедшимъ! воскликнулъ я съ жаромъ.—Вотъ чего онъ не вынесетъ. Знайте, что онъ не вѣритъ письму этому, онъ мнѣ уже говорилъ!

Я пригнулъ, что онъ мнѣ говорилъ: но это было кстати.

— Говорилъ уже? Такъ я и думала! Въ такомъ случаѣ, я погибла; онъ о сию пору ужъ плакалъ и просился домой.

— Сообщите мнѣ, въ чемъ собственно заключается вашъ планъ? спросилъ я настойчиво. Она покраснѣла, такъ сказать, отъ уязвленной надменности, однако свернула:

— Съ этимъ письмомъ его дочери въ рукахъ мы оправданы въ глазахъ свѣта. Я тотчасъ же пошлю къ князю В—му и къ Борису Михайловичу Пелищеву, его друзьямъ съ дѣтства; оба—почтенныя вліятельныя въ свѣтѣ лица, и, я знаю это, они уже два года назадъ съ негодованіемъ отнеслись къ нѣкоторымъ поступкамъ его безжалостной и жадной дочери. Они, конечно, помянутъ его съ дочерью, по моей просьбѣ, и я сама на томъ настою; но зато положеніе дѣлъ совершенно измѣнится. Кромѣ того, тогда и родственники мои, Фанариотовы, какъ я рассчитываю, рѣшатся поддержать мои права. Но для меня, прежде всего, его счастье; пусть онъ пойметъ, наконецъ, и опѣнить: кто дѣйствительно ему преданъ? Безъ сомнѣнія, я всего болѣе

разсчитываю на ваше вліяніе, Аркадій Макаровичъ: вы такъ его любите... Да кто его и любитъ-то, кромѣ насъ съ вами? Онъ только и говорилъ, что объ васъ въ послѣдніе дни; онъ тосковалъ объ васъ, вы— „молодой его другъ“... Само собою, что всю жизнь потомъ благодарность моя не будетъ имѣть границъ...

Это ужъ она сулила мнѣ награду,—денегъ, можетъ быть.

Я рѣзко прервалъ ее:

— Чтѣ-бы вы ни говорили, я не могу, произнесъ я съ видомъ непоколебимаго рѣшенія:—я могу только заплатить вамъ такую-же искренностью и объяснить вамъ мои послѣднія намѣренія: я передамъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, это роковое письмо Катеринѣ Николаевнѣ въ руки, но съ тѣмъ, чтобъ изъ всего, теперь случившагося, не дѣлать скандала и чтобъ она дала заранѣе слово, что не помѣшаетъ вашему счастью. Вотъ все, что я могу сдѣлать.

— Это невозможно! проговорила она, вся покраснѣвъ. Одна мысль о томъ, что Катерина Николаевна будетъ ее *шадить*, привела ее въ негодованіе.

— Я не пережью рѣшенія, Анна Андреевна.

— Можетъ быть, переживите.

— Обратитесь къ Ламберту!

— Аркадій Макаровичъ, вы не знаете, какія могутъ выйти несчастія черезъ ваше упрямство, проговорила она сурово и ожесточенно.

— Несчастія выйдутъ—это навѣрно... у меня кружится голова. Довольно мнѣ съ вами: я рѣшился—и кончено. Только, ради Бога прошу васъ—не приводите ко мнѣ вашего брата.

— Но онъ именно желаетъ заглядить...

— Ничего не надо заглаживать! Не нуждаюсь, не хочу, не хочу! восклицалъ я, схвативъ себя за голову. (О, можетъ быть, я поступилъ тогда съ нею слишкомъ свысока!) Скажите, однако, гдѣ будетъ ночевать сегодня князь? Неужели здѣсь?

— Онъ будетъ ночевать здѣсь, у васъ и съ вами.

— Бѣ вечеру же я съѣду на другую квартиру!

И, вслѣдъ за этими безпощадными словами, я схватилъ шапку и сталъ надѣвать шубу. Анна Андреевна молча и сурово наблюдала меня. Мнѣ жаль было,—о, мнѣ жаль было эту гордую дѣвушку! Но я выбѣжалъ изъ квартиры, не оставивъ ей ни слова въ надежду.

IV.

Постарайсь сократить. Рѣшеніе мое было принято, неизмѣнно и я прямо отправился къ Татьянѣ Павловнѣ. Увы! Могло бы быть предупреждено большое несчастіе, еслибъ я ее засталъ тогда дома; но, какъ нарочно, въ этотъ день меня особенно преслѣдовала неудача. Я, конечно, зашелъ и къ мамѣ, во первыхъ, чтобъ провѣдать бѣдную маму, а во вторыхъ, рассчитывая почти навѣрно встрѣтить тамъ Татьяну Павловну: но и тамъ ея не было; она только что куда-то ушла, а мама лежала больная и съ ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы: „всю ночь не спала, мучилась; слава Богу, что хоть теперь заснула“. Я обнялъ Лизу и сказалъ ей только два слова о томъ, что принялъ огромное и роковое рѣшеніе и сейчасъ его исполню. Она выслушала безъ особаго удивленія, какъ самыя обыкновенныя слова. О, они всё привыкли тогда къ моимъ непрерывнымъ „последнимъ рѣшеніямъ“ и потому малодушнымъ отмѣнамъ ихъ. Но теперь—теперь было дѣло другое! Я зашелъ, однако же, въ трактиръ на канавѣ и посидѣлъ тамъ, чтобъ выждать и чтобъ ужъ навѣрно застать Татьяну Павловну. Впрочемъ, объясню, зачѣмъ мнѣ такъ вдругъ понадобилась эта женщина. Дѣло въ томъ, что я хотѣлъ ее тотчасъ послать къ Катеринѣ Николаевнѣ, чтобъ попросить ту въ ея квартиру и при Татьянѣ же Павловнѣ возвратить документъ, объяснивъ все и разъ навсегда... Однимъ словомъ, я хотѣлъ только должнаго; я хотѣлъ оправдать себя разъ навсегда. Порѣшивъ съ этимъ пунктомъ, я непремѣнно и уже настоятельно положилъ замолвить тутъ же нѣсколько словъ въ пользу Анны Андреевны и, если возможно, взявъ Катерину Николаевну и Татьяну Павловну (какъ свидѣтельницами), привезти ихъ ко мнѣ, то есть къ князю, тамъ помирить враждующихъ женщинъ, воскресить князя и... и... однимъ словомъ, по крайней мѣрѣ, тутъ, въ этой кучкѣ, сегодня же, сдѣлать всѣхъ счастливыми, такъ что оставались бы лишь одинъ Версиловъ и мама. Я не могъ сомнѣваться въ успѣхѣхъ: Катерина Николаевна, изъ благодарности за возвращеніе письма, за которое я не спросилъ бы съ нея ничего, не могла мнѣ отказать въ такой просьбѣ. Увы! Я все еще воображалъ, что обладаю документомъ. О, въ какомъ глупомъ и недостойномъ былъ я положеніи, самъ того не вѣдая!

Уже сильно смерклось и было уже около четырехъ часовъ, когда я опять навѣдался къ Татьянѣ Павловнѣ. Марья отвѣтила грубо, что „не приходила“. Я очень припоминаю теперь странный взглядъ изъ-

подлѣбья Марьи; но, разумѣется, тогда мнѣ еще ничего не могло зайти въ голову. Напротивъ, меня вдругъ кольнула другая мысль: въ досадѣ и въ нѣкоторомъ уныніи спускаясь съ лѣстницы отъ Татьяны Павловны, я вспомнилъ бѣднаго князя, простирившаго ко мнѣ давеча руки — и я вдругъ больно укорилъ себя за то, что я его бросилъ, можетъ быть, даже изъ личной досады. Я съ безпокойствомъ началъ представлять себѣ, что въ мое отсутствіе могло произойти у нихъ даже что нибудь очень не хорошее, и поспѣшно направился домой. Дома, однако, произошли лишь слѣдующія обстоятельства.

Анна Андреевна, выйдя давеча отъ меня во гнѣвѣ, еще не потеряла духа. Надобно передать, что она еще съ утра послала къ Ламберту, затѣмъ послала къ нему еще разъ и, такъ какъ Ламберта все не оказывалось дома, то послала, наконецъ, своего брата искать его. Бѣдная, видя мое сопротивленіе, возложила на Ламберта и на вліяніе его на меня свою послѣднюю надежду. Она ждала Ламберта съ нетерпѣніемъ и только дивилась, что онъ, неотходившій отъ нея и юлившій около нея до сегодня, вдругъ ее совсѣмъ бросилъ и самъ исчезъ. Увы! Ей и въ голову не могло зайти, что Ламбертъ, обладая теперь документомъ, принялъ уже совсѣмъ другія рѣшенія, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно отъ нея прячется.

Такимъ образомъ, въ безпокойствѣ и съ возроставшей тревогой въ душѣ, Анна Андреевна почти не въ силахъ была развлекать старика; а, между тѣмъ, безпокойство его возросло до угрожающихъ размѣровъ. Онъ задавалъ странные и пугливые вопросы, сталъ даже на нее по-сматривать подозрительно и нѣсколько разъ начиналъ плакать. Молодой Версильовъ просидѣлъ тогда не долго. Послѣ него, Анна Андреевна привела, наконецъ, Петра Ипполитовича, на котораго такъ надѣялась, но этотъ совсѣмъ не понравился, даже произвелъ отвращеніе. Вообще, на Петра Ипполитовича князь почему-то смотрѣлъ все съ болѣе и болѣе возроставшею недовѣрчивостью и подозрительностью. А хозяинъ, какъ нарочно, пустился опять толковать о спиритизмѣ и о какихъ-то фокусахъ, которые будто бы самъ видѣлъ въ представленіи, а именно, какъ одинъ пріѣзжій шарлатанъ, будто бы, при всей публикѣ отрѣзывалъ человѣческія головы, такъ что кровь лилась, и всѣ видѣли, и потомъ приставлялъ ихъ опять къ шеѣ, и что будто бы онъ приростали, тоже при всей публикѣ, и что, будто бы, все это произошло въ пятьдесятъ девятомъ году. Князь такъ испугался, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, пришелъ почему-то въ такое негодованіе, что Анна Андреевна принуждена была немедленно удалить разскащика. Къ счастью, прибылъ

обѣдъ, нарочно заказанный наканунѣ гдѣ-то по близости (черезъ Ламберта и Альфонсиану) у одного замѣчательнаго француза-повара, жившаго безъ мѣста и искавшаго помѣститься въ аристократическомъ домѣ или въ клубѣ. Обѣдъ съ шампанскимъ чрезвычайно развеселилъ старика; онъ кушалъ много и очень шутилъ. Послѣ обѣда, конечно, отяжелѣлъ, и ему захотѣлось спать, а такъ какъ онъ всегда спалъ послѣ обѣда, то Анна Андреевна и приготовила ему постель. Засыпая, онъ все цаловалъ у ней руки, говорилъ, что она — его рай, надежда, Гурія, „Золотой цвѣтокъ“ — однимъ словомъ, пустился было въ самыя восточныя выраженія. Наконецъ, заснулъ и вотъ тутъ-то я и вернулся.

Анна Андреевна торопливо вошла ко мнѣ, сложила передо мной руки и сказала, что „уже не для нея, а для князя, умоляетъ меня не уходить и, когда онъ проснется, пойти къ нему. Безъ васъ онъ погибнетъ, съ нимъ случится нервный ударъ; я боюсь, что онъ не вынесетъ еще до ночи“... Она прибавила, что самой ей непременно надо будетъ отлучиться, „можетъ быть, даже на два часа, и что князя, стало быть, она оставляетъ на одного меня“. Я съ жаромъ далъ ей слово, что останусь до вечера и что, когда онъ проснется, употреблю всѣ усилія, чтобъ развлечь его.

— А я исполню свой долгъ! заключила она энергически.

Она ушла. Прибавлю, забѣгая впередъ: она сама поѣхала отыскивать Ламберта; это была послѣдняя надежда ея; сверхъ того, побывала у брата и у родныхъ Фанаріотовыхъ; понятно, въ какомъ состояніи духа должна была она вернуться.

Князь проснулся, примѣрно, черезъ часъ по ея уходѣ. Я услышалъ черезъ стѣну его стонъ и тотчасъ побѣжалъ къ нему; засталъ же его сидящимъ на кровати, въ халатѣ, но до того испуганнаго уединеніемъ, свѣтомъ одинокой лампы и чужой комнатою, что, когда я вошелъ, онъ вздрогнулъ, привскочилъ и закричалъ. Я бросился къ нему, и когда онъ разглядѣлъ, что это я, то со слезами радости началъ меня обнимать.

— А мнѣ сказали, что ты куда-то переѣхалъ на другую квартиру, испугался и убѣжалъ.

— Кто вамъ могъ сказать это?

— Кто могъ? Видишь, я, можетъ быть, это самъ выдумалъ, а, можетъ быть, кто и сказалъ. Представь, я сейчасъ сонъ видѣлъ: входитъ старикъ съ бородой и съ образомъ, съ расколотымъ на двое образомъ, и вдругъ говорить: „Такъ расколется жизнь твоя!“

— Ахъ, Боже мой, вы навѣрно уже слышали отъ когонибудь, что Версиловъ разбилъ вчера образъ?

— N'est-ce pas? Слышалъ, слышалъ! Я отъ Дарьи Онисимовны еще давеча утромъ слышалъ. Она сюда перевозила мой чемоданъ и собачку.

— Ну, вотъ и приснилось.

— Ну, все равно; и, представь, этотъ старикъ все мнѣ грозилъ пальцемъ. Гдѣ же Анна Андреевна?

— Она сейчасъ воротится.

— Откуда? Она тоже уѣхала? болѣзненно воскликнулъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, она сейчасъ тутъ будетъ и просила меня у васъ посидѣть.

— Оуі, придти. И такъ, нашъ Андрей Петровичъ съума спятилъ, „какъ невзначай и какъ проворно!“ Я всегда предрекалъ ему, что онъ этимъ самымъ кончитъ. Другъ мой, стой...

Онъ вдругъ схватилъ меня рукой за скуртку и притянулъ къ себѣ.

— Хозяинъ давеча, зашепталъ онъ:— приноситъ вдругъ фотографіи, гадкія женскія фотографіи, все голыхъ женщинъ въ разныхъ восточныхъ видахъ, и начинаетъ вдругъ показывать мнѣ въ стекло... Я, видишь-ли, хвалилъ скрѣпя сердце, но такъ вѣдь точно они гадкихъ женщинъ приводили къ тому несчастному, съ тѣмъ, чтобъ потомъ тѣмъ удобнѣе опointъ его...

— Это вы все о фонъ-Зоиѣ, да полноте-же, князь! Хозяинъ — дуракъ и ничего больше!

— Дуракъ и ничего больше! C'est mon opinion! Другъ мой, если можешь, то спаси меня отсюда! сложилъ онъ вдругъ предо мною руки.

— Князь, все, что только могу! Я весь вашъ... Милый князь, подождите, и я, можетъ быть, все улажу!

— N'est-ce pas? Мы возьмемъ да и убѣжимъ, а чемоданъ оставимъ для виду, такъ что онъ и подумаетъ, что мы воротимся.

— Куда убѣжимъ? А Анна Андреевна?

— Нѣтъ, нѣтъ, вмѣстѣ съ Анной Андреевной... Oh, mon cher, у меня въ головѣ какая-то каша... Стой: тамъ, въ сакѣ направо, портретъ Кати; я сунулъ его давеча потихоньку, чтобъ Анна Андреевна и, особенно, чтобъ эта Дарья Онисимовна не примѣтили, вынь, ради Бога, поскорѣе, поосторожнѣе, смотри, чтобъ насъ не застали... Да нельзя-ли насадить на дверь крючекъ?

Дѣйствительно, я отыскалъ въ сакѣ фотографическій, въ овальной рамкѣ, портретъ Катерины Николаевны. Онъ взялъ его въ руку, поднесъ къ свѣту, и слезы вдругъ потекли по его желтымъ, худымъ щекамъ:

— C'est un ange, c'est un ange du ciel! восклицалъ онъ: — всю жизнь я былъ передъ ней виновать... и вотъ теперь! Chère enfant, я не вѣрю ничему, ничему не вѣрю! Другъ мой, скажи мнѣ: ну, можно ли представить, что меня хотятъ засадить въ сумасшедшій домъ? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit... и вдругъ этого-то чело-вѣка — везуть въ сумасшедшій домъ?

— Никогда этого не было! вскричалъ я. — Это — ошибка. Я знаю ея чувства!

— И ты тоже знаешь ея чувства? Ну, и прекрасно! Другъ мой, ты воскресилъ меня. Чтѣ же они мнѣ про тебя наговорили? Другъ мой, позови сюда Катю, и пусть онѣ обѣ при мнѣ поцалуются, и я повезу ихъ домой, а хозяйна мы прогонимъ!

Онъ всталъ, сложилъ предо мною руки и вдругъ сталъ предо мной на колѣни:

— Cher, зашепталъ онъ въ какомъ-то безумномъ уже страхѣ, весь дрожа какъ листъ: — другъ мой, скажи мнѣ всю правду: куда меня теперь дѣнуть?

— Боже! вскричалъ я, поднимая его и сажая на кровать: — да вы и мнѣ, наконецъ, не вѣрите; вы думаете, что и я въ заговорѣ? Да я васъ здѣсь никому тронуть пальцемъ не дамъ!

— C'est ça, не давай, пролеталъ онъ, крѣпко ухвативъ меня за локти обѣими руками и продолжая дрожать. — Не давай. меня никому! И не лги мнѣ самъ ничего... потому что неужто же меня отсюда отвезутъ? Послушай, этотъ хозяйнъ, Ипполитъ или какъ его, онъ... не докторъ?

— Какой докторъ?

— Это... это — не сумасшедшій домъ, вотъ здѣсь, въ этой комнатѣ?

Но въ это мгновеніе вдругъ отворилась дверь и вошла Анна Андреевна. Должно быть, она подслушивала у двери и, не вытерпѣвъ, отворила слишкомъ внезапно — и князь, вздрагивавшій при каждомъ скрипѣ, вскрикнулъ и бросился ничкомъ въ подушку. Съ нимъ произошло, наконецъ, что-то въ родѣ припадка, разрѣшившагося рыданіями.

— Вотъ плоды вашего дѣла, проговорилъ я ей, указывая на старика.

— Нѣтъ, это — плоды вашего дѣла! рѣзко возвысила она голосъ. — Въ послѣдній разъ обращаюсь къ вамъ, Аркадій Макаровичъ: хотите ли вы обнаружить адскую интригу противъ беззащитнаго старика и пожертвовать „безумными и дѣтскими любовными мечтами вашими“, чтобъ спасти *родную* вашу сестру?

— Я спасу васъ всѣхъ, но только такъ, какъ я вамъ сказалъ давеча! Я бѣгу опять; можетъ быть, черезъ часъ здѣсь будетъ сама Екатерина Николаевна! Я всѣхъ примирю и всѣ будутъ счастливы! воскликнулъ я почти въ вдохновеніи.

— Приведи, приведи ее сюда, встрепенулся князь.—Поведите меня къ ней! Я хочу видѣть Катю и благословить ее, восклицалъ онъ, воздымая руки и порывааясь съ постели.

— Видите, указалъ я на него Аннѣ Андреевнѣ:—слышите, что онъ говоритъ: теперь ужъ, во всякомъ случаѣ, никакой „документъ“ вамъ не поможетъ.

— Вижу, но онъ еще помогъ бы оправдать мой поступокъ во мнѣніи свѣта, а теперь—я опозорена! Довольно; совѣсть моя чиста. Я оставлена всѣми, даже роднымъ братомъ моимъ, испугавшимся неуспѣха... Но я исполню свой долгъ и останусь подлѣ этого несчастнаго, его нянькой, сидѣлкой!

Но времени терять было нечего, я выбѣжалъ изъ комнаты:

— Я возвращаюсь черезъ часъ и возвращаюсь не одинъ! прокричалъ я съ порога.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

I.

Наконецъ-то я засталъ Татьяну Павловну! Я разомъ изложилъ ей все—все о документѣ и все, до послѣдней нитки, о томъ, что у насъ теперь на квартирѣ. Хотя она и сама слишкомъ понимала эти событія и могла бы съ двухъ словъ схватить дѣло, однако, изложеніе заняло у насъ, я думаю, минутъ десять. Говорилъ я одинъ, говорилъ всю правду и не стыдился. Она молча и неподвижно, выпрямившись какъ спица, сидѣла на своемъ стулѣ, сжавъ губы, не спуская съ меня глазъ и слушая изъ всѣхъ силъ. Но когда я кончилъ, вдругъ вскочила со стула и до того стремительно, что вскочилъ и я.

— Ахъ, пащенокъ! Такъ это письмо, въ самомъ дѣлѣ, у тебя было зашито и зашивала дура Марья Ивановна! Ахъ, вы мерзавцы-безобразники! Такъ ты съ тѣмъ, чтобъ покорять сердца, сюда ѣхалъ, высшій свѣтъ побѣждать. Чорту Ивановичу откстить за то, что побочный сынъ, захотѣлъ?

— Татьяна Павловна, вскричалъ я:—не смѣйте браниться! Можетъ быть, вы-то, съ ванею бранью, съ самаго начала и были причиною моего здѣшняго ожесточенія. Да, я—побочный сынъ и, можетъ

быть, дѣйствительно хотѣлъ отмстить за то, что побочный сынъ, и дѣйствительно, можетъ быть, какому-то Чорту Ивановичу, потому что самъ чортъ тутъ не найдетъ виноватаго; но вспомните, что я отвергъ союзъ съ мерзавцами и побѣдилъ свои страсти! Я молча положу передъ нею документъ и уйду, даже не дождавшись отъ нея слова; вы будете сами свидѣтельницами!

— Давай, давай письмо сейчасъ, клади сейчасъ сюда письмо на столъ! Да ты лжешь, можетъ быть?

— Оно въ моемъ карманѣ зашито; сама Марья Ивановна зашивала; а здѣсь, какъ спили новый куртукъ, я вынулъ изъ стараго и самъ перешилъ въ этотъ новый куртукъ; вотъ оно здѣсь, пощупайте, не лгу-съ!

— Давай его, вынимай его! буянила Татьяна Павловна.

— Ни за что-съ, это повторяю вамъ; я положу его передъ нею при васъ и уйду, не дождавшись одинаго слова; но надобно, чтобъ она знала и видѣла своими глазами, что это я, я самъ передаю ей, добровольно, безъ принужденія и безъ награды.

— Опять красоваться? Влюбленъ, пащенонъ?

— Говорите пакости сколько вамъ угодно; пусть, я заслужилъ, но я не обижаюсь. О, пусть я поважусь ей мелкимъ мальчишкой, который стерегъ ее и замышлялъ заговоръ; но пусть она сознается, что я покорилъ самого себя, а счастье ея поставилъ выше всего на свѣтѣ! Ничего, Татьяна Павловна, ничего! Я кричу себѣ: куражъ и надежда! Пусть это—первый мой шагъ вступленія на поприще, но зато онъ хорошо кончился, благородно кончился! И чтожь, что я ее люблю, продолжалъ я вдохновенно и сверкая глазами:—я не стыжусь этого: мама—ангелъ небесный, а она—царица земная! Версильовъ вернется къ мамѣ, а передъ нею мнѣ стыдиться нечего; вѣдь я слышалъ же, что они тамъ съ Версильовымъ говорили, я стоялъ за портьерой... О, мы всѣ трое—„одного безумія люди!“ Да вы знаете ли, чье это словечко: „одного безумія люди?“ Это—его словечко, Андрей Петровичево! Да знаете ли, что насъ здѣсь, можетъ быть, и больше, чѣмъ трое, одного-то безумія? Да бьюсь же объ закладъ, что и вы, четвертая—этого же безумія человекъ! Хотите скажу: бьюсь объ закладъ, что вы сами были влюблены всю жизнь въ Андрея Петровича, а, можетъ быть, и теперь продолжаете...

Повторяю, я былъ въ вдохновеніи и въ какомъ-то счастьи, но я не успѣлъ договорить: она вдругъ, какъ-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы.

внизу... потомъ вдругъ бросила и ушла въ уголь, стала лицомъ къ углу и закрыла лицо платкомъ:

— Пащенко! Не смѣй мнѣ больше этого никогда говорить! проговорила она, плача.

Это все было такъ неожиданно, что я былъ естественно ошеломленъ. Я стоялъ и смотрѣлъ на нее, не зная еще, что сдѣлаю.

— Фу, дуракъ! Поди сюда, поцалуй меня, дуру! проговорила она вдругъ, плача и смѣясь:—и не смѣй, не смѣй никогда мнѣ это повторить... А я тебя люблю и всю жизнь любила... дурака.

Я ее поцаловалъ. Скажу въ скобкахъ: съ этихъ-то поръ я съ Татьяной Павловной и сталъ другомъ.

— Ахъ да! Да чтожь это я! воскликнула она вдругъ, ударяя себя по лбу;—да что ты говоришь: старикъ князь у васъ на квартирѣ? Да правда-ли?

— Увѣрю васъ.

— Ахъ, Боже мой! Охъ, тошно мнѣ! закружилась и заметалась она по комнатѣ:—и они тамъ съ нимъ распоряжаются! Эхъ, грозн-то нѣтъ на дураковъ! И съ самаго съ утра? Ай да Анна Андреевна! Ай да монашенка! А вѣдь та-то, Милитриса-то, ничего-то вѣдь и не вѣдаетъ!

— Какая Милитриса?

— Да царица-то земная, идеаль-то! Эхъ, да чтожь теперь дѣлать?

— Татьяна Павловна! вскричалъ я, опомнившись:—мы говорили глупости, а забыли главное: я именно прибѣжалъ за Екатериной Николаевной, и меня всѣ опять тамъ ждутъ.

И я объяснилъ, что я передамъ документъ лишь съ тѣмъ, что она дастъ слово немедленно примириться съ Анной Андреевной и даже согласиться на бракъ ея...

— И прекрасно, перебила Татьяна Павловна:—и я тоже ей это разъ повторяла. Вѣдь онъ умереть же до брака-то—все равно не женится, а если деньги оставить ей въ завѣщаніи, Аннѣ-то, такъ вѣдь они же и безъ того уже вписаны туда и оставлены...

— Неужели Катеринѣ Николаевнѣ только денегъ жалко?

— Нѣтъ, она все боялась, что документъ у ней, у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотѣлось старика потрясти, а нѣмчуркѣ, Бьорингу, правда, и денегъ жалко было.

— И послѣ этого она можетъ выходить за Бьоринга?

— Да чтожь съ душой подѣлаешь? Сказано—дура, такъ дура и

будеть во вѣки. Спокойствіе, видишь, какое-то онъ ей доставить: „надо вѣдь, говорить, за когонибудь выходить, такъ за него, будто, всего ей способнѣе будетъ“; а вотъ и увидимъ, какъ тамъ ей будетъ способнѣе. Хватить себя потомъ по бокамъ руками: а ужь поздно будетъ.

— Такъ вы-то чего же допускаете? Вѣдь вы любите же ее; вѣдь вы въ глаза же ей говорили, что влюблены въ нее!

— И влюблена, и больше, чѣмъ васъ всѣхъ люблю, вмѣстѣ взя-тыхъ, а все таки она — дура бессмысленная!

— Да сбѣгайте же за ней теперь, и мы всѣ порѣшимъ и сами повеземъ ее къ отцу.

— Да нельзя, нельзя, дурачекъ! То-то вотъ и есть! Ахъ, что дѣлать! Ахъ, тошно мнѣ! заметалась она опять, захвативъ однако рукою пледъ. — Э-эхъ, кабы ты раньше четырьмя часами пришелъ, а теперь — восьмой, и она еще давеча къ Пелищевымъ обѣдать отпра-вилась, а потомъ съ ними въ оперу.

— Господи, такъ въ оперу нельзя-ли сбѣгать... да нѣтъ, нельзя! Такъ чтожь теперь съ старикомъ будетъ? Вѣдь онъ, пожалуй, ночью помретъ!

— Слушай, не ходи туда, ступай къ мамѣ, ночуй тамъ, а завтра рано...

— Нѣтъ, ни за что старика не оставлю, что бы ни вышло.

— И не оставляй; это — ты хорошо. А я, знаешь... побѣгу-ка я, однако, къ ней и оставлю записку... знаешь, я напишу нашими словами (она пойметъ!), что документъ тутъ, и чтобъ она завтра ровно въ де-сять часовъ утра была у меня — ровнешенько! Не беспокойся, явится, меня-то ужь послушается: тутъ все разомъ и сладимъ. А ты бѣги туда и финти предъ старикомъ что есть мочи, уложи его спать, авось вы-тянетъ до утра-то! Анну тоже не пугай, люблю вѣдь я и ее; ты къ ней несправедливъ, потому что понимать тутъ не можешь: она обижена, она съ дѣтства была обижена; охъ, навалились вы всѣ на меня! Да не забудь, скажи ей отъ меня, что за это дѣло я сама взялась, сама, и отъ всего моего сердца, и чтобъ она была спокойна, и что гордости ея ущербу не будетъ... Вѣдь мы съ ней въ послѣдніе-то дни совсѣмъ разобрались, расплевались — изругались! Ну, бѣги... Да постой, покажи-ка опять карманъ... да правда ли, правда ли? Охъ, правда ли?! Да отдай ты мнѣ это письмо хоть на ночь, чего тебѣ? Оставь, не съѣмъ. Вѣдь, пожалуй, за ночь-то изъ рукъ выпустишь... мнѣнѣе перемѣнишь?

— Ни за что: вскрикнулъ я: — на-те, шупайте, смотрите, а ни за что вамъ не оставлю!

— Вижу, что бумажка, щупала она пальцами.—Э-эхъ, ну, хорошо, ступай, а я къ ней, можетъ, и въ театръ махну, это ты хорошо сказалъ! Да бѣги же, бѣги!

— Татьяна Павловна, постойте, чтò мама?

— Жива.

— А Андрей Петровичъ?

Она махнула рукой.

— Очнется!

Я побѣждалъ, ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не такъ, какъ я рассчитывалъ. Но увы, судьба опредѣлила иначе, и меня ожидало другое—подлинно есть фатумъ на свѣтѣ.

II.

Еще съ лѣстницы я слышала въ нашей квартирѣ шумъ, и дверь въ нее оказалась отпертою. Въ корридорѣ стоялъ незнакомый лакей въ ливреѣ. Петръ Ипполитовичъ и жена его, оба чѣмъ-то перепуганные, находились тоже въ корридорѣ и чего-то ждали. Дверь къ князю была отворена, и тамъ раздавался громовый голосъ, который я тотчасъ признала — голосъ Бьоринга. Я не успѣла еще шагнуть двухъ шаговъ, какъ вдругъ увидала, что князя, заплаканнаго, трепещущаго, выводили въ корридоръ Бьорингъ и спутникъ его, баронъ Р.—тотъ самый, который являлся къ Версилу для переговоровъ. Князь рыдалъ въ голосъ, обнималъ и цаловалъ Бьоринга. Кричалъ же Бьорингъ на Анну Андреевну, которая вышла-было тоже въ корридоръ за княземъ; онъ ей грозилъ и, кажется, топалъ ногами—однимъ словомъ, сказался грубый солдатъ-нѣмецъ, не смотря на весь „свой высшій свѣтъ“. Потомъ обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда въ голову, что ужъ Анна Андреевна виновата въ чемъ-то даже уголовномъ, и теперь, несомнѣнно, должна отвѣчать за свой поступокъ даже передъ судомъ. По незнанію дѣла, онъ его преувеличилъ, какъ бываетъ со многими, а потому уже сталъ считать себя въ правѣ быть въ высшей степени безцеремоннымъ. Главное, онъ не успѣлъ еще вникнуть: извѣстили его обо всемъ анонимно, какъ оказалось послѣ (и объ чемъ я упомяну потомъ), и онъ налетѣлъ еще въ томъ состояніи взбѣсившагося господина, въ которомъ даже и остроумнѣйшіе люди этой національности готовы иногда драться, какъ сапожники. Анна Андреевна встрѣтила весь этотъ наскокъ въ высшей степени съ достоинствомъ, но я не засталъ того. Я видѣлъ только, что, выведя старика въ корридоръ, Бьорингъ вдругъ

оставилъ его на рукахъ барона Р. и, стремительно обернувшись къ Аннѣ Андреевнѣ, прокричалъ ей, вѣроятно, отвѣчая на какое нибудь ея замѣчаніе:

— Вы — интригантка! Вамъ нужны его деньги! Съ этой минуты вы опозорили себя въ обществѣ и будете отвѣчать передъ судьбой!...

— Это вы эксплуатируете несчастнаго больного и довели его до безумія... а кричите на меня потому, что я — женщина и меня некому защитить!...

— Ахъ, да! Вы — невѣста его, невѣста! злобно и неистово захохоталъ Бьорингъ.

— Баронъ, баронъ... *Chère enfant, je vous aime*, проплакнулъ князь, простирая руки къ Аннѣ Андреевнѣ.

— Идите, князь, идите: противъ васъ былъ заговоръ и, можетъ быть, даже на жизнь вашу! прокричалъ Бьорингъ.

— *Oui, oui, je comprends, j'ai compris au commencement...*

— Князь, возвысила было голосъ Анна Андреевна: — вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!

— Прочь! крикнулъ вдругъ на нее Бьорингъ! Этого я не могъ снести.

— Мерзавецъ! завопилъ я на него: — Анна Андреевна, я — вашъ защитникъ!

Тутъ я подробно не стану и не могу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдругъ какъ бы потерялъ рассудокъ. Кажется, я подскочилъ и ударилъ его, по крайней мѣрѣ, сильно толкнулъ. Онъ тоже ударилъ меня изъ всей силы по головѣ, такъ что я упалъ на полъ. Опомнившись, я пустился уже за ними на лѣстницу; помню, что у меня изъ носу текла кровь. У подъезда ихъ ждала карета, и пока князя сажали, я подбѣжалъ къ каретѣ и, не смотря на отталкивавшего меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тутъ не помню, какъ очутилась полиція. Бьорингъ схватилъ меня за шиворотъ и грозно велѣлъ городовому отвести меня въ участокъ. Я кричалъ, что и онъ долженъ идти вмѣстѣ, чтобъ вмѣстѣ составить актъ, и что меня не смѣютъ взять почти что съ моей квартиры. Но такъ какъ дѣло было на улицѣ, а не въ квартирѣ, и такъ какъ я кричалъ, бранился и дрался, какъ пьяный, и такъ какъ Бьорингъ былъ въ своемъ мундирѣ, то городской и взялъ меня. Но тутъ ужъ я пришелъ въ полное изступленіе и, сопротивляясь изъ всѣхъ силъ, кажется, ударилъ и городского. Затѣмъ, помню, ихъ вдругъ явилось двое и меня повели. Едва помню, какъ привели меня въ какую-то дымную, закуренную комнату, со мно-

жествоиъ разныхъ людей, стоявшихъ и сидѣвшихъ, ждавшихъ и писавшихъ; я продолжалъ и здѣсь кричать, я требовалъ акта. Но дѣло уже состояло не въ одномъ актѣ, а усложнилось буйствомъ и бунтомъ противъ полицейской власти. Да и былъ я въ слишкомъ безобразномъ видѣ. Кто-то вдругъ грозно закричалъ на меня. Городовой, межъ тѣмъ, обвинялъ меня въ дракѣ, рассказалъ о полковникѣ...

— Какъ фамилія? крикнулъ мнѣ кто-то.

— Долгорукій, проревѣлъ я.

— Князь Долгорукій?

Внѣ себя, я отвѣтилъ какимъ-то весьма севернымъ ругательствомъ, а затѣмъ... затѣмъ помню, что меня потащили въ какую-то темную каморку, „для вытрезвленія“. О, я не протестую. Вся публика прочла еще какъ-то недавно въ газетахъ жалобу какого-то господина, просидѣвшего всю ночь подъ арестомъ, связаннаго, и тоже въ комнатѣ для вытрезвленія, но тотъ, кажется, былъ даже и не виноватъ, я же былъ виноватъ. Я повалился на нары въ сообществѣ какихъ-то двухъ безчувственно спавшихъ людей. У меня болѣла голова, стучало въ вискахъ, стучало сердце. Должно быть, я обезпамятѣлъ и, кажется, бредилъ. Помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присѣлъ на нарахъ. Я разомъ припомнилъ все и все осмыслилъ и, положивъ локти въ колѣни, руками подперевъ голову, погрузился въ глубокое размышленіе.

О! я не стану описывать мои чувства, да и некогда мнѣ, но отмѣчу лишь одно; можетъ быть, никогда не переживалъ я болѣе отрадннхъ мгновеній въ душѣ моей, какъ въ тѣ минуты раздумья среди глубокой ночи, на нарахъ, подъ арестомъ. Это можетъ показаться страннымъ читателю, нѣкоторымъ шелкоперствомъ, желаніемъ блеснуть оригинальностью—и, однако же, это все было такъ, какъ я говорю. Это была одна изъ тѣхъ минутъ, которыя, можетъ быть, случаются и у каждаго, но приходятъ лишь разъ какой нибудь въ жизни. Въ такую минуту рѣшаютъ судьбу свою, опредѣляютъ воззрѣніе и говорятъ себѣ разъ на всю жизнь: „Вотъ гдѣ правда и вотъ куда идти, чтобъ достать ее“. Да, тѣ мгновенія были свѣтомъ души моей. Оскорбленный надменнымъ Бьорингомъ и завтра же надѣясь быть оскорбленнымъ тою великосвѣтскою женщиною, я слишкомъ зналъ, что могу имъ ужасно отомстить, но я рѣшилъ, что не буду мстить. Я рѣшилъ, не смотря на все искушеніе, что не обнаружу документа, не сдѣлаю его извѣстнымъ уже цѣлому свѣту (какъ уже и вертѣлось въ умѣ моемъ); я повторялъ себѣ, что завтра же положу передъ нею это письмо и, если надо,

вмѣсто благодарности вынесу даже насмѣшливую ея улыбку, но все таки не скажу ни слова и уйду отъ нея навсегда... Впрочемъ, нечего распространяться. Обо всемъ же томъ, что произойдетъ со мной завтра здѣсь, какъ меня поставятъ передъ начальствомъ, и что со мной сдѣлаютъ,—я почти и думать забылъ. Я перекрестился съ любовью, легъ на нарѣ и заснулъ яснымъ, дѣтскимъ сномъ.

Проснулся я поздно, когда уже разсвѣло. Въ комнатѣ я уже былъ одинъ. Я сѣлъ и сталъ молча дожидаться, долго, около часу; должно быть, было уже около девяти часовъ, когда меня вдругъ позвали. Я бы могъ войти въ болѣе глубокія подробности, но не стоитъ, ибо все это теперь постороннее; мнѣ же только бы досказать главное. Отмѣчу лишь, что, къ величайшему моему удивленію, со мной обошлись неожиданно вѣжливо: меня что-то спросили, я имъ что-то отвѣтилъ, и мнѣ тотчасъ же позволили уйти. Я вышелъ молча, и во взглядахъ ихъ съ удовольствіемъ прочелъ даже нѣкоторое удивленіе къ челомбѣ, умѣвшему даже въ такомъ положеніи не потерять своего достоинства. Еслибъ я не замѣтилъ этого, то я бы не записалъ. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. Въ двухъ словахъ объясню, почему это такъ легко мнѣ тогда сошло съ рукъ.

Рано утромъ, еще, можетъ быть, въ восемь часовъ, Татьяна Павловна прилетѣла въ мою квартиру, то есть къ Петру Ипполитовичу, все еще надѣясь застать тамъ князя, и вдругъ узнала о всѣхъ вчерашнихъ ужасахъ, а, главное, о томъ, что я былъ арестованъ. Мигомъ бросилась она къ Катеринѣ Николаевнѣ (которая еще вчера, возвратясь изъ театра, свидѣлась съ привезеннымъ къ ней отцомъ ея), разбудила ее, напугала и потребовала, чтобъ меня немедленно освободили. Съ запиской отъ нея она тотчасъ же полетѣла къ Бьорингу и немедленно вытребовала отъ него другую записку, къ „кому слѣдуетъ“, съ убѣдительною просьбою самого Бьоринга немедленно освободить меня, „арестованнаго по недоразумѣнію“. Съ этой запиской она и прибыла въ участокъ, и просьба ея была уважена.

III.

Затѣмъ, продолжаю о главномъ.

Татьяна Павловна, подхвативъ меня, посадила на извозчика и привезла къ себѣ, немедленно приказала самоваръ и сама отмыла и отчистила меня у себя въ кухнѣ. Въ кухнѣ же громко сказала мнѣ, что—въ половинѣ двѣнадцатаго къ ней будетъ сама Катерина Николаевна—

какъ еще давеча онѣ условились обѣ — для свиданія со мной. Вотъ тутъ-то и услышала Марья. Черезъ нѣсколько минутъ она подала самоваръ, а еще черезъ двѣ минуты, когда Татьяна Павловна вдругъ ее кликнула, она не отозвалась: оказалось, что она за чѣмъ-то вышла. Это я прошу очень замѣтить читателя; было же тогда, я полагаю, безъ четверти десять часовъ. Хотя Татьяна Павловна и разсердилась на ея исчезновеніе безъ спросу, но подумала лишь, что она вышла въ лавочку, и тутъ же пока забыла обѣ этомъ. Да и не до того намъ было; мы говорили безъ умолку, потому что было о чемъ, такъ что я, напримѣръ, на исчезновеніе Марьи совсѣмъ почти и не обратилъ вниманія; прошу читателя и это запомнить.

Само собою я былъ какъ въ чадѣ; я излагалъ свои чувства, а главное — мы ждали Катерину Николаевну и мысль, что черезъ часъ я съ нею, наконецъ, встрѣчусь, и еще въ такое рѣшительное мгновеніе въ моей жизни, приводила меня въ трепетъ и дрожь. Наконецъ, когда я выпилъ двѣ чашки, Татьяна Павловна вдругъ встала, взяла со стола ножницы и сказала:

— Подай карманъ, надо вынуть письмо — не при ней же взрѣзывать.

— Да! воскликнулъ я и растегнулъ куртку.

— Что это у тебя тутъ напутано? Кто зашивалъ?

— Самъ, самъ, Татьяна Павловна.

— Ну и видно, что самъ. Ну, вотъ оно...

Письмо вынули; старый пакетъ былъ тотъ же самый, а въ немъ торчала пустая бумажка.

— Это — чтожь? воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее... Что съ тобой?

Но я стоялъ уже безъ языка, блѣдный... и вдругъ въ безсиліи опустился на стулъ; право, со мной чуть не случился обморокъ.

— Да что тутъ еще! завопила Татьяна Павловна. — Гдѣ-жь твоя записка?

— Ламбертъ! вскочилъ я вдругъ, догадавшись и ударивъ себя по лбу.

Торопясь и задыхаясь, я ей все объяснилъ — и ночь у Ламберта, и нашъ тогдашній разговоръ; впрочемъ, я ей еще вчера признался объ этомъ разговорѣ.

— Украли! Украли! кричалъ я, топоча по полу и схвативъ себя за волосы.

— Вѣда! рѣшила вдругъ Татьяна Павловна, понявъ въ чемъ дѣло. — Который часъ?

Было около одиннадцати.

— Эхъ, нѣту Марья!.. Марья, Марья!

— Что вамъ, барыня? вдругъ отозвалась Марья изъ кухни.

— Ты здѣсь? Да чтожь теперь дѣлать! Полечу я къ ней... Эхъ ты, рохля, рохля!

— А я—къ Ламберту! завопилъ я:—и задушу его, если надо!

— Барыня! пропищала вдругъ изъ кухни Марья:—тутъ какая-то вась очень спрашиваетъ...

Но она еще не успѣла договорить, какъ „какая-то“ стремительно, съ крикомъ и воплемъ, ворвалась сама изъ кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены въ полной подробности; сцена была—обманъ и поддѣлка, но должно замѣтить, что сыграла ее Альфонсинка великолѣпно. Съ плачемъ раскаянія и съ неистовыми жестами, она затрещала (по французски, разумѣется), что письмо она тогда взрѣзала сама, что оно теперь у Ламберта и что Ламбертъ вмѣстѣ съ „этимъ разбойникомъ“, *cet homme noir*, хотятъ зазвать *m-me la générale* и застрѣлить ее, сейчасъ, черезъ часъ... что она узнала все это отъ нихъ и что вдругъ ужасно испугалась, потому что у нихъ увидѣла пистолеть, *le pistolet*, и теперь бросилась сюда къ намъ, чтобъ мы шли, спасли, предупредили... *Cet homme noir*...

Однимъ словомъ, все это было чрезвычайно правдоподобно, даже, самая глупость нѣкоторыхъ альфонсинкиныхъ разъясненій усиливала правдоподобіе.

— Какой *homme noir*! прокричала Татьяна Павловна.

— *Tiens, j'ai oublié son nom... Un homme affreux... Tiens, Versiloff.*

— Версировъ, быть не можетъ! завопилъ я.

— Ахъ, нѣтъ, можетъ! взвизгнула Татьяна Павловна:—да говори ты, матушка, не прыгая, руками-то не махай; чтожь они тамъ хотятъ? Растолкуй, матушка, толкомъ: не повѣрю же я, что они стрѣляютъ въ нее хотятъ?

„Матушка“ растолковала такъ: (NB: все была ложь, предупреждаю опять) Versiloff будетъ сидѣть за дверью, а Ламбертъ, какъ она войдетъ, покажетъ ей *cette lettre*, тутъ Versiloff выскочитъ, и они ее... *Oh, ils feront leur vengeance!* Что она, Альфонсинка, боится бѣды, потому что сама участвовала, а *cette dame, la générale* непременно приѣдетъ „сейчасъ, сейчасъ“, потому что они послали ей съ письма копию и та тотчасъ увидитъ, что у нихъ въ самомъ дѣлѣ есть это письмо и поѣдетъ къ нимъ, а написалъ ей письмо одинъ Ламбертъ, а

про Верилова она не знаетъ; а Ламбертъ рекомендовался, какъ прѣхавшій изъ Москвы, отъ одной московской дамы, une dame de Moscou (NB. Марья Ивановна!).

— Ахъ, тошно мнѣ! Ахъ, тошно мнѣ! восклицала Татьяна Павловна.

— *Sauvez la, sauvez la!* кричала Альфонсинка.

Ужь, конечно, въ этомъ сумасшедшемъ извѣстїи даже съ перваго взгляда заключалось нѣчто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что, въ сущности, все было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить, и съ чрезвычайною вѣроятностью, что Катерина Николаевна, получивъ приглашеніе Ламберта, заѣдетъ сначала къ намъ, къ Татьянѣ Павловнѣ, чтобъ разъяснить дѣло; но зато вѣдь этого могло и не случиться и она прямо могла проѣхать къ нимъ, а ужъ тогда—она пропала! Трудно было тоже повѣрить, чтобъ она такъ и бросилась къ неизвѣстному ей Ламберту по первому зову; но опять и это могло почему нибудь такъ случиться, напримѣръ, увидя копію и удостовѣрившись, что у нихъ въ самомъ дѣлѣ письмо ея, а тогда—все та же бѣда! Главное, времени у насъ не оставалось ни капли, даже чтобъ разсудить.

— А Вериловъ ее зарѣжетъ! Если онъ унижилъ себя до Ламберта, то онъ ее зарѣжетъ! Тутъ двойникъ! вскричалъ я.

— Ахъ этотъ „двойникъ“! ломала руки Татьяна Павловна.--- Ну, нечего тутъ, рѣшилась она вдругъ:—бери шапку, шубу и—вмѣстѣ маршъ. Вези насъ, матушка, прямо къ нимъ. Ахъ, далеко! Марья, Марья, если Катерина Николаевна прѣдетъ, то скажи, что я сейчасъ буду и чтобъ сѣла и ждала меня, а если не захочетъ ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я такъ велѣла! Сто рублей тебѣ, Марья, если сослужишь службу.

Мы выбѣжали на лѣстницу. Безъ сомнѣнія, лучше нельзя было и придумать, потому что, во всякомъ случаѣ, главная бѣда была въ квартирѣ Ламберта, а если въ самомъ дѣлѣ Катерина Николаевна прѣхала бы раньше къ Татьянѣ Павловнѣ, то Марья всегда могла ее задержать. И однако Татьяна Павловна, уже подзававъ извозчика, вдругъ перемѣнила рѣшеніе.

— Ступай ты съ ней! велѣла она мнѣ, оставляя меня съ Альфонсинкой:—и тамъ умри, если надо, понимаешь? А я сейчасъ—за тобой, а прежде махну-ка я къ ней, авось застаю, потому что, какъ хочешь, а мнѣ подозрительно!

И она полетѣла къ Катеринѣ Николаевнѣ. Мы же съ Альфонсин-

кой пустились къ Ламберту. Я погонялъ извозчика и на лету продолжалъ разспрашивать Альфонсинку, но Альфонсинка больше отдѣлывалась восклицаніями, а наконецъ и слезами. Но насъ всёхъ хранилъ Богъ, и уберегъ, когда все уже висѣло на ниточкѣ. Мы не проѣхали еще и четверти дороги, какъ вдругъ я услышалъ за собой крикъ: меня звали по имени. Я оглянулся—насъ на извозникѣ догонялъ Тришатовъ.

— Куда? кричалъ онъ испуганно:—и съ ней, съ Альфонсинкой!

— Тришатовъ! крикнулъ я ему:—правду вы сказали—бѣда! Вду къ подлецу Ламберту! Поѣдемъ вмѣстѣ, все больше людей!

— Воротитесь, воротитесь сейчасъ! прокричалъ Тришатовъ:—Ламбертъ обманываетъ и Альфонсинка обманываетъ. Меня рябой послалъ; ихъ дома нѣтъ: я встрѣтилъ сейчасъ Версилова и Ламберта; они проѣхали къ Татьянѣ Павловнѣ... они теперь тамъ...

Я остановилъ извозчика и перескочилъ къ Тришатову. До сихъ поръ не понимаю, какимъ образомъ я могъ такъ вдругъ рѣшиться, но я вдругъ повѣрилъ и вдругъ рѣшился. Альфонсинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и ужъ не знаю, поворотила-ли она за нами или отправилась домой, но ужъ я ее больше не видалъ.

На извозникѣ Тришатовъ, кое-какъ и задыхаясь, сообщилъ мнѣ, что есть какая-то махинація, что Ламбертъ согласился-было съ рябымъ, но что рябой измѣнилъ ему въ послѣднее мгновеніе и самъ послалъ сейчасъ Тришатова къ Татьянѣ Павловнѣ увѣдомить ее, чтобъ Ламберту и Альфонсинкѣ не вѣрить. Тришатовъ прибавилъ, что больше онъ ничего не знаетъ, потому что рябой ему ничего больше не сообщилъ, потому что не успѣлъ, что онъ самъ торопился куда-то и что все было наскоро. „Я увидѣлъ, продолжалъ Тришатовъ: — что вы ѣдете, и погнался за вами“. Конечно, было ясно, что этотъ рябой тоже знаетъ все, потому что послалъ Тришатова прямо къ Татьянѣ Павловнѣ; но это ужъ была новая загадка.

Но чтобъ не вышло путаницы, я, прежде чѣмъ описывать катстрофу, объясню всю настоящую правду и уже въ послѣдній разъ забѣгу впередъ.

IV.

Укравъ тогда письмо, Ламбертъ тотчасъ же соединился съ Версиловымъ. О томъ, какъ могъ Версиловъ совокупиться съ Ламбертомъ—я пока и говорить не буду; это—потомъ; главное—тутъ былъ „двойникъ“! Но, совокупившись съ Версиловымъ, Ламберту предстояло какъ

можно хитрѣ заманить Катерину Николаевну. Версиловъ прямо утверждалъ ему, что она не придетъ. Но у Ламберта еще съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я тогда, третьяго дня вечеромъ, встрѣтилъ его на улицѣ и, зарисовавшись, объявилъ ему, что возвращу ей письмо въ квартирѣ Татьяны Павловны и при Татьянѣ Павловнѣ — у Ламберта, съ той самой минуты, надъ квартирой Татьяны Павловны устроилось нѣчто въ родѣ шпионства, а именно — подкуплена была Марья. Марья онъ подарилъ двадцать рублей, и потомъ, черезъ день, когда совершилась кража документовъ, вторично посѣтилъ Марью и уже тутъ договорился съ нею радикально и обѣщалъ ей за услугу двѣсти рублей.

Вотъ почему Марья, какъ услышала давеча, что въ половинѣ двѣнадцатаго Катерина Николаевна будетъ у Татьяны Павловны и что буду тутъ и я, то тотчасъ же бросилась изъ дому и на извожикѣ прискакала съ этимъ извѣстіемъ къ Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту — въ томъ и заключалась услуга. Какъ-разъ у Ламберта въ ту минуту находился и Версиловъ. Въ одинъ мигъ Версиловъ выдумалъ эту адскую комбинацію. Говорятъ, что съумасшедшіе въ инныя минуты ужасно бываютъ хитры.

Комбинація состояла въ томъ, чтобъ выманить насъ обоихъ, Татьяну и меня, изъ квартиры, во чтѣ бы ни стало, хоть на четверть только часа, но до пріѣзда Катерины Николаевны. Затѣмъ — ждать на улицѣ, и только что мы съ Татьяной Павловной выйдемъ, вбѣжать въ квартиру, которую отворитъ имъ Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была изъ всѣхъ силъ задерживать насъ гдѣ хотимъ и какъ хотимъ. Катерина же Николаевна должна была прибыть, какъ обѣщала, въ половинѣ двѣнадцатаго, стало быть — непременно вдвое раньше, чѣмъ мы могли воротиться. (Само собою, что Катерина Николаевна никакого приглашенія отъ Ламберта не получала и что Альфонсинка нагадала, и вотъ эту-то штуку и выдумалъ Версиловъ, во всѣхъ подробностяхъ, а Альфонсинка только разыграла роль испуганной предательницы). Разумѣется, они рисковали, но разсудили они вѣрно: „Сойдется — хорошо, не сойдется — еще ничего не потеряно, потому что документъ все таки въ рукахъ“. Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никакъ не могли не побѣжать за Альфонсинкой уже по одному только предположенію: „А ну, какъ это все правда!“ Опять повторяю: разсудить было некогда.

V.

Мы вбѣжали съ Тришатовымъ въ кухню и застали Марью въ испугѣ. Она была поражена тѣмъ, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдругъ какъ-то примѣтила въ рукахъ у Ламберта—револьверъ. Хотя она и взяла деньги, но револьверъ вовсе не входилъ въ ея расчеты. Она была въ недоумѣннн и, чуть завидѣла меня, такъ ко мнѣ и бросилась:

— Генеральша пришла, а у нихъ пистолеть!

— Тришатовъ, стойте здѣсь въ кухнѣ, распорядился я:—а чуть я крикну, бѣгите изъ всѣхъ силъ ко мнѣ на помощь.

Марья отворила мнѣ дверь въ корридорчикъ, и я скользнулъ въ спальню Татьяны Павловны—въ ту самую каморку, въ которой могла помѣститься одна лишь только кровать Татьяны Павловны и въ которой я уже разъ нечаянно отыскалъ себѣ щелку въ портьерѣ.

Но въ комнатѣ уже былъ шумъ и говорили громко; замѣчу, что Катерина Николаевна вошла въ квартиру ровно минуту спустя послѣ нихъ. Шумъ и говоръ я слышалъ еще изъ кухни: кричалъ Ламбертъ. Она сидѣла на диванѣ, а онъ стоялъ передъ нею и кричалъ какъ дуракъ. Теперь я знаю, почему онъ такъ глупо потерялся: онъ торопился и боялся, чтобъ ихъ не накрыли; потомъ я объясню, кого именно онъ боялся. Письмо было у него въ рукахъ. Но Версилова въ комнатѣ не было: я приготовился броситься при первой опасности. Передаю лишь смыслъ рѣчей, можетъ быть, многое и не такъ припоминаю, но тогда я былъ въ слишкомъ большомъ волненнн, чтобн запомнить до послѣдней точности.

— Это письмо стоитъ тридцать тысячъ рублей, а вы удивляетесь! Оно сто тысячъ стоитъ, а я только тридцать прошу! громко и страшно горячась проговорилъ Ламбертъ.

Катерина Николаевна, хоть и видимо была испугана, но смотрѣла на него съ какими-то презрительнымъ удивленннмъ.

— Я вижу, что здѣсь устроена какая-то западня и ничего не понимаю, сказала она:—но если только это письмо, въ самомъ дѣлѣ, у васъ...

— Да вотъ оно, сами видите! Развѣ не то? Въ тридцать тысячъ вексель и—ни копѣйки меньше! перебилъ ее Ламбертъ.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Напишите вексель—вотъ бумага. Затѣмъ, пойдете и достанете денегъ, а я буду ждать, но недѣлю—не больше. Деньги принесете—отдамъ вексель и тогда и письмо отдамъ.

— Вы говорите со мной такимъ страннымъ тономъ. Вы ошибаетесь. У васъ сегодня же отберутъ этотъ документъ, если я поѣду и пожалуюсь.

— Кому? Ха-ха-ха! А скандалъ, а письмо покажемъ князю! Гдѣ отберутъ? Я не держу документовъ въ квартирѣ. Я покажу князю черезъ третье лицо. Не упрямитесь, барыня, благодарите, что я еще не много прошу, другой бы, кромѣ того, попросилъ еще услугъ... знаете какихъ... въ которыхъ ни одна хорошенькая женщина не отказываетъ, при стѣснительныхъ обстоятельствахъ, вотъ какихъ... Хе-хе-хе! Vous êtes belle, vous!

Катерина Николаевна стремительно встала съ мѣста, вся покраснѣла и—плюнула ему въ лицо. Затѣмъ быстро направилась было къ двери. Вотъ тутъ-то дуракъ Ламбертъ и выхватилъ револьверъ. Онъ слѣпо, какъ ограниченный дуракъ, вѣрилъ въ эффектъ документа, то есть—главное—не разглядѣлъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, именно потому, какъ я сказалъ уже, что считалъ всѣхъ съ такими же подлыми чувствами, какъ и онъ самъ. Онъ съ перваго слова раздражилъ ее грубостью, тогда какъ она, можетъ быть, и не уклонилась бы войти въ денежную сдѣлку.

— Ни съ мѣста! завопилъ онъ, разсвирѣпѣвъ отъ плевка, схвативъ ее за плечо и показывая револьверъ, — разумѣется, для одной лишь остратки. Она вскрикнула и опустилась на диванъ. Я ринулся въ комнату; но, въ ту же минуту, изъ двери въ корридоръ выбѣжалъ и Версиловъ. (Онъ тамъ стоялъ и выжидалъ). Не успѣлъ я мигнуть, какъ онъ выхватилъ револьверъ у Ламберта и изо всей силы ударилъ его револьверомъ по головѣ. Ламбертъ запнулся и упалъ безъ чувствъ; кровь хлынула изъ его головы на коверъ.

Она же, увидя Версилова, поблѣднѣла вдругъ, какъ полотно; нѣсколько мгновений смотрѣла на него неподвижно, въ невыразимомъ ужасѣ, и вдругъ упала въ обморокъ. Онъ бросился къ ней. Все это теперь передо мной какъ бы мелькаетъ. Я помню, какъ съ испугомъ увидѣлъ я тогда его красное, почти багровое лицо и налившіеся кровью глаза. Думаю, что онъ, хоть и замѣтилъ меня въ комнатѣ, но меня какъ бы не узналъ. Онъ схватилъ ее, безчувственную, съ неимоверною силою поднялъ ее къ себѣ на руки, какъ перышко, и бессмысленно сталъ носить ее по комнатѣ, какъ ребенка. Комната была крошечная, но онъ слонялся изъ угла въ уголъ, видимо не понимая, зачѣмъ это дѣлаетъ. Въ одинъ какой нибудь мигъ онъ лишился тогда разсудка. Онъ все смотрѣлъ на ея лицо. И бѣжалъ за нимъ, и глав-

ное, боялся револьвера, который онъ такъ и забылъ въ своей правой рукѣ и держалъ его возлѣ самой головы. Но онъ оттолкнулъ меня разъ локтемъ, другой разъ ногой. Я хотѣлъ было крикнуть Тришатову, но боялся раздражить съумасшедшаго. Наконецъ, я вдругъ раздвинулъ портьеру и сталъ надъ нею, пристально, съ минуту смотрѣлъ ей въ лицо и вдругъ, нагнувшись, поцаловалъ ее, два раза въ ея блѣдныя губы. О, я понялъ, наконецъ, что это былъ человекъ уже совершенно внѣ себя. Вдругъ онъ замахнулся на нее револьверомъ, но, какъ бы догадавшись, обернулъ револьверъ и навелъ его ей въ лицо. Я мгновенно, изо всей силы, схватилъ его за руку и закричалъ Тришатову. Помню, мы оба боролись съ нимъ, но онъ успѣлъ вырвать свою руку и выстрѣлить въ себя. Онъ хотѣлъ застрѣлить ее, а потомъ себя. Но, когда мы не дали ей, то уткнулъ револьверъ себѣ прямо въ сердце, но я успѣлъ оттолкнуть его руку кверху и пуля попала ему въ плечо. Въ это мгновеніе съ крикомъ ворвалась Татьяна Павловна; но онъ уже лежалъ на коврѣ безъ чувствъ, съ Ламбертомъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

З а к л ю ч е н і е .

I.

Теперь этой сценѣ мнѣ почти уже полгода, и многое уткло съ тѣхъ поръ, многое совсѣмъ измѣнилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь... Но развяжу и я читателя.

Для меня, по крайней мѣрѣ, первымъ вопросомъ, и тогда, и еще долго спустя, было: какъ могъ Версильовъ соединиться съ такимъ какъ Ламбертъ, и какую цѣль онъ имѣлъ тогда въ виду? Мало по малу, я пришелъ къ нѣкоторому разъясненію: по моему, Версильовъ, въ тѣ мгновенія, то есть въ тотъ весь послѣдній день и наканунѣ, не могъ имѣть ровно никакой твердой цѣли и даже, я думаю, совсѣмъ тутъ и не разсуждалъ, а былъ подъ вліяніемъ какого-то вихря чувствъ. Впрочемъ, настоящаго съумасшествія я не допускаю вовсе, тѣмъ болѣе, что онъ и теперь вовсе не съумасшедшій. Но „двойника“ допускаю несомнѣнно. Что такое, собственно, двойникъ? Двойникъ, по крайней мѣрѣ, по одной медицинской книгѣ одного эксперта, которую я потомъ нарочно прочелъ, двойникъ, это есть не что иное, какъ первая ступень нѣкотораго серьезнаго уже разстройства души, которое можетъ повести къ довольно худому концу. Да и самъ Версильовъ, въ сценѣ у мамы, разъяснилъ

намъ это тогдашнее „раздвоеніе“ его чувствъ и воли съ страшною искренностью. Но, опять таки повторяю: та сцена у мамы, тотъ расколотый образъ, хоть безспорно произошли подъ вліяніемъ настоящаго двойника, но мнѣ всегда съ тѣхъ поръ мерещилось, что отчасти тутъ и нѣкоторая злорадная аллегорія, нѣкоторая какъ бы ненависть къ ожиданіямъ этихъ женщинъ, нѣкоторая злоба къ ихъ правамъ и къ ихъ суду, и вотъ онъ, пополамъ съ двойникомъ, и разбилъ этотъ образъ! „Такъ, дескать, расколется и ваши ожиданія!“ Однимъ словомъ, если и былъ двойникъ, то была и просто блажь... Но все это—только моя догадка; рѣшить же навѣрно—трудно.

Правда, не смотря на обожаніе Катерины Николаевны, въ немъ всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее невѣріе въ ея нравственныя достоинства. Я навѣрно думаю, что онъ такъ и ждалъ тогда за дверью ея униженія передъ Ламбертомъ. Но хотѣлъ ли онъ того, если даже и ждалъ? Опять таки повторяю: я твердо вѣрю, что онъ ничего не хотѣлъ и даже не разсуждалъ. Ему просто хотѣлось быть тутъ, выскочить потомъ, сказать ей что нибудь, а можетъ быть—можетъ быть, и оскорбить, можетъ быть и убить ее... Все могло случиться тогда; но только, придя съ Ламбертомъ, онъ ничего не зналъ изъ того, что случится. Прибавлю, что револьверъ былъ Ламбертовъ, а самъ онъ пришелъ безоружный. Увидя же ея гордое достоинство, а, главное, не стерпѣвъ подлнца Ламберта, грозившаго ей, онъ выскочилъ—и ужъ затѣмъ потерялъ разсудокъ. Хотѣлъ ли онъ ее застрѣлить въ то мгновеніе? По моему, самъ не зналъ того, но навѣрно бы застрѣлилъ, еслибъ мы не оттолкнули его руку.

Рана его оказалась не смертельною и зажила, но пролежалъ онъ довольно долго—у мамы, разумѣется. Теперь, когда я пишу эти строки—на дворѣ весна, половина мая, день прелестный и у насъ открыты окна. Мама сидитъ около него; онъ гладитъ рукой ея щеки и волосы, и съ умиленіемъ засматриваетъ ей въ глаза. О, это—только половина прежняго Версилова; отъ мамы онъ уже не отходитъ и ужъ никогда не отойдетъ болѣе. Онъ даже получилъ „даръ слезный“, какъ выразился незабвенный Макарь Ивановичъ въ своей повѣсти о купцѣ; впрочемъ, мнѣ кажется, что Версильовъ проживетъ долго. Съ нами онъ теперь совсѣмъ простодушенъ и искрененъ, какъ дитя, не теряя, впрочемъ, ни мѣры, ни сдержанности, и не говоря лишняго. Весь умъ его и весь нравственный складъ его остались при немъ; хотя все, что было въ немъ идеальнаго, еще сильнѣе выступило впередъ. Я прямо скажу, что никогда столько не любилъ его, какъ теперь, и мнѣ жаль, что

не имѣю ни времени, ни мѣста, чтобы побольше поговорить о немъ. Впрочемъ, расскажу одинъ недавній анекдотъ (а ихъ много): въ великому посту онъ уже выздоровѣлъ и на шестой недѣлѣ объявилъ, что будетъ говѣть. Не говѣлъ онъ лѣтъ тридцать, я думаю, или болѣе. Мама была рада; стали готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышалъ изъ другой комнаты, какъ онъ, въ понедѣльникъ и во вторникъ напѣвалъ про себя: „Се женихъ грядетъ“ и восторгался и напѣвомъ, и стихомъ. Въ эти два дня онъ нѣсколько разъ прекрасно говорилъ о религiи; но въ среду говѣнье вдругъ прервалось. Чтѣ-то его вдругъ раздражило, какой-то „забавный контрастъ“, какъ онъ выразился, смѣясь. Чтѣ-то не понравилось ему въ наружности священника, въ обстановкѣ; но только онъ воротился и вдругъ сказалъ съ тихою улыбкою: „Друзья мои, я очень люблю Бога, но—я къ этому неспособенъ“. Въ тотъ же день за обѣдомъ уже подали ростбифъ. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подлѣ него и тихимъ голосомъ, съ тихой улыбкою, начинаетъ съ нимъ заговаривать иногда о самыхъ отвлеченныхъ вещахъ; теперь она вдругъ какъ-то *осмыслась* передъ нимъ, но какъ это случилось—не знаю. Она садится около него и говоритъ ему, всего чаще шопотомъ. Онъ слушаетъ съ улыбкою, гладитъ ея волосы, цалуется ея руки, и самое полное счастье свѣтится на лицѣ его. Съ нимъ бывають иногда и припадки, почти истерическіе. Онъ беретъ тогда ея фотографію, ту самую, которую онъ въ тотъ вечеръ цаловалъ, смотритъ на нее со слезами, цалуется, вспоминаетъ, подзываетъ насъ всѣхъ къ себѣ, но говорить въ такія минуты мало... О Катеринѣ Николаевнѣ онъ какъ-будто совершенно забылъ и имени ея ни разу не упомянулъ. О бракѣ съ мамой тоже еще ничего у насъ не сказано. Хотѣли было на лѣто везти его за границу; но Татьяна Павловна настояла, чтобы не возить, да и онъ самъ не захотѣлъ. Лѣтомъ они проживуть на дачѣ, гдѣ-то въ деревнѣ, въ Петербургскомъ уѣздѣ. Кстати, мы всѣ пока живемъ на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю: мнѣ страшно грустно, что, въ теченіи этихъ записокъ, я часто позволялъ себѣ относиться объ этомъ человѣкѣ непочтительно и свысока. Но я писалъ, слишкомъ вообразая себя такимъ именно, какимъ былъ въ каждую изъ тѣхъ минутъ, которыя описывалъ. Кончивъ же записки и дописавъ послѣднюю строчку, я вдругъ почувствовалъ, что перевоспиталъ себя самого, именно процессомъ припоминанія и записыванія. Отъ многого отрекаюсь, чтѣ написалъ, особенно отъ тона нѣкоторыхъ фразъ и страницъ, но не вычеркну и не поправлю ни единого слова.

Я сказалъ, что о Катеринѣ Николаевнѣ онь не говорить ни единого слова; но я даже думаю, что, можетъ быть, и совсѣмъ излечился. О Катеринѣ Николаевнѣ говоримъ иногда лишь я да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей; я видѣлся съ нею передъ отъѣздомъ и былъ у ней нѣсколько разъ. Изъ за границы я уже получилъ отъ нея два письма и отвѣчалъ на нихъ. Но о содержаніи нашихъ писемъ и о томъ, о чемъ мы переговаривали, прощаясь передъ отъѣздомъ, я умолчу: это—уже другая исторія, совсѣмъ новая исторія и даже, можетъ быть, вся она еще въ будущемъ. Я даже и съ Татьяной Павловной о нѣкоторыхъ вещахъ умалчиваю; но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужемъ и путешествуетъ съ Пелищевыми. Отецъ ея скончался, и она—богатѣйшая изъ вдовъ. Въ настоящую минуту, она въ Парижѣ. Разрывъ ея съ Бьорингомъ произошелъ быстро и какъ бы самъ собой, то есть въ высшей степени естественно. Впрочемъ, расскажу объ этомъ.

Въ утро той страшной сцены, рабой, тотъ самый, къ которому перешли Тришатовъ и другъ его, успѣлъ извѣстить Бьоринга о предстоящемъ злоумышленіи. Это случилось такимъ образомъ: Ламбертъ все таки склонилъ его къ участію вмѣстѣ и, овладѣвъ тогда документомъ, сообщилъ ему всѣ подробности и всѣ обстоятельства предпріятія, а наконецъ и самый послѣдній моментъ ихъ плана, то есть, когда Версиковъ выдумалъ комбинацію объ обманѣ Татьяны Павловны. Но въ рѣшительное мгновеніе, рабой предпочелъ измѣнить Ламберту, будучи благодарнѣе ихъ всѣхъ и предвидя въ проектахъ ихъ возможность уголовщины. Главное же, онъ почиталъ благодарность Бьоринга гораздо вѣрнѣе фантастическаго плана неушлага, но горячаго Ламберта и почти помѣшаннаго отъ страсти Версикова. Все это я узналъ потомъ отъ Тришатова. Кстати, я не знаю и не понимаю отношеній Ламберта къ рабому и почему Ламбертъ не могъ безъ него обойтись. Но гораздо любопытнѣе для меня вопросъ: зачѣмъ нуженъ былъ Ламберту Версиковъ, тогда какъ Ламбертъ, имѣя уже въ рукахъ документъ, совершенно бы могъ обойтись безъ его помощи? Отвѣтъ мнѣ теперь ясенъ. Версиковъ нуженъ былъ ему, во первыхъ, по знанію обстоятельствъ, а, главное, Версиковъ былъ нуженъ ему, въ случаѣ переполоха или какой бѣды, чтобы свалить на него всю отвѣтственность. А такъ какъ денегъ Версикову было не надо, то Ламбертъ и почелъ его помощь даже весьма не лишнею. Но Бьорингъ не успѣлъ тогда во время. Онъ прибылъ уже черезъ часъ послѣ выстрѣла, когда квартира Татьяны Павловны представляла

уже совсѣмъ другой видъ. А именно: минулъ пять спустя послѣ того, какъ Версиловъ упалъ на коверъ окровавленный, приподнялся и всталъ Ламбертъ, котораго мы всѣ считали убитымъ. Онъ съ удивленіемъ осмотрѣлся, вдругъ быстро сообразилъ и вышелъ въ кухню, не говоря ни слова, тамъ надѣлъ свою шубу и исчезъ навсегда. „Документъ“ онъ оставилъ на столѣ. Я слышалъ, что онъ даже не былъ и боленъ, а лишь немного похворалъ: ударъ револьверомъ ошеломилъ его и вызвалъ кровь, не произведя болѣе никакой бѣды. Межъ тѣмъ, Тришатовъ уже убѣждалъ за докторомъ; но еще до доктора, очнулся и Версиловъ, а еще до Версилова Татьяна Павловна, приведа въ чувство Катерину Николаевну, успѣла отвезти ее къ ней домой. Такимъ образомъ, когда вбѣжалъ къ намъ Бьорингъ, то въ квартирѣ Татьяны Павловны находились лишь я, докторъ, больной Версиловъ и мама, еще больная, но прибывшая къ нему внѣ себя и за которой сбѣгалъ тотъ-же Тришатовъ. Бьорингъ посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ, и какъ только узналъ, что Катерина Николаевна уже уѣхала, тотчасъ отправился къ ней, не сказавъ у насъ ни слова.

Онъ былъ смущенъ; онъ ясно видѣлъ, что теперь скандалъ и огласка почти неминуемы. Большаго скандала, однако-же, не произошло, а вышли лишь слухи. Скрыть выстрѣла не удалось—это правда; но вся главная исторія, въ главной сущности своей, осталась почти неизвѣстною: слѣдствіе опредѣлило только, что гнѣто В., влюбленный человекъ, притомъ семейный и почти пятидесятилѣтній, въ изступленіи страсти и объясняя свою страсть особѣ, достойной высшаго уваженія, но совсѣмъ не раадѣлявшей его чувствъ, сдѣлалъ, въ припадкѣ безумія, въ себя выстрѣлъ. Ничего больше не вышло наружу и въ такомъ видѣ извѣстіе проникло темными слухами и въ газеты, безъ собственныхъ именъ, съ начальными лишь буквами фамилій. По крайней мѣрѣ, я знаю, что Ламберта, напрімѣръ, совсѣмъ не обезпеконили. Тѣмъ не менѣе, Бьорингъ, знавшій истину, испугался. Вотъ тутъ-то, какъ нарочно, ему вдругъ удалось узнать о происходившемъ свиданіи, глазъ на глазъ, Катерины Николаевны съ влюбленнымъ въ нее Версильовымъ, еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и онъ довольно неосторожно позволялъ себѣ замѣтить Катеринѣ Николаевнѣ, что послѣ этого его уже не удивляетъ, что съ ней могутъ происходить такія фантастическія исторіи. Катерина Николаевна тутъ же и отказала ему, безъ гнѣва, но и безъ колебаній. Все предразсудочное мнѣніе ея о какомъ-то благоразуміи брака съ этимъ человекомъ исчезло какъ дымъ. Можетъ быть, она уже и давно передъ тѣмъ его разгадала, а, можетъ быть,

послѣ испытаннаго потрясенія, вдругъ измѣнились нѣкоторые ея взгляды и чувства. Но тутъ я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламбертъ исчезъ въ Москву, и я слышалъ, что тамъ въ чемъ-то попался. А Тришатова я давно уже, почти съ тѣхъ самихъ поръ, выпустилъ изъ виду, какъ ни стараюсь отыскать его слѣдъ даже и теперь. Онъ исчезъ послѣ смерти своего друга „le grand dadais“: тотъ застрѣлился.

II.

Я упомянулъ о смерти стараго князя Николая Ивановича. Добрый, симпатичный старикъ этотъ умеръ скоро послѣ происшествія, впрочемъ, однако, цѣлый мѣсяцъ спустя—умеръ ночью, въ постели, отъ нервнаго удара. Я, съ того самаго дня, который онъ прожилъ на моей квартирѣ, не видалъ его болѣе. Рассказывали про него, что будто бы онъ сталъ въ этотъ мѣсяцъ несравненно разумнѣе, даже суровѣе, не пугался болѣе, не плакалъ и даже совсѣмъ ни разу не произнесъ во все это время ни единого слова объ Аннѣ Андреевнѣ. Вся любовь его обратилась къ дочери. Катерина Николаевна какъ-то разъ, за недѣлю до его смерти, предложила было ему призвать меня, для развлечения, но онъ даже нахмурился: фактъ этотъ сообщаю безъ всякихъ объясненій. Имѣнiе его оказалось въ порядкѣ и, кромѣ того, оказался весьма значительный капиталъ. До трети этого капитала пришлось, по завѣщанію старика, раздѣлить безчисленнымъ его крестницамъ; но чрезвычайно странно показалось для всѣхъ, что объ Аннѣ Андреевнѣ въ завѣщаніи этомъ не упоминалось вовсе: ея имя было пропущено. Но вотъ чтò, однако же, мнѣ извѣстно, какъ достовернѣйшій фактъ: за нѣсколько лишь дней до смерти, старикъ, призвавъ дочь и друзей своихъ, Пелищеву и князя В—го, велѣлъ Катеринѣ Николаевнѣ, въ возможномъ случаѣ близкой кончины его, непремѣнно выдѣлить изъ этого капитала Аннѣ Андреевнѣ шестьдесятъ тысячъ рублей. Высказалъ онъ свою волю точно, ясно и кратко, не позволивъ себѣ ни единого восклицанія и ни единого поясненія. По смерти его и когда уже выяснились дѣла, Катерина Николаевна увѣдомила Анну Андреевну, черезъ своего повѣреннаго, о томъ, что та можетъ получить эти шестьдесятъ тысячъ когда захочетъ; но Анна Андреевна сухо, безъ лишнихъ словъ, отклонила предложеніе: она отказалась получить деньги, не смотря на всѣ увѣренія, что такова была, дѣйствительно, воля князя. Деньги и теперь еще лежатъ, ее ожидая, и теперь еще Катерина Николаевна надѣется, что она пережвѣнитъ рѣшеніе; но этого не случится, и я знаю про то навѣрно, потому что я

теперь—одинъ изъ самыхъ близкихъ знакомыхъ и друзей Анны Андреевны. Отказъ ея надѣлалъ нѣкотораго шуму, и объ этомъ заговорили. Тетка ея, Фанариотова, раздосадованная было сначала ея скандаломъ съ старымъ княземъ, вдругъ переѣвила мнѣніе и, послѣ отказа ея отъ денегъ, торжественно заявила ей свое уваженіе. Зато братъ ея рассорился съ нею за это окончательно. Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, чтобъ мы пускались въ большія интимности; о старомъ не упоминаемъ вовсе; она принимаетъ меня къ себѣ очень охотно, но говорить со мной какъ-то отвлеченно. Между прочимъ, она твердо заявила мнѣ, что непремѣнно пойдетъ въ монастырь; это было недавно; но я ей не вѣрю и считаю лишь за горькое слово.

Но горькое, настоящее горькое слово предстоитъ мнѣ сказать въ особенности о сестрѣ моей Лизѣ. Вотъ тутъ—такъ несчастье, да и что такое всё мои неудачи передъ ея горькой судьбой! Началось съ того, что князь Сергій Петровичъ не выздоровѣлъ и, не дождавшись суда, умеръ въ больницѣ. Скончался онъ еще раньше князя Николая Ивановича. Лиза осталась одна, съ будущимъ своимъ ребенкомъ. Она не плакала и съ виду была даже спокойна; сдѣлалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ея сердца какъ будто разомъ куда-то въ ней схоронилась. Она смиренно помогала мамѣ ходила за больнымъ Андреемъ Петровичемъ, но стала ужасно неразговорчива, ни на кого и ни на что даже не взглядывала, какъ будто ей все равно, какъ будто она лишь проходитъ мимо. Когда Верилкову сдѣлалось легче, она начала много спать. Я приносилъ было ей книги, но она не читала ихъ; она стала страшно худѣть. Я какъ-то не осмѣливался начать утѣшать ее, хотя часто приходилъ именно съ этимъ намѣреніемъ; но въ присутствіи ея мнѣ какъ-то не подходило къ ней, да и словъ такихъ не оказывалось у меня, чтобы заговорить объ этомъ. Такъ продолжалось до одного страшнаго случая: она упала съ нашей лѣстницы, не высоко, всего съ трехъ ступенекъ, но она выкинула, и болѣзнь ея продолжалась почти всю зиму. Теперь она уже встала съ постели, но здоровью ея надолго нанесенъ ударъ. Она, по прежнему, молчалива съ нами и задумчива, но съ мамой начала понемногу говорить. Всё эти послѣдніе дни стояло яркое, высокое, весеннее солнце, и я все припоминалъ про себя то солнечное утро, когда мы, прошлою осенью, шли съ нею по улицѣ, оба радуясь и надѣясь и любя другъ друга. Увы, что сталося послѣ того? Я не жалеюсь, для меня наступила новая жизнь, но она? Ея будущее—загадка, а теперь я и взглянуть на нее не могу безъ боли.

Недѣли три назадъ, я, однакожь, успѣлъ заинтересовать ее извѣстіемъ о Васинѣ. Онъ былъ, наконецъ, освобожденъ и выпущенъ совсѣмъ на свободу. Этотъ благоразумный человѣкъ далъ, говорятъ, самыя точныя изъясненія и самыя интересныя сообщенія, которыя вполне оправдали его во мнѣніи людей, отъ которыхъ зависѣла его участь. Да и пресловутая рукопись его оказалась не болѣе, какъ переводомъ съ французскаго, такъ сказать, матеріаломъ, который онъ собиралъ единственно для себя, намѣреваясь составить потомъ изъ него одну полезную статью для журнала. Онъ отправился теперь въ—ю губернію, а отчимъ его, Стебельковъ, и доселѣ продолжаетъ сидѣть въ тюрьмѣ по своему дѣлу, которое, какъ я слышалъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе разрастается и усложняется. Лиза выслушала объ Васинѣ съ странною улыбкою и замѣтила даже, что съ нимъ непремѣнно должно было такъ случиться. Но она была, видимо, довольна—конечно, тѣмъ, что внимательство покойнаго князя Сергѣя Петровича не повредило Васину. Про Дергачева же и другихъ я здѣсь ничего не имѣю сообщить.

Я кончилъ. Можетъ быть, иному читателю захотѣлось бы узнать: куда-жь это дѣвалась моя „идея“ и что такое та новая, начинавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я такъ загадочно возвѣщаю? Но эта новая жизнь, этотъ новый, открывшійся передо мною путь и есть моя же „идея“, та самая, что и прежде, но уже совершенно въ иномъ видѣ, такъ что ее уже и узнать нельзя. Но въ „Записки“ мои все это войти уже не можетъ, потому что это—уже совсѣмъ другое. Старая жизнь отошла совсѣмъ, а новая едва начинается. Но, прибавлю, однако, необходимое: Татьяна Павловна, искренній и любимый другъ мой, пристаётъ ко мнѣ чуть не каждый день съ увѣщаніями непремѣнно и какъ можно скорѣе поступить въ университетъ: „Потомъ, какъ кончишь ученіе, тогда и выдумывай, а теперь доучись“. Признаюсь, я задумываюсь о ея предложеніи, но совершенно не знаю, чѣмъ рѣшу. Между прочимъ, я возразилъ ей, что я даже и не имѣю теперь права учиться, потому что долженъ трудиться, чтобы содержать маму и Лизу; но она предлагаетъ на то свои деньги и увѣряетъ, что ихъ достанетъ на все время моего университета. Я рѣшился, наконецъ, спросить совѣта у одного человѣка. Разсмотрѣвъ кругомъ меня, я выбралъ этого человѣка тщательно и критически. Это—Николай Семеновичъ, бывшій мой воспитатель въ Москвѣ, мужъ Марьи Ивановны. Не то, чтобы я такъ нуждался въ чьемъ нибудь совѣтѣ; но мнѣ просто и неудержимо захотѣлось услышать мнѣніе этого совершенно посторонняго и даже нѣсколько холоднаго эгоиста, но бесспорно умнаго человѣка. Я послалъ ему всю

мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывалъ еще ее никому, и, въ особенности, Татьянѣ Павловнѣ. Посланная рукопись прибыла ко мнѣ обратно черезъ двѣ недѣли и при довольно длинномъ письмѣ. Изъ письма этого сдѣлаю лишь нѣсколько выдержекъ, находя въ нихъ нѣкоторый общій взглядъ и какъ бы нѣчто разъяснительное. Вотъ эти выдержки.

III.

„...И никогда не могли вы, незабвенный Аркадій Макаровичъ, употребить съ большою пользою вашъ временный досугъ, какъ теперь, написавъ эти ваши „Записки“! Вы дали себѣ, такъ сказать, сознательный отчетъ о первыхъ, бурныхъ и рискованныхъ шагахъ вашихъ на жизненномъ поприщѣ. Твердо вѣрю, что симъ изложеніемъ вы, дѣйствительно, могли во многомъ „перевоспитать себя“, какъ выразились сами. Собственно критическихъ замѣтокъ, разумѣется, не позволю себѣ ни малѣйшихъ: хотя каждая страница наводитъ на размышленія... на примѣръ, то обстоятельство, что вы такъ долго и такъ упорно держали у себя „документъ“ — въ высшей степени характеристично... Но это — лишь одна замѣтка изъ сотенъ, которую я разрѣшилъ себѣ. Весьма цѣню тоже, что вы рѣшились мнѣ сообщить, и, повидимому, мнѣ одному. „тайну вашей идеи“, по собственному вашему выраженію. Но въ просьбѣ вашей сообщить мое мнѣніе собственно объ этой „идеѣ“ долженъ вамъ рѣшительно отказать: во первыхъ, на письмѣ не умѣстится, а во вторыхъ — и самъ не готовъ къ отвѣту, и мнѣ надо еще это переварить. Замѣчу лишь, что „идея“ ваша отличается оригинальностью, тогда какъ молодые люди текущаго поколѣнія набрасываются, большою частію, на идеи невдуманнаго, а предварительно даннаго, и запасъ ихъ весьма не великъ, а часто и опасенъ. Ваша, на примѣръ, „идея“ уберегла васъ, по крайней мѣрѣ, на время, отъ идей гг. Дергачева и комп., безъ сомнѣнія, не столь оригинальныхъ, какъ ваша. А, наконецъ, я въ высшей степени согласенъ съ мнѣніемъ многоуважаемѣйшей Татьяны Павловны, которую, хотя и знавалъ лично, но не въ состояніи былъ доселѣ оцѣнить въ той мѣрѣ, какъ она того заслуживаетъ. Мысль ея о поступленіи вашемъ въ университетъ въ высшей степени для васъ благотворна. Наука и жизнь несомнѣнно раскроютъ, въ три-четыре года, еще шире горизонты мыслей и стремленій вашихъ, а если и послѣ университета пожелаете снова обратиться къ вашей „идеѣ“, то ничто не помѣшаетъ тому.

Теперь позвольте мнѣ самому, и уже безъ вашей просьбы, изложить вамъ откровенно нѣсколько мыслей и впечатлѣній, пришедшихъ мнѣ въ умъ и душу при чтеніи столь откровенныхъ „Записокъ“ вашихъ. Да, я согласенъ съ Андреемъ Петровичемъ, что за васъ и за *уединенную* юность вашу, дѣйствительно, можно было опасаться. И такихъ, какъ вы, юношей не мало, и способности ихъ, дѣйствительно, всегда угрожаютъ развиться къ худшему—или въ молчаливое подбострастіе, или въ затаенное желаніе безпорядка. Но это желаніе безпорядка—и даже чаще всего—происходитъ, можетъ быть, отъ затаенной жажды порядка и „благообразія“—(употребляю ваше слово). Юность чиста уже потому, что она—юность. Можетъ быть, въ этихъ, столь раннихъ порывахъ безумія, заключается именно эта жажда порядка и это исканіе истины, и кто-жъ виноватъ, что нѣкоторые современные молодые люди видятъ эту истину и этотъ порядокъ въ такихъ глупенькихъ и смѣшныхъ вещахъ, что не понимаешь даже, какъ могли они имъ повѣрить! Замѣчу встать, что прежде, въ довольно недавнее прошлое, всего лишь поколѣніе назадъ, этихъ интересныхъ юношей можно было и не столь жалѣть, ибо въ тѣ времена они почти всегда кончали тѣмъ, что съ успѣхомъ примыкали, впоследствии, къ нашему высшему культурному слою и сливались съ нимъ въ одно цѣлое. И если, напримѣръ, и сознавали, въ началѣ дороги, всю безпорядочность и случайность свою, все отсутствіе благороднаго въ ихъ хотя бы семейной обстановкѣ, отсутствіе родоваго преданія и красивыхъ законченныхъ формъ, то тѣмъ даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потомъ сами и тѣмъ самымъ приучались его цѣнить. Нынѣ уже нѣсколько иначе—именно потому, что примыкнуть почти не къ чему.

Разъясню сравненіемъ или, такъ сказать, уподобленіемъ. Еслибы я былъ русскимъ романистомъ и имѣлъ талантъ, то непременно бралъ бы героевъ моихъ изъ русскаго родоваго дворянства, потому, что лишь въ одномъ этомъ типѣ культурныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго порядка и красиваго впечатлѣнія, столь необходимаго въ романѣ для изящнаго воздѣйствія на читателя. Говоря такъ, вовсе не шучу, хотя самъ я—совершенно не дворянинъ, что, впрочемъ, вамъ и самимъ извѣстно. Еще Пушкинъ намѣтилъ сюжеты будущихъ романовъ своихъ въ „Преданіяхъ русскаго семейства,“ и, повѣрьте, что тутъ, дѣйствительно, все, что у насъ было доселѣ красиваго. По крайней мѣрѣ, тутъ все, что было у насъ хотя сколько нибудь завершенаго. Я не потому говорю, что такъ уже безусловно согласенъ съ правиль-

ностью и правдивостью красоты этой; но тутъ, напримѣръ, уже были законченныя формы чести и долга, чего, кромѣ дворянства, нигдѣ на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже нигдѣ и не начато. Я говорю, какъ человѣкъ спокойный и ищущій спокойствія.

Тамъ хороша ли эта честь и вѣрнѣ ли долгъ—это вопросъ второй; но важнѣе для меня именно законченность формъ и хоть какойнибудь да порядокъ, и уже не предписанный, а самими, наконецъ—то, выжитый. Боже, да у насъ именно важнѣе всего хоть какойнибудь, да свой, наконецъ, порядокъ! Въ томъ заключалась надежда и, такъ сказать, отдыхъ: хоть чтонибудь, наконецъ, построенное, а не вѣчная эта ломка, не летающія повсюду щепки, не мусоръ и соръ, изъ которыхъ вотъ уже двѣсти лѣтъ все ничего не выходитъ.

Не обвините въ славянофильствѣ; это—я лишь такъ, отъ мизантропіи, ибо тяжело на сердцѣ! Нынѣ, съ недавняго времени, происходитъ у насъ нѣчто совсѣмъ обратное изображенному выше. Уже не соръ приростаётъ къ высшему слою людей, а, напротивъ, отъ красиваго типа отрываются, съ веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются въ одну кучу съ беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывшихъ культурныхъ семействъ смѣются уже надъ тѣмъ, во что можетъ быть еще хотѣли бы вѣрить ихъ дѣти. Мало того, съ увлеченіемъ не скрываютъ отъ дѣтей своихъ свою алчную радость о внезапномъ правѣ на безчестье, которое они вдругъ изъ чего-то вывели цѣлою массою. Не про истинныхъ прогрессистовъ я говорю, милѣйшій Аркадій Макаровичъ, а про тотъ лишь сбродъ, оказавшійся безчисленнымъ, про который сказано: *Grattez le russe et vous verrez le tartare*. И повѣрьте, что истинныхъ либераловъ, истинныхъ и великодушныхъ друзей челоувѣчества у насъ вовсе не такъ много, какъ это намъ вдругъ показалось.

Но все это—философія; воротимся къ воображаемому романисту. Положеніе нашего романиста, въ такомъ случаѣ, было бы совершенно определенное: онъ не могъ бы писать въ другомъ родѣ, какъ въ историческомъ, ибо красиваго типа уже нѣтъ въ наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнѣнію, не удержали красоты за собою. О, и въ историческомъ родѣ возможно изобразить множество еще чрезвычайно пріятныхъ и отрадныхъ подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что онъ приметъ историческую картину за возможную еще и въ настоящемъ. Такое произведеніе, при великомъ талантѣ, уже принадлежало бы не столько къ рус-

ской литературѣ, сколько къ русской исторіи. Это была бы картина, художественно законченная, русскаго міража, но существовавшая дѣйствительно, пока не догадались, что это — міражъ. Внуку тѣхъ героевъ, которые были изображены въ картинѣ изображавшей русское семейство средне-высшаго культурнаго круга въ теченіи трехъ поколѣній сряду и въ связи съ исторіей русской—этотъ потомокъ предковъ своихъ уже не могъ бы быть изображенъ въ современномъ типѣ своемъ иначе, какъ въ нѣсколько мизантропическомъ, уединенномъ и несомнѣнно грустномъ видѣ. Даже долженъ явиться какимъ нибудь чудачкомъ, котораго читатель съ перваго взгляда могъ бы признать, какъ за сошедшаго съ поля, и убѣдиться, что не за нимъ осталось поле. Еще далѣе—и исчезнетъ даже и этотъ внукъ-мизантропъ; явятся новыя лица, еще неизвѣстныя, и новый міражъ; но какія же лица? Если некрасивыя, то невозможенъ дальнѣйшій русскій романъ. Но увы! Романъ ли только окажется тогда невозможнымъ?

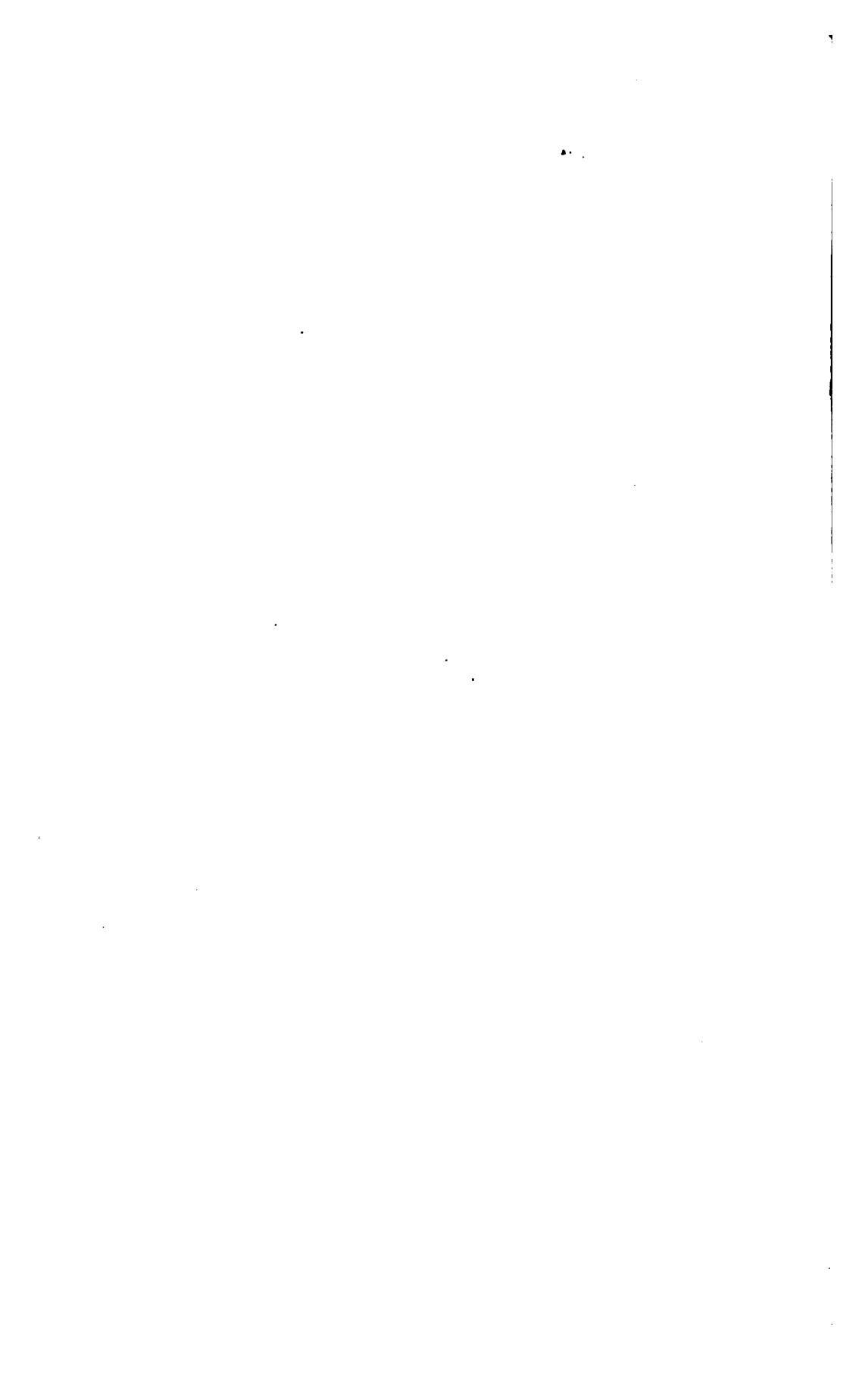
Чѣмъ далеко ходить, прибѣгну къ вашей же рукописи. Взгляните, напримѣръ, на оба семейства господина Версилова (на сей разъ позвольте ужъ мнѣ быть вполне откровеннымъ). Во первыхъ про самого Андрея Петровича я не распространяюсь; но, однако, онъ—все же изъ родоначальниковъ. Это—дворянинъ древнѣйшаго рода и, въ то же время, парижскій коммунаръ. Онъ истинный поэтъ и любитъ Россію, но зато и отрицаетъ ее вполне. Онъ безъ всякой религіи, но готовъ почти умереть за чтѣ-то неопредѣленное, чего и назвать не умѣетъ, но во чтѣ страстно вѣруетъ, по примѣру множества русскихъ европейскихъ цивилизаторовъ петербургскаго періода русской исторіи. Но довольно о немъ самомъ; вотъ, однакоже, его родовое семейство: про сына его и говорить не стану, да и не стоитъ онъ этой чести. Тѣ, у кого есть глаза, знаютъ заранѣе, до чего дойдутъ у насъ подобныя сорванцы, а кстати и другихъ доведутъ. Но вотъ его дочь, Анна Андреевна—и чѣмъ же не съ характеромъ дѣвица? Лицо въ размѣрахъ матушки ягугуменьи Митрофаніи — разумѣется, не предвѣщая ничего уголовнаго, чтѣ было бы уже несправедливымъ съ моей стороны. Скажите мнѣ теперь, Аркадій Макаровичъ, что семейство это—явленіе случайное, и я возрадуюсь духомъ. Но, напротивъ, не будетъ ли справедливымъ выводъ, что уже множество такихъ несомнѣнно родовыхъ семействъ русскихъ съ неудержимою силою переходятъ массами въ семейства *случайныя* и сливаются съ ними въ общемъ безпорядкѣ и хаосѣ. Типъ этого случайнаго семейства указываете отчасти и вы въ вашей рукописи. Да, Аркадій Макаровичъ, вы — *членъ случайнаго семейства*,

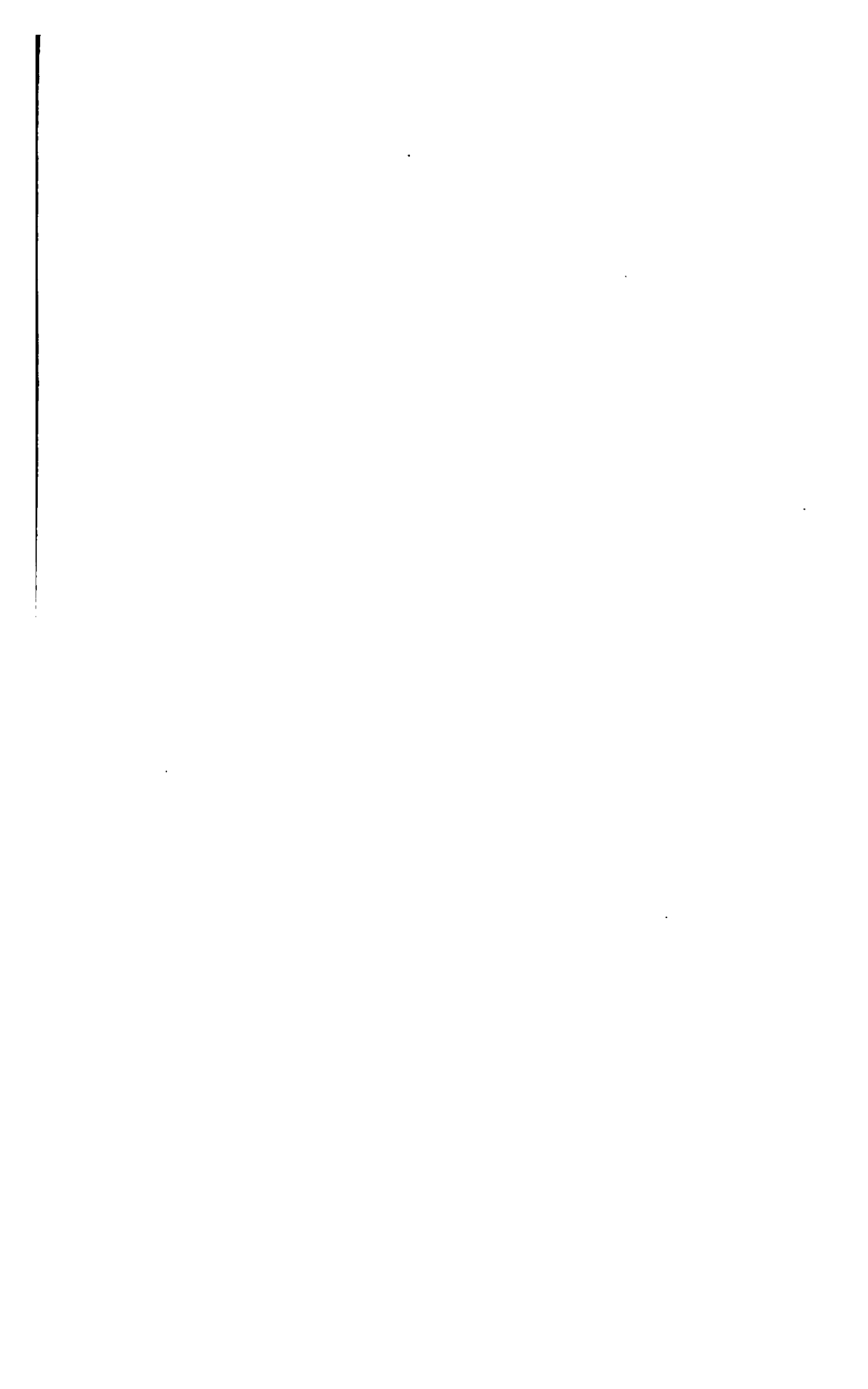
въ противоположность еще недавнимъ родовымъ нашимъ типамъ, имѣвшимъ столь различныя отъ вашихъ дѣтство и отрочество.

Признаюсь, не желалъ бы я быть романистомъ героя изъ случайнаго семейства!

Работа благодарная и безъ красивыхъ формъ. Да и типы эти, во всякомъ случаѣ — еще дѣло текущее, а потому и не могутъ быть художественно-законченными. Возможны важныя ошибки, возможны преувеличенія, недосмотры. Во всякомъ случаѣ, предстояло бы слишкомъ много угадывать. Но что дѣлать, однакъ, писателю, не желающему писать лишь въ одномъ историческомъ родѣ и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться.

Но такія „Записки“, какъ ваши, могли бы, кажется мнѣ, послужить матеріаломъ для будущаго художественнаго произведенія, для будущей картины, беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минетъ злоба дня и настанетъ будущее, тогда будущій художникъ отыщетъ прекрасныя формы даже для изображенія минувшаго безпорядка и хаоса. Вотъ тогда-то и понадобятся подобныя „Записки“, какъ ваши, и дадутъ матеріалъ — были бы искренни, не смотря даже на всю хаотичность и случайность... Уцѣлѣютъ, по крайней мѣрѣ, хотя нѣкоторыя вѣрныя черты, чтобы угадать по нимъ, что могло таиться въ душѣ иного подростка тогдашняго смутнаго времени — дознаніе не совсемъ ничтожное, ибо изъ подростковъ создаются поколѣнія...”







S. Slav 67